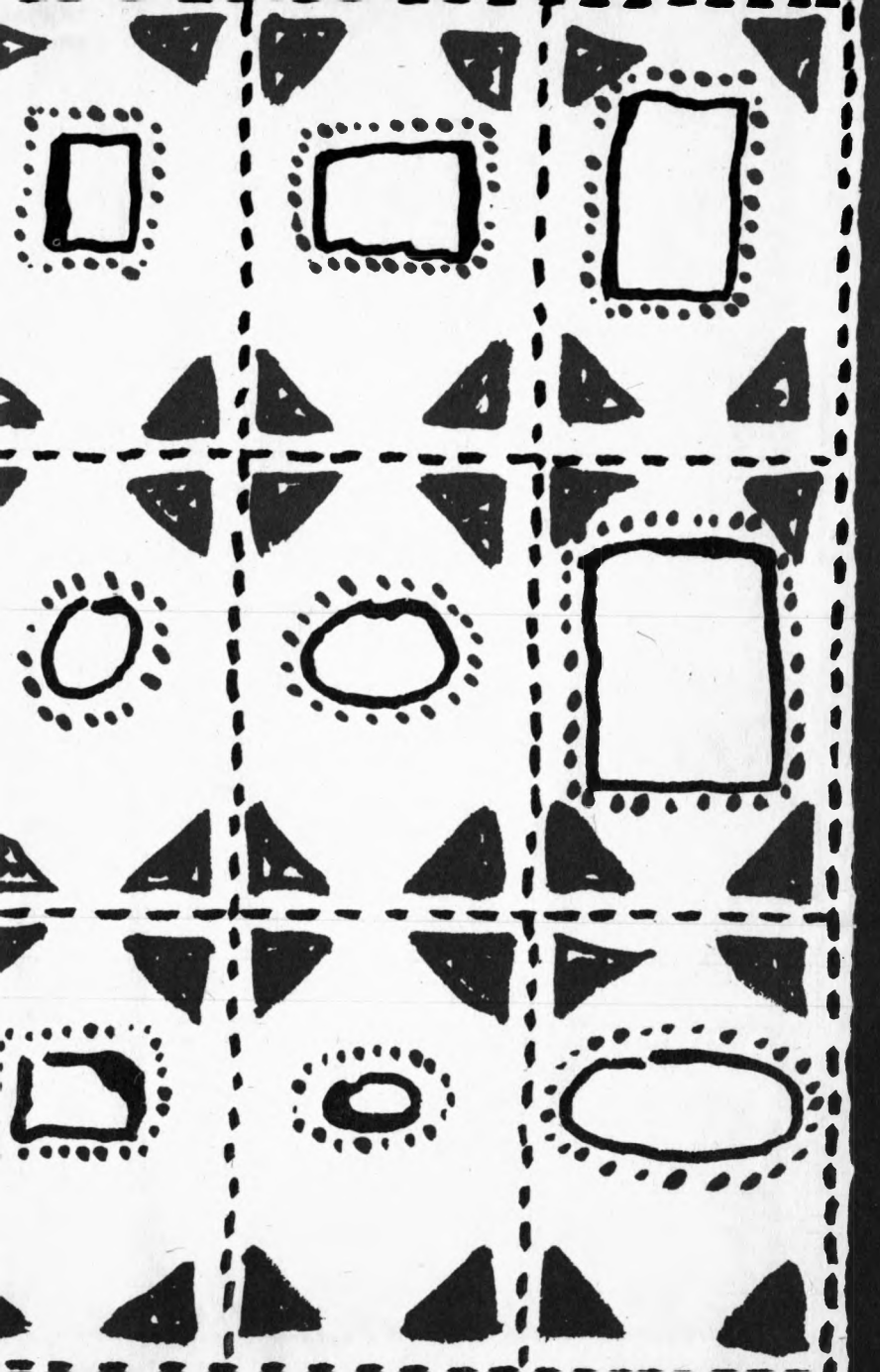


**ТАМАРА
ИВАНОВА**

**МОИ
СОВРЕМЕННОКИ,
КАКИМИ Я ИХ
ЗНАЛА**





**ТАМАРА
ИВАНОВА**

**МОИ
СОВРЕМЕННОКИ,
КАКИМИ Я ИХ
ЗНАЛА**

очерки

*москва
советский театр*

1987

В этой книге используются архивные и любительские, некоторые плохо сохранившиеся, фотографии. Публикуя их, издательство стремится показать читателям редкий фотоматериал из жизни писателей, представляющий несомненный исторический интерес.

Художник
РОЗАЛИЯ ДАНЦИГ

Иванова Т. В.
И 20 Мои современники, какими я их знала: Очерки.
М.: Советский писатель, 1987.—576 с.

В своей книге «Мои современники, какими я их знала» Т. В. Иванова рассказывает о Всеволоде Иванове, чьей женой и другом она была, и о людях, с которыми ее связывала дружба: о В. Мейерхольде, К. Федине, А. Фадееве, И. Бабеле, Б. Пастернаке, Микеле Бажане, А. Кроно и других.

4702010200—272
И ————— 54—87
083(02)—87

ББК 84 Р7

© Издательство
«Советский писатель», 1987 г.

Предупреждение летописца

Всеволод Иванов написал однажды:

«Задуманный мною труд — пересмотреть прожитую жизнь — столь объемён, что иногда мне кажется — не сумею я его осуществить.

Но кое-что мне обязательно хочется вспомнить и заново пересмотреть».

Никак не равняю себя со Всеволодом. Значимость его и моих воспоминаний — несоизмерима.

И все же, достигнув восьмидесятитрехлетия, думаю, что сам факт долголетия обязывает, в меру сил, постараться запечатлеть хоть кое-что из увиденного и пережитого.

* * *

Лет пятнадцать тому назад встречала я на Шереметьевском аэродроме чешскую переводчицу произведений Всеволода Иванова (в Чехословакии переведено все им написанное и изданное в СССР). Некоторые произведения, например «Похождения Факира» и «Бронепоезд», в двух вариантах. А сборники рассказов несколько раз повторно.

Когда машина въехала в город, по пути нашего следования стали попадаться памятники, воздвигнутые знаменитым писателем — моим современникам.

Первым предстал памятник Максиму Горькому. Я сказала своей спутнице: «Была с ним хорошо знако-

ма»; дальше мы поравнялись с памятником Маяковскому, и я опять повторила ту же фразу; уже подъезжая к Союзу писателей, я обратила внимание спутницы на проглядывавший сквозь еще оголенные деревья сквера памятник Алексею Николаевичу Толстому и опять повторила: «Была хорошо с ним знакома!»

Приехали мы в Союз писателей, где чешской писательнице надо было отметить свою командировку, и, пока сидели в приемной Иностранной комиссии, дожидаясь нужного человека, мимо нас проходили люди, с которыми я не была знакома и не могла удовлетворить любопытства своей гостью, то и дело спрашивавшей меня:

— Кто это прошел?

В результате она воскликнула: «Вы что — только с памятниками знакомы?»

Конечно, не только с теми, кому поставлены памятники, я была близко знакома. Но к большому своему везению — со многими, кому они уже поставлены, чей жизненный путь уже отмечен мемориальными досками, а если еще не отмечен, то, возможно, вскорости это случится.

Мне выпала счастливая судьба — кроме того что я современница многих выдающихся людей нашего столетия, на заре которого, в 1900 году, родилась, некоторые из них даже дарили меня своей дружбой, причем дружбой — на равных (без учета возраста и прочих факторов).

Многие замечательные мои современники, в том числе женщины, годившиеся мне в матери, настолько признавали наше равенство, что, например, Ольга Васильевна Кончаловская, урожденная Сурикова, чья дочь всего несколькими годами моложе меня, совершенно серьезно говорила, обращаясь ко мне: «В нашем с вами, Тамара, возрасте...»

От такого уравнивания с теми, кому уже отмечались столетия со дня рождения, я не чувствую себя старше или немощнее, — наоборот, у меня появилось ощущение некой надвозрастности.

Постарение не причиняло мне огорчений. Каждый период жизни, со всеми его горестями и радостями, был переполнен до краев и значим сам по себе.

Вероятно, именно из-за моей прошлой дружбы с людьми, перешагнувшими за столетие, начинает возникать ощущение, что я прожила не одну, а несколько жизней.

Отдаю себе отчет в том, что одного везения на встречи с выдающимися людьми мало, — надо еще суметь не проявить равнодушия, не пройти бездумно мимо чуда, явленного тебе жизнью.

А ведь и такое на моем длинном пути случилось. Я просто-напросто проходила мимо людей и явлений, достойных того, чтобы попристальнее в них взглядеться и постараться их осмыслить.

Не пройти мимо. Ощутить наполненность жизненной субстанции каждого мгновения и каждого явления — вот что я называю для себя освобождением от возрастных пут.

В мои юные годы Всеволод Эмилиевич Мейерхольд внушал нам, своим ученикам: «Не существует маленьких ролей, а всего лишь попадаются бесталанные актеры. Талантливый актер любую проходную роль способен сделать заметной в спектакле».

Эти слова можно применить к любому делу, и прежде всего к самому главному — умению жить наполненно.

На вопрос, было ли ему весело в гостях, Дюма-отец ответил: «Очень весело. — Потом, подумав, добавил: — Впрочем, если бы меня там не было, все умерли бы со скуки — в том числе и я сам».

Замечательные люди, встретившиеся на моем длинном пути, так или иначе стали моими учителями в овладении искусством жить. И перед многими из них я ощущаю себя в долгу, испытываю потребность рассказать о них, вспомнив то, о чем, по-моему, никто не рассказывал (или не успел, или не захотел, или попросту забыл — не вспомнил).

И главное, конечно, хочу рассказать возможно полнее о человеке моей жизни — о Всеволоде Иванове.

Я убеждена в том, что воспроизведенный в «Диалогах» Платона миф об истинной любви, которая есть воссоединение рассеченного надвое единого целого, — оправдан жизнью.

Верна русская поговорка: «Суженого конем не объедешь».

Возможно, что искусство прожить жизнь не зря со-

стоит именно в том: чтобы не объехать, не пройти мимо. Не пройти не только мимо суженого, но и мимо того, что ты призван сделать в жизни.

Когда долго живешь на свете, нельзя не задуматься о многом, не поставить перед собой ряда вопросов. Нельзя не думать и о смерти.

Люди живы, по-моему, не физически, а морально, только пока испытывают радость от красоты окружающего, а от них самих тоже, хоть кому-то, польза и радость...

Благо ли для человека долголетие? Да, благо, если он не утрачивает радости жизни и может сам радовать других.

Очень трогательно наблюдать супружеские пары, дожившие вместе до глубокой старости и не переставшие любить и заботиться друг о друге.

...Пересматривая прожитое, так или иначе отсеиваешь злаки от плевел, рассуждаешь о зле и добре во всех их проявлениях.

Нельзя забывать о людских страданиях, свидетелем которых ты являлся и являешься. Все люди — грешны. Но самые грешные, по-моему, те, кто всегда уверен в своей правоте и склонен, обвиняя других, оправдывать себя.

Человеку нечего гордиться тем хорошим, что ему удалось совершить в жизни, — в конечном итоге, по высокому счету, сумма плохого всегда перевесит.

Безотносительна лишь мера добра, бескорыстно, во имя блага других людей совершенного. Грех же против ближнего остается всегда грехом, а кто из нас не совершал таких грехов?

Да не подумает, однако, мой читатель, что я проповедую христианскую религию.

Моя религия — человеческая совесть.

Я — за добро, как и в чем бы оно ни проявлялось.

По-моему, главное — не забывать банальной истины, что ты такой же, как и другие, а потому стараться не причинять людям того, от чего тебе самому стало бы худо.

Словом — необходимо иметь совесть.

Вспоминая, извлекая из небытия образы ушедших людей, я низко склоняю голову перед их священной для меня памятью, считаю их своими учителями, препо-

дававшими мне, говоря словами Всеволода Иванова, «гибкое и грозное мужество жизни».

Начала я писать, вернее сказать — монтировать, свои воспоминания давно: первые пробы сделаны лет восемнадцать тому назад. Потом шли большие перерывы, но проходил год-два, и я опять возвращалась к начатому.

Кое-что публиковала в сборниках, посвященных тому или другому моему современнику.

Почему я думаю, что определение «монтаж» больше подходит к сделанной мною работе? Стремясь к елико возможной правдивости, я оснащаю свое «сказание» документами: письмами, дневниковыми записями.

Себя я рассматриваю всего лишь летописцем, но, вставив в свой монтаж эпизоды, касающиеся меня лично, я преследовала цель ознакомить читателя и с личностью того, кто смонтировал предлагаемые его вниманию материалы.

Я ведь и озаглавила свой труд «Мои современники, какими я их знала».

Очень неприятно выглядит (для меня, по крайней мере) в воспоминаниях о другом человеке местоимение «я». Поэтому самый первый вариант своих воспоминаний о Всеволоде Иванове я попробовала написать без имен, озаглавила «О нем и о себе»; его называла не по имени, а просто «он», а себе отвела двойную роль: была одновременно и «она», и летописец.

Из этой пробы у меня ничего не получилось. В такую форму укладывался лишь узкий круг личных взаимоотношений и никак не вмещалось широкое жизненное и литературное окружение.

Не ставила я себе задачу дать исчерпывающие характеристики, последовательные жизнеописания, как в серии «Жизнь замечательных людей».

Я касалась только тех фактов из жизни моих современников, которые происходили на моих глазах и в которых я до какой-то степени принимала участие.

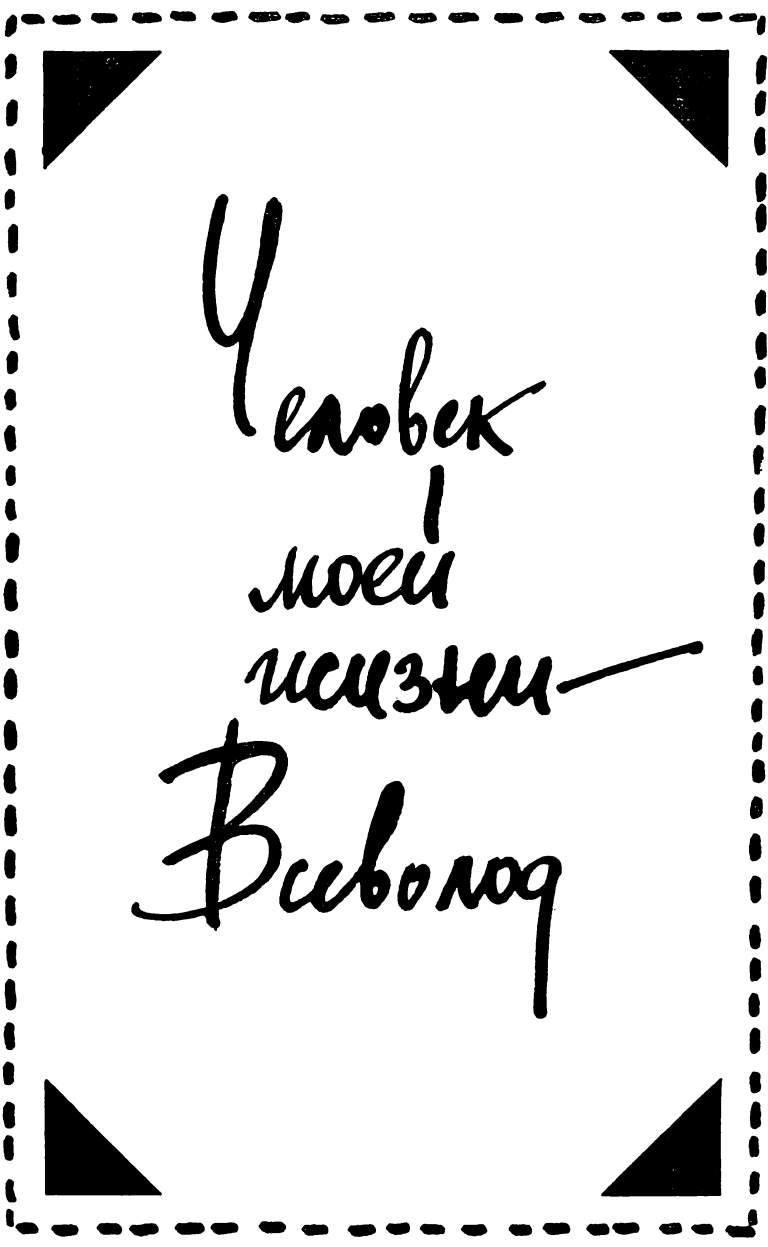
С Всеволодом Ивановым я прожила 36 лет и архивом его занимаюсь вот уже скоро двадцать лет (значит, с его творчеством — увы, не с ним самим! — у меня пять лет тому назад — «золотая свадьба» — пятьдесят лет!). Но даже и в рассказе о нем я касаюсь лишь в крайне малой степени, необходимой для понимания описываемого, того, что происходило не на моих глазах и не было нами совместно пережито.

Этого же принципа придерживалась и при создании портретов других своих современников.

В полной мере отдаю себе отчет в том, что мое видение — сугубо индивидуально, однако я старалась не писать о том, в чем не разбираюсь, и не навязывать своих представлений.

Вымыслу в моем сказании-монтаже нет места.

Описывая далекое прошлое, хотела бы не лукавить и не приписывать себе тогдашней свое теперешнее видение и понимание. Располагаю очерки (далеко не о всех, о ком хотела бы, успела и смогла я написать) по примерной хронологии вхождения описываемых людей в мою жизнь, а начинаю о главном для меня — о Всеволоде.



Человек
моей
жизни —
Всеволод

Не ради бахвальства, а ради истории я написал эти строки.

Всеволод Иванов.
«История моих книг»

Ух, какие звучащие тени!

Архив
Всеволода Иванова

Жизнь ведь тоже только миг,
Только растворенье
Нас самих во всех других
Как бы им в даренье.

Пастернак

ЕГО ДНЕВНИКИ

Всеволод не был похож на других людей, он — такой же особенный, как и его творчество.

Сказать о муже — человек он был необыкновенный — значит не сказать ни о чем. Во-первых, каждый человек не похож на другого. Во-вторых, тот, кого любишь, всегда кажется необыкновенным.

Но Всеволод Иванов был действительно необычен тем, что почти всегда поступал вопреки установившимся канонам поведения. Был очень строг к самому себе и никогда ни перед кем, в том числе и перед самим собой, не притворялся. Он неуклонно старался быть беспощадно честным и с окружающими, и с самим собой.

Чем старше он становился, тем пристальнее искал истину.

Отсюда столько противоречивых записей в его дневнике. Это — не минутные настроения, а выстраданная точка зрения. Выстраданы и неустанные поиски лучшего самовыражения.

Человек по природе своей замкнутый, в дневнике он раскрывался. Вел дневник, безусловно, для самого себя. При жизни он никому, включая меня, дневника своего не показывал. Означает ли это, что и посмертно в дневник его никто не имел и не имеет права заглянуть? Мне думается, что такая точка зрения была бы ошибочной. Как можно иначе правильно понять человека, а главное — доказательно правильно понять, т. е. опираясь не только на свои впечатления, на свою память, но и на оставленные им самим письменные свидетельства.

Даже едва оправившись после операции, еще, по его определению, «на больничной койке», Всеволод продолжал писать.

Он записывал свои мысли о литературе, делал заготовки к рассказам.

Придумал таких рассказов целый цикл.

Часть этих записей опубликована в книге, которую я составила с помощью Константина Георгиевича Паустовского¹.

Константин Георгиевич дал дневникам Всеволода такую оценку:

«...«Дневники» изумительны по какой-то «пронзительной» образности, простоте, откровенности и смелости. Это — исповедь огромного писателя, — не идущего ни на какие компромиссы и взыскательного к себе. Множество метких мест, острых мыслей, спокойного юмора и гражданского гнева. Это — исповедь большого русского человека, — доброго и печального, который, несмотря на свою доброту и человечность, имеет право судить своих современников. И судить их, в случае измены литературе, правде и своему народу, — беспощадно...

Многие куски «Дневников» написаны совершенно литой, лаконичной и как бы скульптурной прозой. И я думаю, что язык, самый стиль писателя коренятся в его огромном жизнелюбии.

Ничего, по-моему, делать по тексту уже не нужно. Книга будет блистательная, самоотверженно правдивая, беспощадно резкая, — в ней Всеволод Вячеславович встает во весь рост как тончайший поэт и меткий прозаик, как настоящий патриот, как беспощадный обвинитель».

После редакторского отбора в книгу вошли только немногие страницы из многочисленных дневников Всеволода Иванова.

Часть размышлений Всеволода считаю необходимым включить в свой монтаж, который рассматриваю как попытку создания «портретов словами»².

¹ «Переписка с А. М. Горьким. Из дневников и записных книжек». М., 1969. Далее — «Переписка с Горьким» и страница.

² Этот термин придумал не мной, а моим другом, художником Валентиной Ходасевич. Ее «Портреты словами» печатались в журнале «Новый мир» (1969, № 7). Подробнее о ней см. в моей зарисовке, ей посвященной.

Всеволод записывает:

«Разумеется, путь мой был не легкий и не простой,— а у кого из литераторов он был простым и легким?.. Не в столь отдаленные периоды моей литературной деятельности критика — рапповская и «подрапповская» — приписывала мне грехи формализма, солипсизма, фрейдизма и так далее. Было дело, что под канонадой этих критических пушек я и сам признавал, что я формалист, и обещал исправить свои формалистические ошибки! Теперь, глядя на себя глазами историка, я должен объяснить, почему мне захотелось рассказать, как создавался писатель. Нужно знать все слабые и сильные стороны его,— к сожалению, я пишу больше о слабостях, может быть потому, что сила мне не столь приятна. Неприятно и противопоказано говорить маститому писателю, что книги его дали людям счастье. Но спросить самого себя: а тебе-то самому, писатель, книги твои давали когда-нибудь счастье?

Однако разговор идет не о счастье, а о несчастье. Именно оно, оказывается, и создает художника. И в нашем труду промывают руду!

...Кто в молодости не обольщался жизнью! Ну и что же? Разве есть что-нибудь лучшее, чем это обольщение?

...И при всем своем обольщении жизнью я писал рассказы довольно мрачные. Я не задавался прямой задачей писать мрачное и тяжелое, но ведь путь-то был довольно тяжел. И об этом необходимо рассказать.

...В чем была моя трагедия как художника? Я готовил себя в юности, как художника, к некоему приходу пантеизма. И я воспитывал себя в этом направлении. Решить и в начале работы, и особенно в конце ее — правильно ли и нужно ли то, что ты сделал,— бывает порой и трудно и почти невозможно. Подобный вопрос, резко поставленный — может помешать работе. А между тем надо не бояться ставить его... Читатели, а чаще всего начинающие прозаики, которым хочется иметь хорошего и верного учителя, иногда спрашивают: «Кто были ваши учителя? У кого вы учились?»

Я с удовольствием отвечаю на этот вопрос. Дело в том, что сам я и поныне нуждаюсь в учителях. Во-первых, учение — бесконечно, потому что бесконечно знание. Во-вторых, жизнь не упрощается, а усложняется, и только знание поможет вам понять законы этого усложнения. И, наконец, третье,— если вы не чувствуете себя учеником, а всегда только учителем, вы неизбежно заразитесь пороками само-

мнения, а это для писателя и художника самый худший и гибельный из пороков.

— Кто же, однако, ваши учителя?

— [...] с радостью повторяю их имена: Достоевский, Чехов, Горький, Флобер, Бальзак, Л. Толстой, А. Блок. Я много раз читал и перечитывал их. Перечитываю и сейчас.

...Были учителями моими и друзья — «Серапионовы братья»; мы были, впрочем, одновременно и учителями друг другу и учениками друг у друга.

Эти учителя гибкого и грозного мужества, которое так необходимо художнику, научили и учат меня главному — уметь видеть жизнь в ее наиболее героических, стойких и гуманистических проявлениях, видеть прежде всего человека — не только с большой буквы, но написанного вообще очень большими, заглавными и даже цветными буквами.

Я люблю Москву; я напряженно вслушиваюсь в гул города [...] и напряженно гляжу ему в глаза, когда иду по бесконечным улицам. Город говорит со мной то мягким, то резким голосом, — и я одинаково люблю этот голос: ведь это голос моего учителя!»¹

Всеволод Иванов в своих дневниках и записных книжках (даже если брать те из них, что мною опубликованы, не говоря уже о хранящихся в архивных фондах) так убедительно изложил свое писательское кредо, его становление и развитие, что пересказывание равнозначно порче, цитировать, по моему, куда целесообразней:

«Все мои автобиографии — лишь внешние факты моей жизни. [...] в жизни так трудно разобраться, да еще в своей [...] да и так ли интересно, какую одежду я носил в 1917 году, имел ли недвижимую собственность и добродетельных родственников [...] Впрочем, еще труднее написать автобиографию «автотворчества»².

«Жизнь моя — тема романа — борьба с замкнутостью при страстном желании демократичности.

Это выражается не только в моем характере, что в конце концов дело мое и мало кого касается, но это выражается в моем творчестве, что уже представляет некоторый литературный интерес. [...]

А ведь странно, когда человек в одном году пишет

¹ «Наш современник», 1957, № 3, с. 189. Там, где не указано место публикации, цитаты взяты из личного архива Вс. Иванова.

² «Переписка с Горьким», с. 317—318.

«Партизаны», а в другом «Бронепоезд» или, того вычурней, «Цветные ветра».

Что это — поиски формы?

Только отчасти. Мне кажется, поиски демократизма, т. е. поиски того, чтобы возможно проще говорить с народом. Дело в том, что говорить-то хотелось»¹.

«Первая рецензия на мой труд начиналась словами: «Ходит птичка весело по тропинке бедствий».

Напечатано это было в газете «Согры», единожды в жизни моей (в Омске) редактированной, номер которой я сам набрал, сам почти весь написал и сам продавал (очень плохо), номере, не уцелевшем совсем!»²

Записывая это, Всеволод не знал, что «Согры» уцелели и экземпляр их находится в архиве города Омска.

А теперь в его собственном архиве лежит фотокопия этого уникального экземпляра.

«Когда я написал повесть «Партизаны», М. Горький передал ее в редакцию журнала «Красная новь». В основу повести легло подлинное событие, услышанное в Сибири.

Как это частенько бывает у молодых писателей, еще слабо уверенных в своей силе, написав первую, большую по сравнению с предыдущими, вещь, я решил, что исчерпал весь свой жизненный материал».

«Литература — та же война, с невежеством, слепотой, бескультурьем, бесчеловечностью, война за добро, за человеколюбие. И вести эту войну необходимо с верой в человеческое сердце».

«Опираясь на добро, человеческий ум способен совершать чудеса»³.

«Странно — и все же правда: сознание, что я выдохся, неутомимо преследовало меня. [...] Тогда меня мучило полное отсутствие замыслов! Происходило это не оттого, что у меня мал или ограничен был круг наблюдений, — наоборот, он был огромен, а оттого, что я не умел выбирать важнейший факт и сосредоточивать свои наблюдения вокруг него. [...] Я плохо понимал еще, что искусство заключается в умении превращать ничтожный факт в огромное событие.

Однако факты жизни, встречи с «серапионами», равно как и встречи с пролеткультовцами, — те и другие хотя и по-разному упивались новой литературой, грезили о ней, —

¹ «Переписка с Горьким», с. 379

² «Всеволод Иванов — писатель и человек». М., 1975.

³ «Переписка с Горьким».

учили, поощряли меня, толкали к тому, что у нас сейчас называется «овладением мастерства».

[...] В сущности говоря, радоваться бы да радоваться. Откуда появляться мрачным рассказам?

[...] Ответ приблизительно такой: я не задавался прямой задачей писать мрачное и тяжелое, но согласитесь, что путь к этим приятным сравнительно дням, которые мы с вами переживаем, был хотя и головокружительно прекрасен, но вместе с тем был для меня и горемычным, и тяжелым, и печальным. И нужно рассказать по возможности все об этом пути, чтобы последующие поколения понимали и ценили эти трудности. Все забывается, особенно, если человек поскорее стремится уйти подальше от страданий и горечи»¹.

«Будущий исследователь [...] скажет: «Боже мой, какой Всеволод Вячеславович был мизантроп». Вовсе не так [...] сам я в конце концов жил счастливо, я страдал во имя интересов моей страны — потому что если уж в такой стране, где были Чехов и Достоевский, быть писателем, то надо быть очень хорошим, а для этого необходимо полностью развить себя»².

ПЕРВЫЕ НАШИ ВСТРЕЧИ

Всеволод любил людей и верил в них.

Жили мы в начале нашего сближения врозь (хоть он и настаивал на немедленном соединении), но все время, за исключением своих рабочих часов, мы проводили всегда вместе.

Годами я была моложе Всеволода всего на пять лет (мне двадцать семь, ему тридцать два года), жизненным же опытом и образованностью (пусть он и любил называть себя самоучкой) куда ниже, чем он.

Однако особа я была самоуверенная и позволяла себе учить Всеволода тому, что принято называть элементарной вежливостью и воспитанностью. Всеволоду, разумеется, негде было этого набраться в его босяцком детстве и юности. А я хоть тоже получила не ахти какое светское воспитание, но все же родилась в Москве, окончила московскую гимназию, режиссерские мастерские имени Мейерхольда и побывала к тому времени актрисой его театра и Театра Революции.

¹ «История моих книг». — «Наш современник», 1957, № 3, с. 143, 146.

² «Переписка с Горьким», с. 413—414.

Пока жизнь не обкатала Всеволода, он все время совершал промахи, нарушая принятые правила вежливости.

Скажем, в самом начале нашего знакомства я пришла к нему в «Красную новь», где он заведовал одно время редакциями и прозы и поэзии, и увидела его сидящим в непринужденной позе в кресле, а напротив него стояла худенькая старушка. (Во всяком случае, мне она показалась старушкой.) Не вставая мне навстречу, он сказал: «Знакомьтесь, Щепкина-Куперник», — и в мою сторону: «Актриса Каширина». Я засуетилась, предлагая Щепкиной-Куперник стул, от которого та отказалась. После ее ухода я накинулась на Всеволода: «Как, мол, вы могли сидеть, не предложив ей сесть?» А он невозмутимо парировал: «Если она хотела сесть, кто же ей мешал?»

Тут у него все было перемешано — и чрезвычайная застенчивость, и глубочайшее убеждение, что человек, тем более старше его возрастом, сам лучше, чем он, знает, как ему надлежит себя вести.

На генеральной репетиции «Бронепоезда», которая происходила в фойе, Всеволод познакомил меня с К. С. Станиславским.

На репетиции этой было много именитых зрителей, в том числе тех, кто мог решить судьбу спектакля.

Константин Сергеевич проявил по отношению к Всеволоду необыкновенную любезность. По окончании репетиции он проводил нас до вешалки и сам подал Всеволоду пальто. Когда мы вышли из театра, я не преминула выговорить Всеволоду, как, мол, ты мог допустить, чтобы «гениальный старик» тебе, мальчишке, подавал пальто.

Всеволод в свои тогдашние тридцать два года сам отнюдь не считал себя «мальчишкой», хотя был очень скромен и подать себе пальто разрешил Станиславскому лишь от крайнего смущения.

И как в драматурге он в себе сильно сомневался, неслышанно волновался не только на этой, но и на следующей генеральной, которая происходила уже в театральном зале при публике.

Сидели мы на этой репетиции рядом со Станиславским, все время Всеволода подбадривавшим.

«Бронепоезд» имел оглушительный успех. Всеволода без конца вызывали и даже качали на сцене. А он вообразил, что это «розыгрыш», и никак его было не убедить в противном.

После премьеры в Художественном театре мы поехали на премьеру в Ленинград — в Александринский театр.

В ту пору его обижал мой отказ съехаться и жить под одной крышей. Он это неправильно перетолковывал. Мною руководила забота о детях, которые и у него, и у меня были от предшествующих браков. А он, будучи очень ревнивым, подозревал меня в желании вести «свободный» образ жизни. В Ленинграде Всеволод всем торопился представить меня как свою жену. Даже телеграмму в театр послал: «Приеду женой Тamarой Владимировной».

Ленинградский спектакль Всеволоду так не понравился, что он ушел с него, не досмотрев до конца. (О чем впоследствии очень сожалел.)

В черновике «Истории моих книг» есть такая запись:

«Орша. — «Бронепоезд» на еврейском языке. «Бронепоезд» в Ленинграде. Реализм Станиславского мне больше понравился, чем конструкция Н. Петрова, не потому, что не привились еще, а потому, что во МХАТе — талантливые актеры, хотя в Александринке играл Певцов, но ансамбля не было. Я сделал глупость — ушел».

ПЕРВАЯ СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА

Весной 1928 года решили мы проехаться по Военно-Грузинской дороге, которой я еще не видела. (И никогда не увидела.)

Всеволод пошел покупать билеты и, так как до Владикавказа их в кассе международных вагонов не оказалось, купил до Ташкента.

Я согласилась и на Ташкент.

Наша поездка была до того приятной и дружной, что Всеволод возмечтал продлить ее, елико возможно, и хлопотать в Баку о разрешении ехать в Персию¹. Что было явной утопией.

В Самарканд мы приехали ночью, свободных комнат в гостинице не оказалось, и спали мы на газетных кипах в местной конторе «Известий».

Самарканд необыкновенно понравился, показались заманчиво привлекательными и мечети, и наклонный минарет, и узенькие улочки, где только стены да двери, а окон совсем нет и попадаются навстречу ослики с поклажей да женщины в паранджах. Крытый базар показался и вовсе из новелл

¹ Тогда Иран называли Персией.

«Тысячи и одной ночи». Темные ряды базара испещрены солнечными бликами, восседают в них никогда дотоле не виданные мною люди и продают невиданные товары, например бутылки и прочие изделия из тыквы или бусы из крашенных фруктовых косточек. А чего стоят чайханы на берегу хаусов!

Все было для меня увлекательно необычно, а ему нравилось открывать для меня неведомый мне мир; вот мы всему и радовались и веселились, как можно веселиться только в молодости.

В Ашхабаде (свободный номер в гостинице там, к счастью, нашелся) я отказалась с кем бы то ни было знакомиться, и мы замечательно провели время вдвоем. Даже сделали один шаг (в буквальном смысле) в Персию, доехав на машине до ее границы.

Плыли мы из Красноводска в Баку с приключениями. Нас очень веселило название города — «Красноводск»!

В 1928 году, когда мы приехали туда, там не было абсолютно никакой воды, ни белого, ни красного, ни какого-либо другого цвета.

К счастью для нас — был нарзан. Его мы пили, им и мылись.

Когда мы погрузились на утлое суденышко, начался шторм. Судно вышло в море, но вскоре вернулось обратно. Так повторялось дважды.

Всю штормовую ночь нас немилосердно качало под утробные вопли и стоны палубных пассажиров.

На всем пути от Москвы до Баку, через Ташкент, Самарканд, Ашхабад, Красноводск Всеволод лелеял мечту о нашей поездке из Баку в Персию.

Я наивно верила в реальность его мечты и ничем ее не омрачала.

Мы были вовсе не похожими друг на друга людьми, скорее наоборот. Но мы умели одинаково чувствовать — в этом мы были едины, и это нас неразрывно спаяло.

С тех самых пор и на протяжении всей нашей совместной жизни, при любых ее перипетиях, мы всегда были друг для друга не «он» и «я» или «она» и «я», а неразрывное «мы».

В понятие «мы» с какого-то периода включены были и дети.

В большинстве писем ко мне Всеволода (начиная при-

мерно с сороковых годов) стоит обращение «Тамара и дети».

А в большинстве его дневниковых записей начисто отсутствует местоимение «Я», замененное им на «мы».

КОНЕЦ ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ

В 29 году мне все же пришлось согласиться съехаться со Всеволодом. На то было много причин, главной из которых была психологическая для него невозможность раздельной со мной жизни.

Он усыновил моих детей, которым стал и до конца своей жизни оставался прекрасным отцом.

Я предлагала взять в нашу семью его девочку, но ее мать этого не захотела.

В конце двадцатых годов Всеволод писал сразу два романа. Один из них, под названием «У», был отчасти навеян нашими поисками квартиры, во время которых мы сталкивались с самыми разнообразными людьми, многие из которых были весьма причудливыми персонажами.

Особенно богатый улов в этом смысле представился в одном из особнячков, находившемся в Обыденском переулке на тогдашней Остоженке (теперь — Метростроевская).

Этот одноэтажный особнячок с антресолями был заселен необыкновенно густо (почти все комнаты были перегорожены фанерными перегородками, причем в некоторых комнатах перегородки шли не только вертикально, но и горизонтально, создавая некое подобие ночлежки с нарами, которые не давали возможности выпрямиться — передвигаться там можно было только согнувшись).

Инициатором обмена этого особнячка на мои две комнаты являлся бывший бразильский (как он уверял) консул, родственник бывшей хозяйки дома.

Бывший консул утверждал, что так как их, его и бывшую владелицу, вполне устраивают мои обменные комнаты, то от остальных жильцов легко будет «откупиться».

Мы долго ходили в этот особнячок, выслушивая от консула и прочих обитателей самые фантастические истории. Коронным номером консула был рассказ о том, как он пытался переправить за границу «фамильные» бриллианты бывшей владелицы. За границей у нее сын, ему-то и надлежало переправить бриллианты.

Было сварено вишневое варенье (без косточек), выловлены из него некоторые из ягод и в каждую из них аккуратно

засунуто по бриллианту, после чего ягоды вновь были опущены в сироп и смешаны с остальным вареньем.

Доставка хитроумного варенья была поручена племяннику консула, ехавшему в командировку.

Но прозорливый таможенник, проверяя на границе багаж пассажиров, усмотрел подвох и приказал племяннику консула высадиться из поезда со всеми его пожитками.

Племянника повели в служебное помещение, а он, не будь дурак, начал по дороге заглатывать ягоды с бриллиантами, выбирая их на ощупь из банки.

Но и таможенники тоже не дураки. Положили племянника в лазарет, дали ему касторки и держали до тех пор, пока не приняли по счету всех бриллиантов.

Когда, придя домой, я сказала Всеволоду, что, по-моему, консул всю эту историю выдумал «для интереса», Всеволод мне возразил, что если бы история была выдуманной, то присутствовавшая при рассказе владелица не сокрушалась бы столь искренне.

Тогда я заявила, если и вправду бриллианты существовали, значит, их украли консул и его племянник.

Всеволод долго хохотал и сказал, что я ему напоминаю моего племянника Бобу, о случае с которым сама же Всеволоду и рассказывала.

А случай был такой. Повела я пятилетнюю дочь Таню и восьмилетнего Бобу в цирк. Таню пленил и совершенно очаровал фокусник Кио, и Боба изо всех сил стремился ее разочаровать, изобретая «реальные» объяснения всем чудесам Кио.

— Видишь, видишь, — вон проволока! Приглядишься — сразу станет ясно, что в сундуке двойное дно!

И до тех пор допекал Бобка Таню своими разоблачениями, пока она не заплакала.

Всеволод объяснил мне, что для него не имеет никакого значения, выдумывают ли консул и прочие жители особнячка рассказываемые ими истории или эти истории действительно с ними происходили.

Имеют значение лишь сами рассказчики, ибо каждый из них — персонаж.

Но если все эти отвлеченные от насущной для нас действительности басни и побасенки интересовали Всеволода как литературный материал, меня-то интересовала вполне конкретная реальность — есть ли хоть какой-то шанс обратить этот фантастический ковчег в жилище для нас.

Нетрудно было уяснить себе, что ни малейшего шанса

не существует, — чтобы всех их расселить, потребовалось бы выстроить не менее чем пятиэтажный квартирный дом. Но Всеволод не мог сразу покинуть этот кладезь, суливший ему столько заманчивых находок (а то ли еще будет, если порыться на чердаке и в подвале).

Всеволод долго ходил, и со мной и один, в «свой» особняк, и многим из его обитателей суждено было стать прототипами героев романа «У». Прототипами, разумеется, претворенными на всеволодовский лад, перебродившими в горниле его фантазии.

Второй роман, над которым Всеволод начал работать раньше, чем над «У», носил название «Кремль». В январе 1981 года он вышел в издательстве «Художественная литература» под названием «Ужгинский кремль».

Над «Кремлем» Всеволод думал давно. В первоначальном замысле роман носил название «Казачи», и именно о нем писал Всеволод Горькому в письме от 20 декабря 1925 года.

Всеволод сжег рукопись романа «Казачи» вместе с рукописью другого своего романа того периода, носившего название «Северосталь».

В период сожжения им этих романов я еще не была знакома со Всеволодом.

Но потом-то Всеволод рассказывал мне, когда, как и почему он уничтожил роман «Северосталь». О «Казачах» он говорил не так определенно, вероятно, потому, что не отказался от основного замысла.

Но вспоминая об уничтожении «Северостали» в разные периоды жизни, он то одобрял свой поступок, то сетовал, считая, что ничего уничтожать не надо. Полезно сохранить, хотя бы для ретроспективного взгляда на самого себя и на свое творчество.

Основная причина неприятия Всеволодом романа «Северосталь» была, по его словам, та, что роман получался у него банальным, «как у всех».

Если сравнить первоначальный замысел романа «Казачи», подробно изложенный в письме к Горькому, с некоторыми сюжетными линиями «Кремля», становится совершенно очевидным, что многое из задуманного для «Казачков» было транспонировано для «Кремля».

Изменен лишь фон, изменена среда.

В «Кремле» Всеволод взял фоном некий уездный старинный город, где существует по одну сторону реки кремль с

множеством церквей, по другую — ткацкая мануфактура, т. е. фабрика.

С одной стороны — рабочая среда в процессе нового становления, с другой — обыватели, их быт и сознание, приходящие в упадок. Они противоборствуют, но и та и другая среда полны противоречий переходного периода (начало нэпа).

К 1929 году работа над «Кремлем» была уже в разгаре.

П. Жаткин пишет в своих воспоминаниях¹, что ездил со Всеволодом в Ярославль, не указывая года, но, сопоставив факты, я решила, что их поездку надо датировать 1926 годом.

Всеволод много рассказывал мне об Ярославле и говорил, что его интересуют и другие старинные города, где сохранились древние кремли, но есть и мануфактуры.

ВТОРАЯ СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА

Весной 29 года Всеволод надумал поехать в Углич (где еще не бывал), а также заехать в Ярославль (где бывал уже неоднократно).

Поскольку Всеволод неразлучен со мной, он усиленно зовет меня ехать с ним.

Я понимаю, что ехать ему надо, да мне и самой хочется проехаться — повидать вместе с ним места, о которых он мне уже столько порассказал.

Но к Москве привязывают меня дети и их летняя неустрашенность — необходимо снять дачу.

Дочь Всеволода давно на даче. Еще до встречи со мной им был куплен на имя Анны Павловны Весниной, которая была до меня женой Всеволода, дом в Голицыне. По взаимному уговору, все, приобретенное в том браке, решено оставить Анне Павловне, включая доверенность (на три года вперед) на получение денег за шедший по всей стране «Бронепоезд».

Квартиры мы еще не нашли, все наши поиски пока ни к чему не привели.

А в августе мне предстоит разрешиться третьим ребенком, к появлению которого тоже ничего не подготовлено.

И все же во второй половине мая Всеволод уговаривает меня на совместную поездку. Убеждает, что в пути мы и дачу подыщем.

¹ «Всеволод Иванов — писатель и человек».

Я поручаю своему брату следить за объявлениями об обмене и решаюсь уехать.

Всеволод пребывает в полнейшем восторге. Мы — вместе. Мы едем вместе уже не в прогулочную, а в рабочую поездку — на сбор материала для его капитального труда. Он решает ехать в Углич пароходом с верховья Волги — из Кимр.

До Кимр мы добираемся дачным поездом.

Я еще не взяла в свои руки бразды правления, еще не поняла, что мне необходимо научиться организовывать все детали нашего быта, в том числе и поездки. Необходимо потому, что Всеволод на это органически не способен, а может быть, просто привык жить, как получится, ничего заранее не планируя.

Едем мы в Кимры наобум. Понятия не имеем, когда будет пароход на Углич да и будет ли вообще такой пароход.

Но нам повезло. Прибываем мы в Кимры вечером и узнаем, на пристани, что ночью пароход на Углич пойдет.

Пока ждем на пристани, успеваем познакомиться с другими пассажирами. Это все — мужики, бабы, именно такие, какие нужны Всеволоду для «Кремля».

Пароходик маленький, но имеется первый класс, и мы получаем отдельную каюту. Остаток ночи мы спим под уютное поскрипывание и покачивание.

А утром наглядеться не можем на открывшуюся перед нами красоту.

Углич показывается издалека и воспринимается нами как венец этой красоты.

Скорее туда.

Там все рядом: и горсовет, и гостиница, и музей, и трактир.

Из горсовета сразу направились в музей.

Музей оказался великолепным: множество экспонатов было свезено в него из окрестных усадеб.

Гостиница — старинная и тоже незаменимая находка для «Кремля», а уж коридорный и вовсе так и просится в роман.

Трактир и главным образом его посетители тоже были словно по заказу предоставлены Всеволоду.

Углич так понравился, что мы решили завтра же с утра искать помещение для своей летней жизни. Снимем, дадим задаток. Наскоро заедем в Ярославль. И поскорее в Москву — за детьми. Потом на все лето сюда.

Но это только говорится — на все лето. В августе мне

ведь предстоят роды, а рожать как-никак надо в соответствующей этому событию обстановке.

Бегло изучив город, я поняла, что рожать здесь было бы безумием, а везти сюда детей на короткий срок — тоже довольно неразумно.

Всеволоду я пока ничего не говорю — зачем заранее огорчать.

Он воодушевленно бегаёт по избам Заречной слободы и радостно останавливается на самой неподходящей, в которой и вдвоем-то, даже и с элементарными удобствами, не обоснуешься, не говоря уж о том, что для жизни с детьми изба вовсе непригодна.

Я сразу понимаю, что именно так пленило Всеволода: пленил его хозяин избы, чья черная борода, при седых волосах, заманчиво вырисовывается на фоне темных бревенчатых стен, увешанных старинными иконами.

Хозяин не промах; заметив ажиотаж нанимателя, он заломил непомерную цену. Да и деньги требует вперед.

Я не хочу огорчать Всеволода, не хочу лишать его этой, пусть и кратковременной радости, поэтому начинаю торговаться и доторговываюсь до сот и, которой и одариваю чернобородого старика.

Всеволод преисполнен истинным ликованием и, усевшись на завалинку, тут же принимается что-то записывать.

Мы прощаемся с хозяином избы, взаимно довольные друг другом.

Теперь Всеволоду не терпится уехать, чтобы поскорее вернуться обратно.

Дождаясь отправки, пассажиры просиживали на пристани сутками.

Мы тоже сидим на пристани много часов. Там же, среди ожидающих, мается рожающая баба, которую не приняла местная больница (родильное отделение закрыто на ремонт), и ей надо теперь плыть вверх по течению. Окружающие щедро подают советы сопровождающей бабу старухе: одни говорят, что парохода все равно не дожидаться, лучше лошадь до Чугунки (60 километров) нанять; другие, что тут, в Угличе, хорошая акушерка есть — домой к себе иногда соглашается принимать, и т. д.

Пароход наконец приходит, и рожающая баба благополучно погружается на него и благополучно сходит на той пристани, где есть родильный дом.

Но покричать она таки покричала, пока доехали. И криками ее был полон весь небольшой пароход.

Всеволод, казалось, был целиком поглощен записыванием угличских впечатлений, и все же на крики женщины он не мог не реагировать.

Оторвавшись от своих записей, он решительно сказал: — Знаешь, лучше мы вернемся в Углич на будущий год, старик же, несомненно, честный, он нам задаток и тогда зачет.

Я ответила:

— Конечно. Пошлю ему письмо, пусть не ждет нас раньше будущего года. Этим летом он, возможно, сумеет сдать свою избу еще кому-нибудь.

— На такую избу желающих найдется сколько угодно. А откуда же взять его адрес?

— Разве ты не заметил, что я записала?

— Замечательно! С тобой мы не пропадем. А старик все-таки великолепен!

Волга постепенно расширяется, и плыть по-прежнему приятно, а главное — приятно то, что наступило наконец между нами полное взаимное понимание, мир и покой.

Ярославль тоже оказался необыкновенно красивым, и Всеволод, едва мы устроились в гостинице, ринулся показывать мне его достопримечательности.

Увлеченно рассказывая и показывая, Всеволод вспомнил свою предшествовавшую поездку с Жаткиным и послал ему письмо, которое тот приводит в своих воспоминаниях.

Церкви и фрески на стенах притворов и папертей, которые Всеволод мне показывает, радуясь, что я заражаюсь его восторгом, приводят нас обоих в полное восхищение.

Здесь нам всюду сопутствовал Иван Петрович Малютин, чрезвычайно ласковый старичок. Он был знаком Всеволоду еще по Сибири.

У Ивана Петровича очень сложная биография и большая семья, но за всю мою длинную жизнь мне не привелось встречать большего, чем он, оптимиста.

Он никогда не падал духом и всюду находил, чему радоваться, а на восьмом десятке своей жизни (умер он, немногим не дотянув до 90 лет, и незадолго до смерти был принят в Союз писателей), находясь в Казахстане и потеряв последние зубы, писал Всеволоду: «...выпали у меня, наконец, все зубы. То-то хорошо! Сколько я с ними мучился. А оказывается, совершенно они не нужны. Обхожусь без них превосходно, а болеть уже не будучи». Все члены семьи Ивана Пет-

ровича претерпевали непрестанные бедствия, но он не унывал и окружающих убеждал, что «все к лучшему!».

Иван Петрович был близко знаком не только со Всеволодом, но и с А. А. Фадеевым. Об этом подробнее пишу в очерке об Александре Александровиче.

На второй или на третий день приятной нашей ярославской жизни наступила жара.

А ведь в Москве у меня остались дети, которых надо вывезти на дачу.

Мне совсем не хотелось прерывать поездку, да и нельзя ее прерывать из-за «Кремля», но искать какой-то компромиссный выход необходимо.

Я принялась доказывать Всеволоду, стараясь изо всех сил, исподволь довести его до нужного решения, что если я ему не помеха при осмотре церквей и пейзажей, то на мануфактуры ему удобнее ходить без меня, одному или же с Иваном Петровичем.

А если так, то зачем мне торчать одной в гостинице, не лучше ли уехать в Москву и, пока он здесь будет собирать материал на мануфактурах, найти дачу — перевезти туда детей, а если повзмет, то сдвинуть с мертвой точки и обмен моих комнат на квартиру.

Расставаться нам обоим очень не хотелось, но я все же уговорила Всеволода. Скрепя сердце он проводил меня на вокзал. И остался собирать материал для романа. Сбор материалов для романа — в данном случае это всего лишь стереотипное определение.

Для более точного уяснения надо понять, что представлял тогда этот «материал» для Всеволода.

Попробую определить по-иному: поиски впечатлений, могущих стать отправными точками для возбуждения творческой фантазии.

В другие периоды дело обстояло иначе.

Скажем, для романа «Пархоменко» Всеволод собирал материалы в полном смысле этого слова. Тут он старался набрать как можно больше достоверных реалий из жизни своего подлинно существовавшего героя. Для «Эдесской святыни» прочитал несметное количество книг по истории Византии и вообще Востока.

Впрочем, книги он читал всю жизнь, ежедневно (и по поводу, и без определенного повода).

Для «Кремля» Углич, Ярославль нужны были Всеволоду

не в поисках бытовых уточнений, а эмоциональных впечатлений, призванных послужить общему замыслу романа. Они преображались в фокусе его фантазмагорического видения, становились компонентами, необходимыми для задуманного Всеволодом широкого эпического полотна.

Разумеется, я поняла это не тогда, а много позже, когда читала и осмысливала для себя роман, а может быть, даже и еще позже, когда, уже после смерти Всеволода, заново перечитывала роман и впервые читала дневники.

Роман «Ужгинский кремль», доведенный до конца вариант романа «Кремль», к которому при публикации прибавлено определение — Ужгинский, датируется самым началом 30-х годов. Через полвека, ознакомившись со взглядами на творческий процесс в изложении знаменитого и, по-моему, лучшего мастера современного кино Феллини, я обнаружила, что во многом эти взгляды применимы к композиции романа «Ужгинский кремль».

Феллини пишет, что он — «антисвидетель», ибо реальна для него лишь фантазия, то есть то, что пропущено через его индивидуальное восприятие. Он утверждает: «Человеческий глаз видит реальность со всем присущим человеку зарядом эмоций, идей, предрассудков культуры... Чем больше ты стремишься подражать действительности, тем скорее скатишься к подделке». Неподдельна же для Феллини только творческая фантазия, и для него «каждое произведение искусства живет в том измерении, в каком оно задумано и в каком передано автором».

А у Всеволода есть запись:

«Величественное — наивно. Великое искусство — тоже наивно. Полезно, конечно, когда великий художник много знает и многому научен, но, пожалуй, еще лучше, когда он знает меньше, а больше чувствует: знания в его области придут к нему тогда из его опыта».

«...Для того, чтобы бороться за напечатанное, нужно верить в свои силы. Не может того быть, чтобы не было выхода. Но мне всегда хотелось перешагнуть через свои недостатки, и я боролся по-своему, заново начинал работу, продолжая оттачивать стиль».

Обычно, работая над стилем, писатель вносит изменения в уже написанное.

Но не Всеволод Иванов. Он никогда не вносил поправок и изменений *сам* (подчеркнуто мною), а только если того требовала, всегда бывшая для него крайне мучительной, редакция. По собственной воле он ничего (за очень редким

исключением) в уже написанном не изменял, а начинал все заново.

Скажем, тот вариант «Ужгинского кремля», что сейчас издан, лежал нетронутым. А новые варианты, не доводя их до конца, Всеволод писал всю жизнь. Последний — всего несколько страниц — начат им за год до смерти, в 1962 году.

Уверена, что «Литературное наследство» издаст когда-нибудь (я-то, бесспорно, уже не увижу) том, специально посвященный вариантам «Ужгинского кремля», каждый из которых является началом самостоятельного романа, насчитывающим иногда сотни, иногда всего лишь десятки страниц.

Писатель непрерывно, по его определению, «работал над стилем». А стиль был для него неотделим от содержания. Вносимые в содержание изменения требовали нового стиля, а значит, и новых поисков.

БЫТ НАШ НАЛАЖИВАЕТСЯ

Вернувшись в Москву, я энергично принялась, с помощью брата, который не отпускал меня никуда одну (как-никак я приближалась уже к восьмому месяцу беременности), искать дачу.

В «Вечерней Москве» публиковались тогда объявления дачевладельцев, сдающих свои дачи внаем.

По следам этих объявлений мы и ездили в 50-километровом радиусе вокруг Москвы, по всем железнодорожным станциям.

Найти что-нибудь подходящее, как всегда, было очень трудно. То цена оказывалась непомерной и нам не по средствам, то предлагаемое помещение было чересчур тесным и убогим — никак там не представлялось возможным отделить Всеволода от детского шума и крика.

Дачехозяева попадались самые причудливые, например бывший лакей самого Николая II.

Я, памятуя Всеволодовы наставления, что если и врет, но интересно врет, все равно послушать вполне стоит, жалела, что Всеволод не видит и не слышит всех встреченных нами «чудиков».

Наконец дачу нашли.

Тогда эта станция Савеловской железной дороги называлась Влахернской. Теперь там проходит канал, и станция эта называется, кажется, «Пионерская».

Дача, вернее — не дача, а три избушки на курьих

ножках, принадлежала вдове художника Иванова. Художник этот построил в густом лесу несколько избушек (для себя размером побольше — для друзей поменьше), которые находились довольно далеко от железной дороги, примерно в часе пешего хода.

Но такие детали меня тогда не смущали.

За находкой дачи последовала и вторая — еще более существенная удача.

Нашлась подходящая для обмена квартира на 1-й Мещанской улице (теперь проспект Мира).

Квартиру эту из пяти комнат занимал некогда инженер. Его уплотнили. В одной из комнат его бывшей отдельной квартиры поселили двух холостых рабочих. Те поженились. Тогда инженер, ими стесненный, дал объявление об обмене.

Молодожены рабочие, принужденные жить вчетвером в одной комнате, ссорились между собой и жаждали разъехаться. На этом их желании инженер строил утверждение, что квартира его «все равно что отдельная», так как уплотнители мечтают оттуда уехать.

Опрошенные уплотнители подтвердили, что не прочь разъехаться.

Дело оставалось за небольшим: во-первых, пайти для них две комнаты, во-вторых, раздобыть денег на покупку комнат.

Кроме того, «отдельная» эта квартира требовала капитального ремонта.

На дачу можно и даже необходимо было переехать, вернее — перевезти детей, до возвращения Всеволода.

С квартирой дело обстояло сложнее. Такую сумму денег, которая на нее требовалась, не займешь временно у знакомых. Однако инженеру так приглянулись мои обменные комнаты, что он согласен был ждать.

Всеволод пребывал в отличном настроении и писал мне веселые письма.

Письмо из Ярославля в Москву.

«30. 5. 29 г.

Дорогая Тамара, — встал в 9 час. утра, заснув в 12; съел яичницу и без удовольствия прочел местную газету, при чтении которой обжег язык горячим чаем.

Погода хорошая.

Дует ветер.

Уезжаю на «Красный Перекоп» в чайнии оптимистических сведений о жизни человеческой.

Переменил № — взял который подешевле — вот и вся моя жизнь.

Целую. *Всеволод*».

Открытка из Ярославля в Москву.

«31. 5. 29 г.

Дорогая Тамара, — вчера посетил много важных мест, необходимых для романа, а вечером выступал в Педагогическом институте. Иду опять на охоту в «Красн. Перекоп»...

Как твои делишки?

Погода хорошая, вчера был большой дождь и нонче нет пыли. Сплю хорошо и клопов нету.

Пиши и трудись, а я тебя целую.

Всеволод.

— Купил часы, маленькие, с недельным заводом за 17 руб. И еще песочные, но боюсь разобью их пока доведу¹.

В.».

Письмо из Ярославля в Москву.

«2. 6. 29 г.

Дорогая Тамара, — посылаю требуемую анкету. Проставь в ней только когда, с какого числа проживаю.

Целую тебя крепко.

Твоя дамочка, конечно, тебя надует — факт.

Какой я здесь секретер видел, ужасно!

Всего доброго.

Всеволод.

— Народу посмотрел я на пять романов...

В.».

Открытка из Ярославля в Москву.

¹ Всеволод был прирожденным коллекционером (как и Горький). Он всегда что-нибудь коллекционировал. В тот период увлекался часами.

«3. 6. 29 г.

Дорогая Тамара, — крепко тебя целую. Как твои дела? Как дача и прочее? Письма вчера от тебя не получил.

Я по-прежнему хожу по людям. Должно быть, уже в Юрьеvec я не поеду, а направлюсь прямо в Москву, по дороге заехав в Ростов и Переславль-Залесский — все это на ж. д. пути. Народу я здесь нашел интересного — тьму, не знаю, куда его и вместить только...

Погодка ветреная и холодная.

— Не пей воды — сырой!..

Выеду я не раньше четверга или пятницы и буду в Москве не раньше воскресенья.

Привет. *Всеволод*».

Письмо из Ярославля в Москву.

«3. 6. 29 г.

Здравствуй, дорогая Тамара, — прости, что не пишу так подробно, как ты: не умею, а также не могу посоветовать тебе не пить воды из Москвы-реки!

Брожу по фабрике: видал много любопытного, по части быта, того, чего не придумаешь — «Жирик на вещь», так сказать: не совсем нужное, но для дураков и критиков убедительное.

Во вторник поеду утром в Ростов Великий, это в 60 верстах от Ярославля, а в среду в Юрьеvec, а оттуда в Москву.

Письмо твое получил: идут письма ровно один день. Чувствительно благодарю — и тебя и почту.

Посмотри на карту: поезда из Костромы есть, и идут они через станцию Нерехта, через Ярославль на Москву. Шляпа!..

Иван Петрович ласковый, но чрезвычайно утомительный старичок, но так как я собираю «жир», то и отношусь к нему как субъекту из книги — и примиряюсь.

Целую тебя крепко.

Всеволод».

Открытка из Ярославля в Москву.

«4. 6. 29 г.

Дорогая Тамара, целую тебя крепко и желаю тебе всего хорошего.

Как дела с дачей? Получил от тебя вчера сразу два письма и вижу — утешительного мало.

Говорят, по ж. д. на Москву есть городок Переславль-Залесский, очень красивый и стоит на озере, — но туда тоже от станции 12 верст надо ехать на лошадях. Или, может быть, мне поехать на Волгу, в Плес и узнать все? Как ты думаешь — сообщи...

Выеду я, наверное, в среду вечером, а приеду, скорей всего, в пятницу днем.

Целую.
Всеволод».

БЫТ НАШ НАЛАЖИВАЕТСЯ

(Продолжение)

Вернувшись в Москву, Всеволод был совершенно восхищен всеми моими мероприятиями.

Ивановские избушки понравились ему чрезвычайно.

Квартира понравилась еще того больше, и главным образом потому, что под ней — она находилась на первом этаже, окнами во двор — находились какие-то таинственные «пустоты»; об этих пустотах, существование коих инженер, неспособный прозреть полет фантазии писателя, начисто от нас скрыл, а сообщил один из уплотнителей, которому нам предстояло покупать комнату.

Этот уплотнитель, равно как и его супруга, вообще оказались крайне каверзными. Из чистой злобности, во вред собственным интересам, они долго и упорно разными способами препятствовали обмену, в котором прежде всего сами же и были заинтересованы.

Злобная эта пара то принималась исчислять недостатки квартиры инженера (печи развалены, дымоходы забиты, пол из-за пустот под ним ледяной — натопить невозможно), то начинала предъявлять невыполнимые требования к своей будущей комнате, которую мы брались купить им.

Это был конец нэпа, и такие покупки были вполне законны и возможны.

Если бы не другая, более покладистая пара, на все готовая, лишь бы только разъехаться со второй парой, дело так бы и не сдвинулось.

Всеволод интересовался прежде всего «пустотами», проектируя приспособить их под бильярдную.

Но с деньгами у нас было туго.

Выручил «ГИХЛ».

Всеволоду удалось получить там аванс, заключив договор на роман «Кремль», который, как Всеволод считал, близился к завершению.

Лишь только Всеволод получил этот аванс, мы окончательно договорились с инженером и приступили к поиску комнат для его уплотнителей.

К ремонту приступили сразу же.

Пустоты оказались не столь велики, их невозможно было использовать под бильярдную.

Но ведь не так уж она была нужна Всеволоду — эта бильярдная — фантазировать было ему приятно. Не был он завятым бильярдистом. Но в Голицыне, у Анны Павловны, осталось два бильярда: один стоял в комнате, другой, в разобранном виде, лежал в сарае. Зачем купил Всеволод сразу 2 бильярда? Он был не способен вразумительно ответить на этот вопрос. Можно предположить, что, когда впервые в жизни у него появилось много денег (первое Собр. соч., «Бронепоезд» по всей стране), деньги словно бы жгли ему руки, и он торопился как можно скорее их истратить, покупая не только книги, но и старинную мебель, в том числе и абсолютно бесполезные предметы, для дома в Голицыне.

Пустоты пришлось засыпать щебнем и шлаком.

Ремонтом взялся руководить мой брат, Николай Владимирович, а мы отбыли к детям во Влахернскую, в избушки художника Иванова, писать роман «Кремль».

В романе этом наметилось столько персонажей, что, дабы не запутаться в их передвижениях, Всеволод заказал все тому же благодетелю, Николаю Владимировичу, изготовить на каждый персонаж по человечку.

Человечки были изготовлены из фанеры и художественно раскрашены сообразно своему типу.

Чтобы удобнее было их двигать из главы в главу, стояли человечки на подставочках.

Но двигать их Всеволоду быстро наскучило, к тому же, как выяснилось, это не упрощало, а еще более усложняло дело.

Так что очень скоро человечки были подарены детям, которые их, конечно, растеряли. О чем я жалею. Надо было бы сохранить их как архивную редкость.

Хотя не сам Всеволод их выполнял, но ведь он дал подроб-

ный список и рассказывал Николаю Владимировичу, какой у кого из персонажей характер, возраст и кто как должен быть одет.

Когда мы переехали в отремонтированную квартиру, родился мой младший сын.

Всеволод весь был переполнен восторгами отцовства. Мальчик, названный Вячеславом, был плотно сбит, как бы в шарик, который венчали коричнево-красные, прилегающие к черепу обильные волосы, вскоре ставшие льняными кудряшками (я назвала его «Комочком», потом это прозвище перешло в прилипшее к нему навсегда «Кома»).

Младенец, как ему и полагалось, кричал, и сердце отца отзывалось на каждый его крик, чуть ли не прежде материнского.

О рождении Комы говорится в пародийных примечаниях, которыми предварен роман «У».

Всеволод закончил первый вариант «Кремля» и уже начал «У».

Жизнь сулила нам одни сплошные радости.

Квартира на Мещанской Всеволоду очень нравилась. Он уверял, что впервые в жизни зажил по-настоящему. В его кабинете был камин, и ему казалось, что наша квартира похожа на «помещичий дом», с двумя изолированными половинами: детской и взрослой. Правда, новорожденный находился на обеих половинах, но его кровать стояла в детской, где он спал со своим братом Мишей и няней Марией Егоровной.

За детской, которая оказалась таким образом проходной, и в этом было большое (но не заметное Всеволоду) неудобство, находилась комната моей дочери Тани и всегда жившей со мной незамужней моей сестры Зинаиды Владимировны.

Мир в нашей семье царил настолько прочный, что мне стала казаться непереносимой мысль (после очередного письма из Лебяжьего), что где-то, на краю света, в разваливающейся избушке, которая того гляди сползет с косогора в Иртыш, живет одна-одинешенька мать Всеволода, Ирина Семеновна.

Ирина Семеновна была неграмотной. Письма за нее писали родственники. Обращены эти письма были к «Севе и

Нюсе» — то есть Анне Павловне. О моем существовании, пока я ее не выписала, Ирина Семеновна не ведала.

Выписанная мною из Лебяжьего Ирина Семеновна доставила мне немало хлопот.

Она приехала в Москву впервые. Сына не видела больше десяти лет и вообще к нему не привыкла. Всеволод рано ушел из дому и редко возвращался к матери, а подолгу и вовсе никогда с ней не жил. Он всегда казался ей «непутевым и никудышным», в противовес любимому младшему сыну Палладию (больному, давно к тому времени умершему), который все девятнадцать лет своей жизни с матерью не расставался и был, по ее определению, «хозяйственным».

Я рьяно принялась вводить свекровь в уклад нашего дома и вообще в столичную жизнь.

Но ей у нас не понравилось, и она предпочла перебраться к более приглянувшейся ей Анне Павловне, у которой «собственный» дом в Голицыне. В представлении Ирины Семеновны это было немаловажным достоинством.

ОТСТУПЛЕНИЕ О СТАРОСТИ

Тут невольно задумаешься над понятием «старость». Вероятно, Ирине Семеновне было тогда немногим более 60 лет, но мне она показалась древней старухой. А, скажем, Корней Иванович Чуковский в 80 лет казался совсем еще молодым. Теперь, когда я вновь переписываю эти строки, мне самой перевалило за 80, и если не «схватывает» сердце, я еще способна не чувствовать груза возраста.

Горький умер 68 лет и казался мне, тогда 35-летней, глубоким стариком. Всеволод же, умерший в том же возрасте, что и Горький, мне, 63-летней, казался еще совершенно молодым.

Когда я была студенткой режиссерских мастерских имени Мейерхольда и актрисой его театра, он поручил мне организовать на сцене Большого театра в день пятидесятилетнего юбилея Валерия Яковлевича Брюсова театрализованное представление силами актеров нашего театра. Об этом я рассказываю подробнее в очерке о Всеволоде Мейерхольде.

Адрес от театра подносила Брюсову я же, и, когда он обнял меня и поцеловал, мне, тогда 23-летней, он показался древним-преддревним стариком.

А в 1980 году, присутствуя на юбилее своего ровесника Ивана Семеновича Козловского и слушая в его исполнении арию Ленского, я думала: «Боже! Как он поет! Да он ведь

моложе всех своих партнеров — у них у всех во рту каша, а у него доходит каждый звук, каждое слово, не говоря уже о чувстве и артистизме!»

ПРИЧИНЫ НАШЕЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ НЕУСТРОЕННОСТИ

Хотя жили мы в полном достатке, из долгов не вылезали. Только отдадим — опять задолжаем.

Так получалось потому, что начали мы с аванса под роман «Кремль», тогда не опубликованный. Следующий роман «У» тоже не был опубликован. А время, затраченное на написание этих романов, оказалось невозполнимым.

Переиздавались ранее написанные Всеволодом «Партизанские повести» — преимущественно повесть «Бронепоезд», на основании которой Всеволод в 1927 году написал пьесу для Художественного театра.

После пьесы «Бронепоезд» Всеволод написал «Блокаду», которую поставил тот же Художественный театр.

Спектакль (ставил его Немирович-Данченко) был великолепен, но РАПП и «На посту» дружно на него ополчились, и он скоро сошел со сцены.

Когда в семье установлен определенный распорядок жизни, очень трудно при нерегулярном заработке не делать долгов. Для этого следовало бы резко менять ставший привычным образ жизни, что не так-то просто, когда живешь большой семьей и дети еще не подросли.

Мне пришлось расстаться с моей профессиональной театральной работой. Нелегко было прийти к такому решению, и первоначально я успокаивала себя мыслью, что это только временный шаг.

Но, то один, то другой, тяжело болели дети, а Всеволод совершенно явно не мог обходиться без моего постоянного присутствия.

Вот и пришлось мне сделать окончательный и бесповоротный выбор — целиком посвятить себя семье.

Делаю небольшой поворот в сибирский период Всеволода.

Уже после смерти Всеволода я получила из Омского архива копии нескольких писем Всеволода к Антону Соро-

кину, а также копию пресловутого «Седьмого берега», в котором Антон Сорокин, пародируя название одного из циклов рассказов Всеволода, обвиняет Всеволода Иванова (надо сказать, крайне наивно и беспомощно, но патологически злобно) в семи смертных грехах. Антон Сорокин рассылал этот свой пасквиль повсюду (из некоторых инстанций его недоуменно пересылали Всеволоду, который относился к бессмысленным наветам скорбно-иронически).

Один из смертных грехов Всеволода, по Сорокину, — небрежение сыновним долгом.

Из писем, которые писались родственникам под диктовку Ирины Семеновны, явствует, что Сорокин приезжал к ней в Лебяжье, клеветал на сына и пытался выманить у нее «бумаги, оставшиеся от отца и от тебя» (так сообщала Ирина Семеновна, прося разъяснить, как поступить ей с этими бумагами, которые она впоследствии привезла с собой в Москву, и сейчас они находятся в архиве Всеволода).

Привожу одно письмо Всеволода к его омскому другу-недругу Сорокину.

«Антон Семенович!

Я только что приехал и потому не мог ответить раньше на В. письмо. Будьте добры пересылать письма: Брюсовский пер., д. 2, кв. 45, тов. Шмидт — для меня. Я посылал раньше — года полтора назад — несколько писем моей матери, даже в Совет — и никаких ответов не было. В <аше> сообщение меня очень обрадовало. Боюсь, что из-за моего отъезда в Италию я не смогу в этом году приехать в Сибирь, но, тем не менее, я пошлю за матерью моего секретаря, который немедленно и привезет ее в Москву. Ваши упреки в тунеядстве и прочем — не совсем основательны. Если бы вы были знакомы с моей московской жизнью — вы бы не были столь презрительны. Ибо многое забавно в В <аших> строках. В частности — о пьянстве — я около года не пью. Частью из-за воли, частью — у меня плохое сердце, и я надеюсь, что Вы сможете написать обо мне трогательные воспоминания.

Привет Валентине Михайловне, Вяткину и всем др <узы-ям>.

Всеволод».

Кроме неосуществленного намерения привезти в Москву Ирину Семеновну приведенное выше письмо к Антону Сорокину характерно еще и ссылкой на «секретаря».

И действительно, в «прежней» жизни, до меня, был у

Всеволода и секретарь, и вообще он намерен был жить «как полагается писателю».

С этим «как полагается» я вступила в борьбу на первых же порах.

Всеволод никогда не был ни снобом, ни мещанином, но в тяжкий период своего детства и юности он не мог не мечтать о «роскошной» жизни, представляя ее себе по прочитанным романам, и главным образом — по «Утраченным иллюзиям» Бальзака.

«...Утраченные иллюзии» Бальзака я принимал как символы веры и не мог иначе, настолько это талантливая книга».

А я хотела жить не так, как кому-то полагается или как живут писатели, судя по литературным описаниям их жизни, а так, как сама находила разумным.

Началось столкновение Всеволодовой фантастичной непрактичности с моим рационализмом.

Только с годами притерлись мы настолько вплотную, что уже невозможно было разобрать, кто у кого и чего больше позаимствовал.

С уверенностью могу сказать одно: я его не только любила, но и глубочайшим образом уважала. Его непрерывное каждодневное стремление расширить свой научный кругозор, разносторонняя образованность, требовательность к себе, не только в творчестве, но и в морально-философском плане, неустанные поиски истины — все это не могло не переполнять меня не только уважением, но и преклонением перед ним.

Я старалась только в самую наименееобходимейшую степень умерять броски его фантазии, и если с чем действительно боролась (только на первых порах нашей совместной жизни), так только со смешным, с моей точки зрения, стремлением жить «как полагается писателю».

Ребенком я жила в «богатой», а видела и «миллионную» среду, проводя время у моей крестной матери, жены одного из известных богачей Корзинкиных. С малолетства я презирала богатство и хотела жить не «по-положенному».

Наше отношение к бытовым проблемам в начале совместной жизни было различным. Потом Всеволод, как и во всем, и в безразличии к показным благам меня превзошел. Приведу такой пример. Всеволод мечтал об автомобиле как об одном из атрибутов писательского преуспевания, а для меня это было лишь средство передвижения (и очень, надо сказать, хлопот-

ливое — столько мне приходилось обивать порогов разных учреждений, добывая бензин, запасные части и т. д.). Получив же вожделенный автомобиль, Всеволод почти никогда им не пользовался (разве что на охоту ездил), предпочитая ходить пешком.

Когда мы жили в Москве, его обычной прогулкой был малый круг, то есть бульварное кольцо «А», или же большой — вся округность кольца «Б».

Однажды, придя на станцию в Переделкине и узнав, что перерыв между поездами 2 часа, он пошел в Москву пешком. Причем, увлекшись ходьбой, и по Москве, до самого Лаврушинского, шел так же пешком, не воспользовавшись транспортом.

ГДЕ И КАК ВСЕВОЛОД ПРЕДПОЧИТАЛ РАБОТАТЬ

Всеволод, невзирая на свое босяцкое детство и юность, обладал прирожденным хорошим вкусом (как бывает, скажем, прирожденный музыкальный слух) и, получив к тому возможность, хотел жить среди красивых вещей.

Но он, как никто, владел даром жить не для вещей, а претворяя их для себя и в переносном, и в буквальном смысле. Обладал искусством всегда и всюду обставить себя особым, одному ему свойственным образом. Из тех же самых предметов никому не пришло бы даже в голову создать именно такую композицию, какую умел создать он.

Где бы Всеволод ни находился — дома, в санатории, в поезде, в каюте парохода, в походной палатке, — он тотчас же создавал вокруг себя особую, только ему присущую атмосферу.

Он очень редко писал сидя за столом, разве только печатая на машинке.

Чаще всего он писал, пристроив на коленке специальную фанерку, с прикрепленной к ней бумагой.

Вспоминая, как Есенин пришел к нему на новую, еще не обставленную квартиру (Всеволод жил тогда с Анной Павловной в доме 14 по Тверскому бульвару — напротив дома Герцена, где в описываемый период был ресторан, а теперь Литинститут), он записал слова Есенина: «Писатель не должен иметь квартиры. Удобнее всего писать в номере гостиницы. А раз ты сидишь на полу, то ты, значит, настоящий писатель. [...] Поэт должен жить необыкновенно»¹.

¹ «Переписка с Горьким», с. 328.

В кабинете Всеволода всегда было необыкновенное, непонятное непосвященному человеку, скопление вещей, они были необходимы ему как отправные точки для фантазии в процессе работы над тем или иным произведением. Так, от периода написания «Двенадцати молодцов» остался на стене тропинский портрет Павла и грамоты той эпохи, от «Эдесской святыни» — византийские предметы, от «Левши со товарищи» — лубки и т. д.

Такой же причудливой могла показаться непосвященному и огромная библиотека Всеволода.

Это было не просто собрание книг, а книги, отобранные потому, что они были нужны собирателю, который не только собрал их, но и «отработал».

Всеволод собирал книги всю свою сознательную жизнь, начав еще будучи наборщиком в Сибири.

Подбор книг соответствовал его широким и разнообразным интересам и проблемам, которые он ставил перед собой, и в общечеловеческом плане, и работая над тем или иным произведением.

Во время войны, в начале 42 года, сгорела в Переделкине арендуемая нами у Литфонда дача, где у Всеволода была собрана редчайшая библиотека, примерно 12 тысяч томов.

Однако к концу жизни Всеволод вновь собрал большую библиотеку, огромное количество книг которой испещрено его пометками, размышлениями на полях и длинными записями, свидетельствующими о напряженной работе мысли.

В последние годы жизни Всеволод заказал для своего переделкинского кабинета особый, низкий и широкий, деревянный топчан, на который был наброшен привезенный им из Болгарии пурпурный ковер, похожий на лохматую козлиную шкуру (тут опять не без реминисценций — чтобы понять, стоит прочесть рассказ «Сизиф»).

Вокруг этого «ложа» были во множестве расположены камни, собранные, вернее — вырубленные Всеволодом молотком и зубилом во время его путешествий в различных отдаленных горных районах нашей страны.

Стояли и комнатные цветы, за которыми Всеволод сам ухаживал.

Высились в разнообразных сосудах остро, как пики, отточенные самим Всеволодом карандаши.

В последний период жизни Всеволод писал обычно карандашом, лежа, держа на коленке дощечку с блокнотом.

Потом правил и сам перепечатывал на машинке. Опять

правил и давал машинистке. Еще раз правил и часто начинал весь процесс — от карандаша к машинке и обратно по многу раз кряду.

Был он также и коллекционером. Чего только не коллекционировал: почтовые марки, трости, трубки, ружья, камни, даже галстуки. Коллекциями своими он дорожил, но дорожил временно. Начав собирать что-либо новое, прежнюю коллекцию раздаривал. Этой его страсти (и коллекционера, и дарителя) я никогда не препятствовала.

Дарить я и сама всегда очень любила, но я ничего никогда не коллекционировала; мало того, я на всю жизнь сохранила полное равнодушие к вещам. Есть какой-то предмет — хорошо, нет — еще того лучше.

Стремления наряжаться у меня тоже почти никогда не возникало. Лишь бы быть одетой по своему вкусу — и ладно. У меня была счастливая внешность, поэтому в любой одежке (часто много раз перешитой) я выглядела достаточно хорошо. И где бы мы ни побывали, по возвращении домой Всеволод неизменно говорил мне: «Ты была лучше всех». А мне только его мнение и было дорого.

На моих руках был дом, потом появилось два дома — московская квартира и переделкинская зимняя дача; хозяйство, машина (это тоже большой объем хлопот); воспитание троих детей, которых мне, в какие-то периоды, самой и обучать приходилось. Я дважды в жизни была «учащейся мамой». Впервые, когда, живя за городом из-за болезни Кома, я готовила Мишу сразу в 4-й класс и ходила в школу перенимать современные педагогические методы, садясь для этой цели, с разрешения начальства, на последнюю парту в 3-м классе. Вторично я попала в «учащиеся мамы», когда, после окончания с медалью школы и будучи принятым в университет (тогда медалистов принимали без экзаменов), Кома опять заболел, не мог в первое полугодие посещать занятия и я ходила за него на некоторые семинары.

Но самый большой объем моих забот был о Всеволоде. Сфера моей помощи ему все расширялась. Сперва я выполняла обычные секретарские обязанности. В редакции ходила или относя туда рукописи, или за получением гонораров.

...Тут не обходилось без анекдотов. Был период, когда гонорар начислялся только в сберкассе при издательстве. Однажды у нас украли чековую книжку сберкассы, находившейся тогда в Гослите. Мы заявили о краже. Когда получать деньги по новой книжке не я пришла, как обычно, а почему-то Всеволод, его задержали (работники сберкассы никогда до тех пор его не видели и подумали, что он-то и есть злоумышленник).

Постепенно круг моих секретарских обязанностей все расширялся. На мою долю уже выпало заключать договоры и даже беседовать с редакторами о требуемых ими переделках. Сам Всеволод категорически ото всего этого стал отказываться. Он говорил: «Если бы не ты, меня вообще перестали бы печатать». В том смысле, что сам он никогда не добивался договоров на переиздания.

Объективно говоря, не знаю, может быть, это было бы и лучше. То есть он, конечно, радовался каждый раз, когда выходила, пусть и ущемленная редактурой, какая-либо его книга, и совсем отчаивался, если категорически отказывались печатать, но... в конечном итоге слишком уж много выходило из печати, не без моего участия (увы!), подвергнувшегося редакторскому нажиму. Не говоря о все сужавшемся круге произведений, которые соглашались переиздать.

Всеволод почти никогда не знал, есть у нас деньги или нет. Я посвящала его в это только в самых крайних случаях, когда не могла измыслить другого выхода из положения, кроме продажи. Без его согласия я никогда ничего не продавала, потому что мне-то не было свойственно жалеть о продаваемом, а ему иногда было неприятно расставаться с любовно им выбранными и ставшими привычными вещами. В особенности это касалось книг. Когда я говорила Всеволоду об этой печальной необходимости, он начинал тут же отбирать «обреченные» предметы или книги.

Были у меня в разные периоды жизни разные способы «перебиться».

Долгое время приходилось мне брать взаймы сакраментальную тысячу у Константина Андреевича Тренева. Однажды, когда я возвращала ему долг, он предложил: «А что, если бы вы согласились оставить себе эту тысячу в подарок от меня?» На что я в ужасе закричала: «Что вы, Константин Андреевич, это меня прямо-таки зарежет — лишит оборотной возможности!»

Когда, с начала 50-х годов, я начала зарабатывать переводами (появилось для самостоятельной работы время — дети выросли, а также появилась и возможность — А. А. Фадеев по моей просьбе помог достать мне первый перевод), обращаться стало куда легче, и я смогла уже разрешать и самой себе некоторую экипировку, не «из старья», и даже дорогостоящие заграничные туристские экскурсии вдвоем со Всеволодом.

МОЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА

До начала переводческой деятельности, при всей семейной загруженности, я жаждала и какого-то общественного применения своей энергии.

С благословения Алексея Максимовича я стала первым председателем Совета жен писателей (в тот период, когда такие советы стали создаваться повсеместно) и рьяно отдавалась, урывая время от Всеволодных и домашних дел, этому своеобразному начинанию.

Алексей Максимович написал мне по этому поводу: «...Весьма советую Вам: принимайтесь за это дело немедленно. Организуйте сначала небольшой кружок жен, сестер, матерей и выработайте с ними план драки. Драки против бессмысленной жизни с пьянством, распутством, с мелочной вздорной завистью, жадностью, сплетней, пошлостью и т. д.

Выработайте и формы бытовой помощи мужьям. Хорошо, если Вы к маю что-нибудь уже сделаете, я бы приехал и в качестве древнего инспектора посмотрел, что и как сделано. А затем подняли бы мы возню в газетах и т. д...»

Всеволод мою общественную работу приветствовал. Он, конечно, и посмеивался надо мной, говорил: «Ты прямо Наполеон, он знал по имени своих гвардейцев, как ты подведомственных тебе дам».

Из работы моей на этом общественном поприще расскажу один ярко запомнившийся эпизод.

В финскую кампанию решено было отправить от Союза писателей подарки бойцам, отвезти которые должны были не писатели, а уполномоченные Совета жен.

Уполномоченных было трое: я (председатель Совета) и две делегатки — Берта Яковлевна Сельвинская и Циля Львовна Бергельсон.

В необычайной спешке закупили в качестве подарков сладости и писчебумажные принадлежности.

В дневнике Всеволода есть запись: «...вчера, с Фединым,

подписывали 400 обращений — писем раненым, которым сегодня Тамара должна везти подарки в Ленинград. [...] Федин говорил, что Выборг оставлен финнами и горит».

Несколько дней хлопотали, добываясь на Ленинградском вокзале погрузки наших подарков. Наконец добились и тронулись в путь.

Вагон был полон отпускиками, возвращавшимися на фронт. Разговоры велись исключительно военные, но Берта Яковлевна, резвившаяся, как школьница, вырвавшаяся на свободу, вносила в общую серьезность нотку веселости. Цилия Львовна и я, преисполненные сознанием ответственности и значимости возложенной на нас миссии, пытались образумить ее, но она нас высмеяла.

В Ленинграде нас встретил на вокзале Сергей Федорович Величкин, бывший тогда управделами Ленинградского отделения Союза писателей. Он встречал нас торжественно, с букетом цветов, и отвез в гостиницу «Европейская», где был забронирован двухкомнатный номер-люкс.

Едва распаковавшись, солидная часть экспедиции, т. е. Цилия Львовна и я, отправились в Союз писателей, а оттуда, в сопровождении Ильи Александровича Груздева, в штаб армии.

Тут выяснилось, что: во-первых, наши подарки надо расфасовывать на индивидуальные пакеты, снабдив их личными письмами писателей к каждому бойцу, получающему подарок; во-вторых, в пропуске на фронт нам отказали.

С первой частью задачи справиться оказалось не столь трудным. Кликнули клич: собрали жен ленинградских писателей, привезли груз подарков в помещение Ленинградского отделения Союза писателей, достали упаковочный материал и принялись фасовать.

Некоторое осложнение создано из-за писем. Подарки мы везли от московских писателей, а письма пришлось писать и ленинградским (заготовленных в Москве писем на мелкую фасовку было недостаточно). Выход нашли такой: в некоторые пакеты вкладывали личные письма ленинградских писателей, а в большинстве пакетов — размноженный текст коллективного письма московских писателей.

Торопились мы отчаянно — упаковывали до поздней ночи.

Но пропуска у нас нет, а мы считали делом чести доставить подарки самолично. И индивидуально вручить каждому бойцу.

На следующий день опять отправляемся в штаб, но идем

не к тому заму начальника, который отказал, а к другому.

На этот раз дело выгорело. Только пропуск нам выписали весьма казуистический — на имя приданного нам сержанта, который, как было сказано в пропуске, «сопровождает груз подарков бойцам от писателей, и трех женщин (имярек), которые этот груз везут».

Казалось бы, все наладилось, но не тут-то было! Подарки погружены на грузовик, добытый сержантом, и заполнили его до отказа. Сержант поедет рядом с водителем, для нас же места нет. В штабе нам сказали: «Легковую берите в Союзе писателей», — но галантный кавалер Величкин, отбросив какую бы то ни было галантность, наотрез отказывается предоставить нам машину.

В пять утра за нами должен заехать грузовик, а накануне, в 6 вечера, у нас все еще нет легковой машины.

Опять мчимся в Союз писателей. Вызываем с заседания секретариата или президиума (уж не помню чего именно) тогдашних секретарей Ленинградского отделения М. М. Зощенко и М. Л. Слонимского и предъявляем им категорическое требование предоставить нам к утру легковую машину. Они довольно неохотно, но все же дают Величкину соответствующие указания.

В пять утра у гостиницы стоят грузовик с подарками и легковая машина Союза писателей.

Водитель легковой машины мрачнее тучи: он явно решил сорвать нашу поездку, потому что яснее ясного видно, как он нарочно отстает от головного грузовика, и нашему сержанту приходится то поджидать нас, то отыскивать на боковых улицах.

Наконец выбившийся из сил сержант ругает водителя легковой машины столь яростно и так темпераментно обещает «раскокать его в лепешку», что тот приободряется, и мы, уже не разлучаясь с грузовиком, добираемся до границы города, до контрольно-проверочного пункта.

Проведя через проверку грузовик и легковую, сержант считает свою миссию почти законченной. Для остраски он еще раз внушает нашему водителю, что теперь корабли все равно сожжены, обратно без пропуска в город его не впустят, и дает точные указания, как ехать на Келломяки.

На шоссе останавливаться и поджидать друг друга невозможно. Машины идут непрерывной чередой, испорченную скатывают в кювет, чтобы не создавалась пробка.

Грузовик уходит вперед. Мы некоторое время не теряем его из виду. До тех пор, пока на развилке, как раз возле

ворот с надписью «КП», мы не останавливаемся окончательно и наш водитель не заявляет: «Дальше не поедем, в кардане подшипник лопнул».

С трудом уговариваем часового КП вызвать дежурного. Постепенно доходим до полковника. Нас приглашают в дом, где расположен штаб КП.

Машины ставят на ремонт, а нас кормят обедом.

Тем временем уже стемнело. Выехали в 5 утра, а к сумеркам еще и из города не выехали, находимся на его окраине.

Машина все же отремонтирована. Причем выяснилось, что никакой подшипник не лопнул, а вытекла из кардана смазка. Кто знает — может быть, наш злополучный водитель нарочно ее выпустил.

Где-то теперь грузовик с подарками и милый сержант с коллективным пропуском?!

Нам любезно «придают» еще одного водителя. Во-первых, «для взбадривания» нашего, во-вторых, чтобы удостоверять на заставах, что мы «проверенные».

Очень странно, даже, может быть, невероятно, но все заставы, все контрольные пункты нас пропускают. Правда, проследовавший впереди сержант всюду предупреждал и показывал выданный ему на нас пропуск. Иногда приходилось все же вылезать из машины, рассказывать, зачем мы едем, и показывать в подтверждение наши паспорта.

К 10 часам вечера приехали в штаб того полка, куда везем подарки. Догнали-таки свой грузовик и сержанта.

Разбуженный нами сержант выразил бурную радость по поводу того, что мы все же не потерялись, и представил нас по инстанции. Нас накормили ужином и отвели место для ночлега.

Но не успели мы улечься, как нас потребовали к высшему начальству.

Выяснилось, что из Ленинграда приехал тот самый заместитель начальника штаба, который отказал нам в пропуске тотчас по нашем приезде в Ленинград.

Он распек нас за наши «действия в обход», сказав: «Вообще не пользу вы приносите, а дезорганизацию сеете». И тут же приказал выписать нам обратный пропуск и немедленно выдворить вон. «Наступление начинается. Некогда с вами нянчиться. Подарки ваши и прикомандированный сержант раздать сумеет».

Отъезд наш был горестен. Да и устали мы страшно. Хорошо еще, что водителей у нас было два — они отдохали по очереди.

Когда ехали в Келломяки, никакого страха не испытывали, хотя и стрельбу слышали, и опрокинутые в кюветах машины все время попадались.

Ведь на пути туда нас поддерживал энтузиазм. Сознание важности взятой на себя миссии. Стремление вопреки всему и во что бы то ни стало добраться до места назначения. Мы глубоко были убеждены, что сумеем «подбодрить» бойцов и принесем пользу общему делу. А в Ленинград возвращались обескураженные да еще, как нам казалось, осмеянные, разбитые усталостью, а потому, должно быть, и страху натерпелись немало.

Но надо сказать, что, несмотря на упадок духа, друг друга мы не попрекали, а, наоборот, всячески проявляли заботу одна о другой и с обоими водителями тоже расстались дружески. Даже тот, что был вначале столь агрессивно против нас настроен, прощаясь, сказал, что мы «бабы хоть куда, не нюни и не скопидомки».

ДРУЖБА ВСЕВОЛОДА С «СЕРАПИОНАМИ»

Всеволод не мыслил жизни вне творчества. Революционер в жизни и литературе, всю свою жизнь он искал лучших путей к уму и сердцу читателя.

Самые прочные и длительные дружеские связи были у Всеволода с «серапионами».

Установление этих отношений и само образование кружка «серапионов» происходило не на моих глазах. Я ведь вошла в жизнь Всеволода в 1927 году.

Но сразу же мне стала очевидной прочность «серапионовских» уз. Приезжая в Москву, «серапионы» всегда у нас бывали. И до самых последних лет жизни Всеволода отмечалась «серапионовская» дата.

Пока большинство «серапионов» жило в Ленинграде, они отмечали свою «дату» на квартире у Груздевых. Именно туда приглашает Всеволод (уже ставший к тому времени москвичом и ездивший на «дату» в Ленинград) приехать Горького: «В феврале будущего года, Алексей Максимович, исполнится пять лет Серапионов. Приезжайте в гости к первому февраля в Ленинград! Будет весело, мы собираемся каждый год и веселимся. В прошлом году было очень хорошо»¹.

О той встрече, когда «было очень хорошо», вспоминать

¹ Письмо В. В. Иванова А. М. Горькому от 30 ноября 1925 г. — «Переписка с Горьким», с. 33.

любили все очевидцы. Все запомнили по-разному (мне привелось слышать этот рассказ и от Всеволода, и от М. М. Зощенко, и от О. Д. Форш), но суть сводилась к тому, что расшалившиеся, как мальчишки, «серапионы» отвлекли каким-то образом хозяев и переставили в чинной груздевской квартире всю мебель и очень радовались изумлению и растерянности аккуратных Груздевых.

Дальше, когда большинство «серапионов» переселилось в Москву, «дата» отмечалась то у одного, то у другого.

Об одной такой дате, отмеченной у нас, вспоминает Елизавета Полонская¹.

Привожу 2 письма К. А. Фебина, касающихся все той же читвшейся и отмечавшейся «серапионовской» даты:

*«31. I. 1958,
дача.*

Милый Всеволод,
вдруг я обнаружил, что завтра — *1-е февраля*. Посему жду тебя завтра, в субботу, к 3 часам дня, пообедать.

Так как это «неожиданно», то обед будет холостяцкий. Но я очень хочу, чтоб ты пришел. Позову еще Колю Тихонова.

Обнимаю.

Твой *Конст.*

Если Тамара Владимировна уже выходит, то передай ей мое приглашение участвовать в холостяцком обеде. Если еще не выходит — поклон и пожелание мое и Нины², чтобы скорее поправлялась!»

*«Курорт Гориш, Саксонск. Швейцария
27 января 1961 г.*

Дорогой Всеволод,
шло тебе поклон и приветствую от души, памятуя, что близится 1-е февраля, а на этот раз задумываешься над забываемой датой больше обычного — 40 лет!

Обнимаю тебя крепко и прошу — если увидишь кого из друзей, в Переделкине, или еще где, передать им мои добрые пожелания.

А тебе, старый и милый друг, желаю всего, всего хорошего на большое и славное будущее.

¹ «Всеволод Иванов — писатель и человек».

² Нина Константиновна Фебина — дочь К. А. Фебина.

Все еще ничего нет по-настоящему написанного о Серапионах — никто не хочет или не может сказать о них то, чем они были и остаются в литературе. Но идет время, идут, уходят и приходят люди и... родится историк, который поймет, что такое 1-е февраля 1921 года!

Обнимаю тебя.

Твой К. Федин.

Поклон Тамаре Владимировне.

Я поживу еще в здешних местах — тихих и живописных. Нина была со мной и сейчас уезжает в Берлин и скоро — домой».

В черновиках «Истории моих книг» Всеволод пишет: «Какие творческие связи с современниками помогали мне в моей работе? Какие влияния заставляли уклоняться с избранного пути и затрудняли этот путь? Естественно, что здесь прежде всего возникает вопрос — всегда ли было благотворным влияние «Серапионовых братьев»? Не мешало ли иногда увлечение «орнаментальностью прозы», фрагментарностью композиции, разнообразными средствами иронического переосмысливания материала, внешними образами и ассоциациями — донести до читателя революционное содержание, правду о революционной действительности?

Мне хотелось бы вернуться, в частности, к высокому литературному мастерству и сложности его, которое было психологически необходимо в те трудные дни, которое укрепляло и поддерживало нас в борьбе не только за искусство, но и за жизнь вообще.

Это было нам *жизненно необходимо*.

...Я любил и люблю поныне «Серапионовых братьев» нежной братской любовью. Эта братская любовь, может быть, и мешала мне спорить, и я часто спорил с ними лишь «втайне», про себя. Теперь легко осудить эти мнимые заблуждения, но тогда они были остро необходимы.

Поэтому я не нахожу противоречия между эпически величественным содержанием эпохи и «суетливой нарочитостью формы, стремящейся к изощренности». Это была не изощренность, а жизненная необходимость, которую было бы полезно теперь понять. Мы чересчур долго чувствуем себя молодыми и поэтому не предаемся воспоминаниям, которые давно пора было бы написать всем нам без исключения. Иначе мы можем ввести современных молодых критиков в заблуждение. Пере-

листавая журналы и брошюры тех времен, наталкиваясь на литературные термины вроде «остранение» или «орнаментальная проза», они принимают эти термины за руководящие указания, которыми пользовались молодые писатели того времени, между тем как дело обстояло совсем по-другому...

...М. Горький познакомил меня с молодыми писателями «Серрапионовы братья» из «Дома Искусства». Я стал «серрапионом» и принял шуточную кличку «Брат алеут».

...Жили мы почти голодно, почти дружно и почти весело. Мы собирались один раз в неделю. Мы были безжалостны друг к другу. Несешь рассказ и думаешь получить одобрение, порадоваться, а приходилось порой испытывать ужас и презрение к самому себе.

Не замечая ни испуга на лице автора, ни сострадания на лицах других «серрапионов», очередной оратор — особенно хорош был в этой роли Н. Никитин — «Брат ритор» — обстоятельнейше разбирал, хвалил или дробил прочитанное. Слышался сердитый баритон Федина, радостный тенор Льва Лунца, и умоляюще сопел В. Шкловский — он хоть и не принадлежал к «серрапионам», но был их самым близким ходоатом и защитником. В. Шкловский, оглядев однажды наши голодные лица, сказав вполголоса и мечтательно:

— Хорошо бы приобрести мешок муки, поставить его в углу — и чтобы каждый приходил и брал себе сколько ему нужно.

Мы были разные: то шумные, то тихие, то строптивые, — и литературу мы понимали по-разному, но все вместе мы полны были страстного желания показать с самых лучших сторон то прекрасное, что мы видели и видим. Во имя этого мы были безжалостны к слабостям друг друга и приходили в кипящую радость при успехах».

В речи¹ своей на I съезде писателей Всеволод Иванов говорил о «декларации» Лунца (вероятно, позабыв, как именно происходило опубликование этой декларации) как о декларации «серрапионов», но ведь в той же речи он сказал: «...наша психика и наш опыт были тогда таковы, что на практике мы не могли не писать революционных произведений [...] мы были тенденциозны в своем творчестве [...] Мы вошли в искусство из грозной бури гражданской войны, как входит пут-

¹ Речь опубликована в последнем прижизненном восьмитомном Собр. соч., т. 8.

ник после долгой дороги на высокую гору, с которой он видит особый, необыкновенный мир».

У Всеволода была плохая память на даты и события, которые из-за этого часто смещались в его сознании. Сам он считал это последствием перенесенного им тифа.

Желая быть точным в отношении «декларации» Лунца, Всеволод расспрашивал «серапионов» и людей, близких к ним (например, Виктора Борисовича Шкловского), когда писал «Историю моих книг».

К. А. Федина Всеволод запросил по этому поводу письмом. Этот «запрос» Всеволода в архиве К. А. Фебина не сохранился.

Привожу ответную записку Константина Александровича:

«20/IX—58

Милый Всеволод,

в данном случае на меня положиться можешь: статья Лунца («Почему мы Сер. бр.?») подписана была только Лу н ц е м (подчеркнуто К. А. Фебиным. — Т. И.).

Я был в числе недоумевавших Серапионов, когда прочитал эту статью в «Лит(ературных) зап(исках)»: почему Лунц нам ее даже не прочитал, прежде чем опубликовать?!

Вот так-то. Можешь спокойно положиться на нас троих: ты, я да Шкловский — это уже порядочный кусок истории нашей лит-ры, а историки истории никогда не знают.

Целую.

Конст.».

Я очень подробно цитирую записи Всеволода о «серапионах» и привожу письма Фебина на эту тему, так как нахожу чрезвычайно важным рассеять окружающие их литературоведческие измышления и главным образом то, что так называемая их декларация до сих пор вменяется в вину всем «серапионам». Декларацию же эту написал и подписал Лев Лунц. Он был не только талантливым прозаиком и драматургом, у него были, несомненно, и теоретические способности, и в этом он походил на Юрия Тынянова. К сожалению, ранняя смерть помешала им обоим осуществить все задуманное.

Возвращаюсь к цитатам из черновиков «Истории моих книг»:

«Пытаясь теоретически осмыслить процесс развития молодой советской прозы, Лунц поторопился обобщить те законы,

по которым она шла, а вернее сказать, которые она искала. В борьбе за «чистое искусство», без примеси политической тенденциозности, нетрудно было ему и впасть в ошибки. Я думаю, что субъективно Лунц был революционным писателем — не напрасно же Горький относился к нему с теплотой и нежностью, и борьба Лунца за «чистое искусство» была борьбой с горьковских позиций — борьбой против мещанства и пошлости в литературе. Не нужно забывать и того, что Лунцу в дни, когда он написал «декларацию», было около 20 лет...

...Я не помню когда — после напечатания или до — происходило у нас обсуждение этой «декларации». Должно быть, после напечатания, иначе она не носила бы такого категорического характера. Декларация никак не была принята всеми. Многие из нас возражали против нее самым категоричным образом, например Федин и Тихонов. Я по обыкновению молчал: я тогда вообще был неразговорчив. Кроме того, мне казалось, что «Серрапионовы братья», в силу различия их характеров и даже литературных вкусов, являются случайным сцеплением, а никак не литературной школой. Мы учились друг у друга, нас посещали старшие учителя, как, например, Шкловский, Замятин, Чуковский, Шагинян, Форш, а подростки, мы собирались учить других, но не по канонам общей школы, которых у нас не было, а каждый на свой вкус...

...Доказательством этому служит то, что «серрапионы» настолько были различны, что выпустили только один альманах, к тому же довольно слабый, который почти не имел отклика в прессе, и к дальнейшему выпуску альманаха или к созданию своего издательства, для чего имелись все возможности, не стремились. Каждый шел своей дорогой. Собрания наши становились все реже, затем мы стали собираться один раз в году.

...Были ли «формалистические наносы» на моем литературном творчестве? Как ни стараешься судить о себе объективно, это очень трудно сделать. [...] Когда я просматриваю свою юношескую книгу «Рогульки», я вижу в ней и «остранения» и «орнаментальную прозу» и фрагментарность. Уже накануне революции русская художественная проза, и в частности ее молодое крыло: Замятин, Тренев, Шмелев, Ремизов, Белый — занимались усиленным поиском новых форм и добились в этих поисках некоторых результатов. Нужно помнить также, что проза М. Горького тех дней была чрезвычайно образной...

...После того, как «Серрапионовы братья» приобрели некоторую известность и была напечатана статья Льва Лунца,

чрезвычайно горячего молодого человека, представлявшая его личное мнение, — в критике стало мелькать мнение, что «Серрапионовы братья» — представители новой буржуазной литературы.

Мне казалось это нелепым, особенно когда к этому мнению присоединились и мои друзья — пролеткультовцы, они даже предложили мне покинуть вредную группу «Серрапионовы братья». Я смеялся и грустил. Смеялся потому, что меня и моих товарищей: Н. Тихонова, Л. Лунца, К. Федина, М. Зощенко, В. Каверина, Н. Никитина, М. Слонимского, Е. Полонскую, И. Груздева — считают представителями буржуазной литературы, и грустил потому, что мне было жалко расставаться с пролеткультовцами. А что поделаешь! Я чувствовал всем сердцем, что именно в дружбе и совместной работе с «Серрапионовыми братьями» могу раскрыть полностью свое дарование, — если оно есть вообще.

Меня исключили из Пролеткульта и даже опубликовали о том в печати».

Константин Александрович Федин тоже придавал очень большое значение своим «серрапионовским» истокам.

Неоднократно, в разные годы, говорил он об этом.

Оставил и письменные тому свидетельства. Об этом я уже упоминала, а подробнее рассказываю в очерке о К. А. Федине.

Это отнюдь не значит, что Федин солидаризировался с так называемой «декларацией» Лунца.

Учитывая тогдашний возраст Лунца, 21 год, и то, что он был самым младшим их всех «серрапионов», вообще не совсем понятно, почему этой «декларации» было придано впоследствии такое чрезвычайное значение.

«Серрапионы», по-видимому, посчитали поступок Лунца «внутренним» делом. Обсудили на своем собрании, но не нашли необходимым «отмежевываться» публично.

Разумеется, они не могли предвидеть, что публично не опровергнутая всей группой декларация, являвшаяся мнением лишь одного, будет истолкована некоторыми литературоведами как эстетическая программа всех «серрапионов».

Все в мире движется и видоизменяется, но стойкость литературоведческих заблуждений воистину удивительна.

В 1923—25 годах выходил журнал литературной критики «На посту», в котором с позиций вульгарно-социологических рассматривались произведения писателей, ратовавших за литературные традиции и литературное мастерство. «Методика» напостовцев была преемственно воспринята РАППом

(Российская ассоциация пролетарских писателей; основана в 1925 году, распущена в 1932-м).

РАПП и «На посту» давно стали анахронизмом. Основоположения их теоретиков (вроде Л. Авербаха) осуждены специальными постановлениями партийных органов, а некоторые литературоведы, невзирая ни на что, остаются верными литературным оценкам Серапионовых братьев полувековой давности.

Возвращаясь к «декларации» Лунца, как не понять, что все дальнейшее творчество писателей, входивших в группу «Серапионовы братья», не имело к этой декларации решительно никакого отношения.

«Декларация» — сама по себе.

А все остальные писатели, входившие в эту группу, — сами по себе.

Да и Лунц умер 23-х лет, успев мало опубликовать. Хотя его литературное наследие являет собой значительный интерес для истории литературы.

В архиве Всеволода находится письмо к Н. Н. Яновскому (литературовед, живущий в Омске), не отправленное по назначению. На заклеенном конверте надпись рукой Всеволода: «Не отправлено из-за излишней откровенности».

Как трактовать это авторское определение (я имею в виду «излишнюю откровенность»)?

Лично я трактую так: написав, Всеволод усомнился, правильно ли быть столь откровенным с человеком, не только не будучи лично знакомым с ним, но даже не зная его имени-отчества.

Письмо же написано человеку, которому можно вполне откровенно, рассчитывая на понимание и сочувствие, высказать все свои самые сокровенные мысли о литературе.

Мне кажется, что как раз такие вот письма и вообще откровенные самооценки и оценки творческого процесса в целом необыкновенно важны для постижения тех творческих задач, которые ставил перед собой писатель, а следовательно, и того, с каких позиций нужно судить (по формуле Пушкина) о его творчестве.

Поэтому я и считаю необходимым вставить это неотправленное письмо в свой летописный монтаж.

«Уважаемый товарищ Яновский!

Извините, пожалуйста, что пишу без адреса, имени-отчества: я потерял Ваше письмо.

Я с большим удовольствием прочел Вашу книгу: не потому, что моя особа доставляет мне уж такое удовольствие, а потому, что Вы написали не только обо мне, но и о писателях моего поколения. Знаю, что писали Вы в условиях сложных и запутанных; оттого в книге много пропусков и есть местами неправильное освещение событий. Например, я никак не могу согласиться, что взгляды группы «Серапионовы братья» так уж чужды нам, т. е., по-видимому, советской литературе и советскому читателю? Во-первых, взгляды эти не представляли такую уж монолитную философию и единую эстетику, о которой, кстати сказать, мы знали тогда очень мало. «Серапионовы братья» были *разные люди* (подчеркнуто Вс. Ивановым), и нельзя путать статью Л. Лунца, — *очень* (курсив Вс. Иванова) молодого человека, с очень молодыми, пылкими воззрениями, — с жизненным путем многих, весьма отличных, как Федин, Зощенко, Тихонов, — советских писателей. Стало быть, о каких же взглядах идет речь?.. Далее Вы, — в первых строках книги, — пишете, что я написал не мало (значит, много?) произведений ошибочных, не выдержавших испытания времени. Какого времени? Десятилетия? И притом, Вы отлично знаете, что меня не издавали¹, — кроме «Пархоменко», «Партизанских повестей», «Встреч с М. Горьким», нескольких рассказов и статей. А я раньше напечатал томов 10, не менее, и кроме того, у меня в письменном столе лежит ненапечатанных (не по моей вине) четыре романа, листов 30 рассказов и повестей, и добрый том пьес.

Не надо судить о Галилее только на основе его слов, когда он отрекался от своего учения о том, что Земля — шар. Есть истины более достоверные, чем наши отречения.

Но это частности. Но факт, что Вы написали и, главное, умудрились *напечатать* обо мне книгу, факт очень приятный. Редко кто, — из художников в особенности, — может судить о своем творчестве здраво. В большинстве случаев мы переоцениваем себя, т. е. наша кабинетная жизнь и творческое одиночество (чем более индивидуален художник, тем более одинок) заставляет нас думать о себе очень высоко, чтоб легче работалось. В силу этого закона, естественно, и я, — как ни стараюсь уменьшить в себе это чванство, — думаю о себе тоже с уважением. И мне кажется, Вы отдали честь этому уважению, — быть может, даже чрезмерную. Если бы такая книга вышла лет 10—15 тому назад, я, ободренный, написал бы,

¹ а значит, и не читали, а значит, не испытывали временем (*прим. Вс. Иванова*).

наверное, еще один роман, который не был бы напечатан! Теперь я стал ленив и стар; и уже думаю о себе не так высоко, как прежде. Кстати сказать, не первая ли это книга обо мне, — т. е. исследовательская? Возможно. Тем более Вам признателен.

И особо признателен издательству. Прошу Вас, если не трудно, сообщить мою благодарность товарищам из Новосибирского издательства — печатать книгу о современном писателе, да еще бывшем члене «Серрапионовых братьев», да еще... и так далее... пресса обо мне ведь была неважная. Недавно Публ(ичная) библиотека в Ленинграде пожелала издать, — в качестве справочника, — выдержки обо мне из прессы прежних дней. Мне были присланы — перепечатанными — эти выдержки. Я перечел их — и охнул. Оказывается, ничего, кроме брани, не было, — за исключением, конечно, «Бронепоезда». Забавно, не правда ли?!

Если вздумаете когда-либо переиздавать эту книгу, обратите внимание на то, что у Вас чересчур много цитат. Нужно выбросить добрую половину их, а взамен этого заняться вопросами стиля, — и моего, и моих товарищей по работе, все тех же «Серрапионовых братьев». Кстати сказать, вчера ко мне приходил молодой критик — аспирант, который пишет диссертацию — книгу о творчестве и жизни «Серрапионовых братьев». Книга, по-моему, должна быть интересной.

Приветствую Вас и желаю Вам успехов в Вашей работе!

Кстати, о работе. В гор. Кургане в 1912—19 гг. жил поэт Кондратий Худяков (о нем у меня есть несколько слов в воспоминаниях о М. Горьком). Это был самоучка, очень талантливый. Живя в Кургане, я с а м (подчеркнуто Вс. Ивановым) набрал: мы купили с ним на 40 руб. бумаги, и мои друзья-печатники, в неурочное время, бесплатно, напечатали нам книгу его стихов. Она называется «Сибирь»: на второй странице ее есть — «Издание Вс. Иванова»!! М. б. эта книжка есть у К. Урманова? (Сибирский писатель Тупиков — Урманов его псевдоним. — Т. И.) Спросите. Урманов вообще знает К. Худякова. Так вот, недавно приходили ко мне дети Худякова и дали его ненапечатанные рукописи, в том числе интересные прозаические наброски автобиографии. Нельзя ли издать в Новосибирске книжку его стихов? Может быть, Урманов напишет биографический очерк? Я могу написать небольшие воспоминания. Можно напечатать и выдержки из его автобиографии. Было б это очень хорошо. Привет

Вс. Иванов».

Воспоминания В. Иванов написал, но опубликованы они были только посмертно в журнале «Огонек» 1964 г. и вошли в 8-й том последнего Собрания сочинений. Много парадоксально в судьбе Всеволода. Никогда не был он лауреатом и никаких поощрительных премий не получал. Но за «Портреты моих друзей» получил в «Огоньке» посмертную премию!

Друзья-«серапионы» шли через всю жизнь Всеволода. Самым близким (при кратковременных охлаждениях) был, оставаясь таковым и после смерти Всеволода, Константин Александрович Федин.

До переезда в Москву большинства «серапионов» все они, приезжая в Москву, обязательно к нам приходили.

Вспоминается случай, когда молодой Каверин читал у нас свою первую пьесу. Всеволод расстарался для друга и созвал много именитых людей, среди присутствующих был, помнится, Мейерхольд.

По неопытности и от смущения Каверин попросил погасить верхний свет, оставив только настольную лампу на том столике, у которого он расположился со своей рукописью.

Происходило это в нашей квартире на Мещанской, там у Всеволода был обширный кабинет с камином, где слушатели разместились на диванах и креслах.

Возле чтеца в кругу света сидела только я. Едва Вениамин Александрович начал читать, раздался богатырский храп. Я сразу поняла, в чем дело: бульдог Жанка улеглась по ту сторону двери и блаженно захрапела. Всеволод тоже понял, чей это храп, но, в отличие от меня, смутившейся, он развеселился и хитро оглядывал присутствующих, из которых каждый, боясь шевельнуться, заподозрил своего соседа в неприличии.

Бедный автор едва нашел в себе силы довести чтение до конца первого акта, после чего спросил: «Может быть, прервем?»

Тут Всеволод не выдержал и громко расхохотался, а я включила верхний свет и, попросив прощения за произошедшую неловкость, бросилась выдвирать подальше бесчинного пса.

Автор успокоился, и конец чтения прошел прекрасно.

...Когда не было свободных комнат в гостиницах, ленинградцы-«серапионы» останавливались у нас.

Илья Александрович Груздев и Ольга Дмитриевна Форш — почтенная старейшина, которую «серапионы» считали своим шефом, — гостили у нас подолгу.

Иногда заночевывали Тынянов, Зощенко.

Михаил Михайлович Зощенко тоже читал у нас свои пьесы. Только он любил читать, так сказать, в «семейном кругу».

И после чтения доверительно и крайне деликатно (как все, что он делал) сообщал:

— Знаешь, Всеволод, кажется, я открыл наконец секрет построения сюжета.

Нечего и говорить, что каждый раз предшествовавшее «открытие» сменялось новым.

Вспомнив о Зощенко, хочется рассказать о случае, в котором свойственная ему деликатность предстает во всей своей первозданной цельности.

Произошло это, когда мы жили на Первой Мещанской.

К нам в гости пришли «серапионы»-ленинградцы, приехавшие в Москву на какой-то пленум.

Все сидят возле горящего камина в кабинете Всеволода.

Всеволоду приходит мысль угостить друзей специально им самим изготовленной жвачкой.

Надо сказать, что Всеволод часто вспоминал какие-то заветные «лакомства» своего детства и, пытаясь претворить воспоминания в действительность, неизменно испытывал разочарование, но не всегда в нем признавался даже себе самому.

Иногда то были, скажем, сосульки из замороженного молока, а тут жвачка.

Изготовил эту жвачку Всеволод на даче во Влахернской в присутствии детей и соседней девочки Вари. Свои дети, из уважения и польщенные доверием, покорно жевали прилипающую к зубам жвачку из смолы вишневого дерева, сваренной с примесью небольшого количества глины. Но соседняя девочка Варя, сказав: «Подумаешь, я и просто землю могу есть, только противно», — выплюнула жвачку, не стесняясь.

Точно так же поступили и все «серапионы» (сколько помнится, это были: Федин, Груздев, Никитин, Слонимский) — попросту выплюнули в камин предложенную им жвачку и весело начали трунить над Всеволодом.

Но не Михаил Михайлович.

Зоценко старательно пытался жевать эту жвачку-смолку. Потом побледнел и, едва проговорив (жвачка ведь склеивала зубы): «Прошу простить. Приходится внезапно вас покинуть. Вспомнил о неотложном деле», — стал прощаться.

И, как его ни удерживали, Михаил Михайлович ушел.

Его деликатность не позволила ему выплюнуть Всеволодову жвачку-смолку в камин, как это спокойно сделали все другие.

В Москве у Всеволода появились новые друзья: Буданцев, Пильняк, Большаков, Пастернак, Бабель, Асеев, Сухотин, Леонов, Лидин, Луговской, Фадеев, Санников, Сейфуллина, Правдухин, Павленко, а также и друзья из других республик. Их то прибывало прихотливыми течениями литературной жизни, то отдаляло — одних на какой-то промежуток времени, других — безвозвратно.

Всеволод очень близко сошелся с Сергеем Есениным. Сергей Александрович умер до моей встречи со Всеволодом, поэтому я не могу писать о нем, хотя Всеволод много мне рассказывал об их дружбе.

В архиве у нас хранится книга, подаренная Всеволоду Есениным, с надписью: «Всеволоду — по гроб».

Есенин пытался писать о творчестве Всеволода. Набросок его неоконченной статьи хранится в ЦГАЛИ.

«СМЫЧКА» ПОПУТЧИКОВ С РАППОВЦАМИ

Когда Фадеев был назначен редактором «Красной нови», он попросил меня устроить на нашей квартире «смычку» с попутчиками.

Это происходило в начале тридцатых годов (первая пятилетка), когда стало очень туго с продуктами и введены были карточки.

Фадеев организовал продовольственный заказ в каком-то специализированном магазине, и я поехала выкупать его с курьершей «Красной нови», но Фадеев знал меня как актрису Каширину, не был оповещен, что я по настоянию управдома и паспортиста (тогда еще и паспортизация проходила) стала Ивановой, и заказа мне не выдали: была длинная канитель, мы с курьершей ездили туда-сюда на извозчике (машин еще ни у кого во всем окружении не было), в результате задуманный горячий ужин не поспел к приходу гостей, а вино

уже стояло на столе. Поэтому, а может, и не только поэтому, «смычка» проходила столь бурно (не помогло умиротворению страстей даже сольное: Луговской, Фадеев, Леонов — и общее хоровое пение), что к шапочному разбору сцепились Павленко с Лидиным (кто этому поверит из помнящих иронично-сдержанного Петра Андреевича и корректнейшего Владимира Германовича), и Фадеев с Пастернаком.

Это было скорее игрой, скорее шуточной стычкой, нежели настоящей ссорой.

Однако в результате ходила шутка, что, мол, вместо «смычки» попутчики проучили тех, кто их так окрестил.

Шутки шутками, а было ведь и не без обиды.

У Всеволода есть запись: «Высокомерие, с которым нам была дана кличка «попутчики», мне казалось тогда не странным, а почти естественным. Это происходило из глобального уважения моего к революции и из уверенности, что она не может совершать ошибок. Тогда казалось естественным, что рапповцы, которые говорили от имени пролетариата, только и могли выбрать ту станцию, до которой мы являлись им попутчиками.

...Я глядел на поносительные статьи и карикатуры неподвижными, растерянными глазами. Я полон стремления показать человека наших дней; я начал этот показ с нижних ступеней общественной лестницы; я думал, что, постепенно поднимаясь по ступеням этой лестницы, опишу если не все, то многие круги нашего общества, а оказывается, я просто-напросто — правый попутчик!

...Эта кличка ныне забыта и кажется нам странной и почти непонятной. Между тем, в те дни мы принимали ее с трепетом. Мы даже ждали иногда, когда же нас столкнут с поезда. От нас требовали, чтобы мы воспевали поезд, кондукторами и машинистами на котором были рапповцы. Я думаю, мы пели искренними голосами, но им, рапповцам, наше пение казалось недостаточным. А мы, восхищенные революцией, не замечали своего унижительного состояния.

...Я-то, положим, замечал. Но я считал себя в какой-то степени виноватым перед той абстрактно безгрешной и безошибочной революцией, которую якобы представляли рапповцы и которой никогда не было...»

Всеволод Иванов не прощал себе всю жизнь работы в типографии колчаковской газеты, куда его устроил, спасая от мобилизации, Антон Сорокин. Всеволод был всего лишь вольнонаемным наборщиком и вполне мог бы утешиться обычной

формулой: «Что было — то прошло, зачем омрачать настоящее постоянным раскаянием».

Но таков уж Всеволод Иванов, что во всем он находил повод к сомнению и самоосуждению.

Есть у него и такая записка: «Во всем поезде никто не почувствовал колчаковцам — не могло же это быть случайным? Донес же ведь кто-нибудь, что газеты сваливают на склад и их не везут в армию? Мне это казалось странным, но я объяснял себе это развалом колчаковской армии. Теперь же думаю, что это не так — работало своеобразное движение сопротивления».

КОНЕЦ ДВАДЦАТЫХ — НАЧАЛО ТРИДЦАТЫХ ГОДОВ

К весне 30 года относятся серьезные творческие беды Всеволода.

Правда, и в прежние периоды бывали у него творческие разлады с самим собой, о которых он мне рассказывал как о чем-то крайне тяжком. Выше уже говорилось о сожженных им романах.

Недоброжелательную критику конца 20-х годов на свой цикл рассказов «Тайное тайных» и таких, как «Особняк», Всеволод тоже переживал болезненно.

Но тогда критические нападки уравнивались восторгами Горького, авторитет которого для Всеволода был огромным.

«Сборник рассказов «Тайное тайных» я писал, отказавшись от всех своих прежних изобразительных средств. (...) Помню тех общественных задач, которые я вкладывал в эти рассказы, — борьба с пошлостью и мещанством, возвышение быта простых, маленьких людей, — тут была и своеобразная творческая лаборатория писателя.

...Название книги «Тайное тайных» я решил не объяснять. Пусть сами догадываются, думал я, оказывая себе тем плохую услугу, потому что критики как раз вынесли совершенно противоположное тому, что было в той книге. А впрочем, кто знает, если б я даже и объяснил название в том смысле, который я придавал ему, мне бы могли и не поверить — т. е. опять же, неправильно меня понять. Ведь я хотел показать героев, которые не умеют осознать и высказать своих чувств и мыслей, а их посчитали врагами...»¹

¹ «Наш современник», 1958, № 1, с. 158—159.

«Если верить критике, самой уродливой моей книгой была «Тайное тайных», — говорят, мать из всех своих детей наиболее любит самого уродливого — и я очень любил «Тайное тайных». Это был воинственный и симпатичный мне урод. [...]

Мне казалось, что книга эта («Тайное тайных») спорила с моими прежними воззрениями, отрицая орнаментализм и все другие словесные и смысловые изощрения, которыми мы были так богаты, — надо принять во внимание, что я был богат этими изощрениями с самого начала своего творческого пути: моя первая книжка рассказов «Рогульки» (мною самим набранная в бытность мою наборщиком в Сибири) тому доказательство...

...Эта изощренность была создана не в отрыве от народного языка, а в приближении к нему.

«Очень легко обвинить эпоху и очень легко оправдать себя. Когда прошло так много времени, нужно научиться говорить спокойно.

«Тайное тайных», книга, которую я любил, причинила мне много страданий.

...В душе создавалось такое тяжелое чувство, которое порой превращалось в маниакальную мысль о преследовании.

Но я принялся за новые работы. По-прежнему писал я о маленьких, но героических людях, которые стремятся к большому подвигу ради создания новой жизни. Один за другим писал я два романа, что-то около девяноста печатных листов, — «Кремль» (жизнь в маленьком уездном кремле) и «У» (философский сатирический роман) (место действия которого Москва, и даже уточнен момент — снос храма Христа Спасителя).

...Желая шире показать огромные события, я взял в романах «Кремль» и «У» несколько линий судеб героев, причем тщательно выписывал биографии и внешний вид каждого действующего лица, так тщательно и подробно, что меня самого пугали эти подробности.

И не казалось удивительным, когда эти романы вернулись ко мне ненапечатанными.

...По-видимому, эта система, доведенная до крайности, ошибочна? — думал я. И начинал новые поиски.

...Но как получше изобразить множество судеб и характеров? Как изобразить, скажем, мещанство, этот животный, нечеловеческий, смутный мир, который я страстно ненавижу? Сейчас, быть может, ненавижу больше, чем когда-либо! Подозрительное, узкое, тупое мещанство готово посягнуть на

самые заветные думы нашей страны. Ужасно хочется смотреть вперед! Но как? С чего начать? В чем секрет наибольшей литературной выразительности?..

...Теперь (1958 г.) об этом писать почти забавно, но тогда мне было далеко не весело. Утешал себя, как мог:

— Воевать — так не горевать, а если горевать — так лучше не воевать!»

Успокаивая себя так воинственно, Всеволод, однако, никак не «восвал», а поступил по своему обыкновению — то есть принялся за новые работы. Но, не высказывая этого публично, записывать о своих огорчениях он не прекратил:

«Нет смысла защищать свои недостатки, но есть полный смысл защищать свои достоинства. С недостатками надо бороться, а бороться лишь можно тогда, когда веришь в свои силы. Революция развивалась, искала новые пути своего развития, нэп казался устаревшим, и неужели мне, одному из работников революции, поверить в то, что книга моя «Тайное тайных» — огромная стена, которую не перешагнуть, не объехать? Надо писать! И я продолжал писать о маленьких, но героично-упорных людях, которые стремятся к большому подвигу ради создания новой жизни».

Весной 30 года Всеволод отнес в «Красную новь» первую часть «Кремля» — роман был отвергнут. Причем, как я помню, прочитал его всего лишь один из редакторов — Канатчиков. (Хотя Всеволод и пишет в нижеприводимой записи, что читали несколько редакторов, по-моему, тут память его не точна.)

Даю записи Всеволода о двух его романах:

«Роман «У» в черновиках тоже был написан целиком, но набело я переписал только половину его. Я даже не помню точно, ознакомлял ли я какую редакцию с содержанием этого романа. Вот он и остался ненапечатанным».

Всеволод понимал, что его щепетильность — чрезмерна, но ничего не мог с собой поделать.

«Я дал прочесть первую часть (в опубликованном в 1981 г. варианте отчетливо просматривается отделанность для печати этого начального куска романа. — Т. И.) «Кремля» двум-трем членам редколлегии «Красной нови», где уже не было Воронского. Новые члены редколлегии были люди честные, но, к сожалению, недалекие. Кроме того, после яростной критики

«Тайного тайных» в журнале, плотоядно ища в писаниях моих следы Бергсона и Фрейда, отнеслись ко мне внешне приветливо, внутренне отрицательно. Поэтому члены редколлегии нашли в моем романе «Кремль» все то, что критика находила в сборнике «Тайное тайных».

Рассматривая события с такой отдаленной дистанции, как 80-е годы, многие современные писатели и издатели не могут себе представить, что, будучи после Первого съезда писателей одним из секретарей правления СП СССР и председателем правления Литфонда, Всеволод ни разу не воспользовался своим положением для воздействия на редакции, отказывавшиеся печатать его произведения. Не раз привелось мне услышать: «...ему ведь стоило только по телефону позвонить».

А и звонить было не к чему: в «Красной нови» он ведь ведал редакцией прозы. И, однако, он никогда не использовал своего положения ни для «самопечати», ни для нажима, и даже к дружеским связям (включая Горького) никогда не прибегал.

Всеволод всегда и во всем винит прежде всего себя самого.

Отсюда следующая запись:

«Легко, конечно, обвинить в ненапечатании романов эпоху, но не трудно обвинить и автора. Эпоха — сурова, а автор — обидчив, самовлюблен, и, к несчастью для себя, он думал, что другие самоуверенные люди — чаще всего это были редакторы — лучше, чем он, понимают и эпоху, и то, что он, автор, должен делать в этой эпохе. Кроме того, виновата и манера письма — стиль автора, который он искал непрерывно и ради искания которого не щадил ни себя, ни редакторов».

Невзирая на то, что авторитет Горького был для Всеволода огромен, в последние годы жизни Алексея Максимовича Всеволод уже не давал ему читать все, что писал.

Причин было много, первая — здоровье Алексея Максимовича и нежелание его утруждать, утомлять. А дальше шел сложный узел — соединение многих разноречивых мотивов.

Я уговаривала Всеволода показать «Кремль» Горькому, Всеволод заупрямился — не захотел. Сказал: «Хватит ходить на поводу!»

...Чтобы «переменить — как он говорил — мысли», Всеволод собрался с бригадой писателей — Тихонов, Леонов, Павленко, Луговской, Сапников — в Среднюю Азию.

Нам обоим очень не хотелось расставаться, но у меня на руках был младенец, Кома, которого я еще не отняла от груди, и о моем отъезде и речи быть не могло.

Из поездки Всеволод часто писал мне.

Открытка из Сызрани в Москву.

«23.3.30 г.

Милая Тамарушка,— едем быстро (писать трудно, как видишь) и весело. Читаю и ем — вот и все мои «текущие» поступки.

Леонов просит тебя позвонить его жене, что все в порядке и что он кланяется.

Целую тебя, Комочку и всех прочих.

Всеволод.

— Не забудь об Гиз'е и моей книге.

Сызрань».

Открытка из Оренбурга в Москву.

«24.3.30 г.

Милая Тамарушка,— едем в полном порядке и тишине! Поля уже полуосвободились от снегов; ходят стада — и все церкви в деревнях, мимо которых мы проезжаем, без крестов.

Бреясь, Леонов разрезал все ухо!

Вот и все новости!

А вообще рассказывают анекдоты! Особенно отличаются Тихонов и Леонов.

Целую всех крепко, тебя и Комочку особенно.

Всеволод.

Оренбург».

Открытка из Ташкента в Москву.

«26.3.30 г.

Милая Тамарушка,— добрались и до града Ташкента. Все так же, как и тогда, когда мы с тобой здесь были раньше: только все зелено и нет пыли. Едем прекрасно, даже ресторан и тот сносен, что же касается твоих страхов, то это все чепуха

и ерунда — здесь все спокойно. Через двое суток буду в Ашхабаде, — впрочем, я буду телеграфировать и писать. Бабы на станциях почему-то продают блины: масленицу, что ли, справляют по случаю конца «головокружения».

Нежно целую тебя, Комочку — и всех.

Всеволод».

Из Ашхабада в Москву.

«31.3.30 г.

Милая Тамарушка, вот только на четвертый день я смог кое-как выбрать время, чтобы написать. Нас страшно замотали, к тому же в городе жара и к тому же я ждал от тебя телеграммы, — но телеграф перегружен телеграммами о посевной кампании, и, как выяснилось, телеграммы теперь идут более медленно, чем почта. До сегодня я от тебя ничего не получал...

Как я и в Москве говорил, всяческие разговоры о «беспокойной» жизни здесь оказались ерундой, так же тихо и спокойно, как и тогда, когда мы сюда с тобой приезжали.

Я тебе сегодня телеграфировал, что буду в Ашхабаде до 4-го, а затем мы направимся в провинцию Чарджуй и Мерв на посевы хлопка. Оттуда буду аккуратно через день или два посылать телеграммы, но не беспокойся, пожалуйста, если телеграммы эти будут приходиться с запозданием. Мне же лучше писем не пиши, все равно они придут с таким опозданием, что я их получу уже в Москве. Писем я тебе по той же причине писать буду поменьше, это огорчительно, но что поделаешь.

На открытие Турксиба мы, скорее всего, не поедем, а возвратимся в Москву числу к 5 или 7-му, самое позднее. Причина та: жара (сейчас, например, 40°); отвратительная пища и отсутствие сносных жилищ, отчего мы устанем как дьяволы и вряд ли сможем совершить еще поездку вдоль Турксиба.

Сегодня по почте тебе отправлена посылка: 4 шкурки вара¹, это род крокодила — большой ящерицы — Кара-Кумов, из шкурок этих делают в Париже сумочки и туфли, что можно соорудить и тебе, только нужно найти в Москве соответствующего скорняка. Мишке я купил громадную туркмен-

¹ Варапов этих я не получила, как и прочих Всеволодовых даров из поездок. Он потом, смеясь, говорил: «Ты вся в росамах». Этот мех я тоже откуда-то должна была получить и не получила.

скую папаху, а Татьяне привезу живую черепаху и, может быть, если мне найдут, варана, так что в квартире у нас будет собственный крокодил.

Живу я в той же гостинице, где мы с тобой останавливались, и даже в том же номере!

Телеграммы мне лучше всего посылать спешные, авось скорей дойдут.

Увидим мы, должно быть, много. Вчера, например, ездили на машинах к персидской границе, и я, можно сказать, побывал в Персии — сделал несколько шагов по ту сторону границы!

Сегодня местная группа актеров показывает нам «Бронепоезд». Забавно?

Очень жаль, что ничего не знаю о нашем «финналоге»!..

Писать здесь едва ли буду и едва ли смогу, но попробую. Некогда.

[...] По сравнению с тем, что мы видали с тобой — город замер и оскудел.

На секретере лежит письмо М. Горькому, отправь его, пожалуйста. [...]

Точно так же отправь письмо и Хонигу¹, адрес коего найдешь в его письме ко мне.

[...] Конечно, я с радостью уехал бы в Москву, но долг и любопытство владеют мной, посему поеду дальше. Пожалуйста, не беспокойся, повторяю — едем мы с максим. удобствами и сопровождают нас важные лица: редактора обеих местных газет.

Ищи дачу и развлекайся как можешь! [...]

Всеволод.

Письмо из Ашхабада в Москву.

«3.4.30 г.

Милая Тамарушка,
целую и кланяюсь тебе.

Дела наши идут хорошо, оживленно, видим мы много, но утомляемся сильно от разных выступлений. [...]

Видим мы много, но описать все это в письме совершенно невозможно, потому что все в голове спуталось и смешалось. Прямо и не знаю, как все это рассортировать! Публика здесь

¹ Переводчик произведений Всеволода. Изд-во «Malik-Verlag» выпускало тогда в Берлине на немецком языке все произведения Всеволода.

скучающая, и путешествие наше похоже на то, как говорил знаменитый персонаж, что «и почтмейстер хороший человек!» — вчера, например, в доме Кр. Армии нас встретили и провожали под Интернационал и говорились такие пышные речи, что и ни рассказать и ни описать невозможно. А на представлении «Бронепоезда» меня так качали, что порвали штаны и затем пришлось мне уйти в костюмерскую, где костюмерша дрожащими от волнения руками зашивала штаны любимого автора.

От тебя я еще не получал ни одного письма, кроме двух телеграмм, и посему не знаю, что у вас делается и что происходит.

Еще раз целую тебя и Комочку.

Всеволод».

Письмо из Ашхабада в Москву.

«5.4.30 г.

Милая Тамарушка, сегодня получил твой ответ на последнюю телеграмму мою, в оном ответе ты просишь, чтобы я телеграфировал тебе ежедневно. Дело в том, что нас так мотает из стороны в сторону, что спим мы не более шести часов в сутки и к почте не всегда удается подойти. Буду посылать как смогу.

Сегодня уезжаем в Мерв, а оттуда в Кушку. Я предполагаю, что мы промотаемся здесь еще недели три, не больше, а затем возвратимся в Москву.

Почта работает здесь столь отвратительно, что еще до сегодня я не получил от тебя ни одного письма, а уже со дня отъезда из Москвы прошло две недели.

Представление о крае мы получили полное. Мы видали и крестьянство и Кр. Армию и местный пролетариат — и все прочее. Отношение к нам местных работников замечательное и предупредительное елико возможно, но из-за этой предупредительности совершенно нельзя работать.

Вчера только узнал, что варанов тебе не послали — по ряду причин, главная из которых — лень Госторга. Скорее всего, я их привезу сам. Кстати о покупках: купил я по глупости, для детей, чуть ли не пуд кишмиша и прочих сухих фруктов, а теперь говорят, что послать их невозможно. [...]

Придется их с собой привезти.

Целую крепко тебя, Комочку и всех.

Всеволод.

Напишу из Мерва».

Письмо из Ашхабада в Москву.

«Дорогая Тамарушка, сегодня отправил багажом все то, что смог купить в Ашхабаде, часть же привезу сам. Когда пойдешь получать чемодан, захвати с собой носильщика: в чемодане еще лежат книги и он тяжел. Захвати, на всякий случай, доверенность мою.

Завтра из Мерва едем в Кушку, где пробудем с неделю, а затем в Чарджуй, осмотрев район которого и я и Леонов возвратимся в Москву. В Кушке пробудем не меньше недели.

Зело неважно здесь со жратвой, а все остальное очень красиво и достойно долгого изучения.

Крепко целую тебя и Комочку и всех прочих.

Всеволод.

*7 апреля 1930 г.
Мерв».*

В письмо вложены вырезки из местных газет в количестве 4 штук.

Вырезка № 1.

«Для чего мы приехали в Туркмению»

Беседа с участниками первой бригады писателей.

Фотография, на которой засняты Вл. Луговской, П. Павленко, Н. Тихонов, Вс. Иванов, Л. Леонов и Г. Санников.

Высказывания Г. Санникова, П. Павленко, Н. Тихонова, Л. Леонова, Вл. Луговского.

К о л л е к т и в н ы м т р у д о м

Более, чем когда-либо, я считаю чрезвычайно важным делом, как для писателя, так и для читателя, изучение богатств наших республик не только со стороны их земных недр, но и причин того творческого энтузиазма, который охватил весь СССР,— изучение революционного прошлого наших республик, изучение наших побед и поражений.

В этом изучении коллективный труд нашей бригады в Туркменистане — при том горячем содействии, которое мы встретили от местных организаций,— надеюсь, сможет оказаться полезным.

Всеволод Иванов.

Вырезка № 2.

из газеты «Туркменская искра»

март 1930 г.:

1) Статья «Первая ударная».

О бригаде московских писателей в составе Вс. Иванова, Н. Тихонова, Г. Санникова, Вл. Луговского и Павленко, приехавших в Ашхабад.

2) Товарищеская встреча.

28 марта в редакции «Т. И.» московские писатели встретились с партийными, советскими и литературными работниками Туркмении.

Вырезка № 3 из газеты.

Л и т е р а т у р н ы й в е ч е р в Г о с т е а т р е

Отчет о вечере, на котором выступили: П. Павленко, Н. Тихонов, Л. Леонов, Г. Санников, Вл. Луговской.

В. Иванов прочитал рассказ о том, как он был факиром. Рассказ *не является типичным* для такого талантливейшего мастера художественного письма, каким бесспорно является Вс. Иванов, автор крупнейших произведений, входящих в классику советской литературы. Но все же в этом рассказе находит отражение весь блеск замечательного писательского мастерства Вс. Иванова.

В этой вырезке Всеволод подчеркнул «не является типичным» и на полях написал: «Что же, по мнению рецензентов, для меня типично?»

Вырезка № 4 из газеты.

1) Ударная бригада писателей у текстильщиков.

Ударная бригада московских писателей в полном составе посетила общее собрание рабочих и служащих текстильной фабрики, на котором было принято шефство фабрикой над Наркомпросом.

Под гром аплодисментов московские гости были избраны в президиум заседания.

2) Писатели в туркменском гостеатре.

Московская ударная писательская бригада посетила премьеру туркменского гостеатра «Аул Гидже». С краткой приветственной речью к московским гостям обратился главный режиссер т. Тиханович...

Вс. Иванов в беседе с нашим сотрудником отметил четкую сыгранность исполнителей.

Выступили также Л. Леонов, Н. Тихонов.

...Сегодня писательская бригада будет участвовать в заседании худ. совета на закрытии сезона европейской группы. После заседания в присутствии автора Всеволода Иванова будет показан «Бронепоезд 14-69».

Открытка из Бухары в Москву.

«21. IV. 30 г.

Дорогая Тамарушка, не забудь выкупить от часовщика часы. Завтра из Бухары мы едем в Керки, где проживем около недели, затем вернемся в Чарджуй и числа 1-го или 3-го направимся в Москву.

Всеволод.

21 апреля, Бухара».

По возвращении из Средней Азии Всеволод написал «Повести бригадира Синицына», и их печатали в «Красной нови» свеженькими — прямо из-под пера.

И в «Новом мире» печатались его рассказы: «Маников и его работник Гриша», «Кожевенный заводчик Лабанов».

Но капитальные труды «Кремль» и «У» так и остались лежать в столе.

Возникла мысль всей семьей поехать в Италию, к Горькому, который усиленно приглашал Всеволода.

Этот план потерпел крушение из-за антипатии Всеволода к секретарю Горького П. П. Крючкову, без посредства которого нельзя было обойтись. И паспорта, и визы, и деньги на прожитие за границей — все должен бы был организовать Крючков, а Всеволод именно этого и не захотел.

В тридцатые годы мы много ездили по стране с писательскими бригадами.

После поездки в Среднюю Азию Всеволод не соглашался ездить без меня, и долгое время я была повсюду его неизменной спутницей.

Вот мы едем на Краматорский завод.

Встречают бригаду со знаменами и пением «Интернационала».

Проводник вагона, желчный старикашка, всю дорогу третиравший ехавших в двухместном купе Веру Инбер и меня (единственных «дам» бригады), стоит на подножке и, желая загладить свою дорожную грубость, дирижирует пенным. Прощаясь, он именовал нас — «уважаемейшие гражданочки-дамы».

В заводской многотиражке на следующий день появился групповой портрет; там, где стояла я, была подпись — «Л. Сейфуллина». Лидия Николаевна входила в официальный состав бригады, но в последний момент почему-то не поехала.

Всеволод так рьяно набросился на осмотр горячих цехов, что у него приключился тепловой удар. Температура поднялась до 40 градусов.

Правда, через несколько часов температура упала, но я никак не хотела пустить его на выступление, даже брюки спрятала.

Врачу пришлось долго меня уговаривать, и он шутил, что в первый раз за всю свою врачебную практику выписывает рецепт на брюки. Кабы, мол, я реальным образом мог это осуществлять — во всем Краматорске знаменитее не было бы человека (то была первая пятилетка — и брюки были на вес золота).

Много было этих поездок: и на Макеевский завод, и в Харьков, и в Алма-Ату.

В своей речи на Первом съезде писателей Всеволод говорил увлеченно и, я бы сказала, задиристо, споря с Ильей Эренбургом, о коллективном сборнике писателей, посвященном теме перевоспитания трудом. Но я уже писала выше, что Всеволоду было свойственно беспощадно пересматривать свои собственные заблуждения и, не боясь посмотреть правде в глаза, отказаться от прежних утверждений, посчитав их ошибочными.

Всеволод был всегда и во всем беспощаден прежде всего к самому себе.

Ведь это он записал: «...И почему мы, писатели, так мало пишем о совести!»

Не застывая на уже достигнутом в творчестве, он и в жизни не переносил неподвижной приверженности любой догме. И меня учил тому же.

Несмотря на его постоянные сомнения в правильности своих творческих поисков, как и у всякого пишущего (будь то поэт или прозаик), найдется и у Всеволода свой «Памятник».

Например, пишет: «Что касается моих редакторов полно-го, то черт с ними — так им и надо».

Не будучи уверенным (хотя бы в тот момент, когда за-носила в дневник эта фраза), что когда-нибудь твое творчество станет предметом изучения и будет издано п о л н о е собрание сочинений — т. е. всего тобой созданного,— такую фразу не напишешь.

Но ведь в том же дневнике находится и множество само-уничижительных записей,— следовательно, в зависимости от настроения, от множества привходящих обстоятельств менялся и взгляд на самого себя, а значит, и на свое творчество.

Одним из характернейших примеров мне представляется статья «Сто десять авторов и однамышь» (опубликованная в посмертном собрании сочинений) и две его приписки к этой статье при позднейшем ее прочтении.

Увлечшись идеями Горького о создании различных «Историй», Вс. Иванов не только в редакционных коллегиях этих изданий участвовал, но и сам для них писал. Так, при создании «Истории гражданской войны» родился роман «Пархоменко», а при создании «Истории фабрик и заводов» — та статья, о которой пойдет сейчас речь.

Рабочие высокогорного железного рудника сами написали о себе книгу, озаглавленную составителями Я. Ильиным и Б. Галиным «Были горы Высокой».

Я позволила себе выше охарактеризовать выступление Всеволода на I съезде писателей задиристым. Он ведь и сам сказал тогда, что многое в его речи является «...только необычной концентрацией нашей молодости, здоровья и самоуверенности».

Всеволода, как и Горького, увлекала идея перековки, увлекала идея коллективного создания книг и самими трудящимися и писателями о них, однако он не мог уложить свою увлеченность любой идеей в заранее регламентированные формы, поэтому и о данной книге, созданной рабочими, он пишет не в реалистической, а в необычной манере, базируясь на фантастическом своем рассказе, опубликованном им в жур-

нале «30 дней» в 1935 году, — рассказ этот он считал слабым и никогда его не переиздавал.

Как составитель первого посмертного собрания сочинений, я разделила точку зрения автора на этот рассказ (он называется «Странный случай в Теплом переулке») и не включила его в посмертно изданное избранного в 8-ми томах.

При написании панегирической статьи о коллективном писательском труде рабочих Всеволоду Иванову понадобился фантастический этот рассказ, дабы, так сказать, сдобрить рецензируемую книгу, лишить ее пресности, естественной для неопытных в писательском мастерстве людей, которые в силу тех или иных обстоятельств берутся за перо.

Всеволод Иванов испытывает подлинный восторг, но безошибочно чувствует, взвешивая на каких-то внутренних, не поддающихся точному определению весах, что восторг его чрезмерен, он, что называется, перехлестнул, явно ощущает, что для введения похвалы в нормальное русло требуется найти какой-то особый прием. Он прибегает в данном случае к тому, что на его палитре всегда имеется в изобилии, — к фантастике.

Но найденный прием окончательно разрушает первоначальный замысел. Автор бракует свою статью и кладет ее в стол.

Девять лет спустя, перебирая бумаги, он случайно перечитывает эту статью и в себя не может прийти от изумления. С одной стороны, он, отлично зная себя, понимает, что, не испытывая восторга, он не мог утверждать, что таковой испытывает; с другой стороны, он начисто забыл ту книгу, которая в момент написания им статьи о ней вызывала его неумеренное восхищение. Это вопиющее несоответствие наводит его на размышления о собственном творчестве, выливающиеся, между прочим, и в такую фразу: «Вся эта слава, будущее, юбилей стосорокалетия — вздор и чепуха».

Проходит еще 17 лет, и статья вместе со сделанной к ней припиской вновь попадает в руки автора, вызывая у него новую волну не менее горячих и искренных недоумений. Он записывает:

«Неужели я так думал? Меня ведь очень влекла слава, всегда. Я ее получил при постановке «Бронепоезда» в МХАТе и, потеряв, в силу многих причин, алкал ее всегда. Правда, я мало что делал для ее приобретения, но — алкал».

Статья писалась в 1935 году, первая приписка сделана в 1944 году, последняя в 1961 году — за 2 года до смерти. Все

три записи предельно искренни и честны по отношению к самому себе, но все три взаимно исключают одна другую.

Что это? Непостоянство характера? Нет — беспощадная честность и неустанные поиски истины.

Он был совершенно лишен мелочности. Воспринимал жизнь, людей и все окружающее только масштабно, только крупным планом.

Творческая продуктивность Всеволода была воистину огромна.

Он писал сразу несколько вещей.

В молодости он работал иногда по 12—14 часов в сутки.

«Кремль» и «У» оставались его заветными творениями.

Он хотел печататься во что бы то ни стало.

Искренне хотел быть «созвучным эпохе», и такие его выступления, как «Литература должна быть достойной революции» («Лит. газета», 1930, № 5) или «Сломать рамки делячества» («Веч. Москва», 1937), являлись подлинным выражением его умонастроения.

Хотя наряду с этим он и впадал иногда в отчаяние, которое тоже высказывал публично, как, например, на диспуте в Театре Революции, когда он недоуменно развел руками и закончил свою речь об искусстве словами: «Неизвестно, к чему все это приведет и чем кончится».

Стремясь быть «созвучным», Всеволод начал писать пьесу «Верность». Отдельные сцены из этой пьесы печатались под названием «Танки и нефть» и «Танк верности».

Но целиком пьеса «Верность» как-то не вытанцовывалась, и Всеволод решил по ее мотивам написать роман, носивший вначале то же название, а потом переименованный им в «Путешествие в страну, которой еще нет».

А по мотивам все той же среднеазиатской поездки Всеволод написал пьесу «Компромисс Наиб-Хана».

Рапповская критика ополчилась и на эту пьесу. Авербах писал: «Такие компромиссы нам не нужны». Наступил период, когда Всеволод обратился в некую мишень для критики.

В 1938 году он записывает по поводу своей повести «Гибель железной»: «В основу повести я положил воспоминания красноармейца, воевавшего в этой дивизии, использовал также для нее два-три абзаца из мемуаров одного военного. Повесть мою называли бергсонианской и фрейдистской, а попытку частично использовать мемуары — плагиатом».

...Алексей Максимович говорил мне, когда мы гостили в январе — феврале 36 года у него в Тессели: «Всеволода я люблю как сына, и не перестаю жалеть, что он не осознает меры своего таланта».

В последнем Алексей Максимович ошибался. При всей своей скромности и именно из-за нее внешне этого не показывая, Всеволод сознавал меру своего таланта и страдал как раз от невозможности развить и проявить его в полную силу. Парадокс заключается в том, что писатель в буквальном смысле этого слова, рожденный Октябрем и Октябрем же прославленный, пожалуй, как никто другой, пострадал от рапповской и напостовской критики.

У Всеволода есть дневниковая запись от 13 ноября 1942 года:

«Душевно жаль будущих историков литературы, которые должны будут писать о нашем героизме, стараясь в то же время не очерпнуть людей, мешавших этому героизму»¹.

МЫ ЕДЕМ В ПАРИЖ

В 1932 году мы поехали вдвоем в Париж на постановку «Бронепоезда» в Театре «Интернационального действия», организованном Леоном Муссиаком.

Тогда я впервые решила оставить на долгий срок детей, поручив их сестре Зине и няне Марии Егоровне.

Каждый попадающий за границу в первый раз от полной смены всего привычного испытывает неизбежное потрясение.

Так произошло и со мной. Всеволод уже побывал за границей в 1927 году. Но тогда он ездил с опытным попутчиком Львом Никулиным и чувствовал себя за ним как за каменной стеной.

Теперь же, уже привыкнув к моей «распорядительности», Всеволод положился целиком на меня.

А я сразу же, едва мы пересекли границу и очутились в Польше, растерялась. Сразу сглупила.

У нас было очень мало валюты, а я зачем-то стала менять ее на злотые и доплачивать за спальный вагон (билеты у нас были куплены в Москве круговые: Москва — Берлин — Париж — Рим — Берлин — Москва).

Спальный вагон — абсолютно ненужная нам роскошь и абсолютно нелепая трата.

Это еще куда бы ни шло. Но я так волновалась, что вначале

¹ «Переписка с Горьким», с. 360.

даже и воспринимать ничего толком была не в состоянии.

До Берлина я проехала как во сне.

Прибыв в Берлин, мы направились в указанный нам еще в Москве отель (в котором, как нам сказали, останавливаются все советские граждане).

Там тотчас же мы свели знакомство с молодым работником нашего торгпредства по фамилии Кивкусан, он нам и начал показывать Берлин.

Одной из достопримечательностей Берлина был, по его мнению, универсальный магазин, с каким-то буквенным названием, кажется — КДВ.

Нас этот магазин, конечно, тоже поразил, а меня главным образом тем, что прямо оттуда, уплатив пошлину на месте, можно было послать в Москву посылку, что я немедленно и сделала.

Сами мы тоже несколько экипировались (чтобы, прибыв в Париж, не слишком отличаться от французов своим видом).

И в тот же день неожиданно, идя по Унтер-ден-линден, мы наткнулись на Федина.

После взаимных излиятий радости от встречи (Федин отбывал курс лечения в Швейцарии и приехал в Берлин на несколько дней) Константин Александрович предложил нам провести вечер «на сплошном даровом шампанском», как он выразился.

Но вначале надо было нанести заранее запланированный визит доктору Хонигу. Хониг переводил и Федина, так что сговорились сперва идти вместе к Хонигу, а потом уж к фединскому знакомому, Крымову, просоветски настроенному эмигранту, русскому писателю и одновременно богатому коммерсанту.

Коттедж Хонига меня очень заинтересовал. Я впервые увидела рационально оборудованный (с собственным миниатюрным котлом парового отопления, какие впоследствии и у нас на дачах стали устанавливать), блиставший чистотой немецкий дом, который хозяйка, благодаря множеству облегчающих быт приспособлений, легко обслуживает своими силами без наемной помощи.

От Хонигов поехали к Крымову.

Там тоже коттедж, но с потугами на роскошь.

Жены Крымова не было дома. Он принимал нас очень радушно, на утепленной веранде, где имелся люк в подпол, откуда хозяин, как и предполагал Федин, доставал бутылку за бутылкой шампанское. Крымов мне с первого же взгляда не понравился. Я нашла его безмерно развязным и хвастливым.

Явно шокируя Федина, я непрерывно вступала с хозяином дома в спор.

Особенно я, что называется, «схлестнулась», когда тот нахально, с моей точки зрения, заявил, что он-де предложил Советскому правительству оплатить кругосветное путешествие — совместное его, Крымова, и Горького — с тем, чтобы их путевые заметки печатались в советской прессе, а ему на его предложение ничего не ответили.

Я дерзко парировала: «А зачем вы-то нужны, если Горький захочет совершить такое путешествие, для него у нашего правительства деньги, несомненно, найдутся».

Словом, я испортила своей непокладистостью этот вечер «на сплошном даровом шампанском», которое действительно было выставлено в неограниченном количестве.

Когда мы возвращались, Константин Александрович слегка попенял мне за мою неуместную колкость. А Всеволод весело хохотал. Ему нравилось, когда я заводилась и начинала резать напропалую.

У меня же было в обычае — не молчать, если не согласна. Ибо, наивно утверждала я, молчание — знак согласия.

Федин держался другой точки зрения: пусть, мол, мелет — ничего от этого не убудет.

Не надо забывать, что все мы были тогда очень молоды.

В Париже нас встречал на вокзале Владимир Познер, знакомый Всеволоду еще по петроградским, «серапионовским» временам¹, а со мной познакомившийся в Москве, куда он приезжал на съезд писателей.

Познер отвез нас на своей малолитражке в «русский» отель (он не знал, что я говорю по-французски, и наше предполагаемое «безъязычие» определило его выбор).

Отель этот оказался пустым от постояльцев, но переполненным клопами.

Наутро мы сбежали.

Я без посторонней помощи выбрала типично французский отель на Монпарнасе и переехала туда немедленно, оставив Познеру, который должен был появиться днем, записку с нашим новым адресом.

Я уже пришла в себя от потрясения, вызванного необыч-

¹ Познер считал себя «серапионом», хотя и посещал, введенный туда Горьким, «серапионовские» сборища в 15-летнем возрасте, будучи тогда советским школьником.

ными впечатлениями, и обрела способность действовать нормально.

В Париже мы прожили месяц.

Спектакля «Бронепоезд», на который мы ехали, нам посмотреть не удалось. Театр «Интернационального действия» был закрыт полицией еще до нашего приезда.

Мы познакомились лишь с афишами да с некоторыми из постановщиков спектакля: Натаном Альтманом (художником), Грановской (сопостановщиком) и Леоном Муссинаком (основателем театра).

Вся эта группа людей, так сказать родственников по «Бронепоезду», опекала нас и показывала нам достопримечательности Парижа.

Да мы и вдвоем бродили по нему вдосталь.

Послом СССР в Париже был тогда В. С. Довгалевский, он нас очень любезно пригласил посетить его, а потом даже устроил в нашу честь прием.

Странны превратности судьбы: первой, кого я встретила в посольстве, была актриса (фамилию забыла), которая в 1925 году вместе со мной участвовала в конкурсе по набору в труппу Театра Революции и была, как и я, принята. Теперь она оказалась женой одного из советников посольства и жила в Париже. Там же, в посольстве, произошла первая встреча с Агнией Александровной Майской, она произвела незабываемое впечатление тем, что ворвалась во время нашей беседы с Довгалевским в его кабинет, требуя от него какого-то немедленного и особого соединения по телефону со своим мужем И. М. Майским (тогда тот был послом в Лондоне), которого она называла «Михалычем», и уверяла, что он может умереть от беспокойства за нее, не имея сведений, как она переплыла Ла-Манш (было бурное море).

Познакомились мы тогда в Париже и с Вайяном-Кутюрье, который тоже уделил нам много внимания, показывая коммунистический пригород. Однажды он пригласил нас к себе домой на завтрак, он сам его артистически приготовил на наших глазах.

Почему-то в тот приезд мы не виделись ни с Эльзой Триоле, ни с Арагоном. Кажется, тогда Эльза еще не простила Всеволоду его насмешливого отзыва об ее первом литературном опусе, написанном по-русски и называвшемся «Земляничка».

Познер был женат в то время на некоей Ляле, из богатой эмигрантской семьи. Ее мать обладала какой-то роскошной, поразившей меня, но марки я не запомнила, машиной, которой она сама управляла.

Во Франции пользовалась большим успехом кинокартина «Юность Максима», и эта фешенебельная дама (мать Ляли), сидя за рулем, распевала «Когда б имел золотые горы» и «Крутится-вертится шар голубой».

Пока мы жили в Париже, получили письмо от Горького, который настоятельно звал нас к себе в Италию, «ко дню Нового года (1933) и ранее».

Из Парижа уезжать было жалко, но и Италия манила, да и с Горьким повидаться тоже хотелось.

Выехали мы из Парижа с таким расчетом, чтобы прибыть в Сорренто аккуратно 31 декабря.

Всю французскую Ривьеру видели только из окна поезда.

Я вела себя очень смешно, потому что всех случайных попутчиков агитировала «за Советский Союз».

Всеволод надо мною посмеивался и шутил, что пока мы во Франции — это еще туда-сюда, а вот в Италии — не миновать мне угодить в застенки к Муссолини.

Были, наверное, среди тех, кого я «агитировала», и самые обычные люди, с которыми стоило разговаривать, но были и такие, а они-то и запомнились, которые вполне оправдывали насмешки надо мной Всеволода.

Где-то в Ницце или Каннах в наше купе вошла дама, у которой через руку было переброшено штуки 3—4 манто, и, кроме того, она внесла и сама (уклонившись от услуг Всеволода) поставила на полку огромный чемодан. От какого-то толчка чемодан этот с полки свалился, открылся... и оказался абсолютно пустым...

А незадолго до Рима к нам подсел кое-как калякавший по-французски (я итальянского не знала) маленький итальянец (Всеволод уверял, что несомненный шпик) с беременной женой (Всеволод уверял, что она не беременна, а просто подсупула на место живота подушку), который усиленно расспрашивал (настолько усиленно, насколько ему позволяло его малое знание французского языка) меня об СССР, и уж тут-то я и распустила всю свое агитационное красноречие...

По всем странам и городам по маршруту Москва — Берлин — Париж — Рим — Неаполь — Сорренто — Неаполь — Рим — Флоренция — Берлин — Москва мы таскали с

собой огромный чемодан, набитый книгами, которые Всеволод взял с собой из Москвы, уверяя, что без них в пути не обойдется.

Мы всюду принуждены были сдавать этот тяжеленный чемодан в багаж, потратили на него массу хлопот и денег, а книги за всю двухмесячную поездку ни разу Всеволоду не понадобились.

Часть из них, те, в которых у Алексея Максимовича оказалась нужда, были оставлены ему в Сорренто, остальные же вернулись обратно в Москву.

В ИТАЛИИ У ГОРЬКОГО

Рим мы осмотрели буквально на бегу, отложили подробный осмотр на обратный путь, и прибыли к Горькому, как и рассчитали, поздно вечером 31 декабря 1932 года.

Едва успели помыться и переодеться, как уже надо было садиться за новогоднюю трапезу.

Кроме обширного семейства Алексея Максимовича у них гостили еще в это время художник Яковлев, обучавший живописи Надежду Алексеевну и Максима (для этой цели в Сорренто всегда жили художники — чаще других Павел Дмитриевич Корин), профессор Бурмин (профессора-медики постоянно сменялись возле Алексея Максимовича. Позднее в Тессели мы гостили одновременно с профессором Левиным) и историк И. Минц; никого приглашенного со стороны не было.

После ужина была шуточная новогодняя лотерея.

А потом начали приходить поздравители. У итальянцев существует народный обычай, вроде старинной коляды на рождество, ходить под Новый год из дома в дом — поздравлять и петь.

Особенно запомнился певец (по профессии парикмахер), у него был прекрасный голос и необыкновенная внешность, необыкновенная не по красоте, а по экзотическому безобразию и по какой-то своеобразной элегантности. К лацкану его визитки была приколата великолепная ветка с глянцеватыми зелеными листьями и спелым желтым лимоном. (Певец этот был впоследствии запечатлен на портрете, написанном Надеждой Алексеевной.)

Певцов, само собой разумеется, угощали. Они опять пели. И так всю ночь.

...В доме Алексея Максимовича не оказалось для нас свободной комнаты, и нас поселили (как это у них в таких случаях, при перенаселенности гостями, было принято) в близлежащем маленьком отельчике. Но там мы только ночевали, остальное же время и все трапезы, начиная от утреннего завтрака и до ужина, проводили в доме Горького.

Алексей Максимович уделял нам очень много времени. Засиживался в разговорах с нами за столом. Человек очень хлебосольный, он особенно любил угощать чем-нибудь, что кто-то отведывает впервые.

Он показывал пальцем и очень аппетитно произносил, с ударением на «о»: «Это едят».

Для его удовольствия я даже устрицы (уже ранее испробованные и отвергнутые мною в Париже) глотала, выслушивая подробные объяснения, как именно это полагается делать.

Алексей Максимович так искренне радовался, приобщая к гастрономическим новинкам, что я переборщила в стремлении доставить ему это удовольствие.

Однажды он с неподдельным негодованием воскликнул: «Позвольте, сударыня, это явный перебор! Не ошибусь, сказав, что уже в третий раз вы уверяете, будто артишоки для вас — новинка».

Когда я бывала таким образом избалована, Всеволоду это доставляло не меньшее удовольствие, чем Алексею Максимовичу потчевание. Всеволод радостно кричал: «Ага, попалась!»

Алексей Максимович ходил с нами гулять. Вдоль дороги в Капо-ди-Сорренто, где он жил, растут запыленные агавы. С тех пор, где бы ни попались мне на глаза эти растения, немедленно в моем сознании начинает звучать окающий говор Алексея Максимовича, всплывают в памяти его рассказы, прерываемые одышкой, услышав которую мы тотчас останавливались, делая вид, что любуемся пейзажем, действительно открывшимся во всем своем великолесье с возвышенности, на которой стояла вилла.

Горький тогда только что кончил пьесу «Достигаев и другие». Пригласив после обеда к себе в кабинет, стал читать нам двоим на примыкающем к кабинету балконе, выходящем на море.

Читал Алексей Максимович (как это делает, впрочем, почти каждый автор), интонацией досказывая то, что не всегда удается вложить в сочетание слов.

Мы, разумеется, начали хвалить услышанное.

Алексей Максимович строго остановил нас и сказал Всеволоду: «Меня, сударь вы мой, многие хвалят, а от вас я жду критики в меру вашего огромного, сударь вы мой, таланта и помощи в объеме моей любви к вам. Все это позарез мне нужно».

К большому сожалению, я не вела дневника и не делала каких-либо записей, поэтому решаюсь пересказывать только то, что мне ярко запомнилось.

Вступление к литературной дискуссии на балконе, которое я привела выше, я помню, как мне кажется, дословно.

Дальше шел разговор о сущности реализма, об опасности впадения в натурализм и о необходимости романтической приподнятости — в особенности для театра.

Мне думается, что главным в обмене мнениями для обоих писателей была возможность высказать свои мысли тому, кто вполне способен понять мысль другого.

Присутствуя при этом и других разговорах Алексея Максимовича и Всеволода, я не могла не проникнуться убеждением, что оба они очень нужны друг другу.

Может быть, это происходило и оттого, что при всей их взаимной любви — они разные.

Позже, размышляя о прожитом, Всеволод записал в своем дневнике (29/IV — 1943): «Горький ждал от меня того реализма, которым сам наполнен до последнего волоска. Но мой «реализм» был совсем другой, и это его не то чтобы злило, а приводило в недоумение, и он всячески направлял меня в русло своего реализма. Я понимал, что в этом русле мне удобнее и тише бы плыть, я и пытался даже... Но, к сожалению, мой корабль был или слишком грузен, или слишком мелок, короче говоря, я до сих пор все еще другой...»

А иначе и быть не могло. Конечно, «другой», и, по-моему, именно за это Горький так и любил Всеволода, что он — «совсем особенный» (это слова самого Алексея Максимовича, неоднократно повторенные им в разговорах со мной).

Алексей Максимович непрестанно внушал всем, кто его окружал, банальную, однако часто упускаемую из виду истину — о пользе ведения дневников. Он неизменно всем это советовал, объясняя, как важно, по прошествии времени,

иметь возможность контролировать самого себя, свои воззрения и чувства.

С прискорбием каюсь, я была плохой ученицей. Повинуясь необоримому обаянию и авторитету для меня личности Алексея Максимовича, я много раз начинала вести дневник, но хватало у меня этого порыва, к сожалению, на весьма короткий срок.

В некоторое оправдание себе могу сказать, что в этом, как, впрочем, и во многих других вопросах, Алексей Максимович себе противоречил: внушая окружающим: «Ведите дневник», — он тут же строго предупреждал, что не желает, чтобы кто-то осмелился записывать его речи и, чего доброго, написать о нем нечто подобное книге Бруссона «Анатоль Франс в туфлях и халате», которая Алексея Максимовича крайне возмутила.

И все же, как я теперь понимаю, надо было записывать — не при нем, конечно, а занося в дневник по свежей памяти.

У меня, повторяю, нет такого дневника, есть лишь память сердца или души, как хотите назовите.

Память, да еще с годами ставшее осязательным сознание, кому именно я обязана формированием своей личности и даже судьбы.

Тогда в Капо-ди-Сорренто Алексей Максимович шутивно пикировался со мной по поводу моей девичьей фамилии. По отцу я Каширина, и Горький уверял, что наверняка ему родственница (ведь и его дед с материнской стороны — Каширин), а я возражала, что, несомненно, однофамилица — не больше (совсем из разных губерний наши предки. Мои — государственные крепостные крестьяне Рязанской губернии, а его с Волги — ремесленники-мещане).

Алексей Максимович однажды даже сделал вид, будто разгневался: «Противно вам, что ли, в родстве со мной состоять?!»

По вечерам неизменно играли (так было предписано врачами Алексею Максимовичу от бессонницы) в карты. В обыкновенного подкидного дурака.

Алексей Максимович к игре относился серьезно. Проигрывать явно не любил, но и не терпел, чтобы ему «подавались».

Мы со Всеволодом были очень подходящими партнерами. Играли вполне посредственно. Больше глазели на Алексея Максимовича и слушали его, чем размышляли над картами.

А вот Минц и не раз гневил Алексея Максимовича, явно

«поддаваясь». У Минца было особое свойство: он безошибочно знал, какие у кого на руках карты, поэтому не выиграть ему было почти невозможно.

Максим, сын Горького, тот из озорства начинал ж ульничать, но этого Алексей Максимович вовсе не терпел и однажды, вполне серьезно рассердясь, даже выгнал его из комнаты.

Когда Алексей Максимович возил нас в Неаполь и там ходил с нами по улицам и по музеям, всюду его узнавали и со всех сторон неслоь: «Горьки! Горьки!»

Алексей Максимович обладал даром не только творчески воспринимать окружающее, но силой воздействия своей личности и спутников заражать своим энтузиазмом.

В музеях эта особенность Алексея Максимовича сказывалась особенно ярко: он как бы распахивал перед вами невиданные, казалось бы недоступные вам перспективы, как бы мановением руки напрочь уводил вас из серых будней жизни.

Максим возил нас в своей гоночной машине по окрестностям Сорренто, по городкам Каstellамаре, Амальфи, в Помпею. По возвращении Алексей Максимович всегда подробно расспрашивал и комментировал.

Когда мы уезжали из его гостеприимного дома, прощаясь, Алексей Максимович приглашал нас приехать еще раз и уже всей семьей.

ВСЕВОЛОД ЗА ГРАНИЦЕЙ

На обратном пути, во Флоренции, Всеволоду захотелось изобразить «человека с подушкой» (персонаж из «Зависти» Юрия Олеши). Он переложил в наволочку те вещи, которые были нужны для ночлега: халаты, пижамы, зубные щетки и т. д., сдал на хранение все чемоданы и, держа эту наволочку за один конец и помахивая ею, направился в самый шикарный отель. К крайнему моему изумлению (я была тогда еще неискушенна в буржуазных нравах), его приняли с отменным почтением (такое чудачество под стать лишь крупному богачу).

Пока мы жили с Всеволодом во Флоренции, непрерывно шел снег. Прекрасная скульптура, изображающая обнаженных людей и стоящая под открытым небом, рассчитана на сверкание солнечных лучей, под которыми мне и довелось любоваться ею впоследствии. Тогда же, покрытая снегом, выглядела не мраморной, а трепетным человеческим телом, которое пронизывает дождь и холод.

Музеи Флоренции так меня потрясли, что я буквально плакала от восторга.

...В тот день, когда мы уезжали из Берлина, горел рейхстаг. Мы узнали об этом из утренних газет.

К моему стыду, я тогда совсем не поняла значения этого зловещего политического события, повергшего на многие годы во мрак Европу. Я даже удивилась тому, как оно потрясло Всеволода.

Я же настолько была переполнена впечатлениями от нашего двухмесячного путешествия, что все мои мысли были только о том, как буду рассказывать детям и друзьям, как опишу Алексею Максимовичу Флоренцию, которую мы увидели, возвращаясь из Сорренто.

Всеволод всю жизнь читал самую разнообразную литературу. Всю жизнь учился. А перед любой поездкой, заранее — еще дома, восстанавливал свои знания, старался приобрести новые, запасался путеводителями и каталогами (любил отыскать издавшие не только в разные годы, но и столетия).

32 года спустя я вновь видела, уже без Всеволода, все то, что мы когда-то осматривали вместе, и поэтому и в Риме и во Флоренции я уже все видела через Всеволода, он вставал там передо мной во весь рост, со всеми присущими ему знаниями, умом и обаянием.

И в Риме, и во Флоренции меня с непостижимой силой открытия поражал он, который 32 года назад показывал мне эти города так, как будто кормил меня ими из своих рук.

В Венеции мы не побывали вместе, я ее воспринимала уже одиноко, но так как она следовала за Римом и Флоренцией, столь отчетливо поставившими рядом со мной Всеволода, я и в Венеции всюду ощущала его присутствие и тоже как бы сопереживала с ним впечатления от увиденного.

При жизни Всеволода мы много раз ездили в туристические путешествия, и Всеволод неизменно для любой группы становился не только приятным, но и заманчивым спутником.

Это касалось не только зарубежного туризма, но и поездок внутри нашей страны (тут уже был не организованный, а личный туризм — чаще всего на двух машинах, с друзьями). Всеволод каждый раз поражал даже хорошо, казалось бы, знавших его людей не только обширностью и глубиной своих знаний, но еще и способностью прозревать то, что другим и в голову не приходило.

Как пример «провидения» Всеволода помещаю целиком короткий очерк, написанный Всеволодом в 32 году. (При жизни Всеволода этот очерк не публиковался, а посмертно я поместила его в составе своего очерка «Всеволод Иванов за рубежом», опубликованного только на иностранных языках в журнале «Советская литература».)

Нашла я неопубликованный очерк «Стеклянный дом» (подзаголовок — «Очерки парижской зимы») в архиве Всеволода.

«Да, он существует, этот стеклянный дом. Это не метафора. Он находится неподалеку от бульвара Мишель. Стоит, опершись стеклянными боками в древнюю парижскую землю, раскрыв стеклянные двери и устремив во двор окна, собственно сплошные стеклянные стены. Он весь из стекла и алюминия. И в алюминиевой его обстановке ничего лишнего. (Тогда еще не возник теперешний спрос на старину. Ультрамодной была металлическая мебель.) Спальни отличаются от других комнат только наличием в каждой из них ванны, стоящей за алюминиевой же ширмочкой. В столовую проведены из кухни рельсы. Я заглянул в кухню и лишь там увидел единственную живую вещь — будильник. Самый обыкновенный. Он стоял, немного покосившись набок. Наверное, иначе и не идет. Я испытал к нему чувство приязни.

Когда хозяйка в удивительных штанах и дикарском ожерелье с неимоверно скучающим видом показала нам все вплоть до гладильной и бельевой комнат, я спросил: «Где же помещаются книги?» Я очень люблю книги и мне всегда любопытно видеть, как люди обращаются с книгами.

— Книги? — переспросила хозяйка. — Видите ли, архитектор при расчетах проекта забыл про них, их пришлось отправить к матери в имение. И вообще книги не подходят к современному типу зданий. Необходимо придумать нечто их заменяющее. И обязательно придумают.

Хозяин дома — врач-гинеколог.

Несомненно, весь этот дом построен для рекламы дела господина врача.

Надавите кнопку, и дом осветится снаружи искусственным солнцем с такими сильными лучами, что изнутри ничего не видно вовне. Стекла на рычагах, по желанию одна стена может стать матовой, другая прозрачной, если в доме жарко, то опять-таки нажимом кнопки вся наружная стена дома течет искусственным дождем.

Удивительная приемная. При одном взгляде на эти чертовски замысловатые приборы женщины уже должны чувствовать себя исцеленными.

Однако кому доступен этот врач со всем его рекламным домом?

Неприятное чувство вызвал в нас этот дом, похожий на аквариум и на автомобиль.

Так живет буржуазия. На улицах вы ее не увидите. Она несется мимо вас законспирированной. Она ходит к своим врачам, в свои кабаки, куда вы — обычный смертный — не попадете. Мимо вас несутся занавешенные машины, и только изредка вы увидите, как из приоткрытой дверцы дама в мехах скользнет в магазин. Магазины у них тоже свои, толпе недоступные. Свои портные. Свои пароходы, яхты, самолеты. Все свое. Это более замкнуто, чем наверное были замкнуты замки в средние века.

Мы случайно прорвались за барьер, а иначе увидели бы эту жизнь только в кино, преломленную и приукрашенную, без свойственной ей алюминиевой скуки, тоски и пустоты».

Разумеется, мы обсуждали впечатления от этого дома, который мог освещаться искусственным солнцем и охлаждаться искусственным дождем. И Всеволод вовсе не старался умерить мои восторги по поводу таких, удивительных для того времени, технических достижений, но его-то поразила прежде всего бездуховность и антиэстетичность модного быта, «металлического» внутреннего убранства, с обнаженностью, опять же модной, гигиенических приспособлений. В каждой спальне — душ, биде и унитаз, почти на виду, за одностворчатой металлической ширмой.

Отдавая должное восхитившей меня технике, Всеволод не мог не сказать, что жить в доме, где нет книг и никаких произведений искусства, по его мнению, могут только люди-роботы.

Он отлично понял, провидя то (лично я уяснила это себе на несколько десятков лет позже), что в капиталистическом обществе классовое разъединение настолько сильно, что не может не кончиться уходом в своеобразное «подполье» богатых людей, вполне реально опасующихся за свою жизнь.

То, что прояснилось для меня лишь в поездке 70-х годов, и именно во Францию, где у меня много разновозрастных, принадлежащих к разным слоям общества знакомых и где я побывала сравнительно много раз, Всеволод прозрел (иного определения не могу подобрать) с первого взгляда.

А ведь тогда (в 1932 году) не на такой «прозревающий» взгляд, как у Всеволода, все было вполне пристойно и не казалось опасным. В метро (которым мы только и пользовались) было чисто, соблюдалась иерархия 1-го и обычного (который лишь и был нам доступен) классов. Из-за кризиса в музеях — никакой толчеи. Самое большое скопление людей только в магазинах, где «sold» — распродажа по дешевке вышедших из моды или дефектных товаров.

Существовали бидонвили, но люди еще не ложились на ночь в спальнях мешках на вентиляционные решетки (оттуда дует теплом) в самом центре города.

А ведь Всеволод все это уже провидел. Тогда как один мой знакомый, побывавший в Париже в 1976 году, умудрился увидеть в спящих на улице бездомных всего лишь чудаковсумасбродов, эксцентрично украшающих утренний пейзаж Парижа яркими пятнами своих пластиковых спальня мешков.

Чаще всего человек видит только то, что он хочет видеть. Далеко не каждый способен увидеть то, чего ему, по его умонастроению, совсем не хотелось бы видеть.

А встречаются и такие люди, которые даже гордятся тем, что они и чего не увидели, так как их собственные переживания (не имеющие отношения к путешествию) застили от них все окружающее.

ОТСТУПЛЕНИЕ ПО ПОВОДУ ВОСПРИЯТИЯ ПОЕЗДОК

Будучи самым обыкновенным человеком, но волею судьбы много видевшим, я, например, уединившись, могу предаться своеобразной медитации и не только почувствовать себя в одной из тех стран, где мне привелось побывать, но и увидеть отчетливо Эчмиадзин и скальные храмы Армении, могилу Толстого, его дом в Ясной Поляне, за домом парк и пруд, в который бросалась Софья Андреевна после его ухода; Михайловское, могилу Пушкина; Баку при подъезде с моря; Тбилиси, запечатлевшийся впервые с холма; Куру и могилу Грибоедова; единственный раз в жизни представший взору (а сколько о подобном читано) мираж, возникший в казахстанской пустыне Суюгатэ. Могу увидеть Днепр и голубую церковь над ним; храм святой Софии в Киеве и Ая-Софию в Стамбуле, где в мраморной колонне за века образовалось огромное углубление от благочестивых прикосновений паломников; дома старого города Ташкента с цветущими на их крышах маками и

страшный своим изобилием (во время военного голода) его Аллайский базар; деревянные церкви Закарпатья; парки и музей деревянной скульптуры и архитектуры под открытым небом во Львове; совсем иной, но тоже деревянной архитектуры — в Финляндии; древние храмы священного японского города Нико; огромного, одинокого Будду Комакуры и бесчисленных Будд в Киото; подземные храмы Бомбея и в нем же, на берегу океана, йогский центр; Ганг и священную беломраморную лестницу над ним в Бенаресе; собор святого Петра и лестницу Испании в Риме; египетские пирамиды и сфинкса; Акрополь и Парфенон; Вестминстерское аббатство; замки Шотландии — многое, многое могу я вновь увидеть и заново пережить свои впечатления от увиденного, всего лишь сосредоточившись, отрешившись от суеты и сутолоки дней. Углубляясь в медитацию былых впечатлений, могу отчетливо увидеть сокровища искусств, наполняющие посещенные мною музеи Англии, Египта, Венгрии, Чехии, Киева, Ленинграда, Винницы, Германии, Дании, Греции, Турции, Бельгии, Франции. Мне довелось видеть в Лувре две различные экспозиции: в старой статуя Венеры стояла в отдельной, специально для нее приспособленной полукруглой ротонде, затянутой красным бархатом; в новой она стоит в огромном общем зале скульптур, над которым парит Ника Самофракийская.

Все это живет во мне, являясь моим неотъемлемым духовным достоянием.

Но в моем внутреннем видении живет, однако, не одна лишь красота, а и каждый раз возникающее огорчение оттого, что по каналам несказанно прекрасной Венеции плавают дохлые крысы, расползается смрадное зловоние, и даже на канале Гранде не все дворцы отремонтированы, так же как и в величественном своей средневековой нерушимостью Эрфурте. Каналы его «Венеции» почти пересохли, покрыты тиной и ряской; вижу я и бездомных индийцев, ковром из своих тел покрывающих, едва зайдет солнце, улицы Калькутты и даже Дели; теряюсь от сверхмерного изобилия товаров в магазинах и магазинчиках Франции, где так и кажется, что если вытряхнуть всю эту еду, одежду и прочие предметы потребления, они густо устелют собой все пространство страны — ногу некуда будет поставить... и в то же время на маленьких районных рынках Парижа установлены специальные деревянные желоба на подставках, куда торговцы сбрасывают подгнившие продукты, и аккуратно одетые старички и старушки роются в этих желобах, отрезая принесенными ими ножничками более или менее уцелевшую часть выброшенных овощей или

фруктов и складывая их в свои чистенькие корзиночки... Это не заслоняет от меня красоты, но отправным пунктом для медитации и наслаждения ею служить никак не может, — наоборот, всплывая, эти негативные впечатления переключают сознание совсем в иную сферу. Эта другая сфера тоже живет во мне — они сосуществуют.

Я испытываю большое удовлетворение, когда находятся слушатели, готовые воспринять хотя бы частичку описания моего внутреннего видения.

Я и описать все это пыталась, и даже получила однажды от одного периферийного журнала восторженный отзыв о предложенном мною путевом очерке, но затем последовало письмо, извещавшее, что «на ту же тему написал писатель с именем, поэтому, к сожалению, ваш материал не пойдет». С тех пор я уже не пыталась никуда предлагать.

Прошу простить мне это отступление, но оно имеет прямое отношение к Всеволоду, да и к Горькому, потому что именно они учили меня воспринимать увиденное.

Еще в Сибири, ничего из мировых шедевров не повидав, Всеволод добывал каталоги музеев и по ним и описаниям искусствоведов старался зримо представить себе мировые шедевры, остававшиеся для него тайной. Отсюда его любимые выражения: «Одной тайной меньше» — при постижении, и «Одной тайной больше» — при возникновении сомнения.

Так, увидев впервые Венеру или Мону Лизу, Всеволод восклицал: «Одной тайной меньше!!!»

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ ИЗ ПЕРВОЙ НАШЕЙ СОВМЕСТНОЙ ПОЕЗДКИ ЗА ГРАНИЦУ

По приезде домой, в феврале 1933 года, мы были поражены видом московских улиц и толпы на улицах.

В Европе тогда носили короткие пальто ярких цветов; вернее, во Франции и Италии — ярких цветов, а в Берлине все как один (и мужчины, и женщины, и даже дети) — бурого цвета — «бычьей крови». В моде было ходить (даже и в холод) с непокрытой головой.

У нас же в то время — улицы плохо очищенные, заваленные снегом, на людях ватники, ушанки, валенки, а если пальто, то черные и до пят.

Словом, там — в Италии, Франции — толпа издали была похожа на цветник, а у нас преобладала одежда темных тонов.

Ведь шла первая пятилетка. Всего у нас тогда не хватало.

...Всеволод снова взялся за роман «У» и по его мотивам начал писать пьесу «Синий в полоску» (оставив незавершенной — рукопись находится в отделе рукописей Библиотеки им. Ленина).

Роман «У» так и не увидел света. К концу 1933 года (ноябре) из него было напечатано (в «Лит. газете») только несколько отрывков. «Секретарь большого человека» (скрытая пародия на П. П. Крючкова). Любопытна психологическая деталь: в рукописи романа «У» секретарь носит имя Егор Егорович, а примерно с середины романа делается, очевидно незаметно для автора, Петром Петровичем (т. е. псевдоним Е. Е. уже подсознательно заменен реальными инициалами П. П., того, кто до какой-то степени послужил писателю прототипом). Впрочем, прототипом по-всеволодовски, то есть, если подойти с реальной меркой, совсем не похожим, но послужившим для писателя отправной точкой.

Другие отрывки носили название «Три главы из романа «У».

Всеволод продолжал писать и рассказы. На один из них, «Мельник», напечатанный в альманахе «Год шестнадцатый», в первом его номере, опять обрушилась напостовская критика.

Когда летом 1933 года Алексей Максимович приехал в СССР, мы довольно часто бывали у него в гостях и в Горках под Москвой, и на Малой Никитской (теперь улица Алексея Толстого).

Кстати сказать, Алексей Максимович несколько не радовался юбилейным переименованиям, когда его имя было присвоено Нижнему Новгороду, а также Тверской улице Москвы и Художественному театру, он при мне с негодованием говорил, что видит в этих переименованиях искажение истории, но, увы, бессилён изменить что-либо в неправильной, с его точки зрения, практике переименований. Он считал, что названия городов, улиц и т. д. есть лицо истории народа. Он говорил, что можно и даже нужно присваивать новые названия новым местам, но не надо изменять старые — вросшие в сознание поколений и отражающие историческую судьбу страны.

Что касается Художественного театра, Алексей Максимович считал, что этому театру надо бы было по справедливости присвоить имя Чехова. «Да ведь и эмблема его — Чайка», — говорил Алексей Максимович.

...Бывали мы у Горького все же не так часто, как нам (да, по-видимому, и ему) хотелось бы.

Распорядком встреч Алексея Максимовича ведал его секретарь П. П. Крючков, который широко использовал свое право отменить приглашение (а Всеволод без приглашений никуда не ходил; отсюда такое большое количество в нашем архиве пригласительных записок от Б. Л. Пастернака, К. А. Федина и А. А. Фадеева, живших с нами рядом на переделкинских дачах). Всеволод очень радовался, когда к нам приходили невзначай — «на огонек», но самого его без приглашения трудно было залучить.

Крючков обычно говорил: «Не сообщайте «старикам», что тогда-то я вас не пригласил. Если спросит, ответьте, что были нездоровы или заняты. Сами знаете, он болен — ему вредна перегрузка в посещениях, любое волнение».

АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Общеизвестно, какое необъятное количество писем получал ежедневно Алексей Максимович, как внимательно разбирал он свою корреспонденцию и какую массу писем рассылал в ответ. Кто только не писал Горькому! И кому только не отвечал он!

Привожу отрывок из письма Алексея Максимовича ко мне:

«А вот ребятишки Игарки, находящейся черт знает где, сообщают мне, что они «дневной свет видят только три часа, остальное время — полярная ночь». Но ребятишки не жалуются, а хвастаются».

Алексей Максимович не только отвечал этим ребятишкам с Игарки, он влюблялся в них, восторгался ими, цитировал их...

Дети Игарки — общественное явление, но Алексей Максимович отвечал и одиночкам, и даже совсем маленьким.

Вот письмо Алексея Максимовича мальчикам пяти и восьми лет — моим сыновьям.

«Многоуважаемые Миша и Кома!

Сердечно благодарю Вас за поздравление и картинки, присланные Вами.

Картиночки хоть куда.

Очень понравился мне зеленый черт с собакой на цепи из кренделей, а также разноцветные лыжники и снег.

Ох, елки зеленые! Кабы я был моложе лет на 60, я бы тоже эдакие картинки писал. Обнимаю Вас, михрютки».

Юмор — вот одна из черт Алексея Максимовича, помогавшая ему очаровывать, приручать любого, даже самого неподатливого человека.

Полны юмора его неповторимые устные рассказы, юмор рассыпан и в письмах.

Привожу еще выдержки из писем ко мне:

«Вам хотелось бы прийти в гости в Тессели? Не советую. Это отняло бы у Вас 2—3 месяца. Но можно приехать, как делают некоторые люди. Они по железной дороге приезжают».

А вот шуточная его подпись под письмом: «М. Горький друг детства Нестора Кукольника и многих других старцев».

Или: «Юпитер Иванов сердится на мои длинные письма? Скажите, чтоб не сердился, а то буду писать ему 2 раза в неделю».

Или: «Так что приезжайте!»

Пускай Юпитер захватит с собой бумаги, чернил, перьев, и мы будем писать комедию».

Алексей Максимович всю свою жизнь любил костры, с неизменным энтузиазмом раскладывал он их сам или наблюдал, как раскладывают под его руководством.

Кто только не согревался светом этих костров и обаянием личности Горького! Я видела эти костры и в Сорренто, и в Тессели, и в Горках.

Позволительно сказать, что то были и костры, возженные в честь мудрецов, и пионерские костры. Но, будь то ученые или дети, Алексей Максимович вел себя одинаково, как равный среди равных.

Горький всегда хворал и всегда лечился.

Он любил в медицинской науке, как и вообще в науке, новшества, поэтому лечили его всегда новоявленные чудодеи.

Алексей Максимович хотел распространить «чудо» и на других людей.

Было время, когда каждому, входившему в особняк на Никитской, — там останавливался Горький, наезжая из Горок, где он жил постоянно, если не переселялся в Крым — в Тессели, — предлагалось сделать укол гравидана (изобретение доктора Замкова), потом были лизаты (изобретенные доктором Казаковым), был и тибетский врач Бадмаев.

Этого Бадмаева Алексей Максимович, узнав, что я заболела, прислал однажды ко мне.

Тибетский врач так надавил мне под ложечку с правой стороны, что я взвыла от боли.

До тех пор я никаких болей в этой области не испытывала, но он безапелляционно изрек: «Печень, все дело в печени».

Прописал он мне какое-то вонючее варево, которое я сама должна была варить из выданных им ингредиентов.

Мне это быстро наскучило, и я перестала наполнять зловонием бадмаевского варева нашу квартиру.

И, наверное, зря. Он первый пошел по правильному пути.

Потом-то всеми светилами, включая моего друга Мирона Семеновича Вовси, был установлен у меня хронический холецистит, с которым только Карловы Вары — много позже — в 50-х годах — помогли мне справиться.

Алексею Максимовичу, как он уверял, помогали решительно все вновь изобретенные или открытые (коли то были старинные) снадобья и методы.

Но благотворное действие скоро кончалось, требовалось вновь и вновь нечто новое.

Очевидно, это было то, что называется психотерапией.

Всеволод, тот обращаться к докторам не любил, но закупал в невероятном количестве лекарства (которые сам почему-либо облюбовывал).

Хотя он, как и Горький, никогда подолгу ни на одном из этих лекарств не останавливался, вероятно, все же вред он себе ими причинял.

Я убеждена, что безнаказанно нельзя принимать ни одного лекарства.

Разбирая Всеволодовы ящики, после его смерти, и натыкаясь на груды лекарств, я вся содрогалась и горько пеняла себе, что, следуя своим принципам, никогда не заглядывала в эти ящики при его жизни.

Когда Всеволод был жив, я не позволяла себе, без его просьбы, заглянуть ни в один из его ящичков (кроме бельевых, одежных и обувных, которыми ведала).

Не позволяла себе прочитать, без его приглашения, ни одного его письма, ни одной рукописи.

Но если бы я не столь неукоснительно придерживалась этого правила, возможно, я раньше бы распознала, что он болен.

Возможно, это спасло бы нас от катастрофы.

Увы! я этого не сделала.

В 1935 году мы впервые решили не снимать дачу (ибо Литфонд уже возводил поселок для писателей в Переделкине), а провести лето по домам творчества.

Сперва поехали всей семьей в Коктебель (трое наших детей, и племянник мой Борис, всегда гостивший у нас летом,

и сестра моя Зинаида Владимировна, и неизменный спутник жизни — няня детей Мария Егоровна).

Туда Алексей Максимович прислал за нами машину, и мы со Всеволодом, прихватив старшую дочь Таню, поехали к нему в Тессели через Симферополь.

Гостили в Тессели несколько дней. При нас происходил там прием симферопольских писателей, среди которых оказался начальник тамошней милиции, что-то написавший и получивший похвалу Горького.

Этот начальник милиции замучил меня потом, когда я вернулась в Коктебель, предложением всяческих своих услуг, приговаривая: «Ведь вы у Горького чай разливали, когда нас принимали там».

Во время этой нашей поездки Горький пригласил меня ехать вместе с ним и Всеволодом в Париж на антифашистский конгресс, но когда, оставив детей в Коктебеле, мы приехали в Москву, выяснилось, что Алексей Максимович заболел и в Париж не поедет.

ОТСТУПЛЕНИЕ. ПОЕЗДКА ВСЕВОЛОДА НА АНТИФАШИСТСКИЙ КОНГРЕСС

Всеволод уехал без меня. А мне пришлось, проведив Всеволода, возвращаться к детям в Коктебель.

Вот его письма:

«18/IV—35 г.

Здравствуйте, дорогие!

Пишу из Вены. Сейчас уезжаем в Париж. Купил детям два крошечных заводных автомобиля, которые не падают со стола, а поворачивают; заводную лягушку и крошечную танцующую курочку. Это очень веселые игрушки.

Целую. Всеволод».

«22/VI—35 г.

Париж.

Привет!

В предыдущих письмах, которых я, к сожалению, не писал, так как было очень жарко и не находилось подходящего конверта, следовало бы сказать, что Вена очень хороший город, что Чехословакия, Австрия и Швейцария красивые страны, ибо все это мы проехали днем, но надеюсь рассказать об этом лично.

Париж такой же, только люди другие, не столь разительные от наших, как это мы с тобой видели года два назад. Сильная жара. Однако гуляю очень много, вчера, например, ходил пешком часов шесть.

Конгресс очень интересный, но мешает мне то, что языка нету, и, как я предчувствовал, — не хватает переводчиков, которых захватил Киришон¹. Народу конгресс посещает много, несмотря на жару. Закончится он числа 26, а 2 или 3 я уже, наверное, выеду в Москву.

Духота мешает мне писать. Кроме того, я должен сегодня говорить, следовательно, волнуясь, несмотря на то, что за меня будут читать.

Целую детей. Кома и Мише скажи, что игрушки, маленькие, заводные, им уже куплены, очень хорошие.

Целую, Тамара!

Всеволод.

К возвращению Всеволода с антифашистского конгресса я уже перевезла детей в Москву.

Не успел Всеволод приехать, как нас тотчас же пригласили к Алексею Максимовичу в Горки.

Там в это время гостил у Горького Ромен Роллан с женой Марией Павловной Кудашевой.

При входе в хорошо нам известный вестибюль дома в Горках встретила нас именно она (тогда еще незнакомая нам женщина) и задала ошарашивший нас вопрос: «Почему вы приехали сегодня, он принимал писателей вчера».

Недоразумение тут же выяснилось: она полагала, что приехали мы к Роллану (которого она оберегала, как Крючков Горького), а не к хозяину дома.

Алексей Максимович тщательнейше расспрашивал Всеволода о конгрессе и никак не отпускал нас домой, оставил ночевать, хотя я и рвалась уехать, объясняя, что у меня болен ребенок (заболел кокситом Кома, но диагноз еще не был поставлен), — Алексей Максимович обещал организовать консилиум и всяческую помощь, но домой нас не отпустил.

Когда Роллан в своей серой пелеринке-крылатке (он постоянно мерз и боялся простуды) ушел спать, Алексей Мак-

¹ Киришон упомянут иносказательно, как лицо, олицетворявшее в ту пору для Всеволода РАПП.

симович весело потер руки и, подмигивая, сказал: «Старик (Роллан был моложе его) ушел, теперь, ребята, повеселимся».

На следующий день в Горках был намечен прием девушек-парашютисток, и Алексей Максимович настоял, чтобы мы на этом приеме присутствовали. Радовался ребячливым рассказам этих очень милых девушек. Восхищался их смелостью и патриотизмом.

Отпустил он нас домой только после окончания этого приема.

Начиная с «Похождений факира», все возрастала начавшаяся после издания сборника «Тайное тайных» издательская настороженность в отношении Всеволода.

Первая часть «Похождений факира» вызвала восторги Горького, немедленно подхваченные прессой.

Алексей Максимович писал:

«Дорогой и замечательный «Сиволот»! «Похождения факира» прочитал жадно, точно ласкал любимую после долгой разлуки. Вот, — не преувеличиваю! Какая прекрасная, глубокая искренность горит и звучит на каждой странице, и какая душевная бодрость, ясность. Именно так и должен наш писатель беседовать с читателем и вот именно такие беседы о воспитательном значении «трудной жизни», такое уменье рассказать о ней, усмехаясь победительно, — нужно и высоко ценно для людей нашей страны.

Обнимаю и крепко жму руку, милый мой товарищ.

А. Пешков

Кое-где слова надобно переставить, и есть неясные фразы.

А. П.».

Я привела целиком это хорошо известное письмо Горького, потому что реакция на него Всеволода отчетливо показательна для его творческой судьбы.

Конечно, Всеволод обрадовался, получив такое письмо. Он любил, глубоко уважал Алексея Максимовича и ценил его мнение... Но такова уж была природа дарования Всеволода, что он был не в состоянии переписывать самого себя.

Казалось бы: чего тебе еще надо — дописывай задуманный роман в той манере, в какой начал, и пожинай плоды успеха.

Нет, не мог Всеволод так поступить. Первая, по его признанию, наиболее близкая к автобиографии часть романа написана под сильным влиянием Горького, по манере прямо продолжает его автобиографическую трилогию.

А Всеволода уже несет совсем в другую сторону. Герой уже только имя его носит в последующих частях, а прообразом его скорее всего можно считать Рыцаря Печального Образа. И Всеволод отлично сам понимает, что такое отклонение к Сервантесу от Горького вряд ли придется последнему по душе.

16 октября 1935 года Всеволод пишет Горькому:

«Вам не нравится, видимо, вторая и третья часть «Факира». Или, может быть, Вы прочли только вторую часть. Тогда посылаю Вам и третью, которая Вам так же, как и вторая, не понравится. Тут уж, конечно, вина автора... Буду надеяться, что Вам понравятся четвертая и пятая части — там я покидаю разговоры от первого лица и начинаю писать об В. Иванове, лице несомненно собирательном, в третьем лице, — а писать по-иному...»

Вот именно это стремление Всеволода писать всякий раз «по-иному» и было, возможно, причиной его творческих бед.

Только критика привыкнет к одному писательскому облику Всеволода Иванова, а он уже переменял и манеру письма, и стиль.

Его судят, не угнавшись за ним, по критериям, применимым к предшествовавшему периоду, а он уже другой.

Если бы, непрестанно ища и меняясь, он хотя бы не сомневался в том, что идет правильным путем! Так ведь и этого не было. Он всегда искал и всегда сомневался, и, хотя в конце своего творческого пути и писал, что «был счастлив сомнением», наблюдая его изо дня в день, я имею право утверждать, что творческого счастья от достигнутого — найденного — было куда меньше, чем терзаний от собственных сомнений и неприятий критики.

РОМАН «ПАРХОМЕНКО»

Теоретически все на своем месте.

А практически 4-я и 5-я части «Факира» хоть и были запланированы, но остались от них только фрагменты, а весь роман незавершен.

Именно к концу 30-х годов относится большое количество ненапечатанных произведений Всеволода и непоставленных (хотя иногда и принятых к постановке) пьес. Много опубликовано посмертно, но и сейчас в его архиве лежат неопубликованные произведения.

Такова творческая судьба этого писателя, что даже роман «Пархоменко», написанный во вполне реалистической манере о герое гражданской войны (впервые напечатан в журнале «Молодая гвардия», 1938—39), был раскритикован.

Всеволод записал 22/V—1939 г. в свой дневник:

«...И так будет продолжаться долго, долго: и скучно, скучно. Весьма странное зрелище — быть чужим на своем собственном пиру... хожу, могу говорить речи, меня приветствуют... издают,— и тем не менее [...]».

Тут требуется, очевидно, разъяснение.

Всеволод возмущался, буквально из себя выходил, осознавая, что его осмеливаются (и чаще всего критики и редакторы, с его точки зрения, недостойные, беспринципные, приспособляющиеся)¹ считать и даже называть «чужим», тогда как он-то и есть по-настоящему советский человек, своими руками делавший революцию и никогда, ни при каких обстоятельствах не отступавший от ее принципов.

Скажем, рассказ «Особняк» Всеволод писал, движимый опасением, что новое мещанство, прикрываясь революционными личинами, может захлестнуть революцию, а напостовская критика облыжно посчитала этот его рассказ апологией мещанства, даже карикатура была сфабрикована. Всеволод сидит на цепи у собачьей будки, охраняя «свой» особняк наподобие ценного пса.

Герой гражданской войны Александр Яковлевич Пархоменко прямой родственник любимых Всеволодовых героев — таких, как Василий Запус. Но беда автора при написании этого романа в том, что он, Пархоменко, реально существовал в реальном окружении, и любое привнесение творческой фантазии могло кого-то обидеть и как-то исказить установившиеся исторические каноны.

¹ Ведь уже и в речи на I съезде писателей он говорил: «...тем более что в нашей литературе об изобретательстве и новаторстве часто говорят люди, которые не имеют на то никакого права. Говорят плохие писатели, бывшие эпигоны буржуазной культуры, приспособленцы,— а чаще всего глупцы».

27/V—1930 г. Всеволод записывает:

«Что же касается прошлой записи, то это как болезнь. Теперь уже эти настроения прошли,— как только сел за работу. Пускай не пишут о «Пархоменко» — сознание, что книга хорошая и искренняя, остается при мне. А на всех литературных сплетников и интриганов — плевать. Буду работать!»

В связи с романом «Пархоменко» не могу не рассказать, как восприняла этот роман семья Пархоменко: жена его Харитина Григорьевна (теперь уже скончавшаяся) и два сына, которых я видела в последний раз в 55-м году на юбилее Всеволода в ЦДЛ (мы даже сфотографировались вместе, и они подарили Всеволоду хитроумную шкатулку с тайником), оба к тому времени были генералами.

Старший сын, Иван Александрович, издал свою автобиографию, в которую выдуманные Всеволодом эпизоды уверенно включил как реально имевшие место в его личном детстве и юности.

Что касается Харитины Григорьевны, то она после читательских конференций приходила к нам и, в простоте душевной, спрашивала Всеволода: «Скажите, пожалуйста, что Саша думал или говорил по такому-то и такому-то поводу. Мне задают вопрос, а я не знаю, что ответить».

Харитина Григорьевна до того глубоко была убеждена, что Всеволоду абсолютно все известно про ее Сашу, что просто совестно было разубеждать ее и посвящать в тайны творческой фантазии.

Мне привелось сидеть с ней рядом на двух премьерх пьесы «Пархоменко».

В Театре Советской Армии в Москве актриса, ее изображавшая, Харитине Григорьевне категорически не понравилась, она доверительно сказала мне:

— Саша такую лядащую никогда бы не полюбил.

Зато актриса, исполнявшая ту же роль в киевском театре, вполне удовлетворила Харитину Григорьевну, она сказала:

— Ничего, вальяжная, Саше понравилась бы.

На съемках фильма «Пархоменко», в начальный их, доверенный период, еще в Киеве, Харитина Григорьевна тоже присутствовала и принимала участие в апробации актеров (есть фотография, где со съемочной группой сняты мы обе: Харитина Григорьевна и я).

В год смерти Алексея Максимовича мы гостили у него в Тессели. При всей обычной своей сердечности по отношению к нам, он явно был чем-то огорчен, что-то явно его угнетало. Вероятно, его тревожили какие-то мысли, которыми он не хотел или не мог с нами поделиться.

Тогда же гостили у Алексея Максимовича Самуил Яковлевич Маршак и Алексей Дмитриевич Сперанский.

Чтобы развлечь Алексея Максимовича, Маршак придумал игру.

Игра эта состояла в следующем: Тессели — столица Байдарской республики (Байдарские ворота видны там отовсюду, от них начинается серпантин, ведущий к Тессели). Алексей Максимович — президент этой республики; Маршак — министр просвещения; Алексей Дмитриевич Сперанский — министр здравоохранения, я — военный министр, а Всеволод — главный жрец. (В республике восстановлены древние жреческие культы.)

Был придуман «байдарский язык» и «байдарский церемониал».

Однако Алексей Максимович игры этой не принял, что было странным и удивительным для всех нас. Ведь он всегда любил «театр для себя». В итальянский период у него в доме выходил семейный сатирический журнал, обильно иллюстрированный сыном Максом. Все в доме Алексея Максимовича назывались не по именам, а имели прочные шуточные прозвища: Иван Николаевич Ракитский звался «соловьем»; Валентина Михайловна Ходасевич — «купчихой»; Надежда Алексеевна Пешкова — «Тимошей» или «Тимофеем-Госпланом» и т. д.

И вот, всю жизнь любя шутку и игру, Алексей Максимович сердито хмурился на шуточную затею Маршака. А мы уже вошли в игру, но играть стали только «потихоньку» от строгого «президента».

Потрясает, что Алексей Максимович даже на смертном одре думал о Всеволоде.

Пусть и в бреду, но думал именно о нем.

Спустя какое-то время после похорон нам позвонила Олимпиада Дмитриевна Чертова (медсестра, дежурившая около умирающего Алексея Максимовича и его доверенное

лицо в течение многих лет) и сказала, что ей надо срочно по-видаться с Всеволодом.

При свидании она рассказала, что Алексей Максимович в одну из последних своих ночей попросил ее выслушать и запомнить, а еще лучше записать то, что он расскажет, а она потом должна передать все это Всеволоду — лично ему и без свидетелей, потому что тут дело идет для него (для Всеволода) о жизни или смерти.

Далее Олимпиада Дмитриевна прочитала Всеволоду весьма несвязно ею записанное содержание рассказа Всеволода «Дитё».

Она не подозревала о существовании этого много раз опубликованного рассказа.

Она никак не могла уразуметь, почему Алексей Максимович считал этот рассказ столь важным для Всеволода, но волю умирающего выполнила.

Всеволод горячо поблагодарил ее и не стал разочаровывать общением, что умирающий Горький в каком-то причудливом сочетании мыслей о нем и его творчестве пересказал содержание рассказа «Дитё».

ГОРЬКОГО НЕ СТАЛО

Смерть Алексея Максимовича мы со Всеволодом пережили очень остро. Это был один из тяжелейших периодов нашей жизни.

После совместной нашей поездки к Горькому в Тессели Всеволод вернулся туда еще раз в марте: поехал на день рождения Алексея Максимовича; я в это время была больна и не смогла присоединиться к Всеволоду.

Всеволод читал тогда Алексею Максимовичу новый вариант своей пьесы «Двенадцать молодцев из табакерки», который был принят Горьким восторженно, и Всеволод вернулся домой окрыленным.

Противоречивость человеческих побуждений иногда непостижима даже для самых близких и любящих людей.

Ведь в то самое время, когда Всеволод «таил» от Алексея Максимовича свои переживания, связанные с неприятием «Кремля» и «У», он советовался с ним, что и в переписке их нашло отражение, по поводу пьесы «Двенадцать молодцев из табакерки».

Но к заболевшему по возвращении в Москву Алексею Максимовичу нас не пригласили. Разумеется, если бы Всеволод

стал настаивать, его бы пустили, но он, как я уже писала, всегда ждал приглашения.

В день смерти Алексея Максимовича к нам пришел сосед по Переделкину Александр Николаевич Афиногенов и сказал: «Горький скончался. Едемте в Горки».

Во время похоронной процессии Всеволод, потрясенный, бледный, нес подушечку с орденами и медалями Алексея Максимовича.

А меня, заливающуюся слезами, крепко держала за руку наш общий друг — художница Валентина Михайловна Ходасевич.

ПЕРЕДЕЛКИНО

На первых порах переделкинской жизни постоянно устраивались читки новых произведений, только что вышедших из-под пера.

Пастернак читал первые наброски романа (тогда он назывался «Девятьсот пятый год»).

Сельвинский читал «Челюскиншану».

Афиногенов — «Ложь».

Всеволод — «Вдохновение».

Те из переделкинцев, которых не приглашали на эти (очень многолюдные) чтения, то ли чувствуя обиду, то ли из каких других, свойственных их натуре черт характера, узнав о таких чтениях, сообщили в секретариат СП СССР, что-де в Переделкине организуется некий «филиал» Союза писателей.

Ничего подобного, разумеется, и в помине не было, однако такие читки прекратились.

Но близкие друзья никогда не переставали читать друг другу.

С момента возникновения городка писателей прошло ни много ни мало — 47 лет.

Как-то я разговорилась по этому поводу с одной из старинных служащих Литфонда СССР, и мы с ней удивленно обнаружили, что из самой первой плеяды переделкинцев (не считая детей и внуков умерших писателей) осталось на данный момент всего лишь двое могикан: Леонид Максимович Леонов и я — Тамара Владимировна Иванова. Умерли не только сами писатели, но и их жены (Татьяна Михайловна Леонова тоже), пока кроме меня.

Как и обо всем давнем, о Переделкине бытуют легенды. Например, будто место выбирал сам Горький. Алексей Мак-

симович в Переделкине никогда не бывал. Посчитав ручей Сетунь судоходной рекой (так значится Сетунь в летописях), сам трунил над этим своим заблуждением, но идея создания этого городка принадлежит ему — Горькому.

Алексей Максимович Горький хотел, чтобы у писателей были наилучшие условия для творчества. Под такими наилучшими условиями он разумел *отдельный* загородный дом.

ВОЙНА

Война застала меня в очень плохом состоянии. Весной 41 года я стукнулась головой о дверцу машины. Произошло это, когда мы со Всеволодом ехали в Клуб железнодорожников на спектакль «Бронепоезда», поставленный актером Художественного театра Блинниковым. Потом оказалось, что от этой травмы у меня произошло сотрясение мозга, с которым я проходила, не обращая на него внимания, целую неделю, пока не потеряла сознание, находясь на премьере «Сна в летнюю ночь» в Театре Красной Армии.

Не успела я оправиться от сотрясения, как произошло потрясение войной.

О войне, естественно, шли разговоры, и многие наши знакомые ждали ее, что называется, с минуты на минуту. Но у нас дома к таким разговорам относились осудительно. Всеволод уверял и домашних, и всех бывавших у нас, что война абсолютно немыслима.

22 июня 1941 года Всеволод с утра работал, а когда он работал, у нас радио не включалось.

Поэтому мы утренней речи Молотова не слышали, и о начале войны я узнала от Фадеева, встретив его и Степанову в поле, когда они поспешно шли на станцию железной дороги.

Я нарушила табу и ворвалась в кабинет к работавшему Всеволоду.

Привожу его дневниковую запись от 22 июня 1941 года. «Включили радио. Марши, марши и песни. Значит — плохо. А в два часа Левитан прочел речь Молотова. Весь день ходили друг к другу — с дачи на дачу.

Ночью приехали из «Известий». Я обещал написать статью и утром 23-го написал и затем поехал в Союз — заседать. Здесь — выбрали комиссию и заместителей Фадеева. Затем позвонили из Реперткома насчет переделки «Пархоменко».

25 июня Всеволод записал: «...Позвонил Соловейчик из «Красной звезды», попросил статью и затем сказал: «Вас не

забрали еще?» Я ответил, что нет. Тогда он сказал: «Может быть, разрешите вас взять». Я сказал, что с удовольствием. В 12 часов 45 минут 25-го июня я стал военным, причем корреспондентом «Красной звезды». Сейчас сажусь писать статью-отклик на события».

27 июля новая запись:

«Вечером — Войтинская звонит, говорит, что я для «Известий» мобилизован. А я говорю: «Как же «Красная звезда»? Она растерялась. Очень странная мобилизация в два места».

В первые месяцы войны Всеволод был преисполнен деятельности. Писал статьи в «два места» и более. Рвался на фронт, но его не пускали.

Переделывал с приехавшим из Киева Луковым сценарий фильма «Пархоменко». (Хотя фильм больше чем наполовину был уже снят и Луков эвакуировался из Киева со своей съемочной группой и отснятой пленкой.)

Кроме того, Всеволод кончал пьесу «Два генерала» и начал писать военный роман «Проспект Ильича».

Большой спрос среди переделкинцев был на нашего сына Кому, 12-летний мальчик знал все географические названия и составы кабинетов всех европейских государств — так что легко заменял и справочный словарь, и географическую карту.

Не вполне поправившаяся после сотрясения мозга, я впала в не свойственную мне апатию, от которой пришлось пробудиться. Стали снаряжать детей писателей в эвакуацию. Литфонду не давали вагонов, и директор Литфонда Оськин, знавший меня по моей работе на посту председателя Совета жен писателей как энергичного человека, попросил помочь Литфонду.

Я пробыла в Моссовете, почти не выходя, 3 дня и получила разрешение на вагоны.

ВСЕВОЛОД ОСТАЛСЯ В ОДИНОЧЕСТВЕ

Тут встала дилемма, как быть со своими собственными детьми?

Старшую дочь Таню, студентку Московского университета, комсомольская организация уже направила вместе с другими студентками на Волгу — убирать сено.

Я не могла отпустить Кому, хотя ему и было 12 лет, без себя, потому что он перенес костный туберкулез, лежал три года неподвижно, только-только начал ходить без костылей и ему необходим был особый режим, немислимый в коллективе, да к тому же еще и для мальчика, который внешне выглядел упитанным здоровяком.

Детей писателей эвакуировали в Берсут на Каме. Я не отпустила своих мальчиков одних, уехала с ними (директор Литфонда предоставил мне такую возможность — в благодарность за то, что я достала вагоны). Всеволод собирался на фронт, а пока остался в Москве совсем один.

Мне пришлось много раз по делам детской колонии ездить пароходом из Берсута в Чистополь. Расстояние, наверное, не больше 30 километров, а путь туда — обратно отнимал иногда несколько суток.

Пароходы ходили без расписания, ну, в Чистополь-то доедешь без особых приключений — пристань в Берсуге рядом с тем домом, где мы жили, — услышишь гудок парохода и добежишь. А вот обратно — дело другое. В Чистополе пристань от города в шести километрах, туда-сюда не набегаясь — ведь иного, чем пешее хождение, способа передвижения там не было.

Так и торчишь на пристани, день — ночь, и еще день — ночь.

Я боялась заболеть тифом, поэтому никогда не шла в зал ожидания. Днем бродила, а ночью меня всегда пускали в служебное помещение, и я пристраивалась на стульях. Уже попав на пароход, тоже не шла в каюты, а дрожмя дрожала на палубе, которая из-за холода всегда была пустынна и, по неискоренимой традиции, чисто вымыта. Часто ее мыли при мне, и я переходила с места на место, чтобы не окатили водой.

О наших расставаниях со Всеволодом я предпочитаю не рассказывать, а привести его письма ко мне и детям.

Я ведь объясняла в предисловии, что являюсь сторонницей приведения, елико возможно, большего количества писем и дневниковых записей. Это — подлинное, память же всегда может подвести.

Письмо — нечто совершенно точное. Документ, который исчерпывающе характеризует человека в момент написания.

Мелкая деталь, приведенная в письме, с моей точки зрения, говорит о написавшем куда больше, чем то, что может

припомнить об этом же периоде вспоминающий его человек, как бы ни был он близок тому, о ком вспоминает.

Применительно к письмам Всеволода можно сказать еще и то, что они являются, почти всегда, разновидностью дневниковой записи.

«10/VII—1941 г.

Москва.

Здравствуй, Тамара, Кома и Миша!

У нас никаких изменений в жизни нет, все здоровы.

Я работаю по-прежнему в «Известиях» и, кроме того, на Радио, где изменилось руководство и во главе лит.-худ. части стоит В. Гусев, поэт. [...]

Сегодня из Киева приехал Луков, вместе с актерами и негативами фильма «Александр Пархоменко». Сейчас он будет производить досьемки фильма — после ряда переделок сценария, которые я сделал, — в Москве. Я предполагаю посетить Лукова с женой, артиста Хвылю и художника Уманского у себя на квартире. [...]

На даче был только один раз — очень много работы. Но с одного раза могу сказать, что произрастание трав и злаков удивительное. Трава у забора, там, где скамейка, буквально в мой рост. Вообще урожай, по-видимому, сверхъестественный.

В Москве по-прежнему сильно тепло, но ночи прохладные, так что работаю, пишу, большей частью ночью. [...]

Очень рад, что вы так хорошо доехали. А как устроились? Пишите подробно, почаще. Я тоже буду писать, по возможности каждый день.

Крепко целую. *Всеволод*».

«13/VII—41 г.

Дорогая Тамара! Дети!

Получили от Вас телеграмму из Берсута, но писем еще нету, так что, кроме того, что летнее помещение, ничего не знаем.

Живем мы по-прежнему. От Тани получили письмо, вот его содержание: «7/VII — приехали, вернее пришли на место — 4 дня на барже и 10 км пешком. — Встречены отлично. Но радио нет, газеты на 3-й день. Вечером выезжаем на луга. Ж. д. далеко. Население чудное — в одном совхозе на реке нас встретили бесплатным молоком и цветами. Кормить будут отлично. В общем, все чудно. Напиши ско-

рее, — адрес другой. Крепко целую, Таня». Адрес: Рязанская область, Петелинский район, Почт. отд. «Высокие поляны», совхоз «Красный партизан». Напиши ей скорее.

Что касается меня, то я работаю много, только и всего. Луков хочет закончить «Пархоменко» здесь и хлопочет в Комитете Кинематографии, чтоб его оставили. Сценарий перерабатываем.

Денег пока нету. 15-го должен получить — постараюсь Вам послать.

Вчера видел Ливанова¹. Он отправил семью к поэту Василию Каменскому, куда-то под Пермь; сам же репетирует «Гамлета» и участвует в концертах.

Борис Пастернак возится в огороде. Кажется, завтра у меня будет свободный вечер, и я съезжу на дачу. [...]».

«Начало июля 1941 года.

Дорогая Тамара и дети!

От Вас писем нет. Не думаю, что Вы не пишете, но скорее они лежат на почте. Я работаю все там же — в Радио-Комитете, в «Известиях» и в Советском Информационном бюро. Работы много. Переделываю еще «Пархоменко» для Лукова. [...]

В городе спокойно. Завтра-послезавтра введут карточки. Детей стало мало, и вообще город выглядит по-другому. К тому же чудовищная жара.

Корову угнали в Мартемьяново. [...]

Маню² я тоже отправил в Мартемьяново — поближе к корове, так как Анна Павловна поступила на курсы сестер милосердия и заниматься с ней не может.

Пишите коротко, повеселей. Я знаю, вы хорошие и скучать и ныть не будем, а что касается Москвы, то она побьет врага. [...]

— Как книги, Кома? Есть что для чтения?

— А, Миша? Рыбу удишь?

Хоть бы написали, чертенята!

Папа».

«20/VII—1941 г.

Дорогая Тамара, мы все беспокоимся, что от тебя нет писем. Правда, общим утешением, — если можно назвать

¹ Борис Николаевич Ливанов — артист и режиссер МХАТа.

² Дочь от брака с А. П. Ивановой-Весниной.

это утешением, — служит то, что никто из отправивших детей в Берсут, кроме телеграмм, писем не имеет. Что у Вас там почта не работает, что ли?

За все время получили Мишкину открытку с дороги да твою телеграмму. Больше ничего нет.

Ну, что касается нас, то живем мы по-прежнему. Зинаида Владимировна приехала (война застала ее в Крыму) и теперь устраивается художником в «Окна ТАСС», будет там делать что-то такое по трафаретам, словом, работу техническую.

Таня все там же, собирает сено. [...]

Бабушку¹ хоть и обещали, но не увезли в Томск. Гуманитарные науки повезут последними, если вообще повезут.

Москва такая же. Жара спала, и стало облачно, два дня шли дожди, и мы немножко отдохнули, потому что солнцепек был чертовский. Но от этого солнцепека у нас на даче неслыханное количество клубники. Ульяна привезла две огромные корзины. И так как Ульяна собирается уехать в деревню, то на даче хочет поселиться Нинушка Зиллер² и Семенова³. Пускай. Будут окучивать картофель, что, между прочим, ежедневно проделывает Пастернак.

Я работаю, — все больше статьи. Пьеса⁴, однако, все же скоро будет закончена — Малый театр все время торопит меня и уже актеров распределил, но статьи и выступления по радио очень мешают сосредоточиться на чисто беллетристической работе. Однако все же пытаюсь.

Дядя Коля⁵ поступает на службу, на какой-то завод, но на какой — не знаю, но это и неважно. Важно то, что он будет работать. Я его не видал месяца два, что ли, он стал совсем седой и почему-то отпустил бороду. «Не сбрею, говорит, до тех пор, пока не побьем немца». На что я ему сказал, что если б можно было бить немца бородами, то мы все стали бы Черноморами и заросли бы волосом.

[...]

Ну, вот и все. Хотел бы почитать Ваше письмо, но когда получу, кто вас знает.

[...]

¹ Моя мама Мария Потаповна (по второму браку — Сыромятникова. Ее муж Б. И. Сыромятников доктор юридических наук).

² Моя племянница.

³ Балерина М. Т. Семенова. Она была тогда беременна и родила двойню. Мальчик умер. Девочка, Катя, балерина и балетмейстер.

⁴ Пьеса «Два генерала» ни в печати, ни на сцене не появлялась.

⁵ Мой брат Н. В. Михаловский.

Да, забыл. Звонил Асмус¹. Он живет на даче. Машенька², как и Таня, в колхозе. Просил передать привет. То же и от К. А. Тренева, Лебедева-Кумача и Демьяна Бедного, которого встретил на улице»

«5 сент. 41 г.

Дорогая Тамара! И дорогие детишки!

Шлю вам пылкий привет из очаровательного Переделкина.

Только что пообедали, Татьяна едет в город, пытаюсь не уехать в Тат³. республику, так как ей (Татьяне, а не республике) хочется остаться в Москве. Она уже получила путевку до Казани и хочет оную путевку сдать. По-моему, напрасно. Ехать так ехать. Но я плохой воспитатель и поэтому предоставляю событиям идти своим чередом. [...]

Касаясь стороны бытовой, доложу, что ночью преимущественно в Переделкине, так как в Москве надоел телефон, а в особенности, когда напишешь статью — звонят, требуя подобного же почти все газеты. Впрочем, обстановку ты эту знаешь, ничего не изменилось. Пишу я теперь только в «Известия», так как на радио не хватает сил.

Кроме того, я сильно измучился с пьесой⁴. Пьесу я написал, передал в Комитет по делам Искусств, в Малый театр и в театр Красной Армии. Выходит, что погнался не за двумя зайцами, а чуть ли не за пятью. Во всяком случае, ни тот, ни другой из оных зайцев ответа мне не дали. Дала ответ только «Красная новь»⁵, где вышеозначенная пьеса и будет тиснута, — в каком номере, еще не знаю.

Кроме того, в издательстве «Советский писатель» выходит книжка моих статей. [...]

В Переделкине все по-прежнему. Цветут усиленно цветы, было много ягод, и одичалые огурцы не сдались, как на них ни наседали травы, — принесли плоды, и мы засолили чугуны и глиняный большой горшок собственным солением, которое оказалось среднего качества, но тем не менее мы его едим. В общем, иногда, особенно вечером, когда я остаюсь один, я читаю «Робинзона Крузо» и нахожу между ним и собой

¹ Валентин Фердинандович Асмус — философ.

² Дочь Асмуса.

³ Татарскую.

⁴ «Два генерала».

⁵ Журнал «Красная новь» во время войны прекратил свое существование.

много сходства, разве что не веду дневника и не читаю Библии. Но кошка у меня есть, собака есть и малообитаемый остров — Переделкино тоже есть. Правда, тут живут еще Пастернак, Федин и прочие, но Федин, и Пастернак, и Леонов собираются, по всей видимости, ехать на зимовку в Чистополь, к вам.

Что касается меня, то я в Чистополь приехать скоро не могу, а что же касается вызова тебя, то, по-моему, тебе надо обжиться в Чистополе, а затем и приехать, к октябрю так. Потому что тут неизвестно, как в доме будет с топливом, а сидеть тебе одной на даче, когда я буду ездить каждый день в город, — скучно. Да и по детям будешь скучать. В общем, чеховский вопль — «В Москву, в Москву» — советую отложить.

Война есть война. Я могу тоже очутиться на войне, — что тебе Москва без меня и ребят? Уж лучше поскучай. А если мне удастся приехать даже и зимой в Чистополь, то это ничего, — мороза я не боюсь, дорога меня санная не испугает, — и вообще все в порядке!

Ко мне приехала Дуня¹. Так что насчет обедов и чая не беспокойся. А кроме того, я и сам готовить умею, — а вчера даже, — попробовал написать статью и из-за головной боли не написав ее, — мыл посуду, и, по признанию эксперта Тани, довольно успешно. Надеюсь, что смогу готовить — к вашему приезду — суп и сладкое!

Ребят прошу написать, как идет их обучение и чем оно отличается от московского. Читают ли они книги?

[...]»

*«19 сент. 1941 г.
Переделкино.*

Дорогой Кома! Очень признательны тебе за письма. Они вполне удовлетворяют нас и дают, — вместе с маминими, пессимистическими, — полное представление о Чистополе.

Мне, конечно, легче. Ты же знаешь, что такое Москва. Внешне она изменилась мало. Разве что детей меньше на улице, да все нижние этажи забиты досками, так что магазины торгуют при электричестве, но так как дни теперь дождливые и солнца мы не видим, то без электричества вроде и не обойтись. Ночую я больше на даче, так как у нас

¹ Домработница, сестра нашей няни Марии Егоровны.

в квартире от взрыва в соседстве бомбы выбило малость окон, и их еще не вставили. Пишу я тоже на даче, перевез туда машинку и строчу. Вот эти самые строки, которые ты читаешь, написаны под унылым осенним дождем и под далекие выстрелы зениток, потому что, видимо, к столице пытается прорваться немецкий разведчик. Как только напишу письмо, я пойду на поезд. Мне надо быть в Москве, на одном из заводов, — об этом ты прочтешь в ближайшем номере «Известий», и на каком заводе, и что я там видал, и какие там люди.

Здесь же живет с нами Дуня, которая страшно трусит, но в деревню ехать не хочет. Вот так и живет, охая. Она готовит нам обед и ужин, и, кроме того, в огороде мы роём картошку, которая в нынешнем году хуже и мельче прошлогодней, равно и морковь и огурцы. Все это разнообразит наш стол до невероятия, и, сидя за всем этим изобилием, мы часто вспоминаем вас всех, желаем встретиться, но все же пока вам лучше жить там, в отдалении...

[...]

Со следующей оказией я пришлю тебе, Кома, хороший репродуктор для радио и атлас мира. Если будет оказия с пароходом, я пришлю еще книг.

[...]

Кстати, о книгах.

Вышла из печати книжка моих статей «Мое отечество». Я эту книжку еще не видел. Как только получу, так немедленно же перешлю вам.

Скоро, помимо специального корреспондента «Известий», я превращусь в специального корреспондента американской газеты. Статьи мои по телеграфу будут передаваться в Америку и там печататься. Когда приеду к вам в Чистополь, то тоже напишу статью о вас и передам ее в Нью-Йорк. А, каково? Был ли когда, с основания его, корреспондент американской газеты в Чистополе? Да еще, вдобавок, такой смешной, как я?

Несколько слов о собачьей честности. Чарлика я передал в военную часть, поскольку мне такую громадную собачину кормить не на что. Кормят его там отлично. Но, чтобы он не носился зря, его держат на цепи. И что же вы думаете? Он срывается с цепи и прибегает к нам и днями сидит на террасе, да и не прося есть, потому что знает, что у хозяев стеснительные денежные обстоятельства и не до собак. Он голоден. Но он предпочитает свободу — цепи. Это очень трогательно, но кормить я его все-таки не кормлю, и он,

пострадав-пострадав, уходит все-таки к своей цепи. Кормим Рыжика.

Андроников в Москве. Манана с Вивой¹ живут в Казани, вместе, видимо, с институтом Элефтера Луарсабовича², который тоже там. Впрочем, Андроникова я не видал, его видела Таня. [...] Леонов похудел на 16 кило и отпустил усы. Почти у всех наших соседей забрали машины, но нашу еще нет, так что Дементьев³ изредка нас возит.

[...]»

«19 сент. 1941 г.

Дорогой Миша!

Твои письма популярны у нас в остатках семьи, как во всем мире реплики Лозовского. Ты шутишь очень мило. [...] Я жив-здоров — думаю над сценарием.

Целую ваш В.».

ЭВАКУАЦИЯ

Сперва в Берсуте на Каме, потом в Чистополе, тоже на Каме, я жила, как писала выше, с сыновьями до октября 41 года. В октябре я съездила ненадолго в Москву, откуда увезла с собой дочь Таню и чемодан с неопубликованными — частично даже на машинке не перепечатанными — рукописями Всеволода.

Отправлялась я в Москву не одна, с детьми (чужими, ехавшими на соединение с родителями).

Детям не продали в Казани билетов на Москву — пришлось отправить их обратно в Чистополь.

У меня и у самой не было в Москву пропуска, а без пропуска, как выяснилось, билета не получишь и в вагон не сядешь (то был октябрь 1941 года).

Жила я в Казани у эвакуированных из Москвы знаковых научных работников. Комната у них была примечательная: дверь открывалась внутрь прямо с улицы, а спали все (кроме ребенка, у которого была кровать) вповалку на полу. Когда устраивались на ночь, дверь оказывалась прочно заблокированной, и если требовалось открыть ее, в том,

¹ Дочь и жена Ираклия Луарсабовича Андроникова.

² Элефтер Луарсабович Андроникашвили — физик.

³ Наш тогдашний водитель машины. Работал в гараже Союза писателей и через сутки у нас.

например, случае, если кому-либо понадобилось в уборную, которая находилась за углом, в сквере, вставить должны были все, кто уже лежал на полу.

Расспрашивая приютивших меня знакомых, я выяснила, что пропуском в Москву может послужить командировка Академии наук СССР, эвакуированной в Казань.

Пошла к президенту, О. Ю. Шмидту, с которым отдаленно была знакома, его в Казани не оказалось. Читаю список вице-президентов и вижу: Е. А. Чудаков. Вспоминаю, что у моих старших двоюродных сестер был знакомый студент с такой фамилией и инициалами и что мы вместе с ним на лыжах катались. Ну, думаю, если тот — наверное, поможет. Узнала адрес.

Поехала на трамвае, а в городе затемнение. Доехала до нужного места. Ничего абсолютно не видно. Лампочки у домовых номеров такие темные, что нет никакой возможности разобраться. Обращаюсь наугад к прохожему. Берет меня за руку. «Вернемся, — говорит, — на угол, оттуда будем на ощупь дома отсчитывать».

Отсчитали. Долго меня не впускали. Потом долго с а м не выходил. Наконец вышел ко мне в темную переднюю, со свечой в руке. Я заметила, что выглядит он совсем больным: видно, только что с постели встал, накинув халат.

— Чем могу служить?

— Я жена Всеволода Иванова. Мне необходимо к нему в Москву. Дайте командировку.

— Произведения вашего мужа читал. Но командировки, простите, дать не могу.

— Все-таки это вы и есть Женя Чудаков, и именно с вами мы на лыжах катались...

Поднес ко мне свечку:

— Простите, не узнаю.

— Вглядитесь, я — Тамара Каширина.

— Ну конечно, Тамара! А где Марго? Клавдия? Что с ними?

— Марго еще в гражданскую войну умерла. Где сейчас Клавдия, не знаю.

— А ведь когда-то я целую ночь в очереди стоял у кассы Художественного театра, билет вам в подарок ко дню рождения купил. Кажется, шестнадцать вам тогда исполнилось. Даже и спектакль помню — «Сверчок на печи», в 1-й студии шел.

— Ну да, я еще очень на вас обиделась. Билет вы мне подарили один. Я думала, что встречу вас в театре. Ан нет,

вас там не оказалось, а я в одиночестве не привыкла никуда ходить.

— На второй билет денег не наскреб. Я был тогда бедным студентом — жил уроками.

— Зато теперь-то вы — вице-президент, и для того чтобы дать мне командировку, вам в очереди стоять не придется.

— Что правда — то правда, — рассмеялся вице-президент и направил меня с запиской к своему референту.

Тот командировку выписал, но очень удивлялся: какое, мол, вы имеете отношение к академии?!

Однако и командировка дела не решает, не совсем решает. А билет?

Тут вспоминаю, что корреспондентом «Гудка» в Казани — М. Д. Ройзман, приятель Всеволода еще со времен его дружбы с Есениным, при котором Ройзман состоял как бы адъютантом.

Нахожу Ройзмана, и он, рыцарски прободрствовав ночь напролет, всунул меня в жесткий, некупированный, на верхнюю полку.

Когда уже с Таней я вернулась (в вагоне эвакуируемых писателей Всеволод ехать отказался) в Казань, война настолько туда приблизилась, что население мобилизовывали на рытье противотанковых окопов.

Едва добрались мы к детям в Чистополь.

Вскоре после нашего приезда туда пришла телеграмма от Всеволода, вызывающая нас в Куйбышев, куда его эвакуировали с Информбюро.

Кульминационным моментом всех ужасов этого переезда для меня было обнаружение пропажи чемодана с неопубликованными рукописями Всеволода. На пристани в Куйбышеве, пересчитывая детей, узлы и чемоданы, я, похолодев от ужаса, недосчиталась именно этого чемодана.

Те полчаса, которые протекли с момента открытия пропажи (к счастью, чемодан был фанерный и не содержал ничего, кроме исписанной бумаги, никак не привлекательной для носильщика) до появления оборванца носильщика с чемоданом, были, пожалуй, самыми тягостными для меня за всю войну.

Во всяком случае, известие о том, что сгорела дача с уникальной библиотекой, потрясло меня меньше, чем исчезновение чемодана с рукописями Всеволода.

Возвращение чемодана было такой удачей, после которой

уже совершенно не пугало, что Всеволод нас не встретил (телеграмма, посланная на Информбюро, к нему не дошла). Мы не знали, где он живет и где искать Информбюро. Все милиционеры в Куйбышев были только что привезены из Москвы и не могли дать абсолютно никаких указаний; им самим было неизвестно, где какое учреждение находится. Оба мальчика в дороге заболели — у обоих была высокая температура. Шел проливной дождь. Тане удалось поймать в городе грузовик, и только мы погрузились на него и тронулись в неведомый путь, как на первом же повороте увидели Всеволода, шедшего на пристань справиться о расписании (которое давно было аннулировано, так как река становилась, по ней уже плавало сало и последние пароходы шли в исключение всех правил).

РОМАН «ПРОСПЕКТ ИЛЬИЧА»

Из Куйбышева мы двинулись в Ташкент, где Луков доспимал «Пархоменко» и Всеволод (в который раз!) должен был переделывать сценарий.

В Ташкенте Всеволод закончил роман «Проспект Ильича».

Писал он этот военный роман кровью сердца.

6/VI — 42 г. он записал в дневник:

«Окончил роман «Проспект Ильича». Испытываю живейшее удовольствие от этого события».

Вначале Всеволод был ободрен и даже вознесен горячим приятием этого романа писательской общественностью Ташкента, а там в это время собралось много и московских, и ленинградских литераторов.

15/VII—42 г. Всеволод записал в дневнике:

«Закончил чтение отрывков романа «Проспект Ильича» в Союзе писателей... встретили необыкновенно... но думаю, что, как и прежние мои работы, эта будет [...] замолчена или же напишут, что я переписываю себя... Ну что же, теперь, бог даст, я окончу «Кремль», и так как (хотя более и не чувствую) я все же ощущаю на себе дыхание смерти, то после «Кремля» и «Судьи у дверей» (судья-то ко мне идет!) можно подвести баланс жизни».

Пессимистическая эта дневниковая запись, казалось бы, свидетельствует о том, что Всеволод был готов ко всему.

Однако это не так. Он вовсе не был пессимистом и скорее

склонялся к самообольщениям и уж во всяком случае к надеждам.

Поэтому, когда набор романа «Проспект Ильича» был рассыпан, это крайне опечалило Всеволода Вячеславовича.

Теперь уже невозможно восстановить первый вариант этого романа. Столько он редактировался и переделывался! Одно могу утверждать: тот вариант, что лежит у нас сейчас в архиве, совсем не похож на вылившийся из-под пера Всеволода в 42 году.

Вот еще одна из дневниковых записей того периода:

«...кто еще согласился бы так тихо и безропотно умертвить роман, как это сделал я? ...История с романом все же не дает мне покоя. Черт знает что такое...»

Когда были отвергнуты редакциями «Кремль» или «У», Всеволод тоже, конечно, огорчился, но переносил это стоически (да и предлагал к печати как-то словно бы нехотя). Во-первых, он был тогда моложе, и перед его мысленным взором вся жизнь еще расстилалась впереди, а мощный талант его был в таком разливе, что, отложив одно свое произведение, он немедленно начинал другое.

Неприятие «Проспекта Ильича» нанесло Всеволоду ощутимый урон. Он, может быть единственный раз в жизни, сам *д о б и в а л с я* опубликования именно этого романа, много раз переделывая его.

Всеволод записывал в дневнике: «...Занятие оказалось более сложным, чем предполагал. Из Ташкента события рисовались несколько в розовом свете. Эти розовые дымки пафоса и реют над романом. Здесь же, в Москве, конечно, больше серости, чем розовости. После войны, года три спустя, роман в розовой дымке, наверное, был бы хорош, но сейчас, помилуй (меня бог), несколько слащав. Вот я и снимаю эту слащавость. Трудно, ибо можно, невзначай, снять столько мяса, что и кость обнажится».

Думается, что самое обидное для человека, когда отвергается его искренний горячий порыв своими усилиями закрепить не свое личное, а именно общее дело.

Когда в такой момент человеку оказано недоверие, это оставляет горький осадок, сознание несправедливо нанесенной обиды и своей «чуждости», не тому делу, которому ты посвятил свою жизнь, а тем людям, которые волею обстоятельств в данный момент решают судьбу твоего произведения.

На мой взгляд, во многом аналогична в этот период судьба военной поэмы Пастернака: первые куски из нее, появившиеся в печати, очень резко были приняты критикой.

В нашей жизни большое место занимала дружба с Борисом Леонидовичем Пастернаком.

Знакомство Всеволода и Пастернака состоялось много раньше того времени, когда я вошла в жизнь Всеволода. В мое время Пастернак стал у нас частым гостем, приходил как с Зинаидой Николаевной, так и один; ходили и мы к Пастернакам. Когда после смерти Малышкина Пастернаки стали нашими соседями по Переделкину, встречи стали особенно частыми.

Несмотря на их дружбу, Всеволод и Борис Леонидович Пастернак были совсем непохожими друг на друга людьми. И реакция у них на все была не схожая.

Но хоть и по-разному, их обоих, как я уже написала, глубже всего ранила, на мой взгляд, судьба именно военных их произведений.

Борис Леонидович очень болезненно пережил критику на печатавшиеся отрывки из военной своей поэмы, озаглавленные «Зарево» и «Свободный кругозор» (1943—1944), написанной им после поездки на фронт (вместе со Всеволодом), на Орловско-Курскую дугу.

ПИСЬМА ДРУЗЕЙ НАМ В ТАШКЕНТ

Обжившись в Ташкенте, мы начали отыскивать (по почте) друзей, разбросанных войной в разные концы страны.

Привожу некоторые из сохранившихся ответных писем.

Письмо Ольги Васильевны Кончаловской (дочери художника Сурикова).

Из Москвы в Ташкент.

«21/IV—1942 г.

Дорогая Тамара Владимировна.

Получила Ваше письмо, очень была обрадована; поджидали Вас в Москву; я думаю, приедете, когда будет потеплее. Мы живем в квартире Макс. Петр.¹ (где газ — электричество и отопление), который эвакуировался в Куйбышев

¹ Максим Петрович Кончаловский — профессор-медик.

в декабре. Наша квартира на Конюшковской заморожена до весны. Мастерская ничего, работать можно, хотя стало холоднее. П. П.¹ написал там Юмашева, в очень красивом летнем костюме: портрет в стиле Дениса Давыдова. Сейчас П. П. начал большую картину, но уже дома, т. е. можно работать и вечером. Жизнь в Москве кипучая, все сюда стремятся. Но все же страшно временами, и тогда хочется уехать.

Как ваши дети? Учатся ли; я думаю, там все в порядке. Напишите, кто там из знакомых? Очень хочется знать. Где сейчас Толстые, вернулись ли в Ташкент, и где Людмила и ее мать? Как вы проводите время? У нас утром работа, потом обед в ЦДРИ — хочешь или не хочешь; но погода приятная и там «tout le monde» все, все, все и даже весело. Потом какое-нибудь деловое собрание у П. П. и, наконец, дома — чтение огромного количества самых интересных книг: приходят вечером друзья иногда, но главное — это книги. Что-то поздно встаем, т. к. ложимся в час. Мы, конечно, с П. П. подтянулись (к лучшему), Миша² работает: у них на Пиренеях³ очень хорошо. Эспе похорошела, веселая, поет песни и радуется на чудную дочку Маргот, одевает ее и целенает по-испански, мы зовем ее «католик». Эспе получает вести и сама телеграфирует своим и довольна, но так никуда и не ходим, хотя чудное газоубежище внизу, как-нибудь пойдем. Самый горячий поклон Всевол. Вячесл., напишите о нем, о Тане и мальчиках. Все мы вас обнимаем, будьте здоровы. Любящая вас

О. Кончаловская.

Если не уедем, то поедем в Бурги картошку сажать; там нас ограбили немцы: 300 пудов картофеля и много скота, но дома все целы, не успели сжечь. Маша там⁴. Рояль и корова остались! Не успели увезти».

С семьей художника Петра Петровича Кончаловского мы познакомились в тридцатые годы и близко сошлись.

У Петра Петровича было хозяйство на даче, купленной им в конце двадцатых годов: деревянный дом с хозяйственными службами, большим плодовым садом и даже небольшим

¹ Художник Петр Петрович Кончаловский.

² Художник Михаил Петрович Кончаловский.

³ Жена Михаила Петровича Кончаловского — Эсперанса — испанка, поэтому Ольга Васильевна шуточно называет семью сына «Пиренеями».

⁴ Домашняя работница Кончаловских.

парком с экзотическими растениями. Он купил это поместье у дочери врача Трояновского, которому была выдана на него охранная грамота.

Поместье называлось «Бугры», оно чудом уцелело как осколок дореволюционной помещицкой жизни.

Кончаловские поддерживали традицию. И сад сохранили, и скот держали, хотя это и было более трудоемко и накладно, чем прибыльно.

В один из наших приездов в Бугры, потчует творогом со сметаной, Ольга Васильевна шутя сказала: «Ешьте, не стесняйтесь, теперь это дешевое, покупное — корову продали».

Но Петру Петровичу «хозяйство» доставляло радость. Он любил собственноручно обихаживать деревья, выводить особые их сорта. И все шло у него на потребу творчеству.

Знаменитые его сирени писались с им же выхоженных кустов. Урожай яблок тоже находил свое место на полотнах художника. А уж освежеванная свиная туша, прежде чем превратиться в пищевой продукт, непременно творчески претворялась в объект искусства.

Петр Петрович дважды писал портреты Всеволода. Написал (в 40 году) и портрет нашего сына Кобы. Этот портрет он подарил нам после войны. В утешение, как он сказал, по поводу сгоревшей у Всеволода в Переделкине библиотеки.

Есть у нас и другие подаренные Петром Петровичем его работы.

А одну картину, бубново-валетского периода, сын наш Миша — художник¹ — обнаружил в комиссионном магазине, продававшуюся (была без подписи) как натюрморт в раме по цене этой рамы. Петр Петрович очень хвалил Мишу за то, что тот распознал его неподписанную работу и подписал ее уже у нас.

Всеволод неоднократно писал о творчестве Петра Петровича.

А дружба наша продолжалась до самой смерти Петра Петровича и пережившей его Ольги Васильевны.

18/III—42 года Константин Александрович Федин писал из Чистополя в Ташкент:

«Дорогой Всеволодушка, благодарю тебя за поздравление, за хорошее письмо, за телеграмму, за память! Не отвечаю

¹ Михаил Всеволодович Иванов, художник — певец Москвы.

тебе на поздравление с пятидесятилетием таким же поздравлением только потому, что твое пятидесятилетие — липовое. (По архивным документам Всеволод Иванов родился в 1892 году, а по канонически принятым числится рождения 1895 года. Сам он позабыл, что убавил себе годы, спасаясь от мобилизации в колчаковскую армию, и считал 1895 — действительным годом своего рождения, хотя в одной из автобиографий (1924) пишет: «Год рождения моего — 1895 или 1896, точно не помню»). Но в паспорте его (сдан мною в рукописный отдел Библиотеки им. Ленина вместе с другими памятными документами) четко стоит — 1892 год рождения.— *Т. И.*) Мое же — самое настоящее, и я сам к себе чувствую глубочайшее уважение, вступив в шестой десяток и вспоминая, как на третьем десятке постоянно думал о смерти и о том, что не доживу до двадцати пяти лет. И вот дожил, и все еще живу, и все еще надеюсь, бог весть, что сделать.

Пока делаю пьесу! Самую настоящую четырехактную пьесу для самого настоящего драматического театра. Работаю с небывалым увлечением, небывалым за последние годы. И думаю, что я вообще — драматург и что проза — моя роковая ошибка. Написал я покуда один акт, и мое зазнайство, моя заносчивость обратно пропорциональна количеству сделанного. Посмотрим, как буду я себя чувствовать на втором и третьем акте, кои считаю самым трудным местом пьесы, ее мясом, кровью и плотью замысла.

Фадеев пишет из Москвы, что надо туда приезжать, а мне кажется — следует повременить. Я во всяком случае не поеду прежде, чем не кончу пьесу. Вот летом сделал я сценарий, и сейчас его ставят где-то в Сталинабаде. Все-таки какой-то прок от работы. А от повседневных статей и разных радиотерзаний ничего не осталось, кроме тягостных воспоминаний. Поэтому я и решил поработать над чем-нибудь пофундаментальнее.

Здесьняя колония здравствует, и перемен особых в ней не произошло. Боренька Пастернак, такой же чудный и такой же м-м-м-мекающий, кончил перевод «Ромео и Джульетты», и все прослезилась — так хорошо! С ним я встречаюсь очень часто и чувствую себя в его обществе вполне по-человечески. Ленечка Леонов приходит ко мне каждый воскресный день, дымит жутким горлодером, дергается, дергает меня, метется духом и то скорбит, то ярится староверческой ярью. А в общем — мужичок разумный и крепенький. Старик Тренев отхворал воспалением легких, сильно постарел, и весь дом у него хворает. Асеев ходит с кошелкой на базар и посижи-

вает, не сходя с места. Остальное человечество, мужское и дамское, борется с нуждой, которая здесь пока еще не предельная, однако все растущая и обещающая к пачалу навигации поравняться с худшими местами нашего отечества.

В начале пребывания моего здесь писал вторую часть Воспоминаний о Горьком. Получается картина все более широкая, заключающая много портретов и размышлений. Наш путь, пройденный в замечательные годы, кажется мне сейчас зеркально ясным, и старики, и молодые идут по этому зеркалу бесшумно, гладко, с такою пластичностью, что я их ощущаю физически. Странная вещь воспоминание! Конечно, это — мать искусства.

Передай Пешковым, что я надеюсь сделать книгу о Горьком такую, чтобы Алексей Максимович предстал в ней великим не по произволу, а по необходимости. Этот человек научил нас понимать историю, и мы отточили свой взгляд в общении с ним и видим все очень далеко, очень остро и, по-моему, очень верно. Эпоха, которую я беру, необыкновенно увлекательна. Так как мы, наше поколение никогда не умело, не могло и поэтому не хотело переписываться, то из наших писем в будущем никто не поймет ничего, а это обязывает нас к тому, чтобы вместо писем мы оставили воспоминания, в которых рассказали бы о самом важном для нашего поколения.

Передай привет Пешковым, Толстым, Погодиным. Поблагодари их за поздравление. Поблагодари Тамару Владимировну за память и нежность. Придет время (если оно придет), когда мы сядем за круглый стол и за бутылкой рислинга, да нет, за дюжиной бутылок рислинга, вспомним о том, что происходит сейчас. И наше время покажется нам таким же волшебным, каким кажется сейчас наш петербургский период, наша молодость. Поднимаю мысленно за тебя и за всех, кого я здесь назвал, страшный стакан, страшную посудину вина! Будьте здоровы! Так хочется выпить, ужас!

О Москве очень много знаем и очень много слышим, так же как о Переделкине. Всего не расскажешь. Все это в сфере каких-то надежд и ожиданий. Прошлое смешалось с будущим, и вера в будущее — наше главное утешение.

О Ленинграде приходит тоже много известий. Бедные земляки, тяжело им пришлось! Об этом ничего написать нельзя. Поговорим же мы когда-нибудь, в самом деле!.. Известно, что в Ленинграде остаются по-прежнему Илья¹, Вячеслав

¹ Илья Александрович Груздев.

Яковлевич Шишков и сейчас вернулся туда же из Москвы Николай Тихонов, он же — Денис Давыдов. Умер Сергей Семенов. Союз писателей из Москвы послал ленинградцам грузовик посылок, очень хороших и сытных, и посылает еще грузовик. Словом — все понятно. [...]

Знаешь, Всеволод, я до сих пор не могу добиться, где Иван Сергеевич¹ с семьей? Как я люблю этого человека и как мне больно за него! Само собой, и я вспоминаю пивную на Серпуховской площади, где мы с ним и с тобою распивали такое великолепное пиво. А разговоры, а наши ожидания, которые — увы! — вот и оправдались!

Будь здоров, обнимаю тебя, перестань хворать — это тебе не идет. Тамаре Владимировне целую ручку, детям старшим и младшим кланяюсь. Ниночка здорова, Дора Сергеевна похудела настолько, что больше уже не может худеть. Если ее положить в стопу бумаги, то она займет места не более одного листа. После этого на ней остается написать письмо и поставить кляксу. Что я и делаю.

Целую, обнимаю, друг!

Твой Константин Федин».

«9 мая 1942 г.

Чистополь.

Милый Всеволодушка, здравствуй!

Жив ли, здоров ли? Поправился ли после недавней хвори? Я все время недомогаю, исхудал и помолодел основательно, так что охотно начал бы жить по-новому, на какой-нибудь неизвестный лад, не по-чистопольски... Пишу усердно, кончаю пьесу. Право, хорошо получается! К июню надеюсь совсем кончить и уеду в Саратов, куда меня зовет МХАТ — читать ему пьесу. Из Саратова предполагаю в Москву. Зачем? — Неясно. Отчасти из-за пьесы, отчасти из-за невнятных надежд на нечто прекрасное. [...]

Очень тяжело все, что я знаю о Ленинграде. Умерло много близких друзей, множество знакомых, у жены — пятеро родственников. Одних людей писательской профессии — 71 человек по сведениям, только что привезенным из Москвы. [...] Думаю, что в истории не бывало бедствия такого размера, как Ленинград. Будем ждать, обнимаю тебя. Горячий привет Тамаре Владимировне и ребятам. Напиши. Чистополь остается моей резиденцией. Союз я рад бы забросить, но он ползет

¹ Соколов-Микитов.

за мною хвостом, который не совсем отрублен. Устал предельно, вот-вот свалюсь.

Очень кланяюсь Надежде Алексеевне и Екатерине Павловне¹. А также Алексею Николаевичу².

Хороша, знаешь ли, Кама сейчас — нету края... И воду пьем густо-темную, как лауреатский шоколад.

Твой *Константин*.

Как и что пишешь?

Погодиным приветствия от всей семьи. *К. Ф.*».

Константин Александрович пишет в одном из приведенных выше писем: «Боренька Пастернак — такой же чудный», — это было наше общее мнение о Борисе Леонидовиче.

В Переделкине мы были ближайшими соседями: дачи расположены так: № 2 — Федин; № 3 — Пастернак; № 4 — Всеволод Иванов.

Постоянно сходились то у одних, то у других. Читали и обсуждали вновь написанное и еще не изданное.

Письмо И. А. Груздева.

Из Москвы в Ташкент.

«9/V—42 г.

Дорогие друзья Всеволод, Тамара Владимировна, Кома, Миша, Таня! В первый раз я, приехав в Москву, в командировку, не вижу Вас, и Москва для меня словно пуста. Приехал я по делам наших организаций — просить помощь Ленинграду и на днях лечу обратно — можно только воздухом. М. б. удастся «за кольцом» устроить подсобное хозяйство, это дало бы силы на лето и зиму. Вас, наверное, интересует Ленинград, но — как писать? За это время между нами прошли такие чудовищные глыбы, что как-то уже и необразишь, что написать, рассказывать можно было бы десять вечеров. Да еще на днях меня снарядом контузило: м. б. и от этого головные боли. Вообще — разваливаюсь, а м. б. так кажется, пройдет время, и снова вскочишь в себя как ни в чем не бывало! Ты, Всеволод, болен, я слышал, но чем — никто объяснить не мог. Хотелось бы знать о здоровье всех. [...] Мне на работе в Ленинграде весьма и весьма досталось, да и

¹ Пешковым.

² Толстому.

сейчас все то же! Был в ред. «Лит. и иск.» в конюшнях Рябушинского¹, вышел на двор, посмотрел на заключенный особняк, стоял и думал о Максимыче²... Сколько прожито, сколько видно! Пишите, пожалуйста, на Ленинград, если с летной оказией, то скоро м. б. доставлено.

Обнимаю. Ваш *И. Груздев*».

С Ильей Александровичем Груздевым Всеволод был близок начиная от «серапионовских» времен, а я подружилась сперва с ним, а потом и с женой его, Татьяной Кирилловной, сразу же, как только стала женой Всеволода.

Илья Александрович, приезжая в Москву, всегда останавливался у нас и иногда жил подолгу. Он был историографом Алексея Максимовича, поэтому наши разговоры часто вращались вокруг различных периодов жизни Горького, и Илья Александрович постоянно высказывал сожаление, что не обо всем можно писать, а пройдет время — и уже некому будет вспомнить.

«Когда наступает и наступает ли вообще своевременность вспоминаемого?» — говорил он.

Теперь я сама в какой-то мере, поставив себя на место историографа или летописца, часто начинаю сомневаться, не вступаю ли за пределы своевременности, и чувствую, что невольно перехожу иногда ее границы, хотя они никем точно не установлены и вообще едва уловимы.

Письмо Л. Н. Сейфуллиной.
Из Москвы в Ташкент.

«10/VIII — 1942 г.

Милая, родная Тамара. Совестно с таким опозданием отзываться на Ваше хорошее письмо и дружескую приветственную телеграмму. Но у Вас чуткое сердце, и Вы должны простить меня. Много бед испытала за время войны наша семья. Военврач 3-го ранга Милочка (у Лидии Николаевны не было детей, а у ее сестры, Зои Николаевны, три дочери, здесь идет речь о средней по возрасту. Лидия Николаевна относилась к племянницам по-матерински, а их детей счита-

¹ Редакция находилась в здании, где ранее помещались конюшни.

² Алексея Максимовича Горьком.

ла своими внуками. — *Т. И.*) покоится в Черном море. Звери гитлеровские разбомбили теплоход, на который погрузили в Крыму их госпиталь для эвакуации. Ее муж, Георг, контужен, два раза засыпан землей, и у него извлекли из затылка осколки. Сейчас, после госпиталя, признан годным лишь для занятия администрат. постов в тылу. Он — капитан, командир, а в текущие дни еще никуда не годен. Дан отпуск для отдыха на дому. Живет со мной. У него повреждены дыхательные пути, он хрипит. Рафаил Маркович и Зоя, моя сестра и зять, работают вместе в одном госпитале. Зоя мобилизована, несмотря на 48 лет, потому что она — хирургическая медсестра. Да если б не мобилизовали, она и сама дома бы не осталась. Наташин¹ муж — радист. Он так и не видел родившегося от него сына Мишу. Находится на Дальстрое НКВД. Ирочкин², Серафим Ключеров, на фронте рядовым бойцом. Ира и Наташа с детьми в Чкалове, трудно живут материально, много работают. С детьми дорого жить в Чкалове. Ира — медсестра, Нашата — педагог. [...] Я работаю много, но неприметно. Необходимо быстрое получение гонорара. Я еле выкручиваюсь на свой заработок. Поэтому пишу для заграницы в Совинформбюро и Иностранной секции радио и безымянные листовки. Ездил в Муром Горьковской области, где госпиталь Зои и Рафаила Марковича. Там читала лекции на курсах усовершенствования командного состава (Кукс), потом на фронт. Была только артиллерийская дуэль. Я описывала медпомощь в медсанбатах и полковых пунктах медпомощи для Военно-Санитарного Управления РККА. Дома — грустно, одиноко и бедно. Друзей нет. Все живут своими кланами. Налетов нет. Отбивают далеко за Москвой. Писательское питание умеренное, но не плохое. Настроенье общее в Москве весьма спокойное. Мне даже не нравится. Впечатление такое, что героический город плотно закутан в мелкую бытовую суету. [...] О своей даче Вы уже знаете — одни колышки остались, сгорела. Афиногенова и моя целы, но во всех дачах, даже у Афиногенова, живут не писатели, а военные. Я не была ни разу. [...] Жизнь летит, я не успеваю поворачиваться. Конечно потому, главным образом, что сильно постарела, похудела вдвое, но это облегчение. Однажды попала под грузовик, осталась опухоль правой груди, но ребра целы. Пролежала всего десять дней. Вот что значит — об

¹ Младшая дочь Зои Николаевны.

² Старшая дочь Зои Николаевны.

дорогу не расшибешь! Целую Вас крепко, низко кланяюсь Всеволоду и всей Вашей семье. Очень прошу, напишите мне. Пархоменко — чудесная картина!

Л. Сейфуллина».

Мною написан портрет Лидии Николаевны. Но, увы, не укладывается он в данный монтаж (или сказание).

Тут границы несвоевременности, о которых я писала выше, вспоминая Груздева, отчетливо видны мне.

Лидия Николаевна была не общим нашим со Всеволодом другом, а моим личным и очень близким.

Дружба наша возникла еще до моего знакомства со Всеволодом.

В переделкинский период Лидия Николаевна бывала в нашей семье как человек родной всем нам, включая Всеволода, и в последние годы своей жизни она очень сблизилась с моей мамой. Но воспоминания мои о ней носят настолько сугубо личный характер применительно и к моей, и к ее жизни, что тут граница несвоевременности отчетливо мною ощущается.

Существуют такие воспоминания, которые можно, по моему, публиковать только посмертно. Я имею здесь в виду себя. Лидии Николаевны давно уже нет на свете.

Если когда-нибудь увидят свет мои воспоминания «О самой себе» — там Лидии Николаевне отведено большое, может быть, даже одно из главенствующих мест.

Между прочим, перечитывая (в который уж раз!) приводимое письмо, я вдруг удивилась чисто газетным определениям (военврач и т. д.) применительно к членам семьи Лидии Николаевны — ведь она отлично знала, что мне вся ее родня отлично знакома. Очевидно, подсознательно она даже письмо писала в тот момент как статью.

Письмо В. Б. Шкловского.
Из Москвы в Ташкент.

«1942 г.

Дорогой Всеволод.
Медведь ест (капусту)¹.

¹ Виктор Борисович намекает на эпизод, о котором Всеволод любил рассказывать, с каким отвращением ел медведь (на его глазах) в зоосаду квашеную капусту.

Я в Москве. Хожу гляжу. Люди ждут трамвая, садясь на край тротуара. Союз в сборе.

Очень хорошо идет Пархоменко. Хорошая, доходчивая лента. Советую прилететь на несколько дней. Сердце мое болит. [...]

А мне хорошо пишется.

Привет Тамаре.

[...]

Обедаю в Союзе.

Хорошо.

Твой Виктор.

Еду на фронт».

ОТСТУПЛЕНИЕ *О ВИКТОРЕ БОРИСОВИЧЕ ШКЛОВСКОМ*

Всеволод дружил с ним начиная с приезда своего в Петроград.

Виктор Борисович очень талантливо написал о Всеволоде.

Они были не только друзьями, но однажды и соавторами. Вместе написали детективный роман «Иррит». Но это происходило не на моих глазах.

Поселившись на Лаврушинском, мы жили в одном с Виктором Борисовичем подъезде. Виктор Борисович почти каждый день забегал (именно забегал, а не заходил) к нам. Торопливо брал какую-нибудь книгу из библиотеки Всеволода. Причем никогда не упускал случая, если подворачивался любой слушатель, объяснить, какая именно у Всеволода библиотека и чем она замечательна: книги в ней редчайшие, и хотя вроде бы собраны бессистемно, но есть решительно все — из любой области науки и литературы любого народа и периода культуры.

Виктор Борисович написал:

«Количество знаний Всеволода было изумительно и разнообразно. Зоценко иногда спрашивал его: «Скажи прямо, какой университет ты кончил, Всеволод?» Этот университет был разрозненный и некомплектный. Такая потом была у Всеволода библиотека».

Думается, могу себе позволить вмонтировать бытовой анекдот.

В каком-то из предвоенных годов, когда В. А. Каверин жил еще в Ленинграде, а мы проводили зиму на Лаврушинском, раздался днем телефонный звонок, и Вениамин Алек-

сандрович сказал мне, что он и Юрий Николаевич Тынянов находятся в нашем доме, хотели бы видеть Всеволода и можно ли к нам зайти. Я, разумеется, ответила, что мы будем очень рады, Всеволод дома, и мы садимся обедать.

Дело происходило на масленице, и на обед у нас были блины.

Когда уселись за стол, Вениамин Александрович принялся вместе со всеми за блины, а Юрий Николаевич отказывался съесть хоть что-нибудь, мотивируя свой отказ тем, что их еще ждет обед у Шкловского. Каверин, посмеиваясь, рассказал, что Виктор Борисович действительно пригласил их на обед, но, когда они пришли в назначенный час, его дома не оказалось, и Василиса Георгиевна, его жена, явно их не ждала, потому что радостно согласилась на высказанное Кавериним намерение спуститься (Шкловские жили на три этажа выше) к нам и обещала известить их, когда Шкловский появится.

Он и появился. Раздался звонок. Виктор Борисович, как всегда, вбежал, сбросил с себя шубу на пол в передней и, радостно потирая руки, вошел в столовую со словами: «Как удачно, что у вас блины!»

Когда Виктор Борисович принялся за блины, тут и Юрий Николаевич согласился наконец их отведать.

Но... Всеволод не выдержал, расхохотался и спросил: — Виктор, ты забыл, что ли, о своем приглашении ленинградских гостей к тебе на обед?

Виктор Борисович вскочил как ужаленный, надел свою шубу и, не говоря ни слова, исчез.

Наступило всеобщее неловкое замешательство, а я набросилась с упреками на Всеволода. Но Всеволод продолжал хохотать и сказал, что он-то Виктора знает, просит нас всех успокоиться, потому что Виктор сейчас же вернется.

И действительно вернулся. Опять бросил шубу на пол. Стремительно вбежал в столовую и, поставив на стол две бутылки шампанского, снова принялся за блины.

Василиса Георгиевна жаловалась, что подобное — забывчивость Виктора Борисовича — случалось частенько. Иногда происходило так, что, даже находясь дома, он не предупреждал ее заранее, что кого-то пригласил (давно позабыв об этом приглашении), и если она ему говорила, что, застигнутая врасплох, она не знает, чем гостей угостить, Виктор Борисович сам тут же принимался делать салат (она шутя утверждала: «Изо всего, что под руку попадется, чуть ли не ваксу туда совал»).

Летом 1942 года я увезла сына Кома от ташкентской жары в горы, в детский санаторий, находившийся в Чимгане. Как говорилось выше, Кома перенес туберкулез тазобедренного сустава и нуждался в определенном режиме.

Из Ташкента в Чимган.

«Лето 1942 г.

Дорогая Тамара и Кома!

Посылаем имеющиеся газеты. С рецензиями на «Пархоменко» еще нет. К Джалибекову о путевке для Миши ходим завтра. — Приехал Н. Погодин, но я его еще не видал. — Посылаю полученное по почте письмо Анны Павловны. Меня очень удивила весть, что умер А. Малышев (бывший секретарь Всеволода, который женился на племяннице Анны Павловны. О Малышеве см. в воспоминаниях Льва Никулина в книге «Всеволод Иванов — писатель и человек». — Т. И.).

В городе все по-прежнему. Рукопись романа от Лежнева еще не получил (он пишет статью), получу в среду и в среду же исправлю, с тем чтобы в четверг поехать к вам. Страшно жажду ходить по горам, — приехал Луговской, завтра пойдем с ним к комиссару, хочу попросить ружье и заряды для гор. — Из Москвы о романе ничего нет. Сопоставляя с тем, что говорил В. Луговской, со слов Погодина, что там настроение в литературных кругах опять вроде октябрьского, вывожу — не до романов теперь редакциям! Луков получил «исправленный» экземпляр (фильма) «Пархоменко» и очень зол. Справку о гонораре все еще я не получил — получу, кажется, завтра.

Без Комкиных комментариев скучно — и радио не радио. Правда, с вашего отъезда ничего страшного не передавали, но все же стоит и это обсуждать.

Работать не работаю. Получил из Москвы от Военгиза предложение — написать 4 печ. листа художественный очерк — «А. Пархоменко», но даже ответить все не могу собраться.

К Федин в Москве (со слов Луговского). Сельвинский [...] тоже в Москве. Из Керчи он спасся под обстрелом, переплыв пролив на автомобильной шине. Я своими глазами читал его стихи (от 15 июня в «Красной звезде»), где он пишет

о любви к России и где перечисляет любимых учителей: «От Пушкина до Пастернака!» [...] Действительно, надо было переплыть Керченский пролив на шине, чтоб это появилось.

Целую! Надеюсь, скоро увидимся. Что же касается твоей террасы, Тамара, так ты *всегда* спишь на террасе¹. Примиришься!

Всеволод».

Всеволод и Миша приехали в Чимган, хотя и не достали для Миши путевки, но с ними был еще один Миша, Левин, у которого была походная палатка, и они втроем жили, совершая походы в горы и питаясь чем бог послал.

В Ташкенте мы жили той же тяжелой эвакуационной жизнью, что и наши друзья в Чистополе, Свердловске и других городах.

Всеволод хворал в Ташкенте, но работы ни на один день не оставлял. За неполный год ташкентской жизни (с декабря 1941 г. по октябрь 1942 г.) кроме переделок доснимавшегося «Пархоменко» он написал роман «Проспект Ильича», пьесу «Ключ от гаража» (опубликована посмертно в журнале «Сибирские огни» в 1978 году, вошла приложением в том пьес, опубликованный изд-вом «Искусство» под той же обложкой, что и Собр. соч., и являющийся как бы 9-м томом этого Собрания), сценарий «Хлеб» (не публиковался и не ставился).

Как всегда, когда становилось невозможно, уходил в странствия. Обычно его спутником был старший сын Миша.

Осенью 1942 года мы уехали в Москву, оставив детей в Ташкенте.

В МОСКВЕ В 1942 Г.

По приезде в Москву Всеволод записал в дневнике:

«26.X.1942 г.

...Сели в метро. Первое ощущение в вагоне — радость. Почему? Чисто? Да, пожалуй, жители здесь почище, сдержаннее. А вот другое [...] всюду — русская речь».

¹ Я написала Всеволоду, что Кому поместили в общежитие мальчиков, а я сплю на террасе этого общежития, куда выходят окна той комнаты, где живет Кома.

За недолгие месяцы жизни в Ташкенте Всеволод не жаловался, как трудно писать, если, выходя из дому (без дальних прогулок по городу ли, в окрестности ли Всеволод жить не мог), не слышишь русской речи. «Для писателя необходимо все время слышать живую, народную речь», — постоянно говорил Всеволод.

Разумеется, он имел в виду народную речь на родном языке, том, на котором писал.

“ Из Москвы в Ташкент — детям:

«23/X — 42 г.

Дорогие друзья!

Вчера вечером узнали о начале нашего наступления в Сталинграде. Передавали в 10 час. вечера, мы жалели, что у вас поздно и вы узнаете на следующий день. Поздравляем вас! Сейчас я пишу статью для «Известий» на эту тему.

Новостей особых нет. Мамка хлопочет насчет автомобиля. Я исправляю роман и читаю книги по философии. Погода морозная, но морозы мелкие — градусов 8—10 — не больше. В гостинице тепло. Крепко целуем!

Отцы».

«2/XI—42 г.

Дорогие хлопчики!

Пишу на блокнотах, купленных в Литфонде мамкой для нашего — Вашего, мамкиного и моего — употребления. Как видите, бумага хорошая, писать хорошо — чего еще надо?

Вечер. Ждем Дуню, которая приехала из Мартемьянова и привезла мою шубу.

Позавчера были в гостях у Корнейчука и В. Василевской. Сидели до 5 час. утра, — причем выпили... кофе и белого вина и весьма оживленно разговаривали о литературе, но точно передать течение разговора затрудняюсь, так как обычный для моего возраста склероз мешает моей памяти.

Работаю над романом. Думаю, что дня через два-три работу закончу. Во всяком случае, самая трудная часть работы проделана.

Наш дом¹ предполагается топить до 9 этажа, а пока что прекратили вообще топить, поэтому в книгах я давно не разбирался.

¹ На Лаврушинском. Мы же жили в гостинице «Москва».

Сегодня через какое-то третье лицо узнали, что в вашем доме¹ нет света. Относится ли это затемнение к тем дням, о которых мне писал Мишка, или у вас снова выключили электричество? Сегодня же я узнал, что приехал Уткин и что будто бы он остановился в гостинице «Москва», но следов его мы еще не нашли в нашей гостинице. Но, надо думать, след одного поэта будет обнаружен.

На улице сегодня морозно — градусов 15. Легкий ветер. Вот и все новости. Привет. *В. Иванов».*

Приписка на полях письма:

«Дуня и Тоня были. Шли пешком 27 километров, потом ехали на грузовике. Привезли Всеволоду шубу, шапку, рубашки и галстуки. В деревне все здоровы. Завтра будем хлопотать о Дуниной прописке. Сейчас 3 часа ночи — опять «кутили» у Корнейчука — он обещает помочь вызвать Таню. Целую всех, ложусь спать.

Т. Иванова».

*«5 ноября 1942 г.
г. Москва*

Дорогие детишки!

Приветствую вас! Сегодня написал статью для «Известий» под названием «Москва», завтра она будет напечатана. Интересно, что придет раньше — газета или это письмо?

Миша! Все твои филателистические ценности — марки, альбомы в целости.

Кома! Твои книги тоже в порядке, — если говорить об истории. Романы все почти растащили. [...]».

«5 ноября 1942 г.

Дорогие ребятки!

Поздравляю вас с 25-летием. Пишу накануне сего дня. Живем мы по-прежнему. Приходил Ир(аклий) Андроников, сидел всю ночь и что-то рассказывал необычайно длинное, так что мама попросилась спать. Вообще, все рассказывают. Вчера пришел Миша Левин и рассказывал, как он ездил в какой-то заповедник, затем появился Ливанов и стал рассказывать, как пил в Саратове в прошлом году красный ликер и

¹ В Ташкенте.

закусывал копчеными языками.— Сегодня мама пойдет в милицию хлопотать пропуск для Дуни, ей уже обещано. Приходила Тоня и приводила ребят, в том числе того мальчугана, у которого немец отнял шапку. Мама подарила мальчугану игрушечное ружье, и он остался очень доволен. Ребята эти, скажите Марусе, очень упитанные.— Я написал статью «Москва», которая будет напечатана в «Известиях» или завтра, 7, или 9-го.— Сегодня встречу с Героем Сов. Союза Бочаровым, о котором буду писать статью, а числа 14 сдам, наверное, роман окончательно исправленный в «Новый мир» и примусь за дальнейшие труды. [...]

В. И.»

«6 ноября 1942 г.

Дорогие ребятки! Сейчас 11 часов утра, только что передавали записанный на пленку доклад Сталина, и мы подумали, что вы в Ташкенте слышите его, и мы решили вам написать. Вчера мамка ушла за хлебом, я остался один — включил радио и неожиданно услышал голос Сталина. Мама вернулась уже к концу доклада. Доклад произвел на нас очень сильное впечатление. [...] В половине одиннадцатого пришла Сейфуллина, маленькая, большеглазенькая, в кофте, сшитой из белого плюшевого одеяла, к которой был приколот орден. Но было уже поздно, и она мало посидела. Она просила передать вам привет. [...] Сегодня днем мы пойдем на выставку XXV-летия в Третьяковку, а вечером спектакль МХАТ «Фронт», где роль ген. Огнева играет Ливанов. О впечатлении напишу. [...]».

«8/XI — 42 г.

Дорогие Кома и Миша!

Вчера мы были на выставке в Третьяковской. «Великая Отечественная война», картин много, но хороших мало. Не понравился нам и Кончаловский «Где здесь сдают кровь?» — слишком слащаво. Очень хороши несколько полотен ленинградских художников, показывающих Ленинград без приукрашивания, чем грешат, к сожалению, московские художники. Корина выставлено два портрета — один А. Невский, а другой — какой-то профессор. Оба похожи друг на друга и оба такие, словно сейчас из тины вылезли. Затем мы пошли на «Фронт» в МХАТ. Публика праздничная, орденов так много, что можно ослепнуть от их блеска. Игра-

ют неважно, но Ливанов убедителен, он играет Огнева. Удалась сцена в окопе — над окопом в конце даже показывается танк. В антракте встретили много знакомых — жена Чагина¹ была в шелковом платье, а сам он — в черном ватнике. [...]».

«13 ноября 1942 г.

Дорогие ребята, Комка и Мишука!

В Ташкент едет Лидин, и мы воспользовались случаем переслать Вам письмо, — подробное и ясное.

Ну, во-первых, — о моем романе. Положение более или менее прояснилось: роман, в основном, принят «Новым миром», я кое-что в нем подчищу незначительные незначительности, которые надо удалить. Щербаков романа не читал, да ему и не до романов. Он мне сказал:

— Бессонница мучает, ну, возьми пьесу, прочитаешь, а до романа и не дотянешься.

Читал роман Еголин... Его мнение: «роман талантливый и очень своеобразный, надо только кое-что подчистить», но при дальнейшем выяснилось, что «кое-что», действительно, кое-что, в основном то, что мы исправили с Лежневым. [...]

Какое впечатление производит Москва? Очень чистый город с пустыми магазинами. Цены и прочее, вам, наверное, напишет мамка, она это лучше меня знает, а я скажу о внешнем облике города. Следов бомбежек почти нет, да и самих бомбежек не наблюдается, во всяком случае мы здесь уже две недели, а не слышали ни одного выстрела из зениток, только ночью где-то, очевидно далеко, видишь на горизонте мелькают зарницы выстрелов. Когда я сказал Еголину, что у меня семья в Ташкенте, он сказал:

— Немцы обещают следующее наступление начать на Западном направлении. Конечно, Москвы им не взять, но бомбежки будут, и поэтому мы не рекомендуем перевозить сюда семьи. Никому не рекомендуем...

Это было еще до высадки американцев в Северной Африке. Но я думаю, что на положении нашего фронта эта высадка отразится не так уж немедленно. [...]

Обедаем в Клубе писателей, в этом островерхом доме на Поварской. В клубе очень холодно, так что после обеда

¹ Петр Иванович Чагин, тогда директор издательства «Художественная литература».

выходишь из него, и зуб на зуб не попадает. Накурено, грязно, и так как всю Москву сейчас кормят капустой, вернее, капустными листьями, то клуб писателей пахнет капустой, как крестьянская изба. Наверху, в комнате с камином, стоят два стола. За этими столами выдают так называемые «литерные» обеды. Что такое, например, литерный человек вроде меня? Сейчас вы увидите. Я — литерный, но мамка — отнюдь. Я сегодня получил мясную котлету, две картофельных и суп, который украшала кость какого-то животного. У мамки не было ни картофельных котлет, ни кости и, тем более, мясной котлетки. У нее просто был суп с капустой и немного печенки, тоже с капустой. В.»

«16 ноября 1942 г.

Дорогие юноши! Только что был у Героя Сов. Союза Н. Бочарова. Этот юноша был комвзвода и стоял в почетном карауле от 14 дивизии им. Пархоменко, когда я посетил ее во Львове. (Выше я писала, как тщательно собирал Всеволод материалы — военные и бытовые реалии — в период подготовки к написанию романа «Пархоменко». — Т. И.). А сейчас он — заместитель заведующего армией по политчасти.

Чего и вам желаю!

Живем по-прежнему в гостинице. Исправляю роман, печатая на плохой машинке, и жалею, что не взял свою, равно как и валенки, ибо предстоят холода. Целуем!

Отец».

«18/XI—42 г.

Уважаемые товарищи!

Только что получили от Вас бессмертную телеграмму следующего содержания: «Питаемся превосходно. Ждем молоко с шоколадом тупила нет кило изюма десять брусков смыла деньги теть». Все ясно и понятно, и мы все одобряем, только просим сообщить фамилию и имя теть. (Телеграмма пришла искаженной. Следовало читать: «Жрем молоко с шоколадом тупила пять кило изюма десять кусков мыла деньги еть». — Т. И.).

Сейчас у нас сидят племянницы Маруси: Тоня и Паня. Паня принесла бумагу для меня, я на ней пишу это письмо, так что не будь Маруси, вообще, может быть, и не получилось бы этого письма. Горюем о том, что не достали пропуска для Дуни, мамка хлопотала дней десять, но милиция отказала. [...]

Кстати, о бобрах. (Всеволод иронизирует по поводу своей шубы с бобровым воротником, находившейся в Мартемьянове. — Т. И.) Бобра с моего романа «Проспект Ильича» никак не удастся убить. Я его переделываю. [...] Впрочем, как говорит митрополит Сергей, все от бога и, надо полагать, я одолею препятствия творчества.

[...]

Изредка приходит А. Крученых. Увы, я так беден, что он не предлагает книг, и я не спрашиваю.

Привет, привет — от племянниц Маруси, от мамки, от Гусевых, от Ливановых, от всей снежной Москвы!!!..

Отцы.

[...]».

«27 ноября 1942 г.

Дорогие дети!

В последние два дня у меня было две встречи с партизанами. Позавчера я видел двух партизан — разведчиков парт. отрядов. Один юноша — 18 лет, другой — девушка 22-х, бывшая учительница. Мне о них надобно написать книгу «В тылу врага», которую выпустит из-во «Молодая Гвардия». То, что они мне рассказали, — поразительно интересно, — но, к сожалению, только о себе, так как по молодости, они еще лишены наблюдательности и поэтому могут рассказать только о себе, но и рассказы эти, повторяю, очень интересны. Рассказы застенографированы, и то, что не войдет в мой рассказ, — останется. Вчера же пришел П. Л. Жаткин, похудевший, без зубов (выпали от цинги). Он в августе только вернулся из партизанского отряда. Рассказ его представлял соединение трех элементов: а) правды о себе, б) правды о партизанах, в) обычной писательской трепотни, приправленной обычной же ложью. Если добавить ко всему этому еще рассказы И. Андроникова о партизанах да то, что завтра придет муж Шишмаревой¹, который тоже был у партизан, — то окажется, что мне можно уже начинать жизнь сначала, ибо, когда я написал «Бронепоезд» и «Партизаны», я столько рассказов не слышал.

(Всю войну Всеволод рвался на фронт, но долгое время его «пускали» только эпизодически: Вязьма, Орловская дуга. Когда в 1943-м году я перевезла детей из Ташкента в Москву и, как обычно, начала ходить за Всеволода «по инстанциям»,

¹ Т. В. Шишмарева — ленинградский художник, с которой я подружилась в Ташкенте, куда она была эвакуирована.

один из тогдашних руководителей СП сказал мне, что он весьма одобряет желание Всеволода быть переброшенным к партизанам, и добавил без тени юмора: «Партизанами» он начал, «Партизанами» надо ему и кончить». Однако и к партизанам Всеволода не пустили.

Моя приписка на полях: «Зубы у Жаткина все — целы».)

Ну, живем мы пока в гостинице. Я говорю потому «пока», что есть все данные, нас из нее выгонят. И не потому, что мы неблагонравны, а потому, что такова железная метла истории — больше месяца в гостинице жить нельзя!

Выпал сильный снег. Крыши, дороги, — все белое. Даже небо такое, словно и на него выпал снег. [...]

В свободные минуты привожу свои книги в порядок. Самое удивительное не то, что разокрали полные собрания сочинений, а то, что из оставшихся всех полных взято по одной книге. Зачем? Почему? Нашел еще один каталог марок, так что их теперь уже пять. Мишка, можешь радоваться! [...]

«5/XII — 1942 г.

Заходил в Филателию [...] — времен войны, — марок нет. Возвращаюсь грустный. На Петровке меня останавливает командир с лицом, так сказать, припухшим:

— Товарищ Всеволод Иванов?

— Да.

— Разрешите представиться: гвардии полковник Корольков.

— Очень рад.

— От донского казака — сибирскому казаку привет! Пишите. Мы же будем немца рубать.

И пошел.

— Позвольте, тов. Корольков...

— Некогда! Отпущен с фронта на один день и раздаю приветствия. Пишите книги! Привет.

С тем и расстались.

Целую. *В. И.*

(Моя приписка: «Этого Королькова папа раньше никогда не встречал».)

«10 декабря 1942 г.

Дорогой Кома!

Получили твое письмо. Очень признательны.

Был сегодня И. Минц. Он рассказывал разные вещи, которые я не имею времени описать, но достаточно сказать, что вещи все хорошие и благоприятные. [...]

Приехала О. Д. Форш. Она была у нас сегодня утром, веселая и бодрая. Она живет на квартире у ак<адемика> Комарова, куда завтра мы пойдем. О. Д. будет нам читать свою пьесу о «Крещении Руси» — о том, как Вл<адимир> и Ольга выслали варягов и крестили Русь. Чтение пьесы опишу в особом письме.

Миша!

Открытки твои, несмотря на их неясность выражения, — имеют большой успех в той среде, где мы возвращаемся. Минц сегодня даже сказал, что тебя не надо очень расхваливать, а то можно испортить. Но я думаю, что кашу, политую хлопковым маслом, уже ничем не испортишь. Для тебя, неизвестно откуда, обнаружились в моем кабинете листов 10—20 ватмановской бумаги. Думаю, остатки тетки. То-то порадуемся. Есть еще там же обрезки холста, уже загрунтованного, — при усилении, — если картины будут размером в ладонь, — можно нарисовать картин 15! Тоже хлеб! Целую.

В. И.

Кома!

Пришли мне номера томов энциклопедии «Гранат», имеющиеся у тебя. Здесь есть возможность докупить остальные. Цифры пиши словами, а не цифрами.

Папа».

Моя приписка:

«10/XII. Мишук, когда проходит день без твоих открыток, скучаем не только мы, но и дежурные по нашему этажу: «Что это, говорят, от вашего сына открыточки нет — почитать нечего!»

Почту получает сперва дежурная по этажу, а уж от нее — мы.

Целую всех по очереди и всех вместе.

Т. И.».

СЫНОВЬЯ ЗАБОЛЕЛИ ТИФОМ

В гостинице «Москва» от жившей там же Нины Петровны Степановой¹ (в Ташкенте мы тоже жили вместе в помещении бывшего Сельхозбанка, куда-то переведенного для освобождения жилплощади эвакуированным) я узнала, что

¹ Жена поэта Виктора Гусева.

она говорила по телефону со своей матерью (у Нины Петровны, как и у меня, в Ташкенте оставались дети), которая сообщила, что наш Миша заболел брюшным тифом.

ОТСТУПЛЕНИЕ О ДОБРОТЕ

Тут опять не могу не сделать отступления. Идя по коридору гостиницы, я ничего перед собой не видела — слезы застили мне глаза. Вдруг кто-то взял меня за руку, и я услышала очень ласковый, тихий голос: «Что с вами? Может быть, я смогу вам помочь?» Передо мной стоял Аркадий Райкин, я не была с ним знакома, но присутствовала не раз на его выступлениях.

Он взял меня под руку и очень мягко, но настойчиво добивался рассказа о постигшем меня горе.

Тут же он организовал для меня телефонный разговор с Ташкентом¹. Дочь Таня, которая первоначально хотела скрыть от меня Мишину болезнь, не могла не признаться, что — да, заболел.

Я тут же начала собираться в отъезд. Пошла к другу моему профессору Миرونу Семеновичу Вовси, попросила выписать все лекарства, какие, по его мнению, могут понадобиться больному мальчику.

А Всеволод тем временем хлопотал о билете до Ташкента для меня. Погода была нелетная, и вообще Аэрофлот временно отменил рейсовые полеты.

Те несколько дней, что ушли у меня на сборы, Аркадий Исаакович Райкин все время справлялся, не нужна ли в чем его помощь, и именно он организовал для меня машину (тогда все было недоступно) на вокзал.

Когда я потом, при встрече после войны, рассказывала Аркадию Исааковичу, как он помог мне, совсем тогда незнакомой ему женщине, он ласково улыбался и на мою восторженную благодарность отвечал: «Не помню, право же, ничего не помню».

Я приписываю это отрицание не только его скромности, но и тому бесспорному для меня факту, что он стольким людям помогал, что уже никак не мог припомнить когда, как и чем именно.

¹ Во время войны добиться такого разговора было очень сложно.

Всеволод в Москве остался один. Настроение у него было очень тяжелое.

Привожу ниже два письма мальчикам, которые Всеволод отправил со мной.

«Дорогой Миша!

Шлю тебе привет и пожелания возможно скорее и лучше выздороветь. Мы были огорчены очень твоей болезнью.

Политические и прочие новости Вам сообщит мама.

Я же высказываю желание видеть Вас поскорее. [...]

Жена Эренбурга обещала сегодня принести для тебя марки — современные, немецкие. Если принесет, я их тебе pošлю в этом же письме, а если не принесет, то я все равно у нее выцарапаю. В филателии марок не продают, мне сказали: «Уже год нет поступлений». В. Гусев где-то купил по знакомству, но на то он и В. Гусев!

Я посылаю бечевки и бумагу. Ты закупаешь книги, завяжешь, Комка надпишет адреса, и кто-нибудь отнесет их на почту.

[...]

Целую. В. И.

Кома!

Прилагаемое при этом письмо Пиксанову опустишь тогда, когда получишь, — на адрес тетки, — том «Литературного наследства», — по почте.

Книги мне по почте надо послать: философию, беллетристику. Словарь «Граната». Если представится возможность, хорошо бы послать и словарь «Просвещение», но его можно оставить, выдрав карты, на худой конец. Мне, например, нужна карта Греции и походов А. Македонского. Несколько книг по технике, океанографию тоже можно оставить. С собой, в поезд, прошу взять (или в багаж) — Стивенсона, Честертона, «Тысячу одну ночь», О'Генри — то, что я боюсь потерять. Обязательно захватите рукописи мои, Хлебникова и чистую бумагу — особенно эстонскую в синих обложках, которой мне не хватает. Здесь бумага есть, но дрянная.

Таковы мои бытовые распоряжения.

О политике мамка передаст. В общем, англичане трубят, — по радио, — о нашем наступлении в районе Ср(еднего) Дона. Ты, наверное, уже слышал, что в районе Сталинграда мы отрезали 21 дивизию немцев, что-то около 200 тыс. войск. Немцы окружены, но сдаваться не желают. Говорят,

нем (ецкое) командование издало приказ, что будут расстреляны родные сдавшегося до десятого колена. Удар в районе Ср (еднего) Дона грозит немцам вторым, более серьезным окружением, — как ты, наверное, заметил по карте. К тому моменту, когда ты будешь читать это письмо, — ты уже, вероятно, будешь знать результаты боев в районе Ср (еднего) Дона.

Мицц думает, что союзники высадятся на Балканах или в Италии.

Эренбург — думает, что американцы, по примеру Дарлана, хотят купить круги и лиц, оппозиционных Гитлеру, и, так сказать, взорвать немцев изнутри.

Но все это догадки, а толком ничего неизвестно. А. Н. Толстой говорит, что все наступления наши пока еще куски какого-то большого плана, который скоро разовьется.

Из отрядных сведений — американцы доканчивают «ледяную трассу» ж. д. по Аляске до Берингова пролива. Мы, со своей стороны, ведем дорогу тоже к Берингову проливу. Через пролив грузы будут перевозиться или на судах, или по льду. Кроме того, ж. д. ведется по берегу Каспийского моря — на Гурьев, через Красноводск, — для соединения с Транс-Сибирской. Таким образом, нам удастся сделать два хороших потока грузов. Дай-то бог!

Вот и все наиболее интересное. Конечно, я кое-что пропустил, но мама, понемногу, вспомнит. Надеюсь, к вашему приезду кое-что еще поднакоплю. [...]».

Дата на этих письмах стоит 21/XII — 42 г.

В Ташкент же я приехала 31/XII, — значит, Всеволод писал за несколько дней до моего отъезда; ехала я, правда, бесконечно долго: целую мучительную неделю. К моменту моего прибытия заболел и Кома: у обоих мальчиков была температура 40 градусов: Таня не отдала братьев в больницу, буквально угрожая оружием, что ей сошло с рук только потому, что, уезжая, я поручила шефство над своими детьми женам ответственных работников Ташкента, которые работали со мной в общественной республиканской комиссии помощи эвакуированным детям. Надо сказать, что круговая порука добра была тогда на необыкновенно высоком уровне.

Больных мальчиков, в мое отсутствие, посещали ежедневно два врача: профессор М. С. Беленький, эвакуированный из Одессы, и ташкентский профессор-инфекционист, фамилию которого я, неблагодарная, чего стыжусь, — забыла.

...Оставшись в одиночестве, Всеволод почти каждый день писал нам. Я привожу так много писем, потому что они носят дневниковый характер. По ним отчетливо можно проследить всю жизнь Всеволода в тот период.

«27/XII—42 г.

Дорогая Тамара и дети!

Сегодня с помощью Николая Владимировича и Д(уни), покинул, наконец, гостиницу «Москва», в которой прожил ровно два месяца. Меня попросили уехать. Я не особенно сопротивлялся.

Вас интересует, наверное, самое главное, холодно ли у нас в квартире. У меня в кабинете, где заклеены окна и навешены шторы,— почти совсем тепло. То есть, я сижу приблизительно так же, как и сидел бы прежде. Правда, на мне валенки (Бобкины), которые мне одолжил дядя Коля, но, в крайнем случае, я мог бы обойтись и без валенок. Отопительных приборов я не употребляю, а на дворе мороз градусов 10. В общем, полагаю, что жить можно.

В. Гусевы переехали в «Метрополь». Так как мне лень звонить и лень выходить, то я о них не знаю ничего. Я поступил в «Гудок», сегодня подписал соответствующее соглашение. По приходу корреспондента «Гудка», который сможет мне сообщить о вашем быте, вы, наверное, уже вывели то же заключение, которое приведено в предыдущей фразе.

Сейчас пишу статью для новогоднего номера «Известий», затем буду писать о Сгибневе¹, и так далее.

По сравнению с гостиницей у нас удивительно тихо. Так что даже странно. Там непременно орало радио, ходили какие-то люди по коридору и тоже орало, а здесь совершенно неправдоподобная тишина, как в горах.

11 часов ночи. Дуня сварила картошку, я поел и ложусь спать. Завтра воскресенье, но я буду работать.

Целую крепко. Буду теперь писать ежедневно.

Письма будем нумеровать,— это первое.

Всеволод».

«30/XIII—42 г.

Дорогая Тамара и дети!

В последние дни года происшествий со мной не случилось. Я переехал на Лаврушинский. Пишу об этом в четвертый

¹ Очерки о партизане Сгибневе.

раз. Надо думать, что из четырех писем (две открытки, и два закрытых, из них настоящее одно) дойдет какое-нибудь. У нас, сравнительно с улицей, — тепло. В общем, на новой квартире я уже написал статью для «Гудка». [...] Заканчиваю статью для «Учительской газеты», и много думаю о (романе) «Сокр(овища) Ал(ександра) Македонского», который все-таки думаю начать в январе. Мой прежний роман читают все еще, боюсь, как бы не зачитали до дыр, так что от него ничего и не останется. В общем, как выясняется, литература — занятие довольно нудное.

Новый год хочу встретить дома. Как вижу, — я очень устал и мне просто доставляет удовольствие сидеть дома и читать книжки, тем более что я их привел в порядок. Кроме того, у нас в доме такая тишина, которую я ощущал только разве на вершине Чимгана. Но там хоть стрекотали горные кузнечики, а здесь — ничего. Выйдешь в коридор, обдаст тебя запахом белья, которое стирает Дуня (у нас есть газ), — и ничего больше.

Для развлечения хожу обедать в Клуб писателей, — и все.

Войтинская мне не надоедает, ибо телефон мой не работает, — и я ей тоже.

А роман «Сокровища А. М.» придумал очень здорово! Напишу в стиле Диккенса, действие все будет происходить в Москве, — словом, хочется начать работу. [...]

«31/XII—42 г.

Дорогая Тамара и дети!

Вечер. Канун Нового года. В обширной и прохладной квартире сижу один. Однако не подумайте, что так уж холодно. Я сижу в халате и туфлях войлочных, и этого вполне достаточно. Один потому, что и Югов¹, и Дуня ушли в кино. Часов в 8 или 9 уйду, наверное, и я: звали к себе Корнейчук и В. Василевская, которые недавно приехали. Вообще-то я собирался провести вечер один и с этой целью даже купил сегодня на базаре редьку. Хотел выпить в одиночестве рюмку водки, закусить редькой и лечь спать. Чего лучше. Может быть, так и получится еще.

Сегодня написал и сдал уже статью для «Учительской газеты» об учителе Балабае. Если статья не запоздает к номеру, возможно, она будет напечатана завтра. Вообще, про-

¹ Поселившаяся в нашей квартире семья писателя А. К. Югова.

дуктивность моя растет, за восемь дней я написал три статьи — одну для «Известий», другую для «Гудка» и третью для «Учительской». [...]

Так как я наслаждаюсь тишиной и возможностью думать и читать хорошие книжки, то я мало кого вижу. Впрочем, не будем о сем обстоятельстве горевать — еще нагляжусь на людей. Грустно только, что нет радио и я лишен возможности слушать сводки, но так как с завтрашнего дня будут приходиться газеты, то все будет нормально.

Между делом привел в полный порядок свою библиотеку. Все влезло, — лишними книгами загородил окно, чтобы не дуло, — осталось только три пачки поэзии, которые, пользуясь тем, что мне делать нечего, и буду вмещать на одну из полок.

[...]

Дуня выстирала чехлы, вымыла полы, в переулке по-прежнему удивительнейшая тишина, и мир мне кажется совершенно нереальным. Я перебираю десять костяшек, оставшихся от моих длинных четок, и едва ли мне не кажется, что это все и прошлое, и будущее.

[...]

Ухожу к Корнейчуку. Сейчас около девяти вечера, — значит, в Ташкенте уже полночь. Надеюсь, вы за мое здоровье выпили?»

«2/1—43 г.

Дорогая Тамара и дорогие дети!

Сегодня 2-е января, второй день многообещающего года. Сведения с фронтов самые отрадные — радуюсь сему обстоятельству жизни, понимая это как хорошее предзнаменование.

Вчера у меня был «почин» — мою первую статью на железнодорожную тему напечатали в «Гудке». Теперь, с легкой руки младенца — Нового года, буду продолжать «гудеть». К сожалению, вы не видите «Гудка», — если конечно захотите, то можете поглядеть в Публичной или попросите ташкентского корреспондента Кольцова, он вам достанет и будет доставать газету с моими статьями. [...]

Сегодня пойду с Новогодним визитом к Пешковым. С твоего отъезда я у них так еще и не был. Не думаю, чтобы там что-либо изменилось. [...]

Читаю Квинта Курция об Ал. Македонском, — и все тверже созревает мысль, что роман напишу».

«3.1.1943 г.

Дорогой Кома! Как твои дела? Что читаешь? Я много пишу, много читаю: сейчас все об Ал. Македонском. Мужчина был серьезный, и агитация у него была так поставлена, что люди спустя 2275 лет с лишним все еще думают, что его ни разу не побеждали. Но роман будет написан вовсе не об этом. А о чем — прочтем. Думаю, к твоему приезду уже будет начало романа.

Целую. Папа».

Приписка на обороте: «С Новым годом! 1943-м!..»

«3.1.43 г.

Дорогая Тамара и дети! Приветствую Вас. Известия, Тамара, о твоём приезде в Ташкент еще не имею. Но сегодня пойду в гост(иницу) «Москва» и, надо думать, что-нибудь да получу.

Вчера был у Надежды Алексеевны. У них — тихо-мирно. Наверху у детей гости, внизу, у стола, сидели мы — рассказывали друг другу разные поучительные истории. Между прочим, неутомимая Ек(атерина) Павловна рвется в Ташкент, и, конечно, поедет.

Мой большой очерк «Учитель из отряда ген(ерала) Орленко» напечатан в «Учит. газете». Если напишу еще один очерк — а материал есть, то можно выпустить о ген(ерале) Орленко небольшую брошюру листа на полтора.

Сегодня получил письмо от худ(ожника) Уфимцева. Оказывается, он был болен. Была ли ты на выставке ташкентских художников?

В. И.
[...]

«4/1—43 г.

Дорогая Тамара и дети! Давно не получал от вас писем. Беспокоимся о вашем здоровье. Как дела?

Мы здесь живем по-прежнему. Идет непрерывно снег, в доме светло и тепло, — пишем. [...]

Пишу утром. Только что был представитель Детгиза, который рассказывал, что в газетах напечатано о взятии Моздока. Событие, конечно, чрезвычайнейшее, и я крайне рад этому.

Я по-прежнему читаю о Греции Ал. Македонского и делаю наброски. Если б были какие вести от вас, было б совсем хорошо. [...]»

«6/I—43 г.

Дорогая Тамара и дети! Приветствую Вас из своего строгого уединения.

Правда, я прервал его. Вчера вечером был у Ольги Дмитриевны¹ (она все еще возится с пьесой, которая, как ты и предчувствовала, находится в неопределенном положении). Она ждет комнату — в нашем доме. [...] Видно, ей не сладко у Комаровых! Вот и все о ее жите-бытье.

Затем побывал у Бажанов. Там появился Чагин — с черным котенком, на которого я смотрел с ужасом. Так оно и случилось.

Котенок вдруг влез ко мне на колени и начал мурлыкать. Я увидел в этом нечто гофмановское. Некоторое время спустя появился Каверин, многозначительный, как герой Лермонтова. Разговор сразу принял литературный характер. Вспомнили «Серрапионов», Чагин стал рассказывать об Есенине и Маяковском. Затем появился Петро Панч, — и стал жаловаться на то, как он был перегружен работой во Львове и какой я — молодец, что я не «барахолил», как прочие, а собирал марки. Вскоре я ушел спать. [...]

«10/I—43 г.

Дорогая Тамара и дети!

Вчера, наконец, через Нину Петровну, узнал о Вашем жите-бытье. Привыкнув несколько к мысли, что Мишка болен, я, естественно, был очень огорчен, что заболел Комуся, который и без того достаточно принял болезней. Но, бог даст, все кончится благополучно и, надеюсь, вы скоро поправитесь и приедете.

Гусевы, а вчера и позавчера и я, звонили к Романченко². Попасть к нему невозможно. Я попробую завтра пойти к Войтинской и позвонить по ее аппарату. Может быть, что и выйдет. [...] В «Новом мире» роман отказались печатать, мотивируя тем, что роман «надуманный». Спрашивается, зачем я его переделывал? Что же они думали, когда три месяца назад писали мне, что роман хороший? [...]

¹ Форш.

² Работник Моссовета.

Отдельное издание? Не знаю, редактора Военмориздата прочли роман и высказались за печатание. Решение, однако же, выносит главный редактор, которому мнение редакторов будет доложено,— значит, все дело в том, найдет ли этот редактор возможным печатать у себя роман с тематикой не совсем морской. Дело вкуса и, наконец, дело его смелости. [...]

Ну, извини, что посетовал,— что поделаешь — есть склонность!..

Сетовать — сетую, но писать я пишу. Написал еще статью в «Гудок». [...]

Не огорчайся и не огорчай других. Я говорю о романе. Я бы не стал писать тебе, если б у тебя в связи с печатанием романа (как и у меня) не возникли иллюзии. М. б. его в Ташкенте все-таки напечатают?

Все остальное,— кроме судьбы романа, вполне благополучно. [...]

Всеволод.

«13/1—1943 г.

Дорогая Тамара и дети!

Начал чернилами, но вижу, что плывут,— перешел на мой лихой карандаш. [...]

Вчера написал статью об Игнаткине¹, помнишь, я тебе рассказывал о старике? Отдал ее в «Известия».

Ну, на дворе холодно. Начались январские морозы. Каждый год повторяются, и каждый год удивительно. Вспоминаю роскошную нашу жизнь в Переделкине, лыжи, Ульяну и прочее и придаюсь легкой грусти. Но так как мне все некогда, то и грусть быстро исчезает.

Как пишет Кома — «никаких изменений в нашей жизни не произошло и писать не о чем».

Впрочем, есть кое-что. Приехал К. Федин. Худой, с провалившимися щеками, задыхаясь, пришел ко мне на минутку,— торопился карточки хлебные получить,— повздохал и ушел. С ним приехала дочь. Хочет выписывать жену. Понемногу чистопольский период писательского быта кончается.

У Юговых призвали в армию сына Володю. Но та как у него большое сердце, то его определили не в строевую. 15-го он уходит в часть.

Интересно, вышла моя книжка «Матвей Ковалев» в

¹ Старый кинематографист, друг В. Б. Шкловского.

² Глава из романа «Проспект Ильича».

«Сов. писателе»? Возьми авторские. Там же возьми авторские «Рассказы бойцов» и тот юбилейный Альманах, который редактировал И. Лежнев.

Вот, кажется, и все мои пожелания.

Чаша весов искусства заколебалась!!!! Меня опять потянуло к писанию романа «Кремль». (Как я писала выше, роман «Кремль» имеет множество незаконченных вариантов, совсем не похожих один на другой. Доведя до какого-то предела, Всеволод оставлял работу. А после перерыва принимался за новый вариант, представлявший собой совсем новое произведение, в котором неизменным оставался лишь основной замысел и имена героев. Так, в самом последнем варианте (62 года), насчитывающем всего около 10 страниц машинописи, епископ Гурий, в раннем варианте человек примитивный, уже интеллеktуал, закончивший не только духовную академию, но имеющий и университетское образование.— Т. И.) А может быть, писать сразу два романа? «Кремль», скажем, четыре страницы, а «Сокровищ» — сорок в день? Ведь так возможно?

В общем, видно будет. Пока же не пишу ни того, ни другого, а статьи. [...]

В. И.

«14/1—1943 г.

Дорогой Миша!

Позавчера видел сон. Мы где-то в горах отдыхаем. Вдруг вылетает красивый фазан. Я стреляю,— и вдруг вспоминаю, что фазанов запрещено стрелять,— и от ужаса просыпаюсь. Что сей сон значит? Ты как мистик и скептик должен растолковать.

Я по-прежнему здоров и весел,— особенно повеселел, когда сегодня увидел в Союзе Б. Лавренева. Скажу прямо — пока существуют такие светлые личности, прогрессу за свою судьбу нечего беспокоиться.

Ну, Москва в инее, даже галки и те... впрочем, кажется, галки на зиму улетают? Словом, это были воробьи. Они катаются на салазках, и лапки у них — от мороза чтоб сберець,— завязаны трияпками. Из форточек, от времянок идет дым, похожий на туман, т. к. дрова в большинстве сырые. Я шел по улице Горького к Красной площади, от инея музей, Кремлевские башни (чуть было не написал куранты) и стены были словно в пуховой рамке. Бабы в стеганых штанах, куртках и солдатских шапках чистили пло-

щадь, шли троллейбусы и, словом, была Москва, как Москва.

А я шел и думал — к чему бы это мне фазан приснился? Наверное, к счастью, потому что неприятностей у меня и без того много.

Целую. Твой отец — *Эклектик*».

«14/I—1943 г.

Дорогой Кома!

Сегодня приобрел пять томов «Граната», все в хорошем состоянии. Так что твоя библиотека пополняется значительно. [...]

Чувствую себя хорошо — физически. Окреп. Поздоровел. Помолодел. Ежедневно принимаю горячие ванны с мылом (мыло кусок — двести рублей уже), ем на завтрак бифштекс, пью какао и, взяв свою собаку, иду гулять. Но иногда выезжаю, для разнообразия, на лихаче... Впрочем, иногда для разнообразия обедаю и завтракаю в ресторане. Так что моя материальная жизнь бьет ключом. Ну, и духовная, конечно. Роман мой печатается сразу в семнадцати журналах и ста семидесяти газетах — не считая иностранных, конечно. Он выходит в сорока двух изданиях, одно из них на веленовой бумаге с рисунками Густава Доре, отредактировано Оноре де Бальзаком и Г. Флобером. Консультировал Лев Толстой и Ал. С. Пушкин!

Чего и тебе желаю!

Целую — твой классик-отец».

«17/I—43 г.

Дорогая Тамара!

У нас все идет заведенным мною порядком. Телефон звонит по-прежнему только от меня. Я сижу дома, всунув ноги в мешок из волчьего меха, — подобно герою Джека Лондона, — и пишу статьи, поругивая редакторов журналов и издательств. Дуня ходит за жалкими обедами в Союз, по воскресеньям бывает роскошная еда с базара, а равно и выданная по карточкам. Вечером я читаю книги об Ал. Македонском и «Оправдание добра» Вл. Соловьева, которое, как выясняется, не есть оправдание добра вообще, а оправдание христианского добра, причем он вычеркнул даже буддизм и Платона, с чем я не согласен, и что, наверное, ужасно важно сейчас. Ко мне не ходит никто, как ни странно, но тому причиной отсутствие телефона. Раза два забегала Н. П. Гусе-

ва, встревоженная тем, что я не иду к Романченко за пропусками. Но я не иду и потому, что больна Войтинская (она появится в редакции 18 и я тогда пойду туда со статьей), и потому, что ребятам, конечно, надо поправляться не меньше месяца, да к тому же в течение этого месяца мне надо достать деньги на переезд. Откуда? Если роман не принят? Мне думается, что недели через две у меня наберется книжка статей «О Героях» — листов 5 — 6. Это кое-что даст, да и сами статьи тоже.

Но,— так как сегодня я получил телеграмму, что едет Тая, то, надо думать, что дети действительно поправляются. Это меня успокаивает лучше всего. А что касается «Прспекта Ильича», то разве мало у меня ненапечатанного? Подумаешь! Ничего не стоит. [...]

«21/1—1943 г.

Дорогая Тамара и дети!

Извините, что не писал вам эти дни. Я все время был занят писанием статей и за три дня написал их четыре штуки. Устал, сидел дома, всунув ноги в меховой мешок. Вчера, закончив четвертую статью, я почувствовал себя слегка обалделым и пошел проветриться к К. Федину. Сидел у него два часа, беседовал, обсуждал события, — в общем, отвел душу. Дела у него устраиваются, пьеса печатается, он пободрил. Видел его дочку. Она стала тоненькая, — вроде Мишки и похожа на Дору Сергеевну и одновременно на Федина — в 1920 году. [...]

«23 января 1943 г.

Дорогая Тамара и дети! А жизнь идет. Вчера зашла позвонить по телефону толстая тетя Лёля (жена писателя Гофеншефера. Их квартира была на 6-м этаже в одном подъезде с нами.— *Т. И.*): она потеряла 2¹/₂ пуда! «Мне,— говорит,— нужен знакомый монтер: что-то телефон испортился». Безнадежно не верящий в технику (не помогли ни редакция, ни звонки Николая Владимировича), я сказал: «А не может ли он ко мне зайти?» Она отвечает: «Почему же нет? Он зайдет». И — монтер, действительно, зашел. Он провозился ровно три минуты, был очень доволен, что получил за это тридцать рублей,— и телефон ко мне действует! Что ни говори, а надо признаться, что техника — чудодейственная вещь! Равно, как и общение с ближними.

А с ближними я общаюсь мало. Написал три статьи (одна, в ленинский номер «Известий» не пошла). [...] Подобно капитану Скотту, я веду дневник. Но, если оный капитан что-то открыл, то я... Нет, пожалуй, я тоже что-нибудь открою, дай время! [...]».

«26 января 1943 г.

Завтра, сказали, поедет Гусева, которая и вручит Вам это мое послание.

[...]

Собирался поехать на фронт. План был такой. Сесть в гор. Горьком в эшелон с танками и сопровождать его до фронта. Пробыть там дня три-четыре и вернуться поездом с ранеными.

Таков был план мой, предложенный «Гудку» и им вполне одобренный.

Но прошло уже недели две как я предложил план и как его одобрили, хлопчут о пропусках, а дело все ни с места.

Даже, возможно, что меня вообще не пустят.

Не потому, что я «шпиён», а потому что опасаются (так надо полагать), что какая-нибудь шальная бомба убьет вашего отца и благодетеля.

Так, по крайней мере, сказала мне сегодня Войтинская, которая предложила мне поехать в Курск и которой я сказал в ответ на ее предложение:

— Очень хорошо. Давайте, послезавтра я поеду.

— Нет, В. В., послезавтра вас никто не пустит. Мы за вашу жизнь отвечаем. Сейчас это еще фронтовой город, но вот недельки через две...

А через две недельки, надо полагать (если дело пойдет такими темпами), возьмут Днепропетровск и тогда она скажет:

— Не хотите ли вы поехать в Днепропетровск?

Я скажу:

— Да, послезавтра.

Она скажет:

— Нет, В. В., послезавтра вас никто не пустит. Мы за вашу жизнь отвечаем. Сейчас это фронтовой город, а вот недельки через две...

А через две недельки...

Но так как в нашей стране все удивительно, то не удивляйтесь, если получите сообщение, что я уехал.

Я таки могу уехать! Если не в Горький и если не на фронт, то в Переделкино.

Где, как сообщили, наш Рыжик живет у Афиногеновых и бегаёт лаять на пепелище нашей дачи.

А Чарли не убит, а увезен с красноармейской частью.

Так что в мирное время мы его можем встретить еще где-нибудь на маневрах.

В общем, собачья жизнь не так плоха. Нужно только обладать оптимизмом.

Чего и вам желаю.

Сегодня мне из «Комсомольской правды» принесли обратно роман.

В сопроводительном письме сообщают, что роман, хотя и значителен, но для газеты не подходит. [...]

Относительно моего состояния.

Писать пишу только статьи.

Для романа «А. Македонский» придумал много. Но написал кое-что. Не нашел еще стиля как писать.

И не нашел особого желания.

К тому же устаю.

Даже настолько, что вот писать короткими строчками, как Влас Дорошевич или Виктор Шкловский, мне доставляет удовольствие.

[...]

Надеюсь, вы выедете благополучно.

Тому порукой твоя энергия и мое счастье, которое несомненно действует издали.

И, преимущественно, издали.

И, главным образом. [...]

Я придумал три очень забавных рассказа. То есть не то, чтоб уж очень забавных, и вряд ли кто рассмеется, но все же...

На днях я напишу. Пешковых не видал недели две. Они скучные.

И вообще все скучные.

В том числе и я сам, — потому что ко мне никто не заходит, кроме разве Шкловского, который прибежал позавчера ко мне в десять утра и спросил тревожно:

— Что будет дальше? Ты умный.

Увы, я хотя и умный, но не знаю, что будет дальше.

Поэтому и вам не пишу никаких прогнозов.

Да их и нет. Ибо вся Москва рассуждает — возьмем мы в этом году Берлин или нет.

А. Н. Толстой уже дал чистить фрак, чтобы выступать перед берлинцами во фраке и показать, что мы тоже не соплей умываемся. [...]

«26/II—1943 г.

Дорогая Тамара и драгоценные дети!

[...]

Погода у нас теплая, уже целый месяц то оттепели, то валит снег. В квартире тепло. Изредка гаснет электричество, так как Татьяна включает печку и сеть не выдерживает мощности нашей печи. [...]

Вчера был на заводе, где вырабатывают «Катюши». Впрочем, самих «катюш» мне не показали, а видел только снаряды к ним. Снаряд как снаряд. В общем, буду писать статью, из чего все и узнаете.

Был на выставке XXV лет Кр. Армии. Скучно. Много полотен и есть недурные, но множество серости убивает все. Видел выставленную картину моего друга В. Уфимцева. Стоит на хорошем месте, много солнца. [...]

Всеволод».

В марте 1943 года Всеволод заболел, но как его жившая с ним в этот период дочь Таня ни уговаривала пойти в больницу, он отказывался, а мне писал: «...как говорил Бен-Акиба, пройдет и это».

Но сколько бы он ни шутил в письмах, я понимала, что ему плохо, и старалась изо всех сил форсировать наш отъезд в Москву.

Привожу выдержку из мартовского дневника Всеволода.

«Солнце. Лужицы. С крыш капает. Лед на реке уже совсем пропитался водой и стал бутылочного цвета — именно тех бутылок, которые выпускают сейчас. На сердце такая тоска, как будто жердью по ребрам ударили, да кувырком перекувырдышка!..

Работал над пьесой. [...]

Смотрел документальный фильм «Сталинград». В кино — дети, командиры и юноши с выпущенными чубами, хулиганского вида. Стариков нет. Татьяна заметила, что я один во всем кино в шляпе.

Фильм — страшен. Такой фильм может появиться только в военное время и смотреть его можно только в военное время, так как основное в фильме — человеческий разум и победа его — показано лишь словами, а фото сняло пальбу и [...]

И после всего этого жизнь твоя кажется чудом. Но каждое чудо, как известно, непродолжительно. [...]

Еще о фильме. Мне подумалось, что сегодня мы видели фон нашей жизни, на котором ее увидят потомки. Все будет казаться поразительным на этом фоне — то, что я вел этот, наверное-таки довольно глупый дневник; то, что у меня был иногда сахар к чаю; то, что я мог даже читать Спенсера, а того удивительнее — Шахматова «Синтаксис русского языка»; то, что люди говорили о любви и писали лирические стихи. Ибо фон этот будет ужасен. Стоны людские оглушительны. Страдания безмерны. Да так оно и было на самом деле».

*ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВСЕЙ СЕМЬИ В МОСКВУ*

В апреле 1943 года я с сыновьями и Марией Егоровной приехала в Москву. Встречали нас Таня и ее друзья. Всеволод был на фронте под Вязьмой.

Он оставил такое письмо:

«1/IV—1943 г.

Дорогая Тамара и дорогие дети, увy.

В последние минуты перед вашим приездом меня охватило раскаяние, и я бежал на фронт.

Пусть пуля варвара смоег с меня все грехи!

Мне иначе жить невозможно.

Я растратил все наши сбережения...

Пропил бриллианты и продал всех лошадей. Кроме того, — сознаюсь, — я проиграл Л. Никулину в банк 800.000 рублей и все твои соболюи палантины, несчастная Тамара. И ваши фамильные бриллианты, мои драгоценные дети, тоже проиграны Никулину, и только отчасти пропиты.

Ну, как мне не бежать? Как не стремиться к Днепру и прочим берегам нашей отчизны?

Эта причина, — позорнейшая страница моей жизни, — и увела меня от вас накануне вашего приезда.

Мишка! Марки на твоём столе.

Комка! Смотри словари, восхищайся и читай газеты. Но, и помимо газет, Таня может тебе объяснить кое-что на словах о том, что происходит в Германии. Дальнейшую информацию получите, когда приеду и сообща вызовем Никулина!

Старушка Пешкова ждет с нетерпением мамку, чтобы совместно воспитывать деточек, которые без старушек склонны курить и выражаться словами, редко употребляемыми Совин-

формбюро. (В Ташкенте, как писала выше, я была поглощена общественной работой. Организовывала питательные пункты для эвакуированных детей, чьи матери находились в бедственном положении. К работе этой привлекла меня Екатерина Павловна Пешкова.— Т. И.)

Больше недели ездить не собираюсь. Конечно, если командование предложит мне пост командира армии, я не откажусь и тогда вернусь не скоро. Но мне кажется, вследствие рутины в наших командных кругах, так блестяще описанной лауреатом Корнейчуком, такого поста мне не предложат. Мне вообще почему-то усиленно предлагается «великий пост», но никогда я не вижу Пасхи. [...]

Меня лечили хвойными ваннами. Было прописано шесть, я принял три, и уехал на Зап. фронт. И это хорошо, потому что, если б я принял все шесть, я бы мог уехать в Тунис.

[...] Надо набираться впечатлений.

Но сколько ни набирайся, на Союз пис(ателей) не угодишь. Мы пережили эвакуацию, отступления, голод, тифы, а в Союзе писателей,— на последнем совещании,— все еще говорят, что писатели мало знают жизнь. [...]

Вернувшись в Москву, Всеволод записал в дневник:

«10/V—1943 г.

Всю поездку на Западный фронт записал. [...] Два дня по приезде оправлялся от кошмара, который я видел, и вот ныне — опять мысли о «Сокровищах Александра Македонского».

Эту же поездку Всеволод вспоминает в дневнике 45 года:

«12/III. Война — не приглашение. Это — страх, голод, чувство одиночества, отчуждения, отрешенности. Спокойствие, да? Кто-то вывозил спокойствием, без этого нельзя; кто-то сплочен, чувство соседа и хорошего оружия. Да и оно наступило, но — в сумерки, под дождем — как это было безотрадно. Вязьма».

Не писать Всеволод не мог. Творчество было для него необходимее воздуха, вернее сказать — оно-то и было тем воздухом, которым он дышал.

Но еще и еще раз положить написанное в стол, не напечатав,— это ли не горько?! Однако Всеволод всегда старался как можно скорее забыть огорчение, идти дальше.

А уж к материальным нехваткам Всеволод относился всегда совершенно беспечно. Он был в этом смысле крайне нетребователен, материальные трудности даже веселили его, обостряли иронию.

Лето 43 года мы провели в Переделкине на даче у Сейфуллиной.

Семья Сейфуллиной была еще в эвакуации, поэтому Лидия Николаевна и предложила нам занять временно ее дачу.

Когда я из-за различных дел оставалась в Москве, Всеволод писал мне:

«1943 год.

Из Переделкина в Москву.

Е. В. П-ву¹ Т. В. Ивановой.

От пребендаря Всеволода.

Дорогая Тамара.

Здесь произошла крупная неприятность. Не знаю, как про нее и написать.

Дело в том, что грачи не дают мне покою. Они сожрали весь горох, выплывший на поверхность, и теперь требуют еще добавки. Я — человек вежливый, понимаю, что такое голод, но гороха у меня нет, а грачи невероятно ругаются, обзывают меня всевозможными именами и вообще происходит черт знает что.

Помидоры принялись и уже выше человеческого роста. Горох на грядке, посаженный Николаем Владимировичем, догнал их и требует хозяина. Я боюсь, что это не горох, а хмель. Надо бы выяснить и пригласить ботаника. Пусть Кома там прочтет соответствующую литературу, пока у него есть время.

Остальные посадки в земле. Думаю, что к осени выяснится, что это за происшествие.

Спасибо за газеты. Я всецело согласен с рецензиями относительно «Нашествия», потому что нашествие Леонова на театр, слава богу, не немецкое нашествие и ничем нам не грозит, oprичь плохих рецензий, которые завтра забудутся всеми, кроме благодарного автора, — я знаю по собственному опыту, ибо до сих пор помню Авербаза, что в единственной рецензии по поводу моей пьесы «Компромисс Наиб-хана» написал — «такие компромиссы нам не нужны».

¹ Ее Высокопревосходительству.

Работа моя над повестью идет очень успешно. Я уже написал четыре строчки в начале и две в конце. Осталась середина — дело пустяковое.

Курица уже варится. Мишка внес ценное предложение — откопать спаржу и вкатить в суп. Я сказал, что если мы туда добавим дубовых листьев, — они, наверное, по вкусу похожи на лавровые, так как те и другие идут на венки победителей, — то будет совсем хорошо. Если в результате этого супа ты, подходя к дверям нашей комнаты, услышишь вонь, то знай, что не от наших протухших трупов, а от курицы, до которой мы не осмелились дотронуться.

Полы не мыты и мыть их не будем! Хватит и того, что мы умываем лицо по утрам. Пол не лицо, подождет.

Мне очень понравилась речь Уоллеса. Там обо мне сказано, — насчет меньшинства, поскольку я меньшинство в нашем доме. Раз меня не защищает Союз писателей, я жду помощи от Уоллеса, или как там его правильно зовут, не знаю.

Кроме грачей, меня никто не посещает. Тетка перерыла весь участок, насадила картофеля и уехала.

Я вас всех приветствую и остаюсь ваш покорнейший слуга

Всеволод

2/VI—43 г.

Стан в Переделкино у Сейфуллихи».

Летом сорок третьего года Всеволод поехал на Орловско-Курскую дугу.

Уезжали большой группой — Серафимович, Федин, Пастернак, Симонов, его жена, артистка Серова, Р. Азарх, Березовский. Набились в «додж» до отказа. Серафимовича посадили рядом с шофером, а Всеволод пристроился около него — на крыле.

Письмо с фронта.

«31/VII—1943 г.

[...]

Пишу перед деревенской избой, вокруг неубранные поля (не хватает рабочих рук), сижу на пружинной кровати — мы только что вместе со штабом переехали на новое место, и кровать не успели внести в избу.

Серафимович оказался чудным старикашкой, очень бодрым, веселым и товарищеским.

Когда мы подсчитали года ехавших, оказалось, что-то около семисот!

Серафимович, как самый старший, ехал впереди. Я, как ты видела, сидел рядом с ним на крыле, чувствуя себя молодым, и, держась за какое-то кольцо, спрашивал время от времени:

— Как себя чувствуете, Александр Серафимович?

Хриповатым старческим баском он отвечал:

— Великолепно!

С каждым часом дорога делалась все ухабистее и пыльной. За Калугой начались пройденные войсками поля сражений. За Мценском ехали среди окопов. В поле маячили танки. Машину подбрасывало. Я спрашивал:

— Как себя чувствуете, Александр Серафимович?

— Великолепно!

Мценск чрезвычайно взволновал. Вспомнились Тургенев и Лесков. Город был разрушен, расстрелянные города похожи на решета.

Время от времени останавливались, и проводники осторожно вели нас осматривать немецкие позиции. Можно было поднять немецкие газеты и точно установить, когда окопы оставлены. Дня три назад, не больше.

Я опять заботливо спрашивал:

— Как себя чувствуете, Александр Серафимович?

— Великолепно! — отвечал он.

Такова моя жизнь. Думаю, что числа 1-го сентября приеду в Москву, если не задержат события, которые мне хочется посмотреть — какой-нибудь хороший населенный пункт, только что освобожденный от немцев.

Привет всем! Поцелуй.

Всеволод».

В 1944 году кроме газетных статей Всеволод начал писать и частично закончил целый цикл фантастических рассказов и повестей, которые были опубликованы уже после его смерти. После «опороченного» критикой сборника Всеволода «Тайное тайных» издательская настороженность к его новым произведениям все возрастала.

Всеволод постоянно искал новые пути самовыражения, но издатели цеплялись упорно за апробированный цикл «Партизанских повестей». Хотя и его укоротили, опуская «Цветные ветра» и оставив лишь «Партизан» и «Бронепоезд».

В этом году Всеволод сделал много записей в дневнике. Раздумывая над ними, приходишь к выводу, как ему было нелегко, когда он, например, писал:

«Без даты (1944 г.).

Не нужно считать себя великим. Если считаешь великим, меньше работаешь (он работал по восемь — десять часов в сутки, иногда над несколькими произведениями сразу.— Т. И.). Лучше чувствовать себя воробьем, но зато подняться вверх, воспарить и запеть жаворонком, — какое наслаждение. Скромность не только поза, это — необходимость для каждого творческого работника. Ее трудно воспитать, так как, в силу (работы одиночки), надо себя подогреть, чтобы не чувствовать одиночества»¹.

50-летие Всеволода официально (24 февраля 1946 года) не отмечалось. Дома мы его справляли со всей возможной пышностью, стремясь горячим выражением любви семейных и друзей загладить боль, причиняемую издательским и редакторским непониманием.

Чем труднее становилась творческая жизнь Всеволода, тем большие усилия я прилагала к тому, чтобы дом был всегда «полной чашей» и чтобы дети и близкие друзья окружали Всеволода тесным кольцом, чтили и лелеяли его.

Дни рождения Всеволода, 24 февраля, были «национальным» ивановским праздником. Домашними и друзьями задолго обдумывались подарки, издавалась семейная стенгазета, рисовались плакаты, изготовлялись в несметном количестве сибирские пельмени, любимое Всеволодово блюдо; пельмени начинали лепить задолго до праздника, ведь они заранее должны быть замороженными (иначе какие же они тогда сибирские?).

Вся большая семья несколько дней сидела по многу часов за столом и лепила эти пельмени, чтобы на каждого гостя пришлось по несколько десятков.

ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ ВОЙНЫ

В марте 1945 года Всеволод уехал на Западный фронт. Привожу его письма, полагая, что они лучше моего переказа обрисуют его пребывание там:

¹ «Переписка с Горьким», с. 291.

«25/III—1945 г.

Дорогая Тамара!

Лев Исаевич Славин расскажет тебе подробно о моем житье-бытье. От себя скажу, что я только что освоился с обстановкой и начал глядеть на все удивительное, окружающее меня, не столь широко раскрытыми глазами. Это обстоятельство мешало и писать. Сейчас ум мой отрезвел, и я надеюсь, что больше увидишь в печати моих наблюдений и выводов. Кстати, попрошу позвонить в «Гудок» и сказать, что я удален от железной дороги и на нее попаду недели через две и тогда только смогу написать им.

Товарищи по работе, среди которых я живу, относятся ко мне хорошо, и я вполне всем доволен. [...] Обмундирование я получил, а машина моя не хуже Погодинской. Что еще желать смертному?

Славин скажет тебе номер нашей полевой почты, и ты сможешь написать письмо. Я пробуду здесь еще никак не меньше месяца, так как дело, которое я хочу описать, еще и не начиналось. Письма же сюда идут семь-восемь дней.

В Москву, если разрешат обстоятельства, думаю приехать машиной, заехав, кстати, в Минск и Оршу с тем, чтобы написать о Заслонове.

Вот и все, что могу сказать. Остальное надо описывать при встрече.

Вчера был на приеме у маршала¹. Беседа продолжалась 1¹/₂ часа. [...]».

«3/IV—45.

Польша.

Дорогая Тамара и дети!

Хотя я видел многое, но это многое никак не уложить в письмо. Придется перенести это к устному рассказу. Надо дать и пейзаж, и характеры, и общее настроение. Одно только скажу — все это необыкновенно, прекрасно и потрясающе! Не знаю, как удастся описать это, но видеть чрезвычайно любопытно и интересно.

Живу я по-прежнему в том же городе, кое-куда выезжаю. Может быть, Л. Славин сказал тебе, что накануне его отъезда я поехал к генералу Крюкову. Я провел у него неделю. [...]

¹ Г. К. Жуков.

Я посетил части, — встречался с любопытнейшими людьми и записал много. Сейчас думаю сделать очерк о кавалерии. [...]

В. И.».

«13/IV—45 г.

Дорогая Тамара и дети!

Я по-прежнему нахожусь в полном здравии и благополучии.

Езжу и вижу много.

Видел много любопытных и замечательных людей. Равно как и замечательные места. Скоро увижу еще больше. [...]

Очень меня огорчила и прямо ошеломила смерть Кити Шкловского¹. Такой милый, чудесный парень! И бедный Виктор! Передай ему, пожалуйста, мой привет и соболезнования. Мне очень жаль его.

У нас здесь народу много. Журналистов собралось 33 человека, от разных газет, а кинематографистов, собирающихся снимать взятие Берлина, — свыше сотни. Настроение бодрое, приподнятое.

Весна. На каштанах уже листья, — хотя и небольшие, — и свечи. Много солнца. В доме — электричество, а в городе абсолютное спокойствие. Я по-прежнему живу в одной комнате с Кудреватых. [...]

С командармом мы справляли пасху: сделали куличи, сырны пасхи, поросенка, покрасили яиц, — но оказалось, что пасха была католическая! Вот тебе и на!.. Ошиблись. [...]

Ну вот краткий, праздничный очерк моей жизни.

Что же касается будней, то их в письме не опишешь. Сейчас, например, прослушал лекцию, на два часа, для корреспондентов: «Берлин — в промышленном и военном значении». Очень любопытно. Лектор — толковый, хотя и суховат несколько.

Написал вторую статью, пошлю ее завтра-послезавтра. Попытался суммировать хоть частицу того, что вижу. Если события, развертывающиеся, кстати сказать, с чудовищной быстротой, не помешают, статья будет напечатана. О той статье получил благодарность от Ильичева², но жаль, дьяво-

¹ Сын Виктора Шкловского Никита Викторович Шкловский. Погиб на фронте.

² Редактор «Известий».

лы, они ее сильно сократили, выбросив все украшения, в частности.

Крепко целую. Не беспокойтесь обо мне. Целую. [...]

Для Комы: английский язык учить полезно. Учи. Недавно в расположении наших частей упал «Либерейтор», подбитый немцами. Летчики сбросились на парашютах. Наши солдаты в течение 40 минут изловили их всех, и так как приняли за немцев, то, кстати, набили им морды. Но эти летчики все равно были очень довольны и отозвались о солдатах восторженно: «Теперь мы понимаем, какие у нас бдительные союзники!» А будь бы ты среди солдат, ты бы не набил, наверное, морды нашим союзникам.

Для Миши. Рад, что ты видел Третьяковку. Я побывал во многих брошенных немецких учреждениях, домах, и был даже в замке какого-то фон Каммера, а также в охотн. доме фельдм. Макензена. Картины у них — дрянь. Но марки — не деньги, а почтовые, старинные, кажется, есть хорошие. Привезу тебе ружье и кинжал. А для Татьяны — радиоприемник.

Целую всех. Желаю здоровья и спокойствия. *В. И.*».

«18/IV—45.

Дорогая Тамара и дети!

Дела идут хорошо.

Я живу на берегу Одера, в квартире одного командарма, чудеснейшего человека, из тех людей, мягкость которых мог описать только Чехов. Извиняюсь за литературное сравнение, другого, за недостатком времени, подобрать не могу, так как встретил Трегуба, приехал к нему в г. Пилепциг, чтоб повидаться и через него отправить это письмо, а затем вернуться на Одер.

Если я предполагал вернуться домой после взятия Берлина, то можно считать — до возвращения остались считанные дни: повторяю, дела идут хорошо. Но, конечно, я еще тут поживу, так как мой кошель наблюдений еще не полон.

Сегодня встретил друга детства — наборщика, с которым когда-то работал в Кургане в 1916 году. Вошел седой, морщинистый старик — на два года старше меня. Я посмотрел в лицо времени. И, трогательно, — он принес мне в подарок пачку карандашей. [...]

Добавлю еще, что здесь весна — цветут вишни, много тюльпанов и прочего. Одер шириной с Москва-реку возле Крымского моста; я катался по нему на лодке, а сейчас часто

сизу на берегу и слушаю, как глухо, вдалеке, говорит тяжелая артиллерия.

Все остальное — в сводках и салютах.

Баканов — полковник из «Известий» прислал телеграмму с просьбой — написать статью для Первомайского номера. Наверное, напишу, если не оторвут от работы события, как говорится, мирового масштаба.

Пожалуйста, не беспокойся обо мне — все в порядке. Целую тебя и детей».

«24/IV—45.

Дорогая Тамара и дети!

Сегодня написал статью для «Известий», ее везет летчик, в числе прочего материала, и я пользуюсь случаем написать несколько слов.

Как видите, дело приближается к счастливому для нас концу. Надеюсь, скоро увидимся.

В Берлине я еще не был. Поеду завтра. Все время я находился в армии, которая брала Франкфурт. Ну, видал я, конечно, много, и вот только что написал статью в 14 страниц, а изложил может быть сотую часть того, что видел, да и то едва ли. Все это материал для книги, романа. пьесы и я не знаю для чего еще.

Я аккуратно получаю от вас письма: и через товарищей, и по почте. Сам я по почте вам не писал, все пользуюсь оказией, да я и не знаю, как это писать по почте.

Поблагодари детей за письма. Белил для Миши я постараюсь достать, и вообще, если поеду на машине, подарками вы будете обеспечены. [...] Впрочем, транспорт меня всегда подводил. [...]

Из Берлина я вернусь завтра — надо писать статью. Напечатание статьи примите как мой поклон из этого города, который, говорят, сильно изменился с того времени, когда мы с тобой в нем были. Вряд ли я найду гостиницу, где мы жили.

Привет знакомым. Хотел послать Кончаловскому коробку сигар, но нет okazji: офицера, который везет это письмо и статью, я не увижу. [...]».

«5/V—45.

Дорогая Тамара и дети!

Пишу возле здания рейхстага. Холодно, дождь. Мы при-

ехали на киносъёмку: хотели снимать журналистов у рейхстага, но так как дождь, то мы сидим со Славиным в машине и пишем письма, которые отвезет полковник Баканов сегодня, через 1-й Украинский фронт направляющийся в Москву. Думаю, что скоро за Бакановым и я поеду в Москву. Завтра буду добывать пропуск на машину, продукты и прочее. Мы поедem, если удастся, вместе со Славиным, на двух машинах — так веселее. Если же почему-либо не удастся поехать на машине — всякое бывает, — и народ здесь, распоряжающийся машинами, капризный, то я полечу на самолете. В том и другом случае о дне приезда извещу телеграммой.

Живу я хорошо. Видел достаточно много и, как сказал перед отъездом, взял камень от рейхстага и имперской канцелярии. Чувствую себя превосходно, и очень доволен, что поехал. И не менее буду доволен, когда уеду, потому, что все-таки дома лучше, да и писать хочется. [...]».

«9/V—45.

Берлин.

Дорогая Тамара и дети!

Итак, война окончилась. В Берлине — только салюты да экскурсии: машины едут к рейхстагу и по другим достопримечательностям.

Я просил режиссера Райзмана, с которым мы вместе были на подписании фельдмаршалом Кейтелем акта о капитуляции, позвонить тебе. Не знаю, исполнил ли он мою просьбу. Я по-прежнему чувствую себя хорошо и думаю скоро выехать. [...]

Дня через два я поеду погостить к своему другу — командарму Цветаеву, о котором шла речь в понравившейся вам статье «Великая битва». Затем опять вернусь в Берлин и оттуда — в Москву. Поеду вместе со Славиным. К сожалению, не на той машине, о которой я вам писал. Ту машину, во время боев, 1 мая раздавил танк. Раньше я не писал вам об этом, чтоб не волновать вас, а теперь это прошлое. Теперь, вместо «Ханемака» я получил «Опель» — машина исправная, мотор новый, но кузов имеет следы пуль, и прострелены стекла, которые, конечно, заменим.

Очень жалею, что не смог написать в газету описание акта подписания немцами капитуляции. До этого я не спал ночь: мы ездили в американскую армию, за Эльбу, к Гамбургу и сделали 600 километров. Ночь капитуляции я тоже не спал — поэтому не было сил на другой день. Написали

Л. Кудреватых и Л. Славин, — впрочем, Славин описал только приезд союзных делегатов на аэродром — этого я не видел, так как приехал позже в здание, где происходило подписание акта. Зрелище было удивительное и, вот уж верно, незабываемое. После акта был банкет, но я так устал, что не остался и уехал домой спать.

Я здоров и бодр по-прежнему.

Это письмо передаст или перешлет по почте кор. «Кр. Звезды» Трояновский.

Целую крепко, поздравляю с победой и началом мирного строительства. Передай мой привет друзьям и знакомым.

Берлин разрушен и узнать ничего нельзя. Но Зоологический сад цел и целы обезьяны, среди которых, как шутят здесь, и спрятался Геббельс.

Всеволод».

ВОЙНА ОКОНЧИЛАСЬ

Война окончилась. Всеволод приехал домой обновленным, полным радужных творческих планов.

Тут же начал работать над романом «При взятии Берлина».

Работа была прервана командировкой на Нюрнбергский процесс.

*«Ночь на 24/X—45.
Нюрнберг.*

Дорогая Тамара и дети!

Во-первых, извините, что посылаю письмо без конверта: Германия такая страна, что конвертов в ней не обнаружено, а из дома взять конверт я не догадался. [...]

Что же касается впечатлений, то нет слов — насколько это интересно. Места у нас прекрасные, и вообще достаточно сказать, что в десяти шагах от вашего почтенного мужа и отца сидят — Геринг, Гесс, Кейтель и вся прочая шатия, а в комнату подсудимых их ведут — можно рукой дотронуться. И вообще, обстановка необыкновенно любопытная.

Что же касается бытовых условий, то все хорошо. Живем мы в доме, рядом с замком карандашного фабриканта Фабера, и в этом замке находится клуб прессы — столовая, бар, читальня и все такое. Нюрнберг — разбит, поэтому мы живем в 5—6 км от города и ездим в город на автобусах. Пища отличная. В общем, жаловаться ни на что не могу. Но немцы

живут здесь погано и, судя по их газетам, у них туго: в немецких газетах напечатано воззвание к нем(ецкому) населению от их властей, что Нюрнберг еще никогда не переживал такой суровой зимы, которую ему предстоит пережить.

Письма все же, видимо, буду пересылать с оказией: никаких признаков почты не найдено: наши юристы жаловались, что живут уже здесь месяц и советских газет в глаза не видали.

Не знаю, слышали ли вы о том, что К. Федина помяла в Берлине машина? Мы вышли из столовой, он хотел сесть в автомобиль, а из-за угла выскочил грузовик и прижал его к легковой. Но перелома нет, и в общем он приедет дня через три-четыре в Нюрнберг. Однако родным об этой контузии он просил не говорить, так что ты, пожалуйста, умолчи. [...]

Живем трое в одной комнате, — без собаки: Кирсанов, Вишневский и я. В комнате — печка-временка, кровати и белье, но к утру очень холодно. Впрочем, зимы здесь нет, а так — нечто вроде глубокой осени.

Обед стоит 3 марки, и в общем: в день можно израсходовать 20 марок, т. к. купить ничего нельзя или, как сказал один французский корреспондент: «Здесь все дешево, но ничего нет, а в Париже все есть, но ничего купить нельзя, так дорого». Впрочем, все это пустяки, и я пишу об этом только потому, чтоб описать быт.

Суд — наряден и очень своеобразен. Но это уже постараюсь описать в корреспонденции, а не в письме.

Долго ли это продлится?

Говорят — два месяца.

И так как мне уезжать всегда трудно, то я, наверное, и буду торчать эти два месяца здесь.

Возможно, что летчик подполковник Денисов, который привезет это письмо, полетит обратно. Тогда прошу послать с ним весточку или с кем-нибудь другим, — мне думается, жена Вишневского будет знать, — он дотошный и укажет ей пути узнавания. Целую вас крепко!

Все-таки жалко, что Татьяна¹ не поехала сюда: это любопытно.

Всеволод.

Немедленно по возвращении из Нюрнберга Всеволод засел за роман «При взятии Берлина».

¹ Ей предлагали работу переводчика, но предложение это, не по ее вине, не было осуществлено.

С моей точки зрения, роман испортило стремление Всеволода вставить во что бы то ни стало в роман образ легендарной личности. Гармоничного целого не получилось и не могло получиться.

Но для благоприятной литературной оценки эти усилия Всеволода оказались все же недостаточными, и роман, хоть и напечатан был в «Новом мире», тут же подвергся подробному, но, увы, предвзятому разбору в критических статьях.

ПОЕЗДКИ ВСЕВОЛОДА В МЕСТА НЕХОЖЕННЫЕ

«Гаванью отдохновения» стали для Всеволода поездки в самые дикие нехоженые места, предпочтительно в горы, где он «долбил», т. е. долотом и зубилом добывал понравившуюся ему породу. У Всеволода была страсть к камням, возрастающая с каждым годом.

Он — прирожденный путешественник.

Особенно понял он и оценил всю «умиротворяющую» силу природы во время ташкентской эвакуации и своих скитаний по тамошним горам (которые, кстати сказать, начинаются за 20 с лишним километров от Ташкента, но он с сыном Мишей проделывал этот путь чаще всего пешком).

Послевоенная поездка в любимый Казахстан (до нее, зимой, мы ездили в Кисловодск, но такие поездки, курортные, для Всеволода в счет не шли, настоящими были только поездки в области нехоженые) была уже без меня.

За войну Всеволод привык ездить один. Поэтому с этих пор вместе мы ездили только в «цивилизованные» места, а в «дикие» Всеволод предпочитал ездить без меня, подбирая в компаньоны таких же, как он, любителей нехоженых мест, чаще всего более молодых и выносливых¹, чем даже он сам, способных, если надо, плыть на плоту и пробираться по тайге верхом, на что я была совершенно не способна. И в такой поездке была бы лишь помехой.

«13/5—46 г.

Алма-Ата.

Дорогая Тамара и дети!

Я хотел сообщить свои обстоятельства жизни вчера по

¹ См. книгу его спутника В. Г. Никонова «В горах мое сердце».

телефону, но слышимость была такая, что почти ничего понять невозможно. Я, например, не разобрал *против каких рассказов возражает редактор* (подчеркнуто Всеволодом. — Т. И.). Кажется, четыре? Хорошо, хоть не четырнадцать.

Живу в «Доме делегатов» — гостинице с тремя или пятью отдельными номерами: остальные — общежитие. Питаюсь в диетической столовой. [...] Комната чистая, пища тоже.

Маршрут моей поездки тот же, что я и разработал в Москве: сначала в Джунгарский Алатау, затем — обратно в Алма-Ату, а затем — самолетом в Караганду, оттуда в Дзезказган, и уже из Дзезказгана, через Караганду, в Челябинск.

Теория теорией, а практика — суть практика.

Во-первых, сейчас немедленной поездке в Джунгарский Алатау препятствуют дожди, которые идут здесь уже целую неделю — утром и вечером, так что я жалею, что не взял непромокаемые резиновые сапоги, а плащ оказался самым подходящим. Вот сейчас светит солнце, но на горизонте уже тучи.

Во-вторых, препятствуют местная медлительность и множество обещаний, из которых, обычно, ничего не получается. Машину добыть быстро не так легко. Но, к счастью, здесь в Алма-Ате есть очень энергичный корреспондент «Известий», полная противоположность ташкентскому Крайнову. У этого корреспондента, — он же и фотограф, — есть даже своя машина «Опель», но она находится в таком состоянии, что способна передвигаться только по городу. Вот с помощью этого корреспондента, который на своей сломанной машине все-таки ухитрился встретить меня на вокзале, я думаю, мы и сможем уехать из Алма-Аты в Джунгарский Алатау в пятницу или четверг. Так что, если бог даст, когда вы получите это письмо, я буду торчать возле застрявшей где-нибудь в потоке машины перед грозными пиками Джунг. Алатау. Сопровождать меня будет опять-таки этот Махонин и еще один казахский писатель.

Вернусь я в Алма-Ату к 1 июня, так как в эти дни здесь предполагаются торжества — открытие Казах(ской) Академии наук. Меня пригласили на эти торжества, которые продлятся дней пять.

После этих торжеств, предположено, что я поеду в Караганду.

Затем, приглашают вернуться в Алма-Ату к 1 июля, чтобы присутствовать на торжествах в честь столетия со дня рождения Джамбула. Торжества обещают быть пышные — пригла-

шается 10 тысяч гостей, зарежут 500 баранов, будут скачки, всевозможные нац(иональные) игры; наверное, будет нечто эпическое. Но эпос — хорошая вещь, однако — в Челябинск я не попаду, что ли? А попасть мне хочется.

Поэтому, возможно, что на торжества Джамбула я не поеду, а отправлюсь напрямик из Караганды в Челябинск. Впрочем, — времени впереди еще много, и дела покажут, как поступить.

Вчера в «Казахст. правде» напечатано интервью со мной. Завтра-послезавтра будет напечатан отрывок из «Взятия Берлина», все тот же штурм рейхстага. Завтра я пойду к секретарю Каз. ЦК по пропаганде, чтоб обговорить все условия поездки (т. е. главным образом, — хорошая машина и хороший шофер, а все остальное — пустяки). В четверг — мой творческий вечер для казахских писателей.

[...] Вчера было воскресенье, и я с С. Муқановым поехал в Дом отдыха Совнаркома, за город. Это новый дом, расположенный неподалеку от того дома, где мы с тобой когда-то жили. Дом светлый, кормят очень хорошо. Мне предлагают там поселиться, но на несколько дней не стоит, и я отказался. Так как идут обильные дожди, то растительность — невероятно пышная: я сам из-за сырости в горы не пошел, но видел, как ребяташки, с головы до ног мокрые, принесли с гор огромные букеты лилий, красных тюльпанов и еще каких-то громадных желтых цветов. [...]

Как дела у ребят с учеьем?

И что с дачей?

Сейчас прервал писание: приходили мои спутники, и мы составили список на продовольствие. Список такой, словно я, действительно, еду в поиски «Сокр. А. Македонского». Между прочим, любопытно, что Джунгарские ворота, куда я еду, были древнейшим путем, по которому китайцы сообщались с Европой и во времена А. Македонского везли в «греки» — шелк. Путь так и назывался «шелковый путь». А на озере Ала-куль, куда я попаду, говорят, есть фламинго! То-то будет смеху, если я подстрелю. Охоты там, сказывают, прекрасные.

[...]».

«12/VI—46.

Дорогая Тамара и дети!

Я проехал вдоль и внутри Джунгарского Алатау — 2.000 километров; 1800 — на машине — 200 — верхом, по го-

рам. Странствовал я 19 дней, и когда вернулся в Алма-Ату, то от усталости лежал недвижно три дня. Сейчас чувствую себя нормально и уже написал очерк для «Известий», который и направляю с этим письмом одновременно. Завтра буду писать очерк для «Огонька» — потому, что Махонин, кор. «Известий», — хороший фотограф и сделал превосходные снимки, которые и хочется напечатать. Очерк этот я пошлю на твой адрес, а ты его передашь (очерк, а не адрес!) в «Огонек».

Впечатления — замечательные! Я недаром стремился в Джунгарский Алатау. Мы были в таких девственных местах, куда газеты приходят на 20-й день, а чаще всего и совсем не приходят! Что же касается моих охотничьих трофеев, то я убил трех сайгаков — это антилопы, и притом настолько редкие, что рога такого сайгака ценятся в Китае — 300 баранов пара! Я везу с собой пару таких рогов, только не знаю — удастся ли их выменять в Москве.

К сожалению, обо всем этом мне не удалось поговорить по телефону. [...]».

Всеволод пишет «неподалеку от того дома, где мы когда-то жили»: в 1935 году, когда он писал совместно с казахскими писателями Майлиным и Мусреповым сценарий «Аман-Гельды»¹, мы ездили в Казахстан, прихватив дочь Таню.

Нас очень радушно принимали. Угощали в семьях соавторов бешбармаком.

Устраивали специально для нас охоту.

Ездили по Казахстану (самым живописным его местам) на двух машинах.

На охоте нам был придан специальный егерь. На свою беду, он попал не в ту машину, где находился завзятый охотник Всеволод, а в женскую, где была я с дочерью. Егерь чрезвычайно огорчился, когда я просила его не стрелять. Он сочинял, на полном серьезе, стихи, из которых мне запомнилось: «По Сюготам носились мы птицею, что невозможно даже за границую».

«16/V—46.

Алма-Ата.

Дорогая Тамара! Дети! Друзья!

С поездками по Казахстану все устроилось хорошо.

¹ Фильм был поставлен.

Вчера я был у секретарей ЦК Казахстана. Приняли меня превосходно. Я получил машину-вездеход, 300 кг бензина, продовольствие, — и даже ящик яблок, который, быть может, удастся переправить к вам, — еще не знаю, каким способом. [...]

В поездке по Дж (унгарскому) Алатау меня будет сопровождать казахский писатель и, кроме того, кор. «Известий» Махонин. Поездка будет, по-видимому, очень интересная.

Для поездки на Балхаш будет предоставлен самолет.

Как видите, — против всех твоих ожиданий, — я еду со всеми удобствами.

Мало того. Один из секретарей предложил мне найти дом в Алма-Ате, где я жил 35 лет назад, когда шел пешком из Семипалатинска¹, отремонтировать его — и передать в мое распоряжение. Если же дом снесен, то на этом месте будет построен новый. Из этого можете заключить, что мои мечты о возможности жизни в Дж. Алатау вполне осуществимы. Я еще не дал согласия на этот дом. Но почему бы мне не приезжать в Алма-Ату почаще?

Получил вашу телеграмму о рассказах. Надеюсь, ты заменила их другими, а если и не заменила, — не беда, книга и без этих рассказов имеет 50 печ. листов².

[...] Я убивал дроф. Одна убитая дрофа весила столько, что ее кушало 12 человек, — и не могли съесть, а аппетит у казахов, ты знаешь, хороший. И, честное слово, это не охотничьи рассказы! Все будет подтверждено свидетелями и фотографиями!.. Мало того, я даже охотился на медведей. Но медведь, б. м. раненый (не мной), ушел, — к счастью, так как оказывается медведи в Джунг. горах весьма злые.

Был я и в глубине гор. Мы перевалили верхом горы и спустились в долину реки Кора — куда нет не только автомобильных дорог, но и колесных. Красоты необычайные!..

Материалу, мною записанного, хватит на три романа.

[...]

Отношение ко мне здесь по-прежнему хорошее. В г. Талды-Кургане, где я читал лекцию о Нюрнбергском процессе, — мне поднесли целый сноп роз! А когда я въезжал в какой-нибудь аул или городок — немедленно резали барана, так что весь мой 2.000-километровый путь усеян трупами несчастных

¹ Всеволод Иванов пытался в юности дойти пешком из Семипалатинска в Индию.

² Речь идет об очередном переиздании «Партизанских повестей» и некоторых рассказов.

баранов, которых, в конце концов, я не могу уже есть, подчас чувствуя себя чуть ли не Хлестаковым!

Отчего зачах журнал, — не расцветши, — «Молодая гвардия», — и в каком номере «Новый мир» и в каком виде печатает мои воспоминания о Горьком?

(Уезжая, Всеволод отдал законченные перед отъездом «Воспоминания» во вновь тогда организовывавшийся журнал «Молодая гвардия». Журнал «не состоялся», и я передала рукопись в журнал «Новый мир», о чем и известила Всеволода. Но в «Новом мире» потребовали таких сокращений, что до возвращения Всеволода я (имевшая генеральную доверенность — в том числе и на заключение договоров) отказалась. Воспоминания эти впервые опубликованы в «Сибирских огнях» 1946 г., № 3. Первое отдельное издание — «Молодая гвардия», 1947 год. — Т. II.)

[...]

Боже мой, что я видел! Я даже искал в горах древние наскальные рисунки. Заскал черт знает куда, — и, вдруг, обнаружилось, что скала, на которой были эти никому не известные рисунки и надписи, — рухнула совсем недавно. Я выкурил большую трубку, сел на коня, и весь мой караван тронулся обратно. Целую.

Всеволод».

«ЭДЕССКАЯ СВЯТЫНЯ»

Летом 1946 года, на Рижском взморье, Всеволод закончил роман «Эдесская святыня». Напечатан полностью в 1965 г. в издательстве «Советский писатель». Включен в 5-й том Собрания сочинений.

Кончая «Эдесскую святыню», Всеволод неотступно сидел на балконе второго этажа Дома творчества в Дубултах.

Балкон тесно соприкасался с соседней территорией, где за забором был расположен детский сад.

Многие писатели с удивлением спрашивали Всеволода, как может он писать, когда к нему доносится столько писка и визга, на что Всеволод отвечал, что этот писк для него не помеха, а удовольствие, все равно что пение птиц.

Надо сказать, что это — результат возраста и мудрости. В молодости мне приходилось тщательно оберегать его от любого шума, даже и от детского крика.

Писал он два месяца напряженно, неотрывно.

В романе этом, пусть место действия и Багдад десятого

века, можно усмотреть много психологически-автобиографического. Постановление о Зощенко и Ахматовой застало нас как раз на Рижском взморье.

Всеволод очень болезненно переживал это известие, успокоиться не мог, страдая за Зощенко.

Михаил Михайлович Зощенко был честнейшим, благородным человеком. Попав в тягостное положение, он, приезжая к нам, говорил: «Мне не на кого обижаться. Придется испить свою чашу».

Не каждого писателя, даже из тех, чьи произведения нравятся, хочется перечитывать еще и еще.

Если такой подход правомерен к поэзии: уж коли поэт тебе «пришелся» — не перечитывать и даже не запоминать наизусть — невозможно, постоянно перечитываю Блока, Ахматову, Пастернака. С прозой дело обстоит иначе.

Не мыслю жизни без повторных перечитываний Достоевского, Льва Николаевича Толстого, Пушкина (не только стихов, но и прозы).

Но из современников меня тянет перечитывать Зощенко. И каждый раз многие его рассказы я читаю как бы заново.

В чем тут секрет? Рассказ, написанный Зощенко 40—50 лет тому назад, с точным соблюдением реалий того времени, когда был написан, читается мною так, словно бы — сегодня он писался.

Такое же чувство возникает у меня и при перечитывании рассказов Всеволода Иванова из цикла «Тайное тайных».

Поразмыслив, я пришла к выводу, что и те рассказы Михаила Михайловича, которые я воспринимаю как современные, и рассказы Всеволода роднит два качества.

Во-первых, единство героев. Михаил Михайлович называет их «бедными людьми» (духовно бедными), а Всеволод «маленькими людьми» (в том же смысле).

И этих своих бедных, маленьких героев оба они любят и жалеют их за душевную обездоленность.

И у того и у другого писателя встречаются ненавидимые ими персонажи: оба считают заклятым врагом узколобое мещанство, увенчанное себялюбивым, старающимся подмять под себя — бюрократизмом.

Но и у того и у другого есть герои, описывая убогий внутренний мир которых они преисполнены к ним жалостью.

Оба страдают, но палитра у них разная. Всеволод показывает драму, почти трагедию не осознающего своих чувств и поступков человека, которого эта невозможность познать самого себя приводит в роковой тупик.

У героев Зощенко — тот же душевный тупик, но показывает он его иным приемом — юмористическим. Однако несомненное сочувствие всегда — пусть и подспудно — присутствует.

Если о смехе Гоголя принято говорить, что он смеется сквозь слезы, то о смехе Зощенко я бы сказала, что он смеется сквозь сочувствие — сострадая своим бедным душой и разумом героям.

То же и Всеволод Иванов. Самым показательным, в этом плане, считаю его рассказ «Дитё». Всеволод показывает со всей убедительностью сочувствия, как движимый самым лучшим чувством — любви к ребенку — потенциально хороший, добрый человек, Афанасий Петрович, может в силу своей душевной несознательности совершить явно злодейский поступок.

У обоих писателей — и у Михаила Зощенко и у Всеволода Иванова — общая цель: показать не осознающим себя людям, что именно таится в их душах, в их не познанном ими самими сознании.

Юмор всегда более доходчив, но есть в нем и обратная сторона — не каждый читатель, смеясь, способен дать себе точный ответ: над чем же, собственно, он смеется и не вернее ли было бы тут прослезиться?!

Вероятно, именно поэтому, несмотря на потрясающий, буквально всенародный успех своих рассказов, Зощенко перешел к иной форме повествования, вводя в него иногда прямо морализирующие рассуждения.

А Всеволода Иванова именно за цикл рассказов «Тайное тайных» до сих пор не понимает критика, идя на поводу у вульгарно-социологических толкований напостовцев, склонных отождествлять автора с изображаемыми им персонажами. Как было, скажем, с рассказом Вс. Иванова «Особняк» (о чем я уже писала).

Что может быть печальнее неспособности человека разобраться в себе самом — разве что неспособность критика понять писателя, творчество которого он берется судить.

Заблуждающийся человек тоже вредит не одному себе, но и обществу, в котором протекает его жизнь.

А критик, облыжно трактующий творчество, неправильно перетолковывающий авторский замысел, может быть приравнен к потенциальному злодею, пусть иногда и по неведению — недостатку культуры и чуткости, творящему злое дело. Наша советская культура заслуживает к себе уважения и вдумчивого отношения.

В 47 году Всеволод согласился поехать в командировку от «Литературной газеты» в Свердловск. Собирался писать роман о гранитных заводах.

«23/Х—1947 г.

Свердловск.

Дорогая Тамара! Получил два твоих письма.

Ты упрекаешь меня, что я не пишу.

Но я, с разъездами,— очень уставал. Один раз я ездил за 200 км, другой раз сделал 500 — на машине. Дороги здесь среднего качества, вернее, ниже среднего. Но, к удивлению, стоит великолепная погода, солнце, тепло и в шубе ходить жарко.

[...]

Поездка по колхозам дала богатейший материал для романа. Встретил такого директора колхоза — что глазам, буквально, не верил! Умница, интеллигент в самом высоком значении; просто какой-то Петр Великий колхозного дела. [...]

Одно плохо. С охотой не вышло. Глухарей не встретил, а утки (они, как ни странно, еще не улетали) не подпускают: листья на деревьях облетели и озера гладкие, как ледяные. Природа здесь очень хороша.

Грущу, что плохо с дачей.

Такая уж у нас судьба!

Я думаю приехать 4 или 5-го. Если будет хорошая погода — прилечу, но скорее всего приеду поездом. Два дня проходят совершенно незаметно. За прошлую поездку я прочел 150 стр. «Русского языка» Виноградова, осталось 600, значит, спокойно можно доехать до Алма-Аты, а не то, что до Москвы... Монгол¹ оказался очень симпатичным и так меня уважал, что, как ребенок, делал то же самое, что и я. Даже хотел бросить курить, но не вышло.

Был в здешнем драм. театре. Силы неплохие. Но в голове — роман, а не пьеса. Кроме того, «Главный инженер»² и мука с ним отбили охоту. Приеду, буду писать роман!

Целую. Поклон детям.

Всеволод.

¹ Случайный железнодорожный спутник.

² Пьеса, принятая, но не поставленная Художественным театром. В печати не появлялась.

В тот же день еще одно письмо:

«23/X—47 г.

Из Свердловска.

Дорогая Тамара!

Посылаю, для контроля, экземпляр (не выправленный) статьи для «Литгазеты». Второй (более или менее выправленный) экземпляр послал в адрес «Лит. газеты». Справься, получили ли?

Мне нужно (для романа) съездить на завод и провести одно собрание с рабочими в городе.

В. И.».

*ПОСЛЕДНЕЕ ПРИЖИЗНЕННОЕ
И ПЕРВОЕ ПОСМЕРТНОЕ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ
ВСЕВОЛОДА ИВАНОВА*

Всеволод был очень продуктивным писателем. Широта и размах его таланта недаром изумляли Горького. Последнее прижизненное восьмитомное Собрание сочинений дает неточное представление о Всеволоде Иванове: в него не вошли (не говоря о тех, что прежде не публиковались) и многие ранее изданные его повести и рассказы — там почти целиком отсутствуют некоторые очень существенные циклы, как, например, «Тайное тайных».

Вот как относится к этому своему последнему прижизненному Собранию сочинений сам Всеволод Иванов:

«[...] Извините меня, дорогой читатель! Я написал много рассказов, и не моя вина, если том рассказов времен 1925—33 гг. выйдет тощим. То есть и моя вина есть — можно бы бороться, протестовать, бегать по учреждениям, но я этого не умею и, главное, не желаю делать» (письмо к В. Г. Никонову¹ от 11 сентября 1958 г. Личный архив писателя).

Речь здесь идет о том, что в четвертый том последнего прижизненного Собр. соч. не были включены все рассказы цикла «Тайное тайных» и многие ранние рассказы, например «Дитё».

Всеволод Иванов не сумел тогда отстоять свое любимое детище, но вот что записал он по этому поводу в дневнике². «Тайное тайных». Я считаю эту книгу лучшей. Письмо Горького. Я с ним согласен не потому, что он вооду-

¹ Писатель, живущий в Чите.

² «Переписка с Горьким», с. 314.

шевленно, по своему обыкновению, перемахнул и поставил меня выше И. Бунина, а потому, что я в этой книге хотел и смог описать самых простых людей, всю сложность их мыслей, всю ясность — для них самих неясной трагедии».

Отдавая должное тому Собранию сочинений, в работе над которым принимал участие сам автор, и заимствуя из него все, что имеет бесспорную ценность, нельзя было при новом издании забывать о том, что раньше воля автора не всегда учитывалась издателями.

Как непосредственный участник в работе и над последним прижизненным, и над первым посмертным Собранием сочинений Вс. Иванова, я знаю, что писатель санкционировал, но лично не принимал участия в изменении финала «Плодородия», опубликованного в последнем прижизненном Собрании сочинений.

Можно было бы множить огорчительные записи Вс. Иванова по поводу Собрания сочинений. Приведу еще только одну из письма к В. Г. Никонову¹: «Дописываю «Мы идем в Индию» и порчу, наверно. Всегда, когда хочешь прыгнуть через себя, прыгаешь в лужу».

Всеволод всегда считал первые варианты, не подвергавшиеся редактуре, единственно достойными воспроизведения. Об этом свидетельствуют его утешения В. Г. Никонова в письме от 1963 года², написанном через три года после последнего прижизненного собрания сочинений, не удовлетворявшего Всеволода: «...слава богу — хоть это вышло после всех манипуляций редакторов. Надеюсь, у Вас сохранился первый вариант, который и будет напечатан когда-нибудь, когда будут печатать Ваше собрание сочинений». Совершенно очевидно, что, пиша эти строки, Всеволод думал не столько о Никонове, сколько о будущем своем возвращенном к первым редакциям собрании сочинений.

Нельзя не пожалеть, что Всеволод не проявлял достаточной стойкости в борьбе с иссушающей редактурой, но нельзя и оставить без внимания ставшие известными посмертно его высказывания по этому поводу.

Всесторонний учет мнений самого Всеволода Иванова лежал в основе той очистительной работы, которая проделана коллективом, создавшим первое посмертное Собрание сочинений Всеволода Иванова.

16 августа 1978 г. в «Литературной газете» было поме-

¹ 8-й том посмертного Собрания сочинений, с. 646.

² «Всеволод Иванов — писатель и человек», с. 322.

щено интервью с главным редактором изд-ва «Художественная литература». В нем А. И. Пузиков объяснял, что первое посмертное Собрание сочинений Вс. Иванова отнюдь не является академическим, ни даже полным, а всего лишь избранным в восьми томах, которые включают многие произведения, не печатавшиеся при жизни автора, что обязывало к особо тщательному отбору и текстологической выверенности. О том, что пьесы должны были выйти (и вышли) через год в издательстве «Искусство» под той же обложкой, как бы 9-м томом Собрания сочинений, тоже говорилось в упомянутом интервью.

ПОСЛЕДНИЙ ПЕРЕДЕЛКИНСКИЙ ПЕРИОД

В 48 году наступила новая переделкинская эра. На месте пожарища построена была Литфондом дача. Всеволод трудился неустанно все то время, что не ездил по стране и за рубеж. Писать ему было спокойнее в Переделкине, поэтому с момента постройки дачи мы редко жили в Москве.

Всеволод не жалел своего времени, он прочитывал огромное количество рукописей молодых писателей.

Когда дела меня задерживали в городе, Всеволод жил в Переделкине один. Отсюда записки:

«7/XII—1949 г.

Из Переделкина в Москву.

Дорогая Тамара!

Чехов написал повесть. Послал ее А. Суворину, издателю и редактору газеты «Новое время». Суворин ответил какой-то неопределенной телеграммой, из которой Чехов вывел заключение, что повесть никуда не годится. И он написал Суворину письмо, в котором зверски бранил свою плохую повесть и себя, исписавшегося. Суворин ему пишет, что, наоборот, повесть ему понравилась...

Эта повесть называется — «Дуэль».

Ах, если б такой же случай, как с Чеховым и «Дуэлью», произошел бы и с моим прилагаемым рассказом!.. На всякий случай посылаю его тебе, в трех экз. Если уж повезет, так пусть везет в тройном размере! Один экз. оставил у себя, если в негодованием на мою бездарность редактора съедят все эти три экземпляра.

Здоровье мое улучшается. Сегодня за обедом ел такое

вареное мясо, которое и волк, голодавший три недели, не стал бы есть. Глазные капли, по-видимому, помогают. Но они обладают странным свойством: проливаться. Я совсем легонько уронил бутылку на пол, а они пролились. Хотел их собрать semula обратно в бутылку, но вспомнил, что глаз не рот, и пылинки может ему навредить. Поэтому (хотя капля осталось еще дня на три, кроме тех, которые высохли на полу, исцеляя его от конъюнктивита), прошу повторить рецепт, который и посылаю вам.— Писал сегодня четыре часа, и голова не болит.

Ходил гулять. Всю ночь и день шел снег; температура на нуле. В воздухе — мгла, идешь, словно окруженный невидимым опаловым стеклом. Деревья и кусты в роскошном, как говорит бессмертная Коптяева, убранстве. Но под ногами скользко, гадко, и пока я обошел полянку, вышел к ж. д. линии и спустился к дому по адмиральскому шоссе, я выпустил столько проклятий, что ими вполне можно вымостить аллею классиков¹.

В доме тихо. С одной крыши, как вчера и позавчера, каплет на другую. Каштанка, мокрый от снега, спит у лестницы. Пахнет мокрым бельем. Бабушка скучает, как Чехов (судя по его письмам) у себя на даче, и ждет вас не дождется.

Я не скучаю, так как мечтаю в ближайшие два дня написать *три* статьи. У, какие сладкие мечты!

Между прочим, за одной из этих статей хотели прислать из Совинформбюро, в субботу. М. б. ты приедешь с этим посланным? [...]

Со всем тем пребываю рассказчик и публицист

Par Vsevolod Ivanov

(как напечатано в журнальчике на французском язычишке, привезенном мне сегодня совинф. мальчишками: моя статья о Бальзаке перепечатана. О, слава!).

«49 год.

У Каштанки выявились новые качества: он ловит мышей. Честное слово! Он делает в поле вот так (ставит свое тело вертикально); затем внезапно бросается в снег и вчера, к крайнему моему изумлению, поймал мышью, которая пищала в его зубах дискантом. Но тут в нем исчезли инстинкты лисицы,

¹ Так в шутку называли улицу Серафимовича в городке писателей Перedelкино.

которая таким образом зимой «мышкует», и пробудились инстинкты той собаки, которой наш физиолог И. Павлов [...] поставил памятник: Каштанка схватил мышь и притащил ее домой, с явной целью устыдить ленивого и беззаботного рыжего кота.

Я написал статью для «Патриота Родины». [...] Статью писал с трудом, и оттого получилась длинная и, должно быть, скучная.

А что эти [...] из «Лит. газеты» с моей статьей сделали? Огрызки какие-то.

В Москву ехать, по морозу, не хочется. Буду переписывать пьесу¹. Уже переписал 40 стр. С 50 стр. дело пойдет легче: там исправлять мало. Но вообще-то я исправил только сценку с академиками во 2 акте, сделал кое-что в третьем

[...]

Кома пусть захватит том сочинений Ломоносова, изд. Смирдина с его «Размышл. о божьем величии» и привезет на дачу.

[...]

Как жаль, что Андрониковы уехали! А если не уехали, сообщи им, что я сегодня с завистью видел, что им делают с п л о ш н о й [...] забор. А у меня последнюю, поганую, гнилую муру и ту мальчишки растаскивают! Боже, как гнусно быть не знаменитым!

Посмотри и сверь экз. для Кроля²!

Целую. *Всеволод*.

«16/III—50.

Переделкино.

Тамара! Посылаю сочинение в пяти частях под названием «Ломоносов».

Я устал и поэтому пьесы не просматривал, всецело пожившись на твой дар догадчика того, что (подчеркнуто Вс. Ивановым. — *Т. И.*) я пишу, ибо там, наверное, есть совершенно непонятные слова. В углу каждого экземпляра есть цифра, цветным карандашом, на первом чистом листе (на обложке) — 1-й, 2-й и т. д. — 6-й экземпляр я оставил у себя.

Мне кажется, что первый или второй послать Фадееву, третий — Ливанову, четвертый — Кедрову или Флягину,

¹ Пьеса «Ломоносов» была поставлена в Художественном театре.

² Редакционный работник журнала «Огонек».

дир(ектору) МХАТ, а пятый — к черту на кулички. Привет! Начинаю читать сочинения М. Горького! В. И.».

«1950 г.

Тамара! *Завтра* пришлют корректуру рассказов из «Огонька». Прочти, подпиши Вс. Иванов, а не Т. Иванова, и завтра же вечером верни, т. к. рассказ, по-видимому, будет напечатан в воскресенье.

В. И.».

РАБОТА ВСЕВОЛОДА В ЛИТИНСТИТУТЕ

Последние 9 лет своей жизни Всеволод был председателем приемной комиссии СП СССР и выпускной экзаменационной комиссии Литературного института, где ему было присвоено звание профессора.

Никогда не полагался он на оценки других рецензентов и особенно тщательно знакомился всегда с «забракованными» рукописями, часто добиваясь как приема в СП «забракованных» авторов, так и диплома с отличием для тех студентов, которые получили особо суровую оценку тех рецензентов, что читали рукопись до него.

Белла Ахмадулина не раз выступала в разных аудиториях, рассказывая, как защитил ее (тогда студентку Литинститута) Вс. Иванов от других членов выпускной комиссии.

У нас собралась целая библиотека из книг «молодых», с благодарственными автографами Всеволоду.

Даже больной, даже после операции читал он кипы рукописей и книг молодых авторов.

К общественной работе, занимая пост председателя в двух комиссиях, Всеволод относился необыкновенно серьезно.

Когда он «защищал» других, тут он резко менялся, становясь в полную меру «старшим».

Привожу выдержку из письма Всеволода к К. А. Федину от 11 июня 1959 г.:

«[...]

Я хочу тебе написать несколько слов о студентах Литинститута [...], дело которых разбиралось, как мне передавали, на Секретариате в связи с делами Литинститута вообще. И, кажется, не окончено, и будет рассматриваться еще?

[...]

Они понесли довольно крепкое наказание, и этого достаточно. Горький говорил — «судить судите, но и миловать надо уметь». Надо их помиловать. [...]».

Вообще ведь обстановка в Лит. институте нервная. Если в другом институте студенты знают, что из них выйдут — инженеры, учителя, врачи, то тут — «чи-выдет, чи-нет». Ибо, соревнуясь, подталкивая друг друга, спеша и захлебываясь от поэтического счастья, студенты Института идут вперед, пока они студенты, а когда, окончив, остаются одни, — и нередко в провинции, тут уж наступают дни более серьезные. Обстановка резко меняется. Трудностей — уйма. И даже талант словно скрывается. Вот это ощущение и создает, главным образом, то чувство напряженности, которым славится Институт и от которого хочет, — совершенно справедливо, — избавиться Дирекция. И от которого ей никогда не избавиться, ибо это дыхание Таланта, которое понимает даже человек совсем не талантливый»¹.

В архиве Всеволода много записей, посвященных Лит. институту.

Привожу некоторые из них:

«По-моему, студенту необходимо преподавать знания всех отраслей литературы: от стиха до газетной заметки.

Поэтому нужна перестройка; мало критиков: друг о друге писатели не пишут — это неправильно. М. б., надо приучать к этому студентов?

Важно и знание типографской книжной техники. Писатель может влиять на повышение полиграфического уровня. Задача: качеством книги перегнуть страны Европы. А мы ведь в этой области хуже капиталистических. У нас недостаток внимания к качеству книги.

Литературному институту нужна типография «Бумажная фабрика», чтобы действительно стать первым в этой области.

Не в этом ли недостатке учения в Лит. институте (в прежнем его виде) и лежит предпосылка (ведь многие из секретарей учились в Лит. институте) того, что Союз писателей совершенно не интересуется качеством книги, как в техническом понимании, типографском, так и совершенства литературного мастерства» (подчеркнуто Вс. Ивановым. — *Т. И.*).

¹ На конверте этого письма надпись рукой К. А. Федина: «Снять копию для секретариата СП».

По ходу составляемого мною монтажа писем и воспоминаний я не могу, как того требует прямая связь с описываемым, то менее, то более подробно не касаться и самой себя.

Может показаться излишним введение мною в повествование эпизодов, где присутствую только я — сама по себе — без прямой связи с тем, чей портрет словесно леплю.

В одном из вариантов своей «летописи» я начала ее вообще от начала начал, то есть от своих родителей, детства, юности.

Этот замысел я оставила. Он уводил, а не приближал меня к основной задаче — воссозданию «портретов моих современников».

Но, отказавшись от объемного ознакомления читателя со своей особой, как мне казалось, в качестве летописца, я все же должна быть видна как на ладони для того, чтобы мои свидетельства приобрели весомость. Поэтому я и посчитала, что какое-то знакомство со мной читателя состояться все же должно.

Вот и показываю иногда себя саму в действии.

Предполагала описать свою работу как заместителя Самуила Яковлевича Маршака, который был председателем Всесоюзной комиссии помощи сиротам погибших воинов, организованной в конце войны при Союзе писателей СССР.

Однако поняла, что писать надо о самом Самуиле Яковлевиче (чего сделать еще не успела), а уже о комиссии и моей работе в ней лишь попутно.

РОЖДЕНИЕ ПЕРВОГО ВНУКА

Пятидесятый год стал поворотным в моей жизни во многих отношениях.

Это — год рождения Антона, первого моего внука.

(Его отец, Давид Александрович Дубинский, член-корреспондент Академии художеств, муж дочери Татьяны Всеволодовны, умер от болезни почек 39-ти лет в 1960 г.)

Антон родился недоношенным, и я его выхаживала, забыв обо всем на свете.

Я взяла его из роддома на свою ответственность, выхлопотав через горздрав. Он был, что называется, «не жилец».

Месяц я не отходила от Антона, совершенно не спала, потому что он не спал (вернее, спал короткими промежутками, перемежавшимися его жалобным пискom).

Его надо было обкладывать ватой и грелками, определенной температуры. Капать ему в ротик из пипетки (он не мог сосать) определенное количество грудного молока (взятого из клиники недоношенных детей), тоже определенной температуры и через определенные промежутки времени.

Главный врач клиники недоношенных детей Эмма Мионовна Кравец не переставала «стращать» меня.

То она говорила, что вряд ли ребенок будет сидеть, потом стоять, потом ходить, говорить и т. д.

Страхи не оправдались. Ребенок вырос вполне нормальный, рослый, красивый, разве что несколько нервный.

В то лето на даче в Переделкине образовался подлинный Ноев ковчег.

И вот одна из запомнившихся на всю жизнь сцен.

Мы сидим со Всеволодом на насыпи железной дороги, где-то недалеко от станции, около поворота к городку писателей, между нами стоит огромное решето с черной смородиной.

Почему при населенном доме пошли за смородиной именно мы двое, я не помню.

А вот то, как мы сидели, и весь наш разговор помню так, как если бы он происходил сегодня.

Всеволод мне сказал: «Знаешь, давай-ка сбежим из нашей «Ясной Поляны». У меня назрела явная потребность... только сбежать я хочу вместе с тобой».

Я наотрез отказалась: «Куда я побегу? Как я их всех брошу? Да они без меня попросту пропадут!»

Всеволод смирился. Но он явно затосковал. Поэтому ранней весной 1951 года я отправила его одного (сама я считала, что никак не могу оставить свое семейство: заболела моя мама, прихварывал младенец) в Коктебель.

Мой брат, Николай Владимирович, был в то время директором Дома творчества. Я и отправила Всеволода к нему еще до открытия Дома — до сезона. За 49—51 годы Всеволод невероятно устал, без конца переделывая пьесу свою «Ломоносов».

Исследователям творчества Всеволода Иванова следовало бы обратить особое внимание на различные варианты

этой пьесы, как и на варианты (варианты эти — множество папок — сданы мною в Рукописный отдел Библиотеки имени Ленина) романа «Мы идем в Индию».

Перипетии с «Ломоносовым» страшно утомили Всеволода.

Уехать далеко в таком состоянии, в каком он находился, было рискованно. Поэтому мы и выбрали паллиатив — любимый Всеволодом Коктебель с его Карадагом.

«24/V—51 г.

Коктебель.

Дорогая Тамара!

Полтора суток дождь.

Поэтому имею возможность написать письмо.

А то некогда.

Гуляю по 7 часов в день. 4 часа утром и 3 вечером. Ложусь в 9 часов и не позднее 10 засыпаю. И сплю до 7 утра.

Всю бы жизнь так жить!

Под окнами цветут белые и красные розы. Над окнами — белые акации. За дверями жужжат пчелы: пасека рядом с моей хибаркой.

Сегодня получил от вас письмо, посланное вами 15-го. Выходит, что оно шло 9 д н е й! Ну и почта. Если бы я вздумал писать много, мы бы, по моему приезду, могли получать мои письма в течение 10 дней.

Происшествий здесь, разумеется, никаких.

[...]

Дом творчества больше похож на Детский дом для испорченных детей с чрезвычайно нервными мамашами.

Вчера приехал на отдых знаменитый драматург Исидор Шток, который, говорят, женат на цыганке. Других знаменитостей нет.

Камней я нарубил в горах пуда 3-ри. Целую.

— Отрезали вы Пиквику уши?.. (Пиквик — курцхар. У Всеволода постоянно был какой-нибудь щенок, а иногда и два. Сперва у него было пристрастие к породистым собакам, потом он переключился на дворняжек. Про последнюю дворнягу Кубика Всеволод говорил: «В прошлой жизни Кубик был, наверное, хорошим, умным человеком».)

— Поцелуйте Антошку.

Неужели Вы его испортите так же, как тех детей, которых я здесь вижу?

Всеволод».

В письме говорится о камнях. Я уже писала, что Всеволод был прирожденным коллекционером. Последней его страстью было коллекционирование камней. Он сам находил их, вырубал и составлял коллекцию, которой удивлялись специалисты. Составил самодельный справочник.

Но, как и все прочие свои коллекции, охотно раздавал. Очень гордился, когда японки, неоднократно приезжавшие к нам в СССР, показывали ему ювелирные украшения, которые они у себя на родине заказали из подаренных им Всеволодом камней.

Из Коктебеля в Москву, 1951 г.

Дорогая Тамара!

Большое спасибо за то, что ты оказалась таким хорошим корреспондентом. И конечно, очень плохо, что я пишу мало.

Но погода стоит такая хорошая, и я так устаю от прогулок, что буквально рука не поднимается писать.

Вчера, например, поднялся на Карадаг и опустился на дно его, где и нашел камень такой неопишуемой красоты, что и не мечтал. Однако оказалось, что камень весит много — едва ли не полпуда. А жара среди скал стояла удушающая: достаточно сказать, что в это время *на берегу* моря было 30°! Ну, я все-таки, обливаясь потом, притащил этот камень в рюкзаке. К довершению всего, черный рюкзак вроде увеличительного стекла: сосредоточивает на себе весь жар. [...]

Кроме моих прогулок, никаких происшествий здесь нет, если не считать происшествием неумолкаемый гам на территории сего Д. творчества — от детей.

Судя по Коктебелю, основное творчество писателей заключается в рождении детей. Самих творцов здесь нет. Они отдыхают где-то в других местах. [...]

Камень, найденный мною вчера, лежит передо мной — ах, как красиво! Сердолик, сапфир и еще что-то... дивно!

Интересно, что будет с «Ломоносовым» в Комитете? Неужели угробят? Значит, мои поездки вредны (карандаши ломаются: отсюда перемена цветов в письме): по-

ехал в Казахстан — зарезали «При взятии Берлина», поехал в Коктебель... Ну, что ж, будем писать что-нибудь другое. Силы есть. [...]

Всеволод».

Это был еще счастливый период, когда Всеволод при неприятии издательством, критикой своих произведений хоть и огорчался, но неизменно говорил: «Силы есть» или: «Буду писать дальше».

И действительно, писал и доводил начатое до конца.

Потом дело пошло хуже. Варианты множились, но не заканчивались.

Архив Всеволода переполнен начатыми, но не законченными им рассказами, набросками сюжетов и т. д.

НАШИ ДРУЖБЫ

Грустно, но это так — дружба не всегда длится. Бывают, однако, дружеские связи, и не на заре жизни возникшие, которые переживают все — даже смерть.

Такой стала наша дружба с Ниной Владимировной и Миколой Платоновичем Бажанами, завязавшаяся в Армении — на пленуме в честь Давида Сасунского (1939). Всеволод не дожил одного года до 25-летия этой дружбы, но она сопутствует ему и за гробом, щедро изливаясь и на увековечивание его памяти, и на дружбу со мной, и на заботу обо всех членах нашей семьи.

Нет нужды особо упоминать тех друзей, что сами выступили с воспоминаниями, тем самым отдав должное и Всеволоду, и своим чувствам к нему. Сейчас и Микола Платонович написал прекрасные стихи «Белый цвет шиповника», посвященные его дружбе со Всеволодом. Впервые стихи оглашены 26/II—1980 г. на вечере памяти в московском ЦДЛ.

О тех, кого уже нет, я попыталась написать, набросав их «портреты», но не обо всех сумела и успела.

Поэтому-то и хочется хотя бы помянуть всех тех, кто был особенно близок и верен до конца.

Неоспорима истина, что в молодости дружба возникает мгновенно и множественно, а к старости все реже и реже возгорается ее звезда.

Но бывают и счастливые исключения. Такой поздно возникшей, но крепкой и длящейся до сих пор стала для нас дружба со многими сверстниками наших детей. И сравнительно поздно обретенная — с Софьей Наумовной и Львом

Исаевичем Славиными. Лев Исаевич написал о совместном со Всеволодом пребывании на фронте, высоко оценив его спокойное мужество и доброту, юмор. Дружба эта сохранилась и после смерти Всеволода, перейдя на меня и всю нашу семью.

На смену веселым датам приходят печальные.

При жизни Всеволода мы всегда торжественно отмечали день его рождения (24 февраля).

Теперь, увы, отмечаем мы и дату его смерти, 15 августа.

Друзья приезжают в этот день к нам в Переделкино.

Неизменно приезжают Анна Алексеевна и Петр Леонидович Капицы, крепкая дружба с которыми возникла у нас в начале пятидесятых годов.

Подружившись с Капицами, мы неукоснительно встречали вместе с ними Новый год, чередуя эти встречи — один год у нас, другой — у них. Ездили вместе в автомобильные экскурсии по окрестностям Москвы: Боровск, Истра, Волоколамский монастырь, а также в дальние: Новгород, Таллин, Псков, Пушкинские места. Исколесили вместе Чехословакию (отправившись совместно в Карловы Вары) в 58 году.

Петр Леонидович очень любил чтение Всеволодом какого-либо неизданного его произведения. Постоянно просил: «Почитайте» — и Всеволод охотно соглашался, расцветая от сочувствия и понимания Петра Леонидовича. А Петр Леонидович, сам обладая ярким чувством юмора, особенно ценил юмор и иронию в произведениях Всеволода.

Осенью 52 года мы отпраздновали свою серебряную свадьбу. Петр Петрович Кончаловский подарил нам картину «с серебром», написанную маслом именно в этот самый день и привезенную, так сказать, сырой (в буквальном смысле)¹.

Привожу шуточные стихи Маршака, сочиненные к этому случаю.

СТИХИ НА СЕРЕБРЯНУЮ СВАДЬБУ
Т. В. И В. В. ИВАНОВЫХ
9/XI—1952 года

Хочу воспеть я эту дату
На старый лермонтовский лад,

¹ Дважды он писал Всеволода. Первый раз — до войны (портрет находится в музее Еревана). Второй — в 50-е годы (портрет — в запаснике Третьяковской галереи).

Как демон, он пленил Тамару
Лет двадцать пять тому назад.

Тамаре, сделав предложенье,
Пылая молодым огнем,
Он клялся первым днем творенья
И, так сказать, последним днем.

А впрочем, тот, кто новобрачным
Тамару вел когда-то в загс,
Не демоном явился мрачным
На бурный Терек иль Аракс.

Он был советский литератор,
А по рождению сибиряк,
Она ж оставила театр,
Когда вступила в этот брак.

Что новобрачным пожелать бы?
Я предлагаю тост простой:
Пусть их серебряная свадьба
Авансом будет золотой.

Ко ста процентам гонорара
Мы в этот дом опять придем
К Вам, милый Всеволод, Тамара,
На праздник в семьдесят седьмом!

Увы, до 77-го дожила только я, а ведь Всеволоду было бы всего лишь 82 — моложе моего теперешнего возраста!

Были разосланы пригласительные письма. Привожу одно из них и ответ отсутствовавших на торжестве Фединых.

«Дорогая Дора Сергеевна и дорогой Костя!

Имеем честь пригласить Вас к себе, — в город, — 9-го сего ноября: со всей, приличной нам, торжественностью будет отмечено 25 лет нашей свадьбы, что, как говорится, «не фунт изюма».

Отговорки и болезни не поведут ни к чему: я могу тогда сказать лишь, как некогда Учитель: «Возьми одр свой и иди».

Целую Вас и жду ответа!

5/X — 1952 г.

Всеv. Иванов.

«9/XI — 1952 г.

Т. В. и В. В. Ивановым.

Милые Тамара Владимировна и Всеволод Вячеславович, поздравляем Вас с великолепной праздничной датой Вашей жизни и жизни большого ДОМА ИВАНОВЫХ!

Родовое благополучие и мир всего Вашего Дома покоится на великом равновесии исторических сил — матриархата и патриархата. От души желая дальнейшего процветания и счастья славных Ваших поколений, мы призываем благословение над содружеством Вашей, Тамара Владимировна, матриаршей — и Вашей, Всеволод Вячеславович, патриаршей власти. Да будет Дому Вашему легко и весело многие лета!

Мы счастливы, что дружим с Вами на протяжении всей этой четверти века, и благодарим Вас за радость, доставляемую нам Вашей дружбой. И мы действительно страдаем, что не можем быть сегодня вместе с Вами!

Любящие Вас *Конст. Федин, Д. Федина, Н. Федина, Варя¹*».

Перечитывая, постаралась представить себе застелье этого нашего торжества. Увы! Кроме детей, внуков и их сверстников, в живых — никого!

ОПЯТЬ ПОЕЗДКИ

В послевоенные годы Всеволод несколько раз был командирован от Союза писателей в народно-демократические страны.

В 1954 году он вторично поехал в Болгарию от журнала «Новое время».

«5/IX-1954 г.

София.

Дорогая Тамара и дети!

Извините, что долго не писал — писал, преимущественно, в местные газеты и посещал, посещал... Сегодня, например, вернулся из гор. Там на высоте 1700 метров находится бывш. охотничий дом бывш. царя Фердинанда. Его, т. е. дом, а не царя, два-три месяца назад передали местному Литфонду. Я был, таким образом, первым русским писателем, посетившим этот дом. Мне, по этому случаю, предоставили спальню царя, и я спал под балдахином, на золоченой царской кровати. Впечатления? Тяжелые, т. к. вечером был чересчур сытный ужин, я, по глупости, наелся и мне снились беспокойные царские сны, преимущественно почему-то Павленко. Смущал также и фарфоровый ночной горшок, на котором среди си-

¹ Внучка К. А. Федина.

них сосновых ветвей (символ, по-видимому, охоты) находилась царская корона и стоял вензель «Ф». Ходил я и пешечком в горы. Дорога чудесная: коридор из высоченных елей и пихт, а навстречу с полными корзинами черники и малины идут крестьянки, и везут на телегах дрова. Поднялся на две тысячи с гаком, и вид оттуда изумительнейший. [...]

Касаемо способов передвижения, — у меня имеется машина BMW, фотографию ее, специально для Антона, я пришлю; есть шофер, переводчик и, как говорится, все удобства, за что я должен благодарить свое доброе имя, а не журнал «Новое время», который, к сожалению, мало кому здесь известен.

Когда ты едешь, Тамара, в Карловы Вары и едешь ли? Погода здесь теплая, но жары нет.

Город украшен флагами, в частности, окно моей комнаты закрыто огромным красным флагом. Так, кажется, было и в прошлый мой приезд. У меня в комнате все красно и нет солнца, что хорошо. Гостиница наполнена народом из всех стран: китайцы, французы, немцы, чехи и т. д. Сегодня приезжает Советская Культурная делегация и среди нее, говорят худ(ожник) Серг(ей) Герасимов. Ему есть что пописать здесь, и я, когда увижу какую-нибудь красоту, все вспоминаю Мишку: вот бы пописал! [...]

На обороте:

«Я купил Кома «Проблемы минойского языка». Завтра пойду к автору этой книги, ссылаясь на Комкин авторитет, и буду его расспрашивать об этих самых минойцах: що воне таке? [...]

ЕДИНСТВЕННЫЙ ЗА ЖИЗНЬ ВСЕВОЛОДА ЮБИЛЕЙ

В 1955 году 60-летний юбилей Всеволода впервые отмечался публично, если не считать полуюбилей сорокалетия, отмеченного в голубой гостиниой ЦДЛ по данным автобиографии Всеволода 1924 года.

Привожу некоторые поздравительные письма к этому юбилею.

Борис Пильняк в ЦДЛ не пришел, а привез (он по Переделкину никогда не ходил пешком, а ездил всегда на машине) свое поздравление нам на дачу.

«Всеволод!

Разреши поздравить тебя с твоей большой, нужной, слож-

ной, трудной и, если хочешь, и очень талантливой писательской работой.

Есть разные писатели и разные писательские судьбы, само собой разумеется. Иных читаешь, чтобы отдохнуть, — других, чтобы узнать. Ты для меня был и есть *критерием*: — читая тебя, я всегда оглядывался на высоты и качество советского литературного мастерства, которое ты всегда нес отлично.

Всего, всего тебе хорошего, работы, прекрасного будущего.

Твой Пильняк».

(Рукописный отдел ГБЛ, ф. № 673.)

Борис Андреевич спросил Всеволода: «Что это ты вздумал сорокалетие отмечать?» — на что Всеволод, смеясь, ответил: «Сейчас предложили, а потом-то, может быть, уже и не дождусь».

Во время заседания было оглашено письмо Немировича-Данченко:

«Дорогой Всеволод Вячеславович!

Сердечно поздравляю Вас, великолепного русского художника, зорко видящего пошлость за красивой, звонкой фразой и крепко верящего в торжество социалистической идеи. Меня всегда волнует чистота и честность Вашего творчества, в котором нет места сентиментальности.

Таким я Вас знаю, таким люблю и ценю Вас.

Ваш *Вл. Немирович-Данченко.*

(Рукописный отдел ГБЛ, ф. № 673.)

Дома, разумеется, событие тоже отметили.

От семьи Пешковых был привезен в Переделкино огромный торт, изображавший арену цирка, с факиром посередине и амфитеатром сидящими зрителями. Торт был шоколадно-марципаный и таких размеров, что гостям никак было его не съесть. Потом долго доедали дети — свои, соседские и всех служащих городка писателей.

Юбилей шестидесятилетия Всеволода отмечался скромно. В том зале старого здания ЦДЛ, где теперь ресторан. Зал — маленький — набит был битком.

Председательствовал К. А. Федин.

В общем, юбилей как юбилей.

Привожу прочитанное сотрудницей СП В. М. Кашинцевой, преподнесшей Всеволоду огромный букет роз, письмо А. А. Фадеева, которое он продиктовал ей из больницы, где в это время лечился.

«1955 г.

Дорогой Всеволод Вячеславович!

Крепко жму твою руку в день твоего шестидесятилетия. Ты принадлежишь к тому поколению писателей, на долю которых выпала честь и счастье — сказать первые слова о том, что принесла людям Октябрьская революция.

Никому не было известно, какими словами можно выразить в искусстве этот невиданный переворот в жизни, в быту, в сознании людей. Да и, казалось, возможно ли выразить это вот так, сразу, на другой день, еще почти в огне схватки?

И ты сказал эти первые слова, сказал о том, что было тобой пережито, сказал по-своему, так, как сказало. И «Партизаны», «Бронепоезд 14-69» стали классическими явлениями советской прозы. В одном из лучших своих художественных творений более позднего времени — «Встречи с Максимом Горьким» — ты так чудесно рассказал о том, как великий Горький уже в то время бережно и любовно отметил недостатки в этих твоих первых произведениях. Но мы, люди еще более молодые, чем ты и твои ровесники, не видели в этих произведениях решительно никаких недостатков. Мы еще собирались тогда написать о пережитом и сомневались в своих силах. И вот оказалось, что это возможно, да еще как возможно — со свободой почти головокружительной!

Студент того легендарного времени — я ходил из комнаты в комнату по общежитию и читал вслух Всеволода Иванова очень звонким голосом. Помимо всего прочего, это оказалось и выгодным во времени, когда студенческий паек состоял в основном из ржавой селедки. Упоенные, как и я, слушатели и слушательницы родом из деревни охотно делились со мной хлебом и солью.

В наши дни, когда вполне справедливо и с пользой для литературы пишут о влиянии тех или иных классиков на нашего брата, напрасно забывают о преемственности поколений советских писателей. Но мы-то не Иваны, не помнящие родства! Да, мы учились у первых советских писателей, предшествующих нам, — мы вас любили, увлекались, зачитывались вами. Я мог бы сказать, что вы проторили нам дорогу, если бы это не была дорога в небо.

Ученье молодого писателя у писателя более старшего — это не школьное ученье, оно происходит в борении. И это прекрасно, когда это — чисто, принципиально, лишено побочных соображений, осенено возвышенным отношением к литературе нового общества.

И сегодня, благодарный и счастливый, я обнимаю тебя как одного из первых моих учителей.

Как у всякого настоящего художника, у тебя свой путь в литературе, и он по-прежнему идет ввысь.

В многообразии форм социалистического реализма романтическая форма не только законна, она нужна как воздух. Я говорю здесь не только о революционной романтике, как одной из существенных сторон социалистического реализма, — я говорю именно о романтической форме выражения правды жизни. Эта форма особенно трудна в прозе, но она, эта форма, подсыльна нам, — тем более что имеет таких могучих предшественников в русской прозе, как Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Горький.

Идя этим чудесным и трудным путем, ты обращаешься то к истории, то к современности. На этом пути у тебя есть замечательные победы — такие, например, как «Пархоменко» или «Ломоносов», который еще недооценен, а на самом деле является произведением редкостной поэтичности, — есть, разумеется, и свои поражения. И если я возьму на себя смелость пожелать тебе что-нибудь сегодня, когда твой талант в расцвете, — это чаще обращать взор свой именно к современности, то есть к тому, с чего ты начал свой славный путь в жизни и в литературе.

Этого жадно ждет от тебя твой читатель — друг.

Будь же здоров, могуч, весел, дорогой Всеволод, все свои остальные 60 лет!

Твой Ал. Фадеев».

(Александр Фадеев. Собр. соч. в 7 т., т. 7. М., 1971 г., с. 485.)

Письмо Виктора Борисовича Шкловского пришло позднее юбилея, — следовательно, не зачитывалось, а также не публиковалось. Привожу и это письмо целиком:

«12 марта 1955 гсда

Дорогой Всеволод!

Болею и не был на твоём шестидесятилетии. И сейчас не бодр и не молод.

Мне хочется сказать тебе не юбилейные слова.

В той маленькой стае, которая вылетела тогда в дальний полет, у тебя были самые сильные крылья.

В большой нашей литературе ты начал сильнее всех. В ве-

ликой нашей речи ты нашел новое слово. Рядом с Горьким ты шел своей поступью.

Я много потерял, Всеволод, из тех даров, которые мне дала судьба. Веру в тебя, понимания твоих сил я не потерял.

Как случилось, друг, что мы сделали так немного?

Друзья были хорошие, тебя не ругали (тут Виктор Борисович проявляет, по-моему, явную забывчивость. — *Т. И.*), ты не болел, и в каждой строке я узнаю твою силу.

Между тем только две книги, две вещи твои на подмостках? (Виктор Борисович имеет в виду, что Всеволода тогда знали только как автора «Бронепоезда» и «Пархоменко». — *Т. И.*).

В чем виновен ты?

Перед тобою тоже виновны.

Я виновен в том, что забился в куст, как птица во время дождя.

Видишь, пишу о себе.

Но ведь я верю в факира, верю в работу Сизифа. Знаю вес камней, которые ты катишь всегда в гору.

Ты человек нашего времени. Оно тебя родило. Мне очень тоскливо, Всеволод, я скучаю во время юбилеев. Вот и жизнь прокатилась. У тебя не согнулась спина. Ты много успеешь. (Не дано было предвидеть Виктору Борисовичу, что он так на много переживет Всеволода. — *Т. И.*).

Когда-то ты упрекнул меня рассказом, о котором, вероятно, забыл. Человека, который побежден, унесло море и о нем вспомнили, а он вернулся разбитым.

Этот рассказ был правдой.

Не отвечаю упреком на упрек, но я хотел бы увидеть тебя счастливым.

Время мало дорожило такими людьми, как ты.

Казалось времени, что оно будет рождать непрерывно.

Милый друг, в самовольной разлуке с тобой пишу тебе о том, что я верю в твой высокий талант, в то, что ты начал, как гений.

Виктор Шкловский».

РОМАН «МЫ ИДЕМ В ИНДИЮ»

Юбилей — юбилеями, а работа есть работа.

Три года, с 54-го по 56-й, Всеволод трудился над романом «Мы идем в Индию».

Сначала никто, т. е. ни редакции журналов, ни редакции издательств, не выразил желания печатать этот роман, невзи-

рая даже на рекомендации Фадеева, которому роман нравился.

Он его неоднократно слушал при читках у нас дома и общественную читку в Союзе писателей организовывал, на которой публично выступал с похвалой романа.

Впервые роман был напечатан в журнале «Советский Казахстан» (переименован в «Простор»).

По тексту, опубликованному в «Советском Казахстане», был сразу же сделан перевод на чешский язык.

Этот роман Всеволода Иванова вышел отдельным изданием (на чешском языке), в Праге, в 1958 году и на русском, в Москве, в 1960-м, в 1963-м на французском языке. В Париже по поводу этого романа была благожелательная пресса.

Я СТАНОВЛЮСЬ ПЕРЕВОДЧИКОМ

Александр Александрович Фадеев помог мне получить первый заказ на перевод.

Я освоила профессию переводчика художественной литературы с французского языка, когда мне исполнилось ни много ни мало 50 лет. Увлекалась я новой своей работой до самозабвения.

Моими первыми редакторами и одновременно учителями были Борис Аронович Песис и Наталья Ивановна Немчинова, к памяти о которых я отношусь с благоговейной благодарностью. Они оба, через десять лет моей переводческой деятельности, и рекомендацию мне давали при моем вступлении в Союз писателей.

Я глубоко уверена, что сложившемуся писателю редактор нужен только технический, а отнюдь не такой, который позволяет себе вмешиваться в сам творческий процесс. На Западе подобного института редакторов вообще не существует. Арагон, например, не раз говорил при мне с присущей ему неистовостью, что он «убил» бы того, кто осмеливался бы упрекать его, *что и как* писать.

Вопросу о редакторах отведено большое место в переписке Всеволода Иванова с Алексеем Максимовичем Горьким. Оба считали, сами редактируя молодых, что на каком-то этапе творческого созревания редактура, в особенности неквалифицированная, может лишь навредить писателю.

Но в переводческой практике хороший редактор необходим. Когда такой редактор, способный стать сообщником, встречается на пути переводчика — это настоящий праздник.

Редактор художественного перевода обязан быть глубоко образованным и литературно чутким человеком. Именно эти качества и отличали моих первых редакторов.

Лично я такого редактора ощущаю ближайшим другом. На мою радость, я и обретала таких друзей в некоторых своих работах, когда ладишь с редактором, понимаешь друг друга буквально с полуслова.

Почему же возникали у меня — иногда — битвы с редакторами? Я отстаивала от нечуткого, с моей точки зрения, редактора переводимого мною автора.

Убеждена, что редактору, как и переводчику, необходимо прежде всего «почувствовать» (о том, чтобы *понять*, я уж и не говорю) переводимого автора, уловить его ритм, стиль, лексику, характерные особенности.

Считаю лишь в самых крайних случаях допустимым переводить по подстрочникам. И вовсе недопустимым — редактировать, недостаточно зная язык, с которого сделан перевод, а тот язык, на который перевод осуществлен, опять же «не чувствовать», а относиться к нему школярски: недопустимы-де повторы, просторечия и т. д. — то есть все то, в чем подчас и состоит особенность переводимого автора.

Встречаются, увы, переводчики, которые любого автора подминают под себя, и редакторы, которые стремятся и автора и переводчика нивелировать, подведя его под кажущийся им обязательный литературный стандарт.

За тридцать с лишним лет переводческой деятельности я перевела много книг как французских классиков, так и современных писателей Франции.

Классик ли автор, которого ты переводишь, начинающий ли писатель, — взявшись переводить (и редактировать), ты, по моему убеждению, обязан найти эквиваленты, передающие на другом языке его особенность, а ни в коем случае не «подравнивать» чье бы то ни было творчество под стандарт.

Отвожу душу, включая в свой монтаж письмо Виктора Борисовича Шкловского, адресованное Валерию Алексеевичу Косолапову, который был в момент написания письма директором издательства «Художественная литература», а мы — т. е. Комиссия по литературному наследству Всеволода (активным членом которой являлся Виктор Борисович) — составляли первый посмертный двухтомник Всеволода Иванова.

Надо сказать, что Валерий Алексеевич проявил тогда большую чуткость.

Правда, для окончательного решения вопроса, какие из вариантов того или другого произведения предпочесть, Косолапов созвал в своем директорском кабинете специалистов: редакторов-текстологов своего издательства и всю нашу Комиссию.

До какой-то степени нам уже проторило дорогу Собрание сочинений Лидии Сейфуллиной, при создании которого было безоговорочно принято решение публиковать самые первые, не заредактированные до неузнаваемости варианты.

Виктор Борисович не присутствовал на заседании, поэтому написал письмо:

«Уважаемый Валерий Алексеевич!

При всем моем уважении к редактированию, я должен сказать, что в результате его писатели оказываются похожими друг на друга. Между тем, одним из самых главных свойств писателя является то, что он, имея общее мировоззрение с народом, имеет свое видение мира, свой метод выделения частных, который в результате оказывается подтверждением общего пути, но не является результатом общего мироотношения.

Великого писателя Всеволода Иванова все время подравнивали и подчищали так, что он не занял то место в советской литературе, которое ему по праву принадлежит.

«Бронепоезд» появился в советской литературе очень рано, и он определил ход литературы, становление ее нового лица. Тут ничего не надо подравнивать и необходимо остановиться на первоначальном тексте, который сохранялся до 1938 года.

Рассказ «Плодородие» тоже был подравнен и подредактирован.

В. В. Маяковский говорил, что писатель стремится к тому, чтобы у него вышло то, что он задумал. Редактор, к сожалению, часто думает о том, как бы чего не вышло. Из этой коллизии получаются поправки, а литература состоит из произведений, а не из поправок.

Новый мир строится не ангелами.

Новые люди создаются, а не даются готовыми.

Герои рассказа «Дитё» — храбрые люди, но это люди, переходящие от одного мировоззрения к другому. Поэтому они дики; они любят свое, в них есть элементы национализма, они его не сознают.

Мы не можем переделывать своей истории, иначе мы начнем отрицать, что у нас было крепостное право.

Рассказ «Дитё» известен, и изменять его нельзя, как нельзя изменять историю.

Чрезвычайно трудно понять, что наиболее характерно для писателя.

Боккаччо отказывался от «Декамерона», а Пастернак от своей книги «Поверх барьеров».

Читатель имеет право видеть писателя во всем его своеобразии, и, кроме того, он должен, покупая новую книгу, получать новый материал.

Поэтому я считаю, что рассказы «Бамбуковая хижина», «Барабанщики и фокусник Матцуками» должны войти в двухтомник. Те возражения, которые когда-то против них делались в журнале «На литературном посту», сняты временем.

Виктор Шкловский.

24 марта 1967 г.».

ВСЕВОЛОД — РЕДАКТОР

Давнишней мечтой Всеволода было наибольшее разнообразие литературы.

Именно поэтому так рьяно отстаивал он произведения молодых, когда ощущал в них веяние самобытности.

В бесчисленных его отзывах на дипломные работы выпускников Литературного института никогда не встретишь категоричности. Всегда лишь мягкое «полагаю», «мне думается».

Вот, например, что рассказывает (в письме) В. Очеретин: «Он был добр, щедр [...]. Его внимательность, восприимчивость, желание быть полезным, помочь, не считаясь со временем, отсутствие барства — все говорило о его принадлежности к той когорте писателей, которые, не щадя себя, отдали свои жизни становлению советской литературы. Что греха таить, сейчас такие писатели редкость».

А вот свидетельство коми-пермяцкого прозаика В. Баталова:

«...Он интересовался жизнью маленького народа, моими планами. [...] С тех пор у меня вышло более десятка книжек. [...] И, конечно, в каждом из моих произведений есть горящий уголек доброжелательной, поучительной беседы и напутствий Всеволода Вячеславовича».

Ванцетти Чукреев пишет:

«Всеволод Вячеславович запомнился мне как добрый

и серьезный защитник творческой молодежи от незаслуженных нападков».

А вот высказывание Армена Зурабова:

«...Всеволод Иванов сказал, что прочел мою книгу, не отрываясь, ночью, и уже одно это необыкновенно меня взволновало...»

Вот мнение А. Преловского: «Первым по первой книжке моей (очень зеленой) увидел во мне то, что я сам только предугадывал, — и верой в меня заразил меня самого».

Еще одно мнение, высказанное Асифом Эфендиевым:

«Всеволод Иванов — из племени одержимых искусством, — по натуре он был романтиком, человеком, верящим в святое. Только это святое было для него чисто земным, посясторонним. Это прежде всего было литературой. Не знаю, много ли сегодня таких педагогов. Но уверен, что одержимые необходимы. Учитель не тот, кто учит тем или иным знаниям, а тот, кто определяет судьбу. Таким учителем был Всеволод Иванов. Он передал нам чувство, которое вечно жило в нем: веру в святость дела, которому мы посвятили себя. Это вытекало из его веры в жизнь, в человека, в прекрасное, доброе»¹.

Такие высказывания можно бы множить и множить...

Много раз возникали разговоры об организации издательства «Товарищество писателей». Всеволод был горячим поборником этой идеи.

Летом 56 года вновь заговорили о «Товариществе», на этот раз предполагая дать название «Современник», прочили Всеволода в председатели или в заместители, если Твардовский будет председателем.

Отчетливо помню, как именно по этому поводу приезжала к нам в Переделкино группа писателей во главе с А. Т. Твардовским и А. Дементьевым.

В архиве К. А. Федина сохранилась записка, посланная Всеволодом, когда к нам приехала вышеупомянутая группа писателей.

«28 июля 1956 г.

Дорогой Костя!

Еще одно заседание —

Инициативная группа из-ва «Современник», которая собирается сейчас у меня.

¹ «Всеволод Иванов — писатель и человек», с. 441.

Если у тебя есть время — час, два, — прошу прийти, — мы будем очень признательны, — на дачу!

Целую тебя!

Всеволод»

Всеволод уже наметил список произведений, которые следует опубликовать. Первым стоял Пастернак.

Преисполненный уверенности, что литература должна и не может не встать на новые рельсы, Всеволод охотно согласился стать членом редколлегии «Литературной газеты» и принялся рьяно за эту новую для него деятельность, которая длилась, однако, недолго.

Всеволод прочитывал весь материал, идущий в номер, и по прочтении отстаивал свою точку зрения на редколлегии. Причем он сразу разошелся во взглядах с редактировавшим тогда «Лит. газету» В. Кочетовым.

В любую погоду гранки очередного номера привозились к нам в Переделкино, где мы жили круглый год. Гранки привозил обычно шофер «Литературной газеты». Почему-то именно зимой это часто оказывалась женщина, да к тому же недостаточно умелый водитель. Помню, как приходилось вытаскивать машину из сугроба или канавы, а незадачливую женщину-шофера отогревать, а иногда и переодевать в сухую одежду, пока сушилась ее собственная — мокрая.

Скоро это прекратилось. Всеволод вышел из состава редколлегии.

Весной 56-го Всеволод поехал в Читинскую область.

«15/VI—56 г.

Чита.

Дорогая Тамара и дети! Я нахожусь вполне довольным. У геологов я уже выпросил кристалл кварца размером с те жестяные коробки, в которых я держу чай. Кстати, о чае. Чай здесь в продаже нет, но в чайных его подают, за что и спасибо.

Целую вас! Привет Антону. Медведей еще не видел, но видел на дороге маленького суслика, размером с котенка нашего. Он смотрел на меня спокойно, спрашивая глазами: «Тебе здесь тоже нравится?» Я сказал, что да — и тогда суслик нырнул в свою норку спать.

В. И.

«16/VI—56 г.

Чита.

Дорогая Тамара и дети!

Получил твою телеграмму «беспокоюсь». А о чем, собственно, тебе беспокоиться? Здоровье — тьфу, тьфу! — у меня отличное, настроение хорошее, погода превосходная — солнце, тепло, и даже ночи теплые, так что воздух, в некотором роде, южный. [...]

Я вчера написал для местной газеты статью о Горьком. В смысле «материальном» Чита живет на уровне Боровска¹.

[...]

«Местная газета хочет напечатать две-три главы из «Мы идем в Индию». Если ты сможешь послать экземпляры романа, я напечатаю. [...]

В местном музее есть чучело леопарда, которого здесь где-то поблизости убили. «Откуда он сюда, бедняга, забрел? — подумал я, когда мне рассказали об этом. — Не нужны здесь чудеса, совсем не нужны!» [...]

«18/VI—56 г.

Чита.

Дорогая Тамара и дети!

Вчера мы (я, писатель Костюковский и редактор «Забайкальского Рабочего» Пономарев) ездили километров за 80—100 на верховья р. Ингоды ловить рыбу, — где и провели целый день. [...]

Сегодня я выступаю на вечере памяти М. Горького, и завтра выезжаем в район на неделю или дней на десять. [...] В этих районах, как я узнал от местных геологов, есть замечательные камни.

Мне подарили две тибетских буддийских картины, одна из них очень хорошая и, по-видимому, очень старинная: на черном фоне изображен святой, покровитель огня, а вокруг парчовый орнамент, любопытный, ставший позже эмблемой одного совр<еменного> нам государства, ныне разрушенного, к счастью людей.

У меня побывали почти все местные писатели, — очень любопытен один, бывший лесной объездчик (живущий и до

¹ Подмосковный старинный город, куда из-за сохранившихся там старинных крепостных и монастырских зданий Всеволод любил ездить.

сих пор километров в 200 от Читы, в тайге) с литовской фамилией Лавринайтис (предки его давно когда-то приехали сюда из Литвы). — Это — охотник и большой знаток местной природы. Я прочел его книжку «Пядь золотая», он не без способностей. Если хватит времени, съезжу к нему дня на три.

Ко мне приехал писатель из Улан-Удэ (центр Б<урят>-М<онгольской> республики), он приглашает поехать на катере вокруг Байкала. Предложение очень соблазнительное, и я, наверное, соглашусь.

Вдоль берегов Байкала, не превосходно ли?

Каково-то будет читать эти строки бедному Мишке?

Но пусть он успокоится — мы сможем осуществить это второй раз и в будущем году.

Это размер перламутровых раковин (по-видимому, жемчужницы), которые я собирал на р. Ингоде и собрал штук 50!

Мой поцелуй всем размером с эту раковину!¹ [...]».

«24/VI—56 г.

Агинск.

Дорогая Тамара и дети!

Я встретил корреспондента «Правды» на местном колхозном празднике и попросил его отвезти это письмо в Читу. Из здешнего городка — Агинска, где я нахожусь, письмо пройдет долго.

Чувствую себя отлично. Уже побывал в трех колхозах, геолого-поисковой партии, [...] (где выступал с чтением своих произведений, впрочем, вчера выступал и в Агинске, в педучилище), в двух буддийских монастырях, в степи и в горах.

Сегодня под Агинском был в «действующем» буддийском монастыре, настоятель коего, почтенный старый лама, поднес мне в подарок буддийскую статуэтку, завернутую в голубой шелк, в газету «Правда» и в ситцевый платок. Статуэтка была укутана до головы и завязана шнурком, а голова — чуть прикрыта, т. к. голову, оказывается, завязывать нельзя — чтобы бог мог дышать. Лама подал мне

¹ В письме нарисована большая раковина. Почти в каждом письме (я это сократила, чтобы не перегружать свой монтаж семейными подробностями) Всеволод вспоминает в с е х членов семьи. При красоте пейзажа — сына Мишу, художника; при научных ассоциациях — сына Кому; при гастрономических описаниях — зятя Давида, художника, который отнюдь не был обжорой, но любил вкусно поесть и умел придать процессу еды веселую праздничность.

статуэтку обеими руками, и я принял ее обеими тоже¹; одной рукой бога принимать нельзя — обидно.

Затем лама сказал:

— Почему же вы не сообщили нам заранее, что приедете: мы бы приготовили вам угощение.

Я извинился и сказал, что так уж неудобно сложились обстоятельства.

В это время приехал заместитель настоятеля, тоже почтенный седой лама, который сообщил, что улетает в Москву, а оттуда, кажется, в Бирму на празднование 2.500-летия Будды.

После этого, побеседовав еще немного с ламами, мы отправились на священную гору, где праздновался прежде летний праздник. Наш «вездеход» без особого труда поднялся, без дороги, на довольно высокую гору, где мы нашли много «обо» (куча камней, приносимых в жертву богам) и белый домик с поднятыми углами крыши, в котором буддисты кладут свои иконы, пунбе (молитвенные барабаны) и прочие священные вещи перед богослужением. Возле обо лежали упавшие шести с выцветшими флажками, на которых фигуры слонов и какие-то буддийские формулы. Вид отсюда на несколько речных долин и горы в отдалении был великолепный. Я нарвал букет больших желтых диких лилий, такого же размера, как и в нашем саду, и машина потащила обратно. Лилии пахнут очень хорошо.

Миновав снова монастырь, миновав ливень и лужи воды, мы попали на скачки. Зрители-колхозники, приехавшие на грузовиках, во множестве расположились по склону горы. Всадники, без седел, скакали прямо по степи. Победила гнедая лошадь, и все побежали за ней, крича в восторге. [...]

Вернулись [...], читаю поэмы Пушкина, трехтомник которого я приобрел в Агинске.

[...] В.».

Для Всеволода было очень характерно, что даже в поездках по глухим местам он не переставал выискивать какие-то новые издания. Для него вообще было обычным,

¹ У Всеволода была удивительная способность (я наблюдала это и в Казахстане, и в Индии) мгновенно перенимать любой восточный обычай с такой точностью, что индийцам искренне казалось, что он понимает и хинди, и урду. Казахский язык он знал — ведь жил в детстве среди казахов, — так что в Казахстане его способность мгновенно ориентироваться была, разумеется, естественнее, чем в Индии.

что в его библиотеке находились издания и собрания сочинений разных лет, а если иностранных авторов, то в разных переводах.

«30/VI—56.

Чита.

Дорогая Тамара и дети!

Письмо о злключениях с Гослитиздатом и о жаре получил.

Беда!

Собственно, Собрание Сочинений надо бы подписать твоим именем, т. к. без твоей энергии оно бы не вышло. (Как я писала выше, Всеволод уже перепоручил мне иметь дело с издательствами вместо него.)

Я проехался хорошо. Могло бы быть лучше и можно было б увидеть больше, кабы не мои спутники, интересы которых комфорт, хотя и элементарный [...] не влекли бы меня в места менее живописные. Но что есть, что я видел, — это очень красиво, величественно и широко. Я рыбачил на Онопе (реке, на которой родился сам Чингис-хан), был на Шерловой Горе, известной своими драгоценными камнями, — камней, впрочем, уже нет, гулял по степи и так далее. [...]

В Чите задержусь денька на три — хочу написать очерк для «Правды». Отсюда поеду в Улан-Удэ. [...]

Есть еще желание слетать в Саяны — за нефритами, что займет деньков пять, и в некую Муйскую долину, говорят, чрезвычайно красивую — она на севере.

Камней я собрал пудика три — из них есть один очень хороший: черный турмалин, похожий на слипшиеся волосы. Говорят, в огранке этот драгоценный камень очень красив. (Не знаю, как в огранке, но без нее он весьма непрезентабелен, и если в переделкинском кабинете Всеволода, где этот камень и по сей день находится, его надо перенести с места на место, я должна призывать на помощь сильного мужчину. Когда Всеволод возвращался из поездок, носильщики буквально надрывались, перетаскивая его чемоданы и рюкзаки, а ведь сам Всеволод таскал иногда такой рюкзак, наполненный камнями, с горы на гору. — Т. И.)

Посылаю несколько фотографий, снятых любителями. В дороге мы встретили кинооператора Б. Цейтлина, некогда ездившего в Абиссинию и попавшего сюда по обстоятельствам, от него не зависящим. Он носит на пальце золотое

кольцо, подаренное ему абиссинским императором, — по этому кольцу он имеет право входить к императору без доклада. Какие возможности есть в Забайкалье! Так вот этот кинооператор снял меня и завтра обещал дать снимки. Я их вам пришлю.

Вс.».

«3/VII—56 г.

Чита.

Дорогая Тамара!

Сочувствую твоим страданиям и ранам, полученным в стычках с Гослитиздатом, и очень рад твоей победе¹.

Я собираюсь в Улан-Удэ, [...] вернусь в Москву — между 20 и 25-м. Думаю, что до отъезда в Карловы Вары я успею покончить дела с редактором, который, конечно, к тому времени вряд ли прочтет мои сочинения.

Я записываю и записываю в книжку, а когда напишу очерки, неизвестно. Меня всюду теребят выступать, отказывать неудобно, но писать из-за этих выступлений некогда.

[...] Вчера выступал у геологов и получил в подарок дивные камни, — среди них так называемый «алмазный камень», камень из первой воронки в Якутии, когда открыли алмазы. Разумеется, в полученном камне алмазов нет, но камень, тем не менее, редкий.

Я был на слете пионеров, под Читой. Там мне предлагали в подарок медвежонка, — их там три. Когда я шутил с Антоном относительно того, что я привезу медвежонка, я никак не предполагал, что эта шутка может осуществиться; однако от медвежонка я отказался, считая, что в Переделкине у нас и без того много живности. Конечно, медвежонок очень оживил бы жизнь Антона, и особенно жизнь его мамы, т. к. он больно царапается, и когти у него как шила. [...] *Вс.».*

*ПОЕЗДКА В ЮГОСЛАВИЮ
НА СПЕКТАКЛИ «БРОНЕПОЕЗДА»*

В 1957 году мы поехали на премьеру «Бронепоезда» в Югославию.

«Бронепоезд» был поставлен в белградском драматическом театре молодым режиссером Мирославом Беловичем к

¹ Договор на Собрание сочинений (последнее прижизненное).

40-летию Октября (ровно через 30 лет после первой мхатовской премьеры).

Спектакль Всеволоду очень понравился. Режиссер нашел весьма современную форму, не утратив, а подчеркнув пафос 20-х годов.

Великолепно играл роль Вершинина артист Живанович. Он буквально влюбился во Всеволода. Без конца обнимал его, приговаривая: «Как ты меня угадал! Ведь это ты обо мне написал. Я же сам партизаном был».

А когда мы были у него дома, он, показывая на нас, говорил своей матери: «Радуйтесь, мамо, люди из Советского Союза как раз, как нам мечталось, когда мы партизанили».

«Бронепоезд» имел в Белграде огромный успех. На премьере (а зал был переполнен и довольно «официальной» публикой) — в финале последнего акта, когда подняли труп Пеклеванова и на сцене раздалось: «Вы жертвою пали» (хор был усилен магнитофонной записью), — весь зрительный зал встал, и все стоя пели.

«Бронепоезд» был поставлен и в Скопле (Македония), тот спектакль менее удовлетворил Всеволода, он был бледной копией мхатовского. Режиссер специально ездил в Москву, тщательно изучал материалы мхатовской постановки в музее МХАТа.

*О ВСЕВОЛОДЕ «БОГАТОМ»,
НО НЕ ВСЕГДА «СТАРШЕМ»*

В воспоминаниях А. П. Потоцкой-Михоэлс «О Михоэлсе богатым и старшем» говорится о делении Михоэлсом всех людей на старших либо младших — не по возрасту, а по мере ответственности, каковую они возлагают на свои плечи, тем самым определяя себя «старше» или «моложе» других людей, и на богатых и бедных — не по степени владения материальными благами, а по щедрому и широкому или же узкому, убогому отношению к жизни.

Вот Всеволод был самым богатым из наиболее богатейших. Ему никогда, по существу дела, не были нужны конкретные вещественные блага. Воображение его все претворяло — все несказанно расцветчивало. Когда в юности он шел пешком в Индию — пусть и не дошел, пусть был нищ, наг и бос, — все красоты и ароматы воображаемой Индии были ему доступны и подвластны.

У него было любимое выражение — впервые это было сказано по поводу какой-то ткани, огорчившей меня крича-

щей яркостью: «Отцветет (в смысле выцветет, потускнеет) и будет в самый раз». Всеволод как никто владел даром жить не для вещи, а претворив ее и в переносном, и в буквальном смысле; например, без труда мог надеть на себя руб ку 38-го размера, хотя его нормальный размер 42—43.

Предвкушая какую-нибудь поездку (в свои любимые дикие нехоженые места на границах Казахстана или Читинской области), он неизменно *богато* ее переживал, еще не пустившись в путь, и еще *богаче* — вернувшись. Даже тогда, когда поездка оказывалась неудачной, больше того — мучительной, по прошествии какого-то срока он радостно говорил: «А теперь можно уже вспоминать и с удовольствием».

Умение Всеволода претворять для себя вещи и обстоятельства жизни распространялось и на людей.

Он владел даром видеть в человеке и вызывать на поверхность именно те черты, которые его в нем заинтересовали или чем-то привлекли. Он проявлял неисчерпаемое терпение, раскрывая для себя человека (на посторонний взгляд ничем не примечательного). Зато если человек возмущал его, он обладал способностью вовсе перестать замечать его. Не желал засорять, *обеднять* свою жизнь.

Словом, он родился и прожил жизнь не просто богатым, а богатейшим.

Но вот «старшим» он, к сожалению, ощущал себя далеко не всегда (хотя в семье своего отца он — старший сын; в своей собственной семье — старший возрастом, талантом, занимаемым в жизни положением; в советской литературе — один из старейших писателей) — не старшим, а младшим ощущал он себя в самых, казалось бы, решающих для него обстоятельствах жизни.

И не потому, что бежал от ответственности. Нет, творческое бремя он нес мужественно; не сдаваясь, искал, сомневался и, как писал в своих заметках, «был счастлив сомнением». Так же относился он и к творчеству собратьев по перу. Особенно, как уже говорилось, к молодым.

Но тут парадоксальная особенность. Других он защищал, борясь, в меру сил, за их творчество как старший. Когда же дело доходило до него самого, он неизменно становился «младшим» и категорически не желал вступать в бой за свое собственное творчество.

А на большинство людей, с которыми писатель неизбежно вступает во взаимоотношения: издатели, редакторы, режиссеры — человек, не желающий подавлять их своим авторите-

том, производит впечатление беспомощного, малосведущего; они и начинают им командовать.

А тут еще эта непривычная для людей особенность — психологическая невозможность спора для гордого и легко ранимого Всеволода.

Эту особенность он осознавал, еще 27/XII—1946 г. записав в дневнике:

«Вчера вечером был Микола Бажан. Взял пьесу «Главный инженер» для чтения и, смеясь, сказал, узнав, что я в течение полутора месяцев не могу добиться какого-либо мнения от Комитета по делам искусств.

— Вы что же, нелегальную литературу мне предлагаете?

Тамара начала говорить о косности и плохом отношении ко мне. Бажан говорил, — как и все, — что надо «проталкивать». И, как все, — он не понимает: как это я не умею «проталкивать», «ходить», «дождаться приема» и так далее. Я, к сожалению, не мог подыскать убедительных слов, — да их и действительно нету, — что я «не могу» [...].»

Наверное, много было причин его неспособности настаивать, добиваться. При всей его скромности, не на последнем месте, думается, тут и гордость. Будучи воистину энциклопедически образованным человеком и не переставая учиться до последних дней жизни, Всеволод всегда сожалел о недостаточности (с его точки зрения) своего образования.

Вероятно, как раз именно в силу свойственного ему сомнения Всеволод никого не поучал.

Чрезвычайно деятельный в организации «сказочного» (поездка верхом или в лодке к черту на рога), неутомимый в первооткрывательской своей творческой работе, он абсолютно падал духом под бременем чисто житейских домашних невзгод, и вместо того чтобы активно бороться (если, например, заболел горячо им любимый сын), что-то предпринять, он ложился на диван или кровать или, наконец, на пол, на землю, и закрывал глаза.

Что-то организовать — «устроить» в жизни — он был абсолютно не способен, но зато воображением мог преодолеть любые препятствия, унести в несказанные дали и быть вполне счастливым там.

Он, как никто, владел до конца жизни способностью жить воображением и воображаемым.

Но он был крайне раним.

Этот суровый на вид человек обладал душой ребенка, очень мужественного ребенка, но все же ребенка.

Вот и с детьми (в особенности с обоими мальчиками — Мишей и Комой) он всегда, с самого их малолетства, был на равных. И, вероятно, именно этому они обязаны своим ранним и очень прочным интеллектуальным развитием. Всех троих детей, включая старшую Таню, он научил любить книгу: читать, думать; любить природу и романтически ее воспринимать.

Пятилетний Кома говорил иногда отцу, придумавшему какую-нибудь шалость: «Папка, давай лучше не будем, а то знаешь как нам от мамки попадет!»

Когда мальчикам было одному 10, а другому 7 лет, отец подарил им альбом для марок, на первой странице которого написал: «Филателист во имя приобретения марок должен идти на все, включая убийство и воровство».

Из педагогических соображений я (хотя мне всегда было ужасно неприятно перечить Всеволоду) вырезала эту страницу, а детям внушила, что на убийство и воровство нельзя идти во имя чего бы то ни было, а папа-де просто пошутил. Папа не протестовал против «педагогического мероприятия», но все же пожурил меня за то, что я препятствую развитию в детях чувства юмора.

Он вообще признавал за мной право «старшего» в деле воспитания детей, как, впрочем, и во всех вопросах, касающихся жизнеустройства семьи.

Чем старше становился Всеволод, а возраст сочетался у него с приобретением мудрости и мудрого спокойного пристрастия жизни, тем более «младшим» ставил он себя по отношению к людям.

Слушая и читая воспоминания о нем преподавателей и студентов Литературного института, так и видишь его: убеленного сединами, мудрого, умного, разносторонне образованного, пусть и не окончившего ни одного вуза, но по полному праву получившего звание профессора литературы и все же самого скромного и «младшего» среди всех. Он органически был неспособен «поучать», давить авторитетом, навязывать свое мнение и спорить поэтому не любил.

В семье всегда и во всем признавался авторитет Всеволода. И, к счастью, не только в семье, но и в тех комиссиях, где Всеволод председательствовал: и в Приемной комиссии СП СССР, и в Государственной экзаменационной Литинститута.

По свидетельству сотоварищей Всеволода по этим комиссиям, там его авторитет, невзирая на присущую ему мягкость и ненапористость, был непререкаем.

Мне привелось слышать тому подтверждения и от С. А. Макашина, и от М. П. Прилежаевой, и от А. А. Крона, который и написал об этом в своих воспоминаниях¹.

Если вспомнить, что в 30-е годы Всеволод склонен был уклоняться даже от «отеческой» редакции Алексея Максимовича, авторитет которого для него был огромен и которого он горячо любил, то особенно разительным становится его постепенно возникшее удручающее непотворение редакции.

Хотя в дневниковых записях, посвященных редакции, есть и возмущение и отказ — невозможность «покориться».

«9/III—1947 г.

«...Вчера обсуждали в Сценарной студии мой сценарий «Главный инженер»... болтали такую чепуху, что я, разозлясь, сказал, что над сценарием работать не буду, и ушел».

В. А. Асмус писал о Всеволоде: «Путь Всеволода Вячеславовича не был легким. Вся жизнь он с увлечением — вдохновенно и усердно — трудился как писатель.

Всеволод Иванов был человек не только мужественный, но и скромный. Удивительны достоинство, терпенье, с каким он нес свою непростую и нелегкую судьбу в литературе. Он уважал свою современность и твердо знал, что придет время, когда современность будет знать его лучше и полнее».

В одном из писем ко мне (от 10 февраля 1964 года) Виктор Борисович Шкловский пишет о Всеволоде: «Он был вне конъюнктур и всегда был в революции».

В другом письме (от 27 мая того же года): «Конечно, я напишу предисловие к книге. («Переписка с Горьким. Из дневников и записных книжек». — *Т. И.*) Я в долгу перед Всеволодом Ивановым, не написав прямо и внятно, какой он большой писатель и как в нем время не узнало свое же собственное будущее.

Приедем 12 июня (Виктор Борисович писал из Ялты, где жил со своей женой Серафимой Густавовной. — *Т. И.*). В конце июня напишу воспоминания (Написал. Они опубликованы в книге «Всеволод Иванов — писатель и человек». — *Т. И.*) и вчерне напишу статью» (К сожалению, не написал. — *Т. И.*).

Ведь это Всеволод записал:

«Я — писатель-«самоучка» — из тех, которых теперь

¹ «Всеволод Иванов — писатель и человек».

немного. За каждым из современных писателей — огромные залы университетов, лабораторий, многоученые профессора и предания. Мы учились в гуще жизни — бестолковой, несистематизированной и в сущности мало знающей. Вот почему все мои работы при их появлении, — может быть кроме тех, которые были наименее оригинальны, — критики находили «недоработанными». Идолы Индии, многорукие, многоликие, разумеется, среднелобому интеллигенту могут казаться вздором и недоработанностью. Без зазрения совести — и по-своему правый — он отрежет им руки и ноги и оставит по одной паре, согласно законам логики и разума. Впрочем, я сам часто рубил себе эти руки и ноги, находя, что на двух ногах мне идти легче».

Но «легче» не получалось. Не умел Всеволод, говоря словами Маяковского, наступать «на горло собственной песне».

Его требования к самому себе во всем были чрезмерны. Он не прощал себе ни малейшей фальши. Рубил «лишние ноги и руки» не только тогда, когда это касалось его чрезмерной фантастичности, но и тогда, когда расставался на новом этапе своего творчества с какими-то, пусть тяжело им выстраданными положениями. Многие из того, что не принимала тогда критика, теперь (когда писателя уже не стало) пытается обосновать научное литературоведение.

Главная причина невозможности для Всеволода спора с редакторами, вероятно, коренилась все же в душевной его деликатности. Он всегда склонен был уважать чужое мнение, если оно не являлось явной бессмыслицей, не было явно враждебным и не шло вразрез с его представлением о принципиально должном.

Желание примириться с чужим мнением исходило подчас и из страстной потребности увидеть свои произведения напечатанными.

Но из этой примиренности чаще всего ничего не выходило. Или выдержка изменяла ему, и он уходил, хлопнув дверью, именно тогда, когда споривший с ним редактор уже склонен был согласиться. Или он начинал бесплодные попытки писать «как все», как «им (редакторам) требуется». Но такие попытки заранее обречены были на неудачу, потому что Всеволод, при всем желании, был не в состоянии написать «как все».

Поэтому-то так долго не выпускал он из рук свои рукописи, писал множество вариантов и не всегда во имя

достижения поставленной цели, а иногда из-за непонимания критикой.

Если произведение категорически не отвергалось, наступало самое для Всеволода мучительное — встреча с редактором. Иногда результатом этой встречи являлся еще один вариант, в котором от первоначально созданного камня на камне не оставалось.

Однако иногда и по велению сердца Всеволод заново переписывал свое, даже и издававшееся ранее произведение, взглянув на него по прошествии лет по-новому.

Лично я всегда была убеждена в неправомерности таких и вообще любых переделок.

Многoletний опыт убедил меня, что «перерабатывать» сложившееся произведение — равнозначно насилию над ним.

Любая переработка непоправимо рвет и калечит живую ткань. После прочтения «переработки» испытываешь страстное желание прочитать вновь первый вариант.

Часто я спрашивала Всеволода:

— Зачем ты сам, своею рукой, портишь то, что тобою создано?

Он отвечал мне в зависимости от настроения. Чаще всего был уверен в тот момент, что не портит, а улучшает. Но бывало и так, что с уверенностью говорил:

— Первый-то вариант остается. Потом разберутся.

Он был убежден, что это «потом» настанет. Чутье большого художника подсказывало ему это.

Не случайна в дневнике писателя ироническая запись.

«20/X-1939 г.

Когда я думаю о смерти, то самое приятное думать, что уже никакие редактора не будут тебе досаждать, не потребуются переделки, не нужно будет записывать какую-то чепуху, которую они тебе говорят, и не нужно дописывать...»

НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Всеволод никогда не переставал искать. Он прочитывал и досконально прорабатывал множество теоретических трудов, стараясь наметить законы и пути построения литературного произведения, но, исписывая толстенные тетради своими теоретическими раздумьями, он никакого точного «закона» из своих трудов не стремился утвердить. Всеволодом остав-

лены многочисленные записи по теории сюжета и построения романа, рассказа, пьесы, а также характеров действующих лиц и поэтических образов. Размышлял Всеволод и над построением языка, оставил в своем архиве множество записей на эту тему, озаглавив их общим названием «Прямая речь».

В своем дневнике и черновиках «Истории моих книг» Всеволод не мог не оспаривать тех взглядов на литературный процесс, которым из-за своего нежелания и неумения спорить иногда подчинялся.

«Мы, конечно, преувеличиваем тупость наших читателей, когда утверждаем, что в литературе нужно постоянно следовать литературным традициям Толстого и Чехова, не отступая от них ни на шаг. Читатель значительно умнее наших предположений. Если бы литературная критика разъясняла по-настоящему сложнейшие литературные произведения, новая форма появилась бы быстрее».

«Утверждение критики: «Наступило то время, когда писателю следует объяснять поведение своих героев одновременно и образно и словесно», — представляется мне сомнительным», — утверждает Всеволод Иванов.

Огромное литературное и теоретическое наследие Всеволода Иванова ждет еще своих исследователей, которые пройдут по его «следу».

Со времени его кончины состоялись уже 6 межвузовских Ивановедческих конференций, но книг, посвященных его творчеству, кроме публикаций в «Ученых записках», вышло очень мало. И до сих пор не издано ни одной монографии.

Не могу посчитать литературоведческим трудом работу П. Косенко («Факир Сиволот»). На мой взгляд, это — вольный пересказ, упрощающий, с моей точки зрения, авторскую концепцию романа «Похождения факира», о котором сам автор неоднократно писал, что его ни в коей мере не следует рассматривать как автобиографический. В одном из неопубликованных предисловий к «Похождениям факира» Вс. Иванов пишет: «Все происшествия, описанные в романе, равно как и персонажи его, не исключая лица, от имени которого ведется рассказ, — вымышлены».

Я широко предоставляю возможность работать в личном архиве Вс. Иванова всем литературоведам, аспирантам, студентам, которые выражают намерение писать о нем и его творчестве. И вот иногда «обжигаются».

После смерти Всеволода я предоставила М. В. Минокину неограниченную возможность пользоваться нашим личным

архивом. Однако в дальнейшем, убедившись, что это идет не на пользу освоения литературного наследства Всеволода Иванова, я была вынуждена лишить его такой возможности.

Еще один пример. «Повесть о молодом писателе Всеволоде Иванове» П. Косенко — по сути дела, обильный пересказ много раз переиздававшихся и продолжающих издаваться произведений Всеволода Иванова. Возникает вопрос — зачем это понадобилось?

Невозможно стать биографом писателя, который чужд и непонятен как личность и в творчестве которого слабо разбираешься.

В редких случаях, отступая от пересказа произведений Вс. Иванова и пытаясь их анализировать, П. Косенко ничтоже сумняшеся приписывает Вс. Иванову мысли и чувства его героев.

О рассказе «Дитё» П. Косенко пишет: «Это одно из самых страшных произведений мировой литературы [...]. В этой знаменитой новелле в еще большей степени ощущается растерянность автора, невозможность для него сделать четкий нравственный вывод».

Где умудрился исследователь усмотреть «растерянность» автора?

Всеволод Иванов описывает «тайное тайных» первобытно мыслящих и чувствующих людей, их темные души, но именно потому он так виртуозно их и описывает, что отлично разобрался в непонятных для них самих заблуждениях этих своих героев.

Сделав заявку на «освещение» молодости Вс. Иванова и времени, ей сопутствовавшего, П. Косенко галопом проскакивает всю большую и сложную жизнь Всеволода Иванова, чрезвычайно ее упрощая.

В качестве биографа почему-то он склонен доверять свидетельству любого вспоминающего, но только не самому Всеволоду Иванову (?!).

О первой встрече Вс. Иванова с Горьким П. Косенко пишет: «...свидетелей этой встречи не осталось, и мы должны верить описанию Всеволода Вячеславовича». А кому же, казалось бы, и верить, как не ему?!

Всеволод Иванов написал «Сентиментальную трилогию» о первых своих днях в Петрограде.

П. Косенко дает свое собственное толкование, он пишет: «По ордеру он (В. В.) вселился в квартиру семьи покойного художника Маковского. В интеллигентской семье

Горького очень уважали и, зная, что жильца рекомендует Алексей Максимович, отнесли к нему со всей предупредительностью». Все это плод сочинительства П. Косенко. Родственники Маковского из Петрограда уехали; до Вс. Иванова в их квартиру, по ордеру же, была вселена рабочая семья. Вс. Иванов (в «Сентиментальной трилогии») называет соседку по коммунальной квартире «хозяйкой».

Не понимая юмора Вс. Иванова, гиперболически описавшего получение двух пар обуви, трактуя его гиперболу буквалистски, в лоб, П. Косенко пишет: «...за короткое время В. В. стал обладателем такого количества пар обуви, что... за жизнь их не износить» (?!).

Все, о чем рассказывает сам Вс. Иванов, почему-то вызывает у П. Косенко сомнения. Так, упоминая рассказ Вс. Иванова о случае с его двойником — Всеволодом Никаноровичем Ивановым, приняв за которого Вс. Иванова даже на расстрел вели, П. Косенко снисходительно бросает: «Очень может быть, что Всеволод Вячеславович задним числом и драматизировал ситуацию». Кто дал П. Косенко право подвергать сомнению свидетельства самого писателя Всеволода Иванова?

Безапелляционность П. Косенко потрясает: «...вряд ли в те годы Вс. Иванов хорошо знал Достоевского». А как быть с дневниками Вс. Иванова, где так много места уделено Достоевскому?

В «повести» П. Косенко есть и то, что принято именовать личной биографией писателя. Причем он уделил довольно много места Марии Николаевне Синицыной, первой жене Вс. Иванова, хотя и предупредил, что ему о ней «почти ничего неизвестно».

Лично я могу сказать то, что Всеволод *никогда ничего* о ней не рассказывал, но, не меняя ни имени, ни фамилии, сделал ее персонажем своего романа «Мы идем в Индию», под псевдонимом «дамы в сиреневой шляпке» ввел в «Похождения факира».

М. Н. Синицына была вписана в командировочное удостоверение Вс. Иванова при его отъезде из Омска «в распоряжение М. Горького».

В Петрограде П. Косенко «теряет» М. Н. Синицыну, которая не «по смутным отголоскам слухов» (П. Косенко), а в действительности сошлась с чешским офицером и в качестве его жены уехала за границу. Вероятно, именно поэтому Всеволод о ней и не рассказывал. Он всегда старался начисто вычеркнуть из памяти предавшего его человека.

Спрашивается: если уж вводить личную биографическую

линию, почему бы, «потеряв» М. Н. Сеницыну, не рассказать об Анне Павловне Весниной, второй жене Вс. Иванова, вполне реально существовавшей в его молодости? От брака с Анной Павловной осталась внучка Вс. Иванова Елена Голованова (А. П. Веснина и мать Елены, Мария Всеволодовна, — обе умерли). Елена окончила Педагогический институт имени Ленина и преподает в Институте международных отношений.

Вс. Иванов встретил А. П. Веснину в Пролеткульте, где она работала литсекретарем, и тут же женился на ней. О ней есть записи в его дневниках, она упоминается в письмах к Федину, Горькому и Слонимскому, а также в опубликованных воспоминаниях П. Жаткина.

Она никуда «не пропадала». С ней жил Вс. Иванов в том доме на Выборгской стороне, где была им написана повесть «Бронепоезд» и где висит теперь мемориальная доска. Она же добыла (бегло упомянутую П. Косенко, словно с неба свалившуюся) квартиру на Тверском бульваре в Москве, она была хозяйкой дома, принимавшей тогдашних знаменитостей, чей длинный список не преминул перечислить П. Косенко.

Об отношениях Вс. Иванова с матерью, Ириной Семеновной, П. Косенко пишет также совершенно неточно. Фактов личной биографии писателя, думается мне, следует или вовсе не касаться, или уж если касаться, так со всем тщанием изучив их и проверив. Фантазиям биографа тут не место. Письма Ирины Семеновны к сыну, написанные по ее просьбе разными лицами (сама она была неграмотна), все обращены к «Севе и Ньюсе». Ньюся — Анна Павловна Веснина. Это не Всеволод Иванов опаздывал иногда послать деньги матери, а именно Анна Павловна (в чем трудно ее упрекнуть: у нее рождались, болели, умирали дети), которая (как и я впоследствии) имела генеральную нотариальную доверенность на ведение всех материальных дел Вс. Иванова.

Признавая заслуги нового Собрания сочинения Вс. Иванова и считая комментарий к нему «в целом высококвалифицированным и интересным», П. Косенко обрушивается на примечание (роман «Мы идем в Индию»), поясняющее слово «тугаи». Причем П. Косенко не заметил, что примечание *авторское* и это специально оговорено, к тому же пояснение полностью совпадает с тем, что дается в Толковом словаре Даля.

Но вот сам-то П. Косенко совершает непростительные погрешности в словоупотреблениях. Так, например, он называет Олимпиаду Дмитриевну Чертову, близкого Горькому

человека, ставшую равноправным членом его семьи, многие годы ухаживающую за ним медицинскую сестру, — *санитаркой*.

Кроме допущенных им непростительных погрешностей в использовании архивного материала, П. Косенко вообще чересчур сузил как биографические, так и творческие рамки.

Писатель Всеволод Иванов — явление общечеловеческого значения, а не узкоместного, и «посмертная слава» его никак не антоносорокинского типа.

* * *

В Алма-Ате (издательство «Жазуши», май 1986 г.) вышли два сборника романов, повестей и рассказов Вс. Иванова (на казахском и русском языках). Сборник на русском языке «Эдесская святыня», составитель Е. Цейтлин, рецензент П. Косенко. В послесловии литературоведа Е. Цейтлина читаем: «...так закончил Вс. Иванов свою *последнюю* книгу. Она называлась необычно «Хмель», или «Навстречу осенним птицам». Автор сам шел навстречу осени. Он писал эти строки в 1962 году; позади была мучительная операция, медленное, трудное выздоровление, поездка в Восточную Сибирь...»

В приведенной цитате, увы, все — неверно.

«Хмель» не является последней книгой Вс. Иванова. Опубликованные посмертно роман «Вулкан» и сценарий по мотивам «Бронепоезда» — вот его *последние работы*.

«Хмель» написан после поездки 61-го года и издан не только в журнале «Новый мир» и отдельной книгой в «Молодой гвардии», но и переведен издательством «Советская литература» отдельными оттисками на английский, французский, испанский и другие языки.

Всеволод радостно держал эти оттиски в руках, лежа в больнице после операции. В сборнике «Вс. Иванов — писатель и человек» (М., «Советский писатель», 1975, с. 303—309) можно подробно ознакомиться с письмами, рассказывающими об этом.

Последняя поездка Вс. Иванова в Сибирь датируется 62-м годом, и именно после этой поездки он сразу попал в больницу, а уже после операции, увы, о какой поездке можно говорить?!

Обидно, что Е. Цейтлин допустил домысел вместо того, чтобы согласовать даты жизни писателя. Но виновно и издательство, не выполнивши договорных обязательств и

не пославши ему, как было условлено, верстки его статьи.

Он давал мне на отзыв машинопись своей статьи и, несомненно, учел бы при правке верстки допущенные им промахи. К сожалению, ему такой возможности не было предоставлено.

Лично я должна бы была выразить издательству благодарность за выпуск двух сборников произведений Всеволода Иванова (на казахском и русском языках). Оба сборника хорошо составлены.

Но, увы, я ведь тоже не получила, в нарушение законности, верстки своей статьи, включенной в сборник на русском языке.

Мне не только верстка не была выслана, но еще и полностью отыгнорировано мое письменное несогласие с некоторыми редакционными поправками. Прежде всего, это касается названия моей статьи.

Я считаю своим непреложным долгом бороться с искажениями облика Всеволода Иванова. Статья моя состоит преимущественно из цитат, взятых из произведений и опубликованных высказываний Всеволода, но была в ней и цитата из романа Мухтара Ауэзова «Абай», анализ которой Всеволодом дал мне право, несколько переиначив ее, отнести эту цитату к самому Всеволоду.

Моя статья носила название: «Не только русский, но и сын всего человечества».

Редакция сочла возможным, не считаясь с моим письменным протестом, озаглавить статью: «Сын своей родины».

Всеволод Иванов безусловно был достойным сыном своей Советской Родины, но это проявлялось как раз в его убежденном интернационализме.

К литературе, а следовательно, и к авторам, ее создающим, надлежит, по-моему, относиться с уважением.

ОПЯТЬ ПОЕЗДКИ ВСЕВОЛОДА

Поездки в глубь страны, в места нехоженые, становились для Всеволода все более необходимой насущной потребностью.

В 1958 году с отцом поехал в странствования сын Вячеслав, по-домашнему Кома¹; до тех пор усиленные занятия наукой мешали ему осуществить это намерение.

¹ К настоящему времени Вячеслав Всеволодович Иванов — доктор филологических наук, известный ученый, а также член СП как литературовед, критик и переводчик.

«1958 г.

Чита.

Дорогая Тамара!

Все идет мирно и тихо. Из-за дождей мы проторчали в гостинице при Иркутском аэропорту сутки, — опоздав на свой самолет: нам сказали, что самолет уйдет в 5 утра, и мы спокойно ушли в город, пили чай у местного поэта, гуляли по набережной Ангары, а в 11 вечера сели в такси и приехали в аэропорт. Я, для порядка, подошел к справочной и спросил: «Нет ли каких изменений с рейсом 13?» Рейс оказался действительно несчастным. Справочная ответила: «Рейс 13? Да он улетел два часа тому назад». Я пришел в негодование, — и трахнул телеграмму министру Авиац. транспорта. Не знаю, подействовала телеграмма или что другое, но нас отправили утром на самолете, который шел в Пхеньян, в Корею, и в котором был только один кореец и три-четыре офицера, летевшие в Читу. На аэродроме нас ждали несчастные читинские писатели, которые дежурили здесь целую ночь, — и нас отвезли в гостиницу, номер которой по роскоши не уступал нашему карловарскому, конечно, на столько меньше, на сколько Чита против Карловых Вар.

[...] ты нас разбудила телефонным звонком в полночь. Повалявшись часа два после твоего звонка, мы благополучно заснули на своих постелях, которые днем закрывают кружевными покрывалами. А занавески из китайского розового шелка! А ковер китайский красный! И стол письменный — китайский. И консервы, которые мы купили на дорогу, тоже китайские. Одна беда, комариная жидкость, предложенная нам Мишкой, пролилась наполовину. Но оную жидкость можно здесь достать.

Завтра уезжаем на вездеходе в район. Маршрут хороший. [...]

Целую. В. И.».

Начиная с 58 года, мы каждый год ездили в какую-нибудь зарубежную туристическую поездку.

Во всех поездках и во всех группах Всеволод был неизменно любим всеми спутниками.

Такого легкого, на все согласного, никогда не капризничающего и всех утешающего, готового всем все объяснить спутника просто невозможно даже нарочно придумать.

Поездка в Индию оказалась одной из самых тяжелых по климатическим условиям и напряженности программы.

Группа была смешанная: и писатели, и художники, и учителя, и инженеры, но ездили так дружно (и объединя всех Всеволод), что мы пригласили своих спутников в первое воскресенье января (вернулись в конце декабря) к себе в Переделкино.

И все собрались (2 девушки-инженеры специально прилетели из Пензы), несмотря на трагическую олезнь и смерть одного из спутников, художника Кокорекина.

Когда мы благодарили представителя Интуриста за хорошую организацию поездки, он нам ответил: «Да разве бы я без вас справился. Когда отбой бывал в 12 ночи, а подъем в 4 утра и начинался ропот, мне только стоило сказать: «А Ивановы — вы все им в дети годитесь, а они ведь не протестуют».

Всеволоду в поездке хоть и вовсе не ложиться — лишь бы побольше увидеть.

Но тут, очевидно, надо бы и побережся, и поудержаться. Вероятно, это не могло не отразиться на здоровье.

Хотя кто знает, отчего возникает рак? Утомление, наверное, тоже играет свою роль.

1961 год был в особенности разъездным.

В начале года мы ездили во Францию.

Весной Всеволод, один, ездил по командировке в Японию.

В июне, опять вместе, мы ездили в Англию и Шотландию.

А в ноябре Всеволод вновь поехал в командировку — на Тагоровский семинар в Индию.

И между Англией и Индией была еще поездка Всеволода в Сибирь, описанная им в очерке-поэме «Хмель».

«Май 1961 г.

Дели.

Дорогая Тамара!

Летели мы отлично. В Дели прожили два дня в том же отеле, где мы жили с тобой. Съездили, на автомобиле знакомого, в Агру и вернулись в тот же день. Этот же знакомый предложил мне, — на обратном пути, — охоту в джунглях и поездку в Непал. Но, к сожалению, из-за недостатка времени от этих лестных и приятных предложений пришлось отказаться.

Ну, затем — Бангкок, где в тени было 35°. Летели низко над Камбоджей, Вьетнамом и, перелетев Желтую дельту

Месогуа, увидели острова Китайского моря. Через море перемахнули быстро и спустились в Маниле, которая поразила всех — Наири Зарьяна особенно — красотой своих девушек.

В Токио же было прохладно, прохладно и сейчас — градусов 15, но все цветет и на ивах молодые листья. Приняли нас отлично, живем почти в самом центре. Чистота предельная: ты была бы в восторге.

В среду (сегодня понедельник) поедem на север страны, на остров Хокайдо, где пробудем десять дней, затем вернемся в Токио и обратно поедem 27, с тем чтобы 28-го уже быть в Москве. Но точно неизвестно: летит ли из Дели самолет 28 или 29-го! Узнаем только в Дели, но на телеграмму не будет ни времени, ни средств. Так что пошлю срочную из Ташкента.

Моей поездкой больше всего будет доволен Петька¹: игрушки тут замечательные!

Целую. Поездка очень хороша! Привет детям.

Всеволод».

1962 ГОД

Весной 1962 года Всеволод работал над составлением двух книг.

Во-первых, сборника пьес. Пьесы его в большинстве (не говоря о неопубликованных), даже те, которые ставились, имели только журнальную публикацию.

В подготовленном самим Всеволодом незадолго до его кончины сборнике он восстановил все первоначальные тексты. Сборник увидел свет в 1965 г. Сейчас повторно вышел в издательстве «Искусство» 9-м томом Собрания сочинений, куда «Блокада» включена в 1-м варианте (который и шел в «Художественном театре»).

В 1962 году Всеволод составлял, кроме сборника пьес для издательства «Искусство», еще и сборник рассказов для «Советского писателя»; в этот сборник он хотел поместить свои фантастические повести, написанные в 43—44 годах, и повесть «Вулкан», написанную в 1940 году.

Помещаю предисловие, написанное тогда Всеволодом:

«Рассказ «Вулкан» был написан в 1940 году. Что-то похожее я слышал в Коктебеле в том же сороковом году; слышал, впрочем, намеками: пришлось многое дополнить и о мно-

¹ Внук от сына Михаила.

гом догадаться. Рассказ мой испытал кое-какие приключения. Они, быть может, объяснят читателю, почему я «Вулкан» так долго не печатал.

Тотчас же, после написания, рассказ принял журнал «Молодая гвардия». Я выправил корректуру и стал ждать номера. Номер пришел; моего рассказа там не было [...]. Причин мне не объяснили: тогда считалось, что автор и сам догадается. Не догадавшись, я передал его в «Звезду». Опять выправил корректуру. И опять. [...] Наконец, рассказ принял А. Фадеев, тогда редактор «Красной Нови». Мне принесли корректуру, — но началась война, номер с моим рассказом не появился, и вообще «Красная Новь» закрылась.

Я уже и не чаял видеть свой рассказ напечатанным. Прочел его двум-трем друзьям; они пожимали плечами: до вулканов ли, мол, теперь, — хотя бы и душевных! Я недоумевал. Теперь я, — спустя два десятилетия, — недоумеваю: почему я тогда недоумевал? То, что сейчас зазвучит, может быть, слишком слабо, в те времена зазвучало бы чересчур громко.

Перечитывая теперь рассказ, я кое-что подправил, дописал, вырисовывая для себя те впечатления, которые в те времена мне виделись очень неясно: если старую избу прошить снова, пробить мхом, она от этого не станет холоднее.

*Март 1962 г.
Москва».*

На первых порах работа по обоим сборникам спорилась. Но летом, вернувшись из поездки в Японию, куда я ездила с группой писателей, но без Всеволода (ему не посоветовали ехать врачи), я нашла Всеволода крайне опечаленным. Он сказал мне: «Опять все выбросили», имея в виду свои ранее неопубликованные вещи.

Сейчас мне удалось, с помощью Комиссии по литературному наследству Всеволода, опубликовать все эти повести и рассказы.

«Вулкан» впервые опубликован в журнале «Сибирские огни» (в шестой книжке за 1966 год).

Новый вариант «Вулкана» был создан Всеволодом летом 1962 года (именно он и опубликовал в 1966 г.). Этот вариант возник по велению сердца. Всеволод взглянул на пролежавшую свыше двадцати лет вещь по-новому, и результат опроверг на этот раз все мои установившиеся представления: не только я, но и изучившие оба варианта члены Комиссии по ли-

тературному наследству Всеволода пришли к выводу, что вновь созданный вариант выше первоначального.

Для меня в этом новое доказательство мощи таланта и духа Всеволода, для которых не существовало никаких рамок и при познании которых все заранее построенные умозаключения могут быть сметены единым духом.

*В КОМИССИИ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ НАСЛЕДСТВУ
ВС. ИВАНОВА*

На первых порах своей организации Комиссия по литературному наследству Всеволода работала на редкость деятельно. Количество неопубликованных при жизни автора произведений, да к тому же наличие нескольких вариантов одного и того же произведения требовало особо вдумчивого отношения. Первым единогласно принятым решением было — предлагать в печать законченный вариант, если таковой имелся.

Но, скажем, у романа «Вулкан» было два законченных варианта.

Все члены комиссии прочли оба варианта и выбрали, большинством голосов, последний по времени написания.

Те члены комиссии, которые не могли присутствовать на заседании, прислали свои отзывы.

Предлагаю вниманию читателей три таких отзыва.

Письмо Миколы Бажана от 15/XI-63 года.

«Пишу Вам под впечатлением только что прочитанных мною повести и романа «Вулкан». Может, не все еще точно улеглось в сознании, не для всего найду я нужные слова.

Когда вдыхаешь воздух настоящей литературы, когда взбираешься по ее высоким, трудным и прекрасным склонам, когда ощущаешь кипение эмоций, чувств и мыслей, влитых большим художником в сложные формы его искусства, — не сразу переведешь дыхание, чтобы точно и взвешенно сформулировать.

Конечно, роман мне кажется неизмеримо более богатым, более полифоничным и глубоким, чем повесть. Дело не только в размере. В повести мне было как-то странно ощущать неизвестно откуда появившееся, такое неорганичное для темпераментного и общественно вовсе не безразличного Всеволода Вячеславовича, пренебрежение всей той предгрозовой атмосферой 39—40-х годов, когда и советская земля начала уже

вздрагивать в предчувствии неминуемого извержения самого грозного вулкана — вулкана войны. А ведь в повести этому уделены три-четыре фразы, вложенные в уста львовского поэта.

Несколько по-иному выглядит тема этого зловещего вулкана в романе. Может, тоже не совсем, но ведь автору я уже не могу сказать, что мне кажется недостаточно звучащим или недостаточно сильным... Роман сложен и многогранен. Остро и смело берет он и поворачивает материал своего времени. Да, «безумное молчание», но ведь мы не можем забыть того, что когда это «молчание» было прервано ударами первых немецких бомб, первым грохотом страшнейшего вулкана, — народ встал и пошел на подвиг. Значит, кроме молчания было что-то еще более могучее. Эта тема есть у Всеволода Вячеславовича, — роман написан горячей и чистой кровью советского патриота, настоящего, не лукавящего, не отделяющегося барабанным грохотом фраз. Эта тема есть, но ее слишком часто подминают иные темы. Если бы мог автор еще отчеканить, еще прикоснуться словом к некоторым линиям или сгладить излишние углы и выпуклости! Если бы можно было уговорить автора и некоторые мизансцены убрать. [...] Всего не напишешь. Скоро, надеюсь, буду в Москве и очень хочу рассказать Вам более подробно, что думаю о том замечательном произведении русской советской литературы, с которым Вы мне дали возможность познакомиться. Какой большой, настоящий, чистый и любящий человек писал эту книгу! Как много утеряло человечество с его смертью...»

Отзыв Александра Крона (18/XI-1963 г.):

«Вероятно, еще не удастся вернуться из Ленинграда ко 2 декабря. Поэтому прошу Вас при обсуждении «Вулкана» изложить членам комиссии мою точку зрения. Я, как Вы знаете, целиком за то, чтоб печатать вторую редакцию повести. По-моему, это отличное произведение, не лишенное композиционных недостатков, но живое, увлекательное и проникнутое гражданским пафосом. Я думаю, что мы поступим в соответствии с авторской волей, если будем отстаивать напечатанное более позднего варианта, расширенного и обогащенного самим Всеволодом Вячеславовичем, насколько я понимаю, по своей авторской художественной необходимости, без давления извне. Я не усматриваю во втором варианте ничего вынужденного, поэтому, мне кажется, нет причин возвращаться к пройденному писателем этапу.

Если сравнивать варианты по силе и богатству словесной живописи, то, отдавая должное великолепным описаниям коктейбельской природы в первом варианте, я считаю, что описание коммунальной квартиры во втором — новее, самобытнее. Евдоша во втором варианте также интереснее, современнее и пленительнее. Общественная значимость проблем, поднятых во второй редакции, очевидна, в первой они едва намечены. Все это заставляет меня присоединить свой голос к тем, кто рекомендует публикацию последней редакции «Вулкана».

Отзыв Виктора Шкловского (18/XI-63 г.):

«Я прочитал два варианта романа Всеволода Иванова — «Вулкан». В одном варианте 193 стр., а в другом — 97 стр.

На одном дата времени написания 1940, на другом — 1962 гг.

Герои обоих романов совпадают; впрочем, надо сказать, что в более полном варианте есть герои, которые не встречаются в малом.

Места действия совпадают. Совпадают пейзажные куски. Между тем, конфликт в двух произведениях разный. Это две повести или романа, в которых писатель ставит разные задачи.

В большом романе очень хорошо описана женщина — чувственная, энергичная, неудовлетворенная. Она живет в мире «безумного молчания». Это определение превосходно найдено автором у Авраамия Палицына.

Женщина — архитектор. Муж ее тоже архитектор. Их взаимоотношения превосходно показаны — печально, прямо, разочарованно. В женщину влюблены еще трое людей, все они связаны, кроме того, спорами об архитектуре. Вопрос о Риме, о старой и новой архитектуре дан как вопрос о человеческих отношениях.

Люди разочаровываются, предают друг друга, умирают, и рядом с ними существует второй план — соглядатель мнимого пушкиниста и третий план — богини Афродиты и ее мужа — Гефеста, он же Вулкан.

По силе характеристик, по силе эротических сцен вещь замечательна: это крик среди молчания.

Один из мужчин гибнет, женщина возвращается, очевидно, к своему мужу, порвав круг молчания. Пересказывать трудно.

В романе-повести 40-го года рассказывается об архитекторше, которая приехала на Карадаг, муж ее тоже архитектор. Она разочаровалась в нем: ей кажется, что он отошел от больших задач. В нее влюблены несколько человек; один из них гибнет.

Соглядатая и темы молчания в этом варианте нет.

Женщина возвращается к мужу, потому что он создал нечто новое, о чем ей мельком сообщает в письме. Сообщение нарочно дано невнятно.

Конечно, целый ряд моментов второго варианта и первого совпадают. Дорожки, Чертов палец, судьба коктебельских собак — и в то же время это два разных произведения с разным конфликтом. Краткая версия имеет свои мотивировки, но иногда они еще не договорены.

Мне большой «Вулкан» кажется много огненней, серьезней, чем малый, хотя второй (малый) напечатать легче.

Образ мнимого пушкиниста и его интрига в большом романе, однако, недописана, хотя и очень страшна. [...]

Обе вещи очень печальны».

Роман «Кремль» имел только один законченный вариант, и написали письменные отзывы все члены комиссии.

Отзывы были не только единодушно положительными, некоторые и восторженными.

Но (чтобы не перегружать читателя) я привожу только тот отзыв, который лично мне кажется самым убедительным.

Это отзыв Миколы Бажана:

«Я за два дня праздников, что называется, одним духом прочел роман «Кремль». Роман меня увлек, заинтересовал, взволновал. Он ярко воплощает и выражает настроения и душевные конфликты — сомнения и надежды русской советской интеллигенции того сложного и противоречивого времени 30 годов, когда борьба кто — кого, когда спор между новым и старым, между социализмом и капитализмом еще не был завершен, еще был вздыблен, еще проходил как бурный и острый водораздел, сквозь каждую думающую и чувствующую душу.

Написан роман очень своеобразно, тем стилем большого гротеска, который проявлялся и в прозе М. Булгакова, А. Толстого, Ильфа и Петрова, отчасти И. Эренбурга, Б. Пильняка, но ни у кого не был так напряжен, размахист, прихотлив и

изобретателен, как в прозе Всеволода Иванова, особенно в этом романе.

Критики могли бы найти тут и сюрреализм, и гротескность современной драматургии Ионеско, и «кафкианство», но на самом деле в нем лишь полно и сочно выражено то «всеволодианство», которое на веки веков сделало Всеволода Иванова неповторимым, многоцветным и многообразным, раблезиански буйным и иронически задумчивым великаном великой русской литературы. «Кремль» — одно из ярчайших проявлений его щедрого, далеко не всегда взвешенного и размеренно стройно и гармонично проявленного таланта. Размер, мера, конструкция, строгая причинность, закономерность — он их часто толчком сшибает или тянет за собой, как Гаргантюа тянул парижские колокола. Поэтому и «Кремль» — не ровное произведение. Блестяще написанная, с «ивановскими» чудесными пейзажами, с «ивановским» юмором и с «ивановской» проникновенностью в «тайное тайных» человеческих душ, первая половина романа потом сменяется рядом глав затянутых и несколько монотонных, чтобы к концу прийти снова к сценам изобретательным и острым.

Я не могу понять, почему роман не был напечатан при жизни Всеволода. Ведь роман этот так прямо и выразительно говорит о торжестве нового, о неминуемом окончательном торжестве коммунизма, его морали, его справедливой веры над суеверием старого, над гнусностью капитализма в его самых противных нэпмановско-спекулятивно-кулацко-паразитических отпрысках и пережитках. Ведь не может быть сомнения в том положительном значении, которое Всеволод Иванов вкладывал в фигуру большевика Вавилова, нарисованную без боязни внутренних конфликтов, трагедий, временных пространий, присущих человеку особенно в то конфликтное переходное время, которое описывает роман. Да и фигура Зинаиды тоже такого типа.

Роман «Кремль» вовсе не паноптикум, не собрание монстров, не коллекция раритетов, хотя своеобразие, необычность, прихотливость, внешняя алогичность, опирающаяся на внутреннее логическое течение, на подтекст, на скрытую, но вскрывающую значительно больше, чем явная детерминированность, присуща этому роману — мудрому и яркому гротеску. Читателя поражает не только ситуация, эпизод, пассаж, но иногда даже просто фраза. Поражает именно той внешней нелогичностью, о которой я уже говорил, но достаточно вдуматься, чтобы понять, каким могучим выразитель-

ным средством эта формальная (а не сутьевая) алогичность является.

Да, роман необычайно важен, сложен, интересен.

Спасибо Вам за то, что Вы дали мне возможность прочитать это замечательное произведение.

7/XII-1965 года».

На роман «У» энтузиазма всех членов комиссии уже не хватило. Да и то надо сказать, что половина ее членов умерла, а остальные из-за преклонного возраста болеют и едва справляются с собственным «бременем дней».

Однако роман «У» успели прочитать Шкловский и Бажан. Шкловский даже опубликовал выдержки своего отзыва¹.

Привожу их:

«Он (Вс. Иванов) написал роман «У» [...]. Роман «У» необыкновенно сложно написанная вещь. Это произведение напоминает мне «Сатирикон» Петрония и романы Честертона.

На Петрония это похоже тем, что здесь показаны дно города и похождения очень талантливых авантюристов.

Честертон это напоминает тем, что сюжет основан на мистификации.

Показан момент начала советского строительства, взят район и время слома храма Христа Спасителя.

Книга стилистически очень сложно написана. В середине есть полемика со мной, что я отмечаю просто для аккуратности. Стиль книги блистателен, не непривычен. [...] То, что писал Всеволод, было истиной. Познанием прежде не бывшего».

Микола Бажан в личном письме ко мне (январь 1982 г.) пишет: «Так правильно, что неустанные Ваши заботы о написанном Всеволодом Вячеславовичем приносят советской литературе такую вещь, как «Кремль». Вот если бы еще хватило у Вас сил на то, чтобы добиться издания романа «У». Мне этот роман кажется превосходным и начинающим то течение в советской русской прозе, которое обычно именуют «Гофманиадой». Ведь написан роман «У» раньше, чем «Мастер и Маргарита». Прошу Вас, проверьте даты. Ей-богу, это не просто мой личный интерес, а нужные поправки к истории».

¹ «Всеволод Иванов — писатель и человек».

На банкете (в ЦДЛ), после вручения ему Ленинской премии, Микола Платонович (вместо тоста) произнес длинную речь о необходимости напечатать роман «У»...

ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВСЕВОЛОДА

Окончив новую редакцию «Вулкана», Всеволод уехал в последнее свое путешествие по реке Мензе, о котором его спутник Василий Григорьевич Никонов написал изданную в Сибирском книжном издательстве книгу «В горах мое сердце».

Очевидно, Всеволод был уже очень болен тогда, но не хотел признаться в этом ни себе, ни окружающим.

Перед поездкой Всеволод не только «Вулкан» окончил, он «закруглял» дела.

В частности, написал письмо Н. В. Зайцеву, копию которого оставил в архиве.

Сам факт оставления копии говорит о том, что Всеволод придал этому письму особое значение. Да и действительно, он говорит в нем очень откровенно с исследователем своего творчества, человеком лично ему не знакомым, что Всеволоду вообще свойственно не было.

В этом письме Всеволод высказывает очень точную самооценку своей драматургии, упоминает и о крушении своего гуманизма (о чем я уже писала выше).

И о «Серрапионовых братьях» пишет Всеволод со всей категоричностью.

Мне это письмо представляется чуть ли не программным. Своего рода литературным завещанием Всеволода Иванова.

Для понимания его творческих самооценок публикация этого письма кажется мне необходимой.

«Уважаемый Николай Васильевич!

С большим удовольствием прочел Вашу книгу «Драматургия Вс. Иванова». На небольшом сравнительно участке, отведенном Вам издательством, Вы выстроили крупный дом, где помещаются все мои пьесы и даже некоторые прозаические произведения. Очень полно и широко освещен «Бронепоезд», он виден со всех сторон, — да это и естественно: пьесе уделялось столько внимания, столько о ней писали, столько ее ставили, что, действительно, может показаться, что это перл создания, — моего, во всяком случае. Я-то думаю, что это не так. «Блокада» — скажем — я ее ценю, — теперь обдумавши, — много выше, а «Поле и дорога», пожалуй, что и выше

всего. В «Бронепоезде» говорит исключительно художник, в «Блокаде» — моя исповедь тех темных времен, когда пьеса писалась, а в «Поле и дороге» крушение моего гуманизма, которым я был охвачен всегда и который пытался сокрушить в себе, — наверное, зря. С этой точки зрения — Ваше мнение, что мои пьесы «Поле и дорога» или «Вдохновение» не появились на сцене из-за драматургической слабости. (Боже мой, сколько появлялось еще более слабых пьес, чем мои!) [...] Пьеса «Вдохновение» была принята МХАТом, ее хотел ставить Немирович-Данченко, есть очень интересный текст дискуссии актеров театра с Немировичем об этой пьесе, — но пришла война и было не до «Вдохновения». Я считаю неправильной и сниженной оценку «Ломоносова»: эта пьеса шла бы и до сего дня, кабы не различные *мнения*, которым Вам, хорошим критикам, потакать не след. Вы правы относительно «Голубей мира» — Театр не дотянул, но, по правде говоря, к моменту появления этой пьесы зритель стал уставать от мотивов гражданской войны. Есть маленькие неточности: М. Козакова не было и не могло быть среди «Серрапионовых братьев». *Некий Сопов*, обругавший мой «Черный занавес», был очень талантливый поэт. [...]

И еще одно, любезный Николай Васильевич! — Мне кажется, Вы напрасно пошли по следам неких стародавних критиков, которые доказывали мой дуализм — «между «Бронепоездом» и «Тайное тайных». В «Бронепоезде», де, он одно, в «Тайное тайных», подпавши ущербности, он другое. Быть может, правильнее поступали те, кто находил в «Бронепоезде» элементы «Тайного тайных», — то есть в смысле понимания писателя как единого целого. Для того, чтоб Вы поняли меня, приведу пример. И. Репин писал эпические полотна (я его, кстати сказать, не люблю и тем пример должен быть убедительнее): «Запорожцы», «Бурлаки», «Крестный ход» и так далее. И, одновременно с этим, он писал — «Грозный и сын». Художник один, а темы разные, разрешение тем тоже другое, отличное друг от друга. То же самое «Бронепоезд» и «Тайное тайных». Я принимаю вину за оба произведения, и желательно, чтоб критик понял эту мою «невиновную вину». А то ведь получается повторение рапповских положений об уходе Вс. Иванова в «Тайное тайных», подсознательное, ущербность... Ну, скажите мне, пожалуйста, где Вы обнаружили ущербность у «Серрапионовых братьев»? У кого? У нас было щеголяние формой, преувеличение смысла формы, щеголяние областными словами или стремление построить сюжет по-авантюрному, — но ущербности, т. е. песси-

мизма, уныния, упадка, тоски, у нас не было. Федин, Тихонов, Зоценко, Слонимский, Каверин... Какие же это «ущербисты»!

Много, очень много у Вас цитат. Порой кажется, что автор боится сказать свою мысль и прячется за цитаты, а это, ей-богу, зря,— Вы пишете плавно, интересно, у Вас любопытные мысли, ну, на кой леший Вам эти старикашки с их цитатами,— и я в том числе?

Очень Вам признателен за Вашу книжку,— тем более, что ведь первая о моей драматургии. Не знаю, будет ли вторая, но первый блин вполне съедобен и, если К о м, то в горле моих недоброжелателей, которых,— уву! — немало: имея много врагов, приятнее жить.

Если вздумаете еще писать обо мне,— то — приходите, когда будете в Москве. Я дам кое-что из напечатанного, много не дам, не потому, что нет, а потому что много сырья, которое может быть напечатано при чрезвычайно жадных для меня обстоятельствах,— наверное тогда, когда Сибирь будет безмерно богата (хотя бы бумагой) и вспомнит о литераторе, который ее любил, очень любил.

Извините, что задержал ответом. Я доканчивал роман «Вулкан», 40-й год, вопросы жизни и нового искусства; роман небольшой, листов на десять, сейчас его перепечатают, а затем он начнет мытарства по редакциям и издательствам, мытарства, чувствую, будут тяжкие,— но что поделаешь, если хочется написать правду так, как я ее понимаю.

Желаю успеха Вашей книге и веселых дней жизни. А я через недельку уезжаю в Восточную Сибирь, в Читинский край, хочу поплавать на лодке по диковатой реке, среди кедровой тайги,— пока есть силы, надо еще посмотреть мир, а то когда сил будет мало, придется ведь вспоминать, так лучше, чтобы воспоминания были горделивые, золотые и большие!

2 августа 1962 г.

Святое место Переделкино.

Еще раз привет и простите, если Вам что-либо покажется резким, я не хотел Вас обидеть, а хотел Вас обогатить. И не своим богатством, а богатством огромного литературного мира, частицей которого я, грешный и многогрешный, являюсь.

Всеволод Иванов.

Как говорилось выше, Всеволод утешал себя поездками в самые глухие места.

Привожу письма из его последней поездки.

«9 авг. 1962 г.

Дорогая Тамара!

Качает вагон, поэтому и каракули.

До Тюмени поезд шел в проливном дожде; мир был во мгле и тумане, не говоря уже о грязи. За Тюменью, т. е. за Уралом,— солнце и довольно сухо. Я посмотрел в окно на Тюмень — вокзал тот же, что 48 лет назад, домишки те же и та же пыльная зелень. Прибавились высоковольтные столбы и трубы заводов, что тоже не мало.

В газете прочитал — местной,— что работает в городе цирк, наверное на том же месте и Городской театр, где я ставил «Позор Германии».

Затем проехали Ишим — здесь я выдавал себя за австрийского пленного и шил у венского портного визитки!

В поезде хорошо. Не жарко и не холодно; пьяных нет. Разносят — кефир, икру, лимоны, а на станции Никонов купил свежепросольные огурцы.

Жизнь роскошна!

Подъезжаем к Омску, где я и сброшу это письмишко. Всем привет! Целую В. И.».

«Август 1962 г.

Дорогая Тамара и дети!

Пишу на Читинском аэродроме.

Утро, 7 часов, 14 августа. Вчера было светло и тепло, так что жарко было ходить по городу в пиджаке. Сегодня прохладно, туман, но говорят, туман рассеется и мы полетим.

А летим мы над тайгой — в село Красный Чикой, отсюда, через хребты и реки, в село Менза, куда колесных дорог нет, только тропы. Из этого села, на двух лодках, мы будем спускаться вниз по реке Менза до Чикоя, откуда поедем на машине в Читу. С нами едет лоцман, человек, который месяц назад плавал по реке Менза, — очень хвалит тамошние места, заселенные — не очень густо — потомками раскольников. По-видимому, будет любопытно и поучительно, а пока сижу, ожидая самолета, на гранитных ступеньках порта. Поднялся ветерок, туман, по-видимому, разгонит и мы сможем улететь. Груз огромный — с таким грузом я еще не летал: 140 килограмм!

После поездки на Чикой предполагаем съездить на рудники, в город, километрах в 300, на машинах и там, дальше,

на Онон. Название — спросонья — города вылетело у меня из памяти, но вчера я получил карту заброшенных рудников, где когда-то до революции добывались драгоценные камни, и среди владельцев копей топазов значится госпожа Пешкова... Надо съездить, рудники эти вблизи города — сейчас вспомнил: Балей. С нами поедет быв. директор рудников, ныне зам. председателя Совнархоза.

Пока я писал — посветлело, ветер усилился, но свежо по-прежнему.

Целую ребят и внуков.

Подходят автомашины, мотоциклы, против меня — клумба, а за подъемной площадкой — фонари. Уже 7.20 утра, т. е. в Москве 1 час. 20 мин. ночи. Сейчас подадут самолет.

В. И.».

«2 сентября 1962 г.

Чита.

Дорогая Тамара и дети!

Сегодня — поездом — мы приехали в Читу, через город — Петровск-Забайкальский, куда явились на машине, через горы, из села Красный Чикой. Шесть или восемь дней из нашего 17-дневного путешествия была хорошая солнечная погода, остальное время — дожди, ветры, пасмурность. Десять лет (описка: читай десять дней!) мы плыли по реке, не имея возможности сблизиться с внешним миром ни по телефону, ни по телеграфу; письма и газеты приходят туда (в селения из пяти — семи дворов: охотники) через два месяца. Отойдешь от берега на полсотню шагов — все изрыто кабанами и медведями, словно перекопано. Проплыли четыре порога, два из них обошли возле берега, а через два перемахнули среди ревущих бурунов. Картины природы здесь, на Мензе-реке, изумительные: река течет как в коридоре среди скал и гор, покрытых лесом, ревет в камнях, и стремительность ее такова, что ни одного старого русла, ни одной заводи. Летишь с быстротой 7—10 километров в час, и картины одна величественней другой сменяются непрерывно. Были замечательные встречи, но самая любопытная, пожалуй, была вчера, на хребте, когда мы ехали по тайге к ж. д. станции. Была ночь, часов десять. Фара машины осветила зайца. Он сидел обалделый, поводя глазами. Пока наш Гоша доставал ружье, наш шофер выскочил и поймал его руками, а затем сказал:

— Сейчас я вам покажу удивительную вещь: вы узнаете,

что такое заячья трусость. У меня это уже случилось. Я не буду его ни бить, ни давить, он просто умрет у меня на руках от страха.

И, действительно, заяц умер через три минуты: я смотрел на часы.

Как это называется: инфаркт или инсульт?

Как я уже телеграфировал, я поеду дня через два на Онон, на машине, собирать камни. Думаю, поездка займет дней десять — двенадцать, после чего попытаюсь пробраться к вулканам на Витиме, куда мы когда-то пробирались с Комой, но это ненадолго: дня три. В общем, самая сложная и трудная часть путешествия окончилась благополучно, — как со стороны физической, так и морально-политической. Я рассказывал в таежных селах об Индии — люди удивлялись не тому, что я был в Индии, а тому, что я попал к ним. Парикмахерша, брившая меня в одном селе, узнав, что только что проплыл по Мензе-реке, воскликнула:

— Господи! И охота вам так губить свою старость. Там так страшно, что даже мы, здешние, боимся туда плавать.

Целую Вас!

Мне подарили для Петьки рога изюбра, но они весят килограмм 20, и я их не взял. Обещали послать по почте.

В. И.».

«5 сентября 1962 г., среда

Чита.

Дорогая Тамара и дети!

Ждем машины. Погода вроде выровнялась (шли дожди неделю), начальство торопит население с уборкой урожая и разъехалось на машинах торопить. Мы были вчера у высшей местной власти — у первого секретаря Обкома, который принял писателей весьма любезно и сказал, что все сделает. Ну, вот и делают. Думаю, что все же во второй половине дня мы выберемся из города. Вчера ночью была сильнейшая гроза, мы ехали из гостей — были у одного полковника за городом, — молнии слепили глаза и белый, действительно ослепительный свет так заливал дорогу, что ничего не было видно.

Мы едем на Онон, туда, где бывал и Кома: на Шерлову гору, на рудники и в степи. Надеюсь, путешествие будет приятным и поучительным, т. к. я буду в тех местах, где еще не бывал, — на озерах Бурул-Горей и на золотых рудниках.

Я от вас получил письмо и телеграмму, в Красный Чи-

кой. С дороги телеграфирую — куда мне послать телеграмму.

Состояние духа хорошее! Тело тоже работает хорошо. Предполагаю, после возвращения с Онона, съездить на реку Витим, где мы тоже были с Комой, и добраться, таки, до вулкана. Надо полагать, удастся, так как хотят помочь нам военные.

Пришел шофер, явилась машина. Начинаем укладываться.
Целую. *Всеволод*».

По возвращении Всеволода домой его положили в больницу. Диагноз был страшный: гипернефрома, т. е. рак почки.

Я уговорила врачей скрыть от него диагноз — сказать, что у него камни в почке, требующие удаления.

Он поверил. Острил, что страсть к собиранию редких камней не обошлась ему даром.

Чувствовал Всеволод себя настолько бодро, что и до операции и после нее, лежа в постели, ежедневно делал как записи дневникового порядка, так и заготовки к рассказам, которые так и озаглавил: «Рассказы, придуманные на больничной койке».

Тут, как и всегда, Всеволод думает о совести, и прежде всего о писательской совести.

Он записывает:

«Я принимал, и совсем недавно, кислород, — через трубочку. Этот газ входит незаметно, и так же незаметно улучшается мир, то есть вам кажется, что он улучшается. Все ясно, просто, все разрешено, — а между тем вы всего только «на больничной койке», и мир, если привстать с этой койки и оглядеть только вашу палату, довольно сильно неблагоустроен. [...] Врач-анестезиолог сказал:

— При современном состоянии медицины мы способны уничтожить любую боль. Но как тогда, если не будет болей, мы установим состояние больного?

[...] Я думаю, то же самое и в области литературы. Надо все-таки, чтобы чувствовалась боль — если она есть. А что она есть, это несомненно...»¹

ПОСЛЕДНИЕ ЗАПИСИ ВСЕВОЛОДА

Из последних записей Всеволода заслуживают пристального внимания, по-моему, следующие:

¹ «Переписка с Горьким», с. 431—432.

«Чему бы я хотел научить молодых авторов? Упорству. Я не думаю, что любви к искусству нужно учить, любовь есть любовь, ее нужно добиваться».

«Что такое — фрагментарность? Является ли фрагментарность неизлечимым, а главное, невыносимым пороком произведения?»

Фрагментарностью называется то состояние произведения, когда автор нарушает непрерывность изложения и читателю не столь легко восстановить связь между отдельными эпизодами. Фрагментарно написаны многие произведения М. Горького, и в частности «Клим Самгин». Фрагментарна «Поэзия и правда» Гёте. Во фрагментарности до сих пор упрекают Бальзака. Многочисленные отступления в «Евгении Онегине» тоже позволяли называть этот роман фрагментарным. Но фрагментарность — внешнее впечатление, и оно исчезает по мере того, как читатель привыкает к книге (если, разумеется, книга талантлива), и по мере того, как книга разъясняется и втолковывается критикой читателю. Важно поэтому только то, — смог ли автор фрагменты чисто внешней истории эпохи привести в непосредственную связь с ходом общего духовного развития народа, который он живописует, равно как и с ходом своего личного развития как художника и гражданина».

«Всякое истинное искусство — современно. «Одиссея» Гомера, «Война и мир» Толстого, или «Бесы» Ф. Достоевского, или «Утраченные иллюзии» Бальзака могли появиться только тогда, когда они появились, и несут отпечаток своего времени. А мы читаем их теперь по-современному.

А если так, писатель и должен чувствовать, осознавать себя и возможно глубже отображать современные думы, надежды, мечтания, наконец.

И чем глубже он будет это понимать, чем сильнее будет к этому стремиться, тем выразительнее и ярче будет его творчество.

Чем мировое искусство призвано отразить современность?

Борьбой за мир, национальную независимость, сосуществование»¹.

«Фантазия — животворящая сила.

Увеличение любви к искусству и поэзии накладывает на нас обязанность, заставляет нас, — хотим мы этого или не хотим, — острее понять современность, чтобы выступить

¹ Написано в 1962 году.

перед ее нуждами, радостями и горем с открытым лицом и чистым сердцем.

Сказанное об увеличении любви к искусству относится не только к СССР и странам соц. лагеря, но во Франции, стране искусства, музеев; Лувр, скажем, пустовавший до войны, я это видел сам, — сейчас полон людьми. Правда, там жалеются, что поэтов читают плохо. Я думаю — это дело временное, дело роста. У нас, например, *читают поэтов хорошо* (подчеркнуто Вс. Ивановым. — *Т. И.*) У нас много поэтов — сотни — существуют на гонорар со своих стихов. Я был в этом году¹ во Франции, Англии, Японии, где встречался со многими писателями. Там на гонорар со стихов живет, в каждой стране, десяток, если не меньше, поэтов».

«Хочется довести свой опыт и свои искания до читателя и до своих братьев писателей, особенно до молодых, которым весьма полезно было бы знать путь своих старших братьев писателей, посевших на своей работе, хотя бы для того, чтоб их молодой путь был менее извилистым и менее трудным, чем наш путь.

Вред от ненапечатанной книги — тормоз развития.

Книга, если она талантлива и — не вражеская вылазка, имеет право быть напечатанной (вопрос тиража) и должна быть напечатанной, хотя бы только для того, чтобы быть раскритикованной.

Только тогда может расти и развиваться литературное творчество, когда каждая книга, достойная этого определения, увидит свет (пусть иногда очень малым тиражом)».

САМООЦЕНКИ ВСЕВОЛОДА

В разные периоды жизни Всеволод сам на удивление противоречиво оценивал свое творчество.

Чтобы разобраться в его оценках, надо читать их всегда в контексте времени и обстоятельств (когда писалось).

Начиная с признания в письме к Горькому: «Я не далек по уму» (это он-то, умнейший человек!). Сам он (даже и тогда) совсем не то, вернее, не буквально то хотел, вероятно, сказать: «не далек» надо тут понимать как «недостаточно развит», и опять же недостаточно — сообразно своим требованиям, а не безотносительно.

¹ 1961 год.

То же самое и в записных книжках, когда он пишет: «Будь бы у меня тот ум, я *был бы* Бальзаком, а *теперь* разве что Бурже». Во-первых, он и при любых обстоятельствах не «Бурже», а во-вторых, не ум у него был не тот, а обстоятельства его жизни не те. Он же был не просто умен, а философски умен — мудр.

Простору для ложных перетолкований своего творческого кредо он дал сколько угодно.

Я уже говорила об «Истории моих книг», где наряду с присущим ему умом и юмором наличествует (в опубликованном варианте) элемент некоего смещения фактов. Но ведь есть и другие вполне конкретные, несправедливые и неверные его отзывы о самом себе.

Например, в письме к М. В. Минокину Всеволод назвал свои два капитальных труда — «Кремль» и «У» — незавершенными и даже «незаконченной болтовней».

Если они незаконченны, тогда все его творчество 20-х и первой половины 30-х годов (т. е. именно того периода, когда он был наиболее самим собой) незаконченно.

Тут все парадоксально.

Ведь именно он, а не кто-то другой, написал о своем творчестве «Идолы Индии». А есть у него и такая запись: «Критики вообще мало занимались моим творчеством, а если занимались, то всё, кроме наименее оригинального, считали *незаконченным или нетипичным*».

В письме же к Минокину он сам становится в позицию именно такого критика. Но это только если понимать его буквально — чего делать применительно ко Всеволоду никогда не надо, — ибо то, что он сам считал незавершенным, относилось иногда к непомерности его требований к самому себе, а иногда и к иронической перефразировке чужих мнений.

Первые, законченные варианты «Кремля» и «У», написанные им в конце 20-х — начале 30-х годов, тем и поразительны, тем и ценны, что не только никакая злонамеренная или недостаточно компетентная редакторская рука их не коснулась, но и в самом Всеволоде еще не зародилась (в период их написания) опасная для целостности произведения оглядка на будущего редактора.

Раньше после неприятия, критикой ли, редакторами ли, какого-нибудь своего произведения Всеволод никогда надолго не падал духом, а, отдав естественную дань огорчению или возмущению, всегда принимался работать дальше.

Характерны концовки его «огорчительных» дневниковых записей и писем: «Силы есть — буду работать!» «Буду писать

новое!» Бабель написал ему однажды в шуточной записке: «...положение (нас) безумцев, сделавших вдохновение источником своих унижений».

И оба принимали горячо, всем сердцем принимали *идеи* революции, *идеи* советской власти.

Она, власть, была им *кровно своя*.

Когда Всеволод начал поручать мне «работать» с редактором вместо себя, он обычно говорил: «Ну чего ты расстраиваешься — пусть он (она) делают, как знают, ведь то, что я написал (дело шло о переизданиях), все равно остается — не раз опубликовано». Я особо подчеркиваю, что неправомерное, с моей точки зрения, подчинение редактуре Всеволода считал явлением преходящим.

Мои «показания» в этом смысле уже помогли при отборе вариантов для первого посмертного Собрания сочинений.

Как составителю этого собрания, еще далеко не полного, а скорее избранного в 8-ми томах, мне и пришлось первой (разумеется, с помощью всего коллектива) бороться с тем «чертом», который немало понапутал в литературном наследии Вс. Иванова.

БЕЛЫЕ МЕСТА В ЛИТЕРАТУРНОМ НАСЛЕДИИ ВСЕВОЛОДА

В наследии этом очень много белых пятен. Скажем, поэзия!.. Такой знаток, как Леонид Мартынов (в своих «Воздушных фрегатах»), утверждает, что в сибирский период Вс. Иванов писал прекрасные стихи (по Мартынову — их заимствовал частично Антон Сорокин). Но «серапионы» высмеяли представленную им на суд поэму «Сошествие во ад», и Вс. Иванов не колеблясь выбросил рукопись в невские воды.

А большинство рассказов 20-х годов и лирических отступлений в повестях того периода написано ритмической прозой. Они, безусловно, являются не чем иным, как стихотворениями без рифмы.

В одной из передач по телевидению, из серии «Русская речь» (передачи неудачной — материалу было заснято на 1,5 часа, а выкроены из них обесмысленные сокращения короткие тексты), я читала за кадром куски из повести «Цветные ветра» и рассказа «Пустыня Тууб-Кая» (при сокращении выпало обозначение того, что именно звучит и откуда взято). Очень многие, в том числе опытные литераторы и редакторы, спрашивали меня потом, чьи стихи я читала?

Да и впрямь, разве это, например, не стихи:

«Через степь на радость! Через степь на солнце! Пройдем и проедем степи, пески превратим в камень, камень в хлеб! Веселых дней моих звенящая пена будь!»

Или:

«Слова вы, слова — плоды спелые и радостные!

Губы вы, губы — плоды теплые и жизненные!

Травы вы, травы — заросла, облепилась душа вами и сами вы душа моя!..»

А вот еще: «Экая гайдучья трава! Не только конь — камень не в силах разжевать такой травы! И не потому ль в горах скалы — обсыпавшиеся, обкусанные, словно зубы коней, что бессильно крошатся о травы Тууб-Кая. И надо всем, вплоть до ледников, такое же железное, как пески Тууб-Кая, — небо. Камень в горах тугой и жесткий. Веселая и зеленая под ним земля. Солнечный пламень в горах потух, и облака, как пепел на костре человека, закрыли камень. Под руку попалась трава. Экая гайдучья трава: не разжевать ее, не раздавить!»

Цитировать можно до бесконечности...

Я умоляла Всеволода забыть о редакторах и писать «для себя», то есть для будущего читателя.

Он внял моим мольбам лишь отчасти — писал и опять без конца переписывал «для себя» сперва «Левшу», причем стихами (пьеса не была ни опубликована, ни поставлена. Вариантов множество, но они могут быть опубликованы, как и другие незаконченные его произведения, до сих пор переполняющие личный архив, лишь в томе или томах «Литературного наследства», которые, я уверена, будут когда-нибудь (вопрос времени) посвящены творчеству Всеволода Иванова), потом фантастические рассказы из цикла, начатого им в 1944 году.

Редакторов же он «передоверил» мне.

Стремление во что бы то ни стало печататься и в то же время полная неспособность (мучительно его ранившая) побороть редактора оказались ахиллесовой пятой Всеволода.

Меня буквально терроризировало желание Всеволода «переписать» самого себя, что он частично и осуществил: переписал «Бронепоезд», «Факира», переделал для печати, сильно упростив, вариант «Истории моих книг», где придумал для каждого произведения отправной эпизод, будто бы реально существовавший и послуживший основой фабулы, чего, по сути, у него — фантаста — никогда не бывало в буквальном смысле. Его фантазия всегда все претворяла.

Фантаст и романтик, он изощрялся в подыскании натуралистических мотивировок, будто бы приведших к созданию того или иного из его произведений.

Нечто подобное (это носилось, по-видимому, в воздухе) взбрело тогда на ум и Пастернаку, который в последние годы своей жизни вознамерился издать свои стихи, снабдив их прозаическим истолкованием. На манер того, как издают в Италии стихотворные переводы: справа оригинальный текст, а слева их прозаическое истолкование.

Но это хоть и кощунственно, все же лучше того, что проделал над собой Всеволод в восьмитомном собрании (1958—1960 гг.), когда он соглашался на видоизменения своих текстов, подчиняясь редакторскому нажиму.

ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Справедливость восстановлена.

В новом, первом посмертном Собрании сочинений все произведения Всеволода Иванова восстановлены в своей первозданности, но... Как это ни странно, здесь я сознательно повторяюсь, никакого отклика в печати это не получило. Странность простирается дальше. Если удивительно невнимание критики к восстановлению первозданности творчества писателя, то тем более удивляет полное невнимание к впервые посмертно опубликованным произведениям.

Неужели критика настолько захлестнута текущим моментом, что ей недосуг оглянуться на историю советской литературы?

Чем объяснить этот как бы заговор молчания, этот вакуум критики вокруг ставших доступными читателям лишь после смерти автора его романов, рассказов, пьес?

Периодическая печать, телевидение, радио вспоминают о Всеволоде Иванове лишь как об авторе «Бронепоезда». Как это объяснить? Так ли уж неисчерпаемо богата наша литература сегодня, чтобы можно было закрыть глаза на ее былые, но лишь теперь ставшие известными достижения?!

Понятно, что жизнь идет и все движется, изменяется.

Новым литературным произведениям необходимо уделять большое внимание. Но... если у старого мастера объявляются неизвестные дотоле произведения, как не обратить на них внимания?

«Неразъясненный» художник еще наполовину не родился для читателей (ведь очень немногие умеют выбрать и оценить самостоятельно — так уж читателей приучили).

Пока не подобран ключ к пониманию писателя, не построена логически обоснованная система прочтения; читатели часто подвержены случайным и необоснованным легендам, сложившимся о творчестве писателя.

Внимание прессы и писательской общественности требуется не только входящим в литературу молодым, но и старым мастерам, а читатель нуждается в воспитании вкуса.

О произведении должен судить тот, кто способен понять и замысел, и те задачи, которые ставил перед собой автор, когда осуществлял его.

Творческая судьба Всеволода Иванова сложилась очень странно. Как на качелях: вверх — вниз. И он склонен был винить в этом только самого себя, свой характер.

Всеволода не воскресить.

Это Чехов сказал: «Справедливость всегда торжествует, но жизни человеческой не хватает, чтобы увидеть это торжество».

Жизни Всеволода не хватило. Он не увидел.

Но его неопубликованные произведения постепенно начинают жить. В новом, первом посмертном Собрании сочинений им почти целиком отведено два тома: 5-й и 8-й.

Среди неопубликованного при его жизни есть два романа — «Кремль» и «У», которые никто не редактировал; они первозданны, написаны в расцвете таланта и свыше 50 лет ждали своего подлинного рождения — встречи с читателем.

Когда, в конце 1982 года, я пишу эти строки, роман «Кремль» уже вышел, правда с сокращениями и тиражом всего 5 000 экземпляров. Как-никак, но обрел жизнь.

Дело теперь за критикой и литературоведами.

Однако критика — критикой, смерть — смертью, а жизнь — жизнью.

О смерти Всеволода я писать не могу. Это до такой степени сугубо личное, что если когда-нибудь и коснусь этой темы, то не для публикации при моей жизни.

Для меня Всеволод жив, пока я живу.

Творчество же его не из тех, что умирает (сколько бы критика ни обходила его молчанием) вместе со своим создателем.

Первыми продолжателями жизни творчества Всеволода явились его современники — члены Комиссии по литературному наследству Всеволода Иванова.

Уже вышло первое посмертное Собрание сочинений (фактически) в 9-ти томах.

Издаются отдельные сборники.

За рубежом, все в большем числе стран, начали появляться переводы и монографии о творчестве Всеволода Иванова. Читательский интерес (судя по спросу) огромен.

Книг Вс. Иванова в продаже нет!

Не успев появиться, они тотчас становятся библиографической редкостью.

А ведь он писал: «...все хорошо, лишь бы было оно талантливо, гуманно, лишь бы служило на помощь и счастье людям».

И «...писатель, положив рукопись оконченной книги на письменный стол, вдруг услышит грохот землетрясения, который создала его книга. И гул от этого грохота не раз обойдет кругом всего земного шара! А произошло это только оттого, что человек вддел нитку в иголку для того, чтобы шить, а не иголку в иголку, чтобы уколоть собрата своего».

Кончить свой монтаж мне хочется словами из письма Виктора Шкловского (он написал эти строки 10 апреля 1964 года):

«Всеволод был человеком огромного художественного темперамента, соединенного со спокойствием будды; самоуглубленный, свободный, сотворенный природой так, как она спокойно творит кристаллы».

Октябрь 1966 — декабрь 1982



Портреты
грузин



Всеволод Эмилиевич Мейерхольд



Стояла холодная зима 1921—1922 года. Улицы часто очищены от снега. Трамваи не всегда ходят. Вечерние занятия (по расписанию) кончаются к 10 часам вечера, а вне расписания — в зависимости от вдохновения педагога, ведущего последний урок.

Если это был урок Всеволода Эмилиевича — времени не существовало, оно для нас останавливалось, и мы, студенты, готовы были слушать его до утра, лишь бы была у него охота говорить с нами. Выбиваясь за тему данной лекции, он говорил нам об искусстве, об его высоком значении, о непременной и неизбежной его партийности, целеустремленной направленности.

То был период опрокидывания авторитетов, проходивший, однако, в нашей сфере не под лозунгом «Классиков — с корабля современности». Всеволод Эмилиевич учил нас не «сбрасывать» классиков, а по-новому, по-своему осваивать их наследие. Режиссер, говорил нам Всеволод Эмилиевич, обязан иметь свое собственное видение, без этого он не имеет права заниматься искусством сцены. Искусство всегда равнозначно творчеству, а творчество неотделимо от новаторства: художник только тот, кто сумел увидеть в мире и отобразить хотя бы одну только, новую черточку, до него не познанную. Поэтому на каждом, вступившем на путь искусства, лежит особая ответственность. Чтобы не быть балластом, чтобы не быть самозванцем, художник обязан непрестанно работать над собой, совершенствоваться, уточнять свое мировоззрение, обострять способность восприятия — ведь ему необходимо

суметь претворить окружающее по-своему, а по-своему — значит, непременно в чем-то и по-новому.

Нужно прежде всего отдать себе отчет в том, что у тебя есть нечто за душой, о чем хочешь сказать, показать, отобразить, изобразить, — только тогда ты имеешь право заниматься искусством. Это относится ко всем видам искусства, говорил нам Всеволод Эмилиевич, и в особенности к искусству режиссера, потому что режиссер должен совместить в себе одном как бы несколько представителей разнообразных отраслей искусства и науки. В идеале режиссер должен быть: драматургом, художником, театроведом, искусствоведем, историком, критиком, музыкантом, актером и уже только тогда — постановщиком. Если режиссер не в состоянии овладеть всем перечисленным практически, он обязан хотя бы теоретически изучить необходимые для его комплексной работы области искусства и уметь найти соответствующий критически-творческий подход к труду тех, кого он, в случае своей практической несостоятельности в той или иной отрасли работы, должен привлекать к сотрудничеству при постановке спектакля.

Все мы для поступления в ГВЫРМ должны были не только пройти обычные для приема в театральную школу испытания, но еще и представить свои режиссерские экспозиции какого-либо спектакля. Я, например, представила экспозицию постановки «Балаганчика» Блока.

Эти экспозиции служили предметом обсуждения во время занятий с Всеволодом Эмилиевичем.

Подключались и новые студенты (в порядке исключения прием не прекращался и после начала учебного года), и им посвящались отдельные занятия, на которых «для затравки» их экспозиции в пух раскритиковывались, даже если они были и очень талантливы. Так поступили, скажем, с Рошалем.

Рошаль примкнул к нам уже во второй половине учебного года. Он «защищал» перед нами свою экспозицию одной из драм Шекспира, какой именно — я не помню, помню только, что, науськиваемые Всеволодом Эмилиевичем, который всегда старался развивать в нас полемический задор, мы так напали на Рошала, что он попервоначально даже растерялся.

А Всеволоду Эмилиевичу только того и нужно. Хитро прищурившись, запрокинув голову (излюбленная его поза — в профиль к аудитории), он одним каким-нибудь словечком, а иногда всего лишь улыбкой или ироническим взглядом направлял ход дискуссии.

Мы должны были твердо усвоить, что режиссерская экспозиция спектакля непременно включает детальный критический анализ произведения, с учетом его исторического и современного значения, и драматургическую раскадровку — сообразно прочтению этого произведения данным режиссером.

Зрители спектаклей Мейерхольда «Горе уму» и «Евизор», поставленных много позже того периода, когда Всеволод Эмилиевич читал нам лекции, вернее — вдохновенно говорил нам о режиссерском искусстве в особнячке на Новинском бульваре¹, помнят, что в его режиссерском прочтении и Грибоедов и Гоголь предстали совершенно в новом, неожиданном и непривычном раскрытии.

Похожий метод режиссерского прочтения классики блестяще, на мой взгляд, применил Эйзенштейн, поставив «Мудреца» в Театре Пролеткульта, и с меньшим успехом, в более поздний период, — Акимов, поставивший «Гамлета» в Театре им. Вахтангова.

Итак, критикуя друг друга, мы познавали, что режиссерски прочитать пьесу, драматургически для себя перевоплотить ее — это только начало работы режиссера над экспозицией спектакля.

Надо суметь увидеть место действия — насытить его цветом и светом, придать ему форму. Надо увидеть действующих лиц опять же в форме, цвете и свете, но еще и в движении. Иными словами — создать макет, эскизы декораций и костюмов.

Надо услышать пьесу — т. е. создать партитуру ее музыкального звучания.

Надо психологически обосновать поведение каждого действующего лица, придав ему определенный рисунок, — т. е. надо в лицах проиграть для себя весь спектакль, вычертить графически схему движения.

«Тогда, — говорил Всеволод Эмилиевич, — можно считать основную работу законченной, собирать труппу — читать пьесу, распределять роли, беседовать с исполнителями».

Характерная особенность педагогического метода Мейерхольда — соединение пафоса с иронией. Предъявляя нам самые высокие требования и выражая веру в наши возможности их осуществить, он тут же и посмеивался над нами.

¹ Теперь улица Чайковского. Там в двухэтажном, разрушенном бомбой во время войны особнячке помещался вначале ГВЫРМ.

Ирония его не всегда выражалась словами, чаще мимикой. В этом смысле он совершенно неповторим. Развивая перед нами самую высокую теорию, он вдруг подмигивал, шурился, в глазах его загорались искорки смеха, и мы безошибочно ощущали расстояние, лежащее между нашими реальными возможностями и тем, чего нам в идеале надлежит достигнуть.

Перекраивалась в увлекательных беседах с нами Всеволода Эмилиевича не только драматургия классиков. Перекраивался мир — его социальная сущность, — перекраивался с большевистских позиций нашего вдохновенного учителя.

Мы призывались им растить и развивать в себе новые человеческие качества, необходимые для деятелей революционного искусства. Призывались подчинить все свои чувства высоким идеалам революции.

Наше искусство должно служить революции, а следовательно, оно призвано не плестись в хвосте у современности, а обогнать ее. Театр не развлечение, а средство воспитания. Мы готовим себя к жреческой деятельности, мы — будущие учителя людей, призванные участвовать в их перевоспитании, призванные идти вместе с ними по путям социализма, призванные в чем-то обогнать их и суметь приоткрыть перед ними дали коммунизма.

А потому сами мы обязаны совершенствоваться и совершенствоваться — всегда и везде, на каждом шагу, имея в виду не только специфику мастерства, но и свою человеческую личность. Даже мелочи имеют тут значение — разве не из них складывается наш облик? «Вы не какие-нибудь бессмысленные барышненки, ищущие в театре легкой жизни и легкого времяпрепровождения, вы — подмастерья в мастерской волшебства, призванного, чудесно сплавив искусство и науку, создать образец социалистического человека. Подите умойтесь, Каширина (это относилось уже ко мне лично или к какой-нибудь другой студентке, однако повторять такие замечания Всеволоду Эмилиевичу не приходилось — слово его было для нас законом). У вас открытое симпатичное лицо, смотришь на вас и веришь, что вы сможете что-то хорошее совершить в жизни, а все эти мещанские ухищрения — покрашенные ресницы, щеки, губы — приберегите под старость, да и то в том случае, если, вопреки моим ожиданиям, из вас ничего не получится».

Вот какая царила у нас в ГВЫРМе атмосфера и на какой высокой ноте мы должны были существовать там.

Отказ от «бытового грима» — немаловажное лишение. Привыкнуть красить губы очень легко, а отвыкнуть не легче, чем, скажем, бросить курить.

Думать о внешних ухищрениях, приукрашающих твою брэнную особу, — позорно, да и о хлебе насущном тоже. Большинство из нас стоически голодало, но «политико-моральное» состояние было, безусловно, на высоком уровне.

Всеволод Эмилиевич не устал твердить нам, что именно мы призваны в своей театральной деятельности найти н о в ы й отклик на н о в ы е запросы зрителя в очень трудные, но великие дни.

«Учись — совершенствуйся».

Мы и старались.

Лично я нашла тут, у Мейерхольда, все, к чему стремилась: и театр, и «служение», которому надо приносить «жертвы». Какое же служение без жертв!..

Поздно ночью выходим на темный заснеженный Новинский бульвар и разбредаемся пешком, распаясь на группы — по маршрутам.

Часто шли вместе Эйзенштейн, Юткевич, Федоров, Оля Шилингер и я.

Половина пути у нас общая, но на Мясницкой (ул. Кирова) мужчины отставали от нас, о проводах и речи быть не могло — совсем не тот был стиль взаимоотношений. Федоров уходил один, он жил у Покровских казарм; Эйзенштейн и Юткевич всегда вместе. Эйзенштейн жил где-то у Покровских ворот, а Юткевич, по-моему, все же провожал его. Все мы слушали, раскрыв рот, увлекательные, оснащенные блистательным юмором рассуждения Эйзенштейна. Он был для нас реальным идеальным воплощением того, каким режиссер должен быть, по словам Мейерхольда.

В Сергее Михайловиче Эйзенштейне чудесным образом сочетались драматург, художник, постановщик; к тому же он, уже и в тот период, был разносторонне образованным человеком, во всяком случае куда образованнее всех нас. Вот мы и внимали ему как оракулу. А Юткевич, который к тому же был или казался (я не знаю точной разницы их возраста) куда моложе Эйзенштейна, но тоже являл собой редкий образец совмещения разносторонних дарований, взирал на Эйзенштейна с особым юношеским обожанием, и когда мы шли все вместе, никого, кроме Эйзенштейна,

не слушал, шел вплотную рядом с ним, ревниво отстраняя Олю, которую Сергей Михайлович часто брал под руку, и всегда уходил вместе с ним, иногда даже не попрощавшись с нами; так было, когда Эйзенштейн уходил, не договорив какой-то мысли, и Юткевич боялся пропустить хоть словечко.

Оставшись вдвоем, мы с Олей припускались чуть что не бегом. Путь нам предстоял не близкий. Она жила в Девкином переулке (это на Бакунинской), а я в Токмаковом (недалеко от Разгуляя). Мы бежали по Басманной, иногда совсем темной и пустынной. Если занятия в ГВЫРМе не слишком затягивались, впереди нас шел обыкновенно фонарщик (на Басманной было газовое освещение) и палкой гасил фонари, а мы изо всех сил старались не отстать от него.

Тогда в ходу были легенды о «попрыгунчиках», каких-то аферистах в белых балахонах и на ходулях с пружинами, которые будто бы грабили пешеходов, предварительно напугав их до полусмерти. «Попрыгунчиков» мы никогда не повстречали, но однажды видели, как на противоположном тротуаре раздевали женщину. К стыду должна сознаться, что мы не остановились и даже не закричали, а, пользуясь темнотой, убежали без оглядки.

Иногда мы подбадривали себя громким чтением стихов. Обе мы, и Оля и я, были отличницами по классу Бебутова, т. е. художественному чтению. И вот на темной Басманной мы завывали бывшие у нас в моде стихи неведомого мне поэта (тогда неведомого, потом Оля призналась мне, что это стихи уехавшего за границу ее бывшего мужа — поэта Шилингера):

О, я знаю, мой возлюбленный Феникс, птицу надо ловить с хвоста.
А потому давай, ресницами вспенясь, зарыдаем и сольем уста...

Но чаще скандировали в ритме своего бега бодрившего нас Маяковского:

Кто там шагает правой?
Левой, левой, левой!..

На Разгуляе мы останавливались и заключали друг друга в объятия. Конец пути каждой предстояло пробежать в одиночку.

Прощались мы как на смерть. Телефона у Оли не было, и до следующего дня, до встречи в ГВЫРМе, мы ничего не

знали о судьбе друг друга и каждый раз радовались этой встрече как нежданному чуду, стесняясь показать окружающим свои чувства, свидетельство нашей ночной трусости, которая, однако, не становилась преградой на нашем пути к овладению тайнами искусства.

Тогда казалось, что нет в мире силы, способной отвратить нас от него. А приносимые ему жертвы, как и полагается, лишь укрепляли нашу страстную увлеченность.

Театральный сезон 1922—23 годов застаёт нас, студентов ГВЫРМа, уже не в особняке на Новинском. Занятия перенесены в помещение бывшего Театра РСФСР 1-го, вновь отданное Мейерхольду под театр его имени (теперешний Зал имени Чайковского).

В репертуаре театра два спектакля: «Великодушный рогоносец» и «Смерть Тарелкина».

Студенты несут обязанности вспомогательного состава, а иногда заняты в спектаклях и как актеры.

Но лекции и учебные занятия продолжают своим чередом.

Тогда все передовые деятели искусства были заняты поисками «новых форм»; скажем, в области литературы каких только не было тогда направлений и групп, и все в поисках *новых* словесных форм для новой по содержанию литературы.

Из многих примеров можно выбрать хотя бы такой: писатели и деятели искусства, члены РКП, объединились в КОХС (Коммунистическое объединение художников, поставивших себе целью борьбу с мещанством и косностью — с устарелыми формами выражения в искусстве).

Форма и содержание. Вот краеугольный камень, о который оттачивал наши молодые зубы Всеволод Эмилиевич.

— Может ли *новое* содержание быть вложено в *старую* форму?

— И вообще, может ли форма окостенеть?

— Не в том ли смысл и сущность искусства, что оно всегда ищет новой формы выражения?

— Можно ли считать искусством копирование какой-то, пусть даже и в совершенстве ранее найденной формы?

Всеволод Эмилиевич на все эти вопросы отвечал отрицательно.

— Заниматься искусством, — говорил Мейерхольд, — это и означает искать новую форму выражения. Нельзя, однако,

каждому вновь и вновь изобретать велосипед, ломаясь в открытые двери. Художник обязан быть высокообразованным и, в полном смысле этого слова, интеллигентным человеком. Он должен осмысленно разбираться в наследии прошлого. Но какая бы традиция из ранее существовавших в искусстве ему ни полюбилась, он не имеет права присвоить ее себе — тогда он будет не творцом, а всего лишь популяризатором, если не плагиатором. Самая лучшая традиция, даже у ее создателя, должна от полотна к полотну, от симфонии к симфонии, от романа к роману, от спектакля к спектаклю видоизменяться и совершенствоваться.

Всеволод Эмилиевич говорил, что, даже достигнув, скажем с точки зрения критики, вершины, художник должен продолжать дерзать и искать, если он остановится — неизбежно начнет скользить вниз по наклонной плоскости своей успокоенности.

Чего-чего, а вот уж успокоенности у Всеволода Эмилиевича никогда не наблюдалось. Многие критики упрекали его в отсутствии единой линии в развитии его искусства. Но ведь именно успокоенность-то он и отрицал, не давал себе роздыху, стремясь всегда к новым свершениям, всегда вперед. На его благородном новаторском пути были, конечно, и срывы. Но разве иные ошибки, совершаемые на тяжком пути исканий, не многократно благороднее топтания на месте — повторения уже давно до тебя или самим тобой найденного?

Ведь стоит лишь раз оседлать удачу (а Всеволоду Эмилиевичу это удавалось не раз и не два!), а там закрепи ее и пожинай лавры!

Вечные рискованные поиски Мейерхольда являют собой, по-моему, пример бескорыстного благородства в служении искусству.

Всеволод Эмилиевич разбирал с нами вместе свои прежние постановки, обсуждал будущие. Учил нас любить и уважать таких великих мастеров режиссерского искусства, как Станиславский, Вахтангов; оценивать и понимать таких различных по своей сущности и по ее выражению режиссеров, как Таиров, Любимов-Ланской и др.

Мы должны были ходить на все постановки различных театров Москвы. Нам вменялось также в обязанность писать рецензии не только для внутреннего употребления, но и для печати.

Рецензии некоторых наших сотрудников, как-то: Херсонского, Февральского, печатались уже и тогда в центральной прессе, да и рецензии других хоть раз, да находили место

по рекомендации Всеволода Эмилиевича в одном из выходявших тогда журналов.

В те годы в большом ходу были всяческие диспуты. Как правило, все постановки Театра Мейерхольда были предметом обсуждения на специальных диспутах. Бывали диспуты и более обобщенной тематики, например: «Нужен ли Большой театр, если его искусство перестало нас волновать?»; «Родится ли из биокосмических междометий биокосмический язык?»; «Проблема нахождения коммунистического пути для всех родов искусств»; «О современных путях русского театра».

На диспутах почти всегда, среди других ораторов, выступал Луначарский.

Мейерхольд очень ценил и уважал Луначарского, но стоило у того сорваться с языка какой-нибудь из излюбленных им сентенций вроде: «Наши дни — это суровая весна роскошного лета», как Мейерхольд начинал щуриться и покусывать губы. Можно было с уверенностью сказать, что потом, у нас на занятиях или на репетиции в театре, Всеволод Эмилиевич обыграет это «роскошное лето», даст волю своему безудержному юмору.

Всеволод Эмилиевич заставлял и нас выступать на диспутах. Застенчивым, теряющимся на публике студентам он внушал: «Главное — твердо знайте, что вы собираетесь отстаивать. Имейте свою точку зрения. Остерегайтесь облекать мысль в пошлую фразу. Пусть будет коряво, лишь бы не пошло. Выбирайте в публике воображаемого оппонента, смотрите на него в упор и доказывайте ему свою правоту. Если чувствуете, что получается у вас недостаточно убедительно, постарайтесь рассердиться — это очень помогает. Вообразите, что вас незаслуженно оскорбили, — защищайтесь, наносите удары, отстаивайте свою точку зрения, свое дело».

Спектакли Театра имени Мейерхольда не пользовались в тот период успехом у публики. Настолько не пользовались успехом, что Управление театрами, из соображений экономического порядка, поместило под одной крышей два экспериментальных театра, так сказать «уплотнив» Театр Мейерхольда Театром Фердинандова.

Общим у этих театров было только стремление к экспериментаторству.

Творческий метод Мейерхольда, широта и разносторонность режиссерских его замыслов резко отличались от твор-



«Серапиевцы братья». Стоят (слева направо): Л. Луц, Н. Тихонов, К. Федин, И. Груздев, В. Каверин. Сидят (слева направо): М. Слонимский, Е. Полонская, Н. Никитин, Вс. Иванов, М. Зоценко. 1922 г.



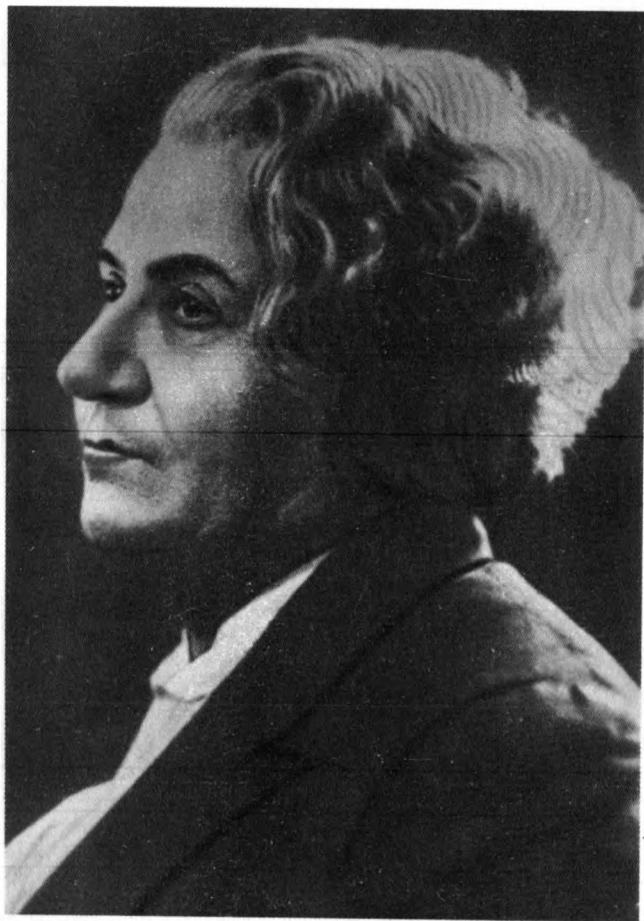
Л. Леонов, В. Лидин, Вс. Иванов. 1925 г.



Лидия Сейфуллина. 1926 г.



*Бригада писателей в Средней Азии. Справа налево: Н. Тихонов,
В. Луговской, Вс. Иванов, П. Павленко. 1930 г.*



Ольга Форш. 1935 г.



*Монопортрет Андрея Белого работы Ольги Форш. На обороте
ее дарственная надпись: «Дорогому Всеволоду Иванову. 1934 г.
Декабрь».*



В. М. Ходасевич. 20-е годы.



На даче у Веры Инбер. Слева направо: Н. Адуев, А. Ариан, Вера Инбер, Вс. Иванов, А. Афиногенов, И. Сельвинский, Ж. Гаузнер, Б. Сельвинская, Т. Иванова, Д. Афиногенова, Адуева. 1938 г.



Ташкент. Республиканская комиссия помощи эвакуированным детям. 1942 г. В центре Е. П. Пешкова, справа Тамара Иванова.



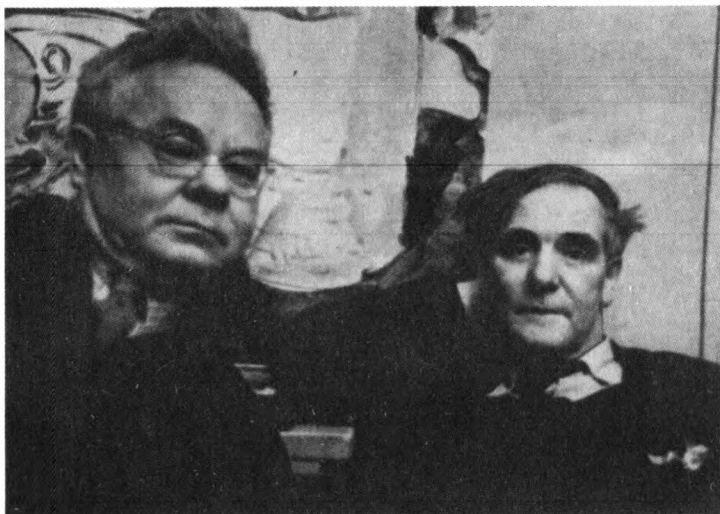
У рейхстага. 1945 г. Слева направо: А. Булгаков, Л. Славин, Н. Баканов, Л. Кудреватых, Вс. Иванов, Р. Кармен, В. Полторацкий.



Вс. Иванов с сыновьями Михаилом и Вячеславом. 1951 г.



Вс. Иванов в Бурят-Монголии. 1956 г. .



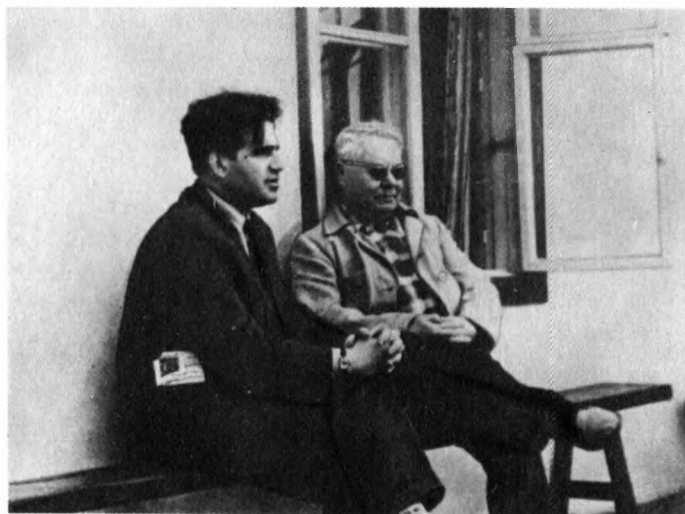
Вс. Иванов и П. Л. Капица.



*На Третьем съезде писателей СССР. Вс. Иванов и М. Бажан.
Май 1959 г.*



Вс. Иванов и Тамара Иванова в Карловых Варах. 1960 г.



Вс. Иванов и Александр Крон. 1960 г.



Вс. Иванов и Наир Зарбян в Японии. 1961 г.



Кабинет Всеволода Иванова в Переделкине.

ческих навыков Фердинандова, замкнувшегося в узкий круг самодовлеющего метро-ритма.

Мейерхольд тоже включал ритм в сферу изучения и применения как один из законов построения спектакля. Он считал, что ритм должен пронизать и речь, и движения актера. Однако Всеволод Эмилиевич никогда не придавал чисто внешним поискам главенствующего значения. Основным для него оставалось всегда содержание, которому форма призвана была служить лишь наилучшим средством выражения.

Учеников своих Всеволод Эмилиевич заставлял тщательно «отрабатывать» свой инструмент — голос, тело. Кроме общепринятых для учащихся театральных школ занятий: музыки, пения, уроков дикции, танцев, фехтования, бокса, акробатики, гимнастики, у нас была введена еще и биомеханика.

Некоторые критики противопоставляли биомеханику психологизированию. Это неверно. Основной принцип биомеханики — добиться наивернейшего выражения чувств и мыслей движениями человеческого тела.

Биомеханика — синтез душевного и психического состояния актера с его движениями. В итоге — нечто вроде акробатического балета. Под музыку мы проделывали сложные комбинации танцевально-акробатических движений, разрабатывавшихся Всеволодом Эмилиевичем совместно со студентами, которые проявляли в этой области наибольшие способности, как, например, Инкижинов, Павел Урбанович, Ирина Хольд (дочь Всеволода Эмилиевича).

Движения должны были подчиняться ритму, но в этом определенном ритме — чувству и мысли. Движений и чтения под метроном (до этого дошло, в какой-то период, ритмическое самоограничение Фердинандова) Всеволод Эмилиевич никогда не мог бы допустить и признать.

Оба театра — Мейерхольда и Фердинандова — работали под одной крышей (спектакли сперва чередовались, потом на два мейерхольдовских стал приходиться только один фердинандовский); в том же помещении проходили и наши учебные занятия.

Однако коллективы Театра имени Мейерхольда и его мастерских и Театра метро-ритма были не только разобщены, но, я бы сказала, даже враждебны друг другу. Возможно, здесь отчасти сказывалось то обстоятельство, что фердинандовцы насильственно, как нам казалось, «уплотнили» нас.

А им казалось, что мы «узурпаторы», потому что в их распоряжении было меньше, чем у нас, подсобных помещений и дней для использования сцены.

Я лично не только не враждовала с фердинандовцами, но на какой-то короткий срок стала даже «перебежчицей», и перебежчицей беспринципной. Меня привлек не творческий метод Фердинандова, а зазывы некоторых его соратников с посулами увлекательной работы. У нас же в то время, из-за болезни Всеволода Эмилиевича, был застой.

Однако меня постигло жестокое разочарование, так как вместо ставших для меня привычными высоко парящих, с необычайной широтой охвата теорий Мейерхольда, я столкнулась с весьма ограниченной, замкнутой в метро-ритме догмой.

Мы, мейерхольдовцы, призывались нашим учителем к неустанному самоусовершенствованию для несения высокой, жреческой миссии в искусстве. Фердинандовцы тоже призывались к «очищению», однако чисто внешним путем. Они призывались к подчинению своих чувств и движений неумолимому ритму.

В ту пору Фердинандовым был задуман спектакль (так и не увидевший свет) по сценарию Николая Эрдмана, в оформлении Бориса Эрдмана, в котором актеры призваны были пройти скоростным темпом все стадии развития человека — от каменного века до наших дней. В тот момент, когда я совершила «перебежку», репетировался «каменный век» — актеры ползали на четвереньках, прыгали, кружились, воздев руки, и издавали «первозданные» ритмические звуки. Моя «роль» изобиловала гласными и звучными согласными, что привело меня в несказанное уныние: я ведь жаждала произносить осмысленные и зажигательные речи...

Словом, через несколько дней я пошла с повинной к выздоровевшему Мейерхольду и, не без слез, покаялась в своем отступничестве, умоляя не судить меня строго и вновь приобщить к лону.

Уход мой и приход обратно не знаменовались какими-либо официальными формальностями. Однажды я просто пришла вместо одной репетиционной комнаты в другую.

Всеволод Эмилиевич очень смеялся, когда я рассказывала ему о репетициях «каменного века». Он сказал, что рассматривает мой поступок как естественное здоровое любопытство молодого пытливого ума, и снисходительно принял меня обратно. Обвинил же он, к моему глубокому изумлению, не меня, а своих «скучных» помощников.

Сосуществованию двух театров под одной крышей и на одной сцене был положен конец. Если спектакли Мейерхольда (того периода) не пользовались успехом у широкой публики, какая-то часть населения Москвы, пусть исчисляемая сотнями, а не тысячами, их все же посещала, чего никак нельзя было сказать о спектаклях Фердинандова, которые посещались даже и не десятками, а разве что единицами зрителей.

И вот настал день, когда уплотнивших нас фердинандовцев выселили от нас. Они целый день ходили по Москве с плакатами: «Театр метро-ритма выселяют»; «Театр метро-ритма терпит гонения» (или что-то другое в этом же роде), а потом пришли в театр и негодующей толпой ворвались на сцену, где репетировали мейерхольдовцы.

Началась словесная перепалка, которая завершилась рукоприкладством. Тут отличился Игорь Ильинский, он был очень задиристый, чуть что — лез в драку. Хотя у него самого в тот период были очень сложные взаимоотношения с Всеволодом Эмилиевичем, он не мог стерпеть, чтобы Мастера, так мы называли между собой Всеволода Эмилиевича, обижали «чужие». В ту знаменательную стычку фердинандовцев и мейерхольдовцев, когда страсти достигли наивысшего напряжения и все разом выкрикивали что-то, не слушая друг друга, Игорь Владимирович аккуратноенько снял пенсне, которое он тогда носил, поискал глазами, куда бы побезопаснее его пристроить, — увидел меня, поманил к себе, сунул пенсне мне в руку, жестом показывая, чтобы я отошла в сторону, и с кличем: «Не дадим в обиду нашего Мастера!» — он ринулся на фердинандовцев и силой своего темперамента увлек за собой остальных мейерхольдовцев, оттеснивших дрогнувшие ряды противников.

Как я уже отметила выше, у Ильинского и Мейерхольда в ту пору были очень сложные и своеобразные взаимоотношения. Всеволод Эмилиевич чрезвычайно ценил, да и как было не ценить такой яркий, гибкий талант, Игоря Владимировича, но в то же время и ревновал его к публике и к другим режиссерам и театрам, куда Ильинский время от времени перекочевывал. Ильинский многократно уходил из Театра Мейерхольда, но почти тут же возвращался обратно; позволял он себе также в тесном кругу и подшутить над Мейерхольдом, но в ответственную минуту всегда вставал горой на защиту «нашего Мастера».

...После изгнания фердинандовцев материальные дела нашего театра нисколько не улучшились. Бесплатно работали не только студенты, но и профессиональные актеры.

Чтобы как-то существовать, все мы принуждены были работать «на стороне». Большинство из нас преподавали или вели драмкружки в клубах рабочей молодежи и в красноармейских клубах.

Театр не давал нам никаких материальных благ, — напротив, мы ему, театру, помогали и своим бесплатным трудом, и даже материальными взносами. Когда нависала, например, угроза выключения электричества за неоплату счета, были случаи, что мы в складчину оплачивали этот счет.

Работа «на стороне» не только давала нам средства к существованию, но была одновременно и нашей творческой практикой.

Ведь ставя спектакль в каком-нибудь клубе, мы могли на практике применить все самые смелые советы нашего учителя. Могли развивать в себе «разносторонность», столь необходимую режиссеру.

Вот, например, я, в 1924 году, ведя драмкружок в войсках охраны Кремля, поставила на сцене Кремлевского театра «Бронепоезд» Всеволода Иванова (с которым я тогда еще не была знакома), инсценировав повесть¹ (пьеса была написана автором по этой повести только в 1927 году) и собственноручно создав оформление спектакля, осуществлявшееся переносными раздвижными ширмами.

Разумеется, Всеволод Эмилиевич не мог видеть всех наших клубных постановок, но мы в них перед ним отчитывались и мысленно всегда держали курс на его одобрение.

Не одна я, и другие мне в том же признавались: мы как бы всегда видели перед собой пытливый, иронически прищуренный, оценивающий наши деяния глаз нашего Мастера — Мейерхольда.

Всеволод Эмилиевич необыкновенно смело включал нас в практическую деятельность.

«Каширина (обращение ко мне на одном из занятий), вы у нас специалист по чтению стихов (а и вся-то моя «специальность» — в любви к стихам да в зычном голосе). На днях в Большом театре отмечается пятидесятилетний юбилей Брюсова — организуйте выступление от нашего театра». И никаких дальнейших указаний.

¹ Само собой разумеется, что моя инсценировка была весьма беспомощной попыткой создать из повести пьесу и ни в какой мере не напоминала созданную впоследствии самим автором пьесу.

Предоставлена полная возможность проявить инициативу, начиная от выбора произведения до назначения исполнителей (в данном случае исполнителями были Лишин, Суханова, Терешкевич и я сама); от режиссуры до установки юпитеров освещения на сцене Большого театра¹.

Как не умеющего плавать щенка, тебя бросили в воду. Ничего, мол, выкарабкается, инстинкт — стремление выжить — поможет. Вот и выкарабкивались — иногда с большим, иногда с меньшим успехом.

Во всяком случае, можно смело сказать, что результат оправдал метод, ибо на определенном этапе развития советского театра большинство ведущих режиссеров были мейерхольдовцы. Да и многие зарубежные прогрессивные режиссеры (например, Питер Брук) признавали себя учениками Мейерхольда.

Если же из каких-то учеников Всеволода Эмилиевича режиссеров и не получилось, как, например, из меня, — вина в том уж никак не его.

Но чтобы стать режиссером, надо ведь и актерскому искусству научиться. Поэтому мы все (или почти все) и как актеры были заняты в спектаклях, и не только в массовых сценах, а иногда даже и основные роли нам поручались.

Ставится спектакль «Земля дыбом». В основу этого спектакля легла пьеса французского писателя Марселя Мартине «Ночь» в переводе Городецкого. Всеволода Эмилиевича эта пьеса категорически не устраивала. Он создал экспозицию постановки, не отталкиваясь от пьесы, а исключая ее. После чего необходимо было «приспособить» пьесу к режиссерскому замыслу. Мейерхольд ведь не связывал себя рамками данной пьесы, смело вплетая в ее каркас интересовавшие его в тот период проблемы и замыслы. Переработать «Ночь» было ему совершенно необходимо потому, что нужного, соответствующего его замыслу революционного материала в пьесе не хватало, а другой, более подходящей пьесы тоже под рукой не было.

Тут Всеволод Эмилиевич и привлек поэта Сергея Третьякова к «преобразованию» пьесы. Строго говоря, от «Ночи»

¹ Тогда я была необычайно польщена, что выбор Всеволода Эмилиевича пал в данном случае на меня. Лишь много позже я поняла, что, не сам организуя на сцене Большого театра в честь юбилея Брюсова театрализованное представление, а поручив это мне — девчонке, Мейерхольд тем самым проявил «неполное» уважение к Брюсову, против которого у него был «зуб».

камня на камне не осталось — уж действительно она была «вздыблена» и доведена до того звучания, которое и озаглавили: «Земля дыбом».

Драма была транспонирована в трагикомедию.

Тогда почти все спектакли Театра Мейерхольда шли на конструкциях, которые строились на сценической площадке. Замкнутая коробка сцены, ограниченная декорациями с трех сторон, а с четвертой — отгороженная от зрителей занавесом, была разгорожена, обнажена, освобождена. И на этой «свободной», не отделенной от зрителя занавесом площадке, стояла конструкция — одна на весь спектакль. По ходу действия привносились лишь необходимые аксессуары.

Следует особенно остановиться на аксессуарах спектакля «Земля дыбом».

У Мартине «Ночь» — бытовая пьеса, бытовая драма. Действие происходит в бедной хижине, весьма натуралистически описанной в авторских ремарках. Там аксессуарами являются и развалившийся очаг, и выбитые стекла, и мелкие предметы, вроде щербатой посуды и чулка, который вяжет старуха Марьета.

Ничего подобного не было и не могло быть в героическом, условно поставленном спектакле «Земля дыбом». Аксессуары здесь скупы, монументальны и выразительны на полную мощь.

Ни натуралистическому чаепитию, ни старческому вязанию чулок места нет.

Именно в этом спектакле впервые въехал на сцену настоящий мотоцикл и в последнем акте на сцене находился самолет с вращающимся пропеллером. Все это предназначено было служить героинке.

Но был там предмет и совсем иного назначения — ночной горшок, на котором восседал «Его величество» (в исполнении Зайчикова). Дружный смех зрительного зала клеймом припечатывал «Его величество». Тут, что называется, комментарии были излишни.

О конструкциях говорилось и писалось много. Они многих возмущали. К ним трудно было привыкнуть. В основе лежало стремление Мейерхольда революционизировать форму спектакля. Найти *новую* форму, соответствующую *новому* содержанию и *новому* восприятию *нового* зрителя.

В то же время были и в этой области «крайние» поиски. Например, Эйзенштейн, во время своей работы в Пролеткульте, поставил одну из пьес Сергея Михайловича Третьякова в помещении котельного цеха завода «Парострой»,

причем пьеса была задумана в расчете именно на такое «оформление», она могла быть поставлена только непосредственно на заводе или же «котельный цех» должен был быть построен на сцене театра.

Именно конструкция (как форма решения сценической площадки) давала наибольший простор для графики сценических построений Мейерхольда. Ведь чем больше плоскостей, тем разнообразнее и выразительней можно заставить двигаться актера, тем многограннее можно показать его движения зрителю.

Позже, уже отказавшись от конструкций, Всеволод Эмилиевич все же сохранил пристрастие к многоплановости сценической площадки, излюбленное его решение оформления спектакля — лестница (блистательно обыгранная в «Даме с камелиями», одной из постановок последнего периода его режиссерской деятельности).

Само собой разумеется, театральную конструкцию надо уметь как построить, так и применить, иначе она рискует обратиться в свою противоположность, т. е. не простор предоставит для мизансценировки, а загонит и постановщика, и актеров в тупик.

Кроме всего прочего, если конструкция предназначается не для спектакля под открытым небом, на что, собственно, она, по существу, и рассчитана, она требует большой глубины и высоты сценической площадки.

В период, когда конструкции повсеместно «вошли в моду», что произошло в конце двадцатых — начале тридцатых годов, мне привелось видеть именно такую, обратившуюся в свою противоположность, конструкцию в одном из спектаклей Театра Красной Армии (еще до постройки нового здания, когда спектакли этого театра шли в бывшем актовом зале бывшего института для благородных девиц). Конструкция¹, о которой речь, аккуратно перерезала сцену горизонтальной линией, и во всех мизансценах, где режиссер поместил актеров на верхнюю часть этой конструкции, зрителю они являлись неким подобием всадников без головы, так как портал сцены начисто отгораживал актерские головы от зрительного зала.

Но на хорошо построенной и правильно использованной

¹ Это была постановка режиссером Виннером пьесы Всеволода Иванова «Компромисс Наиб-Хана». Хотя от портрета Всеволода Иванова мы уже перешли к Мейерхольду, не могу удержаться от некоторого «возврата». На генеральную репетицию этого спектакля (на обычные репетиции он не имел обыкновения ходить), я не пошла со Всеволодом (болели дети),

режиссером конструкции актер должен быть идеально виден зрителю любого яруса и любого ряда (немаловажное соображение для Мейерхольда — зачинателя революционного народного театра).

Актеры носили прозодежду (одинаковую в «Великодушном рогоносце» и в «Земле дыбом»).

Обусловливалось это, как мне думается, многими причинами. Одна из них: прозодежда заставляла актера напрячь все силы своего мастерства, чтобы только движением, голосом и мимикой, без помощи костюма и грима, передать видоизменения человеческих чувствований и мыслей — создать требуемый сценический образ. Перевоплотиться, заставить зрителя увидеть именно такой образ, без ухищрений гримера и костюмера, пользуясь одним лишь актерским мастерством, — такую задачу ставил Мейерхольд перед актерами.

Отсутствие материальных средств тоже стояло здесь, по-моему, не на последнем месте. При абсолютном вкусе Мейерхольда (встречается ведь не только абсолютный слух, но и абсолютный вкус), он не мог примириться с плохо выполненными из несоответствующих материалов костюмами, париками и т. д.

Прозодежда была хороша уже тем, что лишена каких бы то ни было претензий. Синий комбинезон, клеенчатый черный картуз или чепец и такой же фартук.

Спектакли были насыщены революционным пафосом режиссера-постановщика, даже и такие, где у автора пьесы, положенной в основу спектакля (как, например, в «Великодушном рогоносце»), этот революционный пафос начисто отсутствовал и даже не подразумевался.

Всегда и всюду главенствовала идея Революции. И вот именно эта идея в тот период лучше всего монтировалась с актерами, одетыми не в традиционные театральные костюмы, а в прозодежду.

Для режиссерских замыслов Всеволода Эмилиевича в тот период именно конструкции (как решение сценической площадки) и прозодежда (как решение внешнего облика актера) были решениями наиболее удобными или, во всяком случае, наименее неудобными.

и он, вернувшись домой, рассказывал о постановке, выражая полный восторг. Такое отношение к воспроизведению своих пьес и сценариев вообще было характерно для Всеволода. Он был так благодарен тем, кто занялся воплощением им созданного, что на досадные огрехи попросту не обращал никакого внимания.

...На репетициях присутствовала вся немногочисленная труппа и все, более многочисленные, ученики. Да и как можно было не присутствовать! Ведь репетиции Мейерхольда были его истинной творческой лабораторией.

Слава об этих репетициях широко распространилась, и чести быть на них допущенными добивались многие люди искусства, даже и вовсе не причастные к Театру Мейерхольда.

Частыми гостями на репетициях были Маяковский, связанный с Мейерхольдом еще со времени постановки «Мистерии Буфф» в Театре РСФСР 1-м, и Брики. С мнением Осипа Максимовича Брика Мейерхольд очень считался. Завидев его в зрительном зале, он всегда подбегал к нему и спрашивал: «Ну что? Как вам показалось? Что вы об этом думаете?»

Несмотря на всю свою целеустремленность и убежденность, Всеволод Эмилиевич был легко раним; хотя считал за должное скрывать свою ранимость, но совершенно явно нуждался в дружеской поддержке.

По мнению многих, допущенных на репетиции зрителей, они — эти репетиции — были куда значительней и интересней своего результата, т. е. спектаклей. Репетиции так же отличались от спектакля, как мечта от действительности или желаемое от сущего. Ведь на репетициях Всеволод Эмилиевич раскрывал свой творческий замысел не только рассказывая о нем, но и показывая его воплощение. Он сам проигрывал все роли.

Мне никогда не привелось видеть Всеволода Эмилиевича исполнителем какой-либо определенной роли в готовом спектакле. Киноленты того периода недостаточно совершенны. Многогранность и неопишуемая выразительность его режиссерских показов заставляет думать, что актер он, вероятно, был тоже необыкновенный.

Он находил на своей палитре краски и для гротесковой старухи, и для нежной драматической инженю, и для героического пламенного юноши, и для гнусного старого сатира.

Поражала его пластичность, тонкость перевоплощения в любой образ.

Несовершенными силами актеров его театра и его учеников невозможно было воплотить, хотя бы отдаленно, силу и яркость его сценических замыслов и показов. Из всех находившихся тогда в театре, по-моему, могли по-настоящему воспринять и воспроизвести предлагаемый им рисунок только

трое: Ильинский, Бабанова и Зайчиков. Все остальные воспринимали замысел Всеволода Эмилиевича настолько приблизительно, что люди, не побывавшие на репетициях, не слышавшие описаний самого Мейерхольтда и не видевшие его показа, не могли, присутствуя на спектакле, судить полностью о задачах, которые ставил перед собой режиссер и которые столь несовершенно решались на их глазах актерами.

Итак, идут репетиции спектакля «Земля дыбом». Всеволод Эмилиевич объясняет актерам свою режиссерскую трактовку их ролей — романтически приподнятую, обобщающую сценические образы. Он вычерчивает своим показом графику движений. У исполнителей же получаются только гротесково-комические персонажи, как, например, у Зайчикова, Ильинского. Романтическая же героинка звучит ходульно и фальшиво, а у некоторых исполнителей непозволительно (для данной режиссерской трактовки) бытово.

Одну из ролей — старухи Марьеты, матери (по режиссерской трактовке прообраза всех матерей), — репетирует профессиональная пожилая актриса (впрочем, пожилой она казалась только мне, с беспощадностью моих двадцати трех лет. Во всей труппе, сколько помнится, не было ни одного человека старше сорока лет). Актриса твердо помнит, что она играет старуху, и совершенно не в силах освоить, что она играет синтез матерей, прообраз матери. Дело тут вовсе не в ее бездарности или непонятливости. То, что она должна передать, абсолютно для нее непривычно, да и актерский ее аппарат к этому не приспособлен. Она ведь не занималась в пройденной ею театральной школе биомеханикой, не тренировала свой голос на громоподобное звучание. Словом, она, что называется, бытовая актриса, а ей надо создать обобщенный героический образ.

Всеволод Эмилиевич объясняет, показывает. Включается автор переработки «Ночи» в «Землю дыбом», Сергей Михайлович Третьяков. Он тоже пытается показать: речевым голосом. Ничего не получается. Так от репетиции к репетиции. А время не ждет. Премьера не за горами. Репетиционный период длился тогда не годы, а месяцы, иногда недели.

Наконец решают попробовать не профессионалку, а ученицу. Выбор падает на меня. Мне было бы невозможно (при полном моем тогдашнем неумении перевоплощаться) изобразить старуху мать, но с обобщенным образом мне (именно из-за полной моей актерской неопытности) легче

справиться или даже, говоря по чести, скорее, не справиться, а расправиться.

Что касается моих движений — они были столь же далеки от воплощения рисунка, начертанного Всеволодом Эмилиевичем, сколь близко следовало ему виртуозное их воплощение Зайчиковым. Внешне я, вероятно, больше напоминала ветряную мельницу, чем обобщенный образ матери.

Зато громоподобность удалась мне на славу. Когда я особенно старалась, мой голос покрывал не только зрительный зал. Он был слышен через разбитые на колосниках сцены стекла даже прохожим на улице Горького. Тогда она еще называлась Тверской.

За неимением лучшего, пришлось примириться с моим исполнением роли Марьеты, хотя оно и было только весьма и весьма отдаленным намеком на задуманный Всеволодом Эмилиевичем образ.

По окончании спектакля я шла на остановку трамвая «Б» (как раз напротив театра). Разгримировываться не приходилось (по той причине, что никакого грима и не было), снять прозодежду — одна минута, тем более что надета прозодежда поверх пальто (мне ведь не изящество фигуры надо демонстрировать — я обобщенный образ матери; следовательно, чем монументальней я буду выглядеть, тем лучше, а у нас к тому же на уровне колосников выбиты стекла — дует так, что и в пальто зуб на зуб не попадает).

Итак, я стою на остановке трамвая вместе с публикой, одновременно со мной вышедшей из театра. Трамваи ходят не слишком часто. Приходится ждать минут десять — пятнадцать. Во время этого ожидания почти каждый раз вспыхивает самостийный диспут, похожий на те, что можно было наблюдать и в более позднее время в фойе театров и на вернисажах.

Большинство публики не одобряло наших спектаклей. Не одобряло и «Землю дыбом», вслух высказывая свое неодобрение, делясь им друг с другом. Мне, актрисе, только что выступавшей перед ожидающими сейчас вместе со мной трамвая зрителями, не очень-то приятно было слушать их хулу, но стоять и молча слушать я тем более была не в состоянии. Ведь Всеволод Эмилиевич учил нас никогда не упускать случая пропагандировать наше искусство, объясняя публике его задачи и те цели, которые оно преследует.

Итак, в возникавшем самостийном диспуте я — единственный защитник. Все остальные — нападающие.

Всеволод Эмилиевич внушал нам, что истинное искусство всегда вызывает противоречивое отношение: у одних — восторг, у других — хулу. Наш спектакль хулят, — значит, он истинное произведение искусства (пусть даже восторг он вызывает только в исполнителях — это уж мое тогдашнеевольное толкование тезиса Мейерхольда).

Если во время импровизированного диспута на трамвайной остановке я все же не всегда оказывалась в одиночестве, иногда кто-либо из публики примыкал ко мне, вставляя слово в защиту спектакля или любезно отмечая и мои личные достоинства, тогда для меня наступало истинное ликование.

Мне трудно судить, ибо опыт мой в этом отношении весьма односторонен, о чувствах актрисы, любимицы публики, которую ждет у театра толпа восторженных поклонников. Ведь в моем случае все как раз наоборот.

Однако, думаю, вряд ли она испытывает удовлетворение, равное моему, когда, буквально отгрызаясь от терзавшей меня своим непониманием нашего искусства публики, я вдруг обретала в ее среде неожиданных сторонников или хотя бы одного сторонника.

Почему-то так получалось, что из театра никому в эту пору не нужен был трамвай «Б», а признаться в своих страданиях при единоборстве с публикой на трамвайной остановке и призвать товарищей себе на помощь мне не хотелось. Но и оставаясь неопознанной, молча присутствовать при разносных речах я тоже не могла. И то и другое: и призыв о помощи, и уклонение от спора — я считала проявлением непопозволительного малодушия.

В этом сказывалось влияние Всеволода Эмилиевича. Ведь он и своими речами и личным примером внушал нам убежденность, стойкость, неустрашимость.

Самочувствие мое тогда было примерно таково: уж и то беда, что из-за твоего и твоих товарищей неумелого воплощения не доходит до публики замысел гениального режиссера, но еще горшая беда, что ты не в состоянии даже и рассказать-то убедительно и доходчиво о том, к чему направлены ваши общие усилия, что за искусство несете вы людям.

Надо сказать, что не всякий состав зрителей столь осудительно воспринимал наши спектакли. Если аудитория была однородная — рабочая или красноармейская, — спектакль воспринимался совсем по-другому. Революционная страсть, заложенная в спектакль, доходила до массы одинаково или почти одинаково настроенных людей, наэлектризовывая,

передаваясь от одного к другому, объединяя всех — и зрителей, и исполнителей — в едином порыве.

Целевые спектакли всегда шли с успехом, а самый большой успех выпадал на долю спектаклей, демонстрировавшихся на открытой сцене. Например, на Воробьевых горах, совсем без сцены, когда «Землю дыбом» смотрело под открытым небом несколько тысяч зрителей — рабочих, красноармейцев, — успех был прямо-таки огромен.

Но, собственно, на это ведь и рассчитывал Мейерхольд, когда ставил «Землю дыбом». Не «кассовость» спектакля имел он в виду. Ну, а когда шел рядовой спектакль и на нем присутствовало только несколько десятков случайных зрителей, не естественно ли было (да и не без задней мысли: «Я, дурак, пришел, а в театре-то — пусто»), что они только расхаживали и друг друга, и исполнителей...

Всеволод Эмилиевич был глубоко принципиален в искусстве. Его сценические постановки различных периодов столь не похожи друг на друга именно в силу его неистребимой принципиальности. Разве не он утверждал: «Искусство — непрерывное *дерзание*, непрерывные поиски *новых* воплощений, *новых* средств выражения».

Никогда Всеволод Эмилиевич не занимался трюкачеством — формой ради формы, так сказать, самодовлеющим формализмом. Он неустанно искал соответствующую *данному*, а не какому-либо другому, содержанию *новую* форму выражения.

Он был ярким противником натурализма и фотографичности в искусстве. Но реальность содержания была всегда предметом его неусыпных поисков. Реальность он насыщал всеми теми обобщенными возможностями, которые она в себе несет как залог будущего, как воплощение еще не сбывшегося. Он брал предмет не только в его внешнем выражении, свойственном данному предмету, но еще и как обещание свершения тех надежд, которые рождает этот предмет.

В нашем присутствии происходили беседы с молодым архитектором Сергеем Евгеньевичем Вахтанговым.

Всеволод Эмилиевич и нам, и ему рассказывал, каким ему рисуется театр будущего.

Объяснял, почему театральные зал и сценическая площадка так необычны. На месте теперешнего партера Зала Чайковского предполагалась овальная сцена, от которой шли ответвления во все стороны в виде лестниц и галерей, а

зрители должны были сидеть почти вокруг, наподобие цирка. В спектакле, который будет там даваться, актеры и зрители должны слиться воедино. Пьеса или сценарий, по которому развернется действие, должны быть одинаково хорошо известны как актерам, так и зрителям. Задача актеров — стать лишь зачинщиками действия.

Шутливо преувеличивая, Всеволод Эмилиевич фантазировал:

— Если зрителя не удовлетворит исполнение какого-либо актера, он вправе устранить этого актера — ну, хотя бы оглушив его на время специальной резиновой палкой, — и сам стать на его место; само собой, если он, в свою очередь, не удовлетворит другого зрителя, тот вправе разделаться с ним, как он со своим предшественником.

Дальше шутка переходила уже в гротеск:

— Возможно, число «оглушенных» превысит в результате число действующих и воспринимающих.

Существенно лишь одно: все — и зрители, и актеры — в равной мере должны быть активными творцами спектакля.

Разумеется, мы понимали, что это — фантазия, не только неосуществимая, но и вообще сильно подчас преувеличенная.

Хотя и не полностью одинокая: о разновидности такого театра мечтал и Ромен Роллан (смотри его примечания к пьесе «14-е июля»).

Движущая сила и благородство таких вот фантазий вечных мечтателей в искусстве, каким был Мейерхольд, — залог безостановочного движения вперед, к новым свершениям.

Всеволод Эмилиевич не осуществлял всего того, что хотел бы и мог свершить.



У Мейерхольда за всю его жизнь редко выдавалось время для спокойного осуществления своих творческих замыслов.

Случилось так, что у него и вовсе не было театра.

Предпринятое строительство нового здания театра то приостанавливалось, то возобновлялось.

Но Мейерхольд был и остается весьма примечательным, давно общепризнанным явлениям не только советского, но и мирового театрального искусства.

Мне привелось видеть экспонаты его постановок во многих музеях мира. В том числе, например, в университетском музее Васейда (Токио — Япония). Или в 1979 г. во Франции — на выставке «Париж — Москва», а в 1981 г. в Москве — на выставке «Москва — Париж».



Исаак Эммануилович Бабель

С Исааком Эммануиловичем Бабелем познакомилась я в период моей работы в режиссерских мастерских и Театре имени Мейерхольда.

Остроумный, склонный к розыгрышам и мистификациям, Бабель пришелся, что называется, не по зубам той девчонке, какой я тогда была.

При свойственной моей натуре прямолинейности, я, актриса, совершенно не понимала «игры» в жизни, поэтому принимала, не будучи душой, совершенно всерьез все слова и поступки Исаака Эммануиловича даже тогда, когда относиться к ним следовало как к жизненному спектаклю.

Бабель непрестанно выдумывал и себя (не только для окружающих, но и самому себе), и разнообразные фантастические ситуации, а я все принимала всерьез.

И тем не менее дружба наша какое-то время продержалась, хотя и прерывалась постоянно взаимным непониманием. Чересчур уж разными человеческими индивидуальностями мы были.

Однако в периоды дружбы он допускал меня в свое «святое святых», т. е. работал иногда при мне.

Правда, очень недолгий срок.

Бабель уверял меня, что такого с ним никогда не бывало, а именно: работать он всегда мог только «в тишине и тайне» и ни в коем случае не на чьих-либо глазах.

Однако на моих глазах работал, и поэтому я имею полное право достоверно рассказать, как именно он работал.

С легкой руки Константина Георгиевича Паустовского,

прелестнейшего, очаровательного человека, но невероятного выдумщика, написавшего в своих воспоминаниях о Бабеле, что он — Паустовский — видел множество вариантов одного из ранних рассказов Бабеля (1921 год), все хором утверждают: Бабель писал множество вариантов.

Как известно, архив Бабеля пропал, поэтому все ссылаются на К. Г. Паустовского.

А я утверждаю противоположное: Бабель вовсе не писал вариантов.

Все, что писал, Бабель складывал первоначально в уме, как многие поэты (потому-то его проза так близка к *vers libre*).

Лишь все придумав наизусть, Бабель принимался записывать.

У меня сохранился рукописный экземпляр «Заката», который является одновременно и черновиком, и беловиком окончательной редакции, той, которая поступила в набор.

Писал Исаак Эммануилович на узких длинных полосках бумаги, с одной стороны листа, обратная сторона которого служила полями для следующей страницы.

В хранящемся у меня рукописном оригинале отчетливо запечатлен процесс работы.

Бабель вышагивал по комнате часами и днями, вертел в руках четки, веревочку (что придется), выискивая не дававшее ему покоя неудачное слово, которое требовалось, по его мнению, заменить в наизусть сложенном, уже записанном, но мысленно все еще проверяемом тексте.

Отыскав наконец нужное слово, он аккуратно зачеркивал то, которое требовало замены, и вписывал над ним вновь найденное.

Если требовалось заменить целый абзац, он выносил его на поля, т. е. на оборот предшествующей страницы.

Работа кропотливая, ювелирная, для самого творца мучительная.

Но никаких вариантов.

Вариант один-единственный, в уме сложившийся, затверженный наизусть и подлежащий исправлению на бумаге только тогда, когда работа мысли, в бесконечных повторениях уже найденного, отыскивала изъян. Выхаживая километры, писатель обретал замену неудовлетворяющего его слова и новое, ложившееся наконец в ритм, переставало коробить своего создателя. Но не всегда. Иногда он, мысленно опять возвращаясь к тому же слову, еще и еще раз менял его.

Поскольку мне привелось наблюдать совершенно обрат-

ный творческий метод (со множеством вариантов) у Всеволода Иванова, о чем речь шла уже выше, я с уверенностью опровергаю утверждение о бесчисленных вариантах и черновиках Бабеля.

Во всяком случае, в начальный период его литературной работы и вплоть до 1927 года не было у него никаких вариантов.

Он все вынашивал в голове и, лишь мысленно выносив, мысленно же продолжал отыскивать и вносить исправления.

Мысль и память (без участия записывающей руки) были его творческой лабораторией.

На моих глазах к пишущей машинке (да ее у него тогда попросту и не было) он вовсе не прикасался.

По окончании придумывания Бабель записывал всегда от руки. А дальше выверял опять же мысленно, редко-редко заглядывая в рукопись. К рукописи он прикасался лишь тогда, когда искомое бывало им уже найдено.

Каждого вспоминающего может подвести память. Но существуют государственные архивы и библиографические справочники.

Что же касается творческой манеры Бабеля, он ведь рассказал о ней сам 28 сентября 1937 года на своем творческом вечере в Союзе писателей (стенограмма опубликована в «Нашем современнике» № 4 за 1964 г.).

Бабель тогда сказал:

«Вначале, когда я писал рассказы, то у меня была такая «техника»: я очень долго соображал про себя, и когда садился за стол, то почти знал рассказ наизусть. Он у меня был выношен настолько, что сразу выливался. Я мог ходить три месяца и написать потом пол-листа в три-четыре часа, почти без всяких помарок.

Теперь я в этом методе разочаровался [...] пишу, как бог на душу положит, после чего откладываю на несколько месяцев, потом просматриваю и переписываю. Я могу переписывать (терпение у меня в этом отношении большое) несчетное число раз. Я считаю, что эта система (это можно посмотреть в тех рассказах, которые *будут напечатаны*) (подчеркнуто мною. — *Т. И.*) даст большую плавность повествования и большую непосредственность».

Но беда ведь состоит как раз в том, что рассказы, о которых говорил Бабель, не успели быть напечатанными или хотя бы сданными в редакцию, и никому не известно, куда девался его архив.

Вероятно, Константин Георгиевич Паустовский запомнил уверения Исаака Эммануиловича о его способности переписывать «несчастное число раз», но, вспоминая, Константин Георгиевич упустил из виду, что Бабель, высказывая это утверждение, раскрывал «тайну» нового, еще не обнародованного им «метода», а до тех пор всю свою творческую жизнь (по его собственному утверждению, высказанному на упомянутом выше творческом вечере) применял совсем иную «технику».

Но это не означает, что Бабель мысленно мог творить в любую минуту и в любой обстановке.

Напротив, чтобы его творческий, мыслительный аппарат заработал, ему нужна была всегда какая-то особая среда, особая обстановка, которую он мучительно искал.

На посторонний взгляд, да даже и не на посторонний, а, скажем, на мой — заинтересованный (в период нашей дружбы), Исаак Эммануилович мог показаться причудливым и капризным человеком, который и сам не знает, что же ему в конце концов нужно: то ли полной тишины и уединения — с разрядкой, создаваемой общением с любимыми им лошадьми; то ли шумное окружение и причастность к обществу руководителей государственных учреждений.

Теперь, когда я разматываю обратно киноленту жизни, мне кажется, что в последнем случае — в стремлении приблизиться к людям, вершащим крупные дела, — Бабелем владело почти детское любопытство, подобное страстному желанию мальчугана разобрать по винтикам и колесикам подаренную ему заводную игрушку, чтобы посмотреть, что окажется там внутри, как это все сделано и слажено в единое целое.

Исаак Эммануилович считал литературу не только делом, но и обязанностью, непреложным долгом своей жизни.

В уже процитированном интервью, отвечая на вопрос: «Будет ли (замолчавший на время) Ю. К. Олеша еще писать?» — Бабель сказал: «Он ничего, кроме этого, не может делать. Если он будет еще жить, то он будет писать».

Писал Исаак Эммануилович трудно, я бы даже сказала — страдальчески. Был совершенно беспощаден к самому себе. Его никак не могло удовлетворить что-либо «приблизительное». Он упорно искал нужное ему слово. Именно оно, это слово, наконец-то выстраданное, наконец-то найденное,

а не какое-то другое, должно было занять свое место в ряду других.

Смысл, ритм, размер. Все эти компоненты были неразрывно для него связаны.

Тем, кто понимает литературу всего-навсего как изложение ряда мыслей, описание определенных событий, людских судеб и характеров, мучительные поиски Бабеля не могут быть понятными.

Для него литература — это не только содержание, но и форма, требующая стопроцентной точности отливки.

Возвращаясь к цитированию все той же стенограммы. Объясняя причины своей медлительности в работе, Исаак Эммануилович сказал: «По характеру меня интересует всегда «как» и «почему». Над этими вопросами надо много думать и много изучать и относиться к литературе с большой честностью, чтобы на это ответить в художественной форме».

Проза Бабеля близка поэзии, по существу и является поэзией, в самом прямом выражении этого понятия.

Трудность поисков формы при создании произведений влекла за собой постоянный вопрос — где, в какой среде и обстановке, лучше всего работать?

Исаак Эммануилович считал, что ему лучше всего писать, живя в среде, близкой к описываемой. А необходимую разрядку находить тоже в обществе людей, похожих на описываемых.

Ему не сиделось на месте, но в своих разъездах он постоянно стремился выбрать необходимую для его творчества обстановку.

Привожу отрывки из писем ко мне, об этом свидетельствующие:

Из Киева в Москву. 23.IV.25 г.

«...Уехал на пароходике вниз по Днепру верст за двадцать. Там в деревне я переночевал, выпил пива с предсельсовета и еще двумя мужиками и на рассвете вернулся в Киев. Здесь с еще одним военным человеком (Охотников, друг Мити Шмидта и мой) мы с утра наняли моторную лодку, катались полдня, пили, пели, гнались за розовыми днепровскими пароходами, чтобы покачаться в их безобидной волне: я ужасно хотел рассказать Охотникову чего-нибудь про вас, сунуть контрабандой рассказ о давнишних моих знакомых,

но, к чести моей, ничего не сказал, вернулся домой в гостиницу и нашел здесь письмо от вас, милый друг мой. События, заслуживающие внимания, были вот еще какие: позавчерашний день я провел в Лукьяновской тюрьме с прокурором и следователем, они допрашивали двух мужиков, убивших какого-то Клименку, селькора здешней украинской газеты. [...] потом позавчера же у меня была счастливая встреча с давним моим товарищем Шишковским. Он авиатор и командует здесь, в Киеве, эскадрильей истребителей. Сейчас солнце, три часа дня, я напишу вам, душа моя, письмо и поеду за город к Ш., и буду летать с ним сегодня и, вероятно, каждый день. Я, кажется, говорил вам, что бываю очень счастлив во время полета...»

Из Киева в Москву. 24.IV.25 г.

«...Позавчера летал на аэроплане, но недолго, 25 минут, п. ч. в авиаторной школе происходили занятия в это время. Я с товарищем моим собираемся лететь верст за двести от Киева, если не удастся, поеду на пароходе в Черкассы и пробуду там два дня. Это лучше будет, чем влачиться здесь в пыли канцелярий...»

Из Киева в Москву. 25.IV.25 г.

«...Погода здесь дурная. Тепло-то оно тепло, но дует ветер, мелкий злой ветер с песком, такие ветры бывают в нищих пыльных южных городах. Я много ходил сегодня по окраине Киева, есть такая Татарка, это у черта на куличках, там один безногий парень страстный любитель голубей, убил из-за голубиной охоты своего соседа, убил из обреза. Мне это показалось близким, я пошел на Татарку, там, по-моему, очень хорошо живут люди, т. е. грубо и страстно, простые люди...»

Что привлекало к себе в ту пору писательское внимание Бабеля? Все то, что превышает норму. Все то, что принято называть гиперболичным. Жизнь у ее истоков, не укрощенная, не прикрашенная. Первобытность необузданных чувств, первозданность страстей.

Опять цитирую по стенограмме: «В письме Гёте к Эккерману я прочитал определение новеллы — небольшого рассказа, того жанра, в котором я себя чувствую более удобно,

чем в другом. Его определение новеллы очень просто: это есть рассказ о необыкновенном происшествии. Может быть, это неверно, я не знаю, Гёте так думал».

И дальше Бабель говорит: «У Льва Николаевича Толстого хватало темперамента на то, чтобы описать все двадцать четыре часа в сутках, причем он помнил все, что с ним произошло, а у меня, очевидно, хватает темперамента только на то, чтобы описать самые интересные пять минут, которые я испытал... Самоуничжение совершенно не в моем характере [...], чтобы снять с себя упрек в самоуничжении, я могу сказать, что множество моих товарищей, хотя располагают не бóльшим количеством интересных фактов и наблюдений, чем я, между прочим, пишут об этом «толстовским» способом. Что из этого получается — всем пострадавшим известно».

Само собой разумеется, последнее утверждение — юмор, и «пострадавшими» Бабель именуется читателей.

За тот период жизни Исаака Эммануиловича, который проходил у меня на глазах и нашел отражение в письмах ко мне, он создал сценарии «Беня Крик» и «Блуждающие звезды» (по мотивам романа Шолом-Алейхема), а также пьесу «Закат».

Хотя в основу сценария «Беня Крик» и легли одесские рассказы, сценарий этот является вполне оригинальным литературным произведением, в котором писатель переосмыслил как ситуацию, так и характеры выведенных им персонажей.

Сценарии — новая для Бабеля работа — освоение кинематографического мышления, кинематографического языка. Вот что он писал мне тогда:

Из Киева в Москву. 27.IV.25 г.

«...Вчера я лег спать рано, в одиннадцатом часу, но, на беду мою или на счастье, разразилась гроза удивительной силы, молнии стояли от земли до неба минуты по две, дождь гремел, гнул, чернел, как море, я вылез на подоконник, похерил сон и произнес длинную речь, обращенную к вам [...] Завтра занятия в государственных учреждениях прерываются на три дня. Я уеду на это время в Богуслав, это замечательное еврейское местечко верстах в полтораста от Киева, там, говорят, есть река необыкновенной красоты

и водопады, а в девяти верстах от Богуслава деревня Медвин, достойная изучения. Я думаю так — по возвращении из Богуслава можно будет определить приблизительно день отъезда моего в Харьков и Москву. Если между Харьковом и Москвой установлено уже летнее аэропланное сообщение — я полечу на аэроплане. Боги м. б. воззрят на мои тяготы, и числа 7—8 мая я смогу вернуться в Москву...»

Из Киева в Москву. 30.IV.25 г.

«...Я отменил поездку в Богуслав, я принес в жертву все водопады, потому что понял, что в Богуславе работать невозможно. Три-четыре дня пребывания в Богуславе значительно отодвинули бы отъезд в Москву. Человек по фамилии Морква, председатель Богуславского райисполкома, один из мириада моих приятелей, человек хороший, передовой, но пьющий и общительный до крайности, изготавился везти в Богуслав вместе со мной горячительные напитки в необъяснимом количестве и еще сумрачных хохлов, перепить которых, я понял, невозможно. Хохлы победили бы меня, я не сочинил бы ни одной строки для сценария — [...] и я уехал в поселок Ворзель под Киевом, где и сижу сейчас над кипой скучных бумаг».

Дальнейшие письма, отражающие работу над сценарием «Беня Крик», шли уже не из Киева в Москву, а из Сергиева посада (Загорска) в Сочи (где я проводила лето).

Из Сергиева в Сочи. 14.IV.25 г.

«...В пятницу, т. е. на следующий после вашего отъезда день, я встретил Сережу Есенина, мы провели с ним весь день. Я вспоминаю эту встречу с умилением. Он вправду очень болен, но о болезни не хочет говорить, пьет горькую, пьет с необыкновенной жадностью, он совсем обезумел. Я не знаю — его конец близок ли, далек ли, но стихи он пишет теперь величественные, трогательные, гениальные! Одно из этих стихотворений я переписал и пересылаю Вам. Не смейтесь надо мной за этот гимназический поступок; может быть, прощальная эта Сережина песня ударит Вас в сердце так же, как и меня. Я все хожу здесь по роще и шепчу ее. «Ах, любовь — калинушка...» Нынче весь день работал с остервенением; теперь, когда я пишу Вам, идет второй час ночи, и

так как я спал сегодня а часа после обеда, то можно посидеть до света. Сценарий, я почувствовал сегодня, поездку мою на Кавказ не задержит, в эту неделю я рассчитываю сочинить две трети, с тре ей придется повозиться, п. ч. нужно добыть документы о гражданской войне этого периода, но и это не особенно трудно [...] На кинофабрику я не хожу и не пойду до того времени, пока не буду иметь на руках какого-нибудь товара. Оттуда несутся вопли и проклятия по моему адресу...»

Из Сергиева в Сочи. 16.VI.25 г.

«...Понравилась ли Вам книга Алексея Толстого? Какая погода в Сочи? У нас беда. Дождь, холод, ветер, деревья шумят яростно. Иногда показывается плюгавое солнце и сейчас же застилается ливнем, мглою, как на сцене. Один только раз было солнце и дождь, летний, щедрый, горячий дождь, очень красиво [...] Мы с Воронским живем дружно! Он все пишет про литературу [...] Еще новости: Иван Иванович был вчера именинник. Шик, еврей-выкрест, живущий насупротив, рукоположен во священники, он сменил полукафтан на рясу и ходит во вседелишной рясе с клюкою; коз согнали с Козьей горки (Вы на этой горке были), бабы устроили бунт, и вчера к ним приходил представитель исполкома. Кто победит — еще неизвестно.

Больше новостей нет. Я занят скучной работой [...]».

Из Сергиева в Сочи. 20.IV.25 г.

«...Известие Ваше о дурной погоде не застало меня врасплох. У нас пятый день льет дождь, сыплет град, валит снег, изморозь покрывает землю по утрам, и глыбы льда выезжают из водосточных труб [...] И только Воронский доволен. В Сергиеве никто не нарушает его права писать критические статьи. Но, по-моему, он злоупотребляет этим правом. Через проклятую эту погоду я простудился, чувствуя себя плохо, ропщу, но сценарий все же пишу. Завтра, в субботу, из шести частей будут готовы четыре, а в воскресенье я поеду получать от вас письма и читать сценарий Эйзенштейну. Если я написал чепуху — вот будет оказия! [...]».

Из Сергиева в Сочи. 25.VI.25 г.

«...У нас тоже наступила хорошая погода. Я три дня провел в Москве в большой суете. Был у Эйзенштейна на

даче, ночевал у него. Сценарий мой как будто выходит. Из шести частей я написал четыре, сегодня приступаю к пятой. Когда управляюсь с этим делом, тогда только для меня прояснятся дальнейшие перспективы [...]

Я получил чудное душевное письмо от Горького. Надо ответить на него целым трактатом и поспеть до закрытия почты. Поэтому я прерываю до завтра свои излияния [...]

Из Сергеева в Сочи. 29.VI.25 г.

«...И это в то время, когда работать надо с возможной поспешностью. Я уже писал Вам, кажется, что три четверти сценария написал, а вот последняя четверть не клеится... Не клеится же окончание, потому что меня заставляют работать фальшиво. [...] но я нынче утром напал, кажется, на счастливую мысль и, может быть, выйду из тягостного этого положения без морального урона... Спасаясь только тем, что в мыслях стараюсь очищаться от суеты и скверны, ну да это занятие для философа, а философы дураки, вот тут и вертись. Пишу на почте, очень жарко, мухи и толчея; у почтовой барышни в окошечке завиты такие жалкие кудельки и на цыплячью грудку насыпано столько мела и пудры, что с этой барышней в самую бы пору поговорить о жизни, о ее и моей жизни, ну да она отвергнет, ей некогда [...]

Из Сергеева в Сочи. 3.VII. 25 г.

«...К стыду моему я все еще бьюсь над сценарием, над его окончанием. Гонорар мне положили порядочный, надо постараться сделать получше. [...] я веду жизнь духовную (от чего Вас предостерегаю), я ем, как соловей, и скоро двух мертвых муравьев будет достаточно, чтобы насытить меня.

Больше происшествий никаких. Вчера я ехал на Ярославский вокзал в самом ординарнейшем из ординарных трамвайных вагонов, мне было грустно, и я раздумывал — что это такое? Потом впервые в жизни я испытал душевную усталость. Это началась старость? [...] И если это началась старость, то вот Вам и происшествие?.. [...]

Из Сергеева в Сочи. 10.VII. 25 г.

«...Пишу на почте, п. ч. теперь 6 часов, а в 6 1/2 ч. почти закрывается, и я не смогу отправить Вам письма. Вокруг

толчая, толкают под руку, и я не могу сказать то, что хочу. Вчера читал целиком сценарий Эйзенштейну; он в притворном или искреннем восхищении — не знаю, но, во всяком случае, все идет благополучно. Завтра буду сдавать работу дирекции, думаю, что в ближайшие дни (два-три дня) все закончу. Кроме этого, на той же кинофабрике предвидится для меня захватывающего интереса работа — можете себе представить фильм о лошадях по заказу Наркомзема. Я буду счастлив, если меня привлекут к этой работе. Я рассчитываю дня через четыре вылететь в Ростов, оттуда приеду в Сочи [...] Два дня, проведенные в Москве, растрепали меня маленько. Ложусь я на рассвете, делов множество, все издательства как с цепи сорвались, да и мысли, к счастью, одолевают, — а спать невозможно из-за духоты, очень я в Сергисве привык к легкому воздуху [...]».

Из Сергисева в Сочи. 12.VII.25 г.

«...Только что (теперь третий час утра) дописал проклятый мой сценарий. Представьте — первые четыре части я обдумал и написал в семь дней; окрыленный этим успехом, я думал, что с последней третью справлюсь еще легче, но не тут-то было, только позавчера мне пришли на ум подходящие (подходящие ли?) мысли, и я за полтора дня откатал великое множество сцен. Я очень устал [...] мысли путаются, надо поспать маленько [...] Переписка оконченной работы, чтение в разных инстанциях, проведение через репертуарный и всяческие другие комитеты возьмет, я думаю, несколько дней. После этого срока я смогу телеграфировать Вам точно — куда я выезжаю, в Одессу или в Сочи. Если в Сочи прямо — то до Ростова буду лететь на аэроплане. [...]».

Из Сергисева в Сочи. 16.VII.25 г.

«...Мне обязательно нужно отправиться в Воронежскую губернию на Хреновский конный завод. Он расположен у ст. Хреновой, 70 верст от ст. Лиски. Ст. Лиски находится на большой дороге между Ростовом и Воронежем, от Ростова по направлению к Москве [...] В понедельник, т. е. на три дня позже меня, выезжает в Тамбовскую и Воронежскую губернию Эйзенштейн с техническим персоналом — для съемки натуральных кадров 1905 года [...]».

Эйзенштейн должен был ставить фильм «Беня Крик», по сценарию Бабеля, на 1-й фабрике Совкино, но на фабрике

произошли всяческие осложнения, и Исаак Эммануилович решил отдать свой сценарий Одесской киностудии Вуфку. Впоследствии туда же передал он и другой свой сценарий — «Блуждающие звезды».

Из Москвы в Ленинград. 15.IV.26 г.

«...Ночью с ужасной тоской в душе «гулял» у Регининых¹ на именинах, ночью не спал, и теперь я качаюсь от слабости. Состояние моих мозгов, состояние здоровья стали так плачевны, что надо серьезно подумать об отдыхе в соответствующей обстановке, иначе будет мне худо. По совести говоря, мне трудно писать письма, п. ч. нет сил собрать мозги к «одному знаменателю». Довольно хныкать. Авось поправимся. [...]

[...] С Вуфку о «Блуждающих звездах» продолжают интесивные телеграфные «переговоры». В режиссеры они прочат Грановского — другого у них нет — вот какой получается заколдованный круг. Грановский со своим театром уезжает сегодня в Киев на гастроли, не исключена возможность, что и меня вызовут для окончательных переговоров на Украину. [...]

Из Москвы в Ленинград. 23.V.26 г.

«...Только что в 7 ч. утра получил телеграмму от Одесской фабрики Вуфку. Они предлагают мне немедленно приехать в Одессу. Вуфку предполагает отобрать постановку у Грановского, который выставляет idiotические требования, и передать ее Гричеру, б. помощнику Грановского, человеку мной рекомендованному и неизмеримо, в кинематографическом отношении, более талантливому. Обстоятельству этому я очень рад. [...]

Из Одессы в Ленинград. 28.V.26 г.

«...Веду переговоры с Вуфку о постановке «Блуждающих звезд» на Одесской кинофабрике [...] В Одессе у меня множество жалких знакомых, все хотят перехватить червонец и просят службу, но море прекрасно по-прежнему и акация

¹ В. А. Регинин — журналист, одно время главный редактор «Синего журнала». В описываемый момент руководил самодеятельными кружками.

цветет опьяняюще чудовишно. Чувствую себя хорошо. [...] У меня здесь работы куча — и моей (душевной), и кинематографической, но писать буду — лето здесь удивительное, все так напоминает детство и юность, я второй день хожу, грущу и радуюсь. [...]

...Живу здесь хорошо, купаюсь и греюсь под солнцем. [...] Все было бы хорошо, если бы мне не приходилось возить по всем городам глупые мои нервы, не умеющие работать и не умеющие спать. Я их обучаю этим ремеслам, но со средним успехом. [...]».

Из Одессы в Ленинград. 5.VI.26 г.

«...Мы заканчиваем с режиссером разработку сценария, надеюсь, что дня через три-четыре я смогу выехать для расчетов в Харьков, а потом в Москву. [...]

Нервное состояние мое улеглось, и я работаю маленько продуктивнее, чем раньше. К сожалению, пользоваться благами Одессы мне не приходится, целый день торчу с режиссером в гостинице, все же купаюсь исправно каждый день. [...]».

Из Одессы в Ленинград. 12.VI.26 г.

«...Вчера должны были выехать с Гричером в Харьков, но у него не готова еще смета по постановке, он эту смету должен представить в Харьков, в Правление. Если он успеет закончить смету сегодня — то выедем в 5 ч. 30 м., если нет, — завтра. Задержка эта мне ни к чему и даже вредна. [...] В Одессе живу грустно, но очень хорошо. Воздух родины вдохновляет — на плодотворные, простые, важные мысли. [...]».

Из Харькова в Детское Село. 15.VI.26 г.

«...Вчера вечером приехал в Харьков. Сейчас отправляюсь делать дела. Думаю, что к завтрашнему вечеру выяснится, кто кого сломает — дела меня или я их. Завтра напишу. Чувствую себя удовлетворительно. Харьков — пыльный, душный город, к которому я, как и большинство людей, отношусь с предубеждением. Постараюсь сократить здесь мое пребывание. [...]».

Из Москвы в Детское Село. 24.VI.26 г.

«...В конце будущей недели [...] мне придется ехать в Одессу, перспектива невеселая потому, что я боюсь, что мне и там не удастся работать. Был вчера у Воронского, встретил у него Лидию Николаевну¹. Она очень толстая, весела ли она — не разобрал. [...]».

Из Москвы в Детское Село. 7.VII.26 г.

«...Лидия Николаевна передала тебе вздорные новости. Выгляжу я превосходно и чувствую себя не менее превосходно. Насчет «свиданий» виноваты мы оба в одинаковой степени. Л. Н. прислала мне открытку, в которой сообщала, что до воскресенья будет на даче, я собирался к ней в воскресенье, но она, оказывается, укатила в субботу в Пб. По этому поводу я написал ей негодующее письмо.

[...] Помимо «душевной» работы, которую я продолжаю, несмотря на противодействие всех стихий, мне приходится еще участвовать в монтаже на 1 Госкинофабрике несчастной и неумелой картины «Коровины дети». Произведение это сумбурное, я по договору обязан составить к нему надписи и обязательство это выполняю потому, что эта работа значительно уменьшит сумму моего долга фабрике. По логике вещей я обязан вернуть полученный в Госкино гонорар, т. к. гонорар этот я получаю вторично в Вуфку. А ежели возвращать — то... все понятно. Итак, надо монтировать и делать надписи к «Коровиным детям». Кроме того, я редактирую и перевожу последние томы Мопассана и Шолом-Алейхема, кроме того, я должен исполнить кое-какие работы для Вуфку [...] Работы эти скучные, но деньги пойдут на благие цели, поэтому работать надо; единственно удручает меня то, что многие проблемы (лошадиная и проч.), изучение которых совершенно необходимо для моего душевного равновесия, из-за недостатка времени остаются безо всякого изучения. Ну да чем скорее я исполню заказы, тем скорее можно будет приступить к проблемам. Дня через два в Москву должен приехать один из директоров Вуфку, и я узнаю тогда — состоится ли моя вторичная поездка в Одессу и, вообще, разберусь в дальнейших перспективах [...]».

¹ Л. Н. Сейфуллина.

Тут мне приходится сделать еще одно отступление и предупредить читателя, что, взяв на себя смелость выбора кусков из писем ко мне Исаака Эммануиловича для их опубликования, я допускаю вольность, нарушая хронологию.

Привожу отобранные мною выдержки из писем не в последовательности их написания, а располагая по затронутым в них темам, этим же объясняется и обилие многоточий, безусловно затрудняющих чтение. Прошу простить, но иначе поступить я не могла, поставив перед собой задачу брать из писем только то, что соответствует намеченной цели.

Ведь я задалась целью написать не монографию о жизни и творчестве И. Э. Бабеля на основании его писем ко мне и своих наблюдений, а пытаюсь набросать лишь штрихи к его портрету.

Все цитируемые письма адресованы Т. В. Кашириной, под каковой фамилией я родилась, училась, работала, выступала на сцене и вообще жила до 29 года, когда приняла, зарегистрировав замужество, фамилию — Иванова.

Покончив работу над двумя сценариями, Исаак Эммануилович занялся литературной обработкой одного из них, а именно «Бени Крика».

Из Москвы в Ленинград. 9.IV.26 г.

«...Меня убеждают в том, чтобы напечатать сценарий о Бене Крике. Ближайшие три-четыре дня будут у меня заняты приспособлением текста для печати. Изменения будут незначительны. [...]».

Из Москвы в Ленинград. 9/IV. 26 г.

«...Приведение сценария в литературный вид я закончу завтра-послезавтра, после того, как выяснится его судьба, я смогу выехать в Ленинград. [...]».

Киноповесть «Беня Крик» была напечатана в журнале «Красная новь» (№ 6, 1926 г.). В этом же году она вышла отдельным изданием.

И в том же году Исаак Эммануилович приступает к созданию пьесы «Закат». О начале этой новой работы он в шутку написал мне — как о «коммерческом деле».

Из Ворзеля в Детское Село. 19.VIII.26 г.

«...Живу в совхозе в 40 верстах от Киева, недалеко от станции Ворзель Ю.-З. ж. д. Хотя ожидания мои в смысле лошадей и тишины обмануты, но думаю, что я смогу здесь поработать. Кровных лошадей в этом совхозе нет, толчеи благодаря уборке урожая много, но так как я живу здесь бесплатно, то выбирать не приходится. [...]».

*НЕБОЛЬШОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ О ЛОШАДЯХ
В ЖИЗНИ БАБЕЛЯ*

По определению Исаака Эммануиловича, в его жизни играла большую роль «лошадиная проблема».

Он считал прекраснейшим для себя отдыхом общение с лошадьми. Живя в Москве, посещал бега и скачки. Искал случаи пожить в совхозах, где есть конные заводы.

Он вообще стремился изучать жизнь животных. Хотел поселиться в заповеднике. Но это намерение, во всяком случае в годы нашей дружбы, почему-то никак не могло осуществиться. Лошади же всю жизнь влекли его.

Продолжение писем Бабеля:

«...Особенных новостей не жди от меня, давай господи, чтобы их у меня не было, чтобы судьба подарила мне месяц-два хотя бы относительного спокойствия. Очень я захвачен сейчас коммерческим делом (правда, тряхнул кровью предков), которое я затеял. Результаты должны сказаться скоро. [...]».

Из Ворзеля в Детское Село. 26.VIII.26 г.

«...В Ворзеле за 9 дней я написал пьесу. Это значит, что за девять дней жизни в условиях, мною выбранных, я успел больше, чем за полтора года. Этот опыт еще более укрепил меня в убеждении, что я себя знаю лучше, чем кто-либо. На мне лежит большая ответственность. Я должен сделать все, чтобы иметь возможность нести эту ответственность. Прошу тебя, никому не говори о пьесе. Я очухаюсь и недели через две посмотрю, что у меня вышло. Во всяком случае, счастливый этот казус поправит материальные дела; думаю, что к концу сентября это улучшение примет осязательные формы.

Голова моя очень устала. Девять дней я худо спал и свету божьего не видел. Сегодня поезжу по Днепру, пошатаюсь по

села м дня три, вернусь — и буду снова работать. Я написал Виктору Андреевичу Щекину, просил сообщить — находятся ли еще лошади на летнем положении, жду от него ответа, м. б. съезжу на некоторое время в Хреновую. Пора мне приниматься за дела. [...]».

Из Хреновой в Детское Село. 5.IX.26 г.

«...Вчера после мучительного путешествия (двое суток) приехал в Хреновую. Остановился на прежней квартире. Погода превосходная. Условия для работы хорошие. Постараюсь здесь наверстать часть упущенного времени. Буду здесь сидеть так долго, как только смогу, м. б. месяц. Потом снова начнется суета и гадость — поездка в Москву. Единственное, что сможет меня вознаградить за Москву, — это Детское. Увидимся мы в октябре. Здесь все на прежнем месте — и люди и лошади. [...]».

Из Хреновой в Детское Село. 8.IX.26 г.

«...Новостей, как известно, в Хреновой не бывает. Я работаю до обеда, потом ухажу на завод или наоборот. Обедаю у прошлогодней нашей поварихи¹. Хожу к ней на дом. Условия для работы здесь превосходные, тем более превосходные, что здесь мозгам можно дать роздых в любую минуту, а мозги мои теперь не в лучшей форме. [...]»

Пьесу буду переписывать перед отъездом в Москву. Я ею как-то не интересуюсь и тебе не рекомендую. У меня сложились дурные отношения к моим «произведениям». Раньше они мне нравились, по крайней мере во время написания, а теперь и этого нет. Я пишу, сомневаясь и зевая. Увидим, что из этого получится. [...]».

Из Хреновой в Детское Село. 15.IX.26 г.

«...Живу по-прежнему — полдня «размышляю» о вещах нелепых и надоевших мне, полдня сижу в конюшне. Погода держится хорошая. Был два раза на охоте с Виктором Андреевичем. Он охотится, а я смотрю. [...] Только человек я больно никудышный — не нравлюсь я себе. Все-таки я считаю, что принадлежу к породе людей, могущих притянуть себя к более совершенной организации. Попробуем [...]».

¹ Летом 25 года мы некоторое время прожили в Хреновой вместе.

Из Хреновой в Детское Село. 17. IX. 26 г.

«...Живу по-прежнему. Сегодня пошел дождь. Будет он идти, вероятно, не один день. Работаю в меру сил. «Мера»-то не больно велика. Мозги мои требуют очень частых передышек, не по сезону.

...Пьесу начну переписывать через несколько дней. Никому я ее еще не читал [...]».

Из Хреновой в Детское Село. 20.IX.26 г.

«...Погода здесь испортилась, дождь, очень это не по времени — п. ч. я доработался до полного истощения мозгов, мне бы надо на несколько дней забросить всякую «письменность», а как ее забросить, когда приходится сидеть дома? Подожду еще дня два-три, потом возьмусь за переписку пьесы, потом поеду в Москву. [...]

Завтра в Хреновой выставка крестьянских лошадей и крестьянские бега. Обязательно пойду посмотреть, как бы только погода не помешала. [...] Я сегодня, запершись в своей комнате, долго читал Жития Святых, книжку Толбинских¹, но в этой книге днем с огнем не сыщешь ничего веселого. [...]

Сейчас иду обедать, а потом к Виктору Андреевичу; он, кажется, собирается сегодня на охоту. Поеду и я. [...]».

Из Хреновой в Детское Село. 22.IX.26 г.

«...Дождь здесь зарядил, идет очень ядовито, мелкий, беспрерывный. Сегодня были крестьянские бега — очень интересно.

В Москву предполагаю выехать не позднее 1 октября. Надо приступить к переписке моей чудаковатой «пьесы», а не хочется. Надо бы ей отлежаться месяца два, чтобы я о ней забыл. [...]».

Из Хреновой в Детское Село. 25.IX.26 г.

«...Весь вопрос теперь в том — хлебную ли пьесу я сочинил? Беда та, что к революции пьеса эта не имеет никакого отношения; как ни верти, она чудовищно дисгармонирует с тем, что теперь в театре делают, и в последней сцене дураки могут усмотреть «апофеоз мещанства». [...]

¹ Хозяева избы, в которой жил Бабель.

[...] поживем, увидим. Вообще же к пьесе этой нельзя относиться серьезно. К сожалению, я мало смыслю в драматургии, и вышел, кажется, легковесный пустячок. Очень жаль, что мне не с кем посоветоваться. [...]

Из Хреновой в Детское Село. 27.IX.26 г.

«...Первого я отсюда не поеду, есть еще работы на несколько дней. Здесь очень холодно, дурная погода. Теплых вещей нету, одеяла нету — но очень уж тихо, пострадаю еще несколько дней. [...]

Из Хреновой в Детское Село. 4.X.26 г.

«...Пишу все еще из Хреновой. Никак не удастся исполнить расписание. Хотел написать здесь (очень уж тихо) несколько рассказов, подготовил их вчерне, но времени не хватит. Я занят незначительной переделкой последнего акта пьесы, окончу и уеду. Не позже 10/X буду в Москве.

Только что получил телеграмму от одесской фабрики Вуфку о том, что постановка «Блуждающих звезд» закончена и режиссер 10/X везет фильм в Харьков, в Правление. Не знаю — обязывает ли меня к чему-нибудь такая телеграмма, все же перед выходом в свет мне надо картину видеть, пишу об этом в Харьков. [...]

Из Москвы в Детское Село. 11.X.26 г.

«...Приехал в Москву только вчера. Ехать пришлось сутки четвертым классом — скорый отменен. Тяжелое путешествие. Дела начну завтра. Если они затянутся — чего я не предполагаю, — то я улечу не в счет абонемента один-два дня для того, чтобы вырваться к вам. [...]

Из Москвы в Детское Село. 13.X.26 г.

«...Вчера читал пьесу Маркову. По его мнению, она представляет интерес, но необыкновенно трудна для постановки и, уж конечно, никак не актуальна. Хлопот мне предстоит много. [...]

Из Москвы в Детское Село. 18.X.26 г.

«...Пьеса моя произвела на слушателей (Марков, Воронский и несколько актеров Художественного театра)

благоприятное впечатление, но мы условились, что я сделаю кое-какие дополнения. Я чувствую, что третья сцена у меня не доработана, и не хочу сдавать пьесу в таком виде. Вообще говоря, если принять во внимание быстроту, с какой я написал ее, — то ее нынешнее состояние надо признать удовлетворительным. Искания мои «художественной законченности» плохи только в том отношении, что получение денег откладывается до того времени, когда я сочту, что пьеса выправлена, а счастье это я могу черт меня знает когда. [...]».

Из Киева в Москву. 5.I.27 г.

«...«Блуждающие звезды» еще не видел, говорят — гадость ужасная, но сборы — аншлаг за аншлагом. К Бене Крику (картина очень плохая) пишу надписи. От этой кинематографической дряни — настроение скверное. [...]»

Сценарии, вернее, поставленные по ним фильмы, все еще тревожили Исаака Эммануиловича, отнимали у него время, но «Закат» уже заполнил собой все его мысли. Продолжая работать над пьесой, Бабель захотел проверить ее звучание на широкой аудитории.

Из Киева в Москву. 17.III.27 г.

«...Я затеял несколько публичных вечеров — здесь, в Одессе, м. б. в Харькове. Буду читать пьесу. Кое-как я ее отделал. Вышло хуже, чем раньше — очень вымученно. [...]».

Из Киева в Москву. 26.III.27 г.

«...Вчера читал пьесу. Вечер прошел с «материальным и художественным» успехом. Посылаю тебе рецензии, посылаю потому, что это первые строки о детище, которое я до написания очень любил. Третью сцену выправил, но недостаточно, каждый раз я что-нибудь подчищаю и думаю, что доведу в конце концов до приличного состояния, а то рецензент прав насчет ржавых мест. Для окончательного суждения очень мне нужен твой совет, когда привезу это сочинение в Москву — тогда поговорим. [...]».

Из Киева в Москву. 30.III.27 г.

«...Сейчас еду в Одессу. Вечера мои там состоятся 1 и 2 апреля. 4-го «выступаю» в Виннице (совсем балериной сделался). 5-го возвращаюсь в Киев. [...]».

Для творческой работы Исааку Эммануиловичу совершенно необходима была «питательная» среда.

Но даже и тогда, когда обстоятельства заставляли его жить в столице, он неизменно искал какую-то особую обстановку, в которой ему легче работалось бы.

Он способен был вдруг испытать влечение к чужой квартире, чем-то отличающейся от привычного или же внезапно увиденной им под особым углом зрения.

Я несколько раз присутствовала при возникновении таких внезапных «влечений», но никогда не могла толком разобраться — что же, собственно, его тут привлекло.

К тому же и влекло его каждый раз нечто совершенно не похожее на предыдущее: то просторность, чистота, чинность, тишина, и то предельная загроможденность — шагнуть негде...

Но и там и тут он неожиданно говорил: «Вот здесь я бы, наверное, смог писать».

Человек он был обаятельный, поэтому хозяева облюбованного помещения дружно кричали: «Сделайте милость, приходите к нам работать, а то так поселитесь у нас».

Иногда он даже и соглашался на такое предложение, но на моей памяти никогда из подобных проб проку не получалось — писать все равно было ему трудно. А в незнакомом месте возникали и бытовые трудности, которые отнюдь не шли на пользу делу.

Когда сложные переплетения его жизни закинули Бабеля за границу, ему стало там совсем плохо, совсем невмогуту работать.

Из Парижа в Москву. 11.XI.27 г.

«...Жизнь мою за границей нельзя назвать хорошей. В России мне жить лучше, переучиваться на здешний лад мне не хочется, не нахожу нужным. [...]»

Никогда я не испытывал такой материальной нужды, как теперь. Положение иногда создается унижительное. Вся надежда на пьесу и на то, что ты похлопочешь. Если

пьеса прошла несколько раз в провинции, то я думаю, что в Модпике можно взять еще аванс. Я взял там всего пятьсот рублей. Они обещали мне перед генеральной репетицией дать еще денег. Надо думать, что представления в провинции равносильны генеральной репетиции в Москве. Я не знаю, конечно, как обстоит дело с пьесой — снимется ли она после нескольких представлений или продержится, прошу [...] пришли мне все материалы, какие у тебя по этому поводу имеются. Выражал ли еще какой-нибудь провинциальный театр желание поставить «Закат»? Что ты знаешь о постановке в Одессе? Неужели история с авансом от Александринки тянется до сих пор? Есть ли уверенность в том, что пьеса пойдет в Александринке?

Итак, надо попросить аванс в Модпике. Я пишу заявление на тысячу рублей. Борись. Но получить деньги — это полдела, очень трудно отослать их за границу. Если посылают сумму, превышающую пятьдесят долларов, надо просить разрешения Валютного Управления. Всеволод¹ может дать тебе совет. Конечно, посылать надо от Модпика, вообще от официального учреждения, тогда скорее выдают разрешение. [...]

Напиши мне еще [...] о пьесах Всеволода и Леонова, как они выглядели со сцены, имеют ли успех? Что получилось у Эйзенштейна? Я совсем отрезан от мира. [...]

Я все время стараюсь работать, но ощутимых результатов пока нет. Очень трудно писать на темы, интересующие меня, очень трудно, если хочешь быть честным. Я снова подтвердил Полонскому мое обещание не посылать рассказов, кроме как в «Новый мир». Но если бы ты знала, как мучительно мне привыкать к писанию из-за нужды, к писанию из-под палки [...]

Из Парижа в Москву. 16.XII.27 г.

«...Получил вчера 250 долларов. Деньги это — кислород, вернувший меня к жизни. Я находился при последнем издыхании. 100 долларов было у меня долгу, на остальные, конечно, не разойдешься, но все же поживу. Было бы истинным благодеянием, если бы ты могла в начале января повторить твой подвиг. Финансовые перспективы мои [...] таковы: работать регулярно я начал очень недавно, но если бы поднажать, можно бы кое-что подготовить для печата-

¹ Всеволод Иванов.

ния. Но все существо мое этому противится. Очутившись вдали от редакционной толкучки, от бессмысленных рецептов, мне непреодолимо захотелось работать «по правилам». Я уверен, что смогу напечатать много вещей в 1928 году, но сроков никаких не знаю, да и думать о них не хочу. Если вещи мои будут хороши — тогда редакторы не станут на меня сердиться за несоблюдение сроков, если они будут плохи, так о чем же тут толковать, что раньше, что позже — все равно [...]».

Из Парижа в Москву. 26.XII.27 г.

«...Что же делать — я совсем не писатель, как ни тружусь, не могу сделать из себя профессионала. [...]

...Я буду стараться [...] я знаю, как это нужно, но трудно продать первородство за чечевичную похлебку. [...]

Мне и здесь передавали о том, что московские сплетники болтают о моем «французском подданстве». Тут и отвечать нечего. Сплетникам этим и скучным людям и не снилось, с какой любовью я думаю о России, тянусь к ней и работаю для нее [...]».

Относительное облегчение наступило для Бабея только тогда, когда ему пришла мысль использовать свое пребывание в Париже для работы, связанной с Парижем, и он начал собирать материалы о французском рабочем движении.

Из Парижа в Москву. 16.XII.27 г.

«...В существовании моем недавно произошел перелом к лучшему — я придумал себе побочную литературную работу, которую нигде, кроме как в Париже, сделать нельзя. Это душевно оправдывает мое житье здесь и помогает мне бороться с тоской по России, а тоска моя по России очень велика. Пожалуйста, пришли мне еще материалов о пьесе, если они у тебя есть. [...]».

Из Парижа в Москву. 5.V.28 г.

«...Вообще же и ближайшие три-четыре месяца будут месяцами лишений, зная это — как тут быть? Я работаю недавно, в форму вхожу трудно, с маху стоящую книгу не напишешь, по крайней мере я-то не напишу. [...]».

Из Парижа в Москву. 7.VII.28 г.

«...Нездоровье; не такое, чтобы лежать в постели, а похуже — болезнь нервов, частая утомляемость, бессонница. Я, по правде говоря, мало трудился на моем веку, больше баловался, а вот теперь, когда надо работать по-настоящему, мне приходится трудно [...]

Получил несколько писем от Горького. Он просит меня приехать и обещает, что устроит у себя, что у него тихо, можно работать — и расходов никаких не будет. Я бы хотел поехать — но пока нету денег на дорогу. Если раздобуду — напишу тебе и сообщу адрес. [...]».

Одноплановость приводимых мною выдержек из писем Исаака Эммануиловича может вызвать у непосвященного человека представление о нем как о «вечном страдальце», и это будет совершенно ошибочно.

Бабель постоянно испытывал «муки творчества», но человек он был общительный, веселый, блистательно остроумный. Пессимистом его никак нельзя считать — при малейшем проблеске благополучия он оживлялся и начинал возводить шаткое нагромождение «воздушных замков».

Человек широкий во всех отношениях, он постоянно испытывал потребность помочь всему своему окружению.

Так, находясь в Париже буквально в нужде и едва получив деньги, чудом отправленные ему туда, он тут же пишет мне:

Из Парижа в Москву. 30.XI.27 г.

«...Если тебе удастся прислать мне в нынешнем году тысячу рублей, будет очень хорошо [...] Не помню, сообщал ли я тебе адрес сестры [...] Хорошо бы, если бы и ей можно было отправлять ежемесячно [...]».

Возможно, что Исаак Эммануилович так стремился во имя работы зарыться в глушь отчасти и потому, что никак не мог совладать со своей неумеренной общительностью.

Письма его тоже дают основание для такого предположения.

Из Киева в Москву. 23.IV.25 г.

«...Я ушел из дому, где начался шум и суета, всегда сопровождающие меня...»

Из Сергиева в Сочи. 29.VI.25 г.

«...В четверг приехала гостья (приятельница из Петербурга) и пробыла два дня, а в субботу нагрянули три семьи — Вознесенские, Зозули и проч. Я измаялся. Пропашие четыре дня, даже вам не мог написать. [...]».

Познакомилась я с Исааком Эммануиловичем на квартире у Василия Александровича Регинина, который был моим сослуживцем по режиссерской работе в клубных кружках войск Красной Армии.

Я тогда училась в режиссерской мастерской Мейерхольда и работала в театре его имени, а также вела несколько красноармейских и рабочих драматических кружков.

После одного из вечерних занятий кружка, когда мы репетировали очередной самодеятельный спектакль, Василий Александрович уговорил меня пойти к нему: «Познакомьтесь с моей женой и обязательно еще с кем-нибудь интересным, ко мне каждый вечер заходят «на огонек».

Так оно и оказалось — «на огонек» зашел в тот вечер Исаак Эммануилович. Он пошел меня провожать и, будучи человеком крайне неожиданным, весьма удивил меня своим обращением и разговором.

Всю дорогу (от Красных ворот¹, где жили Регинины, до Горохового поля на Разгуляе, где жила я) Бабель рассказывал мне о лошадях, уверяя, что ни литература, ни искусство несколько его не интересуют, вот лошади — дело другое!

Когда сидели у Регининых, я позвала и их, и Бабея, на следующий вечер, посмотреть спектакль «Земля дыбом», в котором я играла.

Они пришли в театр все вместе и по окончании спектакля пригласили меня ужинать в «Литературный кружок».

За ужином Исаак Эммануилович восхищался Зайчиковым, игравшим бессловесную роль царя, а меня поддразнивал: где же, мол, вам соревноваться вашей героиней с актером, которого режиссер посадил при всем честном народе на ночной горшок...

После ужина Бабель опять провожал меня, но на этот раз мы ехали на извозчике — путь от Тверской (теперь ул. Горького) до Разгуляя не для пешего хождения, да и извозчик ехал довольно долго, и опять Исаак Эммануилович все твердил про лошадей.

¹ Теперь площадь Лермонтова.

Но на этот раз он выражал опасение, однако не того, что мне может наскучить его пристрастие к лошадям, а того, что я могу его не понять.

Я была избалованна и строптива, поэтому, вырази он опасение, что лошади наскучили мне, я бы, наверное, с этим согласилась, но, при моем молодом самомнении (мне было тогда 25 лет), я возмутилась предположением, что могу чего-то «не понять», и поэтому терпеливо слушала бабелевские рассказы о совершенно не нужных мне лошадях.

Впрочем, он был таким неотразимым рассказчиком, что все, о чем бы ни говорил, получалось у него и увлекательно, и неповторимо интересно.

Вскоре мы встретились в Ленинграде, и Исаак Эммануилович попросил меня никому не говорить, что он там. Пригласил зайти к нему в гостиницу, еще раз заверив, что он в Ленинграде «инкогнито».

Когда же я к нему зашла, то обнаружила в его номере «дым коромыслом». Он уже созвал к себе половину Ленинграда.

Такая непоследовательность вообще была очень характерна в те годы для бытового поведения Бабеля.

Другое дело — творчество. В творчестве он был необыкновенно последователен, взыскателен и ни в коем случае не желал ни смириться, ни «укротить» себя.

Он не только с мучительной страстью вынашивал свои произведения, но с такой же пристальной внимательностью прослеживал и их прохождение в жизнь, начиная с корректур и репетиций.

Чувство ответственности перед читателем, беспокойство о нерушимости своего творческого замысла никогда не покидали Бабеля.

Это опять можно проследить по письмам:

Из Киева в Москву. 22.IV.25 г.

«...Окажите мне услугу: позвоните в редакцию «Красной нови» (т. 5-63-12), попросите к телефону Евгению Владимировну Муратову. Скажите ей от моего имени, что я с нетерпением жду корректуры¹, которую она обещала выслать мне в Киев. Корректуру эту немедленно по исправлении я отправлю в редакцию [...]».

¹ Рассказа «История моей голубятни».

Из Киева в Москву. 27.IV.25 г.

«...От «Красной нови» ни слуху ни духу. Какие неверные люди. Я телеграфировал вчера в редакцию и завтра пошлю еще одну телеграмму. Пожалуйста, позвоните еще раз Муратовой и скажите от моего имени, что я протестую против напечатания рассказа с невыверенной рукописи и что если они не пришлют мне корректуры по указанному адресу в Киев, то я буду протестовать против этого в печати. Александр Константинович¹ обещал дать мне возможность прочитать корректуру трижды. Мне стыдно, что я отягощаю вас этим делом, но, право, оно имеет для меня кое-какое значение [...]».

Из Киева в Москву. 30.IV.25 г.

«...От «Красной Нови» ни ответа, ни привета. Придется послать им выправленную рукопись [...]».

Из Киева в Москву. 10.IV.27 г.

«...Корректуру «Короля» пришли. Делов там немного, но посмотреть надо.

Приехать в Москву я хочу 24-го, к Пасхе. Очень хочется мне успеть исполнить до этого времени ту чертову гибель работы, которая висит на моей шее. [...]».

Из Киева в Москву. 13.IV.27 г.

«...Корректуру получил. В корректуре сделал незначительные изменения в порядке рассказов и написал на титульном листе «Третье издание». Это необходимо сделать для того, чтобы не вводить публику в заблуждение. [...]».

Особое беспокойство, обостренное еще и тем, что он находился за границей и не мог сам проследить за перипетиями претворения ее в спектакли, вызвала у Бабеля пьеса «Закат».

Из Парижа в Москву. 3.IX.27 г.

«...Что в театре? Я до сих пор не переделал 3 сцены. Опротивела мне пьеса. Надо бы сократить два-три куплета в песне,

¹ Воронский.

да охоты не хватает. Может быть, сделаю. Все переделки пришлю».

Из Парижа в Москву. 6.X.27 г.

«[...] Я не собираюсь принять к сведению или исполнению ни одно из их замечаний. Все их «исправления» — бессмысленны, продиктованы отвратительным вкусом и политически ненужны и смехотворны. С болванами этими не стоило бы и разговаривать. Я не принадлежу к числу тех, кто плачет над [...] своими вещами или злобится. Но «тогда гордого безразличия» — это, конечно, пышная тога, но [...] Поэтому надо бороться за сохранение моих фраз. [...] Уступать нельзя. [...]».

Из Парижа в Москву. 4.X.27 г.

«...Я прочитал в «Правде» отзыв Маркова о постановке «Смерти Иоанна Грозного». Статья эта убедительно написана, и такое у меня чувство, что она правильно излагает то, что происходит в театре. [...] Плохой театр¹, тут и толковать нечего. Если тебе придется говорить с Берсеневым, попроси их сократить 3 сцену, в особенности песню. Один чех попросил у меня пьесу для того, чтобы показать ее в Праге, я сдуру отдал, теперь у меня нет ни одного экземпляра. Он, правда, обещал вернуть через несколько дней. [...]».

Из Парижа в Москву. 17.X.27 г.

«...Вчера получил письмо твое и Гриппича. Сегодня отправил Гриппичу все нужные ему заявления. Знаешь ли ты что-нибудь о судьбе пьесы в Петербурге?

Перебиваюсь с трудом [...] А тут еще дней десять тому назад я захворал. Простудился, и начался тяжкий мой «астматический период». Десять дней я снова не работал и так этим испуган, что решил ехать на юг лечиться. Раз навсегда мне надо привести себя в работоспособный вид. Рассчитываю осуществить мою мечту — поехать в Марсель. Поеду, если добуду денег. Здесь не Москва — пропадешь и ни копейки не достанешь [...]».

Из Парижа в Москву. 30.XI.27 г.

«...Рецензию получил. Спасибо. [...]

...Идет ли пьеса еще где-нибудь? Если у тебя накопились

¹ 2-й МХАТ.

еще материалы, сделай милость, пришли. Что тебе сказали в Александринке? Прежде чем перерешать, я хотел бы знать в точности положение дела. Напиши откровенно. [...]».

Из Парижа в Москву. 22.XII.27 г.

«...Сколько представлений выдержал «Закат» в Одессе и Баку? Собираются ли ставить еще где-нибудь? Не знаешь ли ты, как идут репетиции во 2 МХАТе? [...]».

Из Парижа в Москву. 10.I.28 г.

«...Со всех сторон мне сообщают, что 2 МХАТ разваливается, что никакой постановки там не будет. [...] Не худо бы тебе побывать на репетициях, если только они происходят. Если хочешь, я напишу в этом смысле Берсеневу или Чехову [...]».

Из Парижа в Москву. 11.III.28 г.

«...Посмотрим, даст ли «Закат» что-нибудь? Никогда я с большим отвращением не относился к этой пьесе, к разнесчастному и надоевшему детищу, чем теперь [...]».

Об искусстве и о лучших для себя условиях, чтобы мочь им заниматься в полную силу, Исаак Эммануилович думал постоянно.

В одном из первых своих писем ко мне (23. IV. 25 г.) он писал:

«...Последние дни я много думаю о вашем искусстве и моем и со всей страстью убеждаю себя, что мне душевно нужно на два года отказаться от моей профессии. Жизнь моя пошла бы лучше, и позже, через два года я сделал бы то, что нужно мне и еще, может, некоторым людям [...]».

Из Парижа в Москву. 5.IX.27 г.

«...Я здоров, работаю, результаты скажутся не скоро, м. б. через много месяцев. Что же делать? Работать по методам искусства [...] — это одно из немногих утешений, оставшихся мне. В материальном смысле от этих утешений, конечно, не легче [...]».

Из Парижа в Москву. 22.VII.28 г.

«...Где тонко, там и рвется. Я, кажется, писал тебе о своей болезни, о том, что работать я не в состоянии, с великим трудом волочу «бремя дней». Ты сама можешь судить — как это все кстати. Я серьезно подумываю о том, чтобы центр тяжести моей жизни перевести из литературы в другую область. У меня всегда было так — когда литература была побочным занятием, тогда все шло лучше. С такими требованиями к литературе, как у меня, и с такими ограниченными возможностями выполнения нельзя делать писательство единственным источником существования. В России я все это переменяю. Завтра еду в Брюссель — повидаться с матерью и сестрой, пожить там, если будет к тому возможность, потом вернусь на короткое время в Париж и отсюда уеду в Россию. Только там я смогу снова стать «ответственным» за свои поступки человеком, сочинить какой-нибудь план жизни. [...]».

Из Парижа в Москву. 10.IX.28 г.

«...В Россию я приеду в начале октября. Первый этап будет Киев, а где жить буду — не знаю. Оседлости устраивать пока не собираюсь, буду кочевать где придется. [...] Приезда моего не утаишь, в Москве я жить не буду, как это все сделается?

Я возвращаюсь, состояние духа у меня смутное. Работать столько, сколько бы надо, — не умею, мозги не осиливают. Я чувствую, впрочем, что житье, вольное житье в России, принесет мне много добра, выправит и выпрямит меня. Я считаю сущими пустяками (и скорее хорошими, чем дурными) то, что я не печатаюсь, не участвую в литературе. Чем дольше мое молчание будет продолжаться, тем лучше смогу я обдумать свою работу — только бы, конечно, с долгами развязаться и на прожитые зарабатывать. [...]».

Из Парижа в Москву. 21.IX.28 г.

«...Выехать я собираюсь отсюда первого октября. В Киев — который будет первым моим этапом — приеду числа шестого-седьмого (хочу на два дня остановиться в Берлине). В литературных или начальственных кругах вращаться не собираюсь, хотелось бы пожить в тишине. [...]».

Из Киева в Москву. 24.X.28 г.

«...В Киеве я пробуду еще недели две-три, потом поеду в какое-нибудь захоlustье работать. Куда поеду — еще не знаю.

Противоположение Парижа и нынешней России так разительно, что я никак не могу собраться с мыслями, и душа от всех этих рассеянных мыслей растерзана. Стараюсь, как только могу, привести себя в форму. [...]».

Из Киева в Москву. 26.XI.28 г.

«...Вчера не мог написать подробнее, п. ч. голова очень болела. Я теперь часто хвораю. Очень часто головные боли, — очевидно, у меня мозговое переутомление. Тут бы работать, а голова часто отказывается. Часто мне бывает от этого очень грустно. Но так как я упрям и терпелив, то надеюсь, что вылечу себя. [...]

Я пока остаюсь в Киеве, вернее, за Киевом, живу, можно сказать, в губе у старой старухи отшельником — и очень от этого выправляюсь душой и телом. Может, и хворости придут. [...]».

Во имя искусства он неустанно стремился все превозмочь и в себе и вокруг себя. Принести искусству все возможные и невозможные жертвы — вот каков был символ веры Бабеля. Однако даже самые пламенные намерения не всегда и не всем удается осуществить.

Не удалось и Бабелю осуществить программированное им в последнем письме ко мне стремление «жить отшельником».

Переписка наша прекратилась, и мы больше не виделись, поэтому о дальнейшей жизни Исаака Эммануиловича я могу судить только по опубликованным письмам его к другим адресатам и по воспоминаниям А. Н. Пирожковой.

У Бабеля были столь непомерные требования к совершенству художественных своих произведений, и создавал он их так медленно, что, видимо, волей-неволей, чтобы заработать на жизнь, пришлось ему вернуться к работе в кино.

Но если над сценариями «Беня Крик» и «Блуждающие звезды» он трудился, предъявляя к себе те же требования, как и при создании прозы или пьесы, то, по-видимому, в последние годы он работал в кино скорее ремесленно, чем творчески, предпочитая исправлять чужие сценарии.

Невозможно мне без горечи думать о конце его жизни.

Невозможно не сожалеть о неосуществленных творческих его планах и пропавшем архиве.

Остается надеяться, что «рукописи не горят», а архив этот предстанет еще перед исследователями творчества Бабеля и его читателями и почитателями.



Ольга Дмитриевна Форш



Первое впечатление почти всегда самое острое, а иногда и неизгладимое.

Именно так произошло у меня с Ольгой Дмитриевной Форш.

Тому сопутствовали и другие «первые» впечатления.

Знакомство наше состоялось в первый мой приезд в Ленинград с Всеволодом.

У Всеволода с Ольгой Дмитриевной были давние, прочно установившиеся дружеские отношения, начавшиеся еще в 21 году.

Ольга Дмитриевна и Всеволод — близкие по духу писатели. Оба сочетали реализм с буйной фантазией, и духовность стояла для них обоих превыше всего как в творчестве, так и в жизни.

Говоря об Ольге Дмитриевне, я не могу исключить себя; она дружила со мной, и почти все ее письма, которые привожу, адресованы именно мне.

Если можно так определить, я была связным между ней и Всеволодом.

Ольга Дмитриевна была старше меня на 27 лет. Дети Ольги Дмитриевны — мне почти ровесники, однако, подружившись со мной, Ольга Дмитриевна считала меня себе равной. Пусть по возрасту она и годилась мне в матери, духом она была неистребимо молода.

В «серационовские» времена Ольга Дмитриевна жила в Доме искусств и шефствовала над «серационами», собирающимися там же, в комнате Михаила Слонимского.

Теперь наша встреча произошла на квартире Груздевых. С Ильей Александровичем я была уже хорошо знакома, так как, приезжая в Москву, он всегда у нас останавливался.

От Ильи Александровича неоднократно слышала я рассказы о том, как отмечается у него на квартире традиционная «серапионовская» дата — 1 февраля.

Слышала я рассказы об этих «серапионовских» встречах и от других «серапионов», которые, бывая в Москве, всегда к нам приходили.

Михаил Михайлович Зоценко, со свойственной ему невозмутимостью, при самом смешном рассказе любил подтрунить над квартирой Груздевых, называя ее «профессорской», чересчур уж чинной и аккуратной.

Таким образом, мое внимание и любопытство к этой квартире были заранее подогреты.

Жили тогда Груздевы на Васильевском острове, и хотя мне уже приходилось бывать в Ленинграде, но именно на Васильевский остров я попала впервые.

А тут еще странность местоположения квартиры Груздевых.

Мы идем в «профессорскую» квартиру, а попадаем, с улицы, в невообразимый для меня, коренной москвички, ленинградский двор-колодец, потом каким-то мрачным переходом в другой двор-колодец и, наконец, на темную лестницу черного хода.

Я уже полна литературными реминисценциями.

Наконец дверь открывается в действительно чинную, аккуратную, добротную и со вкусом обставленную квартиру.

Среди уже хорошо известных мне «серапионов» две незнакомые женщины: хозяйка дома Татьяна Кирилловна и Ольга Дмитриевна Форш.

Ольга Дмитриевна с первого же взгляда поразила необычностью своей внешности и манерой держаться. В ней, на первый взгляд, непривычно сочеталась некоторая «старомодность» с молодой эксцентричностью.

И разговор у нее ни на кого не похожий.

Меня она сразу отводит в сторону и говорит: «Я вашего Всеволода давно люблю, а с тех пор, как он в «Похождениях факира» всенародно признался, что — внук барона Кауфмана, я его особенно полюбила».

Я смущенно отвечаю, что это, мол, Всеволод в ироническом плане написал, — не то, мол, он внук барона, не то его конюха, поскольку отец незаконнорожденный, а мать отца в экономках у барона служила.

Ольге Дмитриевне мой ответ явно не понравился, она начала упрекать меня в излишней рациональности мышления.

«Важно то, — внушала мне Ольга Дмитриевна, — что человек не побоялся приписать себе аристократическую родню, а уж там действительная она или вымышленная — это значения не имеет».

И тут же, расхохотавшись, рассказала о том, как некий гражданин, в двадцатые годы, переименовал свою весьма плебейскую фамилию на Воронцов-Дашков, а впоследствии пострадал из-за «аристократической» фамилии.

Татьяна Кирилловна хлопотала по хозяйству, а Ольга Дмитриевна стала показывать мне груздевскую квартиру и, приведя в самую маленькую комнату, сказала:

— Эта у них для гостей, и меня гостьей к себе зовут. Подумываю, может быть, когда и воспользуюсь.

И действительно воспользовалась.

Какое-то время Ольга Дмитриевна жила у Груздевых, как она говорила, «нахлебницей».

В этом особенность писательского труда. Многие беспрестанно ищут, где им удобнее и спокойнее работать.

Одни пишут в Домах творчества, другие там и строчки написать не в состоянии.

Многих не удовлетворяет в этом смысле домашняя обстановка. И не потому, что дома плохо. А хочется чего-то особенного, что дома почему-либо никак не удается организовать.

Вот, например, Всеволод писал, во всяком случае ту часть своей жизни, что я была с ним, только дома. Но ему для работы всегда нужно было очень много книг и даже предметов (почти сценических аксессуаров), которые вводили бы его в атмосферу той среды, которую он в данный момент описывал.

А Ольга Дмитриевна в ту пору, когда она поселилась у Груздевых, мечтала о полной «отрешенности». Хотела, чтобы был полный покой, тишина и ничего, кроме собственных раздумий да бумаги на столе.

В груздевский период Ольга Дмитриевна на какое-то время тоже нашла нужную ей «обитель».

Но для нее это было кратковременным. Слишком любила она своих детей и внуков и слишком остро ощущала потребность не только в каждодневном, но и в ежечасном общении с ними.

Ольга Дмитриевна буквально обожала своих внуков, рассказывала же про них только с юмором.

— Ну и народ пошел! Вовке всего пять лет, а уж разглядел, постреленок, что бабка у него бездельница. Так дома родителям и доложил. «Прожил,— говорит,— у нее две недели, теперь знаю — притворяется она, что работает, а у самой даже и чертежной доски нет»,— рассказывает Ольга Дмитриевна о своем старшем внуке Володе, сыне ее дочери Тамары.

Я отвечаю:

— Ну да, ведь совсем маленьким детям весь мир представляется похожим на их ближайшее окружение.

И ответно рассказываю, чем привожу Ольгу Дмитриевну в полный восторг, о нашем младшем сыне Кома, который, в возрасте ее Вовы, был взят впервые на балет в Большой театр, крайне взволновался и, увидев толпу у входа, закричал теснившимся в дверях людям: «Пропустите нас скорее, а то мы все ваши рукописи выбросим!»

— Вот, вот,— сотрясается от хохота Ольга Дмитриевна,— все они, пострелята, такие!

С нашей семьей у Ольги Дмитриевны сложились очень тесные дружеские отношения. Не только сама Ольга Дмитриевна подолгу гостила у нас и в Москве, и на даче в Переделкине, но и члены ее семьи тоже приезжали к нам.

Ответно и мы не могли себе представить поездку в Ленинград без свидания с Ольгой Дмитриевной.

В последний (при жизни Ольги Дмитриевны) раз мы приехали в Ленинград не поездом, а двумя машинами, с нашими друзьями Анной Алексеевной и Петром Леонидовичем Капицами.

Автомобильная экскурсия началась с осмотра Новгорода; в Ленинграде (кроме встреч с друзьями) был запланирован осмотр Пергамского алтаря, экспонировавшегося тогда в Эрмитаже, дальше мы ехали в Таллин, а из Таллина в Псков и Пушкинские места.

В Ленинграде все гостиницы были переполнены. Капицы остановились у мачехи Петра Леонидовича, а мы у Ольги Дмитриевны, которая находилась в Тярлеве, откуда прислала нам на свою ленинградскую квартиру (Куйбышева, 3, кв. 62) телеграмму: «Сердечно приветствую располагайтесь как дома обнимаю обоих Ольга».

Ольга Дмитриевна непременно нам дарила все свои книги с трогательными надписями. После того как в 42 году сгорела наша дача, а с ней и огромная библиотека Всеволода; уцелели

только те книги, которые находились на московской квартире. Среди них «Радищев» Ольги Форш (1939 г.) с дарственной надписью: «Дорогим и любимым Тамаре и Всеволоду Ивановым. Их Ольга Форш».

Ольга Дмитриевна была прекрасной рассказчицей и очень интересной собеседницей. Можно только пожалеть, что не было у нас в доме где-то незаметно укрытого магнитофона, — вот бы воспроизвести теперь ее рассказы и речи...

Или хотя бы догадаться мне тогда — записывать.

А память, к сожалению, удерживает очень мало и не всегда достоверно, а всего лишь приблизительно.

Именно поэтому я так «злоупотребляю» цитированием писем и выдержек из дневников — они-то абсолютно достоверны.

Ольга Дмитриевна была не только великолепной рассказчицей; по любому поводу имела она свое собственное и вполне оригинальное суждение. Очень остро и совершенно по-своему судила она об искусстве и литературе.

Часто высказывала желание (к сожалению, не осуществленное) написать статью с разбором юмора Зоценко и фантастики Всеволода.

Это намерение долго не оставляло Ольгу Дмитриевну. Впервые она заговорила о нем еще задолго до войны, но и в конце 40-х годов писала: «Я прошу ВеВе¹ прислать мне его книжку рассказов, мне до нее есть дело. Пусть пришлет!»

«Дело» ей было до чрезвычайно многого, — вероятно, поэтому кое-что и оставалось втуне.

Намерения и планы, тесня одно другое, постоянно бурлили в Ольге Дмитриевне. Многогранность ее интересов и была, по видимому, основным стимулом ее неистребимой молодости.

Ольга Дмитриевна была шутницей, поэтому могла проделывать невероятные для ее возраста трюки без какой-либо другой насущной надобности, кроме желания меня эпатировать. Когда мы шли куда-нибудь вместе, я не успевала опомниться, как она, несмотря на свою грузность, одним махом, оставив меня с разинутым ртом позади, вскакивала или соскакивала на полном ходу с трамвая.

¹ ВеВе — так звала Ольга Дмитриевна Всеволода (по начальным инициалам его имени — Всеволод Вячеславович). Она вообще была выдумщицей и всем давала прозвища.

Все в жизни она воспринимала и соответственно воспроизводила, рассказывая, с иронией и юмором.

Но она была и философом.

Ее шокировала моя излишняя, на ее взгляд, рациональность. Поэтому она пыталась меня перевоспитать. Учила ощущать жизнь как подарок и тренировать себя на восприятие любого окружения как чего-то неслыханно интересного.

Самое простое «приспособление», говорила мне Ольга Дмитриевна, это суметь внушить себе, что вот этого человека, этот лес, это дерево, эту поляну, этот дом, эту улицу, этот город видишь в первый или (что равнозначно) в последний раз, и тогда все покажется несказанно интересным и даже прекрасным.

Для того чтобы «приспособление» подействовало — надо на минутку приостановиться, отключиться от поглощающих мысли и чувства мелких каждодневных забот и дел, так сказать, расслабить органы восприятия; вот тут-то и войдет в сознание неповторимость красоты того, что находится сейчас, сию минуту, перед твоими глазами.

После первой же встречи в Ленинграде у меня завязалась деятельная переписка с Ольгой Дмитриевной. Она давала мне различные деловые поручения, которые надо было выполнить в Москве, и я очень охотно занималась ее делами.

Поручения были всякие, иногда это касалось получения денег.

«...Дорогая Тамара, здравствуйте!

Пользуюсь Вашей любезностью и посылаю аккредитив и доверенность [...] Простите хлопоты [...] Шлю привет Всеволоду Вячеславовичу, и детям Вашим, и знакомым и незнакомым. Будьте обязательно здоровы!

Целую. Ваша *Ольга Ф.*».

В другом письме: «...еще прошу справиться у Ларисы Ивановны, если она приехала, готовы ли 2 пары моих башмаков. На резине — 400 р. домашние — 125. Деньги ей оставлены все 525 р.

Передайте привет мой ей, ему и Виталию, скажите, что я ему пишу на днях¹.

Целую всех Вас. *Ольга*».

¹ Речь идет о семье Трениных. «Он» — Константин Андреевич. «Она» — Лариса Ивановна (заказала частному сапожнику обувь для Ольги Дмитриевны), Виталий — их сын.

Оба письма, из которых я взяла эти выдержки, не датированы (я тогда еще не научилась хранить конверты), относятся к началу 30-х годов.

В письме из Сочи, где Ольга Дмитриевна находилась перед Первым съездом писателей и куда мы собирались после заседаний, она подробно описывает режим в санатории КСУ¹, условия лечения в Мацесте и добавляет: «...прошу Вас сообщить, когда будет съезд? Если как назначено, то я хочу на него попасть и возьму билет не до Ленинграда, а до Москвы. Позднее же мне будет это невозможно [...] Очень жалею, что не повидала Алексея Максимовича. Но в 4 часа 4 июля, как сказал П. П. (Крючков), я звонить ему не могла, меня задержали на кино-фабрике. Хотела бы увидеть теперь. Передайте ему мой привет. Всего хорошего. *О. Форш*».

Письмо 1934 года обращено сперва ко мне, с бытовыми поручениями, потом ко Всеволоду:

«Дорогой Всеволод Вячеславович!

Посылаю Вам только что отпечатанный для последнего тома мой «синтетический портрет» А. Белого. В подлиннике он лучше, много полутонов не вышло.

Имею виды на Вашу внешность в след(ующий) мой приезд к Вам в Москву или Ваш к нам.

Элект(рический) провод — «змеей» и чернильница «чашей» могут оказаться лишь для предвзятого критика или для самого изображенного. Привет. *О. Форш*.

Для альманаха², если удастся ее написать, пришлю Вам первую главу «Живописной автобиографии» о «Тюбочке», как Вам рассказала.

Подойдет?»

Привожу еще письмо, опять не датированное, но отправленное уже после съезда:

«Дорогая Тамара, здравствуйте! И весь дом и собака (в городе) и мальчики и собака (в Переделкине) — все!

Все думала, что меня вызовут в Москву, и потому писать казалось не надо.

В Москву не зовут. Молчат. Ни да, ни нет: все повисло в воздухе. Прошу Вас по телефону, который есть Ваша персональная вотчина³, позвонить в т(еатр) Вахтаганова Борису

¹ Комиссия содействия ученым.

² Речь идет об альманахе, где Всеволод был членом редколлегии.

³ Ольга Дмитриевна острит. В ее присутствии я непрерывно «улаживала» какие-то дела по телефону.

Евгеньевичу Захаве, или лучше ему на дом 23-70-09, и будьте добры спросить, получил ли он мое з а к а з н о е с вопросом о Литере на Камо¹. И каков ответ. И как дальше. Намерен театр хлопотать эту неуловимую букву.

Темно, дождь и грипп.

Что у Вас хорошего? Здоровы ли все ребята?

Зарылась в работу. О женщине первый рассказ написан. Приеду (если), то привезу. Потеряв терпение, чтобы окончательно узнать про пьесу, могу махнуть на три дня [...]

Прилагаю свою личность² [...] Ставьте ее в общий пай писательский, а не непременно с Копыловой и Сейфуллиной. Это только во Франции salons des dames³. В искусстве признак внешнего пола — не украшение. А внутренне — художник всегда и ж и м! Если он художник.

Целую Вас, милая Тамара, и благодарю за добрые дни у Вас в городе и деревне — шлю сердечные приветы Всеволоду Вячеславовичу, Зинаиде Владимировне, Вашей маме и всем молодым, малышам и четвероногим.

Ваша *Ольга*.

Следующее письмо, кроме бытовых сообщений, содержит поручение.

«...Вот кончила Радищева. Посылаю вам, Тамочка, «Пагубную книгу» и очень прошу, ни капли не задерживая, передать ее И. Г. Л е ж н е в у [...] Скажите Лежневу, что очень торопилась посылать рукопись и знаю, что есть пропуски и невнятица. Но ведь ему не для печати это, а для чтения. Я и просмотреть толком-то не успела еще. Привет ему передайте от меня.

Целую крепко Вас. Привет мой Всев. Вяч., тете, чадам, пёсам.

Любящая вас *Ольга Форш*.

«Синтетического» портрета Всеволода Ольга Дмитриевна, к сожалению, не создала. Но у меня хранится ее автобиография, в конце которой стоит такой параграф:

«Особой книгой, где я надеюсь соединить оба искусства, которые давали содержание моей жизни — рисование и сло-

¹ Пьеса Ольги Дмитриевны о революционере Камо.

² Фотография на открытке. На обороте написано: «Форш Ольга Дмитриевна. Собрание сочинений в 7 т. Изд «Союзфото». Ленинград».

³ Дамские салоны.

во, — будет моя книга «*Мои современники*» (подчеркнуто О. Форш). Я хочу попытаться дать «синтетический портрет», как мною уже даны портреты А. Белого и Блока, нескольких писателей, сопроводив свой рисунок и портретом словесным.
Ольга Форш.

19—15/IV—38 года».

Эта подробная автобиография (3 страницы машинописи) на обороте последней страницы имеет приписку (от руки), обращенную ко мне:

«Дорогая Тамара,

Посылаю сведения о своей персоне, фото и газету 34 года¹, где годом позднее (вместо 33) отмечено 25-летие работы. Что надо еще?

Целую Вас и привет Всев. Вяч. и всему дому Вашему. [...] Что еще прислать насчет себя?!

Привет и поцелуй. *Ольга».*

Память весьма несовершенный инструмент. Мне все еще кажется, что инструмент этот мне не совсем отказал. Но, хоть убейте, я не помню, по какому поводу прислала мне Ольга Дмитриевна свою автобиографию и как я этой присылкой распорядилась.

Вероятно, было мною задумано для нее какое-то «мероприятие», которое не удалось осуществить.

На бланке «VII Пленум Правления Союза Советских Писателей, посвященный 1000-летию армянского народного эпоса «Давид Сасунский»², пишет мне Ольга Дмитриевна письмо из Ленинграда, сообщая, что заболела малярией, просит узнать, не заболел ли Михалков, который вместе с ней и сопутствовавшей ей дочерью Тамарой «ложились на землю где попало (огород, кусты, ручьи), а Анофелес тут как тут...».

На пленуме в Ереване мы все время были вместе с Ольгой Дмитриевной. Нас возили по всей Армении, но мы с Всеволодом, Бажанами и Чиковани по окончании пленума поехали поездом в Тбилиси, где остановились у Чиковани.

А Ольга Дмитриевна отправилась с Фадеевым и Михалковым. Они двумя машинами поехали через горы. Вот тут-то,

¹ Газеты у меня не сохранилось.

² 1939 год.

по ее мнению, и настиг их компанию малярийный комар.

Но в письме этом, жалуясь на болезнь и связанные с ней неприятности, Ольга Дмитриевна дает мне и творческий совет — готовиться как чтецу¹ к юбилею Радищева.

«...Рекомендую Вам, ввиду 150-летия Радищева, которое будет п р а з д н о в а т ь с я (подчеркнуто О. Форш), приготовить из моего «Радищева» (если не погребли его в Переделкине) монтаж главы, где Радищев пишет одну «Вольность» (в конце кончить куском из оной):

О вольность, вольность,
дар бесценный,
Дозволь, чтоб раб тебя воспел...

Пишу скверно — болит и правая рука. Целую всех вас.
Ольга».

Война всех раскидала по разным городам.

Ольга Дмитриевна писала нам в Ташкент из Свердловска:

«10/1—1942.

С новым годом!

Дорогая Тамара и все не менее дорогое семейство — приветствую! Шлю самые крепкие добрые пожелания здоровья, благополучия и главное, конечно, поскорей полнейшей нашей победы, радостного возвращения в родной дом, и надеюсь, — встретимся еще! Ваше письмо, Там², я получила давно и написала ответ, но вдруг узнала, что Вы уже из Чистополя уехали, сказали мне, в Куйбышев — а оказалось в Ташкент. Очень радуюсь, что вы все вместе, это единственное сейчас счастье. Мы много всякого пережили и только недавно сносно устроились, т. е. у нас наконец тепло. Я очень болела плевритом, и Вова (сын Тамары) тоже, и мы просто замерзли (два градуса в комнате, лучшее — при топке двух раз печи — 10—11). Сырость была как в болоте. Сейчас тепло, и не надо ходить за водой. Все пятеро живем в одной комнате (16 метров). Она глаголем и у всех углы. Начинаю писать. Трудно, но, думаю, преодолею. Морозы тут лютые — 38—40. Ветер еще хуже — ураган, грязь, невиданная нами, ребятишки сразу

¹ В тот период я выступала иногда как чтец художественных произведений.

² Как уже говорилось выше, Ольга Дмитриевна любила прозвища. Меня, в отличие от своей дочери Тамары, она чаще всего называла Там. Впрочем, и дочь Тамару она предпочитала звать Тапиром.

врастают и стоят как статуи. Их матери отрывают, калоши засасывает. Сейчас морозы; но тихо, и небо синее, но скоро ждут крещенскую волну холода и вьюг. Мне очень труден этот климат. Болят оба легких и первое воспаление предположительно окажется уже последним. Валенок же нет как нет! Все обещают в Союзе... Думаю, так и прохожу в газетной бумаге. Отсюда — редкий выход. О, как мечтается о солнце и яблоках при слове Ташкент. Оправдывает ли он себя? Хоть Вы-то греетесь? В общем, ничего — живем. Дети вот только очень болеют. Диму¹ перевели сюда на службу, оттого мы и приехали все в Свердловск. Очень рада, что Тамара² на работе в Фил. Ак. Наук, — химиком. Из знакомых здесь ближе всего Комаровы, была больна, лежала у них. Сам Вл. Леонт.³ тоже очень болел, сейчас лучше. Здесь Финк, Ромашов, Верховский (потерял дорогой весь чемодан и одну калошу), Гладков, Мариэтта⁴. Ей глухота, верно, впервые оказала услугу. Она, сестра, дочь в одной комнате. Мирель родила носатую девочку тут же, но Мариэтта крика девочки не слышит и пишет на курьерских. Да, Барто здесь и наполнила собою весь союз, город, окрестности. Дорогое семейство! Большие и малые, будьте счастливы, напишите, хорошо ли вам жить.

От Груздевых сразу неск(олько) писем. Сидят у себя в квартире, как в окопе. Очень много работают по дому. Хотели было ехать, но хвост оч(ень) велик и многолетен. Бабке больше 80-ти — аэроплана боится, мать, тетка, две племян(ницы), две собаки. Их усыпить хотят и не могут. Илья тушит зажигалки. Живет часто на крыше. Очень его ждала. Слыхала, что будто летит он в Москву — Свердловск, но нет его пока. Тамара шлет привет, и я тоже.

Ваша Ольга.

г. Свердловск,
ул. Ленина, 52, корпус 4-а, кварт. 423».

В Ташкенте мы прожили с декабря 1941 года по октябрь 1942 года.

Вернувшись в Москву, поселились, как и все (не только иногородние писатели, но и те москвичи, чьи дома не отапливались), в гостинице «Москва».

Туда же приехала из Свердловска и Ольга Дмитриевна.

¹ Дмитрий Борисович Форш — сын Ольги Дмитриевны.

² Тамара Борисовна Форш — дочь Ольги Дмитриевны.

³ Владимир Леонтьевич Комаров — двоюродный брат Ольги Дмитриевны, в ту пору президент Академии наук СССР.

⁴ Шагинян.

Существовал комендантский час, и потому все, у кого не было специальных пропусков, торопились вернуться в срок к месту жительства.

А в гостинице в это время начиналось хождение из номера в номер. В особенности после радиосообщений «в последний час». Всем хотелось поделиться друг с другом мыслями и радостными надеждами.

Так ходили и мы к Ольге Дмитриевне, жившей на другом этаже, ходила и она к нам.

Вот однажды приходит, и, как водится, обменявшись вначале свежими впечатлениями от радио- и газетных сообщений, Ольга Дмитриевна хитро щурится и говорит: «Сейчас я вам расскажу, что вчера со мной произошло. Сижу я с Эренбургам (там же, в гостинице «Москва»), сидим, разговариваем — то да се, я уже и устала и задремывать начала (Ольга Дмитриевна с присущим ей артистизмом изобразила, как она начала задремывать), глаза открою: то они оба со мной сидели, а то, гляжу, одна Люба осталась — куда же, думаю, Илья-то Григорьевич запропастился; поговорю, поговорю с Любой, опять подремлю, глаза открою, он передо мною сидит, а ее вроде и вовсе не было. Наконец я встала и говорю: «Дорогие гости, не надоели ли вам хозяева?» Тут-то и выяснилось: я, оказывается, запомнила, что к ним пришла, думала, это они у меня в гостях сидят — до 3-х часов ночи припозднились. Номера-то эти окаянные один на другой как две капли воды похожи.

Так что вы, Там, не теряйтесь, если я у вас задремывать начну, — сразу меня под руки и к лифту ведите, — не то вам хуже, чем Эренбургам, придется: у вас номер одинарный, а у них — двойной. Когда я задремывала, они, оказывается, по очереди спать в другую комнату уходили». И хохочет, хохочет Ольга Дмитриевна.

Никогда точно не установишь, что действительно случилось, а что она присочинила «для интереса», как сама определяла.

Всеволод вел дневник. Привожу его записи того периода:

«10 ноября 1942 г.

[...] О. Д. Форш, бодрая, веселая, говорящая много о работе, — и упоминувшая раза три-четыре о смерти. Она рассказывала, как ездила по Средней Азии¹, как видела Джамбула,

¹ Речь идет о поездке Ольги Дмитриевны в Казахстан летом 1932 года с экспедицией АН СССР.

который сердился на фотографов, съевших его яблоки. Хочет ехать в Алма-Ату. Тамара отговаривала ее. Перед уходом она сказала:

— Мне очень любопытно узнать, что происходит сейчас в Германии. [...] Где-то там, в теософических кругах, родился и воспитан этот истерик, марионетка Гитлер, за спиной которого стоят [...] не теософы ли? Это ужасно интересно.

На ногах у нее «коты». Белье стирает она сама, да и шьет на себя сама, — широкая, старая-старая. Она уехала в Москву, чтобы пайком ее питались дети сына. Обрадовалась, когда Тамара добыла ей «сухой паек», вместо обеда в столовой нашего клуба».

Помнится, что Всеволоду тогда показалась маловероятной мысль Ольги Дмитриевны, будто бы какие-то теософские круги могли управлять зловещей марионеткой Гитлером.

Однако аналогичную, пусть и спорную, мысль высказывали после войны многие западные ученые и журналисты.

Всеволод же записал по этому поводу в дневнике: «Будучи в юности антропософкой, она и сейчас считает движение это настолько мощным, что из него можно вывести гитлеризм. Уэтли — «Основания логики», которого я читал недавно, говорит в одном месте: «Слабый довод бывает всегда вреден, и так как нет такой нелепости, которую не признавали за верное положение, коль скоро она, по-видимому, приводит к заключению, в справедливости которого уже прежде были убеждены».

Эта запись, однако, отнюдь не означает, что Всеволод не уважал мыслей Ольги Дмитриевны. Ирония его относится лишь к данной концепции, а об ее увлечении антропософией Всеволод любил расспрашивать Ольгу Дмитриевну. Период этого ее увлечения даже особенно интересовал его, и он часто уговаривал ее написать об этом, а она в ответ жаловалась, что на все замыслы не хватает времени.

Тогда, в 42 году, Ольга Дмитриевна не долго задержалась в гостинице. Она переехала к Комаровым.

Привожу еще одну дневниковую запись Всеволода:

«11 ноября 1942 года.

Вечером пошли к академику Комарову, президенту Академии Наук. Ольга Дмитриевна обещала прочесть свою пьесу, еще не оконченную, «Рождение Руси», о Владимире Святом, Киевском. На улицах тьма невыразимая, идут трамваи с фио-

летовыми фонарями, с приплюснутым к стеклу лицом ведут их вожатые, на остановках темные толпы, говорящие об очередях и о том, где что выдают. Какой-то любезный человек проводил нас до самых дверей особняка Комарова. Беззубый, лысый швейцар открыл дверь. Лестница. Трюмо. Вешалка. Лепные потолки и стены окрашены голубой масляной краской, запах которой все еще стоит в комнатах. Горят люстры. Много книг. Мебель в большом зале в чехлах, а на стене ковер с вытканым лицом Комарова. Вот уже подлинно «Комарик»! Сидит старик с разными глазами, словно бы фарфоровыми, да притом взятыми из разных лиц, на груди орден и значок депутата, седая жена с черными бровями и пушком на верхней губе [...] Пьеса Ольги Дмитриевны похожа на ее жизнь в этом тепло натопленном доме, но холодном по существу своему [...]

Ольге Дмитриевне с пьесами не везло... — хоть бы ей повезло здесь. Признаться, мы покривили душой, чтобы ее ободрить — расхвалили. Ведь у нее, бедняги, даже калош нет, и Фадееву пришлось писать Наркому о калошах, на что сегодня получили (благоприятное) сообщение, и Кашинцева, секретарь Фадеева, сообщила о том Тамаре».

В конце декабря я срочно выехала обратно в Ташкент к заболевшему тифом сыну.

Всеволод остался в Москве один.

Привожу еще его дневниковые записи.

«5 января 1943 года.

Зашел к Ольге Дмитриевне Форш в ее голубой особняк. [...] Не помог ей мой орден! С пьесой о «Рождении Руси» что-то неопределенное: Судаков потребовал от Храпченко два хора, Большой театр... и еще что-то! ... Ольга Дмитриевна сказала: «Вот мой кузен, Комаров, у него вся спина в язвах от лишая, подхватил где-то в Монголии, цветочки рассматривал, босиком, в болоте...»

— Помилуйте, Ольга Дмитриевна! В Монголии болот нет!

— Высохли, что ли? Ну их, болота! Я говорю о другом. Кузен по поводу юбилея Ньютона хотел речь сказать. Он говорит хорошо. Не дали. По бумажке надо, говорят, читать...

— Отказался?

— Куда там, к черту, откажешься...

— Ну, почему же... Если настаивать...

— Посмотрю я, как вы будете настаивать в семьдесят-то лет...

— Я и сейчас-то не очень.

Она расхохоталась. Пришла жена президента. Я побоялся, что пригласят обедать, не потому, что я не хотел — все время есть хочется, а потому, что могут подумать — обедать пришел, да и то Форш изумилась, что я пришел рано. Рано же я пришел потому, что хочу зайти в гостиницу, узнать — нет ли телеграмм и писем о здоровье Миши, а по дороге посидеть часик-другой у Бажана».

«1 марта 1943 года.

Приходила О. Д. Форш. Повторила свои рассказы о внучке, которая спрашивает, — трех лет, — о боге... и Ольга Дмитриевна очень рада этому обстоятельству (а, небось, сама и научила, не замечая того), восхищалась «Дядюшкиным сном» в МХАТе, ругала М. Шагинян за то, что та «от абстракции» всех считает дураками и всех учит [...] «вот бы мне на два года бесплодной жизни, я бы написала все, что знаю, никогда не летала, перед смертью — полетать, качки боюсь, вас очень люблю, люблю бывать у вас, в поезде ехать одной страшно, Екатерина Павловна¹ рассказывала — утащили два чемодана, утащат последнее». Вот так и говорит, делая ротик как колечко — от молодости осталось кокетство. И говорит так правомочно, как будто от всей литературы... «Но кто может похвастаться тем, что его поняли? Все мы умираем непонятыми. Это давно сказано устами женщин и авторов» (Бальзак — «История тринадцати»).

Следующей зимой 1943—44 гг. дом на Лаврушинском начал отапливаться, и вся наша семья оказалась там в сборе.

Но Ольга Дмитриевна, приезжая в Москву, по-прежнему жила в гостинице «Москва». И комендантский час существовал по-прежнему.

Вот сидит у нас Ольга Дмитриевна на Лаврушинском, и близится комендантский час. Я говорю сыновьям, что кому-нибудь из них надо пойти проводить Ольгу Дмитриевну до метро.

Ольгу Дмитриевну все в нашей семье очень любили, поэтому оба мальчика дружно вызываются проводить ее, но их опережает молодой человек, находившийся в гостях у старшей дочери, говорит, что и ему пора.

¹ Екатерина Павловна Пешкова — жена Максима Горького.

Ольга Дмитриевна, закутавшись в платки и шали, уходит в сопровождении молодого человека.

По прошествии какого-то времени (во всяком случае, уже за пределами комендантского часа) врывается к нам обратно этот злополучный молодой человек. Он рвет на себе волосы и буквально со слезами упрекает нас за то, что мы ему толком не объяснили, кого именно он вызвался проводить до метро, и вот теперь он на всю жизнь себя опозорил и погубил.

Так парень убивался, что и про комендантский час забыл. Пришлось его ночевать оставить.

А Ольга Дмитриевна, придя к нам на другой день, вся тряслась от хохота, рассказывая: «Ну идем мы к метро, я паренька и спрашиваю, чем, мол, молодой человек, в жизни занимаетесь? А он отвечает: «Не знаю, как вам, бабуся, объяснить... Бывали ли вы когда-нибудь в кино?» Я вижу, парень понятия не имеет, с кем идет, ну и прикинулась перед ним деревенщиной. А парень-то, оказалось, на сценариста в ГИКе учится. Наболтал он мне всякой чепухи полный короб. И так расхорохорился от моих подначиваний: я, говорит, вас, бабуся, в сценарий вставлю, что не только до метро, но и до самой гостиницы меня проводил. Ну, прощаясь, я ему и назвалась. Его как ошпарило. Схватился за голову. «Пропал, — говорит, — на всю жизнь пропал. Да вы же моя любимая писательница!» И убежал, бедняга, без оглядки. Уж больно он меня развеселил. Я и ночью проснусь, вспомню этого парня, и опять меня смех разбирает».

Кончилась война. Все вернулись на насиженные места. Жизнь входила в привычную колею. Опять Ольга Дмитриевна приезжала к нам. Иногда писала.

Приведу несколько сохранившихся у меня ее писем.

«Ленинград. 31.III—1945 г.»

Дорогие Тамара, ВеВе, дети, здравствуйте! (тете¹ пишу наособицу, уж так она утешила меня зверем!).

Я конечно <виновата!> перед Вами, что пишу только сейчас и замечательный факирский юбилей² восприняла лишь

¹ Тетя — моя сестра Зинаида Владимировна Каширина — художница-прикладница. Речь идет об игрушке, сделанной по ее модели и посланной в подарок Ольге Дмитриевне.

² В феврале 1945 г. Всеволоду исполнилось 50 лет, а «факирским» его юбилей Ольга Дмитриевна называет, отталкиваясь от книги «Похождения факира».

post factum и только сердечными чувствами, без их внешнего выражения. Но чувства горячи, искренни навсегда. Писать бы⟨ло⟩ я и хотела (хотя узнала поздно), но рука была как овечий хвост (распухла, болела и болит — отсюда малограмотный почерк). Лежала, болела, телеграмму не отправили своевременно — все хотелось по-настоящему поздравить, а вышло пока ни по-какому. Напишу ВеВе не прозу — стихи, в знак вечной любви! Вот и напишу!..

Жду своих со всех сторон, неблизких: с Байкала Тамару, из Свердловска — мелочь и дедов. В мае — полный комплект 9 человек в 4-х комн⟨атах⟩. 1 общая столовая. Топится из них одна, дожимаю до 9—10° тепла. Отсюда обострение подагры. Но ничего — работаю. Скоро кончу первую часть «Бессмертного Города» под загл⟨авием⟩: «Михаил⟨овский⟩ Замок» и еще хочу к *торжеству нашей победы* о современных людях! О молодых героях.

Очень чувствую страшную утрату Виктора Шк⟨ловского⟩ и Никитина (за 3 дня до Кити, уже единственный). Напишите мне о Шкловских, Там, думаю очень о них, а слов нет, что тут слова? Но о тех, кто не увидит, не услышит победы нашей последней и окончательной берлинской, мне очень хочется хорошо, достойно их, написать. Ищу материал документальный...

В Москву пока не собираюсь, я так рада, что живу в своей комнате, и хотя быт нелегкий, не жалуясь. Со мной один Дима, который до позднего часу занят службой, диссертаци⟨ей⟩, восстановлением своего учреждения. Был печником, водопроводчиком, маляром и т. д. Я же один день домработницей, другой автором и только истопником. У меня через день поделенная с Мих⟨аилом⟩ Зощенко служащая гражданка. Но дела хватает и мне, если воспротивляться зарастать грязью.

Целую все дорогое семейство и жду обособленных, а не гуртовых сведений:

1) Таня (Индия, каток, женихи, поклонники, ангельский лик?)

2) Миша (Живопись? Рисунок? Натура? Композиция?)

3) Кома (Стихи? Вес тела? Рост? Ужели не угомонился, обогнал ли дядю? Профессиональный уклон? Мускулатура?) Кто победитель в боях, если бои продолжаются, — Миша или Кома? Привет маме, Николаю Вл⟨адимировичу⟩¹, Марусе².

Ваша *Ольга Ф.*».

¹ Николай Владимирович Михаловский — мой брат.

² Мария Егоровна Трунина — наш друг, няня наших детей.

Из вопросов, которые задает в письме Ольга Дмитриевна, интересуясь каждым членом нашей семьи в отдельности, видно, что она приняла нас всех вкупе в свою «родню».

Это же подтверждает и надпись на книге «Михайловский замок» («Советский писатель», 1946 г.):

«Дорогой семье Ивановых от любящего их автора этой книги Ольги Форш. 9 февраля 1946 г.».

Книга была нам подарена в очередной приезд Ольги Дмитриевны в Москву, когда, по традиции, она у нас остановилась.

Свидевшись после долгой разлуки, мы всегда никак не могла наговориться вдосталь. Начав беседу с вечера, засиживались, в разговорах, чуть не до утра.

«г. Пушкин,

Московское шоссе, д. 21, кв. Чистякова

26.I—1950 г.

С Новым годом!

Дорогое мое семейство, поздравляю и каждому члену желаю его собственного счастья!

Я часто о всех думаю и шлю мысленно лучшие свои чувства, но вот писать очень трудно. Сначала и физически, после операции глаза в Мечник (овской) лечебнице, а потом просто полная отвычка и неприязнь к эпистолярной форме общения.

Но в чувствах прошу не сомневаться. Обнимаю златокудрую Танечку, особо поздравляю¹, радуюсь, желаю полного ей счастья! А что же Комины стихи? Вот думаю — он. Ан нет — все Щипачев да Грибачев. Ну настанет и его планида, пусть только работает. О Всеволоде Вяч (еславовиче) больше всех доходят слухи. Порадовалась принятой Худ (ожественным) театром пьесе², приготовилась уже слушать ее по радио — пока не дошла до нас. Что пишет Миша? Выставлял ли? А Вы, дорогая, по слухам, все еще великолепная Тамара?! Соберетесь ли когда в Ленинград?

Мечтаю весной, едуци в Эссентуки, на неск (олько) дней застрять в кабинете ВеВе и всех повидать как следует.

У меня же — вторая молодость! Обручилась с «декабристами»! После оч (ень) тяжелого года, когда думала, что ослепну, и никак, никак это принять не могла — соперировалась и прозрела и работаю как верблюд. Живу в Пушкине, день расписан, гулять чудесно, и работать можно. Скоро будет го-

¹ По поводу выхода замуж.

² «Ломоносов».

това 1-ая часть (всего 2). Вторую уеду писать в Ессентуки. Вот проспект на будущее, если что-либо не переменится. Домашние так живут: Дима на оз(ере) Балхаш, пробует свою машинку, получил авторское право, Тамара заменяет Намяхина, к сожалению, ходит на работу на 8 этаж, что ей при малярном сердце плохо. Леночка — аспирант, Олечка — в 6 кл., дома развела улиток и проч. биологию, Володя — в 4 кл. Есть кошка Феничка, но и крысы есть, ее не боятся. На ночь от них прячем кошку. Ну будьте все здоровы, милые, не сердитесь, что не пишу, — ей-богу, помню.

Ваша *О. Форш*».

«Ленинград. 28 декабря 52 г.

С Новым годом.

Дорогую Тамару и все семейство сердечно приветствую и желаю самого хорошего 53-го! Надеюсь скоро всех повидать, потому что предполагаю во второй половине января приехать в Москву на недельку. Тамара получит командировку и берет меня с собой.

Остановимся в гостинице «Якорь», и, конечно, сейчас же Вам позвоню.

У нас зимой было много болезней. Олечке (внучке) делали операцию. Здоровье ее, конечно, очень меня волновало. Дима тоже все время хворает астмой. А мне самой приходилось тоже круто: кончить надо большую работу, а глаза плоховаты. Хотя видят, но ненадолго — все сливается. А читать безмерно много и слушать не умею, надо все самой...

Сейчас работа кончена — над ней Суд историка, редакторов и т. д.

Вот сдам и приеду свободной. Очень хочу повидать всех Вас. А пока целую, шлю привет всему дорогому семейству и Маме Вашей, и Николаю Владимировичу, и Тете Зинаиде Владимировне.

Ваша *О. Форш*».

Приписка на полях:

«Если напишете мне, не забудьте Ваш телефон.

Вернулся ли Федин в Москву. Хочу его видеть, передайте привет».

На этот раз намерение приехать в Москву, да еще остановиться в гостинице «Якорь» (архаической развалине), не

осуществилось. Хотя мы-то усиленно приглашали, как и всегда, к себе.

В 53 году Ольга Дмитриевна пишет:

«Дорогие мои Тамара и Всеволод и дети и внук и особенно Таня № 1¹. Благодарю — от *сердца*, очень Вами тронутого. Ваши письма отрада и драгоценное питание моему сердцу. Чем дальше, тем вернее знаю — все пройдет — одна любовь останется. Она ж одна и греет и живит.

От Вашего семейства ласка не по заслугам.

Я очень, очень хочу приехать в Москву, но вот какова жизнь моя: сижу все время в городе, на даче в моем домике, в Тярлеве, полный ремонт, негде жить. А дома, в Ленинграде, больной Дима (воспаление легких, астма), которому предстоит полугодовая дальневосточная командировка. Наконец сегодня его выписали на службу, и через несколько дней он улетает. Тамара тоже в дальней командировке на полгода. Сейчас она в Сталинградской области, где такие ливни с градом, что палатки их лагеря промокают, и она спасается от холода в шубе и спит в обнимку со своей мохнатой собакой. Дети: Оля и Володя — с бабуленькой в Евпатории, потом поедут по Крыму, к 1-ому вернуться домой.

Буду сейчас надзирать за ремонтом, жить в Тярлеве с Леночкой, женой Димы.

Очень интересуюсь *Ломоносовым!* (подчеркнуто О. Ф.). Слышала, что отличный спектакль. Из-за него одного хочу быть осенью, да Вы все в придачу (или лучше наоборот!).

Как здоровье мамы?² Надо очень опасаться простуды лица. Я не остереглась, и у меня осталась хроническая невралгия тройничного нерва. Может ли она читать?

Танечку дорогую, Ангела златокудрого обнимаю за ее замечательное письмо. И табакерочка прелесть! Я располагаюсь из-за нее научиться, как предки, нюхать табак.

Я Тане напишу, когда поселюсь в Тярлеве, здесь еле дышу. И так трудно лазить на небо (пятый этаж)! И забот и болезней полон рот. Целую все семейство дорогое. Маме сердечный привет.

Любящая Вас *Ольга Ф.*».

¹ У нас в семье к тому времени кроме дочери Тани появилась вторая Татьяна — первая жена сына Комы.

² Моя мама перенесла, как и Ольга Дмитриевна, глазную операцию: удаление катаракты.

И Ольга Дмитриевна, и Тамара Борисовна все же приехали и, как и во все предыдущие приезды Ольги Дмитриевны в Москву, остановились, к большой нашей радости, у нас.

Ольга Дмитриевна привезла с собой томик избранных своих произведений (Гослитиздат, 1953 г.) с дарственной надписью Всеволоду: «Дорогому факиру с благодарностью за новое чудо — воскрешение Ломоносова.

На добрую память Всеволоду Иванову от крепко любящего автора — сиречь Ольги Форш».

Каждый приезд Ольги Дмитриевны к нам был для всей нашей семьи праздником.

Она обладала даром одним своим присутствием заставить засверкать любые будни.

Ольга Дмитриевна входила в нашу жизнь, ничуть не меняя ее распорядка, так, как будто всегда в ней присутствовала. Разве что Всеволод несколько дольше засиживался за столом в разговорах с ней.

Разумеется, я сопутствовала Ольге Дмитриевне повсюду, куда ей надо было пойти.

Если приезд Ольги Дмитриевны в Москву был приурочен к какому-либо мероприятию Союза писателей, например к пленуму, я сопровождала ее на заседания.

К выходу в свет Ольга Дмитриевна готовилась и обязательно прихорашивалась. Причем делала она это очень артистично и не стеснялась зрителей, а, наоборот, даже жаждала публичности.

Она шла в переднюю, где у нас стояло большое трюмо, и перед ним пристраивала себе какой-нибудь только что ею придуманный и собственноручно созданный воротничок, жабо или горжетку.

Ольга Дмитриевна призывала весь наличный, на данный момент, состав нашей семьи полюбоваться этими своими неистощимыми выдумками «прикрас».

У моих детей надолго вошло в обиход слово «горжетка» — как символ не только прихорашивания, но вообще чего-то из ряда вон выходящего в одежде человека.

Когда Ольга Дмитриевна возвращалась домой, откуда бы то ни было — с заседания, собрания, из гостей, после похода по магазинам, — всегда происходило самое интересное. Ольга Дмитриевна начинала рассказывать. Рассказывая, она чаще всего изображала в лицах — так сказать, проигрывала перед слушателями свои впечатления. Рассказывала и показывала она так, что все приобретало совершенно новый смысл: углублялось, расцветивалось, искрилось юмором.

Иногда, если предмет того заслуживал, юмор становился саркастичным, но никогда не переходил в злопыхательство.

Я, очевидица тех событий, о которых она рассказывала, бывшая при ней неотлучно и не сумевшая увидеть то, что увидела она, каждый раз заново влюблялась в способность Ольги Дмитриевне столь красочно, интересно и многогранно видеть жизнь.

А в моих детей рассказы Ольги Дмитриевны вселяли уверенность, что жизнь и на самом деле так увлекательна, как она ее преподносит.

«С Первым Маем 1955 г.!!!

Дорогая, милая и любимая Там, я очень часто о Вас думаю. Разговор с Вами храню в душе и порой мысленно продолжаю... Вы совершенно правы и жизненно мудры¹. Я шлю Вам самые горячие пожелания, чтобы жизнь Ваша и всей семьи была гармонична, радостна.

Сейчас пишу с предложением Мише приехать, как он хотел, весной. Тапирчик уехала сейчас, в 12 часов дня, в командировку, и комната очень хорошая с балконом может быть в распоряжении Миши. А надоеет в городе, пусть едет в Тярлево, где тоже ему комната! И там сейчас чудесно. Чудесных три пейзажа в городе, в прогулках с Пулькой², мы ему нашли — 1) со скамейки скверика у дома Петра I, 2) из сквера (тоже чудесные скамейки) перед домом Политкаторжан — прямо на крепость и Неву, 3) у нас — с балкона моей комнаты на Неву. И в Тярлеве три-четыре, не сходя с веранды, и сейчас найдет. Тамара уехала на 10 дней. И по ее приезде, конечно, тоже можно приехать, но уже не так удобно (в городе), а в Тярлеве то же самое, хотя 16—17 приедет Надя Павлович.

Я мучаюсь с ногой, которой никто и ничто ни помочь, ни даже поставить диагноз не может.

Когда боль отпускает, рисую и проч... словом, живу. А при болях ведьмую!

Напишите, что знаете про Марусю Тихонову³, неужто у нее вовсе глаз ослеп, а другой в катаракте, которого нельзя оперировать?

¹ Разговор был о взаимоотношениях с детьми. Напоминаю, что дети Ольги Дмитриевны почти ровесники мне.

² Собака.

³ Жена Н. С. Тихонова.

Всей семье большим, середнякам и молодняку мой сердечный привет.

Передайте Всеволоду Вячеславовичу, что мне стыдно было ему посылать свою карандашную мазню при мысли, что висит у него на стене. Пусть примет не как искусство — а как любящее его сердце!

Ваша *Ольга Ф.*».

К Ольге Дмитриевне вернулась страсть ее юности, и она занимала свой досуг рисованием цветными карандашами. Ведь, как известно, в молодости она брала уроки живописи у художника Чистякова.

На стене моей комнаты в Переделкине висит и сейчас подаренный ею Всеволоду на его 60-летие рисунок, выполненный цветными карандашами. Рисунок изображает милый сердцу Ольги Дмитриевны пейзаж из окна ее комнаты в Тярлеве: на заднем плане — задворки, которые она находила пленительными, а на переднем — крупные розы и фуксии, стоявшие у нее на подоконнике.

В этом же месяце еще письмо:

«19 24/V 55 г.

Милый Кома, здравствуйте! И обе Тани и вся дача и весь дом!

Пишу Вам в беспокойстве, что не получаю так долго ответа от Тамары, Вашей мамыши.

Я предлагала комнату Мише в городе и на даче, особенно рекомендуя приехать немедленно, потому что Тапир была в командировке и ее комната оказалась свободной.

Сейчас приглашение остается в силе, с той разницей, что комнату предлагаю с в о ю, ибо еду в Тярлево. И еще прошу сообщить, возможно ли м н е приехать на несколько дней в Мишину или какую комнату для осмотра *оперированного глаза?*

Словом, предлагаю обмен.

Дошла ли моя цветочная фантазия до Всев. Вяч.? Пренебрег или повесил на гвоздь?

Шлю еще раз всем приветы, надеюсь, что все в доме благополучно, но непохоже на Тамару — не отвечать, обычно грешу этим я.

Ваша *Ольга Форш*».

Тут память меня подводит, и я никак не могу отыскать причину — почему не ответила, как всегда, тотчас же Ольге Дмитриевне. Скорее всего, была больна.

Приведу еще одну, очень характерную по юмору, записку, сопроводительную для ехавшего к нам Дмитрия Борисовича:

«Дорогая моя Тама, целую Вас и жалею, что едет Дима, а не я. Вдруг очень захотелось всех вас увидеть. О себе я написала Вам в письме (получили?). Нового что же? Разве что, когда вечерами гуляю в сквере Казанского собора, была остановлена милиционером: *М.*— Где у тебя тут пьяный? *Я.* (не выходя из творческой задумчивости).— Не видела пьяного. *М.*— Какой же ты к черту сторож?! *Я.*— А я и не сторож... *М.*— Что же ты тут кружишь? Кто ты? *Я.*— Я писатель. Хожу книгу обдумываю. Нельзя? *М.*— Кни-гу? Ну, тогда валяй! — Милиционер ушел, потом опять вернулся.— А ты не врешь? Я гляжу, ты который раз по одному месту. А тут сказали, пьяный упавши. Как же это Вы не знаете, где пьяный? *Я.*— Да не видела... *М.*— Под носом не видишь, хорошей книги не напишешь... А пьяного-то и не было вовсе. Так и живу. С напраслиной... Зря обидел!

Надеюсь повидать дорогое семейство скоро, а пока возьмите над Димой шефство. Пустите его переночевать на две ночи.
Ваша *Ольга*».

Последнее наше свидание с Ольгой Дмитриевной произошло в 1961 году.

Мы со Всеволодом специально приехали в Ленинград, чтобы с ней повидаться.

Остановились у нее на квартире. Сама она уже не жила там — проводила все время в Тярлеве.

С нашей точки зрения, ее тамшний домик, о котором она нам писала, но видели мы его впервые, был крайне неудачен, тесен, да и стоял он на каких-то задворках.

Но с ее уменьем видеть (если захотеть) все прекрасным, Ольга Дмитриевна была в восторге от этого домика, и мы, само собой разумеется, поддакивали ей в этом.

Что касается до реального видения, в буквальном смысле этого слова, то к тому времени зрение Ольги Дмитриевны было уже в очень плохом состоянии: ей читали вслух, и она диктовала то, что хотела записать.

В то последнее наше свидание Ольга Дмитриевна уже с трудом перешла из своей комнаты в столовую, с трудом дыша-

ла, но ясности ума и особого, одного ей свойственного оттенка юмора не лишилась ни на йоту.

Она так и сыпала ироническими афоризмами вроде: «Имейте в виду, Там: умная женщина вовсе не молодится, а уж если молодится, то только до 60 лет, а дальше выгоднее прибавлять себе годки (по секрету: я уже давно пяток годков себе накинула) — ан кто и скажет: «А старушка-то еще ничего!»

Ольга Дмитриевна всегда проявляла полное презрение к так называемым материальным проблемам: отсюда ее близость со Всеволодом, у которого это тоже было основным качеством.

Но, по банальной истине, что противоположности сходятся, меня она как раз любила за то, что ей казалось, будто я умею легко решать эти материальные проблемы. Сама же она, как и Всеволод, обладала способностью воображаемое считать действительностью, и — что самое поразительное (при любых обстоятельствах) — счастливой и прекрасной действительностью.

Еще в 38 году, точнее — 27 апреля 1938 года, Ольга Дмитриевна сделала на своей книге «Современник» такую дарственную надпись Всеволоду:

«Дорогому человеку и писателю Всеволоду Иванову, роман о его двух земляках (по Индии) от землячки же Ольги Форш».

«Индию» Ольга Дмитриевна понимает здесь как творческую мечту, творческую фантазию.

Гоголь и Александр Иванов в воображении Ольги Дмитриевны жили и творили рядом с ней. В ее представлении они были не просто современниками, но и земляками не только друг другу, а и ей, и близкому ей по духу Всеволоду.

Философски умонастроенной, переполненной романтической фантазией, насквозь пронизанной иронией и юмором, неистребимо молодой знала я Ольгу Дмитриевну, и такой живет она в моей благодарной памяти.

▽ Константин
Александрович
Федин

Константин Александрович Федин никогда, ни при каких обстоятельствах не мог нарушить данное слово.

Взятые на себя обязательства были для него непреложны.

Он живет в моей памяти красивым человеком.

Красивым во всех смыслах этого слова.

При всех заслуженных им творческих, общественных, жизненных успехах, по-моему, на его судьбе есть налет и драматический.

Это мое утверждение, конечно, покажется странным, но я постараюсь его обосновать.

Знала я Константина Александровича и, смею сказать, дружила с ним ровно 50 лет.

Привожу полностью несколько писем (из многих), выражающих внимание и заботу Константина Александровича как о Всеволоде, так и обо мне лично и о других друзьях.

Вот письмо, написанное Константином Александровичем после смерти моей мамы.

*«Дача,
9.VII.1955.*

Дорогая Тамара Владимировна,
всю эту неделю после возвращения из Финляндии я надеялся вот-вот навестить Вас, но — к большому огорчению моему — не мог этого сделать, потому что Ассамблея продолжается для меня и в Москве, с гостями, приехавшими из Хельсинки.

Я хотел выразить Вам свое настоящее участие в горе, которое Вы переживаете после смерти Марии Потаповны, и сказать, что очень грустно, что ее уже нет. Я так хорошо помню всегда замечательно доброе отношение Марии Потаповны к Вареньке, к Доре Сергеевне, Нине и ко мне, особенно к Варюше, которую она почему-то постоянно баловала своей лаской. Так она и осталась в памяти моей доброй бабушкой — чужой, а вместе будто и своей родной бабушкой.

Очень сочувствую Вам, Зинаиде Владимировне, всем внукам Марии Потаповным, всему Вашему дому.

Простите, что все-таки не выражаю Вам все это лично, а пишу, да еще с таким запозданием, хотя нахожусь вблизи от Вас — и — казалось бы — мог зайти на короткое время, чтобы все сказать, что хочу. Но я все время на людях, и они не отпускают меня.

Устал смертельно, и как это жутко, что уже совсем не располагаешь собой как хотелось, как следовало бы располагать.

Кланяйтесь Всеволоду и детям.

До свидания.

Искренне Ваш

Конст. Федин.

Узнал я о Марии Потаповне в Хельсинках от Фадеева».

Постоянные дела. Разъезды. А возвращения почти всегда чреватые тягостными новостями.

«5/XI—62 г.

Дача.

Дорогая Тамара Владимировна, вернувшись после 1^{1/2} месячного отсутствия домой, я узнал от Нины о болезни Всеволода, — она ничего мне не писала...

Как он сейчас, после перенесенного?

Очень, очень прошу Вас дать мне знать — где могу Вас видеть?

На даче ли Вы сейчас? Могу ли побеспокоить Вас, зайти к Вам? Не захотите ли прийти к нам, ко мне?

Если Вы в городе, то когда приедете сюда? Напишите мне два слова или поручите детям написать, зайти ко мне, вообще — как-нибудь дать мне знать о Вас и о Всеволоде.

Как переносит он послеоперационный период?

Пожалуйста.

И — пускают ли к нему, когда будут пускать?
Словом, жду!

Искренне Ваш
Конст. Федин».

К заболевшему другу, как в благополучный период дружбы, так и после вольного или невольного расхождения, Константин Александрович был неизменно внимателен.

Привожу письма:

«22 окт. 1952

Дорогая

Тамара Владимировна,
благодарю Вас за вчерашнюю записку о болезни Бор. Леонидовича.

Я рассчитывал сегодня поехать в город и думал встретиться с Зинаидой Николаевной. Но вчера меня свалил грипп, я сегодня лежу.

Дора Сергеевна едет в город, там узнает о положении Бориса Леонидовича. Если Вы что-нибудь знаете, черкните мне два слова — что с ним, каково его самочувствие.

Спасибо за приглашение. Вот ужю поправляюсь — зайду. Меня ломает всего и болит голова.

Привет!

Конст. Федин».

В ответ на нижеследующую записку Всеволода:

«Дорогой Костя!

На квартиру нашу в Москве позвонил Алянский, который просил передать тебе, что сегодня ночью у Паустовского произошел инфаркт и что нужно поместить его в Кремлевскую больницу. Я не знаю, можно ли перевозить больного, только перенесшего инфаркт, в больницу, но, наверное, нужны и хорошие врачи, и сиделка.

Ужасно жалко. Константин Георгиевич позавчера лишь выступал на вечере Каверина и говорил хорошо...

Привет, дорогой!

Целую.

Всеволод.

Тамара Владимировна кланяется».

Федин пишет.

«20.IV.62

Дача.

Милый Всеволод, спасибо большое за то, что прислал записку о Паустовском. Печальную, тревожную записку...

Сейчас насилу добился по телефону Москвы.

Узнал вот что:

Кардиограмма инфаркта не показывает, однако врачи не колеблются — д и а г н о з б е с с п о р е н. Костю кладут в Кремлевку (на Грановского). Он «транспортабелен». Оказывается, в первые три дня перевозка с инфарктом допускается. В данном случае врачи считают нужным перевезти, т. к. дополнительно необходимые исследования можно сделать т о л ь к о в больнице.

Уточняя: инфаркт произошел в н о ч ь на 19-е число — вчера. Я говорил с Татьяной Алексеевной. Она, разумеется, очень встревожена, волнуется, колеблется — перевозить ли. Что я мог посоветовать? — слушаться врачей, и только. А врачи (по ее словам) находят, что перевезти можно и нужно.

Что еще? Все под богом...

Я очень хотел зайти к тебе и позвонить от тебя. Но «собачье дело» для меня не вполне на твоём участке ясно: так недавно гуляя, я был свирепо облаян, и волкодав твой, провожая меня всю дистанцию забора, едва через него не перепрыгнул. Страшновато. А пёсье имя-отчество я позабыл — не мог подлизнуться.

Обнимаю тебя, кланяюсь Тамаре Владимировне.

Твой Конст. Ф.»

Приписка на полях:

«После 3-х часов дня нынче приедет ко мне К. В. Воронков. Если привезет что-нибудь новое о Паустовском, напишу тебе. Если не напишу, значит, ничего нового не произошло».

«9/V—1960

Дорогой Всеволод!

Все сделано. Говорил с глав. врачом, и он высылает аппаратуру и организует все, что необходимо по ходу болезни.

Обнимаю тебя. *Конст. Ф.»*

Записка эта — ответ на просьбу Всеволода помочь в связи с болезнью Бориса Леонидовича Пастернака, который не захотел быть помещенным в больницу. Лечение его налаживали в Переделкине.

Даже по поводу какой-то моей пустяковой болезни, узнав о ней, Константин Александрович тоже заботливо писал:

«25/V—1964 г.

Милая Тамара Владимировна!

Сейчас дошел слух до нас, что Вы заболели. Полечитесь терпеливо и будьте осторожны — не торопитесь покидать постель.

Дом наш шлет Вам наилучшие пожелания.

Поправляйтесь!

Ваш *Конст. Федин*».

Дружба Константина Александровича со Всеволодом возникла не на моих глазах, а сейчас же по приезде Всеволода из Сибири в Петроград (тогда еще Питер), где их познакомил Горький.

В архиве Всеволода хранится недатированная записка Федина:

«Всеволодушка, скажи мне, когда ты приехал в Питер — в каком месяце 1920-го¹ года — и когда, по-твоему, мы встретились у Алексея Максимовича?»

Они с первого взгляда друг другу понравились. Всеволод никогда не мог забыть, что Федин отдал ему свои единственные сменные брюки. На Всеволоде были вдрызг рваные — некуда заплату положить, так что он и в помещении, пусть тепло и даже жарко, не мог снять шинели своей, продырявленной и прожженной. Заметив это, когда Всеволод пришел к нему домой, Федин и заставил Всеволода надеть свои брюки.

Проявлялась дружба Константина Александровича и после смерти Всеволода. Федин не переставал думать об умершем друге. Не переставал заботиться об издании его произведений.

¹ Всеволод Иванов приехал в начале 1921 года.

Во время затянувшихся моих хлопот по изданию романа Всеволода Иванова «Ужгинский Кремль» Константин Александрович написал, по моей просьбе, короткое, но весьма одобрительное предисловие к предполагавшейся журнальной публикации романа.

Публикация эта не состоялась по целому ряду прискорбно внелитературных обстоятельств, о которых нахожу неуместным рассказывать именно здесь.

Зато как порадовались бы наконец они теперь оба — и автор, и его друг — выходу романа.

Константину Александровичу вообще была свойственна в дружбе верность.

Но... вот в этом-то его свойстве и лежит парадоксально зародыш той драматичности его жизни, о которой я сказала выше.

Верность в дружбе не всегда оказывалась для Константина Александровича возможной.

Иногда над чувствами должен был, по его разумению, возобладать долг, взятые на себя обязательства. Иногда другие, но опять же лежащие вне дружбы, принципиальные взгляды, пришедшие в разнобой с обстоятельствами.

На одни дружеские взаимоотношения падала тень, другие вовсе порывались.

Самый яркий и конкретный пример: дружба Константина Александровича с Борисом Леонидовичем Пастернаком, которая прервалась по причинам, лежащим, так сказать, вне их личных отношений.

Оба искренне любили друг друга; мало того, восхищались один другим и были в какой-то период времени полнейшими единомышленниками.

Удивительные совпадения умоастроений этих двух друзей и единомышленников можно отметить, сравнивая их письма, мною приведенные и в главе о Всеволоде, и в очерке о Пастернаке. Да и в переделкинский период.

Например, в ответ на одно из приглашений Борис Леонидович пишет:

«Дорогая Тамара Владимировна! С приездом! Всеволод! С приездом тебя! [...] всю неделю [...] встречи и развлечения [...] мы тоже горим нетерпением повидаться, но [...] мне уже нынешнюю ночь снилось, что я слишком забываюсь и что меня повезли в больницу кое-что напомнить» (ноябрь 1954 г.).

Кладу рядом записку Константина Александровича —

как будто это пишет близнец, духовный во всяком случае:

«Милая Тамара Владимировна, мне очень хотелось бы провести с Вами вечер! Но сейчас, к сожалению, это невозможно. После обеда я прилег отдохнуть, и меня мучил страшный кошмар,— будто я не окончил работу, которую я обязан кончить к завтрашнему дню. Я вскочил, как безумный, и бросился к столу [...], за которым я вынужден сидеть, пока не напишу, что мне надо написать в силу данного слова [...]

Целую Вас и Всеволодушку.

Ваш Кос. Федин.

Дача. 1953 г.».

Мы жили с Пастернаком и Фединым в одном доме на Лаврушинском и рядом в Переделкине, на улице Павленко, и очень часто встречались. Кроме большого количества писем ко мне и Всеволоду Федина и ему от нас (наберется целый том) имеется также много записок:

«Милые Ивановы, с добрым утром! И дайте, пожалуйста, на временное пользование синдетикон! Спасибо! К. Федин».

А на оборотной стороне листа: «Кому-нибудь из Ивановых. 28/V». Год не проставлен. Однако абсолютно исчезнувшее слово «синдетикон» (клей) указывает на то, что записка писалась в 30-е годы.

Аналогичные записки есть с просьбами о копировальной бумаге, книгах, лекарствах или просьбой передать телефонограмму (это пока Федин еще упорствовал в нежелании поставить себе телефон).

Особое место я уделю запискам, приглашающим на празднования и гостевания, но прежде всего хочу сказать, что писатели интересовались больше всего творчеством друг друга. Поэтому излюбленным времяпрепровождением было чтение еще не опубликованных произведений.

Чтения друг другу и друг у друга, на моей длинной памяти — как-никак я в писательской среде пятьдесят с лишним лет (точнее, 59 лет), — были, безусловно, основой взаимоотношений.

Чтения происходили у Федина, у Фадеева, у Пастернака, у Вс. Иванова, у Сельвинского, у Сейфуллиной, у Афиногенова, у Веры Инбер, у Евгения Петрова.

Привожу одну из пригласительных записок на прослушивание-обсуждение:

«Дача
Четверг 17 авг. 44 г.

Дорогой Всеволод,
значит, я ожидаю тебя к 5-ти часам дня¹.

Передай, пожалуйста, Тамаре Владимировне, что, если она желает слушать, буду рад.

Кроме того, если выразить такую же охоту Кома, то двери моего палатца для него всегда открыты.

Твой *Конст.*».

Вот так друг другу читали, слушали и критиковали. И жить без этого не могли.

Приезжали ленинградцы и тоже читали у нас. Читали Зоценко, Семенов, Каверин.

В двадцатых — начале тридцатых годов литература была еще по количеству писателей (не по качеству) «маленькая». Все писатели друг друга знали и почти все были на «ты».

По мере того как число писателей год от году все увеличивалось, начала исчезать в литературной московск среде атмосфера родственности, когда все были на «ты» и все отлично знали не только кто над чем и как работает, но и как у кого дома дела обстоят; дети — погодки — вместе играли, учились; жены дружили или ссорились.

Пока был жив Горький, существовал постоянный центр, который объединял у него — на Никитской ли (теперь ул. Алексея Толстого), в Горках ли — всех, от самых правых попутчиков (были ведь еще и левые) до рапповцев и напостовцев.

В середине 20-х годов Федин выступает в качестве организатора «Серапионовского альманаха».

30 ноября 1925 года Константин Александрович пишет Всеволоду:

«...додумался я до... альманаха «Серапионовы братья». Говорю серьезно. Вот план: выпустить к 1-му февраля (пятилетие!) сборник с участием *всех* (подчеркнуто К. Ф.), покойного Лунца в том числе, серапионов: поэзия, проза, статьи («пять лет» — этак «информационно!» «памяти Лунца») ... Рассказы должны быть «вообще», по возможности необычные... *но очень хорошие* (подчеркнуто К. Ф.). Довольно по одному листу на брата. Этого только и надо, чтобы сделать хорошее, полезное для наших дней дело. Весь облик

¹ Чтение первых глав из романа «Первые радости».

альманаха должен быть неожиданностью. Это будет форменный переворот. Посему — пиши, согласен ли, присылай рассказ, такой, который никуда «не подходит», но тебе нравится. Если такого нет, *напиши* (подчеркнуто К. Ф.)».

Всеволод отвечает:

«Дорогой Костя, получил твое письмо, воодушевился! Очень рад.— Именно теперь необходим такой сборник».

Однако альманах они издали только один. Ибо, что с несомненностью явствует из приведенных мною выше размышлений Всеволода, уж очень они все были разные.

Но и по прошествии многих лет Константин Александрович никогда не забывал своего «серапионовского» происхождения. Доказательством служат уже приведенные мною в «портрете» Всеволода письма, где, напоминая, Константин Александрович пишет: «...памятуя, что близится 1-е февраля, а на этот раз задумаешься над незабываемой датой больше обычного — 40 лет!»

Да и в шутливой форме вспоминал Федин о «серапионовском» первородстве.

«Всеволодушка!

Я сейчас рылся в книгах, залез в «Розыск о раскольнической вере» Дмитрия Ростовского (очень увлекательная книга) и нашел там в перечислении скитов раскольничьих «иже ныне обретаются в брянских лесах» следующую рубрику:

«*Серапионовщина*, тоже есть еже и Морельщики гладом (аки бы за Христа) уморяющии.

Но уже Серапион той умре, учение же его еще не погибе».

Воистину! (Подчеркнуто мною.— Т. И.).

Обнимаю и желаю великих милостей судьбы.

Твой *Конст.*

9.IV.1941».

Константин Александрович и Всеволод родились в один день — 24 февраля.

С момента переезда семьи Фединых в Москву и до какого-то времени Федины, все трое: Константин Александрович, жена его Дора Сергеевна и дочь Нина, всегда приходили в этот день общего рождения к нам. Потом иногда мы начали чередовать место празднования или же стали

праздновать два дня подряд, сперва в одном доме, потом в другом. И наконец (кроме круглых юбилейных дат) разъединились, неизменно, однако, письменно поздравляли друг друга.

Произошло это постепенно, и не из-за охлаждения между Константином Александровичем и Всеволодом, а потому, что и у того и у другого создалось свое новое «окружение».

В жизни ведь почти никогда ничто не стоит на месте, а все течет, все изменяется, так, за редким исключением, происходит и смена окружения.

С одними гостями еще можно даже перекочевать друг к другу, но других «версальские обычаи» требуют принимать только у себя дома.

Привожу некоторые наиболее характерные из записок-приглашений и ответы на них.

«Всеволодушка!

Поздравляю с благополучным возвращением из страны загадочного народа¹!

К обеду у нас сегодня худ В. Милашевский. Вести его к Вам вряд ли допустимо версальскими нравами — поскольку он зван к нам, а не к Вам.

Возможно, кроме того, что придут и другие гости.

Если все удачно завершается, то я приду к чаю.

Бажанов мне очень хотелось бы повидать. Пока — поклон Тамаре Владимировне, тебе и Нине Владимировне с Миколой Платоновичем².

Твой *Конст.*

7 сент. 1952».

Эту записку (вне хронологии) помещаю именно потому, что как раз в ней Константин Александрович шутливо указывает на «версальские нравы», которые не допускают-де перебрасывания гостей из одного дома в другой.

Совершенно ясно, однако, что дело вовсе не в «версальских нравах», а в том, что постепенно и у нас, и у Константина Александровича кроме общих друзей начали появляться новые — не всегда одинаково вписывавшиеся в оба окружения.

«Дорогой Костя!

24-го февраля мне исполнится 55 годков. Тебе как будто побольше, но, в общем, думаю, все равно — исполнится!

¹ Имеется в виду поездка в Румынию.

² Микола Платонович Бажан и его жена Нина Владимировна Лауэр.

По сему случаю прошу тебя и Дору Сергеевну пожаловать к нам — от 9 до 2 часов ночи, в любое время, по Вашему благоусмотрению!..

Да-с.

Всего хорошего.

Всеволод».

«22 февр. 1950

Всеволодушка!

С наступающим!..

Придем, вернее — очень хотим прийти.

Но у меня 25-го доклад на общем собр. моск. прозаиков (к коим, если не изменила память, ты имеешь некоторое отношение), — будут произведены перевыборы Бюро, я обязан выступить с отчетом. В наши дни — это предприятие не из приятных. Я сижу, пишу, сочиняю с великой тоской на душе. Если бог наделит силами и к вечеру 24-го я дотяну, то приду праздновать наше общее рождение, наши с тобой 113 лет. К себе я, ввиду оных перевыборов, нынче никого не зову.

Вот так. Полагаюсь единственно на волю Божию.

Обнимаю. Твой *Конст.».*

Эти две записки — приглашение и ответ на него — относятся к тому периоду, когда общий день рождения отмечался у нас на Лаврушинском.

«Дача,

29. XI. 1950

Милые Тамара Владимировна и Всеволодушка, мы с Дорой Сергеевной очень хотим, чтобы Вы зашли к нам, попить чайку и пр., сегодня, часов в 9 вечера. Места наши глухие, люди мы тихие, давайте покоротаем вечерок, побалакаем!

Ждем.

Ваш *Конст. Ф.».*

Тот же 50-й год. Встречи по поводу и без повода — очень частые. Но Всеволод, всегда радуясь неожиданному приходу друзей — просто, что называется, «на огонек», — сам был довольно тяжел на подъем, и его приход к кому бы то ни было желательно было стимулировать приглашением.

Твердо установившаяся традиция совместного празднования общего дня рождения все еще в силе:

«23 февраля 1951 г.

Баковка

Москва

Дачный городок писателей

Константину Александровичу

Федину

Поздравляем наступающим днем рождения. Мы в Москве очень хотим видеть вас и Дору Сергеевну в этот день традиционно у себя.

Всеволоды Ивановы!»

«Дорогой Костя!

Поздравляю тебя с Высокопраздничным Праздником — днем твоего рождения!

Имея привычку встречать этот день вместе, я послал тебе вчера телеграмму в Переделкино с приглашением тебе и Доре Сергеевне — пожаловать к нам вечером, 24 сего февраля, на чашку чая.

Сомневаюсь, однако, что телеграмма эта дошла, еще раз, письмом, повторяю свою просьбу.

Засим целую!

Всеволод.

24/II—1951.

Все семейство присоединяет свои поздравления и пожелания счастья.

Г. Иванова».

«Дача, 25 февраля 1951

Милый Всеволод,

обнимаю тебя крепко, вечный мой спутник, поздравляю! И очень жалею, что не мог этого сделать вчера, на твоём домашнем торжестве.

Жду тебя с Тamarой Владимировной сегодня к дачному столу — в 4 часа дня. Пожалуйста.

Целую.

Твой Конст.

Благодарю за письмо и телеграмму!»

Как видно из этой записки, уже наметился сдвиг: празднование общего дня рождения начинает занимать два дня. 24-го мы принимаем друзей у себя, а 25-го перекочевываем к Федину, у которого уже наметился свой круг друзей, отличный от нашего.

Дальше привожу разрозненные записки, выбрав те из них, где приглашение связано с приездом каких-либо наших общих с Константином Александровичем друзей.

«Пригласительный билет
(На 2 — и более — лица)

Вс. В. Иванов и Т. В. Иванова имеют честь пригласить К. А. Федина и Д. С. Федину с домочадцами, гостями, — ныне, в воскресенье, к обеду в 3 часа дня. Обед состоится по случаю приезда из Киева М. П. Бажана и супруги его Нины Владимировны, а также по случаю благополучного возвращения Вс. Иванова из Казахстана, откуда им вывезен арбуз (12 кило) и дыня (тоже 12 кило), которые и будут скушаны на этом обеде без остатка.

Если у вас воскресные гости и вы их кормите обедом и вам жалко, что обед этот пропадет зря, — приходите после обеда пить чай.

Целую!
Всеволод».

«7/VIII—1952

Дорогой друг!

У меня — А. А. Ахматова, — и мы все порадуетесь, если ты, выставив своим гостям бутылку коньяка, уйдешь к нам на часок или сколько тебе будет угодно просидеть у нас.

Целуем.
Всеволод».

«7 марта 1954.

Дорогие Константин Александрович, Нина!

М. б. на наше счастье у Вас нет гостей и Вы оба придете к нам.

Ваша *Т. Иванова».*

После смерти Всеволода Константин Александрович тоже никогда не забывал, что день рождения у них общий.

Привожу одно из писем:

«24 февраля 1970 г.
Дача.

Дорогая Тамара Владимировна!

Шлю Вам поклон и приветствую в памятный день Всеволода.

Жизнь его продолжает обогащаться и расти все краше.

Многое возникнет еще впереди, и оно изумит нас, его почитателей, как изумляла всегда его поэзия в дивной прозе. Вдвойне ценим, любим наш Всеволод Иванов теми, кто знал его, как мы: поэтом и человеком сердца.

Всего хорошего.

Ваш *Конст. Федин*».

Новый год редко встречали вместе, но письменно неизменно друг друга поздравляли. Привожу одно из множества таких поздравлений:

«Милый Костя!

Большое тебе спасибо за поздравление.

Постараемся исполнить все твои пожелания, как это ни трудно.

М. б. зайдем тебя поздравить часа в два. Но вряд ли, по правде говоря. Я не люблю покидать свой стол, особенно если на нем много полных бутылок. Зачем огорчать себя?

М. б. ты зайдешь? Тоже вряд ли? У тебя, кроме полных бутылок, будут полные гости, а ты хозяин вежливый, изысканный, и тебе гостей покидать трудно, не в пример мне, который, выпив, забывает о гостях.

Поэтому я предлагаю поднять бокалы и выпить — в 12 часов —

за дружбу,

дружелюбное счастье,

счастливое спокойствие!

Мое семейство во главе с Тamarой Владимировной присоединяется ко всем этим пожеланиям и просит добавить, чтоб я не забыл внуков.

— Опору-то? Как можно!

Внукам полный ворох счастья!

— А годик-то миновал любопытный. Мы прошли через переднюю, что-то ждет в гостиной?

Целую.

Всеволод.

21 дек. 1956

Переделкино-с!»

В 56 году в день рождения Фадеева (прошел еще не полный год с его смерти) мы все собрались у него на квартире, где при жизни его не бывали. Встречались с ним всегда в Переделкине.

«Дорогой Костя!

А. О. Степанова просила тебе передать, что ждет тебя на квартире Фадеева в Москве, в день его рождения, в любой час завтра, т. е. в понедельник 24-го. Мы будем у нее часов в 5—6.

Целую.

Вс. Ив.

23/XII—56».

В ответ на эту записку Константин Александрович написал:

«24. XII. 1956 г.

Милый Всеволодушка, спасибо за вчерашнюю записочку. Вечером у меня должна быть здесь союзная машина, и я приеду к Ангелине Осиповне, наверно, часам к 7-ми вечера.

Ежели ты поедешь обратно в Переделкино, то не захватишь ли меня с собой?

Словом — до вечера!

Целую. *Конст.».*

Встреча эта, у Ангелины Осиповны, где в основном собрались ее товарищи по Художественному театру, была очень грустной.

Любые поминки грустны. А тут еще с особой очевидностью стало ясно, как одинок был последнее время Александр Александрович в писательской среде, как мало у него было личных друзей-писателей.

Опять выбираю пригласительную записку, относящуюся к совместному дню рождения, празднование которого четко разбилось на два дня:

«23. 11. 1957

Милый мой Всеволодушка,

обнимаю тебя горячо и поздравляю! Живи долго, легко, будь здоров, весел.

Вот я добрался (плыть да быть!) из Суханова до дачи, — думал — обойдется. Но переоценил могучие свои силы: лежу, укутанный, глотаю малиновый чай и другие

зелья. Час назад сняли со спины 22 банки. В дом отдыха поехал нездоровым, там перемогался, а поездка, с остановкой в Москве, меня свалила.

Словом, чтобы завтра принять у себя гостей и выпить с ними, стремлюсь использовать мудрый шанс — лежу, лечусь всеми бабушкиными способами. Если выйду сейчас — завтра будет не лучше, а хуже.

Очень, очень мне тоскливо и грустно. Одна надежда, что завтра возьму реванш.

Не вини, не обижайся. Тамаре Владимировне целую руку, прошу простить меня, хоть и неповинного, и быть с тобой завтра у меня.

Твой *Конст.*

Друзьям поклоны».

«9. VII. 57

Милая Тамара Владимировна, мы с Ниной очень хотели бы поехать к Капицам¹ и благодарим Вас за письмо.

Я обдумывал, как организовать поездку, но у нас ничего не выходит: машина в городе, шофер на своей службе; я в отпуске и не могу напоминать о себе в Союзе, иначе меня изгрызут разными просьбами (я заявил, что уезжаю!); здешний шофер Сережа, который иногда нас выручал, перешел от Хикмета на новое место и нынче занят, как, впрочем, ежедневно... Я банкрот.

Любой Ваш план приму с благодарностью, в том числе — такси. Только у Нины и у меня одно желание и одна просьба: ночевать мы хотим возвратиться на дачу. Надеюсь, это совпадет с Вашим расписанием...

Страшно рад возвращению Всеволода и целую его.

С Вашего позволения — и Вас тоже.

Если план поездки «утрясется», то мы ждем, что в 7 ч. веч. Вы погудите у нашей калитки. Если будут осложнения — дайте знать. Соберем тогда вече и, может быть, пойдем к патриарху всея Руси бить челом о помощи.

Ваш *Конст. Ф.*».

Из множества записок трудно выбирать наиболее интересные, по той или иной причине — они все интересны. Привожу эту, потому что в ней говорится об Евдоксии Фе-

¹ Петр Леонидович Капица. В записке идет речь о поездке на Николину Гору, где отмечался день рождения Петра Леонидовича.

доровне Никитиной, личности весьма примечательной и вошедшей в историю советской литературы. Через ее «Никитинские субботники» прошло не одно поколение писателей:

«1-го мая, 1958

Милые Тамара Владимировна и Всеволодушка, спасибо за привет и — взаимный привет к празднику от всей нашей семьи.

Спасибо также за «передачу». Часть ее принадлежит Вашему семейству, и я ее посылаю Вам и прошу принять. Дело в том, что известная Евдоксия Федоровна Никитина выпекла целое стадо баранов из доброго кекса и, ссылаясь на южное поверье, что такие стада приносят счастье, пригласила его в Переделкино, в полное мое владение и распоряжение. На семейном совете у нас решено, что любовь богини Никитинских субботников распространяется на всю литературу, а потому я шлю одного барашка на Ваш праздничный стол. Прошу отведать.

Я сегодня хочу заглянуть к Вам — повидаться после долгих разлук, Нина, к сожалению, нынче одна и должна работать за всех. Она благодарит Вас и велит кланяться, что я и исполняю.

До свидания!

Всем вашим чадам и домочадцам поздравления и поклон.
Ваш *Конст. Федин*».

«4. XII. 59

Дорогие Тамара Владимировна и Всеволодушка!

Вернувшись нынче на дачу, чувствую себя очень усталым и опять немного нездоровым. Не могу поэтому выполнить желание свое зайти к Вам, как ни жалко, что не повидаю еще раз Вас перед фантастическим Вашим путешествием.

От души желаю Вам счастливого пути, отрадных впечатлений, здоровья и счастливого же возвращения. Нина кланяется Вам и присоединяется ко всем моим пожеланиям.

Ваш *Конст. Федин*».

«2. 1. 1960, Барвиха

Дорогие Тамара Владимировна
и Всеволод Вячеславович, Всеволодушка тож!

С Новым годом, с новым счастьем на долгие времена, а не только на год!

Сегодня Нина с внучатами были у меня в санатории, где я — впервые в одиночестве — встретил шестидесятые годы... Привезла Ваши милые индийские письма. Спасибо.

Твоя Индия, Всеволод, вела тебя пешком к себе, и это было легче, чем слетать к ней на скорых крыльях по туристской путевке. Фантазия всегда благодарнее неприкрашенных истин дневного света. Истины просты, вымыслы кудрявы. Я думаю, ты увидел много лысого. И удивился: где же кудри?

Хотя пагоды, боги, священные быки и обезьяны существуют, наверно, и при дневном свете.

Я очень жалею, что не послушаю твоих и Тамары Владимировны рассказов, пока Вы оба еще не выдохлись, повторяя множеству гостей свои одиссеи.

Но м. б. мы с тобой выпьем как-нибудь по четвертушке столичной и ты еще раз вспомнишь обо всем заново?

Как ужасно, что умер Кокорекин. Это хороший рисовальщик, плакатист. Не был ли это случай «восточного тифа»? Немецкие медики говорили мне о такой форме тифа — одно время предполагали, что Иог. Р. Бехер болел ею; он болел долго, а этот тиф — *быстротекучий*, и Бехер умер от обыкн (овенного) «европейского» рака. Так или не так — ужасный конец.

Будьте же здоровы.

Ваш *Конст. Федин*.

Иногда мы ездили вместе с Константином Александровичем к общим друзьям и знакомым. Чаще всего к Екатерине Павловне и Надежде Алексеевне Пешковым. Привожу соответствующие записки, относящиеся к разным годам (в промежутке много других):

«Дорогой Костя!

Во вторник в 8 час. вечера Н. А. Пешкова отмечает у себя на квартире день рождения А. М.

Она просит тебя быть.

Телефона у тебя на даче нет; у нее эти несколько дней нет машины, поэтому у нее нет иного способа известить тебя иначе, как этим моим, м. б., не очень связным письмом [...]

Целую и желаю здоровья!

*Всеволод,
сын Вячеславов Иванов*

27 марта
1955, снегопад!»

«Дача, 26/VII.62.

Дорогая Тамара Владимировна,
большое спасибо за записку, за приглашение поехать к
Екатерине Павловне. К огромному сожалению, нынче поехать
никак невозможно.

К Вам придем скоро и непременно.

Пожалуйста, передайте привет дорогой Людмиле Ильиничне¹, скажите, что буду ждать ее визита. Порадуете, если тоже соберетесь ко мне.

От Ольги Викторовны большой привет.

Всеволодушку целую. Завидую, что он работает, и желаю ему победы не меньшей, чем «Хмель»!

Ваш *К. Федин*.

Всей семье Пешковых низкий поклон!»

Следующая записка написана по возвращении Всеволода из больницы, где он перенес тяжелую операцию:

«26.XI.62 г.

Дача

Милай Всеволодушка!

Поздравляю тебя от души со счастливым прибытием домой, с выздоровлением, можно сказать — с победою.

Нина передала мне от Тамары Владимировны пропуск к тебе «после воскресенья».

Нынче, в понедельник, совсем собрался к тебе, но помешали всякие приходы и приезды. Завтра вынужден быть в городе.

Можно ли в среду? И — когда? У тебя, наверно, режим? Хорошо бы, если бы ответил мне — в какие дневные часы тебе удобнее.

Крепко обнимаю.

Твой *Конст.*».

«Дорогой Костя!

Спасибо за письмо.

Прошу прийти, если можешь, в среду — начиная с 6 час. вечера.

¹ Людмила Ильинична Толстая — вдова Алексея Николаевича Толстого.

У меня никакого режима нет, — думаю у тебя его больше: я ведь даже выхожу на улицу.

А вообще я чувствую себя лучше, чем до операции.

Привет и поцелуй!

Всеволод.

Привет и от меня. Кубик будет сидеть на цепи или запрет его в дом.

Ваша Т. Иванова.

Бодрый тон записки Всеволода объясняется тем, что он не знал диагноза своего заболевания. Ему сказали, что удалили не почку, а всего лишь камень из почки.

Я же, хоть и знала диагноз, тоже надеялась тогда на благонаилучший исход болезни.

Всеволода не стало. Но не порвались мои отношения с Константином Александровичем, он неизменно заботился и обо мне, и, главным образом, об оставленных Всеволодом и не опубликованных при жизни его произведениях.

На эту тему огромное количество записок, некоторые я уже процитировала. Привожу еще.

«4. XII. 1963 г.

Дорогая Тамара Владимировна,

шлю Вам привет и сердечные пожелания всего доброго! Прошу не посетовать, что сейчас не могу заглянуть к Вам, так как с первых дней по приезде домой меня заторкали самыми неотложными делами нашей «общественности», которая, как Вы знаете, никогда не дремлет. При первой же передышке не премину Вас повидать.

Посылаю Вам статью Влад. Познера о Всеволоде «В Сибири пальмы не растут», недавно напечатанную в «Neues Deutschland», и две фотографии со Всеволода, сделанные немецк. корреспонденткой «Neue Berliner Illustrierte», Инг. Кречмар, с которой — помните? — я был у Вас на даче осенью 1961 года. До встречи!

Ваш Конст. Федин.

«26. VII. 64 г.

Дорогая Тамара Владимировна, конечно, буду рад Вас повидать. Хочется исполнить обещанное — сначала написать об «Ужгинском Кремле», но все не пускает хворь — каждый день боли.

Кому повидею (т. е. прошу его заглянуть ко мне) по возвращении его из Ленинграда. И тогда же, надеюсь, повидаемся и мы.

Покорно прошу извинить меня, но не могу не воспользоваться счастливым случаем — Вашей поездкой к Екатерине Павловне и обращаюсь к Вам с ходатайством о своем всегдашнем почтительном чувстве к ней: оно надеется, что Вы передадите ей от меня поздравления.

Ваш *К. Федин*».

.. «Дорогая Тамара Владимировна.

предстоящие три дня этой недели у меня складываются так, что я не могу обещать увидеться с Вами, — Вы извините меня. Скорее всего будущий понедельник — удобнейший день для встречи. Я напишу Вам об этом еще раз — в воскресенье 6-го числа. Либо зайду к Вам, если позволите.

Основное: я только что (в прошедшую субботу) говорил в СП о возможном сроке обсуждения «Ужгинского Кремля» и ничего определенного не мог «выговорить», кроме подтверждения обещания — обсуждение произвести.

Как ни прискорбно все это, но дело тянется не по вине каких-либо лиц, а по сложившимся обстоятельствам.

Искренне приветствую Вас Ваш *К. Федин*».

«31/XII—1966 дача

Дорогая Тамара Владимировна, с Новым годом!

Будьте здоровы, счастливы в своем доме, в своем родном кругу и счастливы в Вашем дивном, любимом деле перед большой, славной памятью о Всеволоде.

От Нины моей — поздравления Вам и всей двуступенчатой династии Вашей.

Спасибо за Ваше новогоднее приветствие с «веткой» зелени — красиво-живой. Отвечаю — уввы! — цветком даже не нарисованным, а как бы подразумеваемым... Что подлаешь — все оранжереи мои мало поэтичны.

Два слова о существенно-деловом (я весь декабрь хворал двумя болезнями, сейчас выкарабкался из воспаления легких, один раз даже выехал в город, но так устал, что уже не мог к Вам подняться — извините).

Думаю, сейчас можно и нужно бы попробовать осуществить некую встречу в СП (в Секретариате его) — комиссии по наследию Всеволода с представителями редакции «Сов.

Черта в письме проведена Фединым.

писателя» и, может быть, «Худ. литературы», — помните, о таком плане речь уже велась у Вас со мною. Я на днях говорил о том же с Воронковым. Хотелось бы, чтобы Веня Каверин побывал бы у него и потолковал бы на тот же счет (тема — «Кремль» и... вообще о рукописном наследии). Я в первый же проезд свой в город зайду к Вам.

Ваш *Конст. Федин*».

Продолжались и совместные поездки к тем немногим друзьям, которые остались у нас общими. Среди них центральное место занимала Екатерина Павловна Пешкова, но в 1965 году не стало и ее.

«29. III. 65, дача.

Дорогая Тамара Владимировна,
большое спасибо (подчеркнуто К. Фединым) за Вашу записку, а уж извинения просить должны никак не Вы, а я — у Вас!

И вот извините, что утруждаю Вас просьбой ответить Тимоше¹ и сказать от меня следующее.

Завтра я буду к 11-ти часам в ИМЛИ и думаю сказать короткое слово прощания с Екатериной Павловной.

Говорить на кладбище мне было бы (т. е. — будет!) затруднительнее.

Благодарю Вас за сердечность Ваших строк.

Ваш *Конст. Федин*».

Константин Александрович был очень красив, элегантен, радушен, умен, велеречив, а жена его, Дора Сергеевна, была необыкновенно хлебосольной хозяйкой. И дом у нее был полная чаша.

Константину Александровичу всю жизнь везло на женскую заботу и преданность. После смерти матери дочь его, Нина, отказавшись от профессии актрисы, целиком посвятила себя заботам об отце. Друг последних лет жизни, Ольга Викторовна, тоже все свое время отдавала помощи Константину Александровичу: перепечатывала его рукописи, помогала Нине в уходе за ним; когда Константин Александрович еще мог путешествовать, была его верной спутницей в поездках.

Но такого артистического ведения дома, которое было

¹ Домашнее прозвище Надежды Алексеевны Пешковой.

доблестью Доры Сергеевны, я лично, кроме как у нее, никогда и нигде не видывала.

Длинный опыт моей жизни убеждает меня в том, что при равных, казалось бы, условиях то, что получается у одного, никак не может быть доступно другому.

Казалось бы, все то же самое. Тот же дом. Та же обстановка. Те же условия жизни. Но на все надо иметь талант. У Доры Сергеевны был несомненный талант хозяйки дома. Она умела придать всему вокруг себя какую-то, ей одной свойственную, домовитость и уют, была на редкость женственна; переступая порог ее дома, вы погружались в атмосферу домашности и почти поднебесной чистоты. Именно поднебесной, а не какой-нибудь стерильной — холодной.

В памяти ярко встает: война еще не окончилась, но период оккупации немцами части нашей территории уже позади, все вернулись из эвакуации, хотя жизнь в Москве трудная; например, в наших квартирах (на Лаврушинском) половина, если не две трети, окон вместо вылетевших от взрывной волны стекол (пока невозместимых) забита фанерой. У нас не работает телефон. Я иду к Фединым: мне срочно надо позвонить куда-то.

Возле любезно предоставленного в мое распоряжение аппарата, стоящего в передней, — глубокое мягкое кресло, на которое надет, как всегда у Доры Сергеевны, накрахмаленный до небесной голубизны подсиненный чехол.

Отзвонив и встав с кресла, я с ужасом обнаруживаю на этом небесного цвета чехле черные пятна от своих ботинок. Я впадаю в подлинное отчаяние. Прачечных тогда не было. Все стиралось дома, и я знала, что Дора Сергеевна стирает собственными руками, а мыла в обрез, и чехол огромный.

Увидев мое смятение, Дора Сергеевна сказала: «Не волнуйтесь, я все равно собиралась выстирать этот чехол».

Разумеется, это была ложь — во имя деликатности, во имя неизменно радушного гостеприимства.

Мои сомнения в том, что причиненный мною ущерб едва ли восстановим — не отстирается, — были деликатно высмеяны, и я потом была приглашена взглянуть на свеженакрахмаленный и восстановленный во всей своей непорочности огромный этот чехол.

Секретом какой-то особой благорасположенности к людям и ненавязчивым, но неукротимым гостеприимством обладала Дора Сергеевна.

Нина и Ольга Викторовна с честью блюди заложенные Дорой Сергеевной традиции дома Федина, но, как и все ин-

дивидуальное, Дора Сергеевна была и осталась незаменимой и неповторимой.

После смерти Доры Сергеевны (это, впрочем, совпало и с расширением новых многообразных и многотрудных общественных обязанностей Константина Александровича) круг друзей дома и у нас, и у Федина совсем переменялся. Он продолжал заходить к нам и один, и с Ниной, иногда с Ольгой Викторовной, но мы бывали у него все реже, и Всеволода уже никак было не вытащить без особого приглашения. А любовное отношение друг к другу у них продолжало существовать неизменно. Свидетельство тому — приведенные мною письма, записки.

О трудностях, сопряженных со своим творчеством, о трудностях творческого процесса вообще говорится во многих письмах Константина Александровича, в частности и в письме от 22/VII—66 г.

«Дорогая Тамара Владимировна!

Большое спасибо за «Сиб. огни» с «Вулканом» Всеволода! Долготерпеливый рассказ-роман явился наконец читателям [...] В отраде этой нашей есть какая-то грусть: так все трудно, так долго [...] и сам я себе не хозяин!»

А ведь в молодости-то, даже в «постсерапионовские» годы, время издания от времени написания исчислялось месяцами, и отважные молодые писатели ощущали себя на этом этапе полными хозяевами и творчества своего, и всего литературного процесса вообще.

Поэтому у всех у них и выходило в свет чуть не ежегодно по роману, да еще и рассказы и пьесы.

Хорошо, что так много успели они в молодости.

Дальше жизнь на каждого навалилась по-своему, и хоть продолжали они писать — писатель ведь не может не писать, — даже и в новаторстве их не могла не засквозить усталость.

Прожить долгую жизнь — равнозначно многим жизням.

Взяв на свои плечи громадный груз обязанностей и обязательств, Константин Александрович не мог не испытывать порой грусти, что наносит ущерб своему творчеству, невольно уделяя ему все меньше времени.

Что поделаешь — в сутках всего лишь 24 часа; измотавшись на заседаниях и собраниях, даже урвав ото сна, не восполнишь времени, оторванного от ревнивого писательского труда.

...Константин Александрович прилагал множество усилий, дабы облегчить прохождение в печать трудов своих собратьев по перу. Действия его, однако, не всегда правильно истолковывались даже самыми, казалось бы, близкими к нему писателями. Это объясняется, вероятно, общепринятым заблуждением, будто бы для «высоко вознесенного» не существует невыполнимого.

Приведу еще письма ко мне Константина Александровича.

«26.IV. 1970, дача

Дорогая Тамара Владимировна, я сегодня пристальнее, чем в первый раз, прочитал публикацию Вашу из дневников Всеволода Иванова в журнале «Волга». Благодарю Вас за дружескую дарственную надпись и те восстановленные места текстов, которые исчезли из публикации не по воле автора.

Много интересного, замечательного содержат эти новые строчки из оставленных нам памятных рукописей Всеволода Иванова.

И очень ценным дополнением послужат они к его дневникам и записным книжкам, вышедшим отдельным томом прошлый год.

Само собой, ни с чем не сравнишь признания «Тайны» художника, доверительно высказанные им в этом наборе отрывков, останавливающих на себе чувства и мысль читателя. Фантастика и настоящий шквал страстей, а рядом (так неожиданно!) увлекательная методика литературоведа и заповеди стилиста, где мудрость состязается со взрывами сатиры, а то и с хохотом простака.

К такой книге можно возвращаться без всякого повода, и в ней найдешь, чуть не на каждой странице, повод достаточный, чтобы все выше и жарче оценить кипучий талант Всеволода Иванова.

Какую битву вел этот талант за свое место в русской советской литературе, в какой буре велась эта битва — и неужели пора признания талантов всегда так далеко отстает от труднейших годин их вызревания?

Мы еще не знаем всего художника Вс. Иванова. А знание его будет приобретением б о г а т ы м. (Подчеркнуто К. Ф.)

Еще раз благодарю Вас, дорогая Тамара Владимировна. Всего Вам хорошего.

Ваш Конт. Федин».

Константин Александрович все чаще болел, и я уже не решалась беспокоить его издательскими делами и вообще какими-либо просьбами.

Но переписка наша не прекращалась.

«27. II—1973 дача

Дорогая Тамара Владимировна, большое спасибо Вам за привет и добрые пожелания, посланные мне ко дню рождения. Я очень всегда бываю тронут, вновь и вновь, получая такой хороший знак неизменности Вашей давней дружбы. Неизменна и моя — к Вам, сомкнутая с вечным чувством моим ко Всеволоду и памяти о нем.

Не мог, конечно, я забыть, что день рождения Всеволода календарно совмещен с моим. На этот раз, однако, это осталось неотмеченным, что было у нас с Вами в обычае прежде. Виной такому обстоятельству — один я. Но я виновен, что отзываюсь также с промедлением и на Ваше письмо. Извините меня. Я не в ладу с пером — болезни пошучивают со мной, я не справляюсь с размагниченностью, как хотелось бы. Шлю Вам поклон и желаю всего наилучшего. Благодарствую за привет Вашей семьи — примите ответный от моего дома.

Ваш *Конст. Федин*».

В последнем из приводимых писем ко мне Константина Александровича уже даже по изменившемуся почерку видно, как тяжело он болен и как тяжело ему писать, хоть и пишет он это письмо, с перерывами, несколько дней.

Не может он удержать жалобы на свое состояние, но вопросы литературы продолжают стоять для него на первом месте, не перестают остро волновать его.

«19. XII. 1976 г.

Дорогая Тамара Владимировна, простите мне это письмо, которое должно было быть написанным много месяцев раньше. Я, и правда, собирался, уже не помню, с каких пор, послать Вам, по крайней мере, в нескольких словах, свою искреннюю благодарность за книги «Собрания» Всеволода да все только откладывал уводящие сборы.

Но не должны же они в самом деле увянуть! Потому — хоть коротко, но приношу покаяние... Спасибо за Собрание.

Седьмой том¹ для меня полнейшая новость! Читаю по страничкам, то изумленно узнавая старого Всеволода, то отказываясь принять. Но главное: жизнь бьется во всем.

Поражен книгой воспоминаний «Писатель и человек». Кажется, знаю очень многое, но на поверку: почти до странности мало...

Вас *лично* (подчеркнуто К. Ф.), Тамара Владимировна, я благодарю за надписи-дарения на книгах. То, что Вы внесли в живопись воспоминаний, драгоценно и своей фактичностью... Вы во всяком случае мемуарист достойнейший...»

Дальше Константин Александрович выделяет в особо отчеркнутый квадрат: «Мне совсем не хотелось касаться личных своих жалоб. Но как же все-таки объяснить молчание, масштаб которого я признал чуть что не грехом? Хвороба всему виною. Описывать ее не буду, как бы она ни напрашивалась. Скажу только о зрении: читаю плоховато... Всею свое время...» И за пределами квадрата Константин Александрович продолжает: «Кончаю письмо лишь 19-го числа. Приехали «горожане»², и теперь есть кому поручить доставку письма. Придет к Вам Варя, которая Вас сегодня уже увидала.

До свидания. Ваш *Конст. Федин*.

Дочь Нина хорошо рассказала о своем визите к Вам. Спасибо».

Тяжкое, но благородное бремя взвалил на себя Федин: быть председателем СП СССР, а значит, руководителем всей многонациональной литературы Советского Союза, — это ведь почти равнозначно хлебниковскому фантастическому самоизбранию председателем земного шара. Только с тою разницей, что фантастика ни к чему не обязывает, а реальная работа налагает и реальные обязательства, не говоря уже о колоссальной ответственности! Да еще на больного человека все это падает.

Такова, видно, судьба. Ведь и Алексей Максимович Горький тоже занял этот пост, уже будучи тяжело больным.

Но как бы тяжело они оба, и Горький и Федин, ни болели, взятое на себя бремя несли мужественно, не преисполнялись равнодушием, и в собственных глазах болезнь никогда не служила им оправданием в манкировании взятой на себя ответственности.

¹ «Мы идем в Индию».

² Внуки, живущие на Лаврушинском.



Екатерина Павловна Пешкова



Я уже отметила в предисловии свое везение: меня дарили дружбой совершенно необыкновенные люди, в том числе такие женщины, как Ольга Дмитриевна Форш, Ольга Васильевна Кончаловская, Валентина Михайловна Ходасевич, Лидия Николаевна Сейфуллина, Екатерина Павловна Пешкова.

Все они, помимо своей исключительности, были умудрены жизненным опытом, которым щедро меня обогащали.

И самое удивительное для меня тут то, что эти ни на кого не похожие женщины, наоборот, меня, обыкновеннейшую из обыкновенных, считали необычной.

А и вся-то моя необычность состояла в том, что я не желала пассивно воспринимать то, что и ходила ненормальным.

Ольга Дмитриевна Форш считала меня чуть что не волшебницей, потому что во время войны, когда все материальные нехватки перерастали в катастрофу, я достала ей калоши.

Ольге Дмитриевне казалось вполне естественным ходить почти босиком, обертывая ноги газетами, а мне, с моей земной обыкновенностью, подобное положение вещей представлялось категорически недопустимым, о чем я немедленно довела до сведения Фадеева, и он (теперь это может показаться сказкой) достал ордер на калоши для Ольги Дмитриевны через ЦК.

Нарисовать портрет одной из самых выдающихся (из

друживших со мной) женщин, Екатерины Павловны Пешковой, — задача не легкая.

Она была человеком на редкость скромным и щепетильным, поэтому не сразу распознавалась ее прямолинейность и иногда доведенная до крайности принципиальность.

Характер у Екатерины Павловны был на редкость цельный, бескомпромиссный.

Для Екатерины Павловны раз и навсегда — с самой первой их встречи и на всю жизнь, что бы ни происходило, — Алексей Максимович стал, был и остался «человеком ее жизни».

Я беру на себя смелость утверждать, что и она была для Алексея Максимовича «женщиной его жизни».

Очень часто я бывала свидетельницей того, как в разговоре Алексей Максимович развивал мысли о том, какую роль играет жена в жизни человека, подчеркивая, что удесятенное значение имеет жена для творческого человека. Приводил пример жизни Леонида Андреева, которого он очень любил и, упоминая о нем, называл всегда просто Леонидом, тогда как к другим Леонидам прибавлял: Леонов, Мартынов и прочие фамилии. Алексей Максимович с большой нежностью и почтением вспоминал первую жену Леонида Андреева, которую он называл «дама Шура», а о второй жене отзывался с негодованием и считал ее повинной как в пьянстве, так и в мракобесии, в которое, по его мнению, впал Леонид Андреев по слабости характера, лишившись со смертью «дамы Шуры» необходимого ему дружеского женского понимания и поддержки.

Советую всем внимательно прочитать два тома писем Алексея Максимовича к Екатерине Павловне (изданы Архивом А. М. Горького).

На основании этой переписки Алексея Максимовича с Екатериной Павловной, вернее — его писем к ней, я смело утверждаю исключительность значения этих двух людей друг для друга.

Следует отметить, что из первого тома писем Алексея Максимовича Екатерина Павловна (том был опубликован при ее жизни) со свойственным ей пуризмом и щепетильностью изъела все личное. Но второй том, вышедший в свет уже после смерти Екатерины Павловны и не подвергшийся ее строгой цензуре, показывает, что именно она была «женщиной жизни» Алексея Максимовича.

Где бы ни жил Алексей Максимович, в его доме всег-

да была комната, которая ждала приезда Екатерины Павловны.

В первые свои приезды из-за границы в СССР Горький останавливался всегда только у Екатерины Павловны.

Случай свел меня с Екатериной Павловной в Куйбышеве во время эвакуации. Она пригласила меня сопутствовать ей в паломническом посещении священных для нее мест Самары (теперь Самара переименована в Куйбышев) — того дома, где протекала ее юность, того полуподвального помещения, где была редакция, куда она пришла секретарствовать сразу по окончании гимназии, где завела, невзирая на свою юность, новые порядки: т. е. самовар и бутерброды — вместо имевших место, до ее прихода туда, водки и пива.

Именно там встретила она Алексея Максимовича, именно там началась их дружба и любовь.

Потом мы подошли к дому, который был первым приютом их молодого супружества.

И вот тут я первый и единственный раз в жизни увидела Екатерину Павловну плачущей. Я была возле нее на похоронах Алексея Максимовича, которого она неизменно глубоко любила всю свою жизнь, была на похоронах единственного, обожаемого ею сына Максима, и ни слезинки не проронила тогда на людях эта мужественная женщина, а вот тут — в паломничестве по памятным местам Самары — она плакала при мне, не стесняясь своих слез (я понимаю, каким это было знаком дружбы и доверия ко мне, но совсем не об этом сейчас речь). Суть была в осознанной ею невозвратности, возможно по своей собственной вине, утерянного, утерянного из-за чересчур безоговорочного следования раз и навсегда установившимся принципам.

Екатерина Павловна и сказала мне тогда: «Запомните, Тамара: юность часто бывает беспощадной и к себе, и к окружающим — не прощает чего-то, по существу мелкого, тому, кому надлежало бы все простить, а к старости человек спохватывается, да уже поздно».

В эвакуации, в Ташкенте, Екатерина Павловна взяла над собой моральное шефство. Мы вместе работали в Республиканской комиссии помощи эвакуированным детям, председателем которой была Екатерина Павловна.

Если рассматривать весь жизненный путь Екатерины Павловны как общественного деятеля, — это важная, нужная

и, я бы сказала, почти неисчерпаемая тема. Я соприкоснулась только с одной стороной этой ее неисчерпаемости: с работой во время Отечественной войны в помощь детям.

Кроме участия во всяческих общественных комиссиях, комитетах и т. д. Екатерина Павловна в частной своей жизни, на всем ее протяжении, брала на воспитание детей; иногда у нее в доме одновременно оказывалось 2—3 воспитанника. Всех их, не бросая дела на половине дороги, она обязательно «выводила в люди», т. е. давала им образование и никогда не порывала с ними связи, когда они, «отпочковавшись» от нее, начинали самостоятельную жизнь. Мне известны несколько таких ее воспитанников, и я выражаю надежду, что кто-нибудь из них захочет написать об Екатерине Павловне, осветив и этот весьма существенный раздел ее деятельности.

Я писать об этом, как же как и о работе Екатерины Павловны в Международном Красном Кресте (хотя и очень много слышала об этой работе), не берусь.

Взяла себе за правило, вспоминая о ком бы то ни было, чтобы избежать голословности и повторения того, что и без меня известно, не пересказывать с чужих слов, а вспоминать только о том, что мне лично хорошо известно, чему я сама была свидетелем.

Из сферы общественной деятельности Екатерины Павловны ограничусь 41—43 годами (Отечественная война. Ташкент. Республиканская комиссия помощи эвакуированным детям).

— Немедленно приступаем к работе по помощи эвакуированным детям, — сказала она мне, едва я приехала в Ташкент. — Главное у нас уже есть — помещение, — нам дают комнату в здании местного Наркомпроса.

Я засыпала Екатерину Павловну вопросами.

Ответы, как и всегда у нее, были кратки и категоричны.

— Да, пока нас с вами двое, но для разработки первичного плана — даже лучше два ума, а не десять. Потом, вот увидите, ни в умах, ни в руках и ногах для дальнейшей доработки, изменений и осуществления нашего с вами плана недостатка не будет. Народ к нам повалит — и предлагая свои услуги для совместной с нами работы, и за помощью.

Она оказалась совершенно права — ни от того, ни от другого отбоя не было.

Комиссия делилась на три основных раздела: 1) розыск и воссоединение потерявших друг друга во время эвакуации детей и матерей, а также оформление постоянного усыновле-

ния или временной опеки; 2) устройство в детдома сирот и организация питания и обмундирования для детей, находящихся при эвакуированных матерях, лишенных средств; 3) изыскание материальных ресурсов — преимущественно путем устройства концертов, лотерей и прочих платных развлекательных мероприятий.

Заместитель наркома просвещения Узбекской республики Рачинская стала непосредственной помощницей по первому разделу, который, будучи председателем всей Комиссии, возглавила Екатерина Павловна.

Второй раздел достался мне, и моей отличной, незаменимой помощницей оказалась местная жительница, жена крупного работника, Софья Аркадьевна Журавская.

Третий раздел поручили Людмиле Ильиничне Толстой и Надежде Алексеевне Пешковой, при участии, вернее сказать — руководстве, жены одного из секретарей ЦК Узбекистана Анны Ивановны Ломакиной.

Тот раздел, которым ведала Екатерина Павловна — розыск разъединенных войной матерей и детей, — постепенно принял всесоюзный охват.

Впоследствии плодами инициативы Екатерины Павловны и первоначально налаженной ею организации воспользовались многие, причем некоторые из этих ее последователей, в личных своекорыстных целях, возвеличивали себя до роли первооткрывателей этого рода деятельности.

Екатерина Павловна, может быть, и была по-своему честолюбива (об этом подробнее скажу несколько позже), но скрупулезная щепетильность и честность — вот ее основные качества.

Любому начатому ею общественному делу она отдавалась целиком, оно становилось ей кровно необходимым, как если бы от его удачи зависела ее собственная жизнь.

Екатерина Павловна всегда считала саморекламу недопустимой. Личное свое участие в любой работе она старалась оставить в тени (если другие высвечивали эту тень, она не протестовала, но ни за что не вмешалась бы в свалку тщеславий, никогда бы она себе не позволила расталкивать кого-то локтями, утверждая свой приоритет).

Вот именно поэтому ее заслуги в этом деле, как, впрочем, и во многих других, необыкновенно легко было присвоить себе другим, пришедшим на готовое, ею организованное, но выдавшим себя за первооткрывателей.

Боже мой, какие душераздирающие сцены начали через несколько месяцев работы по розыску разыгрываться в комнате нашей Комиссии!

Отыскивалась родная мать, а приемная успевала уже так привязаться к отданному на ее попечение ребенку, что никак не желала расстаться с ним.

Екатерине Павловне волей-неволей приходилось выступать в роли царя Соломона.

И вот тут она давала наглядный пример своей подлинной мудрости и человечности.

Казалось бы, чего проще: осиротевший ребенок вновь обретает родную мать — всеобщее ликование, никаких проблем.

Но ведь идет война, у эвакуированной матери, нашедшей утерянного ребенка, ни кола ни двора, никаких средств к существованию.

Екатерину Павловну прежде всего интересовала судьба ребенка: мать нашлась, но где и как будет она жить. Необходимо найти жилище, трудоустроить ее, потом постараться проследить, что она за человек и каково с ней будет жить ее собственному ребенку.

Это — с одной стороны. С другой — требовалось установить, как живется этому ребенку у приемной (не желающей расставаться с ним) матери.

В большинстве случаев выяснялось, что у совсем маленьких детей, от одного года и до двух-трех лет, инстинкт срабатывает не безотказно: т. е. они не кидаются стремглав в распростертые объятия родной матери, а, наоборот, цепляются ручонками за ту женщину, с которой они сейчас живут и которую уже зовут «мамой» (иногда русский, только что учащийся говорить ребенок — «мамой» по-узбекски).

Немедленное решение воссоединить мать и ребенка Екатерина Павловна принимала только в тех случаях, когда ребенок без тени колебания, радостно устремлялся к родной матери, а та, проявляя истинную материнскую любовь и самоотверженность, просила приемную мать повременить отдавать ей ребенка, пока она не устроится и не сможет обеспечить ему сносные условия жизни.

Происходили сцены, повергавшие всех присутствующих в слезы умиления и сочувствия; происходили и такие, когда сердца свидетелей преисполнялись негодованием то ли на тех приемных матерей, которые кичились перед нищей родной матерью ребенка своим благополучием и материальной обеспеченностью, то ли перед нищей матерью, оборван-

ной и обовшивевшей, которая, не желая ничего слушать, кидалась отнимать отбивающегося от нее ребенка у той, которая уже стала ему роднее, чем она, и к которой он испуганно жался.

Пришлось пересмотреть заранее установленный регламент, по которому следовало немедленно по нахождении ребенка извещать мать о его местонахождении, а в случае ее приезда в Ташкент тут же сводить ее с ним в нашей комнате.

Принято было новое решение: сперва списываться с матерью, выясняя обстоятельства ее жизни, а когда она приезжала, прежде всего трудоустроить, по возможности изучать, что она собой представляет, и уж только потом объявлять ей о подготовленной встрече с ребенком, которая происходила всегда в нашей комнате.

Самыми ответственными, тяжкими и прискорбными были случаи (к счастью, очень редкие), когда решать проблемы приходилось с привлечением судебного постановления, не в пользу родной матери.

Запомнился один и вовсе трагичный случай, когда Екатерина Павловна, зайдя случайно на Алайский базар, наткнулась на пьяную женщину, заставлявшую просить милостыню свою четырехлетнюю девочку, которую несколькими неделями раньше «воссоединили» с этой матерью в нашей Комиссии. До появления матери девочка мирно жила в приютившей ее многодетной, но дружной и вполне благополучной узбекской семье. Расследование показало, что недостойная мать, заполучив ребенка, ушла с работы, пьянствовала, вела распутную жизнь и заставляла попрошайничать своего ребенка. Пришлось по суду лишать ее прав материнства, что было особенно тягостно из-за того, что несчастная, прехорошенькая, ангелоподобная четырехлетняя девочка, невзирая ни на что, обожала свою мать и хотела жить только с ней.

Судьбы детей, с которыми я столкнулась, работая в этой Комиссии, судьбы женщин, составлявших ее актив (то был целый батальон из жен военных, получавших по аттестатам в районных военкоматах города), предмет совсем других воспоминаний.

Сейчас речь — об Екатерине Павловне и только о том, что имеет к ней касательство.

В семье, как говорится, не без уroda. Так случилось и в нашей Комиссии и как раз в том разделе, которым ведала я, ибо онный раздел был связан с материальными благами:

пища, одежда. И именно в этот раздел проникли недостойные женщины.

Не буду сейчас описывать, каким это было жестоким ударом и для меня лично, и для всего нашего, в основной своей массе патриотически и самоотверженно настроенного, женского коллектива.

В данном повествовании мне важно отметить то, как Екатерина Павловна использовала в воспитательных целях весьма плачевный инцидент.

Были пойманы с поличным две наши «активистки», которые вместо порученного им контроля стакнулись с ворами завскладами и шеф-поварами на двух питательных пунктах (всего их было нами организовано шесть — по одному на каждый район города) для эвакуированных детей, живущих с неимущими матерями.

Екатерина Павловна отнюдь не раздувала этого скандала, а после того как мы изгнали из своей среды недостойно поступавших женщин, она сумела использовать их изгнание в воспитательных целях для других женщин. Присущая Екатерине Павловне немногословность и сдержанность в сочетании с исключительным тактом придавали ей необыкновенный авторитет. Ей удалось так тесно сплотить наш коллектив, что члены его были преисполнены рвением помогать не только детям, но и друг другу.

Некоторые из наших подлинных активисток дошли до того, что начали каяться в самых мелких своих прегрешениях (пусть и не имевших прямого отношения к нашей работе). С тревогой вопрошали они меня — как к такому-то и такому их поступку отнесется, если узнает о нем, Екатерина Павловна. Под влиянием этой удивительной женщины морально-этические представления многих членов нашей Комиссии претерпели весьма существенные изменения. Не будет преувеличением сказать, что Екатерина Павловна стала для некоторых из них подобием духовника для верующих.

Екатерина Павловна свято чтит памятные дни Алексея Максимовича. Если в точную дату она присутствовала на официальном собрании, то потом собирала друзей у себя на даче в Барвихе, ведь дом на Малой Никитской стал музеем.

Там же, в Барвихе, отмечались и дни рождения Екатерины Павловны.

...Всех достигающих преклонного возраста ждет одна и та же участь (испытываю это на себе): люди твоего возраста умирают, и невольно создается новое окружение.

Совсем по-юношески Екатерина Павловна называла свое новое окружение «наша компания».

В компанию эту входили: Надежда Алексеевна Пешкова с дочерьми Дарьей и Марфой Максимовнами, Анна Алексеевна и Петр Леонидович Капицы, Константин Александрович Федин с дочерью Ниной, Людмила Ильинична Толстая, Корней Иванович Чуковский и мы с Всеволодом.

Так повелось, что в каком бы составе этой компании (у нее ли в Барвихе или у кого-нибудь из перечисленных) ни находилась Екатерина Павловна, моей привилегией стало произносить тост в ее честь.

Отсюда письмо ко мне Корнея Ивановича Чуковского от 1965 года (без даты):

«...как хорошо, когда к изяществу произнесенного заздравия присоединен ум. Удачно Вы сказали: «...переход действительности в ирреальность происходит подчас совсем незаметно. Такие люди, как Екатерина Павловна, — живое тому доказательство. Она творит чудеса, которые, оставаясь незаметными в момент их свершения, когда-нибудь засверкают во всем скрытом в них глубоком значении».

Ведь так или почти так Вы сказали — не правда ли? [...]

Когда мы с Всеволодом уезжали куда-либо: в Дом ли творчества, лечиться ли в Карловы Вары, Екатерина Павловна неизменно и аккуратно, хотя и очень кратко, писала нам. Письма всегда обращены ко мне, но непременно упомянут Всеволод и все дети наши и внуки, а также даны краткие сообщения о ее внучках Марфе и Дарье и их детях, правнучках Екатерины Павловны. И неизменная концовка: «С радостью и нетерпением жду Вас. Ваша *Ек. Пешкова*». Одно из писем (более распространенное, чем другие) привожу целиком:

«Дорогие друзья! Тамара и Всеволод!

Рада была весточке с чудесного юга, кот. я так люблю. А я отдала дань гриппу, кот. дал осложнение на сердце, т. к. только сегодня врач разрешил выйти к завтраку в столовую. А потом опять должна лечь. Ну, подышите и за меня запахом моря и парка. Вот пишу, и вспомнился горьковатый дымок от смолистых веток, кот. насыщены деревни Крыма?

Теперь уже скоро Вы вернетесь?
Поцелуйте Таню, пожмите руку Антошке, он, конечно, не любит поцелуев.

С радостью увижу Вас, а если Всеволод меня осчастливит своим визитом, то и его.

Ваша *Ек. Пешкова*».

Выше я обронила фразу, что, возможно, честолюбие и не было совсем чуждо Екатерине Павловне (как, впрочем, и вообще ничто человеческое не было ей чуждо). Но она это честолюбие всю жизнь подавляла, считая его недостойным проявлением не интеллектуальной, а «животной» стороны человеческих чувств.

И вот в последний год своей жизни, накануне восьмидесятидевятiletия, она вдруг начала говорить мне, что на самом-то деле (какая-то там ошибка с метрическим свидетельством) ей должно исполниться не 89, а 90 лет.

Я совершенно точно поняла, что ей хотелось бы торжественно отметить свой юбилей. Осознав это ее желание, я поговорила с тогдашним директором дома-музея Максима Горького — почему бы не отпраздновать Екатерине Павловне 90-летний юбилей, раз ей этого захотелось, а уж о том, что она его достойна-предостойна, и речи быть не может.

(Надо добавить, что, при своем долголетии, по возрасту и состоянию здоровья уже потеряв возможность осуществлять широкую общественную деятельность, Екатерина Павловна до конца дней своих не переставала консультировать Архив Горького; до конца жизни не прекращала она работы, направленной к уточнению и разъяснению биографии Алексея Максимовича, к увековечиванию его памяти.)

Мне ответили, что такие подтасовки возраста не положены и надо годик подождать.

Но годика не получилось. Екатерина Павловна умерла ранней весной следующего года, не дожив нескольких месяцев до дня своего рождения, т. е. до официального девяностолетия.

Как раскаивалась я в своем нерадении, присутствуя в конференц-зале ИМЛИ на траурном митинге, посвященном кончине Екатерины Павловны.

Все восхваления ее доблестей были уже ни к чему. Она-то их не слышала, а именно их возжаждала ее душа в последний год жизни.

Если рассматривать жизнь человека в ее предопределен-

ной закономерности, законченности как некую геометрическую фигуру, этот несостоявшийся юбилей Екатерины Павловны, безусловно, закономерен и предопределен ее судьбой.

Однако на ее похоронах я не могла отделаться от ощущения вины: не приложила всех усилий, не разъяснила, не настояла, лишила человека обычной земной и так ею заслуженной радости — удовлетворения вдруг заявившего о себе тщеславия.

Но в конечном-то итоге этот несостоявшийся юбилей, имея он место, явился бы нарушением гармонии безупречно прожитой жизни, безотказно и бескорыстно отданной принципам, из которых вытекали все возможные для нее формы честного служения людям.


Тот, кому не воздано должное при жизни, более очищен перед вечностью бытия, чем баловень судьбы, то и дело при жизни увенчиваемый лаврами.

Мир ее праху. И слава ее памяти.

Могила у нее скромная.

А уж если ставить памятник Женщине — женщине с самой большой буквы (не женщине определенной профессии, а именно Женщине как таковой — женщине, равной Неизвестному солдату, благодаря безвестному подвигу которого выиграна битва), то начать надо именно с нее.

Льщу себя надеждой, что и я закладываю — пусть самый маленький — камешек для будущего пьедестала.



Александр Александрович Фадеев

С Александром Фадеевым я познакомилась, еще не будучи женой Всеволода. Но и с Всеволодом он тогда уже был знаком. Только познакомились мы порознь.

С первого знакомства и до самого конца Александр Александрович всегда относился ко мне очень доброжелательно и с большой, я бы даже сказала — преувеличенной, верой в мои возможности.

Выразив удивление и даже разочарование по поводу того, что я оставила театр, он потом и этот мой поступок одобрил, сказав полушутливо-полуодобрительно: «У вас все получается именно так, как надо. Вы ведь не женщина, а явление».

Одно время, в конце двадцатых годов, Александр Александрович и Всеволод работали вместе в журнале «Красная новь». Всеволод заведовал отделом прозы, а Александр Александрович был главным редактором.

Сохранилась недатированная записка той поры:

«Дорогой Всеволод!

Очевидно, не смогу часто бывать в редакции. Очень прошу тебя несколько чаще навещать сюда и совместно с Леонидом¹ увеличить нагрузку по чтению рукописей (я знаю, как это скучно, особенно когда сам пишешь). По всем

¹ Леонид Максимович Леонов.

вопросам срочного порядка можно советоваться с тов. Гороховым — он парень толковый и умный.

Жму руку.

А. Фадеев.

До совместной работы в журнале Всеволод и Фадеев встречались в «Круге».

Всеволод вспоминал:

«Возле шведских бюро, сдвинутых вместе, стоял Б. Пильняк, писатель в те дни почти уже знаменитый. Он только что приехал из-за границы, черепаховые его очки, под рыжими волосами головы и бровей, особенно велики, — мы еще носили крошечные пенсне; он — в сером, и это тоже редкость. Бас Б. Пастернака слышался рядом. К ним подошел Бабель, в простой толстовке, начал шутить, и они засмеялись. В другом конце комнаты, вокруг Демьяна Бедного, превосходного и остроумного рассказчика, — Безыменский, Киришон, Веселый, Светлов.

Проходят Фадеев и Герасимова. Они очень красивы и особенно хорош Фадеев в длинной темной суконной блузе. Они разговаривают с Маяковским и Асеевым о Сибири. Асеев сильно размахивает руками, но в комнате такой гул, что я не слышу его слов. Через всю комнату светятся большие глаза Фурманова и кажется, что он-то слышит всех.

А рядом кто-то из Лефа отрицает шутку: не те времена...»

Всеволод недолго оставался членом редколлегии «Красной нови», но печататься там продолжал, хотя отправлял свои рукописи и в другие журналы.

Перед самой войной, в начале 41 года, Всеволод направил свою повесть «Вулкан» Фадееву (после того, как се ему вернул журнал «Звезда»).

Фадеев пишет:

«Дорогой Всеволод!

Не могу не посочувствовать работникам редакции «Звезды» [...] невольно ставших в позу эдакой задумчивости перед твоим «Вулканом». Ты настолько спрятал тему, что и я (прочитав все внимательно и не без удовольствия, ибо это хорошо написано) решительно ничего не понял (подчеркнуто А. Фадеевым). Правда, я не нашел в по-

вести и ничего «криминального». Но, как и во всяком непонятном (подчеркнуто А. Фадеевым), в ней очень много мест, которые можно трактовать двусмысленно: «чертов палец» (нечто фаллическое), «потухший вулкан» (потухшая революция), живут «успокоившиеся» Фома, Евдоша, погиб «ищущий» Павел Тимофеевич; если касаются темы патриотизма, «говорят книжно, сухо»; философствования часто вовсе непонятны [...] Единственный выход — *больше прояснить тему, прояснить там, где двусмысленно можно ее трактовать* (подчеркнуто А. Фадеевым). Само собой разумеется, что я не зову тебя ни к схеме, ни к разжевыванию. Но ты сам хорошо знаешь, как это делается. Пишу записку, т. к. жду машины и тороплюсь в город (в «Сосны» — там отдыхает Лина). Когда вернусь, позвоню, и мы поговорим подробнее. Повесть очень хороша по изобразительным средствам — травам, людям, камням, воздуху. [...]

Крепко жму руку.

А. Фадеев.

Может быть, почитать ее на президиуме (закрытом)?»

Читая это письмо, как не пожалеть обоих: и редактора (А. Фадеева), и автора (Всеволода Иванова).

Во время войны, из-за неправильно понятой Всеволодом официальной записки Фадеева, между Александром Александровичем и Всеволодом произошла, к сожалению, размолвка. Недоразумение не разъяснилось сразу, потому что мы находились в Ташкенте.

Какие-то послевоенные годы мы в качестве погорельцев скитались по Переделкину, обитая то на даче у Сейфуллиной, то у Дженни (вдовы Афиногенова), то у Сельвинских.

Жили мы в этот период материально очень трудно.

Александр Александрович постоянно старался облегчить всегда тяжкие для Всеволода общения с издательствами.

Привожу записку:

«19/IV—47 г.

Дорогой Всеволод Вячеславович!

Заходи завтра, в субботу, в «Сов. пис.» к Гранику, и он

заклучит с тобой договор. Он просил именно в субботу, т. к. он сможет тогда 28-го уже дать тебе денег.

Владыкин в отпуску, Еголин в отпуску, и по книге Гослитиздата не удалось ни с кем переговорить: сделаю по приезде. Улетаю утром в Баку. Привет. *Ал. Фадеев*.

«18/IX—47 г.

Дорогой Всеволод Вячеславович!

Я буду в городе 19-го.

С Ярцевым я обязательно сговорюсь. И ты обратись к нему в понедельник, чтобы все оформить.

С Владыкиным я созвонюсь и результат сообщу тебе запиской.

Сердечный привет.

Ал. Фадеев.

Первый же вариант своей пьесы «Ломоносов» (их было много) Всеволод дал прочитать Александру Александровичу, и тот стал буквально крестным отцом этой многострадальной пьесы, которая без его помощи, несомненно, не увидела бы света рампы, а осталась бы, как многие другие пьесы Всеволода, в лучшем случае всего лишь напечатанной, но не поставленной.

Привожу ответное письмо Фадеева:

«Дорогой Всеволод Вячеславович!

Я прочел пьесу и позвоню тебе о впечатлении. Я надеялся, что удастся поговорить на собрании писателей, в связи с выдвижением в Моссовет, и захватил пьесу с собой. Оказалось, что ты нездоров. Я позвоню тебе в воскресенье (23/XI). Если ты не подойдешь к телефону, придется отложить разговор до моего озвращения из Ленинграда в конце будущей недели. Привет!

22/XI—1947 г.

Ал. Фадеев.

На месте пожарища дом для нас начало возводить военное ведомство (ведь пожар произошел, когда дом был занят военной частью). Потом строительство застопорилось и в конце концов перешло к Литфонду.

К финскому дому по моему проекту были с двух сторон

пристроены двухэтажные полукруглые закрытые террасы. И вообще, выступив в качестве архитектора, я весь этот дом перекроила.

Кто-то пожаловался Фадееву, что я «злоупотребляю доверием и предаюсь излишествам». Александр Александрович очень смеялся по этому поводу и хвалил меня за инициативу и архитектурные выдумки, за то, что я сумела, как он говорил, к «подойнику» — финскому дому — прибавить «двух коров»: две двухэтажные террасы. Семья у нас большая, и без пристроек в финском доме разместить ее было невозможно.

В 49 году мы поселились в этом еще не вполне достроенном доме и по соседству часто виделись с Александром Александровичем.

Обычно он или приходил к нам, или присылал вот такие записки:

«30/III—1950 г.

Дорогая Тамара Владимировна и милый мой Всеволод! Не зайдете ли к старику, без всякого повода, распить бутылку Мукузани. Ибо живу один, ибо соскучился — и противно пить Мукузани одному. [...]

Ваш А. Фадеев (Эсквайр)».

У нас машины тогда не было, и Александр Александрович широко предлагал пользоваться попутно его машиной.

«31.VIII.1950 г.

Дорогой Всеволод!

Сегодня на Президиуме ССП, в 6 ч. вечера, обсуждался вопрос, о котором мы неоднократно разговаривали: «Почему мало пишут рассказов?» Докладчик Н. Атаров. Отпуск мой кончился, и я поеду. Если тебе это интересно и сподручно, приглашаю с собой в машине. Я выеду в 4 ч., т. к. есть еще кое-какие дела в городе.

Привет! А. Фадеев».

Фадеев и Всеволод ездили вместе на охоту. Всеволод настрелял в ту охоту, к которой относятся приводимые записки, очень много дичи — бил влёт, а А. А. все время «мазал» и очень Всеволоду завидовал.

«Дорогой Всеволод!

Будь дома между часом и двумя. Я за тобой пошлю, когда придет пора ехать (на охоту).

Привет. А. Ф.».

«31.VII—50.

Дорогая Тамара Владимировна! Охотник Петр Акимович сделал не 100, а 75 патронов и из отданных вами шоферу 150 рубл. он 26 рублей возвращает.

Сердечный привет Вам и удачливому охотнику.

А. Фадеев».

«21/X—1950 г.

Переделкино.

Дорогой Всеволод!

[...]

Не возражал ли бы ты, если бы мы поставили обсуждение «Ломоносова» на секретариате совместно с комиссией по драматургии и бюро секции драматургии (т. е. при участии их). Сейчас я получил возможность прочесть пьесу (новый вариант) и, наверно, прочту ее сегодня вечером. Дадим прочесть всем участникам. В конце концов это было бы общественное мнение, имеющее значение и для театра и для журналов. Надо как-то привести в ясность положение с пьесой на такую актуальную тему. Опыт обсуждения «Сталинграда» Гроссмана, пьесы Крона «Кандидат партии» и других показывает, что такие обсуждения полезны.

Если ты согласен, прошу написать мне: можно ли размножить пьесу для участников обсуждения в том варианте, в каком она у меня лежит на даче, или ты еще работал над ней и можешь предложить другой экземпляр.

Крепко жму руку.

Твой А. Ф.».

Это уже второе письмо Фадеева о «Ломоносове».

Я писала выше, что Александр Александрович посчитал себя как бы крестным отцом «Ломоносова». Очевидно, поэтому Фадеев и читал все многочисленные варианты пьесы.

В конце пятидесятого года Александр Александрович писал Всеволоду:

«Дорогой мой Всеволод!

Из-за конгресса, из-за болезни затянул я чтение «Ломоносова». Так и лежал он, громадный этот бедняга, на письменном моем столе. Сейчас прочел его залпом, прочел с радостью; с наслаждением, до слез. Умно, чудесно, монументально, глубоко патриотично и народно в подлинном великом значении этого слова. Потрудились ты не даром. Пьеса и так была хороша, теперь же выросла необыкновенно. Вся линия с учениками из народа, с этим будущим России, так умно развита, что придала всей пьесе совершенно новый глубокий смысл. Нарышкина (она — великолепно!) нашла свое место. Поп Николка не выпирает и — в данном качестве — необходим. Ломоносов — богатырь, красавец, умница, и правильно его торжество в конце, его победа, его утверждение, как хозяина и учителя, — это такое удовлетворение для читателя и зрителя, всегда взыскующего торжества правды.

Может быть, теперь даже не нужно стремление Нарышкиной уплыть в другие страны? Ей, видно, хочется уплыть от самой себя.

[...]

Если ты не возражаешь, я сдаю рукопись в перепечатку, и мы ее обсудим на секретариате вместе с тобой и представителями комиссии по драматургии. Я уверен, пьеса понравится и этот общественный резонанс будет полезен для нее. Кроме того, мы сможем несколько нажать на МХАТ.

Сердечно поздравляю тебя и жму руку.

Твой А. Ф.

14.XII.50».

Это уже третье письмо о «Ломоносове».

Весь 50-й год мы очень часто виделись, живя круглый год в Переделкине.

«Дорогой Всеволод!

Поздравляю тебя и всю вашу фамилию с Новым годом!

Фрося¹, должно быть, объяснила Вам, почему мы несколько «притихли». Новогодние дни я был здесь и очень хотел повидаться с тобой, но решил все-таки держать «карантин». Тем более — если внучек Ваш на даче.

¹ Няня сына А. А. Фадеева, Миши, который в то время заболел дифтеритом.

Пьеса твоя размножена и могли бы ее уже обсуждать, но седьмого или восьмого я вновь уеду на недельку в «дальние края», и поэтому решили отложить обсуждение поближе к 20 января.

В отношении статьи в «Литгазете» я согласен с тем, что она написана фальшиво¹. Но у меня нет под рукой твоей книжечки, чтобы сказать твердо, заслуживает или не заслуживает она критики, если взглянуть на нее сегодняшними глазами. Поскольку вопрос этот действительно принципиальный, я решил раздать твою книжечку всем членам Секретариата, а одновременно размножить и статью в «Литгазете» и твой ответ и решить весь вопрос с участием руководства «Литгазеты» и с твоим участием после моего возвращения.

Поедешь ли ты в Кисловодск и когда?
Крепко жму твою руку и обнимаю.

Твой А. Ф.

4.I.51».

«9/IV—51.

Дорогой Всеволод!

Придется тебе, как видно, выехать завтра в город днем. Дело в том, что мы не успеем одновременно обсудить и «Ломоносова» и два твоих — справедливых, с моей точки зрения, — протеста против статьи в «Литгазете» и канители с книгой в «Сов. писателе». Поэтому мы хотим два последних вопроса обсудить завтра в 3 ч. дня на закрытом заседании секретариата, а пьесу — в 8 ч. вечера.

Если не возражаешь, можем поехать вместе. Возможно, я выеду не точно к секретариату, но во всяком случае не раньше 1 часа дня (это завтра).

Крепко жму руку А. Ф.».

Несмотря на все старания Александра Александровича и бесконечные новые варианты пьесы, создаваемые Всеволодом, дело с ее продвижением окончательно застопорилось.

«28.VII.52.

Дорогой Всеволод!

Хочу снова в докладе сказать несколько хороших слов о «Ломоносове».

¹ Статья Б. Розова.

В силу стариковского склероза забыл фамилию графини-меценатки, вышедшей замуж за Разумовского (Нелидова?)¹.

Хочу связать опыты Ломоносова в области электричества с нашими великими стройками и планом электрификации в предстоящей пятилетке (главным образом хочу поругать МХАТ за то, что не понимают актуальность, современность этой пьесы).

[...]

Жду ответ. Твой А. Ф.

Дорогая Тамара Владимировна!

Если Всеволода нет, может быть, Вы сможете ответить мне «вкратцах» на эти вопросы?

С сердечным приветом
А. Ф.».

Всеволод начал писать пьесу «Ломоносов» в 1946 году. В 47-м дал прочесть Фадееву. Как видно из приведенных писем, Александр Александрович пьесой заинтересовался. Читал. Советовал. Устраивал читку и обсуждение в Союзе писателей. Упомянул в докладе.

Прошло 6 лет, и вот пятое его письмо о «Ломоносове»:

«Дорогой Всеволод!

Спасибо тебе и Тамаре Владимировне за письмо, за телеграмму. Очень все это меня радовало в больничном положении.

Костя², навещающий здесь Дору Сергеевну³, сказал мне, что «Ломоносова» взяла Александринка. Это очень хорошо, — возможно, они выпустят быстрее, чем МХАТ.

Мне очень хочется сказать тебе — я даже просил об этом Ангелину Осиповну, — какие места в «Ломоносове» (если ты не сделал еще некоторых поправок к тому варианту, который давал мне, и если режиссеры в том и другом театре нажмут педаль на эти места) могут стать уязвимыми.

1. Если поп при Ломоносове займет слишком много места. Он так характерен, столь запоминается и может вызывать такой веселый смех, что может «затмить», будучи лицом вымышленным, лиц исторических.

2. Если Нарышкина займет слишком много места и если любовь ее к Ломоносову и меценатство, основанное на этой

¹ Нарышкина.

² К. А. Федин.

³ Жена К. А. Федина.

любви, вылезет как существенная причина его побед над противниками. По необразованности я не знаю, сколь история эта соответствует исторической действительности (и, разумеется, ничего нельзя возразить против вымысла), но и при соответствии и при вымысле нельзя на это педалировать, чтобы не принизить Ломоносова, чтобы не приписать слишком большого значения такой случайности в его научной и личной судьбе.

Говорю об этом, поскольку убедился на опыте, что самые талантливые вещи «гонят», когда что-нибудь второстепенное, не существенное и большей частью вымышленное получается ярче, чем правда историческая.

[...]

Уж если назвал «Ломоносов» — пусть так и будет (и так все есть!).

Мне кажется, было бы правильно, если бы ты немного присмотрел за Ливановым и режиссером Александринки в этих делах.

Крепко жму твою руку. Сердечный привет Тамаре Владимировне. И желаю преуспевания всей Вашей разветвленной и все более разветвляющейся по естественным законам — фамилии.

Ваш сосед А. Ф.

13.1.53».

Гулять Александр Александрович ходил всегда через наш участок, граничащий с полем, часто приглашал нас с собой. Шел очень быстро, внезапно останавливался и говорил: «Постоим, братцы, посмотрим, какая красота вокруг».

Александр Александрович широко практиковал обсуждение неопубликованных произведений в Союзе писателей.

Но он любил и интимные читки — среди друзей.

Когда Александр Александрович работал над последним, так и не завершенным романом «Черная металлургия», который особенно остро его волновал, он неоднократно читал нам из этого романа отдельные куски и главы. Привожу одно приглашение на такую читку:

«Дорогие Тамара Владимировна и Всеволод!¹

Есть у меня к Вам просьба характера, я бы сказал, «про-

¹ Это письмо не датировано. Относится к 1954 году. На конверте надпись «с ответом».

фессионального». Мне нужен один совет. Примерно через месяц я начну сдавать в журнал новый роман, но не целиком, а кусками, большими — первый из них листов на 10. В теперешнем своем возрасте я эту «методу» печатания презираю, но я вынужден на нее пойти, ибо, только показав товар лицом, если товар действительно подходящ, я могу рассчитывать на дальнейшую возможность работать более или менее спокойно. (Меня уже пытаются вызывать — выступить и туда и сюда, — то ли еще будет, когда дело подойдет ближе к съезду.)

Этот метод печатания таит в то же время и опасности: в многоплановом романе, где много действующих лиц, очень легко впоследствии, по окончании, убрать неизбежные длинноты экспозиции. Сейчас же я этого видеть не могу. Но читатель, который реагирует очень просто: «скучно!» — он это сразу заметит и будет разочарован поначалу. Зато профессиональный человек со стороны, который знает что почем и что куда, тот сразу скажет: «А вот это у тебя, братец, здесь не стреляет, это ты лучше расскажи где-нибудь потом». И даже конкретно может сказать: «До сих пор было нормально, а дальше пошло на неоправданную затяжку, лучше скажи об этом позже, а здесь уже переходи на развитие действия».

Так вот, я очень боюсь за первых 2 листа. В них экспонируется частная интимная жизнь молодой рабочей семьи, а все самое главное начинается потом. Мне лично — черт побери! — просто нравится, как написаны эти два листа (по фактуре). А Ангелина Осиповна, которой я читал и которая знает мои сомнения на этот счет, тоже боится, что слишком затянуто для начала. Мне ни черта не стоит любого размера кусок из этой частной экспозиции рассовать и в других местах романа. А бес самообольщения говорит: «Что ты, что ты, ведь это как раз и оригинально (по нынешним-то привычкам торопиться) начать этак с интимной-то жизни, это-то в тебе и ценно (хе-хе!)».

Если у Вас сегодня не занят вечер, я очень прошу прийти ко мне в 8 ч. и поскучать на этих двух листах — и либо поддержать авторские сомнения, либо... беса.

Угощение могу выставить диетическое, демократическое: салат зеленый со свежим огурцом, селедку с картофелем (две даже селедки!), пирожки, кусок мяса натуральный, кофе с вареньем. Я хочу позвать также Конст. Федина, если он здесь.

Чтобы мне в письме к нему не повторяться, прошу письмо,

адресованное Вам, вернуть сторожу с тем, чтобы он дал его почитать и Косте, которому я посылаю в связи с этим только короткую записку.

Если у Вас сегодня вечер занят, можно было бы перенести все на пятницу или субботу (завтра я занят). Черкните мне ответ!

С любовью А. Фадеев.

И еще одна просьба, очень для меня важная. Чтобы иметь возможность работать, я живу инкогнито, очень тихо. Прошу не говорить ни друзьям, ни недругам, ни лицам частным, ни «официальным», что я здесь живу. Приезжал, мол, читал, а где живет — не знаем».

В тот же конверт была вложена другая записка.

Первая написана чернилами, вторая карандашом. С припиской «срочно».

«Дорогие Тамара Владимировна и Всеволод!

Костя не может быть, но Вас я жду обязательно в 8.

Ему я почитаю отдельно — автору только подай! Костя пишет, что его тоже смущает экспозиция. Наверное, и Всеволода смущает она же, проклятая. Так будем же мучить друг друга экспозициями с той целью, чтобы уже читатель над ними не мучился.

При встрече договоримся, когда читает Всеволод. Придет Костя, будем слушать его.

Жду вас!

А. Ф.».

Иногда Александр Александрович присылал такую записку (без даты):

«Дорогой Всеволод!

Как у человека, прожившего несколько дольше на свете, чем я (извиняюсь, конечно), я хочу спросить у тебя: не помнишь ли ты в старой России названия какого-нибудь смешанного русско-немецкого или просто немецкого промышленного общества или предприятия с типичным (в немецком смысле) наименованием, и в каком городе была контора этого общества или самое предприятие. Если не помнишь сам, спроси у Тамары Владимировны или Марии Потаповны.

Мне нужно это для романа¹: инженер-коммунист, под-

¹ Для последнего, незаконченного романа Фадеева.

польщик хорошо говорящий по-немецки (лицо реальное, между прочим), идет на службу к немцам и ссылается, что отец его, тоже инженер, работал в этом обществе (или на этом предприятии). Ежели у Вас в семье никто не знает, может быть, посоветуешь, у кого бы спросить, чтобы недалеко ходить и не тратить на это много времени. Костя, к сожалению, в отъезде: он может знать.

С приветом *А. Фадеев*.

Когда Всеволод закончил роман «Мы идем в Индию», Александр Александрович живо им заинтересовался. Звал нас к себе, приходил к нам; все время просил: «Почитай, Всеволод!»

Привожу имеющую к этим читкам отношение записку:

«24/VII—55
Воскресенье.

Дорогой Всеволод!

Очень рад был бы послушать главы из нового твоего романа. Сегодня день свободный, и я предлагаю на твое усмотрение.

Могу зайти в любое время, когда тебе удобно; если, по случаю воскресного дня, у тебя шумно, приходи ко мне в любое, удобное для тебя время; ежели, наконец, тебе вообще неудобно сегодня, можно во вторник с утра — у меня или у тебя.

Сердечный привет всем.

Жду ответа!

А. Фадеев.

В период работы над романом «Черная металлургия» Александр Александрович проводил в Переделкине больше времени, и наши встречи участились.

Александр Александрович был неизменно добр и благожелателен.

Мне, например, он помог стать переводчиком.

Когда я занималась общественной работой, была заместителем С. Я. Маршака во Всесоюзной комиссии помощи сиротам войны при СП СССР, Александр Александрович высоко ценил мою работу.

У меня есть несколько «официальных» его писем с благодарностью от имени Союза писателей.

В издательство «Художественная литература» он тоже направил письмо, горячо рекомендуемое меня как работника.

Проявлял он заботу и о многих других своих друзьях. Я соприкоснулась с его заботой о старом (общем их со Всеволодом) друге Иване Петровиче Малютине.

Иван Петрович очень часто писал Всеволоду.

Приведу отрывки из писем Малютина, где упомянут А. А. Фадеев.

«28/XII—47 г.

...Сейчас прослушал по радио стихи Пушкина в передаче В. И. Качалова; как замечательно читает старина, распалил, растопил мою душу и сердце, и создалось такое настроение, что так бы и полетел обнимать крепко-накрепко и чтеца и других примечательных москвичей, как тебя, Всеволод, Телешева, Татьяну Щепкину¹ и Фадеева...»

«30/IX—55 г.

[...] А. А. Фадееву я послал еще небольшой очерк о Неве-верове, он пишет, что получил и передал в из-во [...] С Фадеевым мы договорились. Он перепечатать отдаст мои рукописи и вызовет меня для поправок [...] но телеграммы нет [...] если встретишь его, то напомни ему обо мне...»

Но напоминать не требовалось, еще раньше Всеволод получил от Александра Александровича письмо:

«28/VII—55 г.

Дорогой Всеволод! У меня просьба к тебе: сегодня отправляю рукопись воспоминаний И. П. Малютина в «Советский писатель» со своей аттестацией и прошу тебя направить туда же [...] свой отзыв об авторе и о том, что считал бы целесообразным издать его «Воспоминания и встречи».

Сердечно приветствую тебя и Тамару Владимировну и всех твоих чад и домочадцев.

Твой А. Фадеев. (Эсквайр)».

¹ Щепкина-Куперник.

Иван Петрович Малютин был принят в Союз писателей в возрасте за 80 лет.

Он не забывал своего друга и благодетеля и в письме Всеволоду от 20/XI—57 г. пишет:

«...Где-то я видел объявление, что издается книга А. А. Фадеева «За тридцать лет».

Вышла или нет? Очень интересуюсь».

Александр Александрович был принципиально добр ко всем, с кем бы он ни соприкасался, причем чем ниже стоял человек (скажем, в аппарате Союза писателей) на общественной лестнице, тем бóльшую внимательность и заботу проявлял в отношении такого человека Александр Александрович.

Он помогал и материально, и морально всем, кому мог помочь.

Литературу же Фадеев считал не только призванием своей жизни, но еще наложил на себя обязательство и общественно, как бы жречески, служить ей.

Он возносил на очень высокий алтарь свой долг по отношению ко всему литературному процессу в целом.



Валентина Михайловна Ходасевич



Валентина Михайловна Ходасевич была человеком жизнелюбивым, страстно интересующимся всеми явлениями искусства, литературы, науки, природы.

Она прожила длинную яркую жизнь. Соприкасалась со многими выдающимися деятелями своей эпохи.

Жизнь ее не была легкой, в ней изобиловали трагические коллизии... У каждого человека своя судьба, но не каждому дано описать ее.

Она была художником и под конец жизни написала книгу о своем становлении как художника.

Труд свой она озаглавила кратко: «Было».

Начинает словами:

«У каждого человека — своя книга жизни».

Она пишет:

«В жизни я встретила много замечательных людей, общение с которыми, безусловно, воздействовало на меня и формировало мои мысли и чувства. Встречи эти прошивают мою книгу, как наметка крепкими стежками, которые то пропадают — идут с изнанки, то вновь возникают. О Горьком, Маяковском и Татлине пишу больше, чем о других примечательных встречах, потому что их воздействие на меня было бóльшим».

Сохранилось много писем Горького к Валентине Михайловне, она приводит их.

Только в самом первом Алексей Максимович величает ее по имени-отчеству. Дальше всегда «купчиха» и все производные от этого слова: купчишечка, купчихонька и т. д.

В семье и близком окружении Горького все имели свои прозвища. Валентина Михайловна стала «купчихой» из-за доставшегося ей от отца-коллекционера ассортимента старорусских купеческих шалей и разнообразных кацавеек.

Когда мы гостили у Алексея Максимовича (в Италии ли, в Крыму ли), он постоянно собирал фольгу и конфетные обертки (то, что дети называют «фантиками»), объясняя, что это нужно одному художнику для макетов. А когда мы подружились с Валентиной Михайловной, он уточнял: «купчихе» требуется.

Валентина Михайловна в своей книге старается философски обосновать свой подход к искусству.

«Творчески видеть, понимать, отбирать и осваивать интересующие тебя явления окружающего мира, уметь найти главное, а остальное отбросить, уметь увидеть и отобразить свои мысли и чувства, передать то, что хочется, рисунком, краской, композицией, а не копировать то, что физически видит наш глаз, — вот что должен развивать в себе художник на протяжении всей жизни.

И нет конца поискам и экспериментам, а ведь это поиски себя и создание своего мира, в реальности которого, в случае таланта и удачи, ты можешь убедить и других людей. Говорят, что до картин Клода Моне «Лондонские туманы» в Лондоне туманов не было. Каждый народ имеет своих первооткрывателей в искусстве и в науке — ими и движется человечество вперед».

О воспоминаниях Валентины Михайловны надо рассказать особо.

Последние 10 лет своей жизни Валентина Михайловна целиком посвятила этой работе. Отдельные куски, которым она дала название «Встречи» с подзаголовком: «Из книги «Портреты словами», печатались в «Новом мире» (1968, 1969).

Об основном же тексте у Валентины Михайловны не получалось окончательной договоренности с редактором.

Валентина Михайловна несчетное число раз переделывала, дописывала и отдавала перепечатать машинисткам.

И вот... однажды, летом 1971 года, она звонит мне по телефону и радостно говорит: «Все. Вычитала последние листы перепечатки. Поставила точку. Больше переделывать не буду. Книга готова».

Я поздравила Валентину Михайловну и пригласила поскорее приехать к нам в Переделкино — отдыхать.

Не прошло и часу, как раздался новый звонок. Звонила Вера Николаевна Трауберг¹ и просила меня срочно приехать: у Валентины Михайловны инсульт.

События разворачивались с невероятной быстротой. После телефонного разговора со мной Валентина Михайловна пригласила к себе «отпраздновать завершение книги» Веру Николаевну.

Та тотчас же пришла.

Они сидели за чайным столом, радостно обсуждая перспективы появления книги, как вдруг Валентина Михайловна начала клониться на сторону и, падая, четко проговорила: «Верочка, у меня инсульт».

Диагноз, увы, она поставила правильно.

Через неделю ее не стало.

А законченные воспоминания оставались долгое время лишь рукописью. В 1987 году книга воспоминаний В. Ходасевич будет выпущена в «Советском писателе».

Валентина Михайловна была не только живописцем, портретистом и театральным художником. В первые годы Октябрьской революции она оформляла массовые зрелища под открытым небом, когда зрителем являлась многотысячная толпа.

Это был своеобразный карнавальный период истории нашего театра.

Лично я, работая в мастерских Мейерхольда, тоже принимала участие в организации всенародных зрелищ на стадионах или на тогдашних Воробьевых горах.

Валентина Михайловна эмоционально чутко воспринимала события и людей. Очень выразительно умела она и рассказать, и описать увиденное.

Мне кажется, что ей, как никому другому, удалось в своей книге передать психологическое состояние Владимира Маяковского накануне трагического его самоубийства.

¹ Жена кинорежиссера Трауберга.

Валентина Михайловна описывает, как 13 апреля, в конце актерской репетиции, когда началась монтировочная, внезапно появился Маяковский. Репетировалась цирковая пантомима «Москва горит» по его сценарию.

«...Вижу Маяковского, быстро идущего между первым рядом кресел и барьером арены с палкой в руке, вытянутой на высоту спинок кресел первого ряда. Палка дребезжит, перескакивая с одной деревянной спинки кресла на другую. Одет он в черное пальто, черная шляпа, лицо очень бледное и злое. Вижу, что направляется ко мне. Здравуюсь с арены. Издали, гулко и мрачно, говорит:

«Идите сюда!»

Перелезаю через барьер, иду к нему навстречу. Здравуемся. Ни тени улыбки. Мрак.

— Я захотел узнать, в котором часу завтра сводная репетиция, хочу быть, а в дирекции никого. Так и не узнал... Знаете что? Поедем покататься, я здесь с машиной, проедемся...

Я сразу же говорю:

— Нет, не могу — у меня монтировочная репетиция, и бросить ее нельзя.

— Нет?! Не можете?! Отказываетесь? — гремит голос Маяковского. У него совершенно белое перекошенное лицо, глаза какие-то воспаленные, горящие, белки коричневатые, как у великомучеников на иконах...

Он опять невыносимо выстукивает какой-то ритм палкой о кресло, около которого стоим, опять спрашивает:

— Нет?

Я говорю:

— Нет.

И вдруг какой-то почти визг или всхлип...

— Нет? Все мне говорят «нет»!.. Только нет! Везде нет... — Он кричит это уже на ходу, вернее, на бегу вокруг арены к выходу из цирка. Палка опять визжит и дребезжит еще бешенее по спинкам кресел. Он выбегает. Его уже не видно...»

Валентину Михайловну так потрясло необычное состояние и поведение Маяковского, что, наскоро дав указания помощникам, как продолжать монтировочную репетицию, она бросилась догонять Владимира Владимировича.

В ее талантливом описании всего дальнейшего подспудно выявлен весь трагизм тогдашнего состояния Маяковского.

Она согласилась поехать с Владимиром Владимировичем, но ее общество не утишает его внутртенней боли.

«...Вдруг голос Маяковского шоферу:

— Остановитесь!

Владимир Владимирович уже на ходу открывает дверцу и как пружина выскакивает на тротуар, дико, мельницей, крутит палку в воздухе, от чего люди отскакивают в стороны, и он почти кричит мне:

— Шофер довезет вас куда хотите! А я пройдусь!..— И быстро, не поворачиваясь в мою сторону, тяжелыми, огромными шагами, как бы раздвигая переулок (люди расступаются, оглядываются, останавливаются)...»

Ходасевич растеряна. Недоумевает. Ей делается страшно за Маяковского. Возвращаясь обратно на репетицию, она обгоняет Маяковского.

«Он шел быстро «сквозь людей», с высоко поднятой головой — смотрел поверх всех и был выше всех. Очень белое лицо, все остальное очень черное. Палка вертелась в воздухе, как хлыст, быстро-быстро...»

Так описать может только художник.

Растерянность и тревога не покидали Валентину Михайловну всю ночь.

На следующее утро, когда она, уже после начала репетиции, вспомнила, что накануне он просил разбудить его, побежала к телефону. Навстречу ей шел директор, брэнча ключами.

«Куда вы так торопитесь?» — спросил он.

Отвечаю:

— К телефону. Дайте, пожалуйста, скорее ключ от вашего кабинета, меня ждут на арене, а я обещала позвонить Владимиру Владимировичу и сказать, в котором часу начинается актерская репетиция, — он хотел приехать...

Директор перебивает меня и спокойно медленно говорит:

— Не старайтесь — Маяковского нет. Мне только что звонили...

Я его перебиваю и говорю:

— Так вы ему сказали, что репетиция в одиннадцать?

— Я же вам говорю, его нет...

До меня не доходил ужасный смысл этого «его нет». Я злюсь, не до шуток, говорю:

— Какая ерунда! Где же он?

— Его уже вообще нет — в десять часов пятнадцать минут он застрелился из револьвера у себя дома. Вы понимаете?

Я уже ничего не понимала и не чувствовала... Очнулась, лежа на диване в кабинете директора».

...По моему глубокому убеждению, воспоминания В. М. Ходасевич интересны и значительны.

Анна Алексеевна Капица, друг и исполнитель воли Валентины Михайловны, сумела в 1980 году организовать выставку работ Валентины Ходасевич. Выставка состоялась в залах Союза художников СССР. Там было собрано все уцелевшее от станковой живописи, с которой Ходасевич начинала свою творческую деятельность. В частности, она была превосходной портретисткой.

Были, разумеется, представлены и эскизы театральных декораций, и макеты, и наброски уличных праздничных оформлений. Все, что удалось собрать, — вплоть до нагрудных значков с графическим изображением различных эмблем на тему: «Труд. Просвещение. Война. Единение рабочих и крестьян» и др. Значки эти, сделанные из картона, с бантами из ярко-красной ленты и булавкой, раздавались во время народного праздника на улице бесплатно, и, по словам Валентины Михайловны, «каждый приколовший значок нес на себе кусочек праздника».

Эта посмертная выставка художника Валентины Ходасевич имела большой успех.

Нашу семью с Валентиной Михайловной связывала тесная дружба, а также и совместная ее со Всеволодом работа над его пьесой «Ломоносов». При постановке этой пьесы в Художественном театре Валентина Ходасевич была художником.

Валентина Михайловна прочитала пьесу, когда гостила у нас в Переделкине, потом писала мне из Ленинграда:

«26/XII—1949 г.

[...] весной намечена в Союзе моя выставка, буду готовиться к ней и делать заново эскизы старых постановок.

Кроме того, очень хотела бы попробовать сделать эскизы к пьесе Всеволода Вячеславовича «Ломоносов». Если что выйдет, то может пойти и на выставку и в будущем в какой-нибудь ленинградский театр».

Когда предложенная Всеволодом кандидатура Ходасевич как художника спектакля «Ломоносов» была принята и ре-

жиссером Б. Н. Ливановым и дирекцией театра, я послала Валентине Михайловне письмо и телеграмму.

Получила ответ (7/1—1950 г.): «...спасибо за желание меня устроить в МХАТ. Однажды меня пригласили на «Хозяйку гостиницы», но я должна была отказаться, т. к. в те же самые сроки был спектакль в Ленинграде. Второй раз мне была предложена творческая встреча со Станиславским — «Риголетто», постановка Константина Сергеевича, а режиссер Степанова. Я с ней уже почти договорилась, но вдруг испугалась Станиславского и отказалась.

Что-то будет теперь? Это вроде как третий раз с МХАТом! А попасть туда ведь трудно, как в царство небесное!»

Но не тут-то было: опять не повезло Валентине Михайловне, только она, как пишет в письме от 15/IV—1950 г., «...настроилась по-настоящему на «Ломоносова», даже стол расчистила, вторую комнату (из-за холода закрытую) открыла, мольберт подготовила...», как ей объявили о капитальном ремонте дома (бывший дворец на улице Халтурина, разделенный на отдельные квартиры) и необходимости выезда и вывоза всех вещей (а у нее настоящий антиквариат). Валентина Михайловна пишет: «...главный инженер нашего района был у меня и согласился, что меньше 20-ти метров мне дать нельзя, иначе мое имущество не уместится...» Валентина Михайловна так любила делать подарки, что мелкое ее «имущество»: различные старинные предметы, доставшиеся ей от родителей, находятся во всех домах ее друзей (в том числе и нашем).

Кстати сказать, незадолго перед смертью, уже живя в Москве, Валентина Михайловна хотела безвозмездно пожертвовать все свои крупные раритеты: одни в музей Восточных культур, другие в Третьяковскую галерею; из обоих музеев приходили к ней эксперты, ахали и охали по поводу редкостности ее даров, но от нее, как от жертвователя, требовалась уйма выполнения хлопотливых формальностей, на которые у нее уже не было сил, вот дар ее так и не осуществился. А из-за неосведомленности ее наследниц о художественной и исторической ценности тех редкостных предметов, которые им достались, они почти ничего не сохранили — многие ценности рассеялись неведомо куда.

Несмотря на обрушившееся на нее бедствие (капитальный ремонт и необходимость переезда), Валентина Михайловна продолжала думать о «Ломоносове». В том же письме она делится со мной своими мыслями и беспокойством: «Как ладят Ливанов и Всеv. Вячеславович?»

Я очень вижу Бор. Ник. Ломоносовым, но прав его очень страшен для режиссера.

Даже и мысли режиссерские у него талантливы очень, но сумбурность характера невероятная!»

Надо сказать, что, щедро одарив Валентину Михайловну, судьба и горя ей предоставила с избытком.

Родилась она в культурной, обеспеченной семье (отец известный в Москве того времени адвокат Михаил Фелицианович Ходасевич); художественное образование она получила в Париже. Дружила со множеством выдающихся людей своей эпохи.

Но несчастья обрушивались одно за другим. Ее первый муж художник Дидрихс скончался в первые месяцы эвакуации в Ташкенте; второй муж, тоже художник, Виктор Семенович Басов, заболел в конце войны туберкулезом.

Валентину Михайловну и заболевшего Басова сперва приютила Надежда Алексеевна Пешкова, но жизнь в ее доме осложнилась для них по многим причинам, и они уехали в Ленинград.

Об этом периоде своей жизни Валентина Михайловна писала мне впоследствии: «...так мне было тяжело на душе при воспоминании о том, что и как было при Алексее Максимовиче и что осталось».

Из Ленинграда (6/III—1946 года) Валентина Михайловна писала мне:

«Жизнь наша в Ленинграде налаживается [...] Только бы Виктор в связи с весной не подкачал [...] за зиму процесс остановить не удалось. [...] Виктор тихо и безропотно выкашливает кусочки легких, выпивает, курит, работает и очень мил, и я его очень люблю.

Многое из нашей московской жизни мы старательно вычеркнули из памяти. Вас же вспоминаем всегда с большой любовью и уважением — московский оазис!»

Это письмо они еще подписали оба.

Туберкулез, начавшийся в легких, захватил уже и горло Виктора Семеновича, но он не сдавался и мужественно продолжал работать.

В одном из писем Валентина Михайловна острит сквозь слезы: «...родители воспитали меня прилично — привили и иронию, и оптимизм, и юмор. Может, на этом выеду. Хотя очень много плакала последнее время, а ведь хочется посмеяться, как всякому приличному гражданину».

...Скончался Басов 19 декабря 1946 г.

После его смерти я пригласила Валентину Михайловну к себе.

Она и потом часто гостила у нас, — то на Лаврушинском, то в Переделкине.

Вернувшись однажды после такого «гощения» к себе в Ленинград, она пишет 17/XII—1949 г.: «Я еще вся в Москве, вся с Вами — в Переделкине и на Лаврушинском, дорогие мои друзья, милое, уютное и веселое семейство Ивановых!»

Из-за капитального ремонта дома Валентину Михайловну все же переселили в какой-то подвал, который ей пришлось забить битком вещами.

Саму же Ходасевич приютили ее друзья Трауберги.
20/V—1951 г. она пишет мне:

«...редко очень заглядываю в свой подвал, где мне почти невыносимо. Вещи глядят на меня с ужасом — куда это мы попали? А когда-то и им и мне было хорошо вместе. В доме на Халтурина еще не начали ремонт».

Но неукротимая душа художника преодолевает все беды и невзгоды.

Ищет утешение в любовании природой.

В том же письме:

«...в Ленинграде сейчас красота неопишуемая! Только-только развернулись почки, трава бешено зеленая, воздух так чист и приятен, как редко бывает. Нева и каналы — глаз не оторвешь».

Брожу одна по дивным местам, вспоминаю Виктора Семеновича и, конечно, тоскую очень».

Воля к жизни и творчеству. Уменьше побороть тоску, черпая силы в самой сущности бытия, очень характерно для Валентины Михайловны.

20/VII—1950 г. она пишет мне:

«Дорогая Тамара Владимировна, первые 3 дня спала и гуляла, гуляла и спала. Отдохнула за весь год и, кажется, на 5 лет вперед. Места здесь дивные. Река и леса красивы при любой погоде и любом освещении. Берег, на котором наша деревня, крутой, песчаный с огромными, очень при-

чудливо изгибающимися соснами и дубами. Ока здесь (поселок Соколова Пустынь) шире раза в полтора Москвы-реки в городе. Песчаные розовые отмели, и на другом берегу луга, холмы и вдали леса. Вместо церквей пейзаж оживляют силуэты силосных башен и совхозных служб. Издали похоже на ампирные дома старых усадеб.

Деревня большая — 2 улицы вдоль реки. Мы живем, к сожалению, во втором ряду от реки, и из дома реки не видно, и я то и дело бегаю на кручу над рекой. Сзади нашего дома сразу начинаются крутые холмы. Песчаные и сосновый лес. Это дюны. До смешанного леса ходьбы с полчаса. Но преимущественно в лесах дубы и сосны. Попадаются и березовые рощи. Запахи в лесу одуряющие. Много грибов, земляники, цветов. Вообще очень парадно и разнообразно. Окрестности еще мало видела, т. к. льют дожди. Дня 2 была хорошая погода.

Все дивно, дивно, если бы не... Редко кто из людей умеет или обладает тактом не портить пейзаж».

В этом же письме Валентина Михайловна приводит длинное рассуждение о том, как искусство не только претворяет, но и направляет жизнь. Рассуждение ее содержит в себе цитату из Бальзака на французском языке, которая в переводе звучит так: «Принцип непрерывного поиска формы не только черпает из жизни, но и расцветивает ее». А кончает она выводом:

«В основном, все же как трудно с людьми, которые существуют вне искусства и лишены воображения!

Вспоминаю (т. к. много вспоминается) часто Селигер (у Валентины Михайловны был сторевший во время войны дом на берегу озера Селигер, куда к ней в гости каждое лето съезжались друзья из артистического, литературного и художественного мира. — *Т. И.*), и раны мои опять болят, а глаза слезоточат.

Как-то у Вас?

Очень без Вас скучаю и хочу про всех знать. Может, найдете время и напишете мне...»

Валентина Михайловна не переставала снабжать меня хвалебными эпитетами, чего я явно не заслуживала.

«Очень крепко Вас целую, дорогая героическая женщина. Всем поцелуй и приветы.

Жду весточки.

Ваша Валентина Х.»

...Горе от потери любимого мужа не сломило Валентину Михайловну.

До оформления «Ломоносова» в Художественном театре она была художником при постановке «Гугенотов» и «Фауста» в Ленинградском оперном театре, а также в драматическом оформляла пьесу «Ветер с юга». Об этой своей работе она пишет (21/IX—1949 г.) в обычной своей манере, смеясь сквозь слезы: «Декорации мои предстали как загадка перед очами зрителей. Их пропитали в день премьеры антипожарным составом, который потек потоками по декорациям, высох и образовал странные узоры и формы из белой серой соли. Теперь и прописать нельзя — краска на эту дрянь не ложится. Директору же наплевать, его переводят в театр Акимова».

Когда я говорю о манере Валентины Михайловны смеяться «сквозь слезы», то вспоминаю и ее описания своих болезней. Во время воспаления легких она пишет: «...от банок вся стала — в синий горошек»; а когда в лаборатории перепутали ее анализы с чьими-то другими, она сообщила: «...три недели болели чужие почечные лоханки».

До своего окончательного переезда в Москву Валентина Михайловна подолгу гостила у нас. Как-то так получилось, что почти все ее ленинградские друзья или умерли, или переселились в Москву, и в Ленинграде ей было совсем одиноко. Она очень благодарно реагировала на любое проявление участия, что отражено в письмах: «...трудно выразить, какой кусочек счастья Вы мне прислали в Вашем последнем письме! Я даже заплакала счастливыми слезами. Такие Вы нашли слова! (И в такое время.) Очень мрачно и даже почти страшно мне было, когда вернулась домой».

К «Ломоносову» Валентина Михайловна готовилась очень тщательно. Обошла все ленинградские музеи. Подробно изучила выставку, посвященную Ломоносову в Кунсткамере. В одном из писем (16/1—1950 г.) она сообщает: «...была еще в Академии наук, разговаривала, и кое-что мне показали по Ломоносовскому Петергофу. Многие меня смутило. Многие не получается или мешает моим декоративным замыслам. А уж без режиссера и автора совсем трудно выйти из положения. В общем, еще дня три поработаю, и тогда станет мне ясно, могу ли я что-то предложить Ливанову заочно».

Декорации к «Ломоносову», по общему признанию, удались Валентине Михайловне. А костюмы и того больше.

А. К. Тарасова, которая играла в спектакле Нарышкину (она тогда была и директором театра), настолько восхитилась придуманными для нее Ходасевич костюмами, что приглашала ее на должность штатного художника театра.

Валентине Михайловне такая штатная работа казалась заманчивой, но проект этот не осуществился.

Последней театральной работой Валентины Ходасевич был балет «Спартак».

После оформления этого балета она считала для себя непосильным общение со сложными театральными коллективами и переключилась на мемуарное творчество.

Во все, что бы она ни делала, Валентина Михайловна вкладывала неумный темперамент; так же она работала над воспоминаниями — своеобразными портретами словами.

Я себя корю за то, что, посвятив себя «проталкиванию» в печать не изданных при его жизни произведений Всеволода Иванова, я не уделила достаточного внимания, не приложила всех возможных усилий к опубликованию мемуаров Валентины Ходасевич «Было».

Напрасно она писала мне хвалебные оды, называя меня во всех возможных и невозможных областях «героиней» и утверждая, что: «...поразительная у Вас (т. е. у меня.— Т. И.) способность понимать и организовывать внутреннюю и внешнюю жизнь человеческую... да еще и меня «приютить» и морально и физически взять «на буксир».

Приютить человека куда легче, чем организовать его жизнь вовне.

Никак не удавалось мне убедить Валентину Михайловну еще раз решиться на обмен жилища.

Свою «дворцовую» ленинградскую квартиру она очень неудачно обменяла на большую комнату в перенаселенной московской коммунальной квартире.

И вот под конец жизни она оказалась (в самом худом смысле этого понятия) в «коммунальном» окружении, что, несомненно, укоротило ее жизнь.

Если бы не возникла у нее дружба с Анной Алексеевной Капицей, которая последние годы жизни Валентины Михайловны забирала ее к себе на дачу, на ту половину недели,

которую Капицы сами там проводили, и того печальнее было бы существование в этой коммунальной квартире Валентины Михайловны, которая свою книгу закончила словами:

«Начала книгу «за здоровье», а кончаю «за упокой». Жизнь наша построена так же — никуда от этого распорядка не денешься...

Странно, до чего же быстро прошла жизнь. Какие-то периоды, особенно неприятные, длились и мучили, казалось, бесконечно долго. И все хотелось ускорить бег времени. А теперь кажется, что жизнь промелькнула неестественно быстро и многое, даже неприятности, возмущения и страдания, хотелось бы пережить вновь, и думается, что наслаждалась бы вдумчиво и скаречно даже несчастьями, потому что все входит в понятие жизнь».

А жизнь-то и оборвалась именно тогда, когда она поставила точку под этим своим утверждением.



Борис Леонидович Пастернак

Последние слова умирающего Чехова были: «Ich sterbe». Французская писательница Натали Саррот в своей книге «L'usage de la parole»¹ пытается дать этому своеобразное объяснение.

Она считает, что Чехов как врач, очень точно определивший момент своей смерти, не потому произнес окончательный себе приговор по-немецки, что находился на немецком курорте и возле него вместе с его женой Ольгой Леонардовной Книппер-Чеховой дежурил врач-немец.

Натали Саррот предполагает, что Антон Павлович не хотел ранить жену привычными звуками русской речи, которые могли вызвать у нее совсем иные ассоциации.

Ведь когда-то раньше она могла слышать из его уст: «Умираю от любви к тебе», или: «Умираю от смеха»...

Кто знает, может быть, гипотеза Натали Саррот и соответствует истине.

Но мне привелось слышать от врачей, что умирающие почему-то часто произносят последние свои слова не на родном, а на каком-нибудь из известных им иностранных языков.

По словам Зинаиды Николаевны, жены Бориса Леонидовича Пастернака, его последними словами были не иностранные, а русские: «Прости» и «Рад».

¹ «Словоупотребление» (франц.).

Первое слово не нуждается в пояснениях. Второе Зинаида Николаевна восприняла как : «Рад, что умираю на твоих, а не на чьих-то других руках».

Мне, долгое время бывшей свидетельницей их жизни, такое ее толкование представляется, безусловно, правильным. Ведь и меня, в последнее наше свиданье, когда у него уже произошел инфаркт, а диагноз поставлен еще не был, Борис Леонидович просил не устраивать его на этот раз в больницу.

Я знала Бориса Леонидовича на протяжении тридцати двух лет.

Первые годы знакомство было не очень близким.

Сближение происходило постепенно, а с 40-х годов и до 60-го, года смерти Бориса Леонидовича, наши взаимоотношения нельзя охарактеризовать иначе как близкой и даже очень близкой дружбой.

Поэт написал: «Но кто мы и откуда, когда от всех тех лет остались пересуды, а нас на свете нет».

На свете уже и сейчас почти не осталось его сверстников, да и не только сверстников, а хотя бы очевидцев его жизни.

Поэтому позволяю себе считать свое, подкрепленное перепиской, свидетельство не бесполезным.

Познакомилась я с Борисом Леонидовичем Пастернаком и его первой женой Евгенией Владимировной в 1928 году.

Пастернаки с первого взгляда очаровали меня и произвели впечатление на редкость ладной и дружной пары. Потом мы встречались не часто, но всегда очень радостно.

Я недоумевала, когда узнала, что они разошлись, но недоумение мое полностью рассеялось, как только я увидела Бориса Леонидовича с его новой женой Зинаидой Николаевной.

Дело происходило в 1933 году.

Мы встретились в гостях у Сергея Буданцева.

Тогда мы со Всеволодом только что вернулись из первой нашей совместной заграничной поездки. Всех присутствовавших очень интересовали наши рассказы.

Но Борис Леонидович, всегда так живо на все откликавшийся, был неузнаваем. Он ничего не видел и никого не слышал, кроме Зинаиды Николаевны. Он глаз с нее не спускал, буквально ловил на лету каждое ее движение, каждое слово.

Она была очень хороша собой, но покоряла даже не столько ее яркая внешность жгучей брюнетки, сколько неподдельная простота и естественность в обращении с людьми.

Любить иных тяжелый крест,
А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносильна.

Так видел ее влюбленный поэт.

Когда мы собрались уходить, я услышала, что Вера Васильевна Ильина (жена Буданцева) предлагает Зинаиде Николаевне и Борису Леонидовичу остаться у них ночевать.

Меня удивило не то, что Вера Васильевна оставляет москвичей на ночь, а то, что в буданцевских двух комнатах ни дивана, ни кушетки, вообще нет никакого другого ложа, кроме супружеской двуспальной кровати.

Видимо, прочитав удивление в моих глазах, Зинаида Николаевна очень просто сказала: «А нам с Боренькой ведь все равно, на чьем полу ночевать. У нас сейчас своего угла нет. Так вот и кочуем».

Бориса Леонидовича эти слова привели в неистовый восторг, он бросился целовать руки сперва Зинаиде Николаевне, благодаря ее за то, что она такая чудесная, потом Вере Васильевне за то, что она их понимает и оставляет у себя, а под конец и мне, вовлекая и меня тоже в круг своего ликования, за что-то благодаря и меня.

До общего переезда в Переделкино наши дальнейшие встречи с Пастернаками происходили от случая к случаю.

Пастернаки долго были заняты сложным урегулированием всего того, что неизбежно возникает при разводах. Тут и квартирные вопросы, и прочее устройство наново быта семей (в данном случае трех: ведь и у Бориса Леонидовича, и у Зинаиды Николаевны были дети от первых браков).

Но для Бориса Леонидовича, может быть как ни для кого другого, на первом месте — стремление все с ним происшедшее внутренне согласовать и примирить.

Многие попадали в его положение, но Борис Леонидович и тут вел себя, как и в других случаях жизни, необычно. Был не только не способен ничем попрекнуть ту, которую оставляет, но непрерывно заверял ее в своей неизменной дружбе.

Сборник «Второе рождение» — отчетливое этому свидетельство. Оставленной посвящено не меньшее количество стихотворений, чем той, которой «рока игрою ей под руки лег».

Дружба для Бориса Леонидовича на протяжении всей его жизни была прибежищем и оплотом.

Конечно, иногда она рушилась, но не по его вине. Он был необыкновенно верным другом.

С нами его прочными узами связало Переделкино.

В 1939 г. Пастернаки поселились по соседству с нами. С тех пор они стали частыми нашими гостями. Ходили и мы к ним. Да и просто через забор переговаривались, — в общем, жили, что называется, на виду друг у друга.

Борис Леонидович любил читать вслух написанное, любил слушать чужое чтение.

Но обсуждалось обычно не только прочитанное, а и все злободневные события.

В этот период, да и в последующий, военный, Борис Леонидович уважал меня за мою общественную работу, к которой относился всегда очень сочувственно, и был рад, когда я вовлекала в нее Зинаиду Николаевну.

Женщина вполне земная, как принято было тогда определять — тер-а-тер, Зинаида Николаевна уж если оказывала людям помощь, то всегда самую реальную.

В квартире подопечного ребенка она, в случае надобности, мыла собственноручно пол и стирала белье.

Борис Леонидович очень гордился этим умением Зинаиды Николаевны помочь вполне конкретно. Гордился ее подлинностью, абсолютным отсутствием в ней чистоплюйства.

Соседями мы были с Пастернаками не только по Переделкину, но и в Москве, по Лаврушинскому переулку.

Все знаменательные даты, дни рождений, встречи Нового года почти всегда были связаны у нас с Пастернаками.

В ту ночь, когда родился Леня (а родился он как раз под Новый год), Борис Леонидович был у нас на Лаврушинском.

Я все время звонила в роддом, узнавая о положении Зинаиды Николаевны, и первая известила Бориса Леонидовича о рождении его младшего сына.

Со свойственной ему преувеличенной манерой Борис

Леонидович так благодарил меня, как если бы я была господом богом или провидением и мое личной заслугой было появление у него еще одного сына.

Я неколебимо верила в правоту своих убеждений. К тому же была отъявленной спорщицей.

Всеволод спорить не любил. Он высказывал свои мысли, но отнюдь не считал их для другого обязательными, а значит, и спора с ним не получалось.

«Я думаю так, ты — иначе; кто из нас прав, я не знаю — решай сам», — вот примерный подтекст Всеволода (кроме случаев, при которых требовалось поставить на место какого-то принципиального противника).

Умозаключения Бориса Леонидовича были всегда блестящи, полны юмора и совершенно неожиданной аргументации.

Борис Леонидович шутя называл меня советской Жанной д'Арк. Он говорил, что «все гибнут от всеобщей готовности» принимать всевозможные мнения критики, но за мою «готовностью», по его мнению, была своя моральная правда, поэтому он охотно и подолгу беседовал со мной. Он говорил, что хотя мы во многом и не сходимся во взглядах, но вполне «взаимопроникаемы».

После любого чтения — стихов ли, прозы — возникали целые диспуты.

Обсуждалась преимущественно вопросы мастерства и сокровенной сущности литературы, искусства...

Помню, как на одной из таких импровизированных дискуссий А. Н. Афиногенов, очень почитавший Пастернака, признался, что многие его ранние стихи ему совершенно непонятны. И как пример привел:

Спелой грушею в бурю слететь
Об одном безраздельном листе.
Как он предан — расстался с суком —
Сумасброд — задохнется в сухом!

Я самонадеянно ринулась объяснять.

Борис Леонидович радостно расхохотался и сказал, что хотя сам-то он имел в виду совершенно другое, но мое объяснение ему вполне по душе.

В разное время по-разному, но всегда неожиданно (это теперь только его определения уже не кажутся необычными, а, наоборот, привычными) писал Пастернак о сущности поэзии, о сущности искусства:

Я службу долгую твою
Объятий дрожью сокровенной
В слезах от счастья отстою.

К 40-му году наш Кома выздоровел и пошел в школу, а Адика Нейгауза — пасынка Бориса Леонидовича — зимой 1940/41 года пришлось поместить в туберкулезный санаторий «Красная роза», так как его болезнь не поддавалась домашнему лечению. Зинаида Николаевна жила в Москве (машины у нее тогда не было), чтобы удобнее было навещать Адика.

Борис Леонидович остался на переделкинскую зимовку с маленьким Леней.

В день рождения Бориса Леонидовича, 11 февраля, мы со Всеволодом поехали в Переделкино. Повезли подарки, захватили шампанское, но не застали «новорожденного», разъехались с ним.

12 февраля получили от него письмо:

*«12 февраля 1941 г.
Из Переделкина в Москву.»*

Дорогие Тамара Владимировна и Всеволод!

Не могу сказать, как Вы меня растрогали знаками своей сердечности. Чем на них ответить? Как глупо и какая досада, что меня не было дома! Зачем Вы без конца задариваете Ленечку? Чудный, между прочим, подарок, он очень ему по душе, и полдня проходит теперь у него в кавалькадах.

Надо будет как-нибудь по-настоящему собраться в Зинины¹ дни у нас на даче, — она уговорится с Вами об этом, а пока еще раз от всей души благодарю Вас за радость, которую я прозевал и которую не сумел воспользоваться. Кончаю, потому что не могу вырваться из круга бессмысленнейших восклицаний.

Ваш преданный Вам *Б. П.*».

Февраль для нас был месяцем рождений: 11-го — Борис Леонидович, 17-го — я, 24-го — Всеволод.

*«17/II—41 г.
Из Переделкина в Москву.»*

Дорогая Тамара Владимировна, с чем Вас, с днем рождения или с днем ангела? Если я пожелаю Вам даже только

¹ В один из тех дней, когда Зинаида Николаевна приезжала в Переделкино.

часть той радости, которую Вы и Всеволод всегда доставляете мне, это уже и в таком случае будет большим, большим пожеланием.

Начиная письмо, я еще сам не знаю, устою ли я против соблазна, или не выдержу и в последнюю минуту поеду с Дементьевым¹. Объяснить, почему я упираюсь, почти невозможно. Даже при совершенном равнодушии к Вам, к Асмусам², к городскому дому, ко всему на свете, я должен был бы ухватиться за предоставляемую Вами возможность и побывать в Москве с тою приятностью и предельным удобством, какие Вы мне предлагаете. Зина скажет Вам, и это мог бы подтвердить Ливанов, что в течение нескольких дней меня вызывают срочно во МХАТ (а надо ли говорить, как самому мне дорого и интересно посидеть на репетициях). Но это сплетенье дел, *величайших, как встреча с Вами, удовольствий*³ и выгод мне надо на несколько дней отложить. Причина, при всей своей действительности, так беспредметна и невесома, что я лучше объясню ее при первой нашей встрече на словах. Я давно ничего не делаю даже для заработка. Мне надо именно в эти дни взять себя в руки и двинуть немного Ромео из целого ряда нравственных соображений. В последнее время я не выношу себя, как это иногда бывает с каждым из нас. Ну вот я объясняю Вам...

Сердечный привет Тане, Мише и Комере, и всем сегодняшним Вашим гостям. Получили ли Вы записку, которую я просил отослать Вам по почте? Целую Вашу руку, а Всеволода нежно обнимаю.

Не прошу прощенья, потому что единственный, кто страдает и терпит лишение, это я сам.

Преданный вам Б. П.».

Когда разразилась война, Зинаида Николаевна с маленьким Леней и Стасиком (Адика по состоянию здоровья невозможно было забрать из санатория) уехала в эвакуацию с тем же эшелоном детей, с каким поехала и я со своими сыновьями Мишей и Комой. Сперва мы жили в Берсуде на Каме, потом в Чистополе.

Борис Леонидович и Всеволод остались в Москве. Оба

¹ Дементьев — тогдашний наш шофер; мы послали машину за Борисом Леонидовичем в Переделкино.

² Валентин Фердинандович Асмус и его жена Ирина Сергеевна — общие друзья, которые должны были в этот день быть у нас.

³ Подчеркнуто Пастернаком.

дежурили в Лаврушинском на крыше, гасили зажигалки.

Из письма Пастернака, отправленного им из Москвы, жене Зинаиде Николаевне, находившейся в Чистополе:

«24 июля 1941 года.

...кланяйся Тамаре Владимировне и скажи ей, что в естественных условиях и отдаленно нельзя себе представить, каким облегчением является в опасности близость или присутствие человека, которого любишь и знаешь при всех обстоятельствах. Я говорю о Всеволоде, который стоял в нескольких шагах от меня на крыше нашего дома в Лаврушинском переулке, а кругом была канонада и море пламени».

Борис Леонидович проходил обучение добровольца ополченца. Как вообще всегда и все, это тоже нашло отражение в его стихах: «А повадится в сад и на пункт ополченский...»

Он еще не старик.
И укор молодежи.
А его дробовик
Лет на двадцать моложе.

Пути наши разошлись: Борис Леонидович уехал в Чистополь, а Всеволода увезли с Информбюро в Куйбышев, куда он вызвал и меня с детьми. Из Куйбышева мы поехали в Ташкент.

Письма Бориса Леонидовича так красноречивы, что, казалось бы, не нуждаются в комментариях, однако кое-что пояснить придется.

Письма Б. Пастернака из Чистополя в Ташкент.

«12/III—1942 г.

Дорогие Тамара Владимировна и Всеволод! Удивительно, сколько времени лишаю я себя удовольствия написать Вам. Делал я это ради работы, и это стоило мне большой выдержки. Каждый раз, как тут являлось что-нибудь новое, мне всегда хотелось записать это для Вас, а попутно и для себя занести на память. От этого и отказывался.

Так, мне хотелось написать Вам о великолепии здешних холодов, которое все заметили. В ту войну я две зимы

прожил на Урале и в Вятской губ. Всегда кажется, в особенности когда грешишь искусством, что твои воспоминания прикрашены и разрослись за тридцатилетнюю давность. Нынешней зимой я убедился, что гиперболизм в отношении впечатлений того времени был уместен и даже недостаточен.

Потом, когда сложилась наша правленческая пятерка, мне хотелось рассказать Вам, и в особенности Всеволоду, о наших попытках заговорить по-другому, о новом духе большей гордости и независимости, пока еще зачаточных, которые нас пятерых объединили как по уговору.

Я думаю, если не все мы, то двое-трое из нас с безличьем и бессловесностью последних лет расстались безвозвратно. Все очень постарели и похудели, а здоровье Федина, по-прежнему моей старейшей привязанности, даже внушает опасенье, но нравственная новинка, о которой я говорю, праздником живет в нас.

Смело держится и интересно работает Асеев. К. А.¹ пишет дальше свою книгу о Горьком, причем что ни новая глава, то все лучше. Мы устраиваем по средам литературные собрания. Федин открыл их чтением своей книги, прошедшим с огромным успехом. На них с бесподобным блеском выступает Леонов... иногда позволяю себе говорить и я.

По словам Жени, всем хорошим, что она видела в Ташкенте, она обязана Вам. Прибавлять ли, как я Вам за это признателен.

Другим основаньем для благодарности — Адик, которому вы пишете. Весной мы с Зиной к нему съездим. Я в вечном страхе за него. Боюсь, его не спасти. По отзыву старшего врача, с которым я списывался, нога его в плохом состоянии, и возможность ее ампутации не устранена. Но это еще не худшее. Я думаю, туберкулез позвоночника, который у него открылся, лишь новая и следующая ступень общего его разрушения. Ничего этого он не должен знать...

Как ни скромно и немногочисленно сделанное мною незадолго до войны и в первые ее месяцы, ничего из этого не попадает в печать... Итак, я снова волей-неволей сведен к переводам. Наряду с оконченной «Ром. и Джул.» я должен буду приготовить избранного Юл. Словацкого. Когда я его окончу, я, может быть, повезу рукописи продавать в Москву. Мне хочется сделать это до навигации, потому что, не предпреляя этим конечного исхода войны и судьбы Москвы,

¹ Константин Александрович Федин.

я думаю, что вместе с пароходным сообщением осенние волны на Восток повторятся, и через месяц-полтора двигаться навстречу этому потоку будет невозможно. Разумеется, как бы ни сложилось мое пребывание в Москве, если я туда попаду (я также хочу постараться попасть на фронт), я потом вернусь к Зине и детям.

Что-то важное и интересное надо было сообщить Вам, но это-то именно я и упустил, но не могу вспомнить. От души желаю Вам всего лучшего.

Преданный и любящий Вас *Б. П.*

Кланяйтесь, пожалуйста, семьям Чуковских и Погодиных и, если известите меня о получении письма, сообщите, что и как Ахматова, а также приложите ее адрес.

Замечательную Вашу поздравительную телеграмму (равно как и Женину) получил, восхищен и благодарю. Вообще я наверное о многом забыл, не сочтите за невниманье. И весь Чистополь кланяется Вам. Вам обоим и детям».

«8/IV—42.

Чистополь.

Дорогие Всеволод и Тамара Владимировна!

Сегодня я окончил вторую заказную работу (перевод избранного Ю. Словацкого), и, хотя это черновик, требующий отделки, решил отдохнуть и весь день доставляю себе удовольствия. Я расчистил дорогу к сараю, заваленному снегом до крыши, сходил на почту, отправил Адику деньги, прозевал раздачу хлеба и остался на бобах (какое неподходящее выражение!). Кто бы не согласился испытать его фигуральность в грубейшей дословности? Пока я не взялся снова за работу, я хочу написать Вам и Жене.

Повода два. Мне хочется сообщить Вам одну радость и посоветоваться с Вами и Всеволодом насчет одного дела. Итак, сначала первое.

Леонов прочел нам новую замечательную пьесу, неподдельную и захватывающую почти на всем протяжении, кроме обычного и немного казенного конца. Действие в городке за несколько часов до занятия неприятелем и во время занятия, угловатые и крупные характеры, предательства, «метаморфозы», странные и отталкивающие загадки с непредвиденно высоким разрешением, мертвецы, бывшие люди, немецкое командование, все выпукло, близко, отрывисто и страшно, и какой-то не свой [...] конец, неправдоподобный

не по благополучью победоносного исхода, а по душевной незначительности, которой он обставлен, в особенности после такой густой и горькой вязи, как вначале.

Между прочим, после чтения из отчета Живова в «Лит. и Иск.» (кто-то принес с собой газету) мы узнали о Толстовском Грозном. Это немного отравило радость, доставленную Леоновым. Все повесили головы, в каком-то отношении лично задетые. Была надежда, что за суматохою передвижений он этого не успеет сделать. Слишком оголена символика одинаково звучащих и так резко противопоставленных Толстых и Иванов Курбских. [...]

И Шибанов нуждался в переделке! Но это у Вас все рядом. Вы наверное другого мнения, и Всеволод мне напишет, что я ошибаюсь. Я не нахожу это поразительным [...] и не перестаю поражаться. [...] Но простите, это — пустословье, я заговорился.

Теперь другое. Вот о чем я хотел посоветоваться. Здесь становится голодно. Время передвижений, произойдут перемены и перемещения. Может быть, следует подумать и что-то предпринять. Зина стала подумывать о переезде нас всех к Вам в Ташкент. Эта мысль укореняется в ней все глубже, я же пока ее и не обсуждал, таким она мне кажется неисполнимым безумьем. Прежде всего меня пугает переезд. Ничего ни в Москве, ни в Можайском направлении так не боялся, как железнодорожной сыпно-тифозной вши. Во мне утвердилось представление, что это нас не минует. Потом мне кажется, что каким-то ходом личных настроений и событий мы на лето будем так же разлучены с Вами, женами и семьями, как прошлый год, и при этом условии мне хотелось бы Зину и детей оставить в знакомом и изученном месте, благодаря множеству положенных усилий приобретаем характер лагеря или стана. Даже заикаться об измене Чистополю значит колебать выдержку других колонистов и расшатывать прочность самой колонии. Я знаю, что отъезд двоих или троих из нас с семьями на Восток потянул бы за собой остальных, а разъезд нас, верхов и головки, сделал бы гадательным существование интерната и детдома, и все развалилось бы. Итак, нужно ли и мыслимо ли перевозить оба дома Литфонда в Ташкент, для того, чтобы я и Зина позволили себе это в отношении Стасика и Лени? Здесь довод личный и общий совпадают и делают этот вопрос в моих глазах праздным и неосуществимым. И хотя это так, все же, если у Вас будет время, напишите мне свои соображения на этот счет. [...]

Простите, что заканчиваю неряшливо и второпях. Если будете писать о Ташкенте, будьте трезвы и объективны,— простите за самонадеянность, но я верю, что с разной силой, но одинаково искренно Женя, Вы и Погодины были бы нам рады в Ташкенте, но дело не в этом.

От души всего лучшего Вам со Всеволодом, детям, Марии Егоровне и всем знакомым. Ваш *Б. П.*».

В письме Бориса Леонидовича есть фраза: «...у Вас это все рядом... и Всеволод мне напишет, что я ошибаюсь».

«Рядом» — в том смысле, что мы жили в Ташкенте, где в этот момент находился и Толстой.

В первом, да и во втором письме Борис Леонидович пишет о своей принадлежности к «правленческой пятерке» и «головке».

В чистопольской писательской колонии были свои выборные органы, в которые вместе с К. Фединым, Л. Леоновым, К. Трениным, Н. Асеевым входил и Пастернак.

В октябре 1942 года мы со Всеволодом вернулись в Москву и встретили там Бориса Леонидовича, приехавшего из Чистополя.

Борис Леонидович был очень бодр, настроен неслышанно патриотически, рвался ехать на фронт.

Привожу запись из дневника Всеволода того периода:

«30/X—1942 г.

[...] Пришли Пастернак, Ливанов и Бажан. Какие все разные! Пастернак хвалил Чистополь [...] Как всегда, передать образность его суждений невозможно,— он говорил и о замкнутости беллетристики, и о том, что государство — война — человек — слагаемые, страшные по-разному. Ливанов — о Западе, о кино, о том, что человек Запада противопоставляет себя миру, а мы, наоборот, растворяемся в мире. [...] Тамара всех учила, а я молчал. Затем Пастернак заторопился, боясь опоздать на трамвай,— было уже одиннадцать,— и ушел, от торопливости ни с кем не простившись. Бажан сказал:

— Я давно мечтал увидеться с Пастернаком, а сейчас он разочаровал меня. То, что он говорил о литературе,— правда. Редактора стали еще глупее, недоедают, что ли. Но

разве сейчас думать только о литературе? Ведь неизбежно, после войны все будет по-другому.

[...] Дело в том, что Пастернака мучают вопросы не только литературы, но и искусства вообще. Как иначе? Слесарь и во время войны должен думать о слесарной работе, а писатель тем более. [...]».

В постскриптуме к этой записи Всеволода не могу не отметить своей честности — привожу, ничего не опуская. Так и оставила обидное для меня: «Тамара всех учила». Могу даже еще прибавить: Всеволод говорил обо мне, что я «помесь гимназистки с Собакевичем». Либо восторгаюсь, либо напропалую осуждаю.

Летом 1943 года Всеволод и Борис Леонидович ездили вместе на фронт (Орловско-Курская дуга).

Вернувшись, Всеволод рассказывал, что Борис Леонидович очаровал в армии всех, начиная от солдат и до генералов. Очаровал своей храбростью, простотой и увлекательными речами.

В черновиках «Истории моих книг» есть у Всеволода такая запись:

«Считается, что Борис Пастернак пишет стихи очень сложно, а речи говорит того сложней. По приезде в армию генерала Горбатова командование пригласило писателей вечером, как говорится в таких случаях, «на скромный ужин».

Ужин действительно был очень скромный: картошка, немного ветчины, по стакану водки и, конечно, чай.

Начались речи. Говорили писатели, признаться, довольно скучно, так что было за них слегка стыдно. Но вот вскочил Пастернак.

Разумеется, многие из нас испытали смущение и недоумение. Генералы у нас, конечно, ученые, читали много, но все-таки и им понять его будет трудно.

Пастернак быстро поворачивался к собеседникам, широко раскрыв глаза, водил руками, губы его дрожали. Он говорил ярко, патриотично, возвышенно и — с юмором. И казалось, что и в стихах его, — как и в его речи, — нет никакой сложности, все легко, оптимистично, поэтично, убедительно.

Офицеры и генералы, бледные, растроганные, слушали его в глубоком молчании. Они поняли Пастернака, быть может, лучше, чем всех нас. Талант, по-видимому, всегда понятен».

Всеволод говорил:

«Вот упрекают Бориса, что он пишет непонятно для масс. Разговаривал он в армии со всей своей обычной манерой, с присущей ему образностью, а все отлично его понимали».

Как я уже писала, у нас с Пастернаками все было общее — и радость, и горе.

Так вместе мы оплакали и похоронили Адика.

Зинаида Николаевна перевезла его в Москву, но он был в таком тяжелом состоянии, что оставить его дома было невозможно.

Его поместили в детский туберкулезный санаторий, что находится в Сокольниках.

Там Адик и скончался. После Зинаида Николаевна захоронила прах Адика в своем саду — в Переделкине.

В 1948 году начался наш послевоенный переделкинский период.

Я приведу некоторые записки Бориса Леонидовича (а сохранилось их много).

«23/VII—1949 г.

Дорогие Всеволод и Тамара Владимировна!

Придется отложить нашу встречу: я хотел прийти с Зиной, а у нас все разъехались и не на кого оставить Леню. Но мы дорожим Вашим приглашением, и им, если позволите, воспользуемся в другой раз, о чем на днях сговоримся.

Сердечный привет Вам обоим и всей Вашей семье.
Ваш *Б. П.*».

В этот новый послевоенный переделкинский период — новое обживание дач, участков. И все сообща с Пастернаками.

«Дорогая Тамара Владимировна!

В любом случае — огромное спасибо. Если Вам не удастся достать все 50¹, то, может быть, и к лучшему, я не рассчитал, что, м. б., под глазком надо разуместь весь корень, а не один из отростков, а 50 корней, м. б., слишком много. Как бы то ни было, простите за доставленные затруднения и без конца благодарю Вас.

¹ Речь идет о посадке пионов.

Еще просьба: если можете, потерпите за мною долг до середины будущей недели, до среды — до четверга.

Всеволоду и всем сердечный привет.

Если имеются какие-нибудь наставления относительно посадки, скажите Марии Александровне или М. Эд.¹, смотря кто передаст записку. Ваш *Б. П.*

P. S. Дайте мне также возможность участвовать в расходах по груз(овой) машине».

Борис Леонидович очень любил земляные работы. Он вообще уважал физический труд и для самого себя всегда считал его обязательным.

На его дачном участке было знаменитое картофельное поле, которое он регулярно сам обрабатывал.

Ритм его жизни был примерно таков: утром работа умственная, творческая. Перед обедом работа на картофельном поле. Потом душ (в саду под открытым небом в специально сделанной для этого фанерной загородке). Обед. И опять работа кабинетная. Перед поздним ужином непременно прогулка.

Работал в огороде Борис Леонидович обнаженным до пояса. На голове — детская полотняная панамка грешником.

И, как все другое, это тоже воплощено в стихи:

Я за работой земляной
С себя рубашку скину,
И в спину мне ударит зной,
И обожжет, как глину.

В одежде Борис Леонидович был крайне неприхотлив. Но как бы ни был он одет — выглядел подтянутым и даже элегантным.

Со старой одеждой он никак не хотел расставаться, и Зинаиде Николаевне приходилось обманно ее выбрасывать.

Однако Борис Леонидович очень обрадовался подарку своего пасынка Станислава Нейгауза, привезшего ему из Парижа светло-серую курточку, которую Борис Леонидович носил долго и с видимым удовольствием.

Привожу одну из немногих записок Всеволода. Обычно ответ на записки Бориса Леонидовича был моим и устным — ведь жили-то мы рядом.

Но записки Всеволода и Бориса Леонидовича были отчасти как бы и игрой.

¹ Сторожиха и домработница.

«Дорогие Зинаида Николаевна,
Борис!

Жизнь проходит, живем рядом, а встречаемся редко.
Эта великая истина осенила меня недавно.

Поэтому мое семейство решило устроить встречу — обед
в четверг 16-го в 4 часа дня.

И мы умоляем пожаловать...»

Конец записки (хранится в архиве Пастернака) оборван.
Думаю, что она относится к лету 1952 года.

Еще в довоенный период Борис Леонидович читал нам
главы из своего романа «Девятьсот пятый год», которые
частично теперь опубликованы в журнале «Новый мир».

Роман читали мы, так сказать, «свежими выпусками».
Едва бывала отпечатана на машинке очередная часть романа,
Борис Леонидович давал ее нам на прочтение.

«14/IX—1952 г.

Дорогая Тамара Владимировна!

Хотя Вы вызвались прочесть это продолжение, но мне
это еще нужнее, чем Вам. Предшествующих частей у меня
нет здесь с собой, но это не так существенно. Я помню Ваш
строгий разбор Гроссмана, которого я еще не читал и которого
так хвалят. Воображаю, что Вы скажете в душе об этих стра-
ницах, и как жаль, что я этого не узнаю. Никому в доме
читать не давайте, кроме, может быть, Марии Потаповны,
ввиду ее вероятной снисходительности. Всеволода целую,
всем Вашим сердечный привет. Ваш *Б. Пастернак*.

Рукопись отдаю Вам на очень короткий срок, на неделю,
до следующего воскресенья. *Б. П.*».

Борис Леонидович относился с большим уважением к
моей восьмидесятилетней матери Марии Потаповне. Это
была прелестная старушка, подлинная интеллигентка (хотя
и не получившая никакого образования, кроме «домашнего»).
Борис Леонидович любил беседовать с ней и дорожил ее
мнением о своих стихах и прозе. Вообще для Бориса Леони-
довича было характерно необычайно внимательное отноше-
ние к людям, невзирая на их общественное положение. Он
мог зайти к нам, даже в наше отсутствие, специально для
того, чтобы побеседовать с моей мамой или нашей няней
Марией Егоровной, которую тоже очень уважал.

Борису Леонидовичу нравилась «патриархальность» нашей семьи, где дружно жили вместе четыре поколения: от прабабушки до правнука. Нравилось ему, что основой нашей жизни, как он выражался, была «духовность, а не материальность». Хотя материальность в смысле бытового уклада он тоже ценил. И прежде всего в своей жене. Ценил ее хозяйственность. Ценил, что она не брезгает никакой физической работой: моет окна, пол, обрабатывает огород.

Я привожу записки Бориса Леонидовича, потому что каждая из них хоть чем-то передает своеобразие его манеры выражать свою мысль, размещаю записки, не всегда соблюдая хронологию.

«19 окт. 1952 г.

Дорогие Тамара Владимировна и Всеволод!

Порадуйте нас, пожалуйста, оба своим присутствием у нас в пятницу, 24-го, вечером и удостоверьте нас как-нибудь в том, что надежда наша увидеть Вас может стать уверенностью».

Всеволод всегда очень радовался, если Борис Леонидович забегал к нам «по пути», «на огонек», и прочитает только что написанное стихотворение.

Я уже писала выше, что Борис Леонидович очень большое внимание, с самого детства, уделял нашему сыну Кома.

Привожу не датированную записку Всеволода:

«Борис!

Кома окончил Университет. И даже получил диплом.

По сему достопримечательному случаю сегодня у нас семейное торжество: испекли пирожки и приготовили по бокалу вина.

Просим униженно быть у нас в 9 часов вечера.

Дорогой Борис!

Дорогая Зинаида Николаевна!

Забудьте о заботах.

Приходите.

Не оставьте нас, грешных.

Целую.

Отец и сочинитель.

Вс.».

После 49 года мы жили в Переделкине безвыездно лето и зиму. Пастернаки же какие-то годы зимовали в Москве.

«17/IX—1953 г.

Дорогие Тамара Владимировна и Всеволод!

Осчастливьте нас, пожалуйста, своим присутствием в будущую субботу, 24-го окт., в девять часов или начале десятого. Без Вас основы нашего существования будут поколебимы, и Вы наверное не захотите губить его.

Мы приглашаем из Переделкина, кроме Вас, Константина Александровича¹. Вероятно, транспорт не вопрос теперь ни для Вас, ни для него, а то сговоритесь.

Ваш всем сердцем.

Б. П.

Позволяю себе надеяться, что мечта наша увидится с Вами в этот вечер сбудется. Утвердите нас, однако, в этой надежде каким-нибудь способом на Вашей городской штаб-квартире, куда на днях позвоним за ответом».

«17 февраля 1953 г.

Дорогая Тамара Владимировна!

Поздравляю Вас, Всеволода и всех Ваших с днем Вашего рождения. Желаем Вам долго жить и всегда оставаться такою же милой, умной, обаятельной, прекрасной, талантливой, молодой и здоровой.

Мы непременно воспользуемся Вашим приглашением и не упустим случая побывать сегодня вечером у Вас. Я только не знаю часа, когда это точно случится, в зависимости от Зины, которая приедет к вечеру и планов которой я не знаю. Либо это будет в десятом часу, либо около одиннадцати.

Еще и еще раз выражаю Вам нашу преданность и восхищение.

Ваш *Пастернак*».

У Бориса Леопидовича вошло в обыкновение посылать мне в день моего рождения корзину белой сирени.

В цветочных магазинах существовала тогда привычка прибавлять к сирени еще какие-то зеленые отростки.

В одной из последних корзин, присланных мне Борисом

¹ Федина.

Леонидовичем, кроме сирени и всего прочего был еще буквально огрызок веерной пальмы.

Пересаженная в грунт сирень если и приживалась, то ненадолго. А вот этот огрызок пальмы, пересаженный Всеволодом в горшок, жив и по сей день.

Вдвойне мемориальная эта пальма, посаженная уже в деревянную кадку, стоит на полу переделкинской нашей столовой, упираясь ветвями в потолок.

«29 авг. 1953 г.

Дорогие мои!

Мне нездоровится. Увидимся с Б. Л.¹ в Москве. Тут еще отъезд, разъезд, трудно. Простите. Привет Б. П.».

Начиная с 54-года Пастернаки тоже прочно обосновались в Переделкине.

Привожу одну из дневниковых записей Всеволода, относящуюся к лету 54 года:

«10/VI. Гроза. Дожди не подряд, а с перерывами. В промежутки грохочет гром, сверкают молнии, — и вся эта дачная местность, с ее домиками, заборами из штакетника, грядками огородными, кустами смородины, зараженными огневкой, раздвигается до пределов необычайных, почти звездных...

П а с т е р н а к (встретил его среди сосен, у дороги, где я лежал в траве, он ходил подписываться по телефону на заем) — я расскажу тебе почти анекдот. Меня попросили для Бюллетеня ВОКСа написать, как я работал над «Фаустом». Я сказал, что работал давно, многое забыл, мне не написать ничего и вообще святые истоки я боюсь и трогать. Пусть лучше напишет тот, кто знает перевод, а я, если понадобится, напишу несколько слов послесловия, от переводчика. Ну, написал Вильмонт, очень хорошо, а я приписал следующие мысли: «Фауст — это владение временем, попытка превратить короткий отрезок времени во что-то длительное, более или менее устойчивое». Я написал это, читаю по телефону сотруднице и спрашиваю: «Понятно?» — «Да, понятно, но ведь у нас переводчики, вот они, не знаю, поймут ли». — «А на каких языках выходит Бюллетень?» — «На англий-

¹ Борисом Ливановым, который был в момент написания Борисом Леонидовичем записки у нас в Переделкине.

ском». — «Знаете что? Давайте я напишу вам то же самое по-английски. Я не владею им так же свободно, как русским, но все же...» — «Хорошо». — Написал. Спрашиваю: «Понятно?» Отвечает: «Да, очень, гораздо лучше, чем по-русски, мы посылаем в набор!..»

В октябре 1954 года я лечилась в Карловых Варах, а Всеволод находился в это время в Болгарии.

«7/XI—1954 г.

Дорогая Тамара Владимировна!

С приездом! Надо бы собраться. В понедельник 8-го мы рады будем с Вами отобедать и ждем Вас к себе к 2-м часам дня. Я не знаю, приедет ли к тому времени Всеволод, чтобы удвоить наше счастье.

Пада́м до ног.

Ваш *Б. Пастернак*».

Без даты. (Конец ноября 1954 г.)

«Дорогой Всеволод, с приездом тебя! Дорогая Тамара Владимировна, всю неделю с того вечера гости, встречи и развлечения. Кроме того, завтра, в субботу, рано утром в восьмом часу мне в Москву, я хотел передохнуть. Мы тоже горим нетерпением повидаться, об этом надо будет уговориться в начале следующей недели, во вторник или в среду. Любящий Вас обоих

Борис П.».

Думаю, что приводимая ниже записка относится к 49 году.

Без даты.

«Дорогая Тамара Владимировна! Сердечный привет! Я очень помню замечательный вечер, который я тогда провел у Вас (то, что пишет Кома¹, т. е. больше: *весь Кома* был тогда для меня радостнейшим открытием).

Я хотел повторить удовольствие встречи все равно с какой стороны, но дела у меня складываются хуже, чем я думал, усиливая мою озабоченность и торопливость, и кроме того (но это то же самое), у меня не случилось ничего чрезвычайного, чем бы я заслужил это удовольствие.

¹ Кома тогда писал стихи.

Если рукопись моей прозы свободна, то передайте ее, пожалуйста, Зине. Если Вам или Кюме, или кому-нибудь из Ваших хочется кому-нибудь ее показать, держите сколько хотите. Кажется, Всеволода нет в Переделкине, а если он тут, крепко целую его и всем Вашим всего лучшего.

Ваш *Б. П.*».

Поначалу устраивались обсуждения новой прозы и даже споры. Всеволод упрекнул как-то Бориса Леонидовича, что, после своих, безупречных стилистически произведений: «Детство Люверс», «Охранная грамота» и других, он позволяет себе теперь небрежение стилем. На это Борис Леонидович возразил, что он «нарочно пишет почти как Чарская», его интересуют в данном случае не стилистические поиски, а «доходчивость», он хочет, чтобы его проза читалась «вздохом любым человеком», «даже портнихой, даже судомойкой».

Тут, конечно, не без явного противоречия с действительностью. Стилистика — стилистикой, но как быть со сложным философским содержанием? Доступно ли оно «любому» читателю?

Для Всеволода же вопросы мастерства стояли тогда, как и всегда, на первом месте. Он непрерывно стремился к открытию тайны того, «Как образ входит в образ. И как предмет сечет предмет» (говоря словами Пастернака).

Но Борис Леонидович в тот момент упорно провозглашал, пусть и не достигая желаемого, простоту во имя простоты. Если в 31 году он написал:

В родстве со всем, что есть, уверясь
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслышанную простоту.
Но мы пощажены не будем,
Когда ее не утаим.
Она всего нужнее людям,
Но сложное понятней им.

Пастернак подразумевал тогда под простотой неповторимость видения, свойственную только данному художнику, с только ему одному присущей образностью, а под сложностью — банальность общих мест.

Теперь же (в конце пятидесятых годов) он всерьез развивал перед нами теорию о необходимости переиздания

всех своих ранних стихов с построчным их прозаическим разъяснением.

Слева — стихотворение, справа — прозаическое его пере-
ложение.

В 55 году (24 февраля) отмечался 60-летний юбилей Всеволода.

Борис Леонидович не пришел на заседание и банкет в ЦДЛ, но прислал туда телеграмму:

«В великий пост провозглашаю
великий тост за дорогого юбиляра и его Тамару чествуем
славим шлем привет добрым здоровьем щеголяй сто лет до
чрезвычайности тужим что не можем прийти на банкет
Зинаида Николаевна с мужем и детьми возражающих нет.
Борис Пастернак».

Как и писала уже, Борис Леонидович очень любил чтения
и обсуждения только что написанных произведений.

Без даты.

«Дорогие Тамара Владимировна и Всеволод! Это очень
соблазнительно (чтение)¹ и выше моих сил отказываться.
но я совсем не спал прошлую ночь и завтра собираюсь очень
рано утром в город. Кроме того, плохо себя чувствует Зина.
Считайте, что нас не будет. Если же я все же не выдержу
и появлюсь у Вас, то это нарушение слова произойдет не
позднее 8-ми часов. Сердечный привет. Спасибо.

Ваши Пастернаки».

Давнишняя мечта Всеволода — самая разнообразная
литература. Обилие творческих индивидуальностей, не похо-
жих одна на другую.

Летом 56 года вновь заговорили об издательстве «Това-
рищество» (которое в созданном проекте носило название
«Современник») и даже прочили Всеволода в председатели
правления.

Всеволод говорил Борису Леонидовичу, что берется
отредактировать его прозаические произведения для публи-
кации. И Борис Леонидович охотно на это соглашался.
говорил: «Даю тебе, Всеволод, карт-бланш».

¹ Отрывок из романа «Мы идем в Индию».

Тут, конечно, сам собой напрашивается вопрос, почему Всеволоду казалось, что, не умея бороться за необычность собственных романов при подготовке их к печати, он преуспеет в этом смысле в отношении прозы своего друга? Очевидно, по пословице: «К своей беде ума не приложу, а чужую руками разведу». И надо сказать, что я тоже безоговорочно верила в редакторские способности Всеволода.

Вскоре Борис Леонидович пригласил нас на обед. (Там играли Юдина и Рихтер и Анна Ахматова читала свои стихи.)

«19/IX—1956 г.

Дорогие Тамара Владимировна и Всеволод!

Мы хотим попробовать собраться в воскресенье 23-го в 3 часа дня, за обедом, и просим и ждем Вас обоих.

Кроме того, *приписка от себя самого в 1-м лице*. Я также приглашу Константина Александровича с тем же легким сердцем и без задней мысли [...]

Итак, до скорой встречи.

Ваш Б. Пастернак».

Еще в кухне (зимний вход в дом был через кухню) мы увидели обнимающихся Федина и Пастернака.

Пастернак был очень оживлен, находился в явно приподнятом настроении.

«26 сент. 1956 г.

[...]

Тамара Владимировна, не оставляйте усилий, вызволите откуда-нибудь рукопись Всеволода¹. Я очень хочу прочесть его роман. Как только Вы его получите, пришлите его мне.

Я перекинулся двумя-тремя словами с Комой по делу, и когда разговаривал с ним, еще не знал, что он написал несколько очень хороших стихотворений в Коктебеле, о чем я узнал после от Жени².

В следующий раз, когда мы увидимся, напомните мне, чтобы я Вам сказал о моих наблюдениях над нашим воскресным обществом, и Вы услышите кое-что, что Вам и Всеволоду, может быть, будет приятно. Поцелуйте его!

Любящий вас обоих Б. П.».

¹ «Мы идем в Индию».

² Старший сын Пастернака.

В октябре 1956 года мы поехали со Всеволодом в Чехословакию. Перед нашим отъездом Борис Леонидович был у нас и прочитал стихотворение «Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь».

Я запомнила с его голоса это стихотворение и в Доме творчества чешских писателей прочитала его. Незвал записал уже с моего голоса, так и перевел.

А когда мы вернулись, выяснилось, что Борис Леонидович одну из строф переделал. Я попросила его написать об этом Незвалу, что он и сделал, но тот ответил, что ему больше нравится как было раньше, и попросил разрешения не менять перевода, на что Пастернак согласился.

Первоначально было:

Как плавает в тумане местность
И в ней не различить ни зги,
Таинственная неизвестность
Пускай хранит твои шаги.

Конечный же вариант:

И окунаться в неизвестность
И прятать в ней свои шаги.
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.

Поначалу 1957 год не принес никаких особых изменений.

«9/VIII—1957 г.

Дорогие Тамара Владимировна и Всеволод, не откажите прийти к нам обедать в воскресенье 11-го, в два часа дня. Если Кома еще не уехал, приведите также, пожалуйста, и его и Таню.

Очень, очень будем надеяться, что придете. Низкий Вам поклон.

Ваш Б. П.».

«21/IX—1957 г.

Дорогая Тамара Владимировна, с благодарностью возвращаю Вам журнал с воспоминаниями Всеволода¹, о которых много говорили Вам, Кома и между собою.

К сожалению, придется отказаться от предложения по-

¹ «История моих книг» была опубликована в «Нашем современнике», 1957, № 3.

видаться сегодня, в субботу, т. к. Зина вернулась из города утомленной и я как-то пуст и неопределен, хотя пока ничего страшного не случилось, или я этого, по глупости, не замечаю. Кроме того, я буду занят.

Если Вы пробежали [журнал] и он Вам не нужен, будьте добры, передайте его Татьяне Матв.¹.

Обнимаю Всеволода и целую Вашу руку.

Ваш *Б. П.*».

В конце 57 года Борис Леонидович болел, его положили в больницу.

Привожу записку Зинаиды Николаевны:

«Дорогая Тамара Владимировна!

Была я у Бори. Сегодня у него хорошее настроение. Его кровать уже с тумбочкой, со звонком, и он просил никуда его не переводить. Соседи очень милые, ведут себя тихо.

Я до визита к нему была у главврача и просила разрешения на визит. Кстати, говорила и просила его об отдельной палате. Он сказал, что на этой неделе это безнадежно. Придя к Боре и услышав от него утешительные сведения, я решила его оставить и больше не хлопотать. Он благодарит Вас и Всеволода за письмо и просит Вас не хлопотать и просил дать знать К. Ив.², чтобы не предпринимал никаких шагов. Боли у него меньше [...].

Ну вот и все. Я очень довольна его видом и успокоилась.

С приветом *З. Н. Пастернак*».

Весь 58-год мы часто, еще чаще, чем раньше, встречались с Пастернаками.

Борис Леонидович был чрезвычайно радушным хозяином. Любил созвать друзей и на славу их угостить.

При спартанской скромности обстановки, и в квартире на Лаврушинском, и на переделкинской даче (единственное украшение и там и тут — развешанные по стенам окантованные рисунки Леонида Осиповича Пастернака), Борис Леонидович обращал большое внимание на сервировку стола и собственноручно покупал, даря Зинаиде Николаевне, хрусталь и фарфор.

В сервировке лиловой
Семга, сельди, сыры.

¹ Татьяна Матвеевна — домработница Пастернаков.

² Корней Иванович Чуковский.

И хрустенье салфеток,
И приправ острота,
И вино всех расцветок,
И все водок сорта.

Застольные тосты Бориса Леонидовича — настоящие произведения искусства:

Для него это было так:

Со мною сходятся друзья,
И наши вечера — прощанья,
Пирушки наши — завещанья,
Чтоб тайная струя страданья
Согрела холод бытия.

Зинаида Николаевна очень гордилась своим кулинарным умельством и хлебосольством.

Тут шли в ход все припасы, опять же увековеченные в стихах:

Корыта и ушаты, нескладница с утра.

Или:

В доме хохот и стекла звенят,
В нем шинкуют, и квасят, и перчат,
И гвоздики кладут в маринад.

«27/1—58 г.

Дорогая Тамара Владимировна!

Рад узнать, что Вы оправляетесь, очень больно затруднять Вас. Если Вы еще не звонили Вахрушеву¹, было бы хорошо узнать, что ему нужно от меня, а ему сказать (как это и есть на самом деле), что я буду долго недостижим и недоступен, потому что эти ишиатически-менисцитные истории с ногой у меня всегда очень затяжные. Но мне очень хотелось знать, не произошло ли у них опять чего-нибудь непредвиденного и неприятного.

Сейчас пока сл(ава) богу это не так, как было полгода назад, без обмороков; попробую вылежаться на даче. Но ходить невозможно, так больно, и, наверное, надо заpastись терпеньем.

Не могу достаточно красноречиво выразить, как я Вам признателен за эту косвенную помощь и как мне стыдно,

¹ Работник СП.

неприятно, что это некоторую тяжестью ложится на Вас. Целую Всеволода.

Ваш *Б. П.*».

К дню своего рождения, в 1958 году, Борис Леонидович опять попал в больницу.

Привожу письмо Всеволода:

«Дорогой Борис!

Поздравляю тебя с Днем рождения. Ужасно жаль, что поздравляю не за столом и не на даче, а в смутном больничном лесу. Нам скучно без твоего голоса, шуток, без твоей веры в человека, которой всегда пышешь ты, как жарко истопленная печь. Желаю тебе быстрейшего выздоровления, а также, чтоб ты, обдумавши новый роман, вернулся и с первого дня возвращения сел писать его: в конце концов самое вернейшее и длительнейшее наслаждение, которое когда-либо имел человек, — это писать!

Целую тебя!

Всеволод.

10 февраля 1958 г.

Переделкино.

Дорогой Борис Леонидович!

Поздравляю. Обнимаю. Целую.

Т. И.».

В феврале 1958 года, на рождение у Федина, праздновавшемся на Лаврушинском при большом стечении приглашенных, Борис Леонидович так и сыпал экспромтами. Привожу некоторые из них, которые я записала тогда на бумажных салфеточках.

Экспромты, записанные за ужином у К. Федина в день его рождения 24 февраля 1958 года.

О прелесть Анна и Никанна¹,
Вы даже в рифму крещены,
Позвольте Вам пропеть Осанну
И с нашей также стороны.

Я не свинья, не поросенок,
И не согласен ими быть —

¹ Погодина.

Но как во сне, так и спросонок
Готов за Всеволода пить.

За исключением Тамары
Зимой и летом, — видит бог, —
Одно подобие кошмара
Писательский наш городок.

Как кораблям даны кормила
И ими движут паруса,
Так сила главная Людмилы¹
Ее высокая краса.
Через моря, через туманы
Она врзается в судьбу
И героинею романа
Плывет к причальному столбу.

Я за Надежду Алексевну²
Такой вам предлагаю тост.
Провозгласить ее царевной
И превознести ее до звезд.

Лето 58 года прожили как обычно.

«Дорогой Всеволод Вячеславович!

Мы только что приехали из лесу, где собирали грибы, страшно устали. Кроме того, у нас гости — Нейгаузы, мы их не можем оставить. Чиковани у Тихоновых. Мы их еще не видели. Боря Вам не пишет ответ, так как сидит в душе и купается. Крепко целуем и благодарим за приглашение. Не ждите нас. Возможно, что вечером будут Чиковани, так что приходите к нам, я вас угощу грибами в сметане. Мы нашли 25 белых. Привет от всех.

З. Пастернак».

Набиты кузовки,
Наполнены корзины.
Одни боровики
У доброй половины.
Уходим. За спиной —
Стеною лес недвижный,
Где день в красе земной
Сгорел скоропостижно.

¹ Людмила Ильинична Толстая.

² Пешкову.

«Ноябрь 1958 г.

Дорогие Всеволод и Тамара Владимировна!

Кома знает, как и чем я занят и как разрисована у меня морда чем-то нехорошим. Но на бумаге могу позволить себе крепко расцеловать Всеволода, а Вам, Тамара Владимировна, поцеловать руку от всего сердца без страха заразить Вас. Любящие Вас *Зин. Ник. и Б. П.* Спасибо за все».

«24/XI—58 г.

Дорогая Тамара Владимировна, благодарю за вырезки и возвращаю. Не знаю, как выразить степень растроганности Вашей добротой и заботой. Мне кажется, у себя дома я не доставляю никому столько забот, как в последнее время Вам. Но отказаться от этой доли любопытства не могу. Спасибо, спасибо. Поклон Всеволоду и всем.

Ваш *Б. П.*».

Борис Леонидович пишет о «доле любопытства», но обширнейшая почта — неисчислимое количество писем своих почитателей — очень его радовала. Он, безусловно, придавал им значение.

Ему писали все и отовсюду:

Горы, страны, границы, озера,
Перешейки и материки.
Обсужденья, отчеты, обзоры,
Дети, юноши и старики.

«15/VIII—1959 г.

Дорогие Тамара Владимировна и Всеволод!

Поздравляю Вас с днем рождения Комы и благодарим за приглашение. Мы им не сможем воспользоваться. Наши тоже ездили по грибы, вернулись поздно, обремененные собранным и усталые, а я чувствую себя неважно. Сердечный привет.

Ваш *Б. П.*».

На этом дне рождения Комы Борис Леонидович не побывал, но на предыдущих бывал не раз.

Сын Миша заснял домашним киноаппаратом одно из таких празднеств, когда Борис Леонидович много и охотно читал свои стихи.

Кино — немое. Но у Пастернака такая отчетливая артикуляция, что по движению губ можно установить, что именно он читает.

«16 сент. 1959 г.

Большое спасибо, дорогая Тамара Владимировна, за заботливость, — вырезку можно вернуть Комер. Очень красивое описание древней площади в Понтремонд. [...] Обнимаю Всеволода и целую Вашу руку. В конце недели я, наверное, дам о себе знать. Всем сердечный привет.

Ваш *Б. П.*».

Борис Леонидович и Зинаида Николаевна встречали у нас 1960 год, а в самом 1960-м сперва отпраздновали вместе, в тесном семейном кругу, семидесятилетие Бориса Леонидовича, потом, в феврале, наш 125-летний юбилей: Всеволоду — 65, мне — 60 лет.

Всеволод задумал к этому нашему торжеству специальный пригласительный билет, который предполагалось отпечатать типографски. Однако выяснилось, что это очень хлопотно. Поэтому ограничились машинописью, но каждый «билет» был украшен рисунком.

По мысли Всеволода, карикатурную гравюру на нас обоих должен был создать наш зять Давид Дубинский. Но Давид изобразил лишь Всеволода. «На тещу (т. е. на меня), — как он говорил, — рука не поднимается». Меня изобразил наш друг Михаил Лянглебен, но, видно, и у него «рука не поднялась». Мое изображение вовсе не карикатурно. Оттиск гравюры имелся на каждом приглашении.

Сам оттиск находится сейчас, вместе с другими памятными вещами Вс. Иванова, в Рукописном отделе Библиотеки им. Ленина.

В архиве Пастернака сохранился пригласительный билет с таким текстом:

«Уважаемые Зинаида Николаевна, Борис Леонидович, Леонид Борисович! Тамара Владимировна и Всеволод Вячеславович Ивановы имеют честь просить Вас на ужин по случаю своего 125-летия, имеющий быть 17 февраля сего года в 8 часов вечера по адресу: Переделкино, ул. Павленко.

Форма одежды и настроение — необыкновенные».

В апреле Борис Ленидович заболел.

«27/VI—1960 г.

Дорогая Тамара Владимировна!

[.]

Я заболел сердцем, и, верно, надолго.

Целую Вас и Всеволода. Дела мои, по моему разумению, чрезвычайно неважны. Пишу лежа, отсюда такой почерк и все прочее.

Ваш *Б. П.*».

Приписка на обороте конверта:

«Просьба, чтобы Кома зашел ко мне в субб. или в воскрес. в 1-ю полов. дня от 12 до 2-х».

Апрель месяц был трагическим для нашей семьи. В первых числах мая скончался наш зять Давид Александрович Дубинский.

«3/V—1960 г.

Дорогие Всеволод и Тамара Владимировна, что наши напасти и тревоги перед Вашим великим горем!!! Потрясены, болеем душой, плачем вместе с Вами всеми.

Б. Пастернак».

«Дорогая и бедная, бедная Тамара Владимировна!

Бесконечно думаем о Вас и Тане. Сколько Вам приходится переживать! Машина ушла в 8 1/2 в город, так как Лене и Н. А.¹ нужно было пораньше. Приедет шофер приблизительно к 4 часам. Если это Вас устраивает, то я его пришлю к Вам.

Б. Л. несколько успокоился после электрокардиограммы — она оказалась очень спокойной. Боли в лопатке сильные, но говорят, что это нервное — спондилез. Еще раз благодарю Всеволода Вячеславовича, что он так быстро все устроил.

Крепко целую, сочувствую и еще раз спасибо за все.

Ваша *З. Н.*».

В тот день, когда у Пастернака произошел инфаркт, но

¹ Нина Александровна Табидзе.

диагноз поставлен еще не был, я долго сидела возле Бориса Леонидовича (он все не отпускал меня), и он категорически попросил, как я уже писала в начале этих воспоминаний, не устраивать его на этот раз в больницу.

При известии об инфаркте Бориса Леонидовича (это был уже второй инфаркт) мы бросились со всех ног организовывать лечение на дому. Срочно требовалась кислородная палатка.

Известие о смерти Бориса Леонидовича застало нас в Ялте, куда мы отправились с Комой и его женой Татьяной Эдуардовной, чтобы «отдышаться» после семейной трагедии. Овдовевшая дочь Таня уехала со своим сыном Антоном в Дубулты — она пожелала остаться с ним вдвоем: все близкие, кроме сына, оказались ей в ее горе в тягость.

Борису Леонидовичу перед нашим отъездом в Ялту стало лучше. Врачи говорили, что болезнь протекает нормально и выздоровление — дело времени.

Последние сведения из Москвы были тревожными, но катастрофа, как и все катастрофы, разразилась неожиданно.

Когда сын Миша сообщил нам по телефону о смерти Бориса Леонидовича, мы были потрясены и несказанно огорчены.

Всеволод плохо себя почувствовал, и на семейном совете было решено, что Всеволод остается в Ялте, а я с Комой и Таней вылетаем в Москву на похороны.

Похороны были необыкновенны.

Их невозможно забыть даже и посторонним очевидцам, а не только тому, кому они раздирали сердце и в ком оставили неизгладимый след.

Стояла поздняя весна.

Все неистово цвело.

Сад Пастернаков был в пене вишневого и яблоневого цвета.

Гроб с телом Бориса Леонидовича был поставлен в столовой, откуда вынесли все, кроме цветов, которые прибывали вместе с чередой людей, заполнивших сад и цепочкой входивших через террасу и, пройдя мимо гроба, выходявших через кухню обратно в сад.

Не только в саду, но и за его оградой были люди, пришедшие отдать последний долг поэту и жаждавшие пройти мимо его гроба.

Царил строгий торжественный порядок, ничем не нарушаемый. Музыка неслась из комнаты Зинаиды Николаевны, где стоял рояль, на котором по очереди играли Юдина, Рихтер, Генрих и Станислав Нейгаузы.

Гроб от дома до кладбища несли на руках. И не просто несли, а поднимали его на вытянутых руках вверх, и гроб как бы парил над головами людей, его провожавших.

И хотя путь был и не близкий, и не легкий — кладбище на косогоре, — многие из несших гроб (в том числе мои сыновья Миша и Кома) отказывались смениться.

Надгробную речь произнес Валентин Фердинандович Асмус.

Я была в таком смятенном состоянии, что ни слова из его речи не запомнила.

Не только смыслом, но и взволнованной интонацией, звуком голоса он выразил чувства скорби и преклонения перед усопшим тех, кто, как и я, пришел туда по велению сердца.

Борис Леонидович как бы задолго предчувствовал и предопределил свою безвременную кончину.

Ведь он писал:

И вижу смерть в упор,
Я вижу из передней
В окно, как всякий год
Своей поры последней
Отсроченный приход.

Или:

Она шептала мне — спешу —
Губами, белыми от стужи.
А я чинил карандаши,
Отшучиваясь неуклюже!

И наконец:

Я знаю, по какому поводу
Слегка увлажнена подушка.
Мне снилось, что ко мне на проводы
Шли по лесу вы друг за дружкой.

А вот какова концовка этого бессмертного стихотворения:

То прежний голос мой провидческий
Звучал нетронутый распадом.

И он звучит, этот голос, и ничто не заглушит его.

Всеволод был председателем Комиссии по литературному наследию Бориса Леонидовича Пастернака, а я секретарем Комиссии.

Привожу записку Зинаиды Николаевны по этому поводу:

«Дорогая Тамара Владимировна!

Спасибо Вам и Всеволоду за согласие. Я очень рада и крепко вас обоих целую. Сегодня закончила переписку и приду к Вам дня через 2. Еще раз спасибо.

С приветом и любовью Ваша *З. Пастернак*».

Время не ждет. Надо помнить:

Что вселенная проще,
Чем иной полагает хитрец,
Что как в воду опущена роща
И приходит всему свой конец.

Не стало ни Бориса Леонидовича, ни Зинаиды Николаевны.

Не стало и моего Всеволода.

Да и мой срок не за горами.

Я чувствую свой долг рассказать хотя бы так бегло, как это сделала, о том, чему я была свидетельницей.

Не умея сделать большего, хочу хотя бы прокомментировать имеющиеся у меня письма и записки Бориса Леонидовича.



Микола Платонович Бажан



Не покоряйся печали, не поддавайся отчаянию,
Не доверяйся ни господа, ни демону, ни одичанию.
Слово, пронзи молчание! Страсть,
вознесись над покорностью!

Микола Бажан¹

Вот они передо мной, эти бесценные письма незабвенного Микола Платоновича и его жены Нины: тут и поздравительные открытки, и телеграммы, и дружеские письма, и целые литературоведческие трактаты.

Читаю их, перечитываю и не могу сдержать слез. Пытаюсь начать писать и опять плачу.

Я очень старая, мне восемьдесят четыре года, но я не ощущаю своей старости, однако, увы! — мне все время приходится терять друзей, близких мне людей. Я всех пережила (себе не на радость!).

Такая потеря, как уход из жизни Микола Платоновича, — воистину невозполнима.

Беру страницу «Литературной газеты» с некрологами, и в каждом из них ощущаю биение искренней скорби, живого чувства — никакой официозности, — это почти беспрецедентно.

Но ведь и человек ушел редкостный: крупнейший государственный и общественный деятель, философски мудрый, гражданственно пламенный и в то же время проникновенно

¹ Книга «Знаки». Из стихотворения «Бразилиана Вила Лобоса». Перевод Л. Озерова.

нежно-лирический поэт, энциклопедически образованный ученый, необыкновенной широты и душевной чистоты человек, неслыханной притом корректности, щепетильности, скромности.

И какой же драгоценный дар получила я от жизни, обретя дружбу таких людей, как Микола Платонович и неразрывными узами связанная с ним — Нина.

Начну рассказ о нашей дружбе, длившейся сорок пять лет, с цитирования последнего письма ко мне Микола Платоновича.

Беру на себя смелость цитировать письма не в хронологическом порядке, а по той внутренней структуре воспоминаний, которая сложилась в моей душе.

Начинаю с последнего письма (что явно нескромно из-за его комплиментарности в мой адрес), потому что письмо это как бы суммирует сущность нашей длительной дружбы.

«12.VI.1983 г.»

Боже мой, дорогая Тамара Владимировна, как меня и Нину взволновало Ваше письмо. Хорошо взволновало, пробудило заснувшие было мысли, отозвалось резонансами в самой глубине наших душ, помогло додумать недодуманное, понять недопонятое, вручило многие ключи к тем замкам, которые Всеволод Вячеславович, сам не замечая этого, повесил ко многим дверям своего творчества и к своей внутренней духовной жизни, к ее конфликтам, «мукам и катарсисам», иногда действительным, а иногда казавшимся. К сожалению, такие ключи — редкость. Их не то боятся, не то избегают, не то не удерживают в своих нерешительных руках люди, называющие себя литературоведами, а на самом деле хорошо, если не ставшие литературоведами, не то питающимися литературой, не то ее грызущими. Творчество Всеволода Вячеславовича до сих пор еще вполне не открыто. Оно сложно и часто плывет по океану литературы, как те айсберги, невнимательно исследованные в своих глубинах. Я прочел статью Славина в «Новом мире». Конечно — это статья писательская, заключающая в себе много правильных наблюдений, выводов, раздумий, но очень уже нестройная, шаткая, ибо не имеет стержня, который придал бы ей и стройность, и большую устойчивость. И все-таки хорошо, что ее напечатали, ибо об «Ужгинском Кремле» пока еще так мало и скупо сказано. Дождусь ли я, что увижу напечатанным и «У» — роман-предвестие, роман,

породивший все те «гофманианы» и «дьяволиады», которые сейчас так модны. До того модны, что даже теряют свою ценность.

Да, Тамара Владимировна, — удивительная Вы женщина. Мы будем хранить Ваше письмо как замечательный документ эпохи, как многозначительную реплику на многие вопросы нашего времени, сложного, трудного, часто допускающего в мысли и панику, и торопливость, и маловерие, и даже отчаяние. Такие люди, как Вы, укрепляют и ободряют. Дай Вам Бог, Тамара Владимировна, еще многие лета, многие лета! Спасибо Вам. Мы с Ниной живем не слишком весело. Никуда поехать, пока, я не могу, связываю и Нину, нуждающуюся и в отдыхе, и в лечении, и в отрыве от тех повседневных забот и хлопот, причиной которых часто бываю я со своей немощью. Целуем Вас, Тамара Владимировна, целуем и всю Вашу талантливую семью.

Нина и Микола Бажан».

Получив это письмо, я почувствовала себя вознагражденной за свои двадцатилетние «хождения по мукам» (в которых встречала неизменную поддержку Миколы Платоновича), связанные с публикациями не изданных при жизни произведений Всеволода Иванова.

В письме Микола Платонович сетует, что его «немощи» причиняют Нине много «забот и хлопот».

Но какие это сладкие заботы и как ревностно Нина им отдавала всю свою жизнь целиком!

Надо помнить — ведь она не только Нина Бажан — жена поэта и необыкновенного нашего современника, она сама ученый — Нина Лауэр, преждевременно прекратившая свою работу в институте имени Богомольца, чтобы неотступно, неустанно быть рядом с Миколой Платоновичем. Она старалась елико возможно своей любовью и медицинскими знаниями продлить жизнь этому удивительному, редкостному человеку.

* * *

Начало нашей дружбы 1939 год. Ереван. Пленум, посвященный творчеству Давида Сасунского.

Все мы — еще относительно молоды. А Нина (самая молодая из нас четверых) необыкновенно обаятельна.

На этом пленуме, проходившем в конце лета, в прекрас-

ной Армении, где нас возили повсюду — в Эчмиадзин, и в скальные храмы — в Гегарти и Гарни, и на озеро Севан, мы были почти неразлучны с Бажанами и еще с одной парой — супругами Чиковани. С ними мы и уехали из Еревана и остановились у них в Тбилиси.

Чиковани, чудесные, незабываемые люди, рано ушли из жизни. Приезжая в Москву, они всегда бывали у нас и вместе, и один Симон, когда приезжал без Марийки. Мы очень любили их. Связующим звеном между нами была еще и наша общая дружба с Борисом Пастернаком.

В Переделкине мы с Пастернаками — соседи. Поэтому когда Чиковани приезжали к Пастернакам, они или приходили все вместе к нам, или же Пастернаки приглашали нас к себе.

Позднее Микола Платонович напишет мне, вспоминая свою дружбу с супругами Чиковани.

«12.IX.66 г.

Дорогая Тамара Владимировна!

А мы тоже о Вас думали,— что там с Вами, вестей нет, ничего не слышать. Нина три дня назад возвратилась из Карловых Вар. Не в блестящей форме. Устала. Но, правда, курорты такого типа всегда вначале приносят утомление. Кислая вода — это не горькая водка. От нее хорошего самочувствия не бывает.

А я сижу, тружусь. Готовлю к выходу первый том «Истории украинского искусства». Этим я живу, да вот еще собираюсь в Грузию. Всегда ездил туда с радостью, а сейчас сердце сжимается. Впервые увижу две могилы¹, дорогие для меня. Не представляю себе и себя в Грузии без Симона.

Конечно, Тамара Владимировна, я с интересом прочту «Кремль», но не сейчас. После возвращения из Грузии.

Возможно, буду возвращаться через Москву, тогда и поговорим.

Нина передает вам свой нежный поцелуй, а я, с Вашего разрешения, целую Вашу ручку.

Микола».

* * *

При жизни Всеволода мы встречались с Бажанами сравнительно часто. Бажаны приезжали в Москву.

¹ Супругов Чиковани.

Мы тоже бывали в Киеве.

Поэтому к той поре относятся чаще всего поздравительные открытки, из которых приведу одну.

«Какие Вы дорогие и хорошие, как мы Вас любим и как желаем счастья и здоровья. Вам, милая Тамара Владимировна и Всеволод Вячеславович, и всей... Вашей семье!

С любовью *Нина и Микола Бажаниу*¹».

Мы были вместе с Бажанами на юбилее Шевченко, вместе ехали на пароходе в Канев на его могилу.

Отечественная война в 1942 году свела нас в гостинице «Москва», куда Бажаны прибыли с фронта вместе с Корнейчуком и Вандой Василевской. Нина, как и Ванда, не расставались с мужьями, и, когда те находились на передовых позициях, разделяли их походную жизнь.

Мы вернулись тогда из Ташкента, оставив там детей.

В гостинице оказались потому, что в нашей московской квартире взрывной волной были выбиты окна. Отопление не действовало.

В Ташкенте Всеволод работал с режиссером Луковым, ставившим по его сценарию фильм «Пархоменко». Съемки начались еще до войны в Киеве, откуда Луков со съемочной группой и уже отснятой пленкой был эвакуирован в Ташкент, куда он вызвал Всеволода для переделок сценария.

Всеволод особенно тесно сошелся с Миколой Платоновичем именно в военный период, когда остался один. Я уехала обратно в Ташкент к заболевшим тифом сыновьям.

После победы Бажаны все время приглашали нас к себе в Киев погостить.

Привожу одно из писем (без даты) конца сороковых годов.

«Дорогая Тамара Владимировна! Я и Микола шлем всем вам самые добрые пожелания из далекого, почти погребенного в тумане Киева.

Как здоровье Комы и настроение Всеволода Вячеславовича? Мы часто вспоминаем вас и ждем, по старому уговору, в Киев. Комната всегда вас ждет. У нас начался рабочий год, со всеми вытекающими из него неприятностями. Снова мечтается о будущем лете. Но это так далеко! ...

Мы шлем Вам самые нежные поцелуи.

Нина, Микола».

¹ Ироническая переделка фамилии на итальянский лад.

В 59-м году мы со Всеволодом ездили в туристскую поездку по Индии и «вывезли» оттуда черную оспу, от которой скончался один из наших спутников — художник Кокорекин. Болезнь была не распознана вовремя. Диагноз правильно поставили только при начале заболеваний тех, кто заразился от Кокорекина.

Нас в карантин не брали (истек срок инкубационного периода), но забрали в дезинфекцию всю одежду, все вещи, побывавшие с нами в Индии или привезенные оттуда. Врачи-инфекционисты взяли у нас также список лиц, с которыми мы находились в контакте по приезде. В этом списке фигурировали Бажаны, которые, проездом в Кисловодск, побывали у нас на Лаврушинском. Не довольствуясь внесением их фамилии в список, переданный инфекционистам, я послала, не зная точного адреса Бажанов, через Четвертое медицинское управление телеграмму, прося Бажанов непременно сделать противооспенную прививку.

В ответ была получена телеграмма:

«С любовью вспоминаем дорогих друзей будем рады весточке живем санатории Совмина Красные Камни ваши Бажаны».

При встрече Нина трунила над моим «усердием» во что бы то ни стало заставить их сделать себе прививки.

В 51-м году мы съехались в Коктебеле и совершали там совместно увлекательные прогулки на любимый Всеволодом Карадаг и в Мертвую бухту.

А в 1952 году осуществилась наша поездка в гости к Бажанам в Киев. Во время нашего незабываемого (так много тепла и ласки мы получили от дорогих друзей) гостевания отмечалась (дома, в узком кругу) защита Ниной докторской диссертации.

В 55-м году мы одновременно с Ниной лечились в Карловых Варах.

В своем письме от 31 августа 55-го года Нина пишет мне из Киева в Коктебель: «...в двадцатых числах октября у нас в институте будет конференция, на которой мне нужно выступить. В связи с этим я приеду в Москву 19—20 сентября ... Конечно, очень бы хотелось лететь вместе с Вами, но, если мы не встретимся в Москве, буду Вас с нетерпением ждать в Карловых Варах.

Отдыхайте, впитывайте солнце, йодистые испарения осеннего моря, не реагируйте на накопление в вашей комнате ... ценнейших залежей Карадага. Целую крепко. Любящая Вас *Нина*. Микола целует Вам ручки».

В 61-м году мы ездили вместе с Бажанами в туристскую экскурсию самолетом из Москвы в Лондон, оттуда, после недельного пребывания, автобусом по всей Англии в Шотландию, затем обратно в Лондон и теплоходом, с остановками в Польше, Дании, Швеции и возвращением домой через Кронштадт.

В этой поездке, как и раньше при показах нам Киева с его достопримечательностями и музеями, так и во всех музеях Лондона, Дублина, попутных городах обратного пути (Гданьске, Копенгагене и Стокгольме), проявлялись со всем блеском энциклопедическая эрудиция Миколы Платоновича и его тонкий художественный вкус.

* * *

Во время трагических для меня июля — августа 1963 года, когда Всеволод находился уже при смерти, Микола Платонович жил в Москве, где в то время он активно работал в Иностранной комиссии СП СССР, а Нина часто к нему приезжала.

Они оба проявляли горячее участие к нашей катастрофической беде: навещали Всеволода в больнице, всячески подбадривали меня.

Микола Платонович присутствовал на похоронах Всеволода, но говорил ли он речь на траурном митинге, я не помню. До сих пор — через двадцать с лишним лет — не могу вспомнить об этих, разодравших меня надвое, похоронах.

Да и тогда, когда остаются дети и внуки, мужа, с которым прожиты десятки лет, никто и ничто заменить не может.

Микола Платонович очень нежно заботился обо мне после похорон Всеволода.

В канун одинокого для меня 1964 года я находилась в санатории «Малеевка», куда пришла открытка от Бажанов:

«Дорогая, родная, милая Тамара Владимировна!

Как мы хотим, чтоб в новогоднюю ночь тепло наших сердец хоть капелькой, хоть слезинкой упало на Вашу руку!

Пусть в душу Вашу войдет тот большой и мудрый покой, которого достойны и Вы, и память о Нем.

Целуем, желаем здоровья и счастья Тане, Коле, Мише,

Люсе, Тане¹, Антону² и двум Вашим малышам³ (Антон уже сюда не зачисляется). Ваши Нина и Микола».

Этим поименным перечислением, как бы усыновляя всех членов осиротевшей семьи, Бажан проявил свойственную ему сердечность и душевную теплоту.

Кроме открытки, подписанной «Нина и Микола», я получила тогда еще и отдельное письмо от Нины, которого не буду здесь приводить.

О Нине, которую я всегда воспринимаю неразрывно связанной с Бажаном, все же надо писать отдельно.

* * *

Поборов отчаяние, я приступила к работе, стала разбирать огромный архив Всеволода.

Попросила Миколу Платоновича стать членом комиссии по литературному наследству Всеволода Иванова.

Микола Платонович согласился и активно помогал мне, читая неизданные рукописи и давая на них свой отзыв.

Весной 64-го года я поехала со своим другом художником Валентиной Ходасевич в ялтинский Дом творчества писателей. Вот полученная там открытка:

«Дорогая Тамара Владимировна, от всего сердца, горячо и глубоко желаем мы Вам, дорогая, милая, мужественная Тамара Владимировна, душевных сил, душевного покоя, веры в свой труд, в нужность своего труда, своей жизни, своей преданности Его слову, Его памяти. Радуемся за Вас, что крымская весна приносит Вам тепло и немного отдыха. Хотели бы и мы рвануть в Крым, но никак не выходит. Подготовка к Шевченковским, майским дням очень меня занимает, обязывает и тревожит. Нина Вас крепко целует, я кланяюсь и целую ручку. Ваши *Нина, Микола!*»

В том же 64-м году недатированное (штемпель на конверте неясен) письмо:

«Дорогая Тамара Владимировна!

Пишу Вам из санатория, где сижу вот уже две недели. Плохо мне что-то было после нервного напряжения, связанного с Шевченковскими днями. Головокружения сильные.

¹ Жены сыновей.

² Старший внук, сын дочери Тани.

³ Петя и Настя — дети Миши.

Схватили меня, уложили в кровать, а потом в санаторий отправили. Сейчас все в порядке — голова не кружится, хожу, делаю физкультуру, в теплые дни в реке купаюсь. Собирался было немного поработать, но не то лень, не то бессилие. Лучше бы уж первое.

Нина ... возвратится через месяц. Я сейчас один — выйду из санатория, буду с дачи ездить на работу.

Рад был узнать, что дело продвинулось насчет издания «Эдесской святыни» и мемуаров. Надо все-таки настоять на том, чтобы Константин Александрович¹ выполнил свое обещание — помог напечатать «Кремль».

Где Таня была на Закарпатье? Синебир видела? Очаровательная страна, чудные, добрые люди.

Кома, видимо, занят сейчас на съезде антропологов. Его друг — Брук² — фигурирует во всех газетах. Интересно мне будет, приехав в Москву, узнать мнение Комы о съезде.

Правда, неизвестно, когда в Москву соберусь. Сурков что-то о туристской поездке молчит, а так дел в Москве у меня сейчас нет.

Напишу Нине о письме от Вас ...

Передайте мой самый горячий привет Кома, Таням, Мише, Антону.

Нина и я глубоко и нежно Вас любим и радуемся каждой весточке от Вас.

Ваш *Микола*».

* * *

Особое место в нашей дружбе заняла та помощь в публикациях неизданного Всеволода Иванова, которую мне оказывал Микола Платонович.

Опубликованные лишь после смерти Всеволода его творения непонятным для меня образом не привлекли внимания критиков (лишь литературоведов, выступавших на межвузовских конференциях и публиковавших свои выступления в соответствующих «Ученых записках»).

В архиве Всеволода хранилось два законченных варианта произведения на одну и ту же тему под названием «Вул-

¹ Федин.

² Брук И. В. — доктор исторических наук, заведующий лабораторией картографирования Института этнографии СССР (Москва), соавтор Вяч. Вс. Иванова по статье «Языки мира», напечатанной в ряде энциклопедических изданий.

кан». Я размножила и раздала оба варианта членам комиссии. Вопрос о том, какой вариант предлагать к печати, решался большинством голосов.

Большинство проголосовало за последний из вариантов, расширенный и названный автором романом (первый назывался повестью).

Отзыв Миколы Платоновича сыграл решающую роль при первой публикации, осуществленной, в несколько сокращенном виде, журналом «Сибирские огни». В предисловии были приведены фразы из отзыва Миколы Платоновича. На подобное цитирование я не успела спросить заранее разрешения у Миколы Платоновича. На мое письмо, в котором я просила Бажана простить мою бестактность, он ответил:

«Дорогая Тамара Владимировна!

Мне было тоже радостно и приятно увидеть повесть¹ Всеволода Вячеславовича, после стольких задержек и мучений напечатанной. Конечно, ничего против опубликования некоторых моих слов по поводу повести я не имею, хотя для печати написал бы аккуратней и точней. Живем мы с Ниной на даче. Я — в отпуске (относительном), а Нина каждый день мотается на работу и на базар, так как работница киевская нас оставила. Очень трудно. Несчастливого моего отца ... устроили у сестры моей, пока у нее каникулы, а что потом будет — страшно подумать. Просто безвыходность. Я пытаюсь работать. Удастся плохо. Спасибо Вам за письмо и память. Так давно от Вас весточки не имели. Напишите нам, как семья. Что слышно от Саррот и о Саррот. Ваш Микола».

Французская писательница Натали Саррот приехала в СССР по приглашению СП СССР. Сначала она гостила, со своим мужем, неделю у меня в Переделкине, а потом переехала в гостиницу. Микола Платонович встречался с Саррот и у меня, и у Маргариты Алигер, и в Союзе писателей. Они — Бажан и Саррот — очень понравились друг другу.

* * *

Поздравительных открыток от Бажанов ровно столько, сколько праздников в году, сколько круглых дат рождений.

¹ Микола Платонович называет здесь повестью тот вариант, который и автором, и им в отзыве назван романом.

Но есть среди них и такие, в которые вкраплены «специальные» сведения. Привожу такую открытку, полученную к Новому году, после выхода в свет сборника воспоминаний «Всеволод Иванов — писатель и человек».

«Дорогая Тамара Владимировна! Вам и всему ... роду Вашему — добра, счастья, здоровья, хорошей светлой работы. Спасибо Вам за Ваши превосходные воспоминания. Я и Нина прочли их «одним духом», как говорят. Кланяемся Вам и надеемся на скорую встречу. Ваш *Микола Бажан*».

Как уже предупредила, я привожу письма вне хронологии — так, как они ложатся по внутренней логике моего восприятия.

Посылая новогодний привет к 66-му году, Бажан написал целый трактат о драматургии Всеволода.

«Дорогая Тамара Владимировна! Посылаю Вам и всему Вашему славному роду сердечные новогодние поздравления одновременно с этим письмом, не буду повторять тут всех сентиментальных формул, хочу написать Вам о том, как меня взволновали пьесы Всеволода Вячеславовича, любезно присланные Вами, за что искренне благодарю Вас.

Что говорить о «Бронепоезде»?¹ Мы вместе с Вами были на недавнем спектакле и знаем, что пьеса живет и будет жить своей человечностью и своим революционным вдохновением. «Блокада» по обрисовке характеров — всего более сложная, поэтому и стилистически она острее, замысловатее, парадоксальней. Я ее впервые читаю. В ней таится много ходов, по которым позже не раз ходила пытливая мысль Всеволода Вячеславовича, удивительного коллекционера человеческих типов и образов. Щедро развернул он такую коллекцию в «Поле и дороге». Реалистическая точность сопряжена тут с романтической гиперболичностью, сцены почти плакатные, как в «Синей блузе», сменяются сценами почти гофманианскими, как в «Серрапионовых братьях» (в повести, а не в литорганизации). Что-то есть общее в этой пьесе Иванова с пьесой великого украинского драматурга-коммуниста, погибшего в 1937 году, с пьесой Микола Кулиша «Народный Малахий». Эпоха подсказывала обоим великим писателям общность тем, общность проблем челове-

¹ «Бронепоезд» был заново поставлен МХАТом в 1963 году. Премьера состоялась после смерти Всеволода.

ческого духа, вопросов воспитания и перевоспитания человека. Поразительна пьеса, странно заключающая в себе стилистически просто противоречивые элементы, что в совокупности дает неповторимый и своеобразный, только Иванову присущий художественный эффект. В современном мировом споре романтики и натурореализма (я говорю [...] о сюрреализме Беккета, Ионеско, Олби, даже Кафки) творчество В. Иванова займет еще свое место и много горячего, но несгораемого материала подбросит в костер спора.

Массу материала для размышлений дают «исторические» пьесы Всеволода Вячеславовича. Беру «исторические» в кавычки, ибо автор, тонко чувствуя стиль и дух прошедших эпох (о чем хорошо сказал Марков в предисловии), своею индивидуальностью перекраивал и перепахивал исторический материал для новых урожаев своей мысли. Пьесу «Двенадцать молодцев» я читал раньше, а «Вдохновение» — впервые. Блестящая пьеса. Разве о ней в письме все напишешь? Какая-нибудь второразрядная линия — развитие национального характера в образах Конева, Филатьева, Чуркиной — сколько дает она размышлений — как формирует национальный характер, как он зависит от эпохи, что в нем продолжительного (если не постоянного), что в нем временного, преходящего. Сейчас марксистская мысль много об этом думает, — Всеволод Вячеславович думал об этом еще в 38-м году, пересаживая своих героев назад на триста лет.

Ну, всего не напишешь! Большое, большое Вам спасибо, дорогая Тамара Владимировна ... Ваш *Микола*.

Публикация романа «Кремль» (М., «Художественная литература», 1981 г.) имеет такую длительную предысторию, что когда-нибудь, возможно, послужит кому-то темой для отдельного литературного произведения. Это может стать сюжетом романа, повести или драмы.

В этой драме (с хорошим концом) Микола Платонович сыграл немаловажную роль.

Как уже написала выше, история публикации этого романа длинная. Микола Платонович еще не раз возвращался к этой теме в разговорах со мной и в письмах ко мне.

Вот одна из открыток того периода, когда роман претерпевал «хождение по мукам».

«Дорогая Тамара Владимировна! Спасибо Вам и всей Вашей семье за теплые новогодние пожелания. Год 71-й был бы и для меня счастливым, если бы замечательная книга

Всеволода Вячеславовича была пущена в набор с уверенностью в ее выходе. Я думаю, что назвать этот роман «Град» было бы хорошо, если бы только градобитием не пахло. Может, действительно какой-нибудь хороший эпитет прибавить? Старый, Ужгинский? Может быть, «Стены града»? Не припомню всех названий, эпитетов, деталей романа — и мне трудно выбрать. Но в общем идея «Града» мне нравится. Ваш Микола. Нина Вас всех целует».

Уже получив официальную просьбу о рецензии, Микола Платонович писал мне.

«Дорогая Тамара Владимировна! Наконец дождался я от Вас письма, да дождался-то не в очень счастливую для меня пору: из санатория «скорая помощь» потащила меня в больницу. Гипертонический криз. Это еще было бы полбеды, но Нина, узнав, что я в больнице, бросила свое лечение, из Железноводска приехав взволнованно в Киев, что было, конечно, сделано неразумно, хотя уж кому-кому, но не мне говорить об этом осудительно. Поэтому пишу Вам из больницы. ...обратились ко мне с предложением высказать свое мнение о возможности издания сейчас романа Всеволода Вячеславовича «Кремль», прислав мне и рукопись.

Я прочел и ответил. Я написал, что высоко ценю роман, считаю его издание делом нужным и для всей советской литературы и для многонациональных ее читателей, но необходима еще внимательная редакторская работа над текстом, сопоставление многочисленных вариантов, иногда (в очень редких случаях) — изъятие того или иного слова, замена его. Словом, нужно убрать наиболее острые «камни преткновения», отдельные и нечастые, чтобы не вызвать золотолкований, а то и задержек в издании. Ну, к примеру, история с узбеками. Зачем их упорно называть несколько унизительно «азиатцами», зачем тянуть их на выпивку, да еще вместе с женщиной, что так противоречит нравам узбеков? Изъятие этих двух-трех фраз ничего в структуре романа не нарушает, а так по отношению к узбекам становится вежливым и учтивым. Это я привожу к примеру. Есть еще несколько таких мест. Словом, я советую Госкомиздату, о чем и написал ... привлечь к делу редактирования не только Т. В. Иванову, но и специального редактора, чтобы проделать предельно любовно и осторожно нужную редакторскую работу, для чего Тамаре Владимировне пригодится помощь постороннего, но знающего человека.

Я об этом написал. Ответа пока нет. Не думаю, чтобы решение было скорое, но думаю, что — при условии некото-

рого, незначительного редактирования текста — оно будет положительное.

Как бы Вам хотелось издать его?

Мне кажется, что лучше всего — отдельной книгой. Не правда ли?

Может, удастся заколдованное расколдовать. Конечно, помощь тов. Сартакова будет и тут нужна. Увидите его — передайте ему мой привет и благодарность.

Нина и я очень рады известию, что у Комы дела идут на полную поправку. Боже мой, как он нужен нашей культуре и столько может он еще сделать!

Передаем привет всем Вашим близким.

Целуем. Ваш *Микола*.

26. IX. *Феофания*».

* * *

Еще при жизни Всеволода, но мне кажется, что совсем недавно, родился внук у Миколы Платоновича, и по его просьбе я покупала в «Детском мире» коляску и другие дитячьи принадлежности.

И вот этот внук уже идет в школу.

«Дорогая Тамара Владимировна! Был рад получить от Вас весточку, а то давно и не видел Вас, и не переписывались мы. Я только вчера приехал из санатория. Нина 22-го возвращается.

... Дома у нас все в порядке. Вот бегу сейчас отводить внука первый раз в школу, чтобы посмотреть, где и как начинается его новая жизнь. Я о книге своей не забыл, но, смешно сказать, мои «Вариации на тему Рильке» до сих пор не вышли. Вот уже, наверное, месяцев семь лежат без движения. Когда появятся, я сейчас же Вам пришлю. Не знаю, что думают Сарроты и Маргарита¹. Поедут ли в Москву или прямо домой через Киев. Жду от них телеграмм. Привет всей Вашей почтенной семье.

Ваш *Микола*».

* * *

Как и при жизни Всеволода, Бажаны все время сговаривались со мной где-то съехаться на отдых. Звали к себе. Но

¹ Саррот с мужем приехали по приглашению Маргариты Алигер и жили с ней у моря — в Гульрипши.

поездка к ним у меня никак не получалась. То они больны, то я больна. То неотложные дела.

Однако виделись мы все же не редко. Бажаны приезжали в Москву — чаще вместе, реже порознь, но во время своего длительного ли, короткого ли пребывания — неизменно бывали у меня в Переделкине. Или я специально приезжала в Москву, и мы встречались на Лаврушинском или у них в гостинице.

Уйдя с работы, Нина уже никогда не отпускала Миколу Платоновича без себя. Все время следила за его самочувствием. Она ходила на все заседания, будь то пленум или съезд Союза писателей. Я тоже ходила на все эти заседания, чтобы побыть подольше с Ниной. В перерывах мы иногда вместе обедали, то в ресторане ЦДЛ, то в ресторане гостиницы, а однажды (из-за щепетильной скромности Бажана) в студенческой столовой Литинститута.

Но сговор о совместном отдыхе оставался в силе. Иногда это и получалось. Хотя и с промашками.

Так, осенью 67-го года сговорились съехаться в ялтинском Доме творчества. Но Нина совсем не смогла поехать — неотложные дела в институте, где она заведовала отделом, ее задержали. А Микола Платонович приехал только в тот день, когда я уже уезжала в Москву.

Тут не могу не рассказать, как скромность Миколы Платоновича обернулась анекдотом.

Не знаю, как теперь, а в шестидесятые годы на ялтинские путевки не ставили номера комнаты. Удача с поселением зависела или от звонка директору из Литфонда, или от директорского произвола.

Дом же ялтинский построен до чрезвычайности неудачно — одной стороной на юг, другой соответственно на север, да еще почти в упор к скале. Те, кто получает южные комнаты, имеют и солнце, и вид на море, «северянам» же уготована печальная участь «узников каземата».

Получив известие о том, что Микола Платонович выезжает, я отправилась к директору — узнать, в какой комнате он намерен Бажана поселить.

Директор назвал «северную» комнату. Я бурно запротестовала и принялась перечислять все заслуги и звания Миколы Платоновича. Директор мне ответил, что, если бы все, что я говорю, было бы правдой, у него бы от звонков и телеграмм давно голова болела.

Мне пришлось привлечь, в качестве «свидетелей», находившихся в доме Крюнов, Хелемских и Меттеров, которые

дружно удостоверили беспорность моей «характеристики» Микола Платоновича.

Директор сдался, но был поражен. Прямо так и заявил, что первый раз за все его директорство подобное случается. Едет секретарь правления СП СССР, академик, лауреат, и никто об этом директору не звонит и телеграмм не шлет.

Тот день, когда приехал в Ялту Микола Платонович, стоит у меня перед глазами. Так получилось, что сошлись в этот день три моих друга, которых я — уву! — одного за другим утерjala. Первый ушел из жизни А. А. Крон. В день приезда Бажана мы с А. А. Кроном и его женой Лизой уезжали. Свои вещи я попросила перенести к Кронам, чтобы в моей комнате уложить Миколу Платоновича отдохнуть после обеда (я знала эту его неискоренимую привычку — такая же была и у Всеволода), так как его комната еще не была готова.

В мою же комнату уже перетащил свои вещи один из моих друзей, северянин, — замечательный человек (переводчик с испанского, французского и старофранцузского языков) Алексей Матвеевич Шадрин.

Сперва скончался Крон, за ним Шадрин, а потом и Бажан...

Но тогда, когда совершались в Ялте все эти комнатные «операции», сверкало море, небо было безоблачным, и все мы не знали «ни дня своего, ни часа».

На следующий год решили снова съехаться там же. Я опять была вместе с Кронами, а вскоре приехал и Бажан, но (уву!) без Нины (она сумела приехать только после моего отъезда, а Кроны еще оставались на следующий срок).

Бажаны и Кроны давно знали друг друга, но, что называется, шапочно, а в тот 1968 год они крепко сдружились.

Еще при мне, но до приезда Нины, на присланной за Кроном машине мы ездили вчетвером — Бажан, Кроны и я — в Севастополь. По дороге осматривали «Панораму» и другие достопримечательности. Вечером пошли в севастопольский театр на пьесу Крона «Офицер флота». Утром осмотрели Херсонес, где Микола Платонович, как всегда в таких случаях, продемонстрировал нам весь блеск своей эрудиции. На обратном пути очень весело обедали в ресторане на вершине Ай-Петри.

В 1976 году мы съехались с Бажанами в дубултском Доме творчества, — вернее, специально чтобы побыть с ними, я приехала за десять дней до их отъезда.

Когда живешь в разных городах, несмотря на переписку

и телефонные разговоры, как-то невольно начинаешь отвыкать друг от друга. А поживешь вместе — и все чувства оживают.

Доказательством этому служат Нинины письма, присланные ею мне в Дубулты после их отъезда в Киев.

В одном из этих писем от 2 февраля 1976 года Нина пишет: «Ужасно хочется выйти на берег замороженного моря и пройти с Вами навстречу северному закату, слыша Ваш голос или даже молча».

И в конце длинного письма уже после приветов и поцелуев приписка: «Микола прочитал письмо и сказал, что замороженными бывают не моря, а фрукты!!! Ну что ж, я не стилист».

Нина здесь кокетничает. Бажан попросту поддразнивал ее, любя и даже преклоняясь перед ней.

Мерцает пороша. Но пахнет весной
Начальный пугливый еще снегопад.
Ты рядом. Мы празднично входим с тобою
В прозрачный, поющий, щебечущий сад.
.
Я шепоту чистой пороши внимаю
И в добром предчувствии общих дорог
Склоняюсь и нежно к щеке прижимаю
Твой, взятый из теплого снега, следок¹.

* * *

Я уже написала выше, после смерти Всеволода Микола Платонович как бы усыновил всю нашу семью. Его внимание к каждому ее члену в отдельности запечатлено и в письмах.

«Дорогая Тамара Владимировна! Вот спасибо за письмо. Ведь мы тоже от Вас весточки давно не имели. Нина, уезжая, просила, чтобы я Вам позвонил, но, видно, если бы и позвонил, то не застал бы в Москве, а до Переделкина трудно дозвониться».

Живу я скучно и одиноко, холостяком. Нина (хоть ей это и не рекомендовано), забрав свою лабораторию, полезла на Эльбрус изучать, что происходит с человеком, если не давать ему дышать². Должна уже к 1-му возвратиться, а по-

¹ «Первый снег». Микола Бажан. Из книги «Знаки» (перевод Я. Хелемского).

² Эта экспедиция была продуктивной, что отмечалось статьями в газете «Известия».

том — с 11-го — у нее путевка в Карловы Вары. Не знаю, как повлияло на нее пребывание на высотах. Телеграммы получал ультрабодрые, но не следует им слишком доверять.

Я собираюсь числа 10-го (отправив Нину в Карловы Вары) приехать на недели три в Москву готовить Рильковский конгресс Европейского сообщества писателей, который состоится 5—10 октября. В отпуск пока не собираюсь. Тут на меня возложили обязанность издать шеститомную историю украинского искусства. Как ни трудно мне будет, а из патриотизма согласился... уже жалею. Нет пока ни людей, ни помещений, ни денег. Надеюсь, что, несмотря на трудности, все устроится.

Когда я был в Белграде, встретился с польским драматургом Адамом Тарном. Он редактирует очень интересный журнал, посвященный драматургии, — «Диалог». Печатает новейшие драмы, злоупотребляя (даже!) «абсурдами». Беккет, Ионеско, Вейсс. Я журнал этот читаю и нахожу его и интересным, и солидным. Говоря с Тарном, я говорил о драматургии Всеволода Вячеславовича. Показал ему книгу пьес. Тарн обещал напечатать перевод, но какой пьесы (конечно, не широко известного и в Польше «Бронепоезда») — еще не знаю. Решают они.

Надеюсь скоро увидеть Вас. И до нас, до провинциалов, уже дошли слухи о замечательном романе Арагона¹. Не вы ли будете переводить?

Мой горячий привет всей Вашей ... семье. Прочел перевод Тани в «Новом мире» болдуиновской новеллы. Очень хорошо. Ваш *Микола*.

29.VII.65.

В этом письме Бажан дает оценку переводу дочери нашей Тани, а вот открытка.

«Дорогая Тамара Владимировна! Мы очень соскучились, давно Вас не видя, но, может, приедем в Москву летом. Врачи мне уже разрешают, а то слишком засиделись. Часто думаем о Вас, о Коле и всем сердцем желаем всему Вашему ... роду счастья и добра. Как хотелось бы побывать на выставке картин Миши.

Целуем Вас крепко. Ваши *Нина и Микола*».

¹ Роман «*La mise à mort*» — «Приговор к гибели» (быку на корриде). (Роман не переводился на русский язык.)

Тут, кроме желания познакомиться с творчеством Миши, Микола Платонович пишет о своих думах о Комае.

С Комой у него общие научные интересы. С ним он переписывался отдельно. Кома сам напишет о своих взаимоотношениях с Бажаном, а я приведу те письма, в которых Микола Платонович высказывал мне свое мнение о Комае.

В 1977 году Кома перенес тяжелую операцию. Ему был вставлен искусственный тазобедренный титано-кобальтовый сустав (системы доктора Сиваша). Операция была особенно опасна из-за общего состояния здоровья Кома, поэтому, в порядке исключения, эта ортопедическая операция производилась в сердечно-сосудистой клинике имени Бакулева в отделении профессора Покровского.

Микола Платонович пишет:

«Дорогая Тамара Владимировна! Как Нина и я рады, что у Кома все хорошо, что он строен¹, молод и, думаем, полон хороших дум и планов. Боже мой, какое счастье и для Вас, и для нас, и для литературы, и для всей культуры, что ему вернули и здоровье, и силу, и бодрость. У нас как раз по вопросам всяческих бодростей дело обстоит не слишком хорошо. То Нина лежала в больнице, то я. Теперь отправляемся на лечение — Нина едет 3-го в Железноводск, куда меня не пускают, а я поэтому должен буду сидеть под Киевом в санатории Пуца Водица. Погода у нас не поправляется. Снова дожди и дожди. Особенного веселья в санатории не жду. Буду работать, кончать кое-что начатое, и читать рукопись, о которой Вы пишете². Сегодня ее получил — заберу с собой в санаторий, куда еду 5-го ... Им отправить или прямо Сартакову? Буду благодарен Вам за совет. Писать мне следует по киевскому адресу, оттуда почту будут мне доставлять.

Целую Вас крепко. Может, в октябре будем с Ниной в Москве. Значит, увидимся. Привет всем Вашим, особенно Комае.

Микола.

29.VIII».

¹ До операции Кома хромотал и весь был несколько перекошен на правую сторону.

² Рукопись романа «Кремль», пересланная Бажану из Госкомиздата.

«Дорогая Тамара Владимировна! Нину и меня встревожило и опечалило Ваше письмо. В нем столько вполне закономерной и обоснованной (к сожалению!) горечи от тех придирок, перестраховок, бюрократических ухищрений и уловок, от той несправедливости и часто тупости, которые не могут не ранить, не раздражать, не сердить. Я Вас вполне понимаю, в чем только не согласен — в мыслях о том, будет ли издан «Кремль». Убежден, что в конце концов будет издан.

Что меня особенно волнует после прочтения Вашего письма — это думы о судьбе Вячеслава (Комы. — Т. И.). Я о нем часто и удивленно думаю. Ведь этот молодой (для меня!) человек — явление в духовной жизни, не только нашего общества, исключительное. Не хочу писать высоких слов, но они по отношению к таланту, уму, работоспособности Комы вполне уместны. Ваш сын, дорогая Тамара Владимировна, — вот это истинное национальное достояние, дорогое не только для русского народа, русской интеллигенции, русской науки и литературы, но и для всех нас. Он влечет к себе людей разных наций своим естественным, органическим интернационалистским размахом мысли, своей чуждостью какому-либо проявлению национальной спеси, своей заинтересованностью ко всем проявлениям человеческой, благородной творческой мысли в ее всемирном развитии.

Да, о Комае надо говорить, надо кричать, надо убеждать.

...

Что поделать? Надо, приехав в Москву, пойти «по инстанциям». Буду говорить. ... Никаких должностей в аппарате Союза писателей занимать я не буду. Не тот возраст, не те силы. Дело не во мне, а в Комае. Не могу не сказать людям, «от которых зависит», о значении его таланта и труда.

Приедем с Ниной в Москву, вероятно, числа 27-го. Сразу же позвоним Вам. Ждем этой встречи. Крепко целуем Вас и умоляем верить в справедливость.

11.VI (82-го года)

Ваши *Нина и Никола*».

Весна и жизнь — вовек непобедимы,
Как верность, честь, надежда и любовь,
Что так разнообразны и едины
В миллионах душ, на сотнях языков¹.

¹ «Следила смерть безглазая за Вами» (перевод М. Матусовского).

Бажаны приехали и в тот же день были у нас в Переделкине, но на второй день съезда писателей Микола Платонович заболел и его положили в загородную больницу Четвертого медицинского управления, куда Нина ездила к нему каждый день.

Что касается издания романа «Кремль», то вера в справедливость Миколы Платоновича оправдалась.

Однако жизнь продолжала изобиловать всяческими неполадками, о которых я не умолчала в письме.

«Дорогая Тамара Владимировна! Ох, что-то Ваше письмо не очень много влило бодрости в наши души, сохнувшие от всяческих непрерывных болей и печалей. Не везет мне — после Москвы, долеживал в Киеве, думал все пойдет на лад. Поехали с Ниной в санаторий, а тут вдруг как напал на меня артрит, суставы ног распухли, ходить не мог, болело. Сейчас, после всяческих втираний и глотаний пилюль, стало легче, однако болит порядочно. Конечно же и Нине, и мне настроение все это портит порядочно. Работать трудно, гулять больно, дышать золотым осенним запахом приднепровских рощ и лугов вволю нельзя. А осень (пока) стоит у нас прекрасная. Ясно, тепло, ароматно. Вот и все, что нас утешает.

С болью Нина и я прочли Ваше письмо. Зная Вашу витальную силу, понимаем, что физическое состояние Ваше улучшится, что пакости осенней слякоти утихнут, что с сердцем Вашим все будет в порядке. А вот с нравственным состоянием как быть? Как преодолеть это невнимание, недооценку, непонимание со стороны людей, коим принадлежит звание «деятели человековедения»? Как можно пренебрегать такими людьми, как Кома? Как можно особам, думающим, что они думают, недодумать до понимания того, что Кома — явление исключительное, что он уже сделал для советской культуры неизмеримо много, мудро и щедро, а сколько еще сделает?

...Он не только сын одного из основателей, учителей советской литературы, создавшего ценности непреходящие, бессмертные, но и сам выдающаяся личность. Как могут люди этого не понимать, не видеть? Да, Тамара Владимировна, Ваше письмо не порадовало нас. А все-таки надежда — нет, уверенность! — в добром исходе всех огорчений и обид пусть не оставляет ни Вас, ни нас.

На письма, конечно, можно не отвечать, на звонки телефонные отвечать туманно, однако есть же у людей рассудок

и стремление быть полезным нашему общему делу роста культуры. А в этом деле нельзя не видеть огромной роли... Ивановых, и старших, и младших.

Боже мой, как от всей души желаем мы Вам, всей Вашей семье душевного мира, доброй работы, светлого настроения.

1.X.81. Конча-Заспа.

Ваши Нина и Микола».

Через месяц Микола Платонович радуется, в письме, выдвигая кандидатуру Комы в члены-корреспонденты АН СССР.

Кандидатура была утверждена, но избрание не состоялось.

«Дорогая Тамара Владимировна! От всей души поздравляем Вас и Кому с выдвижением его кандидатуры в члены-корреспонденты Академии наук. Как это справедливо, заслуженно, целесообразно — на пользу советской науке, чтобы в старые тигли филологии влилась молодая, смелая, мудрая, творческая кровь поколений, за которыми будущее.

Пишем Вам накануне Октябрьских праздников и желаем здоровья Вам и себе. Верстки «Кремля». Утверждения Комы в списке кандидатов, а потом и избранников. Верим, что так и будет.

У нас ничего особенно радостного нет. Нина начала подражать своему ветхому мужу, заслуженному гипертонику республики, и тоже стала на этот, не весьма славный путь. А я делю свое время между артритом и гипертонией, что не является лучшим времяпрепровождением. Кончается мой трехмесячный отпуск. Должен с 10-го идти в энциклопедию, браться за труд, мне явно уже непосильный. Видно, не найдут мне заместителя, ибо на мои просьбы пока не реагируют. Живем то на даче, то в Киеве. Ведь надо в поликлинику бегать.

Хотели позвонить Вам, но боялись, что потревожим Вас, что Вы к телефону подойдете. Ведь у Вас еще постельный режим? Господи, неужели? От всей души желаем Вам и всему Вашему многочисленному роду здоровья и счастья.

Ваши Нина и Микола.

2.XI.81».

Усталость,

простая усталость

старого человека,

лежать и года свои слушать
в ночной тишине напряженной, невольно
узелки размотанных воспоминаний¹.
перебирая

* * *

Но кроме болезней и всяческих огорчений случаются ведь в жизни и радостные события, а также и такие примечательные даты, как выходы в свет книг.

Микола Платонович всегда присылал мне свои книги с трогательными дарственными надписями. Поэму о Деборе я читала в подлиннике со словарем.

* * *

Настала наконец пора, когда Микола Платонович и в стихах выразил свои дружеские чувства к Всеволоду. Он вспомнил и шиповник, привезенный из Переделкина в Конча-Заспу, по весне и тут и там обильно цветущий. Вспомнил Бажан и совместную со Всеволодом поездку в Суздаль и в храм на Нерли.

«Дорогая Тамара Владимировна!

Думаю, злюсь, сомневаюсь, — ничего не могу сказать о том, что написал на память о Всеволоде Вячеславовиче. Я давно надумал этот стих, еще когда цвел шиповник, привезенный нам от Вас Комою, но написал сейчас. Хочу, чтобы он был у Вас к юбилейному вечеру, поэтому спешу отправить, даже не перепечатав его, чтобы сегодня, в субботу, не искать машинистки и не ждать. Если стих покажется Вам достойным, то буду рад. Его тогда мог бы кто-нибудь из украинцев прочитать на вечере — ну, может быть, такой режиссер Лесь Танюк. ... Если этого делать не следует, то можно попытаться уговорить хорошего переводчика, Якова Александровича Хелемского ...

Что же, не прозвучит стих на вечере, — я его по-украински напечатаю и пришлю Вам, а тогда и о русском переводе можно будет подумать. У нас дома ничего нового и хорошего нет. Брат Нины не чувствует себя лучше, сама Нина простудилась, а я покорно глотаю адельфаны и гемитоны, не ожидая от них помощи.

¹ Микола Бажан. Поэма «Ночные раздумья старого мастера» (перевод И. Шкляревского).

Письмо это придет, конечно, после Вашей славной даты¹. Хочу повторить то, что говорили Вам в телеграмме, которую сейчас посылаем: любим Вас и гордимся дружбой с Вами, такой поразительной, красивой и мудрой женщиной, не поддающейся никаким подлым козням старости.

Кланяемся Вам низко и целуем.

Ваши *Нина и Микола Бажаны. 16.I.80*».

«Дорогая Тамара Владимировна! Дай бог, Новый год придет и для всей земли, и для нас с Вами более светлый, чем уходящий старый. Боли и горя в нем было предостаточно. Пусть же Новый компенсирует хоть немного большими порциями радости и здоровья нас самих и наши семьи. Целуем Вас крепко, желаем Вам и всему Вашему многочисленному роду добра и счастья. Напечатал я стихи, посвященные Всеволоду Вячеславовичу. Перечитываю его повести. Нет, достойной оценки он еще не дождался. Что слышно с печатанием «Кремля»? Неужели одного перестраховщика хватает, чтобы задержать большое, мудрое, такое необходимое для истории литературы творение? Ох... Посылаю Вам газету со стихом. Нина и я крепко Вас целуем.

Ваши *Нина и Микола.*

12.XII.1980».

Роман вышел в конце 81-го года.

В открытке (январь 1982 года) Микола Платонович пишет:

«Дорогая Тамара Владимировна! Так правильно, что неустанные Ваши заботы о написанном Всеволодом Вячеславовичем приносят советской литературе такую вещь, как «Кремль». Вот если бы еще хватило у Вас сил на то, чтобы добиться издания романа «У». Мне этот роман кажется превосходным и начинающим то течение в советской русской прозе, которое обычно именуют «гофманиадой». Ведь написан роман «У» раньше, чем «Мастер и Маргарита». Прошу Вас, проверьте даты. Ей-богу, это не просто мой личный интерес, а нужные поправки к истории.

Целуем.

Ваши *Нина, Микола*».

¹ Мое восьмидесятилетие совпадало (при недельной разнице) с восьмидесятипятилетием со дня рождения Всеволода.

Последний раз я видела Бажана на банкете в ЦДЛ — в день вручения ему Ленинской премии.

Микола Платонович и тут, произнося тост за тех друзей, которых уже нет с нами, опять говорил о романе Всеволода «У», его особом месте в истории советской литературы и о необходимости издания.

Стихотворение «Белый цвет шиповника» перевел Кома. На вечере в ЦДЛ оно прозвучало и на украинском, и на русском языках.

Комин перевод одобрили и Нина и Микола Платонович.

ПАМ'ЯТИ ВСЕВОЛОДА ІВАНОВА

Шипишни білий цвіт
У знов зсяяв цвіт — кущ білої шипишни,
Привезений сюда з околиц Підмосков'я,
Дарунок друга, — він підісся гордовитий.
.....
Мы прибрели сюда, до звіддлік
И так побачили славетний храм на Нерли.
.....
Мій друг ввійшов, і змовк, і вразився і втопив
Свій взір допитливий в закрєплені навіки¹.

А для меня на века (пусть век мой уже и недолог) любимы и дороги Нина и Микола Бажаны.

И для всех людей на земле, кто соприкоснется с его творчеством, навеки славно имя поэта-человека Миколы Бажана.

¹ Газета «Литературная Украина», 1980, № 97, месяц 5.



Александр Александрович Крон

Начнешь вспоминать об умершем друге, и вдруг с совершенной отчетливостью всплывают дата и обстоятельства первого знакомства.

Но так происходит далеко не всегда.

Скажем, я никак не могу восстановить в памяти, когда именно познакомилась с Александром Александровичем Кроном и его женой Лизой.

Вероятно, переход от знакомства к дружбе состоялся в то совместное пребывание (1954 год) в Коктебеле, с которого Крон начинает свои опубликованные не единожды воспоминания о Всеволоде Иванове.

Крон очень хорошо передал атмосферу непринужденности и раскованности, установившуюся тогда в Коктебеле, как бы воскрешая лучшие традиции дома Волошина.

К описанным Кроном прогулкам и шарадам мне хочется добавить придуманный и осуществленный самим Александром Александровичем розыгрыш — тоже совсем в волошинском духе.

Стоит напомнить о знаменитых мистификациях Волошина, придумывавшего с гостившими у него друзьями (никогда не существовавшую) поэтессу Черубину де Гобриак или писавшего, опять же коллективно, от имени Марии Павловны Кудашевой (с ее участием) письма трем тогдашним мировым знаменитостям — писателям Уэльсу, Шоу и Роллану.

Уэльс на письмо не ответил. Шоу ответил шуткой. Роллан «клюнул» всерьез, настолько всерьез, что Мария Павловна вскоре отклонила участие в переписке «шутников». А став-

шая ее личной переписка с Ролланом приняла столь глубокий смысл, что закончилась их браком.

Ничего столь выдающегося розыгрыш Крона не произвел, всего лишь приятно повеселил всех живших в Доме. Тогда, в Коктебеле, сложилось несколько разнородных компаний, но был один человек, который умудрился стать членом всех этих компаний. Некий Т. — издательский работник из Ленинграда поражал всех своей способностью везде успеть, ничего не упустить, всем дамам, любого возраста, сказать уместный комплимент и при случае подарить цветы.

Накануне отъезда Т. его «проводжали» (а как могли бы не «проводать», когда он всюду разнес заранее вино и фрукты?!), одновременно в нескольких компаниях, а он, всем на удивление, порхал с одного «проводавшего» его балкона на другой.

* * *

В Доме тогда был обычай класть приходившую поздно почту около тарелки отдыхающего — к ужину.

И вот после отъезда Т. все дамы начали получать от него телеграммы с дороги. Телеграммы весело оглашались и вслух обсуждались.

У меня случайно сохранилась одна такая телеграмма (уже из Москвы, а до тех пор телеграммы шли со всех узловых станций железной дороги).

Вот текст телеграммы:

«Планерское, Дом творчества Коктебель. Ивановой.

Вспоминаем вспоминаю наши встречи пью ваше здоровье оставшихся друзей Т.».

Текст телеграммы у всех, кто их получал, — а получало, как уже сказано выше, все женское население Дома, — был разный. Телеграммы были на бланках, но заполнены даже для несовершенной коктебельской почты как-то уж чересчур небрежно.

Однако никого небрежность не настораживала. Все были уверены, что это действительно Т. изощряется и разоряется на посылку телеграмм.

И вот, когда телеграммы пришли уже из Ленинграда, Крон наконец признался, что это он, запасшись на телеграфе бланками, сфабриковал все те телеграммы, что вот уже неделю веселили за ужином всех жителей дома.

Впрочем, я несколько преувеличила безбидность этого розыгрыша, ибо, когда карты были раскрыты, стало очевид-

ным, что одна из дам в игре не участвовала, то есть, получая, как и все прочие, телеграмму, она принимала ее, очевидно, всерьез и поэтому не обнаруживала.

Когда это стало для всех очевидным, Александр Александрович проявил себя истинным джентльменом, он тут же заявил во всеуслышание, что эта дама, единственная из всех, сразу разгадала подложность телеграмм и именно поэтому не приняла участия в коллективной шутке и не оглашала адресованных ей персонально телеграмм.

Боже мой, как давно это было и какими молодыми были все мы, даже и мы со Всеволодом, — хотя и старше всех остальных, но тоже какие еще (относительно, конечно) молодые!

А по возвращении в Москву мы уже регулярно встречались с Кронами.

* * *

Когда я перечитываю сейчас письма Александра Александровича, так живо себе его представляю, возникает чувство, как будто беседую с ним. Но еще более живым встает он передо мной со страниц своего последнего, опубликованного уже после его смерти романа «Капитан дальнего плавания».

Внешне все — о герое повествования, но в подтексте этого прекрасного произведения читаю о самом Кроне.

В романе о Маринеско учтены с безукоризненной достоверностью все перипетии сложной жизни героя, а в подтексте не могу не уловить и сокровенную автобиографию души автора повествования — писателя Александра Крона. Я — не литературовед и ни в коем случае не задаюсь намерением анализировать творчество Крона. Говорю о нем лишь с позиции читателя, который имел честь и счастье быть другом писателя.

Когда я прочитала в «Новом мире» начало «Бессонницы», я позвонила утром Александру Александровичу и сказала: «Какая интересная беседа состоялась у меня с Вами сегодня ночью!»

Если, читая, слышишь (за кадром) живой голос хорошо тебе известного писателя, это производит совсем особое впечатление.

Казалось бы, мысли тебе уже известны, вся направленность мышления неоднократно сопережита, но воплощенное творчески все ранее слышанное углублено, сконцентрировано, сфокусировано. В разговорах те же мысли как бы растекались по поверхности многотемья, а в творчестве предстают с потрясающей тебя емкостью и убедительностью.

Письма редко можно приравнять к творчеству. Чаще всего это — лишь конспект. Ведь в большинстве случаев письма пишутся наспех, если только не посвящены какой-то определенной, к тому же существенно важной теме.

Поэтому письма часто нуждаются в расшифровке применительно к моменту их написания. И тем не менее любое письмо — это стенограмма характера человека, его написавшего.

Очень жалко, что эпистолярный жанр, как это многими неоднократно отмечалось, отмирает. Особую нелюбовь к писанию писем проявляют почему-то женщины.

У меня, скажем, хранятся письма (от дружественных супружеских пар) в большинстве мужские, а не женские. Обычно женщины передоверяют «письменность» мужьям.

И соответственно мужья передоверяют женам телефонные разговоры. Редко встретишь мужчину, способного часами говорить по телефону. Всеволод, например, телефона попросту избегал, у него была настоящая телефонофобия. Настолько отчетливо выявленная, что, едва научившись говорить по телефону, сын Кома, подбежав на звонок, кричал (прямо в трубку): «Папа, ты дома или тебя нет?»

* * *

Всеволод и Крон долгое время заседали вместе в приемной комиссии СП, где Всеволод был председателем.

Александр Александрович шутливо показал мне подобранную им коллекцию записок Всеволода такого сорта: «Вы, случайно, не помните моего домашнего телефона?»

Всеволод действительно никогда не мог запомнить ни одного номера телефона (даже своего собственного) и вообще старался елико возможно меньше телефоном пользоваться.

Спешу заверить всех, кто прочитает мои соображения, в полезности и приятности переписки, которую неправомерно подмяли под себя телефонные разговоры.

Разговор — сотрясение воздуха.

Переписка — важный фактор общения, который (если бережно — а это необходимо — к нему относиться) остается не только для непосредственно переписывающихся, но и для их потомков, не просто в семейном, но историческом плане.

Глубоко сожалею, что далеко не со всеми своими друзьями я переписывалась. Думаю об этом как о ничем не восполнимой утрате.

Неопровержимая истина, что друзья познаются в беде, стопроцентно приложима в моем случае к Кронам. И к Лизе, нежно меня опекавшей, и к Александру Александровичу, который не просто стал, по моей просьбе, членом Комиссии по литературному наследству Всеволода, а был, по существу, единственным (если не считать Бажана) ее полноценным членом.

Микола Платонович Бажан жил не только в другом городе, но даже в другой республике, поэтому его вклад в работу комиссии хотя и имел значение огромное, но был однороден. То есть он читал все неопубликованные при жизни Всеволода его произведения и давал на них подробный, квалифицированный письменный отзыв.

А Александр Александрович Крон, единственный из всей, вначале весьма многочисленной, комиссии (пятнадцать человек из которой умерли за истекшие со смерти Всеволода двадцать с лишним лет), еще и ходил со мной в случае надобности по инстанциям.

Навсегда запечатлена в моей душе сцена, как я иду в Госкино, назначив предложившему сопровождать меня Крону свидание в Гнездниковском переулке у проходной.

Крон пришел раньше меня и уже стоял у проходной, когда я туда подошла, но я взяла его за руку и отвела в сторону. У меня было так тяжело на душе (потом я постепенно привыкла ко всяческим проволочкам и не прямым, а «каверзным» отказам). Тогда дело шло о бесконечном перекидывании из одной инстанции в другую вопроса о постановке кинокартины по мотивам «Бронепоезда». Сценарий был написан Всеволодом по договору с «Мосфильмом».

Я не ждала ничего хорошего от предстоявшего совещания (знала заранее отрицательное «мнение»), но не могла себе позволить сдать без боя.

Отведя Крона в сторону, я, по-бабьи, поплакала у него на плече, а потом сказала, вытирая слезы: «Ну, а теперь идемте».

Абсолютно не могу вспомнить ни фамилий, ни внешнего облика тех чиновников от кинематографии, которые, «признавая важность и ценность сценария», не могли подыскать «достойного» режиссера для воплощения «такого» сценария.

Но вот усилия Александра Александровича вывести их на чистую воду я никогда не забуду. Это было еще самое начало моего «крестного пути» по воплощению в жизнь не напечатанного при жизни творчества Всеволода Иванова.

Когда обсуждался в издательстве «Художественная литература» состав первого посмертного двухтомника произведений Всеволода Иванова, тогдашний директор издательства Валерий Алексеевич Косолапов созвал у себя в кабинете редакторов-текстологов и членов Комиссии по литературному наследству Всеволода Иванова.

Речь шла о том, какие варианты предпочитать для переиздания: первые ли, выдержавшие не одно издание, или же последние, подвергавшиеся не единожды пристальной редакции.

До какой-то степени нам уже пробило дорогу вышедшее в этом же издательстве «Собрание сочинений» Лидии Сейфуллиной. Там после тщательной проверки было принято решение вернуться для переиздания к первым вариантам.

Член нашей комиссии Виктор Борисович Шкловский не смог присутствовать на заседании, но прислал Валерию Алексеевичу письмо, которое было оглашено. Письмо это я уже приводила ранее. Оно произвело на всех присутствующих, начиная от Валерия Алексеевича, которому было адресовано, сильное впечатление.

Единодушно высказывались мнения о необходимости вернуться к первым, не «заредктированным» вариантам произведений Всеволода Иванова.

Александр Александрович Крон выступил очень горячо. Он сказал:

— Я сейчас только тем и занимаюсь, что восстанавливаю в своих пьесах неправоммерно выброшенные или искаженные тексты. Всеволод Вячеславович не успел сам проделать такой очистительной работы, поэтому на нас — членах Комиссии по его литературному наследству — лежит ответственность за восстановление перед читателями подлинного творческого лица Всеволода Иванова.

Это, разумеется, не стенографическая запись сказанного тогда Кроном, а смысл его речи в таком виде, как он мне запомнился.

Для Александра Крона, как и для Всеволода Иванова, редаKTура была ахиллесовой пятой. Не могу забыть страдальческие его переживания, которыми он делился со мной в период редактирования «Бессонницы» (хотя редактором была доброжелательно и дружески расположенная к нему женщи-

на). «Хуже болезни, — говорил Александр Александрович, — необходимость вносить изменения в свой текст по совету редактора».

Одной лишь его жене Лизе удавалось подбодрить и успокоить мужа. Но и она жаловалась на трудность удерживать его «от срыва», от ссоры с самым благожелательным редактором. Но пусть иногда и жалуясь, Лиза, невзирая на свою болезнь, не покладая рук изыскивала средства для «амортизации» тяжелого для Крона редакционного периода.

Мне такая реакция Крона на работу с редактором, по аналогии с реакцией Всеволода, была очень понятна и близка. Меня, при полном моем сочувствии, даже радовало то, что Крон пытается «не поддаваться», как это (увы!) делал под конец жизни Всеволод. Но без каких-то уступок все равно ведь не обойтись, и тут умиротворяющая роль Лизы была бесценна.

* * *

В самом начале деятельности Комиссии по литературному наследству Всеволода Иванова было принято решение предлагать к изданию тот вариант (если вариантов, доведенных до конца, имелось несколько) неопубликованного при жизни автора произведения, за который, по прочтении, выскажется большинство членов комиссии.

Первым был мною размножен и роздан на отзыв всем членам комиссии роман «Вулкан», имевшийся в двух вариантах.

Отзыв А. А. Крона приведен мною в первой части книги.

Всеволод скончался 15 августа 1963 года. Из даты обсуждения — 2 декабря — явствует, что за первые три месяца своего существования комиссия уже проделала большую работу.

Крон был бескомпромиссно честным человеком, безупречным коммунистом.

Как бы ни складывалась его литературная судьба, он всегда оставался неизменным.

Взяв на себя общественные обязанности, он выполнял их неизменно ответственно и нелицеприятно.

Никогда не слышала я от него ни слова злопыхательства. Принципиальное же несогласие он высказывал сдержанно, корректно, с достоинством и незамутненным сознанием своей правоты, ибо не формально, а всей своей жизнью, мировоззрением и жизнедеятельностью доказывал верность основным принципам партии большевиков, членом которой он был.

Меня можно спросить, почему это я, беспартийная, придаю такое большое значение безукоризненной честности Крона именно с партийной точки зрения.

Я отвечаю: потому что на своем длинном веку я навидалась всяких партийцев, в том числе и таких, которые с трибуны провозглашали одно, а деятельность их противоречила их же словам.

Цельная, бескомпромиссная натура Крона вызывала мое глубокое уважение и даже преклонение.

* * *

Сближение мое с Лизой и Александром Александровичем Кронами шло все интенсивнее по мере безотказного включения Александра Александровича в дела комиссии.

Весной 64-го года я поехала в Ялту со своим другом художником Валентиной Ходасевич. Получила сразу по приезду письмо от Крона.

«20/IV 1964 г.

Дорогая Тамара Владимировна, мы просто счастливы, что крымская природа нашла доступ к Вашему сердцу и Вы хоть отчасти отвлечетесь от Ваших горестей и забот.

Если в довершение к весне, солнцу, деревьям, птицам около Вас приятные люди — то совсем хорошо.

Насколько нам известно, в Ялте сейчас Каверин — привет ему от нас обоих.

В Москве сейчас тоже тепло, но по-московски. Приезжал из Ленинграда мой редактор, и всю последнюю неделю я возился со II частью романа¹. Первая на днях уйдет в набор, а третью я буду дописывать в Ленинграде, куда мы собираемся выехать в конце месяца. Е. А.² проведет там майские праздники и вернется в Москву, а я застряну надолго.

Все наши подопечные от 7 до 90 лет — тьфу, тьфу, — здоровы.

В Москве гастролировал Королевский Шекспировский театр со Скофилдом, очень хотелось посмотреть «Лира», но для этого надо было много суетиться и унижаться перед разными чиновниками. А на это нет ни сил, ни охоты. Е. А. была сегодня на выставке художника Николая Фешина.

¹ Роман «Дом и корабль».

² Елизавета Алексеевна — жена Крона.

Я о его существовании слышал, но как-то очень смутно. Он ученик И. Е. Репина, уехал в 21-м году в Калифорнию лечить туберкулез, вылезился и осел в Америке. Умер он недавно в Ницце, избранный президентом Академии художеств. На выставке были только ранние картины (до 1921 г.), и только часть графики, полученная из США, относится к более позднему периоду. Е. А. говорит, что это первоклассный художник, и требует, чтобы я тоже пошел на выставку.

Больше никаких событий как будто не произошло.

На днях выезжают в Ялту Данины. Зять Л. А. Гринкурга¹ Сережа Иванов едет на 8 месяцев в Лондон корреспондентом ТАСС. Вчера мы его провожали и немножко пошумели.

А вообще — тихо.

Если будет время и желание — черкните еще весточку. Обнимаем Вас.

Ваши Кроны».

Александр Александрович пишет «подопечные от 7 до 90 лет». 7 лет было тогда внуку Елизаветы Алексеевны Саше, который летом всегда жил у Кронов в Переделкине. А 90 — ее родителям, с которыми Лиза тоже не расставалась.

* * *

Очевидно, для переписки необходимы не только дружеские чувства, но и еще какой-то стержень — общие интересы и планы их осуществления.

Доказательство — самая обильная переписка Всеволода последних лет его жизни с Василием Григорьевичем Никоновым, читинским писателем, который сопровождал Всеволода в его странствиях по нехоженным местам и непроходимым порожистым рекам Читинской области.

От Крона (при жизни Всеволода) писем нет. Есть, скажем, радиограмма, полученная нами на борту «Грузии», когда мы в 1958 году совершали круиз вокруг Европы.

«Москва 3474 14 15/5 II 20

ТХ Грузия писателю Всеволоду Иванову

Шлем Вам Тамаре Владимировне сердечный привет желаем счастливого плавания. Кроны».

Наберется еще, конечно, немало поздравительных открыток и телеграмм.

¹ Лев Александрович Гринбург был мужем Лизы до Крона.

А вот мне, овдовевшей, уехавшей из Москвы, письма от Кронов приходили всегда, и не только из дома, но почти из каждой их поездки куда-нибудь.

Много раз я ездила вместе с ними в Ялту.

Первая совместная наша поездка состоялась, по-моему, в 1966 году.

Отдыхать Кроны ездили много лет подряд совместно со своими ленинградскими друзьями: Ксаной и Израилем Моисеевичем Меттерами. Ксана носила фамилию Златковская и долго была, по уверению Валентины Ходасевич, «златокудым украшением ленинградского балета».

По причине, оставшейся для меня нераскрытой, Кроны, как и прочие друзья, звали Израиля Моисеевича Сёликом и их вкуче с Ксаной — Сёликами.

Так Израиль Моисеевич и письма свои подписывал, когда писал их мне.

Когда я впервые осенью 66-го года поехала в Ялту с Кронами, где они, как у них было заведено, должны были встретиться с Сёликами, Лиза, по-моему, не признаваясь мне в этом открыто, побаивалась, как бы я не оказалась «третьим лишним» в их компании.

К счастью, этого не случилось. Я очень быстро с Сёликами сдружилась. И в какой-то общий (весьма скромный, иное не только мне, но и им всем было не по здоровью, хоть они и моложе меня на добрый десяток лет) «загул», в ресторане под названием не то «Имба», не то «Хижина», Сёлик признался: вначале-де он меня «побаивался», но быстро понял, что я — «в доску свой парень».

По поводу второго издания книги воспоминаний о Всеволоде Крон пишет мне в письме от 3 ноября 1973 года, жалуясь, из Ялты, что нездоровье мешает ему работать: «Работа стоит — отсюда ощущение беспокойства и какой-то вины».

Среди прочих маловажных сообщений: «Здесь К. Г.¹ Видим мы его часто, но мельком. Он очень слаб и быстро утомляется. Недавно он с большой нежностью вспоминал о Всеволоде Вячеславовиче».

Рад, что Вы успешно поработали, и готов принять эстафету. Очень хочется прочитать Ваши воспоминания. Не берусь судить, не читавши, но мне кажется, что писать от первого лица естественнее (я сообщала, что попробовала

¹ Константин Георгиевич Паустовский.

писать не от первого лица, называя Всеволода — он, а себя — она, и озаглавив «О нем и о себе», — этот опыт мне не удался).

Е. А. шлет Вам привет и обнимает, а я целую Ваши руки и рассчитываю скоро увидеться на Лаврушинском или на Кутузовском.
Ваш А. Крон».

Это писалось до выхода книги, а после ее выхода, в 1975 году, 6 февраля, из Москвы в Дубулты:

«Дорогая Тамара Владимировна! Отдыхайте, и пусть Вас не беспокоят этих глупостей. (Как составитель я предлагала Крону, при переиздании, просмотреть его текст, он отказался, надеясь на верстку, а издательство ему ее не послало.) В моей статье огрехи минимальные. Это я виноват, когда Вы спросили меня, хочу ли я что-нибудь менять, я понял это в смысле выкинуть или дописать (...). Из-за сильных морозов без крайности не высовываем носа на улицу. Но завтра придется поехать к Дрейдену (Симон Давыдович Дрейден, по моим наблюдениям, был самым близким из московских друзей Александра Александровича; когда бы ни зашла я к Кронам, всегда заставала у них Дрейдена, чаще всего играющим с Кроном в шахматы). Он дает бал по случаю своего юбилея. (...) Лиза читает сборник. Просит передать, что ей понравился Антон¹ (...) А. К.».

В то же мое пребывание в Дубултах еще письмо с перечнем, кто и чем болеет. «Лиза начала лечиться в ЦТО у врача, занимающегося иглоукалыванием, он ее пока не колет, а прилепляет к ногам какие-то круглые пластинки, вроде пятаков, и Лиза говорит, что от этого ноги болят меньше. (...) Обнимаем и ждем. Ваш А. К.».

И опять о сборнике (...) «Читать мне некогда, но я все-таки прочел все новое, что вошло во второе издание. Воспоминания членов семьи очень его украсили.

Просмотрел собственную статью и пожалел еще раз, что не исправил то, что уже исправлено в других изданиях, мои собственные ошибки, и заодно отверг бы редакторское вмешательство, очень, впрочем, незначительное. (...) Получил письмо от Меттера. Студия приняла его сценарий, но Москва цепляется. Конечно, он нервничает. Вероятно, придется

¹ Антон Иванов — сын моей дочери Тани.

ехать в Москву. Приятно, что повидаемся, но повод огорчительный. (...) Лиза Вас обнимает, а я целую руку.

Ваш *А. Крон*».

* * *

В 70-м году мне исполнилось семьдесят лет, и я этот «юбилей» отмечала, собрав на Лаврушинском всех имевшихся к тому времени друзей.

Из Ленинграда приехали Меттеры и Нюша Никритина, бывшая артистка Большого драматического театра, вдова поэта Анатолия Мариенгофа, они оба — Никритина и Мариенгоф — были близки со Всеволодом еще со времен их общей дружбы с Есениным. Когда мы с Нюшей обе овдовели, сошлись особенно близко. Она приезжала ко мне в Москву и погостить в Переделкине.

К глубокому сожалению, и Александр Александрович, и Лиза все чаще и чаще тяжело болели, но изобилующими в письмах описаниями болезней не хочется заслонять очень светлый для меня и объективно жизнерадостный, расцветавший при малейшей на то возможности нрав Александра Александровича.

Но даже и в описании болезней, когда привнесен юмор, — становится легче.

Легче и переносить болезни, и читать о них.

Так, после очередных перечислений всеобщих болезней в своей семье и вокруг нее, Крон пишет:

«Лиза сегодня ездила в ЦИТО — начинает лечиться иглоукалыванием у тамошнего новомодного мага. Ванны — само собой. Я — за. В ее положении пренебрегать ничем не следует. Я рассуждаю как трубач из «Егора Булычова»: «А пес его знает, может, она и помогает...»

И тут же: «...говорил сегодня по телефону с Меттерами. У них все благополучно. Скоро выйдет на экраны его фильм. (...) Лиза Вас целует, а я почтительно прикладываюсь к ручке. Ваш *А. Крон*».

* * *

Весной 74-го года я провела два месяца в Париже. Жила неподалеку от знаменитой улицы Монж, на которой дважды в неделю раскидывался тогда необыкновенно пестро кра-

сочный рынок, где были представлены все возможные и невозможные яства, товары всех стран и люди всех цветов кожи и самых невероятных сочетаний одежды.

Я послала Лизе и Александру Александровичу цветную открытку с изображением этого рынка.

Получила ответ:

«10/IV-1974 г.

Дорогая Тамара Владимировна, простите за скромную открытку, никак не мог достать подходящей, например с изображением нашего Дорогомиловского рынка. Радуемся, что Вам хорошо и интересно. У нас все по-старому, на даче идет ремонт, и есть надежда, что в мае мы переедем. 13-го приезжают в Москву Сёлик и Ксюша. Надеюсь, до их приезда вчерне кончить роман и устроить себе антракт и заслуженный отдых. Лиза лечится скипидарными ваннами, о результатах говорить рано. Нюша¹ в больнице — сердечная астма. (...) Передайте, пожалуйста, мой привет Саррот², Познеру³.

[...] Время бежит быстро. Скоро мы увидимся в нашем тихом Переделкине. Мы с Лизой Вас нежно обнимаем и желаем здоровья. Пишите. А. К.».

* * *

Привыкнуть к пресечению жизни друзей — невозможно.

Ничто и никто не может заменить для меня Александра Александровича Крона. Он помогал мне и реальным сотрудничеством в моих хлопотах по изданию неопубликованного Всеволода Иванова, помогал и дружескими советами, а иногда просто пониманием и сочувствием.

С юмором старался меня «утихомирить», когда я бурно реагировала на какое-нибудь общественное событие или возмущившие меня антихудожественностью и фальшью фильм, спектакль или книгу.

Крон ласково говорил: «Уймись! У вас бульдожий прикус — мертвая хватка, выпустите вы его (или ее) из зубов, не утомляйтесь».

¹ Тут не могу не отметить, что Александр Александрович был необыкновенно верным другом и относился с особой внимательностью к друзьям, заболевшим ли, попавшим ли в какую-либо беду. Скажем, Нюше Никритиной всегда писал письма, лишь только узнавал о ее болезни.

² Крон подружился с ней, когда она гостила у меня в Переделкине.

³ Владимир Познер — французский писатель. В 60-е годы он с женой Идой и сыном Андреем часто приезжали в Москву.

Я смеялась, но «выпустить из зубов» мне было трудно. Облегчало лишь высказанное возмущение, а еще лучше — к тому же и написанное, пусть положенное в стол, но все же закрепленное на бумаге.

Самая неверная из расхожих истин гласит, будто не бывает незаменимых людей. Каждый человек, если он сознательно или в силу болезни не исключил себя из среды живых, хоть для кого-то да незаменим.

Но такие люди, как Крон, человечески незаменимы не только для самых близких — жены, детей, внуков, — но и для многочисленных друзей, из которых лично я никак не могу изжить эту утрату, утрату моего всепонимающего друга Крона.

И даже чем больший срок проходит со дня его кончины, тем острее ощущаю я его незаменимое для меня отсутствие. Нет другого, у кого могла бы я встретить такое умное, пусть порой и сдобренное иронией в мой адрес, всепонимание и желание быть дружественно полезным.

Александр Крон-писатель жив и будет жить в романах, пьесах, статьях — во всем объеме своего талантливом творчестве, носящего совершенно точный отпечаток его бескомпромиссно благородной личности.



Петр Леонидович Капица

Что могу я рассказать о знакомстве с Петром Леонидовичем Капицей?

Такие люди, как он, сами по себе — чудо.

Как описать чудо? Не под силу мне это. Так думала я каждый раз, когда один лишь вид положенного перед собой листа бумаги уже внушает страх.

Моя жизнь изобиловала такими (и не только такими) чудесами, непрестанно сталкивая с самыми замечательными моими современниками.

Не говоря уже о том, что я стала женой Всеволода Иванова и прожила с ним тридцать шесть лет, я близко знала целую плеяду удивительных, редкостных людей, каждый из которых в своей области и по-своему был талантлив творчески и неповторим по строю жизни.

И вот ко всем этим редкостным людям прибавилось и еще двое необыкновенных людей — Петр Леонидович и Анна Алексеевна Капицы.

Я ведь не могу не посчитать за чудо и то, каким образом мой покойный муж Всеволод Иванов и я познакомились с Анной Алексеевной и Петром Леонидовичем Капицами.

Конечно, понятие «чудо» можно заменить на «случай», когда происходит непредвиденное стечение обстоятельств или непредсказуемое совпадение совсем не соответствующих друг другу фактов. И все же...

Произошло это весной 1951 года. Весна стояла на редкость пышная, щедрая. Мы поехали навестить одну нашу знакомую. Паломничество это омрачалось (в особенности для меня;

Всеволод был более терпим к людям) отрицательными эмоциями, которые вызывал в нас муж этой женщины.

Именно он (про которого, узнав, что он вышел сухим из пренеприятного положения, Петр Леонидович впоследствии скажет: «Ну это уже перебор») привез нас к Капицам.

Когда мы заканчивали свой визит к его жене, он сказал: «Я еду сейчас к Капицам, помогаю Андрею¹ моторную лодку мастерить, везу недостающие детали. Едемте вместе. Вам это по дороге в Переделкино, а Капицы живут уединенно — свежим людям обрадуются».

Мы много слышали о Капицах. Знали, что Петр Леонидович, что называется, «не у дел» и живет безвыездно на Николиной Горе, героически отказавшись (буквально рискуя жизнью) от неприемлемого для него сдвига в своей научной деятельности и теперь отстраненный от директорства в институте; не сдаваясь и не желая отступить от намеченного себе пути, вынужден производить опыты в приспособленной под лабораторию сторожке.

Всеволоду давно хотелось познакомиться с Петром Леонидовичем, но по свойственной ему застенчивости он никогда не шел на знакомства первым. А тут — такой непредвиденный случай. Всеволод согласился ехать незванным к Капицам.

С первого же взгляда Петр Леонидович и Всеволод, что называется, «нашли» друг друга.

Привезшего нас к ним человека впоследствии мы никогда больше у них не встречали. Он побывал в их доме случайно, и случайно именно он познакомил нас.

Разумеется, я не могу говорить о Петре Леонидовиче как об ученом (ибо ничего не смыслю в физике), а всего лишь как о человеке, с которым встречалась.

Но, по-моему, в том и секрет жизненной гармонии, когда не отличишь, где у человека кончается творческая его работа, где она незаметно (вероятно, даже для него самого) переходит в быт.

Кроме научных поисков, которым посвятил свою жизнь Петр Леонидович, он интересовался и искусством, и литературой.

Всегда покровительствовал не только молодым физикам, но и художникам.

Душевный союз с Анной Алексеевной играл тут немаловажную роль. Они взаимно дополняли друг друга. Она,

¹ Андрей Петрович Капица.

будучи по образованию совсем иного профиля, органично вошла в его научные интересы, помогала даже и практически, расшифровывая скоропись его черновиков научных статей. А он разделял ее пристрастия в искусстве.

Когда проводилось торжественное заседание ученого совета, посвященного его памяти, не случайно стены коридора и фойе были увешаны картинами из коллекции А. А. и П. Л. Капиц. Эта коллекция — немаловажная часть жизни Петра Леонидовича.

Да и не одна лишь живопись органически входила в интересы супружеского содружества А. А. и П. Л. Капиц. Например, к премьерам Театра на Таганке оба они относились как к событиям, неразрывно связанным с их собственной жизнью.

Петр Леонидович и литературу любил зачастую как бы сквозь восприятие прочитанного Анной Алексеевной. Хотя тут у него имелся свой собственный, индивидуальный конек — юмор.

Петр Леонидович постоянно просил Всеволода прочитать ему что-либо из неопубликованного, и ближе всего ему были при этом юмор и фантастика.

Всеволод ценил мнение Петра Леонидовича и расцветал не только от его похвал, но прежде всего от той заинтересованной реакции, которую ощущал во время чтения.

* * *

Пристрастие к юмору было вообще одной из характернейших черт Петра Леонидовича. Он очень любил анекдоты, и даже самые глупые по-своему доставляли ему удовольствие, смешая уже не тонкостью юмора, а именно предельной глупостью.

По поводу этого пристрастия к глупому юмору Петр Леонидович сам трюнил над собой.

Позволю себе воспользоваться записями Всеволода (сама я, увы, дневника не вела). Вот одна из записей:

«Засмеявшись, Капица сказал: «Прочитал записки фокусника Гудина. Он говорит, что самая легковверная публика — профессора, а всего труднее проводить фокусы среди матросов».

Приведу еще одну Всеволодову запись:

«Капица без улыбки смотрит на меня и спрашивает: — А вы по воде не пробовали ходить?»

Я отвечаю, что не пробовал, но однажды, желая определить направление течения, я вынул из сапогов самодельные бумажные стельки (а их было шесть-семь и они хранили форму моей стопы). Я вошел в море и разложил их по воде (было необычайно спокойное море) на расстоянии шага друг от друга. Когда я поднялся на берег, мне показалось, что кто-то ушел в море и оставил после себя следы.

Море медленно и бережливо относилось к моим стелькам в сторону, как бы стараясь не потерять нормального расстояния между ними — и тем сохранить правдоподобие...

Капица посмотрел на меня еще внимательнее и сказал:

— Однажды я подумал: мог ли Христос ходить по воде?.. Это произошло со мной очень давно, чуть ли не в студенческие годы.

— И что же?

— Теоретически, конечно, мог. Но он должен был двигаться очень быстро.

— Как?

— Не помню точно формулы. Она у меня не сохранилась. Но помню, что очень быстро. Рикошетом... Он должен был двигаться что-то вроде — со скоростью звука».

* * *

У Всеволода есть даже небольшое юмористическое эссе с послесловием о реакции на это эссе Петра Леонидовича.

«...Главные редакторы Большой Энциклопедии совещались. Встал вопрос: кому заказать довольно крупную статью по физиологии? Ну, естественно, академику N, одному из знаменитых учеников Павлова.

Академик сидел у себя в кабинете. Телефонный звонок. Редактор просит написать статью. «Кому? Какой срок? Сколько страниц? Хорошо. Я напишу». Академик положил трубку телефона и нажал кнопку звонка. Вошел его помощник, скажем Петров. Академик сказал, что нужно не позднее трех-четырех дней подобрать материалы, характеризующие достижения советской физиологии в свете учения Павлова. Обзор на столько-то страниц. Через три-четыре дня помощник Петров принес нужные страницы. Академик отпустил его, прочел написанное, поправил два-три выражения, подписал и отправил в Большую Энциклопедию.

Главный редактор Энциклопедии передал статью N редактору отдела. Редактор, дабы мнение рецензента было более

объективным, зачеркнув фамилию академика N и название статьи, велел перепечатать статью и в таком виде послать ее на отзыв специалисту, какого сочтет нужным выбрать помощник редактора. Помощник редактора, получив статью без подписи и названия, подумал-подумал и послал ее на отзыв академику N.

Академик прочел статью, позвонил. Вошел второй его помощник, скажем Иванов, отличавшийся желчным характером. N сказал, что надо написать отзыв: столько-то страниц, к такому-то числу. К указанному числу второй помощник принес разносный отзыв о статье. Академик его прочел, исправил два-три выражения и отправил в Энциклопедию.

Главный редактор, получив от редактора отдела две совершенно противоположные статьи академика N, в ответ на недоумение редактора отдела сказал:

— Ничего удивительного. По-видимому, в физиологии ситуация изменилась. Самое лучшее — закажите N третью, разъясняющую статью.

Мне рассказал эту историю один знакомый. Я же рассказал ее П. Л. Капице. Через несколько дней он, сверкая своими томными и сочными глазами над иронической улыбкой, сказал:

— А ведь история-то про N — правда! Мне подтвердил ее академик Энгельгардт».

Подружившись с Капицами, мы не только в гости друг к другу ходили и совместно (то у них, то у нас) Новый год встречали, но еще и совершали индивидуальные туристские поездки.

Если ехали по Подмоскovie, то большой компанией — на нескольких машинах.

Вместе отправлялись в Карловы Вары, где вчетвером на предоставленной Петру Леонидовичу машине исколесили чуть ли не всю Чехословакию.

Из знаменитых подвалов Пльзена мы с Анной Алексеевной едва увели своих мужей, потому что обоим чрезвычайно интересно было детально ознакомиться с производством и дегустацией знаменитого пльзенского пива.

Капица не был петрографом, но уважал увлечение Всеволода камнями, поэтому терпеливо выжидал в гранильных мастерских, пока Всеволод не осмотрит все камни и все способы их обработки.

Однажды мы вчетвером (не считая водителей наших машин) совершили такой круиз: Москва — Новгород — Ленинград — Таллин — Псков — Пушкинские места — Витебск — Москва.

Останавливались в гостиницах или у друзей. В Ленинграде и Таллине гостили по нескольку дней. В Витебске, устроив водителей в общежитии при гостинице, в которой не оказалось свободных комнат, сами спали, обратив сиденья в кровать, в своих машинах, загнанных в гостиничный двор.

Все трапезы во время пути всегда проводили на природе, выбрав для отдыха приглянувшийся живописный уголок.

На этих импровизированных пикниках кроме Анны Алексеевны, Петра Леонидовича, Всеволода и меня присутствовали и наши водители. Водитель Петра Леонидовича привык к его необычным речам. Молодой же парень, которого нам рекомендовали в водители перед самой поездкой, совершенно явно не мог скрыть своего удивления, когда Петр Леонидович внезапно спрашивал: «Что такое газетная сенсация? — И тут же продолжал: — Если в газетной заметке сообщается, что кого-то укусила собака, — это просто хроника мелких происшествий, а вот если собака укусила премьера — это некое событие, а повернутое в обратном смысле — собаку укусил премьер — это уже сенсация!»

Петра Леонидовича забавляла реакция именно этого члена нашей компании, поэтому он не отказывал себе в удовольствии именно в расчете на него рассказать глупейший анекдот.

В таких случаях Анна Алексеевна говорила: «Уймись, Петя!»

День рождения Петра Леонидовича становился как бы наглядной демонстрацией широты его интересов. Съезжались на Николину Гору люди самых разных профессий и жизненных взглядов, объединенные лишь взаимосвязью с Капичами.

Мы начали присутствовать на этих днях рождения в ту пору, когда они носили несколько замкнутый характер.

Никакого запрета посещать Петра Леонидовича не существовало. Однако, как я с полной очевидностью уяснила себе впоследствии, большое количество прежних (до его

уединения на Николиной Горе) знакомых и даже друзей Капицы такой запрет положили себе сами, в чем потом, не побоюсь сказать, беззастенчиво публично признавались.

В памяти у меня особо выделяется день рождения Петра Леонидовича, когда в разгар лета, в июле, стоял осенний холод и ливня лил дождь.

Тогда гостей собралось сравнительно мало. Желая повеселить Петра Леонидовича пышным тостом, в преувеличенной грузинской манере, Всеволод произнес совершенно случайно пророческий тост. Он сказал Петру Леонидовичу: сегодня, мол, вас чествует горсточка преданных друзей, а начиная с будущего года число ваших почитателей начнет так возрастать, что дом ваш уже не в состоянии будет их вместить. Вам волей-неволей придется сделать крышу над открытой верандой и в конце концов раскинуть на поляне шатер.

Удивительно, но тост этот взаправду оказался пророческим. Именно так все и произошло.

Когда мы приехали 9 июня на следующий год — едва могли найти место, куда поставить машину.

К следующему дню рождения над верандой действительно уже была сделана крыша, а к семидесятилетию Петра Леонидовича и впрямь был возведен шатер.

Всеволоду посидеть в этом, предсказанном им, шатре не привелось.

Но безудержные приливы гостей произошли еще на глазах у Всеволода.

В самые первые эти приливы Петру Леонидовичу нравилось сажать меня рядом с собой и просить быть тамадой. Я отнекивалась, говорила, что считаю себя недостойной такой чести, к тому же я ведь почти никого из все прибывающих и прибывающих людей не знаю — какой же из меня тамада?

Петр Леонидович в ответ посмеивался и говорил, что имя и фамилию того, кого я должна по его указанию вызвать произнести тост, он мне назовет, а уж форму того, как именно вызвать данного человека на произнесение тоста, я должна сымпровизировать — и тем доставлю Петру Леонидовичу удовольствие. Ничего не оставалось, как согласиться. И вот к моему тогдашнему крайнему изумлению, люди, вызванные мною по желанию Петра Леонидовича произнести тост, делали это иногда в откровенно покаянной форме, то стремясь обелить, а то (у кого какой характер) укоряя себя за отступничество во время вынужденного уединения Капицы. Тогда мне казалось, что Петр Леонидович просил меня

быть тамадой потому, что ему нравился мой громкий голос и четкая дикция.

Потом, поразмыслив, я предположила, что причина тут иная. Ведь я — человек со стороны, никому из тех, кого, так сказать, провоцирую, совершенно не известна, — что с меня взять за дерзновенность.

Перед мысленным взором отчетливо встает многозначительная ухмылка на лице Петра Леонидовича, когда он называл мне очередное имя обреченного им на высказывание гостя. На мой взгляд, он как бы задавал самому себе загадку.

Но вернее всего, никакой загадочности тут для Петра Леонидовича вовсе не было, всего лишь любопытство — правильно ли он заранее определил для себя характер того человека, который будет сейчас публично себя изобличать. Происхождение ухмылки (а не улыбки) я относила к заранее предугаданному тону выступления, которое ожидается Капицей как нечто, скорее всего, юмористическое.

Но вот что меня поражало. По окончании любого тоста на лице Петра Леонидовича неизменно расцветала благожелательная улыбка. Разве что в глазах можно было иногда заметить искорки сдержанных смешинок или же некоторую холодноватую отрешенность.

Мне некогда было задерживаться на собственной своей реакции, которую я (положение обязывает) посчитала за необходимое ни в коем случае не обнаруживать.

Потом, уже дома, я задавала себе, а то и Всеволоду (пусть поможет мне разобраться) вопрос: чем отличается мудрая терпимость от терпимости равнодушия. Всеволод чаще всего трунил над моим философствованием, но иногда вполне серьезно спрашивал: «Задумываешься ли ты над тем, что тот, кто способен все понять, не может с высоты мудрости и не простить. Другое дело — нравственный выбор, — говорил мне Всеволод. — Одного человека можно, поняв, не только простить, но и принять в сердце, потому что в общем-то он — близок по духу, а другой, пусть и прощенный, близким стать никак не сможет — никогда не будет».

Тут не могу не отметить общей со Всеволодом черты поведения Анны Алексеевны и Петра Леонидовича — оба они, как и Всеволод, никогда не занимались пересудами: тот — такой-то, другой — эдакий. Подобного я от Капиц никогда не слышала. А Всеволод не только сам был не склонен к пересудам, но вообще их не переносил и меня, не скрою, иногда одергивал: «Тамара, не впадай в пошлость», — говорил он мне в подобных случаях.

Что можно назвать «состоявшейся» жизнью?

Безусловно, выполнение человеком своего предназначения.

Не зарыл он отпущенные ему природой таланты и способности, а, наоборот, развил их и воплотил на пользу людям и на радость себе самому.

О людях «несостоявшихся» Горький в романтический период своего творчества писал: «Ни сказок про вас не напишут, ни песен про вас не споют».

Петр Леонидович бесспорно принадлежит к тем, о ком и напишут, и «споют».

Еще при жизни он имел памятник, как Герой Труда, у себя на родине в Кронштадте. Имел широкое признание как ученый мирового масштаба.

Но полная гармония состоявшейся жизни ведь не только в том, чтобы максимально использовать свои творческие возможности; есть еще и та часть человеческого существования, которую принято называть личной жизнью.

И только полное слияние отданного людям и испытанного самим можно сопричислить к гармонии состоявшейся по всем параметрам жизни.

Образ Петра Леонидовича не мог бы обрести для меня полной емкости до того, как я сперва услышала (в выдержках) на торжественном ученом совете института, а потом не прочитала бы (Анна Алексеевна дала мне машинопись) писем его к матери.

Письма эти полны такой волнующей сокровенной нежности, что некоторые из них воспринимаются как стихотворения без рифмы.

Письма к матери относятся к той поре жизни Петра Леонидовича, когда я еще не была знакома с ним, поэтому я восприняла бы их как абстрактно-поэтические, узнай их до того, как судьба свела меня, через много лет после написания, с их автором.

Пусть письма матери писал юноша, потом очень молодой мужчина, а я узнала его человеком уже зрелым, много испытавшим и претерпевшим, сокровенная сущность осталась в нем, безусловно, неизменной.

Ее невозможно было не обнаружить, наблюдая гармонию

душевного союза Анны Алексеевны и Петра Леонидовича, которых я лично не могу представить себе в отдельности друг от друга.

У них три сына: два своих и третий племянник (на правах сына). Этот племянник Леня, архитектор, на моей памяти, всегда украшал семейные торжества (заранее составленным) поэтическим экспромтом.

Наверное, объединенные вместе экспромты эти могли бы образовать оду. С юмором написанную оду, воспевающую все перипетии жизни Петра Леонидовича.

У детей А. А. и П. Л. Капиц родились дети. А у их детей — тоже дети.

Анна Алексеевна и Петр Леонидович стали прабабушкой, прадедушкой. Они — родоначальники большого дружного клана.

Гармония — во всем.

Верность науке вплоть до принесения ей жертв, вплоть до риска жизнью.

Верность любви.

Хочется поэзией закончить свои мысли о жизни, которая насыщена ею в самом высоком смысле:

Весна и жизнь вовек непобедимы,
Как верность, честь, надежда и любовь.
Что так разнообразны и едины
В миллионах душ на сотнях языков.

Эти строки стихотворения Миколы Бажана вполне применимы к жизни Петра Леонидовича.

Его жизнь была преисполнена любви, верности и чести!
Слава ему!

▽ О себе самой ▽

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Написала о своих ушедших современниках; но, увы, продолжается уход из жизни не только моих ровесников или тех, кто чуть старше меня, а даже и более молодых.

Пресеклась жизнь Бажана, Крона, Капицы.

Пишу о них.

Почему именно я продолжаю свой земной путь, хотя несколько не боюсь смерти и давно к ней приготовилась?

Однако, приняв неизбежность своего собственного исчезновения с лица Земли как нечто вполне нормально-естественное, а следовательно, и несколько не страшное, я прихожу в ужас при мысли, что может погибнуть сама планета Земля, на которой я пока (то есть весьма ограниченный срок) живу.

Примириться с мыслью о возможной гибели всей людской цивилизации и даже самого рода людского я никак не могу.

Пока планета Земля существует, существуют и все культуры некогда населявших ее людей. Пусть эти культуры на какое-то время бесследно исчезали, но ведь исчезали они только до поры до времени, пока их потомки — земляне — не произвели раскопок, пока, пусть иногда и гипотетически, не расшифровали, не воскресили их. Культура народа состоит из мельчайших составных частей. Все жизни сосуществуют в ней. Буду существовать и я, хотя бы самым крохотным муравьиным следочком в той культуре, которая останется на Земле.

Всякое случалось на нашей старушке Земле, которая с каждым новыми раскопками приобретает все более почтенный возраст, но гамлетовское «быть или не быть», как ни-

когда ранее, встало сейчас с особой глобальной отчетливостью.

При изучении материалов раскопок огромную роль играют письма. Волею случая, если хотите, предначертания судьбы: «В начале бе слово» — во всех раскопках находят нетленные письма. Письменность во всех древних культурах существовала на табличках из разнородного материала, но, заметьте, материал всегда был выбран не поддающийся гниению, гниению.

А на а современная культура, при всей сложности ее механизмов, запечатлена главным образом на бумаге.

Что останется на Земле после атомной войны, если предположить, что ее не удастся предотвратить?

Сейчас человечество обязано подумать: ничто не будет иметь значения, если человек как биологический вид исчезнет. Представить себе такое (мне, по крайней мере) еще труднее, чем бесконечность.

Для того, кто занимается астрономией, это — столь же привычно, как для всех нас фазовые изменения внешнего вида Луны. Мы ведь воспринимаем их как раз навсегда установленное и не ломаем себе по этому поводу головы.

Живое хочет жить. Разум человеческий взывает к ответственности! Отсюда — долой войну! Долой атомное оружие! «Нет, весь я не умру». Такие мысли возникают, по-видимому, у многих современников.

Прочитала в «Правде» сообщение педагога и общественно-го деятеля А. А. Захаренко, рассказывающего, как коллектив его школы: учителя, учащиеся, с привлечением к этому делу их родителей, целый год составляли послание будущим (предположительно к столетию Октябрьской революции — в 2017 году) жителям своего села. Заключили они это послание в большой металлический сейф, вложив в него: «...около тысячи фотографий, магнитофон и записи с голосами людей, встречавшихся с Владимиром Ильичем Лениным, газеты, учебные программы, дневники, ребячьи сочинения, рассказ о местном колхозе «Маяк», подробный план села».

Начинание — несомненно благородное, но не лишенное наивности.

Подобным образом герои Жюль Верна бросали в море бутылки, запечатав в них описание переживаемых ими бедствий. Но они-то твердо надеялись быть прочитанными.

15/1 1986 года, оторвавшись от переделываемых (в который уже раз) своих записей, слушала в программе «Время» Заявление Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила

Сергеевича Горбачева, обращенное к правительствам и людям всей планеты. Воззвание во имя продолжения жизни на Земле. Во имя продления рода человеческого.

Моя попытка оглянуться на 100 лет назад, причем в очень узком аспекте личной жизни, представляется мне после этого еще и куда более наивной.

Преодолевая сомнение, пытаюсь доказать себе, что не столь уж бессмысленна моя попытка, если уподобить жизнь океану, состоящему из отдельных капель воды. Тогда и самый малозначительный человек, в данном случае — я, вспоминающий шаг за шагом свое становление в прожитой длинной жизни, вносит посильную лепту в сознание общего процесса становления общества на протяжении отрезка в сто лет.

Сама я прожила из этого отрезка восемьдесят шесть лет, но, затрагивая предысторию — то есть предков своих, даже несколько превышаю столетний период — пусть и укладываю его в узко ограниченную семейную хронику.

Мой покойный муж Всеволод Иванов признавался, что «был счастлив сомнением».

Я, наоборот, терзаюсь сомнениями: а так ли, а то ли, а может, и вовсе не надо — неинтересно, банально?! Такого рода сомнение не назовешь ведь счастьем — скорее уж мукой.

А ведь без осознания весомости того, о чем пишешь, невозможно ни строчки написать. И чем больше сомневаешься, тем сильнее ощущаешь тщету своих усилий приблизиться хотя бы к предверию постижения вечно стоящих перед человеком вопросов.

Недавно прочитала статью, в которой речь шла о внедрении человеку механического сердца. Автор статьи рассуждает о том, где же в человеческом теле помещается душа.

У человека с механическим сердцем не переменялся нрав: все его чувства и привязанности остались неизменными. Значит, место обитания души не сердце? Сердце всего лишь мышца, выполняющая для организма служебные функции, как легкие, почки, печень и т. д. «Так где же обитает душа?» — спрашивает исследователь.

Очевидно, душа — одна из эманаций разума.

Но существуют ведь и бездушные люди.

Вс. Иванов много думал о восточных сутрах (стихотворе-

ниях-афоризмах), даже собирался проанализировать их в специальном труде.

Одна из любимых его сутр вопрошает: «Что являет собой смерть — начало или конец?» Можно ведь земное обличие человека рассматривать как куколку, из которой выпорхнет (при смерти) душа-бабочка?

Ну, а у бездушных людей? Была ли у них когда-либо душа и только потом зачихала — или они такими бездушными задуманы?

Во всяком случае выпорхнуть при их смерти будет нечему.

* * *

Вполне разделяя точку зрения Виктора Шкловского, написавшего: «Существуют авторы одной книги. Такие книги легко писать, они вырастают из личного жизненного опыта. Вторая книга требует мастерства, и это уже не в возможностях каждого», — я подвергла сомнению свою способность написать вторую книгу.

Однако результат моих сомнений привел меня все же к решению попробовать написать «о себе самой».

К этому усиленно призывают меня письма читателей изданной части *первой* моей книги о моих современниках.

Почти все мои корреспонденты буквально требуют от меня, чтобы я написала именно о *самой себе*.

Среди этих корреспондентов, кроме писателей, люди самых разных профессий.

Итак, на чаше весов моего критического самосознания, — с одной стороны, моя неуверенность в наличии у меня такого мастерства, о котором говорит Шкловский, с другой стороны, письма моих читателей, которые хотят знать «обо мне самой». Они уверяют меня, что долголетие обязывает делиться с другими тем, что этим другим неизвестно: поколения не должны терять преемственности.

«Мне недостает материала о Вас — авторе. Хочется тех мыслей, той наблюдательности... авторских слов. Мне не хватает еще одной книги — о Кашириной-Ивановой, где будет она в центре». Писатель. Белоруссия.

«Особый интерес вызвали у меня Ваши краткие «отступления» о самой себе». Писатель. Москва.

«Слишком редко прорывается Ваш голос, о чем лично я жалею. Пересмотрите свое решение — напишите о себе». Писатель. Москва.

«Ваша книга — часть Времени, что выпало и на мою долю.

Я хочу вновь волноваться, читая Вас. Буду счастлив прочитать Вашу книгу о себе». Художник. Москва.

«Надеюсь, что впереди радость прочтения о Вас самой». Сельский клуб. Украина.

«Хочу читать дальше». Врач. Москва.

«Прошу, продолжайте». Педагог. Москва.

«Хочу знать о Вас как можно больше». Журналист. Одесса.

Решаю вопрос в пользу читателей, а вот сомнения — сумею ли удовлетворить их ожидания — по-прежнему тревожат меня, мешают мне.

Хоть и преисполнена сомнениями, решаюсь.

Пока ограничусь тем, что познакомлю читателей с главными вехами начала своей жизни.

Продолжу повествование, если и после этого не прекратится читательский интерес, ну и, конечно, если успею, в самом конкретном смысле успею, то есть по возрасту своему.

С некоторыми из написавших мне читателей у меня завязалась дружеская переписка.

Всех, кому ответила, просила написать и критические замечания, объясняя, что именно такого рода переписка (с указанием моих просчетов в повествовании) может помочь мне продолжить эту работу.

Увы, мои корреспонденты не откликнулись на мою просьбу.

Кроме одного. К. Рудницкий как специалист по освоению театрально-литературного наследия В. Э. Мейерхольда нашел в моем очерке о Всеволоде Эмилиевиче некоторые неточности. Я приношу ему за это большую благодарность.

Есть и такое замечание у Рудницкого, с которым я не могу согласиться, хотя учесть его и обязана. Обязана потому, что если «не верится» специалисту, то необходимо уточнение. Замечание касается педагогических наставлений Всеволода Эмилиевича своим ученикам — будущим режиссерам.

К. Рудницкий возражает мне: «Любимова-Ланского Мейерхольд в грош не ставил, с Таировым тогда (1922—1923 гг.) был на ножах. Учил любить-уважать их — не верится».

Любить и уважать Всеволод Эмилиевич учил нас тех, к кому сам испытывал любовь и уважение, — Станиславского и Вахтангова. А остальных режиссеров он учил ц е н и т ь и п о н и м а т ь. Совершенно очевидно, что я недостаточно четко провела раздел между одними и другими и глагол:

«ценить» следует заменить на «оценивать», да еще уточнив, как именно оценивать. Оглядываясь назад, особенно четко видишь, каким прекрасным педагогом был Всеволод Эмилиевич. Он не внушал своим ученикам огульного отрицания того, чего сам не принимал; буквально вдалбливал, что, перед тем как произвести оценку чужой работы, надо ее изучить, постараться понять мотивы построения того или иного спектакля, тех или иных сценических образов и, только изучив и поняв, принять или же отринуть. То, что он был, по выражению Рудницкого, «на ножах» с Таировым, он не доводил до нашего сведения — ведь мы ученики.

Когда начинаешь вспоминать лекции, — впрочем, вернее назвать их беседами, — которые вел с нами Мейерхольд в особнячке на Новинском бульваре, понимаешь, как старался он поднять нас до себя, пробудить способность мыслить и оценивать явления искусства без предвзятости. И ведь не только об искусстве театра говорил он, но и об искусстве живописи, о литературе. Скажем, лично я впервые от него услышала о Бабеле. Он разбирал с нами его рассказ «Соль», напечатанный тогда (в 1923 году) в № 4 журнала «Леф».

Редко-редко это была лекция — монолог. Чаще всего вопросы, на которые мы непременно должны были ответить, тем самым показав как уровень своих познаний в затронутой беседей области, так и способность анализировать предмет и иметь по поводу него собственное, пусть даже и неверное, но непременно собственное суждение.

Нечего и говорить, что сам он высказывал суждения, подчас ошеломлявшие неожиданностью, повергавшие в недоумение, но зато будившие мысль. Однако допустить нас до того, чтобы мы с кондачка начали бы высказывать свое отрицание Таирова или Любимова-Ланского как неугодных нам режиссеров, он, как я его помню, никогда не смог бы, а если бы мы попытались, резко оборвал бы, посчитав такое высказывание за нахальство.

Другое дело, что он категорически не принял АНР (ассоциация новых режиссеров) и отлучил от себя учеников, которые в эту организацию вступили.

Но АНР являлась ведь разновидностью РАППа, и ее деятельность была направлена, прежде всего, против классического искусства и Художественного театра как ярчайшего представителя той классики, которую надлежало «сбросить с корабля современности».

Кстати сказать, удаляя от себя тех, кто вступил в АНР, Всеволод Эмилиевич меня к ним не причислил, хотя я, по

неисповедимой глупости, в эту организацию тоже вступила. Нелепо понимая товарищескую солидарность, я сама ушла, как мне казалось — по принципиальным соображениям, вместе с теми, кого он изгонял.

* * *

Даже и рассматривая себя как человека, прожившего несколько жизней, никак не могу преодолеть сомнений в их объективной значимости.

Да, родилась я на заре века, в 1900 году, и местом моего рождения была Москва, в которой, уезжая, самое большее на неполный год, я и прожила все 86 лет своей жизни.

Да, вместе с Москвой моя жизнь переходила из одной фазы в другую, совершенно не похожую на предшествовавшую. И таких фаз на меня пришлось, скромно считая, не менее четырех.

Родилась я в Москве, царской, резко делившейся на сословия и классы, подметаемой и подчищаемой зимой и летом дворниками, изобиловавшей лошадьми и не ведавшей моторов.

Юность моя прилась на первую мировую войну, февральскую революцию и, наконец, на Великую Октябрьскую.

* * *

Внешний облик города не менее значим, чем внешность отдельного человека в его личной биографии. Обилие лозунгов, вывешенных на видных местах, характерно для Москвы середины двадцатых годов.

Дворники и лошади исчезли синхронно. Моторы уже давали о себе знать. Существенное место занял кинематограф.

Зрелость моя прилась на Москву пятилеток, строящуюся, уже изобилующую моторами, испытавшую множество моральных потрясений и сплоченную патриотизмом в Великую Отечественную войну.

Та фаза завершилась ликованием Победы. Надеждой на полную перестройку мира во имя всеобщего блага всех людей на Земле.

И вот: завершающая фаза моей старости преисполнена великими надеждами (вопреки глобальному вопросу «Быть или не быть?» жизни на земле?!) на повсеместное стремление к улучшению жизни людей как в мировом масштабе, так и в нашем, даже прежде всего в нашем,— ибо социализм

обязывает. Мы и активизируем у себя борьбу со всяческим злом: алкоголизмом, коррупцией, мздоимством, чванством, невежеством и прочими пороками.

Белорусский писатель Ян Скрыган пишет: «В жизни больше хороших людей, и это больше помнится: на хорошем ведь учишься сам. А плохие люди — это как типографские опечатки».

Я целиком и полностью согласна с этим утверждением, но если на страницу прекрасного текста придется хотя бы 5—6 опечаток, они не смогут не испортить всего текста, да еще и опечатка ведь опечатке — рознь, попадают и такие, которые способны весь текст исказить, поэтому-то борьба с людьми-опечатками является первоочередной, безотлагательной обязанностью всех, кто стремится к добру и миру.

* * *

Хотим мы этого или не хотим, но бесспорным властителем дум (а значит, и душ) стал в наше время телевизор. Нельзя не осознать необходимости бороться за качество (моральное и эстетическое) того, чем он, телевизор, начиняет умы людей, а главное — подрастающего поколения.

Были же у нашего кино, как и у всех видов советского искусства, золотые дни, признанные во всем мире. А ведь пока что искусство кино и телевидения (хотя это и принципиально разные виды искусства) мало чем рознятся друг от друга.

Думается мне, что не одна я испытала живейший интерес к объявленному десятисерийному телевизионному документальному фильму «Страницы советского искусства. Литература и театр». Лично меня постигло жестокое разочарование. Прежде всего огорчила бедность комментария и хаотичность монтажа.

Невозможно понять, что явилось основополагающим стержнем для авторов фильма.

Казалось бы несомненным, что документальный фильм (тем более такая ответственная его часть — первое десятилетие Советской власти, а значит, и советского искусства) должен быть строго подчинен единому замыслу. Мне такого замысла уловить, при всем желании, не удалось.

В предварительной газетной заявке был прокламирован «возврат к начальному десятилетию Революции: 1917—27 годам».

Первые кадры показанной кинохроники буквально захва-

тывают зрителя. Дальше, увы, начинается полный сумбур.

Создается впечатление, что кинодокументы вывалены перед зрителем без какой бы то ни было стройной системы.

По какому принципу смонтирован материал? Хронология отсутствует. Ильф и Петров появляются на экране почему-то раньше, чем Серафимович или Гладков.

Тематическое единство? Опять нет. Несколько раз, вразброс, дается фотография Всеволода Мейерхольда, но отсутствует хотя бы эскизно объединенный абрис его кипучей революционной деятельности двадцатых годов (в особенности их начала).

К. С. Станиславский и В. Н. Немирович-Данченко даны тоже вразброс и тоже вне хронологии. В полном отрыве от перехода их театра на революционный репертуар и постепенную перемену стиля работы.

Отсутствует планомерность и в показе деятельности (в те годы) Максима Горького. Лишь вскользь дано такое капитальное его начинание, как издательство «Всемирная литература». Совершенно отсутствует созданное под его влиянием содружество писателей «Серапионовы братья». Некоторые из членов этого содружества показаны отдельно — причем К. А. Федин назван почему-то журналистом.

Характерная особенность тех лет: театральные и художественные диспуты — вовсе не отражены. Их вдохновитель Луначарский дан лишь мельком.

Как можно показать Игоря Северянина в отрыве от его вечеров в аудитории Политехнического музея?

А Маяковский, Есенин? Они оба много раз мелькают в фильме — в некоторых кадрах очень интересны сами по себе, но опять же вне атмосферы, вне времени (и какого времени — становления нашего искусства, признанного именно на том этапе деятелями искусства и литературы во всем мире).

Если сослаться на ограниченность количества кинодокументов, почему бы не использовать шире фотографии, как уже имеющиеся, так и те, что можно бы было заново снять хотя бы с книг тех писателей и картин художников, о которых не нашлось кинодокументов?

Мне-то кажется, что главная беда — не в нехватке материала, а в его случайной скомпонованности. По моему глубокому убеждению, такие фильмы требуют строго выверенной идейной и художественной концепции.

Если в первой серии отсутствует динамика развития — откуда ей взяться в последующих девяти?

Если в художественном фильме личный вкус его создате-

лей до какой-то степени — основополагающий фактор, то в фильме документальном, претендующем на историчность, личный вкус авторов фильма, по-моему, не может не впасть в вопиющее несоответствие именно с историчностью.

Ведь в фильме, в первой его серии, отсутствует такое трагическое событие, решающее всю дальнейшую судьбу нашей социалистической родины, как смерть Ленина.

В четвертой серии нет Победы.

А в пятой совершенно необоснованно показан Гитлер.

Лично мне хотелось бы увидеть не повторный показ этого фильма (хотя и приятно было видеть молодыми хорошо знакомых людей), а полную его переработку.

Что вынес из показанного неподготовленный массовый зритель, когда даже я — участница событий — в те годы — сперва студентка ГВЫРМа, потом актриса театров имени Мейерхольда и Революции — не сумела обнаружить в увиденном четко продуманной концепции?

Фактографические фильмы и интересны, и необходимы, но создавать их надлежит, основываясь на научно обоснованном, строго выстроенном по определенному плану сценарии.

В счастливые для меня времена, двадцать с лишним лет тому назад, когда я еще не стала вдовой Всеволода Иванова, а была его женой, у нас с ним не прекращался спор на тему, что важнее при формировании личности человека: полученные от предков гены (тогда они назывались наследственностью) или же воспитание.

Я настаивала: решающий фактор — воспитание.

Всеволод утверждал — наследственность.

Надо сказать, что он отдал весьма существенную дань увлечению так называемой «перековке», страстным приверженцем которой был Максим Горький.

Всеволод Иванов даже посчитал крушение (а оно произошло) своей веры в возможность перевоспитать уже сложившегося человека — «крушением своего гуманизма», о чем горячо сожалел.

Лично я, в период наших споров твердо стоявшая за превалирующее значение воспитания, на протяжении своей долгой жизни много раз меняла точку зрения на этот предмет.

Однако, подходя к концу пути, думаю, что без веры в возможность любым способом воспитать гуманное поколение вообще невозможно жить. Ведь даже и тогда, когда сомне-

ваешься в возможности самой жизни, все равно продолжаешь надеяться на счастливое будущее для молодых.

Хотя даже инстинкт продолжения рода — и тот подвластен изменениям по мере этико-морального его осознания женщиной.

До сих пор самый большой прирост населения земного шара в тех его частях, где женщина еще порабощена мужчиной и не начала жить вполне сознательной жизнью.

Ведь даже религиозные женщины, которым их религия запрещает аборт, если они сознательно относятся к деторождению, принимают меры к самоограничению в этом плане.

Нечего и говорить, что весьма доблестно быть многодетной матерью. Это — воистину героично.

Однако, по-моему, во все времена и у всех народов остается бесспорной истина, что качество и тут превалирует в значимости над количеством.

Мыслящая женщина не может не осознавать этого, а значит, учитывает свои возможности как воспитательницы.

Впрочем, я столкнулась с несколькими весьма интеллигентными женщинами, которые многодетность возводят в свой гражданский долг.

Можно посчитать и неопровержимыми утверждения некоторых современных ученых, доказывающих, что физически и психически здоровый ребенок рождается с задатками гениальности, а дальнейшее развитие его природных способностей зависит исключительно от условий жизни, в которые он попадает, то есть, иными словами, от воспитания.

На все нужен талант и уменье этот талант претворить в жизнь.

Быть многодетной матерью, не только родившей, но и воспитавшей полноценных детей, — талант огромный и достойнейший!!

В нашей стране, в странах социализма такие матери получают от государства всяческую помощь и более чем заслуженное звание Матерей-Героинь.

Хочется верить, что обезумевшие люди не смогут обратить нашу планету в пламенеющую звезду — и постепенно повсюду на Земле восторжествует социальная справедливость, а значит, гуманизм, являющийся основой человечности.

Откуда в здоровом ребенке зарождается стремление к уничтожению себе подобных?

Конечно же от условий его жизни, то ли тяжких от бедственности, то ли тяжких от чрезмерного изобилия благ

(ведь и изобилие может тяжело давить на ребенка). Здесь противоположность крайних ситуаций, по сути, равнозначно может привести к плачевным результатам.

О том, что существуют, как и во всем прочем, исключения, опровергающие эти общие предпосылки, говорить не приходится.

Нормальное же воспитание должно все же исключать как любую бедственность, так и любую чрезмерность благ.

В настоящее время ученые выдвигают и еще одну гипотезу, будто главные черты характера человека в основном складываются еще в эмбриональном периоде.

Когда я об этом прочитала, мне сразу вспомнился пример из личной жизни, о котором я уже писала в первой части этой книги.

Напоминаю: мой старший внук родился недоношенным. Произошло это событие свыше тридцати лет тому назад.

На просьбу взять моего внука из роддома в клинику недоношенных детей главный врач Эмма Мироновна Кравец ответила категорическим отказом, обещав консультацию и любую помощь на дому, а свой отказ — взять в клинику — мотивировав весьма примечательно. Она сказала: «Неопровержимые факты заставили меня стать суеверной: у нас в клинике «дорогие» дети не выживают, в то время как среди «подкидышей» процент смертности почти нулевой».

Наш «дорогой» ребенок выжил при домашнем уходе.

А теперешние научные гипотезы подводят базис под суеверие Эммы Мироновны. Некоторые ученые считают (и я разделяю их мнение), что, если плод во чреве матери связан с ней крепчайшими моральными узами (удалось сфотографировать шестимесячный эмбрион, улыбающийся в ответ на ласковые материнские слова), тогда понятно, почему будущий подкидыш твердо усваивает, что ему следует при появлении на свет рассчитывать только на самого себя, и в течение всего своего эмбрионального периода он мобилизует силы на выживание. «Дорогой» же эмбрион уже в материнском чреве нежится в любовных токах, размягчен ими и совершенно не готов к злым превратностям жизни. Он твердо усвоил, что о нем есть кому позаботиться.

Означает ли это, что спартанское воспитание следует начинать именно с эмбрионального периода?

Думаю, что отнюдь — нет. Ведь важна не столько выживаемость (хотя и это, несомненно, немаловажно), сколько формирование полноценной гуманной личности.

Общеизвестно, как пострадала Спарта от обычая сбрасывать с Тарпейской скалы физически слабых младенцев. Не всегда оправдано утверждение, что «в здоровом теле — здоровый дух». Умственные способности, душа человека могут как раз пересилить все физические недуги и наградить весьма весомыми интеллектуальными способностями как раз физически слабого ребенка.

К слабым физически можно причислить и от самого своего зачатия морально обиженных.

Я не знаю статистики (да и существует ли она где-либо?) процента неполноценных людей, выросших из бывших подкидышей. По закону противопоставления должны, наверное, вырастать из них и чрезвычайно талантливые, возможно, гениальные личности.

* * *

Я — как бы живой мостик от одного века, в самом темном крепостнически-домостроевском его выражении, к другому, приведшему к свершению Революции.

Раз во мне живут гены и родителей моих, и более ранних предков, следует и о предках этих подумать как о первоисточнике. Подумать и попытаться осмыслить, что было, как было и к чему привело.

Мне лично никогда не казалось прельстительным иметь дворянские гены, и купеческие-то в достаточной степени были всегда противны. Если бы ребенку было дано выбирать своих предков, я бы выбрала простых, обязательно непьющих, здоровых людей, живущих на природе и в ладу с природой.

Но, увы, один мой дед, Алексей Иванович Каширин, был, по преданию, сильно пьющим.

А другой, опять же по преданию, — поди проверь достоверность изустного предания — незаконнорожденный сын того помещика, чьим крепостным он был.

Оба мои деда и с материнской, и с отцовской стороны были крепостными крестьянами.

Отец моей матери, Потап Архипович Окунев, помещичий крестьянин, за два года до отмены крепостного права был отпущен помещиком в Москву «на откуп». Он получил от своего «барина» деньги на первое обзаведение: купил лошадь, пролетку и стал извозчиком.

Жена его, Евфросинья Васильевна, принадлежавшая к господской челяди, смогла присоединиться к мужу — прие-

хоть с сыновьями в Москву — только по отмене крепостного права. Она была редкостной умелицей по части изготовления всяческих печений, варений, солений, квашений, маринадов и прочей кулинарной премудрости.

У этой супружеской четы было трое детей. Младшая дочь Маша, Мария Потаповна, — моя мать — появилась на свет уже в свободной московской жизни своих родителей.

Ко времени рождения дочери Потап Архипович из извозчика превратился во владельца извозного заведения, переросшего потом в транспортную контору.

Владел он этими предприятиями не единолично, а на паях с компаньоном Аполлосом Папычем Суслопаровым.

Потап Архипович купил в Москве по Плетешковскому переулку (теперешний Баумановский район) двухэтажный каменный дом, стоявший в глубине двора и с двух сторон окруженный садом.

Во дворе кроме надворных построек, таких, как погреб, амбар и т. д., был еще и поместительный двухэтажный флигель, в котором поселился деловой компаньон и личный друг Потапа Архиповича, Аполлос Папыч.

Матери моей, единственной дочери, да к тому же еще и младшей в семье Окуневых, жилось в родительском доме очень вольготно.

Родители ее хоть и блюли домостроевские устои, но оба были очень добрыми людьми.

Евфросинья Васильевна ни к чему дочь не приневоливала, лишь исподволь приучала хозяйничать да рукодельничать.

Нанимали Маше и учителей. Она была грамотна и сильно приохотилась к чтению.

Но обычай требовал в положенный срок выдать девушку замуж. Замужество осуществлялось, по обычаю, исключительно при помощи свах и сватов.

Исполнилось Маше восемнадцать лет, и зачастили в дом свахи.

Однако Маша всех предлагаемых женихов категорически браковала. Никто из них не подходил под ее книжный идеал.

Любящие родители считались с ее настроениями и пожеланиями.

Но когда исполнилось девушке двадцать лет, родители заволновались, как бы она вековухой (иными словами, старой девой) не осталась.

Хоть и мягко ей внушая, порешили еще до дня рождения (когда ей исполнится двадцать один год) выдать за первого же, и с их родительской точки зрения, подходящего.

И вот таким «подходящим» оказался мой отец, Владимир Алексеевич Каширин.

Сразу надо сказать, что он был очень хорошим человеком, но судьба у него сложилась несчастливо.

Отец его, а мой дед, Алексей Иванович Каширин, до отмены крепостного права был государственным крепостным крестьянином Рязанской губернии.

Я этого деда совершенно не помню. Он умер, когда мне еще не было полных четырех лет. Я о нем знаю только с чужих слов, и разрозненные факты никак не сливаются в достаточно ясную картину.

Он будто бы говорил, что «пришел в Москву в лапотках и с котомочкой за спиной, привел с собой сестру Матрешу, которая несла кошелку, а в кошелке всего лишь кошка с котятками — вот и все имущество».

Бабушку Матрену я помню. Она жила в большой полуподвальной квартире, помещавшейся под сновальной ткацкой фабрикой, которой владел ее брат Алексей Иванович.

Для меня осталось навсегда непонятным, как удалось Алексею Ивановичу стать в Москве фабрикантом, основать «Торговый дом А. И. Каширин с сыновьями».

Из всей огромной семьи Кашириных в живых — лишь двое. Кроме меня, только двоюродная сестра Ольга Николаевна Мухина (заслуженный врач, орденоседец), которой уже за девяносто лет, и она совершенно ничего не помнит из истории нашего с ней рода.

По обрывкам ранее слышанного (хотя это всегда меня интересовало, но сколько я ни сосредоточивала внимания на подобных разговорах — понять ничего не сумела) трудно осмысливается ход событий в жизни деда моего Алексея Ивановича Каширина.

Запомнилась отчетливо лишь чисто семейная хроника, которая гласила, что Алексей Иванович был неграмотен, но умен и хитер, к тому же крайне деспотичен. Уморил — так и говорили: «уморил» — двух жен и к моменту сватовства моих родителей женился уже на третьей.

Мой отец, Владимир Алексеевич, был сыном второй жены Алексея Ивановича. По словам очевидцев, красивой и кроткой.

Изо всех сыновей Алексея Ивановича Володя был единственным, кто тяготел к грамоте. Кроткая Володина мать «вымолила» своему сыну у мужа разрешение учиться. Он

был определен в реальное училище и весьма преуспевал в освоении наук. Но отец разрешил ему окончить только пять классов. А дальше никакие просьбы мальчика не помогли, и заступиться за него было некому — мать его уже умерла. Отец сказал, как отрезал: «Поучился — и хватит, а то, глядишь, умней отца себя вообразишь».

В торговом доме «А. И. Каширин с сыновьями» было две конторы: одна при ткацкой фабрике, помещавшаяся в нижнем этаже жилого особняка. Другая — для оптовой торговли — в Теплых рядах (между теперешними улицами Куйбышева и 25-го Октября). До обеда, — иными словами, до часу дня — Володя должен был вести счетные книги в конторе при фабрике, а после отправлялся для той же работы в Теплые ряды.

Мальчику очень хотелось учиться, но послушаться отца он не то чтобы не осмеливался, а просто не было у него на это никакой возможности. Книги читал — и то урывками и потихоньку от отца. В восемнадцать лет начали его, по обычаю, сватать. В ужасе от подобной перспективы Володя, накануне уже назначенных первых смотрин, наголо обрил себе голову.

Алексей Иванович, узнав о таком самовольстве, рассвирепел, но женитьбу пришлось отложить. Однако непререкаемый приказ гласил: «Как только патлы отрастут — за первую же подходящую».

* * *

Марии Потаповне Окушевой и суждено было стать этой «первой подходящей».

По запомнившимся мне рассказам, сватовство происходило так: сперва сговаривались сват со свахой, потом они знакомили между собой родителей предполагаемых жениха и невесты. Родители обсуждали все материальные вопросы, и после взаимной договоренности (если она наступала) назначались смотрины.

Для смотрин (в той среде, о которой речь) покупали билеты в две соседние ложи (Большого или Малого театра), из которых жених и невеста впервые друг друга «оглядывали».

В случае с моими родителями «оглядывание» носило чисто формальный характер. Вопрос уже был заранее окончательно решен обеими сторонами.

На свою беду, Володя с первого взгляда влюбился в невесту, а она дала согласие только из уважения к родителям. Володя

ей не приглянулся (хоть и отросли его, сбритые при первом сватовстве, пышные кудри). Ей уже исполнился двадцать один год, а ему только-только сравнялось девятнадцать лет. К тому же он был крайне робок и застенчив. Смотрел на невесту, улыбался и ни слова не мог вымолвить.

Приданое у Маши было богатое. Денежное его выражение мне неизвестно. Но я держала в руках и читала подробную опись сундуков, их количества и содержимого. Очень сожалею, что не сохранила я этой описи, несомненно представлявшей интерес в качестве исторической реалии.

* * *

Жить молодым супругам предстояло в особняке Кашириных. Им там отвели отсек в четыре смежных комнаты, но не выделили сразу в отдельное хозяйство. Столоваться они должны были в огромной столовой вместе с Алексеем Ивановичем, мачехой Володи, Анной Ивановной, и двумя старшими братьями — Сергеем и Николаем Алексеевичами, уже женатыми и имевшими к тому времени детей.

В родном доме Маши родители тоже жили одной семьей с ее старшими, женатыми братьями. Но там была отдельная столовая для детей, а у Кашириных невестки сидели за общим столом, держа детей на руках.

По праздникам Алексей Иванович наливал всем, сидевшим за общим застольем, по чарке водки, приказывая своей жене, Анне Ивановне: «Налей, мать, и младенцам по ложке водки!»

Машу такой варварский обычай сразу потряс до испуга. А ее мать Евфросинья Васильевна даже верить дочери не захотела, когда та ей о таких нравах «пожалилась».

Но главным оставалось для Маши душевное неприятие робкого мужа. Она предъявляла к нему требования, которых он не в состоянии был выполнить: ни в чем не смел поперечить отцу.

На окончательную беду Володи одно происшествие сразу же окончательно омрачило их брак в глазах его жены.

У Кашириных были тогда лошади, выездные экипажи, кучер.

В первое же послесвадебное воскресенье Алексей Иванович приказал кучеру запрячь самую резвую лошадь по имени Красавчик в маленькие саночки и прокатить молодых «с ветерком». Хотел, видимо, молодой снохе пыль в глаза пустить.

Дело происходило в декабре. Стоял мороз. Маша была тепло укутана в приданные свои меха, а Володя от стеснения не догадался сразу поднять меховой воротник у шубы, а потом не решался оторвать руку, которой придерживал жену за талию, боясь, как бы она не выпала из саней: уж очень припустил Красавчика подвыпивший кучер.

В результате такой прогулки Володя отморозил себе уши. Узнав об этом, Алексей Иванович призвал к себе молодых и накричал на Машу: «Не жена ты, а раззява, затем, что ли, мы парня женили, чтобы он уши себе морозил?!»

То, что на нее кричат (в родном доме она к этому не привыкла, там не только не кричали, даже голоса никто не повышал), а муж не вступает за нее, окончательно решило Машино отношение к Володе. Она бесповоротно посчитала его (причем совершенно ошибочно) глупым и безвольным.

Если бы Володя не пришелся по душе добрым Машиным родителям, совсем плохо бы дело обернулось. Но Потап Архипович и Евфросинья Васильевна по достоинству оценили своего кроткого зятя и всеми силами старались повлиять на дочь, уговаривая ее, что муж ей достался хороший, любящий ее и во всех смыслах человек порядочный. А что свекор Алексей Иванович крутенок — тут уж ничего не поделаешь: надо смириться и попривыкнуть.

Потап Архипович, вероятно, все же предпринял какие-то шаги к урегулированию непереносимого для его дочери положения в большой каширинской семье.

Тут, наверное, сыграла роль данная ей в приданое сумма денег.

Ведь два средних брата Володи, выданные за «богатых» невест, ушли от Алексея Ивановича в дома к своим женам. Можно предположить, что Алексей Иванович не захотел терять денег Машиного приданого, вложенных Потапом Архиповичем на каких-то не известных мне условиях в торговый дом «А. И. Каширин с сыновьями».

Вероятно, именно поэтому вскоре в доме Кашириных произошло хозяйственное разделение.

Все три женатых сына получили право на отдельное ведение хозяйства. Каждому была выделена переделанная из каких-то служебных фабричных помещений кухня: образовался «кухонный коридор» с четырьмя кухнями: большой родительской и тремя сыновьями.

Сыновья получили право иметь индивидуальный обслуживающий персонал.

Но все кухарки, горничные и няни жили в одной общей

большой комнате, находившейся в мезонине и называвшейся «девичьей» (пусть среди прислуги, особенно в качестве нянь, попадались и пожилые женщины).

Маша оказалась плохой хозяйкой и не умела укладывать свой бюджет в сумму, выделенную Алексеем Ивановичем Володе в качестве ежемесячного жалованья.

Пока был жив Потап Архипович, он, по-видимому, все время «добавлял» дочери денег, потому что разговоры между моими родителями о денежных нехватках и даже продажа мамой каких-то своих драгоценностей происходили уже на моей памяти, после смерти Потапа Архиповича.

* * *

Тут я забежала вперед.

Маша хотела жить не так, как ее свекровь и невестки в доме Кашириных. Она ни с одной из них не смогла или не захотела близко сойтись.

В нашем комнатном отсеке был единственный на весь большой дом Кашириных книжный шкаф, и Маша, а потом и ее дети имели еще и библиотечный абонемент.

Маша приучила мужа часто покупать ложу в театры (Большой, Малый, Корша, Незлобина), куда брала с собой своих детей и племянниц Окуневых (никогда никого из Кашириных).

Все праздничные дни Маша проводила с мужем и даже еще и с грудными старшими своими детьми в родительском доме Окуневых.

По-видимому, все из-за тех же, уже упомянутых, денежных соображений Алексей Иванович смирил свой деспотический нрав и дозволил молодой невестке эти отступления от бытовавших в его доме строгих домостроевских правил.

Но Маше-то всего этого было далеко не достаточно. Она хотела не только в книгах и в театре видеть иную жизнь, ей и свою хотелось сделать особенной, не похожей на ту, которую она отказывалась разделить.

Ведь и в любимом ею доме Окуневых тоже был домострой, хотя и не столь деспотический, а куда более мягкий.

Родительский дом даже привнес Маше новую статью огорчений. Ее муж — мальчик, не пристрастившийся у Кашириных к водке, и, как признался ей, робко, но ловко (так что никто из окружающих не замечал) выливал под стол, вместо того чтобы выпить, полагающуюся ему чарку водки.

Но в дружественно к нему настроенной семье его жены Володя не захотел стать изгоем. Как было ему удержаться от того, чтобы не выпить вместе со всеми другими мужчинами Окуневыми?!

А Маша прибавила эту мужнину слабость ко всем прочим его недостаткам, длинный список которых накапливался в ее душе. Будь бы ее воля, она тут же сбежала бы обратно в отчий дом. Но она понимала, что это абсолютно невозможно: ни отец, ни братья не примут ее обратно. Такой поступок обернулся бы в их среде позором для всех ее близких, и не просто позором, а возможно, и деловым крахом (как подрыв твердо сложившихся устоев).

Приходилось смириться и терпеть.

Старших своих детей Зинаиду и Николая она зачала, выносила и произвела на свет как бы в дурном сне.

Разница в возрасте между детьми была всего 11 месяцев.

Материнство не пробудилось в Маше с той силой, которая смогла бы заполнить пустоту ее жизни, непрятие повседневности, отсутствие любви к мужу и вообще какого-либо страстного увлечения.

Детей она бездумно препоручила заботам няни, даже не вникая в то, какова эта няня.

Все было не по ней. И не к чему ей было приложить свои силы. Обязанности жены, матери, хозяйки выполняла она чисто формально.

Наконец произошло нечто, давшее ей возможность понять, что у нее появился четко ею осознанный долг. Такие обязанности, которые ни на кого не переложить.

Умерла родами жена старшего Машиного брата — Ивана Потаповича Окунева, оставив сиротами десятерых детей: семь девочек и трех мальчиков, младший из которых своим рождением и послужил причиной смерти матери.

Семья Ивана Потаповича жила при его родителях, и бабушка Евфросинья Васильевна, как и при жизни невестки, отдавала все свое время, свободное от хозяйственных хлопот, внукам. Но Маша понимала, что ее матери непосильно справиться со столькими разновозрастными внуками, в особенности потому, что старших девочек вот-вот пора замуж выдавать. О мальчиках — другой разговор, о них надлежит (кроме новорожденного) заботиться отцу. Заменить же племянницам мать Маша посчитала своим непреложным долгом.

Какое-то время эти заботы заполняли жизнь моей матери.

Но когда вдовец-брат вновь женился и Маша никак не смогла сойтись с его новой женой Василисой Павловной, она

вновь впала в тоску, да в такую явную, что обожавший ее отец, Потап Архипович, не мог этого не заметить и даже с врачами посоветовался. Врачи порекомендовали поездку на Кавказ — лечение минеральными водами.

Семья моих родителей не только праздничные дни проводила в семье Окуневых, но и на дачу выезжала не с Каширинными, а опять же с Окуневыми.

У Потапа Архиповича была поместительная двухэтажная дача в Измайлове.

Весной 1899 года, перевезя старших детей с няней в Измайлово, под крылышко деда и бабушки, родители мои отбыли на Кавказ.

Это было в их жизни первое совместное путешествие. В жизни Маши вообще — первое путешествие, а Володя неоднократно выезжал в разные города по поручению отца, присматривать за коммивояжерами, что Володя воспринимал как истинную муку. Здесь же было первое свободное путешествие, да еще совместно с любимой женой.

Собственно, они впервые оказались наедине друг с другом — вне того или другого семейного окружения.

По-видимому, это так благотворно подействовало на Володю, что он перестал наконец-то, после пяти лет брака, стесняться жены и робеть в разговорах с ней.

Она с удивлением обнаружила, что он знает наизусть много стихов Пушкина, Лермонтова и вообще в начитанности не только не уступает ей, но даже и во много раз ее превосходит.

Робкий мальчик, которому к этому времени исполнилось двадцать пять лет, наконец-то почувствовал себя мужчиной и попытался быть с женой вполне откровенным.

Он даже признался ей, вызвав смех и сочувствие, что, привыкнув прятать книги и свое пристрастие к ним ото всех обитателей дома Кашириных, он и от нее скрывал, как украдкой переписывает особо полюбившиеся ему стихи и затверживает их наизусть, мысленно повторяя в редкие для него свободные минуты (например, когда едет из одной конторы отцовского торгового дома в другую).

Словом, мои родители во время путешествия на Кавказ впервые ощутили себя вполне самостоятельными и свободными людьми. Маше даже показалось, что она полюбила-таки Володю, а он и совсем без ума был от счастья.

Словом, я явилась плодом их взаимно осознанной любви.

Данное мне имя — Тамара — прямой результат того, что Володя читал Маше наизусть «Демона» Лермонтова.

На моей личности с полной отчетливостью сказалось и оказалось самым прочным то, что было заложено в эмбриональном моем периоде. Протест моей мамы против ее окружения, его обычаев передался мне и закрепился на всю мою жизнь. Только я оказалась более энергичной, поэтому зажатый, загнанный в глубь ее существа протест сказался во мне открыто протестантским характером.

Для меня с самого детства чувство обязательно должно было немедленно перейти в действие.

Я никогда и ни от чего не могла стоять в стороне. Не переносила слов, не закрепленных поступками.

Какие моральные токи шли ко мне от моей матери во время моего эмбрионального периода?

Надо думать, что кроме нежности, обращенной ко мне лично, я получила еще мощный заряд, зревший у мамы вместе с плодом в ее чреве, решимости категорического протеста против той рутины, которая ждала ее по возвращении домой.

Маша твердо решила начать жить по-новому.

Однако переделать в своей жизни ей ничего не удалось. Не на что и не на кого было опереться.

Такой шаг, как уход ее с мужем и детьми из каширинского дома, или выход Володи из «Торгового дома А. И. Каширин с сыновьями», был абсолютно невыполним.

Потап Архипович, при всей любви к дочери, такого шага никогда не одобрил бы, да и сам Володя был к этому абсолютно не готов.

Возникшее было взаимопонимание с мужем оборвалось. Володя искал в жене утешительницу, а она ни в коей мере не годилась на такую роль, требуя от него бунтарства, на которое он категорически был неспособен.

Смерть Алексея Ивановича мало что изменила в судьбе Володи. Главой торгового дома самочинно стал старший его брат Сергей Алексеевич, не меньший деспот, чем отец, но, очевидно, лишенный отцовских способностей, потому что дела покатались под уклон. Пришлось продать лошадей и вообще снизить тот уровень жизни, который Алексей Иванович, очевидно, считал необходимым для торгового (употребляя современное слово) престижа, иначе говоря — веса в торговых кругах.

Я уже писала выше, что никак не могла уяснить себе, начав задумываться о смысле меня окружающего, как Алексей Иванович, придя в Москву «в лапотках и с котомочкой»

(судя по своего рода преданию), сумел организовать, оставшись неграмотным и не имея денег, «торговый дом», купил особняк, имел выезд лошадей. Объяснения вроде того, что освобождению крестьян от крепостной зависимости сопутствовал своего рода экономический взрыв, а банки давали предприимчивым дельцам ссуды, казались мне неубедительными. Тем более что созданный из отрывочных рассказов окружающих образ деда моего Каширина рисовался мне вполне злодейским.

Вот мое детское воображение и вовсе в злодея его превратило. Я доходила до ужасавших меня, но тщательно мною ото всех скрываемых предположений, будто Алексей Иванович кого-нибудь убил и ограбил, а на награбленные деньги приобрел фабрику, особняк, лошадей и прочее.

Эти измышления я перенесла и на дядю Сергея Алексеевича, подслушав однажды, как папа жаловался маме: до чего-де ему, папе, противно, что его брат «выворачивает шкуру». А мама в ответ горячо упрекала папу в попустительстве.

Посчитав слова папы о «выворачивании шкуры» за прямое изобличение дяди в злодействе, я не удержалась и однажды задала папе вопрос: «Кого дядя Сережа убил и почему снял с убитого шкуру, а вы е у это позволили?»

Папа был крайне озадачен моим вопросом и постарался объяснить, что существует такой неофициальный термин, бытующий среди людей, занимающихся торговлей: «вывернуть шкуру» означает, в торговом мире, объявить себя несостоятельным и отказаться оплатить счета своих поставщиков, предъявив ложные тому доказательства, и таким образом нажить деньги на чужом несчастье, доведя некоторых своих поставщиков до полного разорения, фактически присвоив себе их деньги.

Конечно, я ничего толком не поняла из этого объяснения, кроме только того, что дядя поступает плохо, а папа ему в этом не мешает, что и не преминула папе высказать.

Папа еще больше изумился и, ограничившись в мой адрес стереотипным, что я, мол, не доросла еще до того, чтобы судить о поступках старших, попенял, при мне, маме, что он делал крайне редко: «Почему ты малышке голову забиваешь чем не след и чего она понять не в состоянии?»

Мама пришла в полное негодование, категорически отрицала, что она о чем-либо подобном может говорить с ребенком (в чем была права — ведь я их разговор подслушала), но устами-де ребенка глаголет истина, и вот — результат его,

папиного, попустительства незаконным и позорным поступкам брата.

Тогда я, разумеется, уже вообще ничего не поняла, но, любя папу, все же в душе стала не на его сторону, а на сторону мамы, требовавшей от него решительного противодействия брату. А в моем детском сознании: брат этот — злодей.

Потом-то я поняла, как и почему, будучи очень хорошим человеком, папа и по характеру своему, а главное — по воспитанию и правилам среды, в которой он вырос, никак не мог выйти из повиновения старшему брату, главе и фактическому хозяину того торгового дома, в котором юридически папа был совладельцем, а фактически служащим, работавшим за то жалованье, которое определил ему отец, а потом закрепил за ним, захватив бразды правления, его брат, что немаловажно: старший брат (старшего — нельзя слушаться).

В моей душе после подслушанного разговора родителей образовался полнейший сумбур. Я уже не могла удержаться от дальнейшего подслушивания разговоров не только своих родителей, но и других взрослых, живших в доме.

Выяснила, что мама требует от папы: выделяйся из дела, в котором ты законный сонаследник, или же требуй соблюдения законных правил в отношении других людей и тебя самого. Ты — законный совладелец, — значит, должен получать не жалованье, а дивиденды.

Подслушивай — не подслушивай, а понять все равно ничего невозможно, только еще больше все запутывается.

Что такое, например, дивиденды, которые папа должен требовать от дяди Сережи?

Брат — старше меня на пять с половиной лет — на мой вопрос ответил, что он такой ерундой не интересуется, а мне (которой было тогда лет шесть) вообще нечего совать свой курносый нос туда, куда не след.

На мое счастье, именно в том году меня отдали в частную приготовительную школу Веры Александровны Головиной, женщины вполне культурной и интеллигентной, которая всерьез занялась моим воспитанием и разъяснила понятным для моего возраста языком многие загадочные, пугавшие меня обстоятельства жизни моих родителей и их окружения.

Она спокойно объяснила мне, что напрасно я выдумываю невесть что о своем деде Каширине. Ей-то я призналась в своих чудовищных фантазиях. А она начала втолковывать: если у одного моего деда — Окунева — сперва была пролетка и лошадь, а уж потом появились сани и так далее, то у другого

деда сперва, надо думать, был лишь один ткацкий станок, потом два-три. А дальше он сумел и еще расширить начатое им дело.

Оба они неустанным трудом и деловой сметкой достигли того богатства, которое у одного представляется мне естественным, а у другого невероятным.

Она добавляла, что, разумеется, они оба работали не в одиночку, им помогали другие люди. И тут она не стала скрывать от меня, а мягко объяснила, что не обошлось, вероятно, у обоих моих дедов без того, чтобы они не прибегли к использованию труда других, менее удачливых и оборотливых людей, чем они. Став освобожденными от крепостной зависимости, не все сумели самостоятельно организовать свой труд, объясняла она мне, ни в деревне, ни в городе не нашли они себе независимого от других людей труда, и пришлось им пойти внаем, чтобы опять работать не на себя, а хотя уже и не на помещика, и не принудительно, но все равно на другого человека, лучше их сумевшего использовать дарованную ему отменой крепостного права — свободу выбора профессии. И надо признать, что ее объяснения хотя и не до конца, но все же успокоили меня.

Не совсем-то меня это успокоило, потому что: «Какое же это освобождение, думала я, если все равно не на себя, а на другого человека нужно работать?»

Она не употребляла в своих объяснениях слова «эксплуатация труда одного человек другим или другими», да и правильно делала — разве семилетнему ребенку такое объяснишь.

Но суть-то дела я поняла. И распространила свое неодобрение несправедливого, с моей точки зрения, распределения благ и обязанности одних (для меня нашей кухарки и горничной) служить другим.

На первых порах это выразилось только в том, что я изо всех сил старалась дружить с теми, кто, по не поправившейся мне несправедливости, должен быть в услужении у других.

* * *

Дом, где я родилась и прожила 25 лет своей жизни, существует и в теперешней Москве: даже адрес его не изменился, а лишь укоротился.

Раньше адрес был длинный: Разгуляй. Гороховое поле, и уж только напоследок Токмаков переулочек, оставшийся и поныне — даже с неизменным номером «14».

В доме — учреждение. Какое-то строительное управление. Вход свободный.

Однако там все переменялось, кроме лестницы, да и та совершенно утратила помпезность, лишившись красного бархата, медных прутьев, зеркал. Кроме того, зажата она теперь и внизу, и наверху тесно стоящими перегородками.

Посещение этого дома не пробудило во мне абсолютно никаких ностальгических эмоций: наоборот, радостное чувство, что навеки изгнано то мрачное, что в нем некогда гнездилось.

А вот переулочек вызвал чисто зрительные воспоминания: живые картины того, как я на него выходила из тамбура калитки, охраняемой сменным дворником. Ведь дом и фабрика находились на одной территории, поэтому вход и выход проверялся.

Напротив расположена была мелочная лавочка Фомичевых, около которой всегда толпился народ, поэтому я не переходила сразу на другую сторону, а шла вдоль длинного забора, начинавшегося сразу за нашим домом. Около этого забора постоянно стояли какие-то пугавшие меня люди, вышедшие из казенки (так называлось тогда питейное заведение, принадлежавшее царской казне и торговавшее навывнос водкой), которая находилась на углу переулочка — впритык к каширинскому забору. Забор же был весь в сургучных блямбах — ударом об его доски вышибали из бутылки пробку, сургучом припечатанную, чтобы тут же, прямо из горлышка, утолить алкогольную жажду.

От этого распивочного забора я стремительно переходила на другую сторону. По неисповедимому закону противоположностей — напротив казенки красовался за литой узорной оградой прелестный белый ампирный особнячок. Я не знаю, кто в нем тогда жил, знаю лишь — теперь на нем висит доска, извещающая, что он взят государством под охрану как памятник истории и культуры.

Как это ни удивительно, но даже лиственница за ажурной оградой особнячка уцелела, а ведь ей, наверное, уже где-то около ста лет.

Нелепость — вот отличительная черта того дома, который хочу я описать.

Внешняя помпезность и полное отсутствие элементарной гигиены и удобств. По-видимому, купив этот дом, мой дед Алексей Иванович Каширин заботился прежде всего о том, чтобы пустить пыль в глаза.

Широченная лестница с бархатной дорожкой, удерживаемой сверкающими медными прутьями, со стенами «под мрамор», обтянутыми бархатом перилами и зеркалами в человеческий рост, вела из парадной (то есть прихожей) в зал.

Зал (или, как тогда называли, зала), угловая комната о десяти окнах, был не менее помпезен, чем лестница. В зале стояла гигантская пальма, много выше человеческого роста, а также фикусы и другие комнатные растения. По стенам, украшенным лепным фризом (как говорили, «итальянской работы»), расставлены были венские стулья, висели свечные бра, а с середины потолка свешивалась свечная же люстра, которая висела посередине причудливой лепнины, украшенной крест-накрест четырьмя буквами: А. И. К. Ф., что означало: Алексей Иванович Каширин — фабрикант.

Случалось, не слишком часто, что все родители вместе уезжали в гости к жившим отдельно родственникам.

Вот тогда-то все дети разных возрастов объединялись — и начиналась беготня.

Играли в салки, в прятки. Носились как угорелые и до того разгорячались, что на бегу сбрасывали с себя платья и ботинки. Бегали по всему дому босиком, в одном нижнем белье.

А прятались так, что иногда и к приезду родителей не могли отыскать какого-нибудь спрятавшегося да и заснувшего в укромном уголке мальчугана или девчонку.

Уголков же таких было сколько угодно: в черных коридорах и в закоулках на антресолях, где находились комнаты старших девочек (и где я сама жила впоследствии), а также огромная комната — общежитие, в которой жили все кухарки, няни и горничные, обслуживавшие Кашириных.

Если удавалось раздобыть ключи от помещавшейся на втором этаже кладовой, где стояли сундуки с добром всех невесток, принесших в дом Кашириных свое приданое, то там уж и вовсе раздолье.

Многочисленная прислуга, даже и тогда, когда в ее состав входили няни, не препятствовала этим, похожим на своеобразное радение, игрищам, им самим хотелось использовать отсутствие хозяев для совместных пирушек, а дети пусть резвятся, что им делается.

А иногда и делалось: разбивали в кровь носы и колени, прихлопывали пальцы крышками сундуков, залезали в тумбы с грязным бельем. Носились до полного изнеможения, падая от усталости, и все же не в силах остановиться, возбуждаясь и возбуждая друг друга.

В диком доме — беспастушная орава детворы, отыгрываясь всласть за вынужденную и всего лишь показную ежедневную чинность, обращалась в подлинных дикарей.

* * *

Дикий наш дом дважды в году «освящали». Не помню, в какие сроки (вероятно, это как-то совпадало с началом и концом торгового сезона): рано утром, весной на рассвете, а зимой затемно, привозили в дом икону Иверской божьей матери.

К событию этому усиленно готовились: мыли и скребли весь дом, выволакивая сор из темных закоулков. Около детских постелей клали чистое белье и одежду. Когда будили, надо было немедленно вскочить, быстро умыться, одеться и бежать на парадную лестницу.

Все дети дома (за исключением моей старшей сестры Зины, которая, сказавшись больной, не принимала ни в чем участия), толкаясь, толпились у подножия лестницы.

Толкались потому, что существовало поверье, кто первый подлезет под икону, когда ее понесут по лестнице, тому во всем будет удача. Я норовила пролезть не только первой, но и много раз, благо несли икону торжественно-медленно, а лестница была пологая, широкая в два марша, да еще с широченными площадками.

Пролезание под икону вызывало почти такой же ажиотаж и возбуждение, как и беготня по дому в отсутствие старших.

Молебен служили в зале, на нем присутствовали и хозяева с детьми, и вся домовая прислуга, и все фабричные ткачихи, и рабочие сновальной¹, а также дворники, которых было не менее трех.

После молебна икону носили по всему дому (тут опять можно было ловить момент, чтобы подлезть под нее) и кропили святой водой все углы и закоулки, и в том числе мою сестру, спокойно спавшую во время всей этой кутерьмы и суматохи.

В доме не было электричества. Всюду горели керосиновые лампы, которые имели обыкновение немилосердно коптить.

Уйдешь из комнаты, вроде бы горит лампа нормально,

¹ Ткацкая фабрика была в непредставимом теперь первобытном состоянии. Все работы производились вручную. Вручную сновали нитки. Ткали сложнейшие узоры, причем работать приходилось и руками, и ногами.

а вернешься, повсюду уже летают, словно черный снег, липкие хлопья копоти. И такая эта копоть въедливая: за какие-нибудь несколько минут все предметы покрываются жирной, блестящей сажей, которую никак не стереть и не отмыть.

Особенно часто стала страдать моя комната от копоти, когда я поселилась на антресолях, а меня уже начали звать к телефону, куда бежать надо было через весь дом, по всем лестницам и коридорам.

Чем старше я становилась, тем понятнее мне делалось отчуждение моей мамы от дома Кашириных, от быта его обитателей. Бездуховность — вот отличительная черта жизни старших его обитателей, тлетворно сказывавшаяся и на большинстве детей.

* * *

Полной противоположностью варварски дикому и нелепому каширинскому дому был окуневский, дом моих бабушки и дедушки, с материнской стороны, Евфросиньи Васильевны и Потапа Архиповича Окуневых.

Двор был небольшой, но очень гладкий и чистый, а надворные постройки — не громоздко-нелепые: дровяной сарай, погреб.

Сад тоже был вполне настоящий, с развесистыми деревьями, кустами жасмина, шиповника, сирени и клумбами с многолетними и однолетними цветами.

Основной двухэтажный дом стоял в глубине двора и выходил частью окон в цветущий сад (с садового фасада была даже просторная терраса), а не на улицу, как каширинский.

В доме кроме дедушки с бабушкой жили их два женатых сына, тоже с целой оравой детворы. Все жили одной семьей. Были две столовых: для взрослых и для детей. Были и парадные комнаты: зал, кабинет, гостиные, одна, примыкающая к залу, проходная, другая, за ней расположенная, — угловая.

Эта угловая гостиная особенно отчетливо запомнилась потому, что в ней накрывали на пасху парадный стол для приема визитеров (родственников, подчиненных служащих и деловых знакомых).

Визитеры могли приехать — поздравить с праздником и похристосоваться — с утра и в любой час дня, поэтому стол для их приема и угощения накрывался в гостиной, а не в столовой, чтобы не мешать нормальному течению дня членов семьи.

Праздничный пасхальный стол выглядел роскошным натюрмортом, достойным кисти Кустодиева или Кончаловского.

Украшали его неизменно, кроме яств и питий, еще и пахучие гиацинты: лиловые, белые, розовые.

* * *

Короткое отступление в близлежащее:

Актер Топорков, позабыв фамилию известной актрисы: «Ну, цветы, на пасху, на пасхальный стол всегда ставили. Такие сочные, запашистые». Он имел в виду Гиацинтову.

* * *

Потапа Архиповича я помню смутно. Мне трудно определить, сама ли я извлекаю из глубин своей памяти неясные видения или припоминаю рассказы взрослых, но мне рисуется такая картина.

Два старичка, с окладистыми бородами, одетые в поддевки и брюки, заправленные в сапоги, истово крестятся и бухаются на колени перед божницей, в которой за стеклом стоят иконы, а перед иконами раскачивается пещенная на цепочках лампада, наполненная маслом, с плавающим в нем неугасимо горящим фитильком.

Старики: мой дед Потап Архипович и его компаньон Аполлос Папыч Сулопаров стоят вместе на вечерней молитве.

Аполлос Папыч живет во флигеле и пришел к своему сердечному другу с вечерним визитом, а у того гостит (по случаю карантина — старшие дети у нее дома больны дифтеритом) его маленькая внучка (в окуневском доме я была до повторной женитьбы дяди Ивана Потаповича самой младшей среди всей детворы).

И вот этой маленькой проказливой внучке нравится смотреть, как старики бухаются об пол, отбивая земные поклоны. Она, то есть я, кричу: «Еще, еще!» — хохочу и хлопаю в ладоши.

Старики переглядываются, усмеваются и продолжают отбивать поклоны уже на мою радость и развлечение.

* * *

Бабушка Евфросинья Васильевна на много лет пережила своего мужа Потапа Архиповича, она умерла, когда я уже кончала гимназию.

Ее я помню всегда хлопчущей по хозяйству: то она

за варкой варенья — оно варилось в саду, на жаровне, даже на двух жаровнях (с этим сопряжено воспоминание о пенках, тут же щедро раздаваемых, на специально приготовленных блюдечках, всем желающим их отведать внучатам). То она что-то солит, или шинкует, или квасит, или печет.

Когда я впервые попала в Большой театр на оперу «Евгений Онегин», меня поразило, что варка варенья на сцене в точности воспроизводит варку варенья на даче в Измайлове моей бабушкой Евфросиньей Васильевной. Разница была лишь в том, что мы — внучата — не должны были петь, показывая, что не едим ягод, а, наоборот, нас ими угощали.

Потом я вижу бабушку за столом, угощающей, потчующей. Вот уж от нее, из ее дома, никто и никогда не ушел бы не только что голодным, но даже не едва переводящим дух от насыщения.

Хлебосолье было одним из немногих качеств моей бабушки, унаследованных ее дочкой, а моей мамой, Марией Потаповной.

Мне запомнился случай (я была тогда еще совсем мало-возрастна), когда мои старшие брат и сестра при мне и маме осуждали какого-то «тупого» молодого человека, а мама горячо за него вступилась, сказав: «Отличный мальчик, все ватрушки, какие на столе стояли, съел».

Бабушка Евфросинья Васильевна была превосходной женщиной, но у нее были свои довольно странные и неколебимые представления и понятия. Так, помнится, утешая мою тяжело болевшую старшую сестру, она, сидя, у ее изголовья, говорила: «Не робей, Зиня, помрешь, мы тебе уж такие богатые похороны справим, всю тебя в белое обрядим, гроб белый закажем, цветы белые, акафисты, поминовения».

И когда я, маленькая, сказала: «Бабинька, зачем вы ее похоронами пугаете?» — она мне ответила: «Какой же тут испуг, милая, все помрем когда-нибудь, а богатые похороны да поминовения — это, детка, и есть самая что ни на есть радость и успокоение».

* * *

Когда после смерти Потапа Архиповича и его компаньона Аполлоса Папыча коммерческие дела моих дядей Окуневых пошатнулись, они принуждены были переехать во флигель, а дом сдали внаем толстовцу Черткову.

Я была тогда еще в малосознательном возрасте и посчитала этого толстовца узурпатором и грабителем. Ведь к нему

отошел не только мой любимый дом, но и сад, со всей его сиренью и цветами.

К детской моей враждебности в отношении Черткова присоединилось и сознательное его неодобрение, когда я ознакомилась с материалами жизни Льва Николаевича Толстого. С моей точки зрения, в ней Чертков играл неблагоприятную роль.

В детстве я не прощала ему «узурпации» окуневских угодий, а взрослой посчитала недопустимым его бестактное вмешательство в личную жизнь Льва Николаевича. Мне казалось, что бегство Толстого из Ясной Поляны было спровоцировано именно Чертковым. И я не могла простить ему, что, спровоцировав это бегство, он — молодой, обладающий нужными связями, богатый человек — не сумел организовать бегство так, чтобы оно не кончилось катастрофой: нелепой смертью гения на станции Астапово. Воспоминания спутника Толстого Душана Маковицкого — душераздирающи. При всей своей любви и преданности Душан явно делал все, как нарочно, чтобы привести к трагической развязке: чуть ли не товарный вагон, сквозняки и т. д. Возьмись же за организацию «побега» Чертков — и вагон был бы международный — спальный, и вообще все возможные по тому времени удобства.

Подталкивая Льва Николаевича к бегству, Чертков, как мне казалось, обязан был заранее предвидеть, как это бегство осуществить, не рискуя жизнью гения, который еще не утратил, невзирая на возраст, своих творческих возможностей. И кто знает, каких шедевров лишилось человечество из-за этого трагического бегства.

Не говоря уже о моральных страданиях самого Льва Николаевича и его близких.

* * *

Это я привела выше свои «взрослые» размышления об уходе Льва Николаевича из Ясной Поляны.

Теперь, в старости, я думаю иначе.

Никакой Чертков не мог бы «организовать» комфортабельного ухода. Только таким — нелепым и трагичным, внутренне оправданным — мог стать уход этого гиганта мысли и творчества от самого себя, от прожитой жизни.

И товарный вагон тут был необходим, и монастырь, и смерть на станции Астапово, — все это закономерно и иным быть не могло.

Чтение произведений Толстого не произвело в моем сознании такого переворота, как прочтение Достоевского.

Достоевского я прочитала первым, о чем подробно пишу дальше, он меня потряс и взбудоражил, сделал ответственной не только за свою жизнь, но перед своей совестью и за жизнь людей вообще.

Чтение романов Толстого меня скорее успокоило, чем взбудоражило. Несмотря на то что и его герои маются в жизни, она у них, даже у бросающейся под поезд Анны Карениной, не такая отчаянно безысходная, как у героев Достоевского. Ведь они страдают почти всегда безвинно.

Анна, по Толстому, сама виновата — меня, при первом прочтении, он в этом убедил. Во всяком случае я сочувствовала куда больше, чем ей, Кити на балу (когда читала первый раз, сама была в Китином возрасте).

Анна обаятельна, но Лев Николаевич ее осуждает — это я поняла. А вот Наташу Ростову он любит, даже тогда, когда она готова совершить безумство — бежать с фатом Анатолом Курагиным. Толстой не ее винит, так я почувствовала, а чопорного князя Андрея.

Потом Лев Николаевич награждает его, раненого, просветлением души — при свидании с Наташей.

Наташа стала любимой моей героиней, только перечитывая, я все больше оставалась недовольна концом, который Лев Николаевич уготовил для Наташи.

Мне хотелось для нее другого конца. Жизни, насыщенной деятельностью. Интеллектуальной жизни.

Любовь к Пьеру, материнство — все это очень хорошо, но я желала для Наташи большего.

Мне особенно нравилось описание того, как Наташа вышвыривает, ей самой упакованные при бегстве от войск Наполеона, ценные вещи и грузит вместо них раненых.

Алексей Максимович Горький не раз говорил при мне, что детская литература нужна только до определенного возраста. По мере развития ребенка — ему нужно давать читать классику и вообще хорошую литературу (не для детей написанную). Никак литературу не упрощая и не приспособливая под детское восприятие. Ребенок сам поймет то, что на данном этапе своего развития способен понять.

На моем личном опыте это утверждение Алексея Максимовича вполне подтверждается.

Только для меня, наверное, было бы лучше, если бы

я прочитала сперва Толстого, утверждающего жизнь, чем Достоевского, беспощадно вскрывающего ее бездны.

Как мне кажется, ни Толстого, ни Достоевского нельзя «преподавать» в школе, их надо давать читать, объясняя, быть может, всего лишь реалии того времени, в которое они жили и творили, а также их собственные биографии.

Не каждому подростку выпадает на долю высокоморальное и культурное окружение, а чаще всего довольно тяжелое, явные просчеты которого ничто не способно так скрасить и столь возвысить душу этически обездоленного подростка, как своевременное прочтение богатейшей русской классики: для меня прежде всего Толстого, Достоевского, Пушкина.

По-моему, человек, не прочитавший в юности классиков, не способен духовно развиваться. Он остается ко многому как бы глухим и слепым.

Надо, не просто надо, а необходимо, чтобы в те короткие часы, что отводятся в школе на уроках литературы классикам, педагог мог бы не «растолковать», а заинтересовать — вот для этого, по-моему, и достаточно знакомить учеников с биографиями писателей (у каждого из них она в достаточной степени интересна) и с тем историческим периодом (опять же, для современного подростка, необыкновенном времени), когда рекомендуемые ему авторы жили и творили.

Молодой ум всегда нацелен на познание тайны. Нечто, заранее разжеванное, встречает закономерный отпор. Вот именно поэтому и надо натолкнуть подростка на чтение классики, как на кладоискание.

Ведь с определенной точки зрения поиски добра и истины — равнозначны отыскиванию преступника в детективном (столь всем доступном и желанном жанре) или же конкретных сокровищ в не менее любимых подростками приключенческих повествованиях.

Постепенно отмирали домостроевские обычаи, и уже те сестры, которые были старше меня на пять и даже десять лет, унижению сватовства не подвергались.

Но самые старшие из сестер Окуновых были в ином положении. Их сватали — и все тут. Так решили судьбу моей крестной матери, Ольги Ивановны Окуновой, ее выдали за Ивана Сергеевича Корзинкина, происходившего из семьи миллионеров.

Жених был абсолютнейшим обалдуем, впрочем добрым и даже на свой лад отзывчивым.

А невесте не приходилось быть особенно разборчивой: в детстве она перенесла оспу — и ее красивое, с тонкими чертами, лицо было испорчено рябинами. Да к тому же, во всяком случае в глазах ее родни, в пользу жениха говорили миллионы его родственников.

В связи с этим сватовством произошла крупная неожиданность. До тех пор сватали в определенном купеческом кругу, так сказать, низшего слоя, а тут предлагали жениха из самого что ни на есть высшего — миллионного.

Почему это произошло, я не знаю.

Думаю, что у жениха была такая дурная репутация, что в своем «кругу» за него ни одну девушку не отдали бы, — вот и обратились к сватам, промышлявшим, так сказать, в более низких купеческих кругах.

Сватовство это происходило в тот момент, когда я появилась на свет, и, по семейному преданию, чуть не стоило мне жизни. Мама моя столь увлеклась своей миссией опекуниши при сироте-племяннице, выполняя сперва всякие формальности, принятые при сватовстве, а потом покупая и заказывая приданое, что совсем забросила свои обязанности кормилицы. И я, будто бы от слабости, даже уже и не кричала, требуя пищи, а беспробудно спала, пока доктор не установил, что я впала в дистрофию от недоедания.

Этот доктор, спасший мне жизнь в младенчестве, вообще сыграл некоторую роль в моей судьбе.

Доктор Алексей Александрович Соколов был нашим семейным врачом. То есть он получал гонорар не за каждый визит к заболевшим членам семьи, а помесячное жалованье, и уж ни к кому другому, кроме него, не обращались. Причем лечил он все возрасты и ото всех болезней, совмещая в своем лице различных специалистов. Не знаю, каковы были его профессиональные качества, но полагаю, что не весьма высокие, ибо не мог он, скажем, внушить своим пациентам, что объедание — вреднейшая вещь.

Объедались же до полного оупения. Не говоря уже о том, что никакой праздник не мыслился без пирогов, на масленицу съедали такое количество блинов, что воистину надо было иметь богатырское здоровье, чтобы не скончаться от такого неумеренного чревоугодия. Впрочем, наибольшее количество «ударов», так называли тогда инсульт, а также и «разрывов сердца» (инфарктов) приходилось именно на масленицу.

Блины ели три раза в день, заменяя ими обычные трапезы. Причем даже соревновались: кто сколько десятков может съесть за один присест.

Несмотря на то что мне это тогда должно бы было казаться вполне естественным, ибо привычным, я если не с ужасом, то с трепетом и замиранием сердца взирала на то, как какой-нибудь из моих дядей накладывал себе на тарелку целую пирамиду блинов, обильно поливая маслом и прославивая их различной снедью: икрой, грибами, балыком, семгой, лососиной и т. д.

В раннем детстве и я отдала дань обжорству. Регулярно объедалась своими любимыми пирогами с капустой. Наедалась до отравления, с повышением температуры до 40 градусов.

Лежа в постели, я неизменно слышала, в положенное для его визита время, голос нашего доктора Алексея Александровича:

— Ну что случилось? Наверное, опять Тамара объелась пирогами?

Но запретить кормить Тамару этими самыми пирогами он почему-то не удосужился.

* * *

Моя крестная мать постоянно дарила мне дорогие подарки и брала к себе погостить.

Молодые Корзинкины, пока не подросли их дети, жили круглый год в Троицком, подмосковном имении, расположенном по ту сторону Москвы-реки, напротив Серебряного бора.

У Юлии Матвеевны Корзинкиной, матери Ивана Сергеевича, был в этом имении старинный дом. Старшие ее дети жили отдельно. Дочери были выданы замуж, а сыновья, кроме младшего оболтуса, оставшегося недоучкой, все занимались наследственным коммерческим делом.

Чтобы остепенить своего младшего, непутевого отпрыска, Юлия Матвеевна и поторопилась женить его. Так как, по ее мнению, он был неспособен ни к наследственному, ни к какому-либо другому делу, она и определила жить ему при ней и на дивиденды. Женив же, она выстроила ему отдельный двухэтажный дом, в достаточном отдалении от своего, на противоположной границе парка.

Главной хозяйкой — по крайней мере мне так казалось, когда я бывала в доме молодых Корзинкиных, — являлась

нянюшка Александра Петровна, которая во всем блюла волю Юлии Матвеевны.

Молодой Корзинкин действительно остепенился с женьбой и полюбил не только свою жену, но и всех ее многочисленных родственников, в особенности братьев и сестер.

На зимние школьные каникулы всю окуневскую молодежь и нас троих: брата, сестру и меня — всегда забирали в Троицкое.

За нами присылали лошадей. Укутывали так, словно в Сибирь снаряжали, и грузили навалом в розвальни.

В Троицком нас ждали подарки, елка, лыжи, санное катание с горы и по льду Москвы-реки, а в десятые годы прибавился еще и буэр.

На всю жизнь запомнился отчаянный крик Ивана Сергеевича: «Не мажьте йодом всего тела — смертельно! Не меньше трети кожи надо оставить свободной». Это относилось попеременно к любому из нас, разбившемуся на горе или на льду.

Мальчики являлись для Ивана Сергеевича «козлами отпущения» — он обучал их азартным играм. Причем, если проигрывал сам, платил наличными, их же проигрыши записывал в специально им заведенную «книгу живота».

Ни дяди мои — Иван и Никита Потаповичи Окуевы, ни мои родители, очевидно, не понимали всей непедагогичности и даже опасности подобного поведения Ивана Сергеевича. Во всяком случае, ему никто не препятствовал развращать мальчишек.

Да и остальные взрослые поступали в том же духе, многие из них дарили нам, детям, по праздникам или на именины, золотые — пяти- и десятирублевки.

Я всегда отдавала подобные подарки брату, потому что он постоянно в деньгах нуждался (ведь его уже приохотили к «мужским» развлечениям), а мне деньги были абсолютно ни к чему.

Сестра обычно прятала золотые монетки в различные коробочки, вкладывая их одна в другую. Но когда ей приходила охота проверить наличие своих сбережений, она неизменно находила в последней коробочке вместо денег записку брата: «Прости, Зина, я у тебя позаимствовал».

Старшие девочки уже кое-что понимали в жизни и относились осудительно к развращению мальчишек Иваном Сергеевичем. Я запомнила по такому поводу Клавдино шипение (именно шипение, вслух возмущаться она, очевидно, не решалась).

Но, несмотря на это, все мы, молодежь и дети, до упаду веселились в имени Корзинкиных.

Только мне вначале, конечно не вполне осознанно, было всегда немного жаль мою крестную, когда я у нее гостила.

Жалела я ее и потому, что у нее такой глупый (всякому видно, что глупый) и невежественный муж. Жалела и потому, что нянюшка может по любому поводу сказать ей: «Юлии Матвеевне это не понравится» или «Юлия Матвеевна приказали то-то и то-то».

Дом содержался богато. Был полон чудес. Но чудеса были донельзя вульгарные, вроде поющих и играющих ночных горшков, которые начинали издавать самые разнообразные звуки, вплоть до гимна «Боже, царя храни», чуть вы к ним прикасались.

На детей ведь мелочи производят иногда куда более сильное впечатление, чем что-либо по-настоящему значимое.

Так я особенно презирала Ивана Сергеевича, когда узнала, что он любит склеивать разноцветные обмылки туалетного мыла.

Кто-то, смеясь над подобной причудой богача, сказал при мне: «Делать-то ему нечего — вот он всякой ерундой и забавляется!»

И с тех пор меня не переставало изумлять, как это он живет, ничего-ничегошеньки не делая, а только развлекаясь и играя, словно ребенок. Но дети, те ведь хоть учатся...

Я думаю, что маму так увлекла эта свадьба племянницы не потому, что была она меркантильна, — нет, меркантилизм маме был совершенно чужд. Она ведь и дивиденды — то есть прибыль от производства и торговли — заставляла папу требовать не из корыстных побуждений, а из принципа — во имя справедливости.

В предстоящей же свадьбе не миллионы Олиного жениха привлекали мою маму, а переход племянницы в иной, пусть тот же купеческий, но куда более высший круг общества. Общества таких людей, которые и за границу ездят, и коллекции картин собирают, и театры субсидируют, и поместья у них имеются: в общем, все по-другому (а ведь только к «другому» и были устремлены все мамины побуждения).

Однако надежды на вхождение в «другой мир», по моему, никак не осуществились. Женив изгоя из своей среды на девушке не своего круга, тот круг ни ее саму, ни тем более ее родных к себе не приблизил.

Во всяком случае, часто бывая в доме своей крестной, я лишь однажды видела там одного из братьев ее мужа,

который только что вернулся из-за границы со своей женой, особенно всех интересовавшей.

Об этой жене без конца судили и рядили: она-де сделала себе в Париже какую-то операцию — и теперь у нее на лице нет ни одной морщинки, зато ей нельзя не только смеяться, но даже улыбаться, иначе будто бы может растрескаться все ее лицо, напитанное парафином.

Подобные разговоры крайне возбудили мое любопытство. Поэтому в назначенный к приему этих родственников день я, находясь у своей крестной, заранее залезла под парадно сервированный стол, с которого свисала бахромчатая скатерть, доходившая почти до самого пола, так что убежище у меня было вполне надежное.

Однако, как ни старалась, ничего особенного я в пропарафиненной женщине не обнаружила: к моему удивлению и даже негодованию, она и улыбалась, и смеялась, а лицо у нее при этом и не думало трескаться.

Как определить, что я помню из рассказов взрослых, а что было мною увидено лично и сохранилось в моей собственной памяти.

Беру за критерий зрительные образы.

Скажем, подглядывание из-под стола я отчетливо вижу зрительно, да и провернула я его настолько ловко, что никто об этом моем подглядывании тогда даже и не догадался, а я никому не призналась, значит, и рассказов об этом быть не могло, а запечатлено в моей личной памяти.

Самые ранние личные мои воспоминания связаны с Измайловом, с дачей моего деда Окунева.

Дача стояла напротив небольшого лесочка, казавшегося мне непроходимым бором. За ним — небольшой пруд (для меня — ребенка — если не море, то уж непременно неоглядное озеро). Окружен пруд громадными соснами, у некоторых, очевидно подмытых в половодье, корни вышли на поверхность.

Весной в Измайлове цвели такие цветы, которых потом я вообще нигде не встречала: каждый колокольчик ландыша величиной с твой палец, и не успеешь сорвать один цветок, как увидишь за ним, в лесу, целую полянку, ослепительно зелено-белую и такую ароматную, что больше тебе и рвать эти ландыши не хочется, а только бы смотреть на них, как они растут, да нюхать, как пахнут... От ландышей все бело, от подснежников сплошная синь, а одуванчики зацветут — солнце по земле стелется...

Была там такая поляна, ее почему-то называли Солдат-

ской, на которой все цветы с меня ростом и каждый краше другого, а среди них были и такие, например, золотисто-желтые баранчики, которые и изо рта не вырывали, если станешь их сосать, вкус же у них совсем медовый...

Где теперь такие цветущие поляны? Разве что в тайге или в заповедниках. И фиалки, и ландыши давно записаны в Красную книгу, сорняки-одуванчики одни лишь способны заполнить собой любое пространство.

Очевидно, детей надо уже в том возрасте, в каком вспоминаю я себя в Измайлове, приучать ни в коем случае не рвать никаких дикорастущих цветов, а лишь любоваться ими.

Внушать: если хочешь иметь дома цветы — сажай рассаду или высевай семена. Ухаживай за всходами, пропалывай, рыхли землю. И только то, что выращено тобою лично, в грунте ли, в ящиках ли или горшках, имеешь право сорвать для букета.

Срывать можно только то, что тобою выращено, а не все, что попало тебе на глаза, когда ты очутился на природе.

Дикорастущее так легко истребить и так трудно, а иногда и вовсе невозможно восстановить.

Охранять природу надо учить с самого раннего детства. Потом уже будет поздно.

Природа при всей своей мощности так легко поддается уничтожению: ее следует беречь, холить и лелеять.

Напрасно я смеялась, будучи туристкой в Японии, над церемонией коллективного любования цветами.

Жена специалиста по Достоевскому, профессора Ионкавы, повела меня в один из парков Токио — любоваться цветением ирисов.

Она торжественно сказала: «Наступила пора ирисов».

Ирисы разнообразных сортов и расцветок в изобилии распустились на специально для них приспособленных куртинах, вокруг которых вились посыпанные песком дорожки, сплошь заполненные людьми, пришедшими любоваться ими. Все, преимущественно женщины и дети, чинно-медленно вышагивали густой цепочкой. Вдруг, как бы по команде, но скорее всего интуитивно, останавливались перед особенно красивыми — редкостными экземплярами ирисов, и у всех одновременно вырывался не то вздох, не то похожий на вздох возглас восторга.

Мне это массовое любование, с непривычки, показалось смешным.

А ведь на самом-то деле, вероятно, такой обычай не может не воспитать умения ценить и беречь красоту цветов.

Будь то пора цветения ирисов или, весной, сакуры — декоративной вишни, что является в Японии национальным праздником.

* * *

У дачи Окуневых было два сада: «парадный» и «задний». В парадном среди деревьев был разбит цветник, а клумбы украшены еще и блестящими яркими шарами на подставках. Мне это казалось невероятно красивым. Задний сад представлял из себя попросту огороженный кусок леса, как бы специально предназначенный для игр в прятки и казаки-разбойники.

По правую сторону от въезда был яблоневый сад и обнесенный решетчатым забором огород, а за ними поросший зеленой травой двор с гигантскими шагами посередине. За двором, в углу участка, стояла баня.

Баня мне запомнилась особенно отчетливо, потому что меня мыли в ней именно тогда, когда разразился знаменитый ураган 1904 года. Этот ураган я отчетливо помню, отсюда умозаключаю, что начинаю помнить себя с возраста четырех с половиной лет.

Жаркий, солнечный день, меня моют в бане, и вдруг становится абсолютно темно, почти как ночью. Намыленная, голая мама в ужасе кричит мне, тоже голой и тоже намыленной:

— Окатывайся скорее! Ужасная гроза будет — видишь, как потемнело.

Из маленьких оконеч, хоть мама и отодвинула занавески, света не идет — снаружи не видно ни зги.

Поскольку я — озорница, то, пользуясь темнотой, не столько окатываюсь, сколько разбрызгиваю воду, норовлю и на маму брызгать. А мама уже кое-как окатилась, тянет меня, еще наполовину намыленную, в предбанник, там она судорожно, не попадая в рукава, что-то на себя нацепляет, набрасывает на меня простыню, хватается за руку и бросается к двери: дверь не поддается ее усилиям. Ураганный ветер ударяет в дверь с противоположной стороны, и ее невозможно открыть — мы заблокированы. Мама мечется от двери к оконцу, не выпуская моей руки.

Наконец кто-то, я не помню, кто именно, прибегает за нами из дачи. Дверь распахивается, на нас обрушиваются потоки дождя. Тот, кто прибежал за нами, хватается меня,

заворачивает в простыню, берет на руки и бежит под ветром, дождем и начавшимся градом через двор в дом.

Град был, как говорили, величиной с куриное яйцо.

Когда ураган кончился, в парадном саду лежала поперек клумб огромная, выкорчеванная сосна. В заднем же саду повалило и выкорчевало много деревьев, и два из них упали как раз на ту баню, где мы с мамой только что мылись.

Можно ли такое забыть?

Другое — самое яркое детское мое воспоминание относится к 1905 году.

Взрослые взволнованно говорят о «беспорядках». Папа уверяет маму, что в наши окна камней кидать не будут: «Рабочие меня любят, — говорит папа, — они всегда хорошо ко мне относились, как и я к ним».

Мама все же переводит нас из детской, которая окнами на улицу, в свою спальню, окнами во двор. Это свое мероприятие мама объясняет папе так: «Свои-то, может, и хорошо к тебе относятся, а чужие? Когда окна во двор — спокойнее: дворник чужих туда не пустит».

Дальше события развиваются почти с ураганной стремительностью.

Бульжники все-таки бросили, хоть и не в наши окна, а в дядины, чья квартира рядом с нашей и всеми окнами на улицу.

Следом за этим наш двор заполняется городовыми, и мама твердо решает перевезти нас — детей — к своим родственникам в Плетешки. Такие были тогда в Москве названия улиц: Плетешки, Разгуляй, а мы ведь жили на Гороховом поле.

Собирались спешно, словно эвакуировались из города, который вот-вот возьмет неприятель. Мне запомнилось невероятное количество узлов (вероятно, с подушками и одеялами).

Папа был против такого «бегства», он говорил маме: «Мне стыдно перед рабочими». А мама уверяла, что именно теперь, когда появились городовые, схватка «наших» рабочих с «бунтовщиками» — неизбежна. Папа отвечал маме: «У тебя каша в голове». Хотя вообще-то он, на моей памяти, маме почти никогда и ни в чем не перечил. Мама и тут настояла на своем, и мы, на нескольких извозчиках, целым караваном, отправились в Плетешки.

Бабушка нашему неожиданному появлению очень обрадовалась, а дядя, Иван Потапович, был явно ошеломлен и все повторял:

— Ну раз городских расквартировали, тогда конечно. Мне это приключение очень понравилось.

Расположили нас в зале, на втором этаже особняка. В доме было много диванов: и в двух гостиных, и в кабинете, но нам, детям, мне и моим старшим брату и сестре, почему-то постелили перины прямо на полу в зале, под фикусами и пальмами. Именно это и понравилось мне больше всего. Я устроила из этих перин гимнастический плац: то кувыркалась и каталась по ним, а то прыгала со стула вниз головой.

Ложиться спать, когда остальные бодрствуют, — занятие унизительное. Мои старшие двоюродные и родные братья и сестры выдумывали разные интересные игры, в которые меня, по малолетству, не принимали, да еще и кричали мне, самым обидным образом:

Земля имеет форму шара.
Пора уж спать тебе, Тамара.

Мои родители были людьми отзывчивыми, добрыми. Они постоянно высказывали и проявляли чувство своего сострадания к людям. Но доброта их была различна и проявлялась совсем по-разному.

Мамину доброту скорее всего можно назвать умозрительной. Отчетливо запомнились с малолетства ее слова: «Всю ночь не спала, так мне ее (или его) жалко».

Папа таких фраз никогда не произносил (и поэтому мама даже упрекала его иногда в черствости), но зато он непрестанно кому-то как-то активно помогал, причем делал это совсем незаметно, никак не афишируя.

Мама пеклась главным образом о своих рано осиротевших племянниках и племянницах Окуневых да о немущих подругах своего детства.

Папа же пекся преимущественно о своих подчиненных. И не только фабричные и служащие предприятия «Торговый дом А. И. Каширин с сыновьями» шли к нему за помощью, а и вся домашняя челядь, находившаяся в услужении не только у него, но и у его братьев, к которым никому и никогда не пришло бы в голову обратиться в беде.

К тому часу, когда Владимир Алексеевич выходил из фабричных ворот, направляясь в Теплые ряды, весь Токмаков переулочек был заполнен ожидавшими его ткачихами, жаждавшими поговорить «без свидетелей». И ни одна не дожидалась напрасно.

Для каждой находилось у него доброе слово и возможность хоть чем-то да помочь.

И ткачихи воздали ему за его добро. В 1918 году они единогласно избрали его своим «выборным красным» директором. А после его безвременной смерти от рака, последовавшей через год, ходили к нему на могилу многие годы (до самого переноса Семеновского кладбища, на месте которого теперь парк культуры и отдыха); вешали на крест, на его могиле, пасхальные яйца, самодельные венки и вышитые рушники.

Отец мой прожил свою недолгую жизнь честно. Любил, был человечен и делал людям столько добра, сколько мог. Находясь сам в зависимом положении, сперва от отца, потом от старшего брата, всегда умел найти тихие — обходные пути помощи своим подчиненным и ближним. Впрочем, в том и была основная прелесть его характера, что он всех, с кем соприкасался, считал ближними.

Я очень любила своего доброго отца, но оценила его полностью, лишь став вполне взрослой (увы! тогда его уже не было в живых). В детстве же моем и отрочестве я бессознательно переняла от мамы долю ее слегка пренебрежительно-снисходительного отношения к своему мужу.

* * *

Мария Потаповна мечтала об «ином» и всюду это «иное» выискивала.

Когда в одном из диких, безысходно скучных, родственных домов Мария Потаповна встретила профессора юридического права Бориса Ивановича Сыромятникова, человека действительно «иного» мира, она не могла остаться равнодушной. До этой встречи она «иное» воспринимала чисто внешне. Увидев в чьем-нибудь доме «побогаче» какие-либо бытовые новинки, тут же старалась ввести их в свой обиход, хоть чем-то да отличить его от обихода семейств ненавистных ей братьев Кашириных.

Все семейные одевались в ткани, изготавливаемые фабрикой торгового дома «А. И. Каширин с сыновьями», Мария же Потаповна считала это «неприличным» и сама одевалась и нас одевала в ткани, купленные «на стороне». Роскошные же образцы, метровые и больше куски тканей, с ручной вышивкой, приготовленные для разъездных коммивояжеров и отслужившие свою рекламную службу, раздаривала неимущим приятельницам, умиляясь на сшитые из ее подарков нарядные кофточки, накидки и прочие изделия.

Наш быт и более серьезно отличался от быта окружающих.

Ведь в нашем комнатном отсеке существовала такая невидаль для каширинского дома, как книжный шкаф, битком набитый книгами, мало того, все члены нашей семьи имели библиотечный абонемент.

Мы чаще других Кашириных ездили в театр. А летом даже выезжали иногда всей семьей на Рижское взморье.

Наконец, под влиянием знакомства с профессором Сыромятниковым, Мария Потаповна совершила и вовсе невероятный для ее среды поступок — записалась вольнослушательницей в народный университет Шанявского, куда и я, четырнадцатилетняя гимназистка, за ней последовала.

Все это настолько отличало быт нашей семьи от быта соседствовавших с нами семейств других братьев Кашириных, что мой двоюродный брат, Колюнька, спросил однажды у своей матери: «А Мария Потаповна, они что — французы?»

В 1916 году, за год до февральской революции, когда устои ее среды и быта существовали еще нерушимо во всей своей косности, 45-ти лет от роду (тогда женщина этого возраста считалась если не старой, то уж, во всяком случае, пожилой), имея троих взрослых детей и прожив в замужестве 24 года, мама ушла от мужа.

Из, в общем-то, очень обеспеченной жизни Мария Потаповна ушла в полную неизвестность и неопределенность.

Ее добрейшая мать (отец, Потап Архипович, к тому времени уже умер), Евфросинья Васильевна, не могла понять своей «взбалмошной», как она говорила, дочери и прокляла ее, по всем правилам своей деревенско-купеческой среды.

Старшие братья Марии Потаповны, попытавшись ее образумить и наткнувшись на недюжинное сопротивление, отвернулись от нее напрочь, хоть и не с проклятиями, но с угрозами.

Владимир Алексеевич очень страдал от ухода жены и все надеялся, что она вернется. Он, разумеется, был готов «все простить и забыть», лишь бы вернулась.

В последние годы войны, предшествовавшие февральской революции, когда в Москве не стало ни топлива, ни продовольствия, он постоянно говорил мне: «Душка, а не мерзнет ли мать-то? Не голодает ли? Отправь-ка ей дровец да мешок муки!»

Ее неприятие всего окружающего кончилось тем, что она стала купеческой Анной Карениной.

В купечестве, как и во всех слоях общества, был свой верх: высокообразованные Третьяковы и Мамонтовы — меценаты, покровители науки и искусств; середина — вроде хоро-

шо известных мне в детстве Корзинкиных, наживавших деньги себе в удовольствие; и наконец, низ — так хорошо описанный Островским, что тут нечего ни убавить, ни прибавить.

Этот купеческий, темный низ — «темное царство», живший правилами домостроя, и был уделом моей мамы.

Умудренный силой животворного чувства любви, папа даже и вопроса не ставил о прощении оставившей его жены. Это было для него естественней естественного.

Три года до своей смерти, последовавшей в 1919 году, прожил без Марии Потаповны Владимир Алексеевич и никогда не переставал надеяться, что — вот завтра — она вернется...

А она и не помышляла о возврате, но никак не могла совладать со своей новой жизнью. Она, конечно, любила своего нового, вернее, своего единственного (ведь Владимир Алексеевич не был ею выбран, а всего лишь навязан ей) избранника. Но любила она в нем не человека, как он есть, а свою мечту об «иной» жизни, в нем воплотившуюся.

Однако эта «иная» жизнь у нее не ладилась. Она не умела вести хозяйство без помощи кухарки и горничной, не умела сама себя обшивать, не понимала, что нельзя изучить стенографию, будучи малограмотной.

Я ходила к ней украдкой, не от своего отца, который, наоборот, как я уже сказала, всячески поощрял мои визиты к маме и каждый раз предлагал отнести ей что-либо полезное... Украдкой я ходила от профессора, маминого мужа, с которым сразу же не сошлась ни во взглядах, ни характерами. Профессор считал, что я оказываю на маму дурное влияние, поощряю ее «бунтовать». А меня он глубоко разочаровал в моих идеалистических представлениях о том, что такое любовь и как она должна проявляться.

* * *

Диву даешься, наталкиваясь в своих воспоминаниях на количество нормальных явлений, безапелляционно зачисленных мною, юной, самонадеянной особой, в разряд «мещанства» (понятия, безоговорочно презираемого).

Так, например, явно себя обкрадывая, посчитала я мещанством — танцы. Работая в Театре имени Мейерхольда, танцевала в спектакле «Учитель Бубус» на сцене. По установ-

ленному распорядку ученики ГВЫРМа должны были нести в театре все обязанности — от исполнения ролей до участия в массовых сценах, а также и технические: от помрежей до осветителей и рабочих сцены.

Если я, в массовке, танцевала на сцене, — значит, умела танцевать, но в жизни ни за что не соглашалась на подобное «мещанство».

Этот смешной негативизм в чем-то оборачивался и положительным образом. Я никогда — даже для пробы — не выкурила ни одной папиросы, ни одной сигареты. Почему? Да потому что всюду: сперва в отделе народного образования, где я работала, потом в ГВЫРМе все или почти все вокруг меня курили и часто, призывая меня к тому же, говорили: «А тебе, значит, слабó!» На что я горделиво отвечала: «Это тебе слабó удержаться, а я обладаю волей!»

Волей я, вероятно, действительно обладала, что не мешало мне, однако, совершать достаточное количество глупостей.

* * *

Выросши в ортодоксально религиозной семье, молиться богу я не научилась.

И тем не менее не только маму, потенциально верующую (хотя после ухода от Кашириных в церковь она никогда не ходила), но и сестру свою (как и я, в самостоятельной жизни церкви не посещавшую), я похоронила по церковному обряду. Почему я так поступила?

Вероятно, некая обрядность все же органически необходима. Вероятно, надо коллективными усилиями, создав специальную комиссию при Министерстве культуры, в состав которой войдут представители различных специальностей, но, думается, непременно социологи, психологи, поэты, музыканты, создать какой-то похоронный обряд взамен того, который сейчас, применительно к рядовому гражданину, оставляет желать лучшего.

То же самое можно сказать и об убожестве свадебного обряда в наших загсах, не говоря уже об откровенно пошлом ритуале на свадьбах, празднуемых в ресторанах, где имеются даже специальные штатные распорядители «церемониала».

Любой обряд должен быть прежде всего осмысленным, а уж потом, как минимум, облачен в соответствующую значению форму.

Похороны требуют тона торжественно-печально-успокоительного и уважительного.

Свадьбы — не менее торжественного тона, но бодрого, веселого, обнадеживающего, зовущего к свершениям — к полету.

Гражданская обрядность, которая у нас существует, требует к себе внимания.

Сейчас она, что называется, пущена на самотек, и тут нет ничего хорошего. Это, по-моему, настоятельно требует изучения и формирования.

* * *

Отчетливо помню, как начала ходить в приготовительную школу, принадлежавшую Вере Александровне Головиной, потом переданную ею Марии Моисеевне Арнольди.

Удивительное дело память: не только имена и фамилии моих первых наставниц я запомнила на всю жизнь, но и малейшие подробности, их касающиеся.

А вот имен гимназических учителей и учительниц я почти ни одного не помню. Забыла даже имя моей первой классной дамы (так именовались в гимназиях классные руководительницы). Она, в отличие от всех остальных наших педагогов, была молоденькой, мы всем классом ее «обожали» и в знак своего обожания решили поднести ей подарок, когда она уходила от нас.

Деньги на подарок собирала я, так как непременно должна была деятельно включиться в любое событие, к которому имела касательство.

В компании с другими девочками я отправилась и покупать этот подарок. Не обладая вкусом, мы выбрали, по-видимому, довольно безобразного, огромного фарфорового мопса с голубым бантом.

Вера Александровна Головина была необыкновенно привлекательной, ласковой женщиной. Для своей приготовительной школы она снимала квартиру в доме, находившемся напротив Межевого института, где профессорствовал и имел квартиру ее брат, у которого она жила и куда приглашала, по праздникам, своих учеников (в том числе и меня) — пить шоколад с бисквитами. До тех пор мой кругозор ограничивался всего лишь тремя домами: отчим — каширинским и родственными — окуневским и корзинкинским.

Чем отличался от привычных для меня купеческих домов этот первый дом интеллигентов, в который я попала?

Вероятно, прежде всего атмосферой, уловленной мною с безошибочностью детского восприятия.

Внешне? Ну, разумеется, книгами. У моих родителей стоял один-единственный книжный шкаф, и то это уже была редкость для нашего каширинского дома, а тут все стены коридоров битком забиты книжными полками, не говоря уже о кабинете, куда нас, приглашенных в гости детей, не вводили, а лишь показывали в открытую дверь: смотрите, сколько там книг!

Подлинным демократизмом (я тогда, конечно, не знала ни слова этого, ни что оно обозначает): у нас всего лишь не орали на прислугу (в отличие от моих дядей), даже всем распоряжавшуюся у Корзинкиных нянюшку Александру Петровну я никогда не видела за столом с хозяевами, а здесь няня Веры Александровны сидела вместе со всеми и вступала, на равных правах, в беседу.

Об еде никто не разговаривал. Вера Александровна объяснила, что этого вообще делать не полагается. А у нас и особенно у наших родственников это была неременная и даже главенствующая тема разговоров за столом.

Да и сама еда была здесь чисто условной: невесомые бисквиты (а у нас пудовые пироги) и по чашечке шоколада (что для меня было вообще в новинку).

Нам показывали в волшебном фонаре диапозитивы, сделанные со снятых самими Головиными во время их путешествий фотографий.

Показывали, рассказывая о неведомом нам мире, звали к его познанию, до головокружения раздвигая рамки нашего тесного домашнего мирка.

Очень скоро Вера Александровна сделала меня своей «помощницей» — она использовала мою дикцию и громкий голос, от природы хорошо поставленный, для чтения вслух всему классу.

Польщенная возведением меня, в мои неполные семь лет, в такой ранг, я готова была читать круглые сутки.

Когда Вера Александровна заболела туберкулезом, какие-то московские богачи (фамилии их не помню) отправили ее в Швейцарию вместе со своей больной туберкулезом же воспитанницей.

Вера Александровна заложила в меня стремление к поискам добра и зла, учила быть требовательной к себе и людям. Она старательно прививала мне эти понятия. Уверяла, что добра и в людях, и в жизни больше, чем зла, надо только неустанно к добру стремиться и уметь его находить и в себе, и в людях.

Мария Моисеевна, которой Вера Александровна переда-

ла меня с рук на руки уже семилетней, звала меня к познанию не только справедливости и добра, но еще и «истины».

Я не знаю, каковы были политические убеждения Марии Моисеевны и ее мужа — писателя Арнольди. Чересчур уж я была мала, чтобы они стали говорить со мной о своих убеждениях, но по ощущению, оставшемуся от их наставлений, думается, что были они близки к мировоззрению народников.

Поиски «истины», заложенные ими в мое детское сознание, заключались для меня, прежде всего, в поисках справедливых взаимоотношений между людьми и осознанию полного людского равенства, невзирая на имущественное и социальное различие.

Поступив в гимназию, я начала проявлять внушительную мне в подготовительной школе направленность чисто внешне, к тому же весьма комично.

Приходя, я здоровалась за руку со всеми швейцарами, находившимися в вестибюле.

Моей дружбе со швейцарами способствовало то обстоятельство, что мне выговорено было право уходить в большую перемену домой завтракать. А раздевалки для учениц стояли запертыми до конца занятий.

Вот мою одежду и помещали на вешалку, стоявшую особняком в вестибюле и предназначенную для особых случаев, вроде приезда в гимназию попечителей.

Недреманное око начальницы усмотрело мое фамильярное обращение со швейцарами, и обе провинившиеся стороны получили строгий нагоняй.

Я пыталась оправдаться тем, что вежливость-де никому не возбраняется, на что начальница вразумляла меня: «За руку в гимназии вообще ни с кем нельзя здороваться. Когда учитель входит в класс, все ученицы должны встать. Встретив учителя вне класса, требуется приветствовать его реверансом. Швейцару, так же, как и соученицам, достаточно, здороваясь, кивнуть головой».

Я покорилась, но зато глубоко приседала в реверансе, здороваясь со своими друзьями — швейцарами.

У себя дома, выполняя заветы, почерпнутые в подготовительной школе, я изо всех сил старалась дружить с обслуживающим персоналом и никому ничего не «приказывать».

Первые годы революции разъединили, порвали мои детские связи, но, когда я стала актрисой Театра имени Мейерхольда и играла в спектакле «Земля дыбом», мне как-то позвонила Мария Моисеевна, сказала, что видела меня на сцене и хотела бы поговорить со мной. Я пригласила ее к себе.

И вот после состоявшегося между нами разговора о сущности искусства мы навсегда разошлись с ней.

Мария Моисеевна пришла «убеждать и умолять» меня бросить Театр Мейерхольда и отдаться «подлинному» искусству.

Считая самым подлинным именно искусство Мейерхольда, я, со свойственными мне в дни молодости нетерпимостью и убежденностью в своей правоте, доказывала Марии Моисеевне, что ее взгляды на искусство представляются мне обывательскими, мещанскими.

Она покинула меня, чуть не плача, и больше уже никогда не пыталась «наставлять», а я тоже, после этой встречи, не стремилась возобновить с ней дружбу.

Почему-то, вероятно из-за территориальной близости, меня отдали в казенную (в Москве тогда было много частных, и некоторые славились своими отличными педагогами) Вторую гимназию, домства императрицы Марии Федоровны.

Гимназия являла собой сборище истинных монстров. Во главе этого престранного набора калек, выживших из ума старых дев и заскорузлых педантов стояла начальница.

Ее образ запечатлен в моей памяти нерушимо, как бы врезан в нее каленым железом. Маленькая, сухонькая, с высоко взбитой прической, вся испещренная бородавками и болтающимися на цепочке, возле часов и лорнета, брелоками. Она встречала меня на лестнице, когда я, «отбившись от рук», опаздывала на утреннюю молитву, на которую перед началом уроков собирались в актовом зале ученицы всех классов.

Я летела в класс, прыгая через несколько ступенек и держа в руках воротничок, который никогда не успевала дома прикрепить к платью.

Начальница каждый раз останавливала меня и скрипучим голосом повторяла одно и то же: «Здесь вам, Каширина, не цирк, а гимназия — здесь нельзя через ступеньки прыгать».

Из уважения к вашим родителям мы прощаем вам многое, но не злоупотребляйте нашим терпением.— И присовокупляла:— Я ото всей души жалею вашего мужа — несчастный человек будет!»

* * *

В младших классах я еще как-то подчинялась рутине и дисциплине. Но, перейдя в старшие, только о том и думала, чтобы как-нибудь да выбиться из рутины, как-нибудь да перехитрить учителей.

Пользуясь тем, что я имела выхлопотанное моей мамой право уходить во время большой перемены домой — завтракать, я после завтрака норовила вовсе не возвращаться в гимназию. Вместо этого я отправлялась кататься на лыжах в Сокольники или Измайлово, а то и просто гуляла по Москве.

Классной даме, уже не той, обожаемой, которой мы давали мопса, а самой обыкновенной, тупой и нудной, я врала, что придет в голову, чаще всего объясняла свое отсутствие похоронами престарелой тетушки.

Наконец даже и до сознания этой отупевшей женщины, безмерно уважавшей «богатых», к каковым она причисляла моих родителей, даже и до нее дошло, что вряд ли нормально такое количество похорон, пусть и в обширной, почтенной купеческой семье.

Классная дама позвонила моей маме, соболезнуя по поводу многочисленных смертей в нашем роду.

Тут выяснилась моя ложь. Я была поймана с поличным. Прогулы волей-неволей пришлось прекратить.

Но без отдушин выносить гимназическую скуку мне было просто-таки нестерпимо. Я заключила со всем классом пари, что с такого-то числа буду учиться без учебников и, несмотря на это, меня допустят к весенним экзаменам.

Пари было обставлено очень торжественно. Свои учебники я передала выбранному для этой цели нейтральному лицу из параллельного класса и клятвенно заверила, что других учебников ни покупать, ни брать у кого бы то ни было на время не буду. Я выговорила себе, однако, некую льготу. По условиям пари я имела право брать устную консультацию у других учениц.

Эту льготу я широко использовала. Моей лучшей подругой была первая ученица Вилли Хонес, она все всегда знала на зубок и охотно посвящала мне все перемены. Она выпя-

ливала заданный урок со скоростью пулеметной очереди мне в уши, лишь бы я их не затыкала и не убегала бы от нее.

Я вовсе не чуралась знаний, наоборот, много, хотя и беспорядочно, читала, а в последних классах посещала еще и курсы лекций в вечернем университете Шанявского (куда принимали всех желающих, не требуя никаких справок при поступлении, но и не выдавая никакого документа по окончании. Это был университет для народного самообразования).

К гимназической рутине у меня установилось неколебимое отвращение, а к учителям снисходительное презрение. Если мне надоедало запоминать заданный урок с Виллиного голоса или же то, что она мне выпаливала, вызывало во мне отвращение, я, на радость всего класса, проводила сеанс «заговаривания зубов».

Состоял этот «сеанс» в том, что, вызванная отвечать урок, я сбивала учителей с толку потоком своего неудержимого красноречия, в котором обнаруживала многие знания, не входящие в гимназическую программу, пусть и не относящиеся к тому, о чем я должна была отвечать, но вносящие какую-то живую струю в течение урока.

В большинстве случаев этот номер сходил мне с рук.

Но бывали случаи, когда мое нахальство крайне раздражало педагога — и я получала единицу с присовокуплением грозного обещания поставить обо мне вопрос на педагогическом совете.

Вопрос о моем исключении и был поставлен. Только по другому поводу.

* * *

Не помню, кто научил меня читать и в каком возрасте, я со страстью предалась этому занятию.

Долгие годы жизнь мою в основном определяло то, что я читала. Читала же я безо всякого разбора, но не все, что попадется под руку, а только то, что соответствовало моим романтическим представлениям.

Когда дело дошло до Жорж Занд и я наткнулась на «Консуэло», то увлеклась этим романом до беспамятства. А дочитав книгу до последней страницы, вдруг увидела, что повествование обрывается на самом интересном месте.

Книги я брала в библиотеке, помещавшейся на Чистых прудах. Обнаружила обрыв повествования в шестом часу, а библиотека закрывалась в шесть часов. Я бежала бегом всю

дорогу, от Горохового поля до Чистых прудов, чтобы успеть до закрытия библиотеки.

Прибежала, еле переводя дух, вовремя, но с отчаянием убедилась в тщетности своих усилий. Продолжение романа оказалось на руках у читателей.

Пришлось меня чуть не силой выдвортать: я горько рыдала, не желая уходить из закрывавшейся библиотеки. Меня никак не могли уговорить — ни предложениями других книг, ни обещанием оставить за мной продолжение «Консуэло», как только книга поступит в библиотеку.

До тех пор, пока мне не вручили это вожделенное продолжение, я ходила в библиотеку ежедневно и предъявляла категорическое требование достать мне его во что бы то ни стало.

Общеизвестна истина, что поколения имеют обыкновение перенаселять свой литературный Парнас.

В десятые годы не было, наверное, читающей девочки, которая не прошла бы через Чарскую и Желиховскую, а также через книги переводной, так называемой «золотой» библиотеки (с непременно включением «Маленького лорда Фаунтлероя», «Принца и нищего» и т. д.). Мальчиков больше привлекали Фенимор Купер и Жюль Верн. Но и мальчики и девочки с одинаковым увлечением читали «Тома Сойера» Марка Твена, а также и Диккенса.

По моим личным наблюдениям и разговорам с библиотечными работниками, могу умозаключить, что для современных детей из перечисленных выше авторов неизменно привлекателен лишь Том Сойер, Диккенс же кажется уже чересчур «длинным».

А вот меня в период детско-юношеского прочтения Диккенс пленял, помимо всего прочего, еще и тем, что у него все так подробно описано, и романы толстые, и с его героями можно было жить, долго не расставаясь.

Я даже романы Вальтера Скотта не только без труда одолевала, но опять же прельщалась их длиннотами, которые, скажем, моим внукам представляются абсолютно непреодолимыми и невыносимо скучными.

Нравное, и сейчас можно найти ребенка, который увлекается Вальтером Скоттом, но это будет исключением из общего правила.

Почему современному ребенку, как и взрослому, всегда — некогда?

Занятия в гимназиях и реальных училищах длились не меньшее количество часов, чем теперь в школах; уроки

на дом тоже задавались; у детей в нормальных обеспеченных семьях были и внешкольные занятия: музыкой, танцами, иностранными языками; и на каток они ходили, и на лыжах катались, и все же оставалось много времени на чтение.

Вероятно, у современного ребенка уйму времени отнимает телевизор, вернее сказать, все то время, что у ребенка, у подростка — в эру до телевизора — шло на чтение, теперь отнято телевизором.

Отсюда, по-моему, явный вред экранизации классики.

Вопреки распространенному мнению, что путем экранизации классика популяризуется, мне кажется, что, наоборот, она предстает, в подавляющем большинстве случаев, в совершенно искаженном виде.

Тут встает вопрос, что лучше: позднее узнать о Гоголе и его «Мертвых душах» или же узнать о них в прочтении авторов многосерийной телевизионной телеэкранизации (показанной в 1985-м году)?

Мне думается, что задача телепередачи (в идеале) не исказить, якобы популяризуя, Гоголя, а вызвать у телезрителей стремление ознакомиться лично, без навязанного толкования, с его произв дениями.

Неоспоримый, увы, факт, что громадное количество наших современников знает «Евгения Онегина» не по роману Пушкина, а по опере Чайковского.

Прискорбный этот вывод позволю себе заключить жизненным анекдотом.

Два художника (оба ныне покойные) — один маститый, знаменитый (работы, по заслугам, висят в музеях) и его ученица, более молодая художница, но тоже уже выставляющая свои произведения, — пошли вдвоем в Малый театр на премьеру спектакля «Горе от ума». Произошло это не в незапамятные времена, но достаточно давно, ибо Чацкого играл в этом спектакле Остужев.

Последующий рассказ услышан мною из уст самой «потерпевшей».

Сидят они — смотрят, слушают.

Наконец художник-женщина шепотом спрашивает у своего учителя: почему они (актеры) все же одеты в красноармейские шинели?

Художник-учитель пожимает плечами и шепчет в ответ: «Что вы хотите — ведь большевики!»

Наступает антракт. К ним подходит билетер и спрашивает их билеты. Тут выясняется, что сидят они на чужих местах.

Перепутали — пришли на день раньше и попали на «Славу» Виктора Гусева.

Что тут скажешь? Общего у Гусева с Грибоедовым только то, что оба писали стихами.

* * *

Казалось бы, азбучная истина, что кино и телевидение — принципиально разные искусства.

Однако на моей памяти велись споры: заменит ли искусство кино театр; а потом — заменит ли телевидение искусство кино.

Мне думается, что ни театрального искусства, ни искусства кино, ни литературы ничто заменить не может.

А любая подмена одного вида искусства другим ведет лишь к снижению уровня того искусства, которое пытаются подменить средствами другого, и к неизбежному провалу самой подобной попытки.

Однако телевидение так редко и так плохо использует свои подлинные возможности, что прямо диву даешься.

Принципиально новое в этой области — интервидение и телемост. Это и есть, по-моему, та сердцевина телеискусства, от которой следует исходить при поисках новых форм.

Телеискусство не может не стремиться стать самим собой, а не подменой и искажением других видов искусства.

Ведь только одно телевидение способно показать зрителю, что происходит в разных точках города — страны — мира именно в тот момент, когда события разворачиваются.

На мой взгляд, блестяще был осуществлен показ шествия участников фестиваля молодежи по улицам Москвы, которое телеоператоры снимали одновременно во многих ключевых точках.

Навсегда запомнилась таким же способом снятая встреча космонавта Гагарина и некоторые другие передачи с Красной площади и на подходах к ней. Открытие и закрытие Московской Олимпиады и фестиваля молодежи.

В январе 1986 года была показана не во всем удачная, но по-настоящему телевизионная передача из цикла «Мир и молодежь», одновременно снятая во многих точках — вплоть до лестничных клеток в подъездах домов.

А «Версии» Юлиана Семенова я считаю подлинной теленаходкой.

По-моему, надо пробовать давать «версии» поиска (каждым зрителем для самого себя) сокровищ культуры. Без

умелого наталкивания, некоторые слои нашей молодежи, да и взрослых, еще не приобщившихся к подлинной культуре, как отечественной, так и мировой, даже и не подозревают о их существовании и о том, сколь увлекательно приобщаться к мировой культуре.

* * *

К середине десятых годов молодежь моего окружения увлеклась театром. Сперва любительские спектакли начали ставить в доме Окуневых. Приглашали зрителей и со стороны. Молодежь жила не столь замкнуто, как родители. Потом к ним примкнули и Каширины, даже переманив на свою территорию. У Кашириных зал был гораздо больше, в нем даже настоящую сцену построили. Рампу освещали переносными керосиновыми лампами, которые обычно подвешивались на фабрике к ткацким станкам. А сцену затянули тюлем, подобно тому как это делалось тогда в Художественном театре на спектакле «Синяя птица».

Конечно, меня и тут не принимали (ребенок!). Но меня это только раззадоривало — укрепляло желание стать всамделишной актрисой. Присутствуя на репетициях, я даже критиковала исполнителей.

Когда я познакомилась с Маяковским, он, придя ко мне, когда я еще жила в отчем доме, но была уже замужней, уверял, что узнает особняк, в который затащил его однажды молодой поэт (очевидно, знакомый какой-нибудь из моих двоюродных сестер), где Владимир Владимирович испытал забывшееся ему беспокойство, что вот-вот произойдет пожар. Когда он добавил, будто вспоминает и меня — толстую девочку с двумя косичками, которая будто бы в упор его рассматривала, я ему вообще не поверила, но потом вроде бы и сама вспомнила, что были разговоры о каком-то особом госте (следовательно, не могшем меня не заинтересовать). Поэтому, когда последовали уточнения о керосиновых лампах — впритык к тюлю, затягивавшему сцену, и о смехотворной игре молодых любителей театра, поставивших «Бориса Годунова», — поверить пришлось.

Вряд ли был в Москве середины десятых годов второй такой нелепый купеческий дом, как наш. Да и впрямь ведь ставили «Бориса Годунова» и играли, даже на мой тогдашний (лет 12—13 мне было) вкус, исключительно плохо. Я даже пыталась объяснить исполнителям, разумеется презрительно отвергавшим мои замечания, что они не там, где надо, ставят ударения и паузы не на месте делают.

В меня начали влюбляться как мальчики моего возраста, так и несколько постарше, да даже и совсем взрослые.

А я стала проявлять какой-то мной самой выдуманный вид суффражизма. То есть я не признавала любви, кроме эфемерно возвышенной, которой пока что ни к кому не испытывала, поэтому считала, что никто из моих поклонников ее тоже не может испытывать, а у мальчишек это — игра, дурачество, и я, дидактически морализуя, стыдила их за пошлость и тривиальность.

Внимание взрослых мужчин я горделиво расценивала как внимание к моей начитанности и незаурядной интеллектуальности.

Очевидно понимая мою детскую фанаберию, взрослые мои поклонники говорили со мной только на возвышенные темы, давая мне полную возможность гордиться, что дружат со мной на равных.

Так длилось до тех пор, пока я не познакомилась с братом моей школьной подруги Вари Невревой (по отцу — правнучке художника Неврева). Брат этот, Николай Васильевич, старше меня на девять лет, кончил к тому времени юридический факультет Московского университета и учился в филармонии по классу роаяля.

Когда я впервые попала к ним в дом, меня удивило, что мама Вари ходит по квартире, не выпуская из рук книгу, близоруко поднося ее к самым глазам, не переставая читать и во время обеда, и отдавая какие-то распоряжения, и отвечая на вопросы, ей адресованные.

Варя мне сказала:

— Не обращай, пожалуйста, внимания, мама у нас такая. Она всегда читает, а мы делаем что хотим. Вот только няня и Ермиловна нас иногда урезонируют.

А урезонивать их действительно требовалось. В квартире у них стоял полный кавардак, и ко всем разновозрастным Вариним братьям и сестре непрерывной чередой шли приятели и приятельницы — веселились кто как мог и умел.

Сперва я сдружилась с ее братом, старше нас с Варей года на два или на три, еще учившимся в реальном училище.

Начались совместные лыжные катанья, и Валяка (так его все звали) имел неосторожность высказать мне свою любовь, после чего был немедленно мною отставлен.

Но тут вступил в игру средний брат, Николай Василь-

евич, который прекрасно раскусил мои причуды и, заинтересовавшись смешной девочкой, начал вести со мной сугубо научные разговоры, в частности просвещая меня в социальном плане, в котором я была абсолютно невежественна, а он знакомил меня с трудами Энгельса, Маркса и научил читать газеты, которых я до этого и в руки не брала.

Он меня не только просвещал, но сумел вызвать во мне чувство сострадания. А это для меня, «по Достоевскому», было главное чувство. Сперва я начала сострадать всей их семье. Мать брошена отцом, биржевым маклером, который, промотав большую сумму денег, данную ей в приданое, ушел к кафешантанной певичке (до тех пор я понятия не имела о кафешантанах). Родители Александры Михайловны, богатые купцы Чернышевы, не давали ей ни копейки, а все расходы семьи: квартирная плата, различные поставщики еды, одежда, плата за учебу детей, жалованье прислуге и т. д. — оплачивали по счетам. Даже детям на карманные расходы деньги давались только няне, которая являлась доверенным лицом родителей Александры Михайловны и призвана была блюсти в семье порядок. Летом вся семья жила в Пушкине, где у Чернышевых был большой участок, почти поместье, с большим домом для главы фамилии (тогда существовал такой термин) и отдельными дачами для каждой из дочерей (в том числе и для Александры Михайловны).

Постепенно получилось так, что не я ходила к Варе, а Николай Васильевич почти каждый день приходил к нам. Мама от нас уже ушла. Мой брат был в армии. А с папой Николай Васильевич сумел подружиться, так же, как и с моей старшей сестрой Зиной.

Он часто приглашал меня пойти с ним в театр или на концерт.

Однажды, когда он за мной зашел, я уловила от него не переносимый мною винный запах.

Тут появился у меня новый повод для сближения с ним — сострадание и стремление «спасти».

Я сказала ему, что нашей дружбе конец, если он не даст мне слово больше никогда не пить вина. Он, разумеется, отшутился. Но с тех пор я уже никогда ненавистного мне запаха от него не улавливала (очевидно, выпивал не в те дни, когда шел ко мне) и неслыханно возгордилась, что сумела так решительно «перевоспитать» человека, ставшего на дурной путь.

Пользуясь этим моим ослеплением, он очень осторожно, но ловко сумел вызвать во мне и любовные чувства. Как

я поняла впоследствии, то, что я испытывала в отношении него для меня не было любовью (которая пришла в мою жизнь много позднее), а всего лишь влюбленностью, первым пробуждением естественного любовного влечения (кстати сказать, он был очень красивым мужчиной).

Он поговорил с папой, и мы стали считаться женихом и невестой, отложив более серьезные решения и взаимоотношения на потом (ведь мне было всего лишь 16 лет). Хотя **бы** до тех пор, как я окончу гимназический курс.

Почему я, столько лет спустя, считаю юношеские свои чувства к Николаю Васильевичу не любовью, а всего лишь мимолетной влюбленностью (хотя она и длилась несколько лет)? Да потому что потом-то я испытывала настоящую любовь и поняла различие.

Влюбленность была чем-то вроде игры. И что для меня на всю жизнь осталось главным мерилом — я не приносила ей никаких жертв. Мне очень льстило, что я — взрослая и у меня уже есть жених.

Теперь мне не требовалось усилий для втолковывания особям мужского пола, что со мной можно иметь только дружеские взаимоотношения (а их обилие мне льстило), — достаточно было объявить: я — невеста.

Однако эта невеста совершенно забывала своего жениха, усхав летом 16-го года в Крым, а 17-го в Теберду.

Летом 16-го года я поехала с папой в Крым. Ехали мы в Симеиз, куда за два месяца до нас отбыли мама с Зиной.

Папе было еще неизвестно, что мама его навсегда покинула. Но я-то знала об этом. Мама уже вернулась в Москву, но не одна, а с профессором, и я виделась с ней перед своим отъездом в номере гостиницы.

Нося в душе эту тайну, я очень волновалась за папу и опасалась осложнений при его встрече с Зиной, которая в одиночестве ждала нас в Симеизе.

Шла война. Мы ехали в двухместном купе спального вагона, куда проводник подсадил к нам женщину в форме военной сестры милосердия, мотивируя свой поступок тем, что в войну нельзя не потесниться ради человека, работающего на войну.

Я этой женщине, в особенности заметив, что она не прочь пококотничать с папой, очень обрадовалась.

Папа же, наоборот, вопреки своему обыкновению — со всеми быть приветливым и любезным, был с этой женщиной крайне сух и как-то сумел выпроводить ее в другое купе.

По приезде в Симферополь (Севастополь был закрытым военным городом) папа нанял автомобиль (тогда — еще большая редкость) для поездки в Симеиз.

По дороге разразилась гроза, и на перевале наш автомобиль сломался, его владелец — он же и водитель — объявил, что дальше он нас везти не может. Папе едва удалось найти какую-то арбу, на которой мы добрались до Алушты, где пересели в двухконный экипаж и прибыли в Симеиз только поздно вечером.

Зина встретила нас — вся в слезах. Она целый день ждала, зная, когда мы выехали и когда, если все с нами благополучно, должны прибыть; она считала, что мы погибли в пути. С ней была, утешая ее, соседка по комнате, с которой мама сдружилась до своего отъезда из этого пансионата и которой поручила наблюдать за оставленной в одиночестве Зиной.

При постороннем человеке папа не стал ни о чем расспрашивать Зину, которая на его вопрос — где мама? — уклончиво ответила:

— Внезапно уехала.

А уехала мама из этого пансионата уже давно, как только прибыл за ней профессор, с которым перед возвращением в Москву они еще пожили в Кацавелле.

Соседка усиленно суежилась вокруг нас (она была в курсе всех событий) и услала меня принять после дороги ванну.

Мне в этой ванне не сиделось. Я наскоро ополоснулась и побежала обратно, наткнувшись на запертую изнутри дверь, за которой слышался непривычно грозный папин голос и плаксивый Зинин.

Не раздумывая, я постучалась в соседнюю дверь, которая вела в комнату встретившей нас дамы, и, удивив ее своей стремительностью, проскочила молча через ее комнату, выскочила на балкон и перелезла через решетку, отделявшую его от смежного, куда выходила дверь комнаты, где папа заперся с Зиной.

Непривычно красный, рассерженный папа кричал на Зину и даже тряс ее за плечи. Увидев это с балкона, я кинулась внутрь комнаты, обхватила папу, оттащила его от Зины и начала осыпать поцелуями.

Папа быстро остыл и, сказав: мартышке (то есть мне,

которая давно все знала и давала маме свое «благословение» на любовь) еще рано о таких делах судить, Зину он, так и быть, прощает, но ноги его в этом доме не будет; он найдет где переночевать, а мы должны рано утром улечься и ждать его: он заедет за нами в экипаже, придет за вещами кучера, а сам подниматься сюда не станет — лишь расплатится внизу с владельцами пансиона: из Симеиза мы уезжаем — поищем более пристойное место на побережье.

С этими словами папа удалился. А к нам опять пришла соседка по комнате — успокаивать Зину и приголубливать меня, в чем я не ощущала никакой надобности, и даже весьма невежливо постаралась ее выпроводить, сказав, что устала с дороги, хочу выспаться, папа нам велел пораньше встать и ждать его готовыми к отъезду.

Дама разахалась, но удалилась.

Зина все еще плакала, а я строго приказала ей — не распускать нюни, выспаться и завтра весело встретить папу и ни в коем случае не говорить с ним о маме, чего, мол, я не делаю, хотя и виделась с ней в Москве перед отъездом.

В нашей среде почиталось старшинство, и Зина всегда свое старшинство в отношении меня использовала, но тут она удивленно смирилась и не стала мне возражать.

Утром мы двинулись в путь по побережью. Алупку папа проехал, не останавливаясь, а в Мисхоре начал расспрашивать, где можно снять две комнаты на полном пансионе.

Случай привел нас в пансион художников Браиловских.

Это был весьма своеобразный пансион. Тут я впервые столкнулась с артистической богемой.

Жильцы пансиона: поэтессы, художники, артисты, преимущественно друзья хозяев, — жили веселой коммуной, в которой мой папа и еще один постоялец — профессор из Томска с двумя племянницами — выглядели белыми воронами.

Фамилию томского профессора я забыла, потому что все, разумеется, и я в том числе, звали его, как племянницы, — дядя Саша.

Хозяйничала в этом странном пансионе маленькая женщина, которую все звали «тетя Женя»; запомнилось кем-то сочиненное «тетя Женя со стишками, ходит мелкими шажками».

Она действительно так и сыпала, но не стижками, а прибаутками вроде: «Тот, кто рано встает, тому бог подает». Это она даже и вывешивала, как плакат, в столовой, когда для заспавшегося обитателя пансиона ничего не оставалось на столе (общем для всех жильцов), кроме обедков и грязной посуды.

Иногда, таинственно отозвав в сторону дядю Сашу или папу, тетя Женя шептала:

— Приходится у вас позаимствовать, разумеется, зачту при окончательном расчете, а сейчас на покупку продуктов для обеда — у меня нет ни копейки.

Всем (или мне это только казалось) было так весело, и погода была такая отличная, и море такое теплое и ласковое, что никого подобные «мелочи жизни» не волновали.

Когда папе пришла пора уезжать, он, поколебавшись, все же оставил Зину и меня в этом «вертепе» (так называла пансион сама тетя Женя).

Там я познакомилась с артистами Борской и Шахаловым, которые потом включали меня, мечтавшую о театре, в некоторые свои театральные халтуры (так они называли клубные спектакли).

Первая такая халтура состоялась еще во время пребывания в пансионе Браиловских. Спектакль был поставлен артисткой Малого театра Массалитиновой в клубе поселка Кореиз, что — выше Мисхора в горах.

Массалитинова внушала всем участникам спектакля, что это — вовсе никакая не халтура, что она такого понятия не признает и для нее искусство театра — всегда искусство как в большом, так и в малом проявлении.

Ни одной черточкой своего поведения нельзя обнаружить неуважения к святости искусства — внушала она, требуя, чтобы на репетиции все приходили вовремя, собранными и прилично одетыми, как принято в Германии на похороны ходить, почему-то парадоксально прибавляла она.

— Никаких сарафанов, никакого обнаженного тела, — предъявляла она категорическое требование. — Потом надейте костюмы, соответствующие ролям. А на репетиции все должны быть одеты чинно и благородно.

Я вспомнила эти ее наставления, когда мой внук Петя учился в университете.

Я всегда знала, когда у него урок военного дела, потому что в этот день он непременно надевал белую рубашку и галстук.

Очевидно, военрук относился так же к преподаваемому им предмету, как Варвара Осиповна к театральному искусству.

Пребывание у Браиловских ознаменовалось для меня редкостными знакомствами.

Рядом с домом Браиловских была дача Марии Павловны, сестры Чехова, которая зимой жила в Ялте, а летом на этой мисхорской даче.

Я ей полюбилась, и она часто приглашала меня к себе и велела заходить за ней, когда я шла к морю — купаться.

Я ей поведала о нашей семейной драме; она пригласила к себе в гости папу и была очень внимательна к нему.

Шахалов, только что перешедший из театра Незлобина во МХТ, готовил роль Гаэтана в пьесе Блока «Роза и крест», вскоре он уехал из Мисхора, ему надо было попасть в Москву еще до сбора труппы, а Борская (артистка театра Корша), которая обещала папе шефствовать надо мной и Зиной, осталась. Мы возвращались к началу учебного года с ней, дядей Сашей и его племянницами-москвичками, с которыми я очень подружилась (одна из них, Нина, была моей ровесницей).

Приезд в Бахчисарай ознаменовался тем, что мы распаяли самовар.

Расположились в гостинице так: одна комната — женская, там и Борская, и все четыре девицы.

Другая комната — дяди Сашина.

Горячей воды, кроме как в поданном нам огромном, кипящем самоваре, не было, поэтому мы, смывая дорожную пыль, его и распаяли. Он еще был полон углей, а мы израсходовали всю воду.

Единственный раз в жизни я была свидетельницей того, как распаивается самовар: он вдруг стал красным и вспучился, а потом с грохотом осел, превратясь из громадного сооружения в уродливое нечто, похожее на многослойную лепешку.

И надо же было так случиться, что, вымывшись и накрыв на стол, мы пригласили дядю Сашу пить чай, а только он перешагнул порог, самовар и проделал этот фокус с распаиванием.

На всю жизнь запомнился ужас в глазах дяди Саши

и неистовый хохот Борской, которой все мы — девчонки — радостно вторили.

Дядя Саша сперва онемел. Потом укоризненно сказал, обращаясь к Борской:

— Надежда Дмитриевна, тут не смеяться надо, а плакать. Не подумайте, что я жалею денег, которые за этот самоварище придется уплатить, а жалею девочек, которые не понимают, над чем они смеются, проявив такое легкомыслие, уничтожив чужую, возможно, старинную вещь, которой могут дорожить ее владельцы.

Эта моралистическая тирада не уняла нашего хохота, а Надежда Дмитриевна сумела даже и дядю Сашу, в конце концов, успокоить и если не рассмешить, то все же заставить улыбнуться.

Когда все отхохотались, я начала декламировать:

— Ставь же свой парус косматый, меть свои крепкие латы знаком креста на груди.

Дядя Саша спросил:

— Откуда это?

Борская опять расхохоталась:

— Из роли Гаэтана, которую все время твердил своим громовым голосом Шахалов, — неужели вы, дядя Саша, не слышали?

— Я не привык подслушивать, кто что в какой комнате говорит, — оправдывался дядя Саша, а мы опять залились смехом, и никак нас было не угомонить.

Удивительное дело — память.

У Марии Павловны Чеховой она была поразительной. Так сложилось, что после 16-го года (моего лета в пансионе Браиловских и знакомства с Марией Павловной) я встретила с ней лишь через много лет, в начале тридцатых годов, приехав в Ялту уже со Всеволодом Ивановым.

Когда мы со Всеволодом пришли в Дом Чехова, Мария Павловна сама вела экскурсию. Она меня тотчас же узнала, назвала «своей девочкой» и пригласила, по окончании общего осмотра, нас двоих — Всеволода и меня — в свою личную комнату.

Задумчиво меня разглядывая, Мария Павловна сказала:

— Так вот ты какая стала. А театр? — И, продолжая рассматривать, спрашивала: — В каком ты театре? Я ведь просматривала — в двадцатые годы мелькнула Каширина. Не удосужилась я дознаться — ты ли это. Потом исчезла Каширина. Ну, думаю, переменяла она фамилию.

Я коротко рассказала о своей жизни.

Мария Павловна весело резюмировала:

— Значит, побоку театр. Стала верной супругой и добродетельной матерью. Ну и — молодец. Знаешь, как Ольга (Книппер-Чехова) раскаивалась, что мы с ней Антошу здесь в Ялте на зимнюю скуку одного оставляли, а сами в Москве околачивались, воображали, что невесть какие важные дела творим.

Потом Мария Павловна спросила Всеволода, ценит ли он мою жертву.

Я кинулась уверять, что ни о какой жертве речи нет.

Но она отлично поняла, что жертва все-таки была. Да и не могло в моей жизни «по Достоевскому» обойтись без жертв. Я ведь истинность чувств именно принесенными во имя них жертвами только и измеряла.

Три раза я пожертвовала театром: первый раз во имя служения Революции, второй во имя любви и третий (окончательный) — во имя ее же — и уже на всю жизнь.

У Борской, наоборот, оказалась очень плохая, сбивчивая память; хотя она и общалась со мной куда более длительный отрезок времени, чем Мария Павловна, она меня позабыла, но не совсем, потому что какие-то воспоминания у нее со мной ассоциировались: так, встретив меня совместно со Всеволодом, не мне, а ему стала она напоминать о распянном в бахчисарайской гостинице самоваре.

Но хохотуньей осталась до старости: когда выяснялось, что вовсе не при Всеволоде, а при моем участии произошло это знаменательное событие, Надежда Дмитриевна хохотала так же заразительно и неудержимо, как тогда, когда этот самовар распаялся.

После Мисхора Шахалов и Борская брали меня иногда на халтуры.

Это не очень нравилось папе, и, чтобы его смягчить, я пригласила их к себе в гости.

Люди крайне занятые, они могли прийти только после спектакля.

И тут я позорно опростоволосилась. Хозяйство после ухода от нас мамы вела я (Зина категорически отказалась): не имея никакого опыта, я во всем следовала до меня заведенному, к чему приучены были и кухарка, и горничная.

Утром полагался завтрак. Днем обед. Ужин не позднее 8 часов вечера.

Что полагается в 11—12 часов ночи предложить гостям — я понятия не имела.

Накрыли стол для чая, со множеством сортов варенья и разных сладостей.

Посмотрев на эту декорацию, Шахалов сказал:

— А не найдется ли у вас белого хлеба — я покажу фокус.

Только тут я поняла, что людям после работы надо дать настоящую еду, а не варенье да пирожные, и бросилась доставать хлеб и закуски.

Но этого Надежда Дмитриевна не запомнила, самовар же врезался ей в память.

Где-то, на четырнадцатом году, во всяком случае до первой мировой войны, я начала читать Достоевского.

Это чтение до того потрясло меня, что я всех окружавших меня людей приравнивала к героям Достоевского.

Потрясение было невероятно. До тех пор чтение не вызывало в моем сознании подобных катаклизмов.

Тут все буквально перевернулось.

Жизнь открылась мне с совершенно неожиданной стороны — куда более глубоко страшной и в то же время обязывающей меня лично стараться помочь людям униженным, несчастным и оскорбленным людям.

Я начала жалеть всех подряд — и кого надо, и кого совсем не надо.

В ту пору были очень распространены «стрелки»: так странно называли людей, выпрашивавших деньги под разными предлогами у людей, которые, по мнению этих стрелков, были достаточно богаты.

Вспоминаю, например, молодую женщину, которая ходила по домам с подписным листом, выпрашивая деньги на похороны отца-адвоката, известного многим из тех, к кому она обращалась. Как потом выяснилось, отец ее был жив, но в отъезде, а ей понадобились деньги — и она не побрезговала таким недостойным образом выуживать их где только могла.

Случайно услышав ее разговор с моим отцом, я была потрясена тем, что мой добрый папа ей отказал, — вернее сказать, не отказал, а не дал денег, обещав лично принять участие в похоронах ее отца.

Мне папин отказ показался недопустимо жестоким, я быстро оделась, бегом догнала эту женщину, уже в конце Токмакова переулка, и сунула ей золотой пятирублевик,

который получила в подарок тем утром (день был предпраздничный) и еще не успела отдать его брату.

Удивленная женщина бросилась меня обнимать, целовать, и я уловила от нее тот запах, который столь был мне ненавистен возле нашего заклеянного сургучом забора и от которого я всегда стремительно убегала.

Домой я вернулась обескураженная и, не утерпев, начала расспрашивать папу об этой женщине. Он очень мягко объяснил мне, что эта «бедняжка», по-видимому с горя, выпила (тогда еще не было известно, что она собирала деньги на похороны живого отца), денег же ей давать именно поэтому безусловно не следовало.

В том, что я уже дала, я, разумеется, не призналась. Но этот случай меня несколько отрезвил. И все же на какое-то время я стала буквально добычей для всяческих попрошаек, удовлетворяя наскоки которых, я выпрашивала деньги у папы под разными предлогами, будто бы для себя. Так как раньше этого за мной не водилось, папа нашел нужным серьезно поговорить со мной. Я не сумела утаить причину. А он, как мог, объяснил мне, что я — на неверном пути. Помогать людям надо — это долг каждого христианина (папа ведь был религиозен), но помогать с толком и тем, кто действительно в этом нуждается, а не сделал себе из попрошайничества профессию.

Мне тут не все было понятно, но жизненные факты оказались куда убедительней папиных наставлений.

Однажды, только что выйдя из нашей калитки, я была поймана каким-то стрелком; он плел стандартную небылицу об отсутствии у него денег на лекарство для заболевшего ребенка; я высыпала ему все содержимое своего кошелька и с ужасом увидела, что он, даже не стесняясь, что я могу увидеть, пряником направился в казенку.

На этом моя деятельность по поощрению стрелков прекратилась. Я стала изыскивать более рациональные способы проявить человечность и милосердие.

* * *

Уже две зимы, кроме слушания по вечерам лекций в университете Шанявского, я занималась ручным трудом в мастерских профессора Россоломо. В университет я попала, следуя за мамой, не желая ни в чем остаться позади. А мастерскую Россоломо я нашла сама, узнав о ее существовании по объявлению, вывешенному в том же университете Шанявского.

В объявлении говорилось, что «ручной труд облагораживает, дисциплинирует и укрепляет волю». Все это представлялось мне совершенно необходимым в отношении моих двоюродных братьев Колюньки и Сережи Кашириных. Я считала их родителей людьми неинтеллигентными и безнадежно запустившими воспитание своих сыновей.

Мастерские Россоломо помещались где-то в переулках между Никитской и Арбатом.

Посетители мастерских, как и в университете Шанявского, были всех возрастов.

Мальчиков я определила что-то строгать и пилить, а также выжигать по дереву. Сама же занялась металлопластикой, то есть выдавливанием рисунка по тонкому металлу.

Почему-то я с ранних лет проявляла такую самостоятельность и даже брала на себя заботу о других людях, а выросшая в одной со мной семье моя старшая сестра была настолько инертна, что даже боялась оказаться одна на улице. Окончив гимназию и поступив на Высшие женские курсы, сестра не решалась ездить туда одна, и ее сопровождала горничная.

А я, на шесть лет моложе ее, не только отправлялась куда угодно в одиночестве, но еще и выбирала наилучшие способы для воспитания самой себя и своих младших двоюродных братьев.

Думаю, что разгадка тут не только в разнице наших характеров и темпераментов, но и в том, главным образом, что под влиянием проглатываемых мною в огромном количестве книг я рано начала критически к себе относиться и поставила за должное «воспитывать волю».

Стремление «стать сильной личностью» носилось тогда, в преддверии Революции, в воздухе.

Осознав свои слабости, я и начала, лет с тринадцати-четырнадцати, тренировать волю.

Приступила я к этой тренировке на даче в Томилине. Упражнение воли № 1 я поставила себе такое: преодолеть страх перед коровами, которых я почему-то ужасно боялась.

Неподалеку от снимаемой нами дачи, в лесочке, паслось большое стадо.

Когда, в полдень, коров сгоняли на полянку, я вменяла себе в обязанность пройти через стадо несколько раз подряд.

Мне это стоило таких больших усилий, что однажды я даже почти потеряла сознание, выбравшись на свободное место из гущи мычавших и брыкавшихся (из-за слепней) коров.

Упражнение № 2 было, объективно говоря, куда опаснее.

Я вылезала ночью из окна, шла, стуча зубами от страха, через все тот же лесок, где днем паслось стадо, к линии железной дороги и вдоль линии шагала к станции Красково. А затем проделывала весь путь обратно и влезала в окно своей комнаты с чувством огромного облегчения и удовлетворения от выполненного «долга». Так чувствует себя, вероятно, благополучно вернувшийся из разведки солдат.

Думается, эти мои опыты самовоспитания не прошли даром и не только генами, но и самовоспитанием объясняется моя ранняя самостоятельность и смелость в общении с людьми.

Однако, несмотря на всю мою смелость, я все же чувствовала себя в университете Шанявского несколько стесненно и, вероятно, поэтому ни с кем там не знакомилась. Держалась, что называется, букой.

А со мной заговаривали, шутили. Я была чуть ли не самой младшей среди всех: смешной, надутой чувством собственного достоинства девчонкой, в гимназическом платье и с косой, перекинутой через плечо.

В ответ на все попытки завязать со мной знакомство я неизменно бурчала: «Мне некогда». И действительно, мне было некогда. Я усиленно конспектировала лекции, а в перерывах между ними, не теряя времени, уточняла скоропись (пока еще не успела забыть, о чем шла речь). Впрочем, память в ту пору у меня была такая хорошая, что я и без конспекта все запоминала чуть что не наизусть.

Но ведь я мнила себя «сильной личностью» и вменяла себе в обязанность целеустремленность. Целью же моей был театр — ему я решила посвятить свою жизнь.

Решив посвятить жизнь театру, я, естественно, ставила историю театра во главу своих занятий в университете Шанявского и всего усердней посещала лекции Василия Григорьевича Сахновского.

Сахновский читал историю театра в маленькой комнатке, слушателей у него было всего около дюжины, а иногда и вовсе собиралось не больше пяти-шести, причем самых разнообразных людей. Наравне со мной, гимназисткой, лекции Сахновского слушал, например, поэт Бальмонт.

Но некоторые профессора, лекции которых я тоже посещала, читали в самых больших и всегда до отказа переполненных аудиториях.

Такими, пользовавшимися громадным успехом, были лекции профессора Айхенвальда по литературе и профессора Кизиветтера по истории.

Когда произошла февральская революция, мне только что исполнилось 17 лет и я кончала последний класс гимназии.

Меня выбрали делегаткой от нашей гимназии на общее собрание школьников Москвы, а потом председателем нашего школьного комитета.

На мой взгляд, все было уже выведено из закоснелого равновесия. Все заколебалось и подлежало обсуждению и переделке.

Но впереди были еще ни кем не отмененные выпускные экзамены. Их надо было сдавать, хочешь не хочешь, по прежней нерушимой программе, прежним неизменным учителям.

Закон божий надо было сдавать по всей программе обучения. А я этого предмета абсолютно не знала, и Вилли, как еврейка от него освобожденная, помочь мне не могла.

Тут я выбрала самый нейтральный билет, под номером шестнадцатым, житие святой Варвары-великомученицы, прочитала это житие и безапелляционно заявила батюшке: «Знаю один только шестнадцатый билет, положите его, батюшка, себе под рукав рясы».

Батюшка обомлел от негодования, однако то ли из стереотипного уважения к своим почетным прихожанам, моим родственникам, то ли наслышанный о моем председательском посту в школьном комитете и опасаясь для себя неприятных трений, просьбу мою, или, вернее сказать, мое категорическое предложение исполнил.

Все устные предметы я сдала под Виллину скороговорку. Она добровольно экзаменовалась первая, а я, по моей просьбе, последняя.

Пока остальные девочки отвечали, моя память зеркально запечатлевала Виллины знания. И я даже успевала ассоциировать их со своими собственными.

С письменными экзаменами дело обстояло сложнее. Сочинение меня не волновало, я чувствовала себя способной написать его на любую из тем гимназической программы, а вот алгеброй и геометрией мне пришлось срочно заняться.

Великим постом мы обязаны были приносить в гимназию свидетельство о говении.

Лично мне ходить на исповедь представлялось «стыдным», но скрепя сердце я подчинялась.

С религией у меня не заладилось с самого детства. Ведь жила я в ортодоксально религиозной семье, и лет с пяти меня начали «гонять» в церковь каждую неделю ко всенощной по субботам и накануне других церковных праздников, а по воскресеньям и праздникам к обедне.

Нравственного же значения религии мне никто не удосужился объяснить. Поэтому я воспринимала церковную обрядность только с негативной стороны.

У нас, у Кашириных, было свое «место» в церкви Вознесения, помещавшейся на Гороховом поле (то есть на площади) наискось от нашего дома.

Детей выстраивали вдоль невысокого деревянного барьера, отделявшего наше «место» от остальной церкви.

Стоять было нестерпимо скучно. Дети развлекались тем, что подкалывали друг друга булавками, или, если полагалось держать в руках зажженную свечу, капали воск за шиворот и на голову соседу.

Немного подросши и уже просвещенная Верой Александровной в духе любви и уважения к людям, я придумала для себя, в эти томительные часы церковных выстаиваний, и некоторое интеллектуальное развлечение.

Я выбирала какую-нибудь самую невзрачную из почетных прихожанок, стоявших на нашем помосте, пристально ее разглядывала и придумывала ей замечательные душевные качества и ее прекрасное отношение к людям, за которые требуется уважать и любить ее.

Иногда я так увлекалась этими придумываниями, что не реагировала на булавоочные уколы, щедро расточаемые моими соседями, чем приводила их в такой ажиотаж, что наша возня обращала на себя внимание взрослых, которые тут же начинали строго внушать, как нам надлежит себя вести в церкви. Чаще всего приказывали стать на колени.

Некоторые службы, например на страстной неделе или торжественная пасхальная, мне нравились, я начинала к ним присматриваться и прислушиваться, даже озадачивала тех же своих неугомонных двоюродных братьев и сестер, останавливая их возню и шушуканье сердитым: «не мешайте».

И вот в учебный 1916—1917 год, осознав себя мыслящей человеческой личностью да еще и будучи избрана председателем школьного комитета нашей гимназии, я не только категорически отказалась идти исповедоваться и причащаться, но изо всех сил стремилась призвать последовать

моему примеру и других девочек. «Зачем это я буду батюшке душу выкладывать. Дудки! Не дождутся от меня этого».

Прежде при исповеди я молчала или, наклонив голову, мрачно выдавливала из себя: «да! нет!»

Мне это сходило с рук все по той же причине: богатые родители, жертвователи, а потом: отец — церковный староста.

Долго и пламенно я объясняла девочкам, что религия не имеет ничего общего с науками. А если кто религиозный — пожалуйста — это его дело. Но зачем же об этом справку приносить? Религия — дело личное, утверждала я, какое кому до этого дело?.. Никаких справок приносить не надо — ни в коем случае. Это — позорно для неверующих и кощунственно для тех, кто верит.

Меня слушали, не споря, но справки о говении принесли все, кроме меня и Вилли, от которой (как от еврейки) такая справка и не требовалась.

Я не так сильно переживала возможность своего исключения из гимназии, как провал моих агитаторских способностей и закоснелое упорство девочек, их боязнь нарушить установленные правила.

Спас меня от исключения председатель родительского комитета (тоже тогда организованного) инженер Трёмбовельский, отец моей соученицы и подруги Нины.

* * *

Когда я окончила гимназический курс и получила аттестат, мы поехали, летом 1917 года, вдвоем с Зиной в Теберду.

Сестра моя была одержима желанием прибавить в весе, поэтому, выбирая, куда бы поехать, она прельстилась публикацией в вечерней газете: владельцы пансиона в Теберде расписывали в своей рекламе, что там-де «живое мясо пасется в горах».

Меня мясо не интересовало, но Кавказ влек неодолимо.

Поездом надо было ехать до станции Невинномысская, а оттуда на лошадях, с ночевкой в станице Баталпашинской, добираться до Теберды.

Когда, сойдя с поезда в Невинномысской, мы с сестрой подошли к стоянке экипажей, к нам приблизился молодой человек и спросил: не в Теберду ли мы едем? Выслушав наш утвердительный ответ, он протянул нам свою визитную карточку и паспорт, чем крайне нас удивил.

Тогда он объяснил, представившись и устно — Крути.

присяжный поверенный (то есть адвокат) из Коканда, — тоже едет в Теберду и предлагает нам себя в спутники и охранители.

Мы радостно приняли его предложение — ехали самостоятельно впервые. Обличье же кучеров экипажей нам показалось довольно устрашающим, поэтому предложение приличного на вид молодого человека сопровождать нас показалось вполне уместным.

По дороге я, разумеется, сообщила ему, что у меня в Москве — жених, на что он ответил рассказом о жене и дочке, оставленных им в Коканде.

В Баталпащинской Зина гулять не захотела. Я вышла на балкон, да так и ахнула: от земли исходило какое-то феерическое свечение.

— Что это такое? — не удержавшись, спросила я невedomо кого и тут же получила ответ от стоявшего под балконом нашего дорожного спутника:

— Светлячки и светящиеся гнилушки.

Остановились мы, по моему настоянию, в том пансионе, который посоветовал Крути, а не в том, что дал рекламу в газету.

Зина еще крепко спала, а я уже отправилась на осмотр окрестностей. В двух шагах от дома обнаружила поляну несказанной красоты. Такого обилия разноцветья мне еще не привелось раньше видеть. Опьянев от восторга, я рвала и рвала цветы, не в силах остановиться, но и удержать образовавшийся из них сноп тоже неспособная.

После завтрака, который Зина нашла удовлетворительным, мы, разумеется, сопровождаемые Крути, отправились в поселок. Я — покупать кувшины для цветов, Зина отыскивать — где бы можно было взвешиваться. Весы были обнаружены в аптеке, и аптекарь предложил завести особую тетрадь для регулярных взвешиваний Зины, что ей понравилось. Я накупила столько глиняной посуды, что бедный Крути просто изнемог от ее неудобноносимости.

А я, увидев проезжавших верхом людей, немедленно захотела заполучить лошадь.

Выяснилось, что это желание довольно просто осуществить: лошадей дают напрокат.

— Но у тебя же нет брюк, — сказала Зина.

Брюк правда не было. Во всем сказывалось легкомыслие и жизненная неподготовленность.

Прошлым летом в Мисхоре я ездила в брюках дяди Саши, у него был обширный выбор новехоньких брюк, из которых мы, в его отсутствие, выбрали с его племянницей Ниной себе по вкусу, приколов к вешалкам по записке: «Берем взаимобразно — до отъезда».

Чудовищно (что меня нисколько не смущало) сидевшие на мне брюки дяди Саши я ему, при отъезде, вернула, другими и не подумала обзавестись.

Крути сказал, что у него есть с собой ни разу не надеванные им брюки.

Я обрадовалась. Зина возмутилась.

По возвращении в пансион я тут же стала примерять предложенные мне брюки — они сидели на мне даже еще хуже, если это только было возможно, чем дяди Сашины, но мне это было безразлично: длина подходит, в поясе широко — можно заколоть английской булавкой.

— Ну прямо — рыжий у ковра, — сказала Зина.

— Очень даже мило, — сказал Крути, и его мнение подтвердили другие молодые люди, когда я присоединилась к кавалькаде, образовавшейся в соседнем, том, что себя рекомендовал, пансионе. Тот пансион был шикарнее и более многолюден, чем наш.

Состоялась и вовсе примечательная прогулка (с ночевкой) — на Клухорский перевал. Прогулка была пешая — многокилометровая, и пошли в нее только мужчины и я, сопровождаемая «охранявшим» меня Крути.

Мужчин было человек восемь, и одна я — отчаянная особа женского пола.

Мы шли без проводника, отыскивая дорогу по каким-то не вполне ясным наставлениям местных жителей и много раз сбиваясь с правильного пути.

Пришли к перевалу, выйдя с рассветом, когда уже стемнело, и очень обрадовались, обнаружив, что от туристической базы, стоявшей на подступе к перевалу, уцелела (время было разрушительное — лето 17-го года) какая-то ее часть под крышей и даже стол там стоял.

После веселой трапезы, очистив стол, его предоставили мне — в качестве ложа. Мужчины же улеглись на полу.

На стене укрепили фонарь «летучая мышь» и сговорились по очереди нести около него вахту (от которой я была освобождена, хотя и протестовала, утверждая свое равноправие).

Утром отправились к перевалу. Тут на меня, как и в утро приезда в Теберду, нашло цветочное сумасшествие. Впервые в жизни видела я в природе рододендроны, эдельвейсы и тут же, у кромки льда, скромные незабудки... Я рвала и рвала цветы. Презрев равноправие, я заставляла своих спутников тащить за собой собранные мною цветы; некоторые ворчали, но подчинялись, другие, желая угодить, даже еще от себя прибавляли к моей коллекции какие-то редкостные экземпляры.

По-видимому, никто не задумывался, как тащить весь длинный обратный путь это гигантское количество цветов.

Но дело решил случай. Вернувшись к останкам турбазы, мы обнаружили там арбу, хозяин которой признался, не стесняясь, что приехал за столом.

С ним быстро сторговались, он согласился доставить меня с моими цветами в Теберду, а уж потом вернуться за столом.

Восседая или даже возлежа посреди цветов на сене, я и въехала в Теберду, окруженная пешими своими спутниками.

Не было ни одной женщины в обоих пансионах, которой я не подарила бы, от своих щедрот, хотя бы по цветку. И все они мне завидовали и жалели, что побоялись отправиться в это путешествие. Но Зина ждала меня в полном мраке: нам пришла телеграмма, извещавшая, что брат эвакуирован с фронта и лежит в военном госпитале в Москве.

Мы немедленно начали готовиться к отъезду. Нас вызвал сопровождать один из спутников, ходивших со мной на Клухорский перевал.

Память не всегда благодарна. Я забыла и имя, и фамилию этого человека, который проводил нас до самой Невинномысской, уговорив кучера ехать без ночевки, и в поезд усадил.

До смешной крайности доходила я в своем неприятии даже и намек на какие-либо фривольно-кокетливые отношения.

Но помощь-то принимала, не задумываясь.

А попав буквально в безвыходную ситуацию при одном из эпизодов эвакуации во время Отечественной войны, я, презрев все свои принципы, стала кокетничать с незнакомыми людьми, чтобы добыть возможность выбраться с пристани в Казани.

Да, тяжек был отъезд из Татарской республики, когда Всеволод вызвал меня с детьми из Чистополя в Куйбышев, куда его в ноябре 1941 года эвакуировали с Информбюро.

На пристани творилось нечто невообразимое: подлинное столпотворение.

Попытка добыть билеты через начальника пристани категорически провалилась. Он советовал выйти за ворота и встать в общую очередь перед окошечком кассы, дожидаясь его открытия.

Но совершенно неожиданно нам повезло. Возле запертого входа в кассу (находившегося с нашей, внутренней стороны) мы с Таней повстречали двух молодых актеров, занятых тем же, чем и мы, то есть поисками возможности выехать.

Вечером я увидела военных, о которых нам говорили целый день. Они внезапно появились, и меня с ними познакомили. Я смертельно устала, едва держалась на ногах, но, пересиливая себя, постаралась весело говорить, что-то рассказывать. Словом, постаралась и им понравиться.

Вдруг мой знакомый схватил меня за руку, и я увидела торопливо шагающую женщину — это и была кассирша, пробиравшаяся к кассе.

Все было разыграно, как и предполагалось. Кассирша и опомниться не успела, как ее буквально вынудили продать билеты всем военным, и в том числе билет на одноместную каюту нашим знакомым и на двухместную мне. Получив билеты, мы удалились, а кассирша заперла за нами дверь. И только после нашего ухода пришел милиционер эту дверь охранять.

Я так и не узнала, было ли опоздание милиционера случайным или же заранее обеспеченным по уговору с военными.

Пароход должен отойти ночью. Но отправившийся на разведку энергичный новый знакомый принес известие, что погрузиться следует немедленно, так как остановки на пристани не предполагается, а пароход уже подан и стоит примерно на километровой дистанции от нас, принимая пассажиров, которым удалось добыть билеты.

Где эта паромная стоянка? Как туда попасть? Кто защищает наш багаж?

У наших знакомых багажа почти нет. У наиболее энергичного всего лишь большой рюкзак за спиной, у другого в

руках маленький чемоданчик. Они оба предлагают нам свою помощь. Но вещей у нас чересчур много, а надо торопиться.

Все тот же наиболее энергичный кинодеятель находит желающих подработать в качестве носильщиков, и мы, почти в полной тьме, трогаемся цепочкой.

Едва мы успели разместиться на пароходе, как капитан выстроил охрану из матросов, чтобы на пристани (краткая остановка там все же была, хотя и не у официального причала) никто не смог бы войти. Пароход и без того был сверх меры перегружен.

Когда прибыли в Куйбышев, спутники опять нам помогли. Там очень крутой подъем от реки к городу и никакой официальной obsługi, всего лишь добротные оборванцы-носильщики.

Хотя Всеволод нас не встретил и продолжал идти не то дождь, не то мокрый снег, настроение было отличное, да и светло к тому же, и мы уже не так бдительно следили за своими носильщиками, как в казанской темноте при посадке.

И вот тут — на горе — сразу обрушилось на нас два несчастья. Одного из помогавших нам киноработников ударили со всей силой в подбородок. Пока он надевал пенсне и оправлялся от испуга и боли, ударивший его злоумышленник исчез вместе с чемоданчиком. Мы были потрясены этим происшествием не менее чем сам пострадавший, в особенности когда узнали, что в этом чемоданчике находилось все его теперешнее состояние. Расплачиваясь с носильщиками, я начала пересчитывать свой багаж и к великому ужасу обнаружила (о чем уже писала в первой части) пропажу чемодана с рукописями Всеволода. Оборванец носильщик, к счастью, вернулся. В этом чемодане, обшитом рваной бязью, фанерном, перевязанном веревкой (такие теперь разве что в музее увидишь), не было, на взгляд носильщика, ничего ценного, одна исписанная бумага. Сам же чемодан не стоил тех пятидесяти рублей, обещанных за его доставку. Вот он, благодетель, и принес его обратно.

Удача весь этот переезд Чистополь — Казань — Куйбышев все время сопутствовала нам. Совершенно неожиданно встретили мы и Всеволода.

Радостям свидания не было границ.

Радовались как самому факту объединения семьи, так и всем обстоятельствам нового этапа поселения, например тому, что утром, в подвальном помещении этого дома,

занятого эвакуированными из Москвы сотрудниками Информбюро и еще какого-то учреждения, выдавали буханки белого хлеба, масло и кипяток.

Всем этим мы угостили пришедших проститься с нами наших дорожных спутников, которые уезжали догонять свою киноорганизацию, выехавшую, как они выяснили, в Алма-Ату.

Один из них сказал мне, что его товарищ остался попросту нищим: все у него было в украденном чемоданчике.

Я не стала уточнять, что именно разумелось под этим «все», но попросила у Всеволода денег. Он сказал, что скоро должен получить в Информбюро, и отдал мне те деньги, что у него имелись, я прибавила какую-то сумму (оставив на прокорм семьи) из тех денег, что у меня еще были после переезда, и предложила в качестве временной помощи пострадавшему, спасая нас, спутнику; тот не отказался. На этом мы расстались, чтобы никогда больше не встретиться, и даже имен этих своих покровителей-спасителей я ведь не запомнила.

Прошу прощения за длинные отступления от основной темы.

* * *

Приехав в Москву из Теберды, я «выхлопотала», чтобы мне отдали брата из военного госпиталя в Лефортове «на домашнее долечивание».

Военный госпиталь ужаснул меня, и я решила: хоть умру, но заберу оттуда брата.

Из армии его отчислили с диагнозом «туберкулез желудка». В Лефортовском госпитале лечили от дизентерии (тут-то и сказалось противозаконное и непредсказуемое — отпуск домой). Мне удалось доказать, что дизентерийных палочек у брата нет.

Дома профессор Плетнев поставил диагноз запущенного брюшного тифа; лечение, которое производилось в Лефортове, угрожало брату смертельным исходом.

Профессор не разрешил оставить его дома. Забрал в свою клинику — на Девичьем поле, — где брат пролежал два месяца, но был спасен.

Устроив брата в клинику профессора Плетнева, я начала устраивать саму себя в театр и тоже преуспела в этих хлопотах.

Я давно наметила себе — держать экзамен во Вторую студию Художественного театра.

Там шел молодежный спектакль «Зеленое кольцо», очень меня прельщавший.

Экзамены почему-то были отменены, но мне удалось познакомиться с В. Л. Мчедловым, который принял меня в студию по индивидуальному просмотру.

Он начал готовить меня к вводу во второй состав спектакля.

Я работала воодушевленно.

Казалось, ничто не способно отвлечь меня от театра, но...

Произошла Октябрьская революция, и все в моей душе и жизни решительно изменилось.

Во время уличных боев между юнкерами и рабочими я еще совершенно не понимала, на чьей же я стороне.

Со своей подругой Ниной Трёмбовольской я бродила по всему городу. Нас почему-то пропускали патрули обеих сторон. И там и тут патрульными — молодые парни, охотно с нами болтавшие.

Брат Нины был юнкером. Очень начитанный, симпатичный мальчик, и все его товарищи, которых я встречала у Нины, — тоже юнкера и тоже симпатичные — они никак не подходили под понятие «враги». Тем более, что настроены они были отнюдь не монархически, а вполне революционно.

А вот в оттенках революционности я еще не научилась тогда разбираться.

Да, думаю, что большинство из моих знакомых юнкеров тоже не разбиралось.

Те парни, которые считали юнкеров — врагами, тоже понравились мне, а они не только шутили с нами, но пытались и просветить; их просветительные речи звучали для меня вполне убедительно.

Обе стороны мне казались по-своему правыми до тех пор, пока Николай Васильевич не вложил мне в руки газету «Правда» и я не начала читать ее от номера к номеру, выслушивая его комментарии.

Очень скоро я почувствовала себя, пока еще в душе, большевичкой.

Надо сказать, что в деле воспитания моего сознания, вернее сказать, в направленности моего сознания, сыграл тогда большую роль именно Николай Васильевич Неврев, человек очень образованный, способный, но с какой-то неискоренимой склонностью к дилетантизму. За все брался, все у него получалось, и ни на чем он надолго не останавливался.

Он был, как говорил, принципиально беспартийным, но (настолько, насколько мог при своем скепсисе) сочувствовал большевикам.

Примечательно, что не только меня, но и еще одного младшего своего приятеля, Володю Львова (погибшего потом в гражданскую войну), он так удачно просвещал, несмотря на свой скептицизм, что мы оба, и Володя, и я, загорелись желанием, которое не замедлили выполнить, вступить в партию большевиков.

В те годы, да, впрочем, и до старости, для меня невыносим разрыв между идеей и действием. Идея, так я считала и считаю, должна быть немедленно и вполне конкретно претворена.

Театральные мои занятия продолжались, но я уже рвалась к более активной деятельности, к деятельности на пользу революции.

По малолетству театр казался мне не на переднем революционном крае.

Тут подоспело воззвание партии и правительства к молодежи, призывавшее заменить в начальной школе объявивших забастовку учителей.

Я немедленно откликнулась на это воззвание и, оставив занятия в студии, явилась, по месту своего жительства, в Бауманский отдел народного образования.

Меня назначили в первый класс начальной школы для девочек, находившейся в нескольких шагах от дома, где я жила.

Девочки, к которым я сразу начала применять все свои свободолюбивые мечты, немедленно «заобожали» меня.

Вид класса во время даваемого мною урока являл собой картину весьма необычную. Девочки висели на мне гроздьями, по принципу «куча мала», и я не возбраняла им этого (мне ведь было всего семнадцать лет).

Ученицы мои происходили преимущественно из низших слоев населения, а время настало трудное, и остро сказывалась нехватка мыла, поэтому очень скоро я вся обовшивела, но это несколько не убавило моего пыла, а только уяснило

для меня необходимость гигиенических мероприятий в отношении моей детворы.

Был организован коллективный, всем классом, поход в баню, с предварительной закупкой мыла и еще какой-то соответствующей жидкости.

Первого мая 1918 года я повела свой класс на первую Первомайскую демонстрацию. Была холодная, ветреная погода, идти нам на сборный пункт в Лефортово было довольно далеко, но девочки явились стопроцентно.

На углу одного из переулков поджидала наше шествие та учительница, которую я заменила. Это была пожилая, высокая, костлявая женщина, державшая в руках распятие и взывавшая страшным голосом:

— Дьяволу предались, от бога отступились! Пока не поздно, окститесь и изыдите из вертепа! Ко мне, дети мои! — Вопила она неистово, протягивая к девочкам распятие.

Ряды моих девочек дрогнули: одни, уstraшенные, бросились от меня к своей прежней учительнице, другие ринулись поближе ко мне и, по своему обыкновению, повисли на мне, цепляясь одна за другую.

Едва удалось восстановить порядок и построить поредевшие ряды.

* * *

К тому времени осложнилась и моя домашняя жизнь. Папа, хоть и не во всем сочувствовал большевикам, все же по душевной широте готов был со мной согласиться и признать полезность и даже необходимость многого из предпринятого ими. Романтически настроенная, всегда жаждущая «иного», мама была склонна даже поощрить мои порывы, зато ее новый муж, профессор Сыромятников, при Временном правительстве депутат от кадетской партии в «предварительный парламент», люто вознегодовал на меня, объявил штрейкбрехером и окончательно запретил маме встречаться со мной. Хотя мама и не послушалась этого запрета, но открыто высказать ему свое ослушание не посмела, а виделась со мной с тех пор только украдкой.

Все течет, все меняется. Переменились и взгляды профессора Б. И. Сыромятникова. Впоследствии он работал в Институте государства и права АН СССР. Получил степень доктора наук.

Весной 18-го года я вступила в партию большевиков. Ведь комсомол еще не был организован.

Вступление мое в партию вызвало неслыханный переполох во всем клане моих многочисленных родственников.

Переполох этот еще усугублялся тем, что я была введена в состав бригады, которой вменялось в обязанность обследовать жилые особняки района на предмет реквизиции их под детские учреждения.

Для меня и вопроса не возникало в правильности и своевременности мероприятия. Тут сбывалась моя мечта о справедливом распределении жизненных благ.

Однако не так думали мои родственники. От меня отвернулась, за небольшим исключением, почти вся родня. Со мной не только не здоровались, но даже и плевали мне вслед при встрече.

Продвижение по служебной лестнице происходило тогда необычайно быстро. Уже осенью 18-го года по возвращении из летних колоний, куда мы вывезли школьников, я была командирована на краткосрочные инструкторские курсы, по окончании которых назначена школьным инструктором при отделе народного образования Бауманского совета.

Остракизм, которому подвергли меня родственники, мало меня тревожил, даже скорее нравился мне.

Да и жизнь не давала роздыха.

Я вышла замуж.

Логика в моих поступках было мало. Так, будучи активной безбожницей и к тому же новоиспеченным членом партии, я венчалась в церкви.

Мне не хотелось огорчать папу, да и жениху моему, Николаю Васильевичу, без труда (я ведь находилась под сильным его влиянием) удалось уговорить меня, что обряд венчания надо рассматривать в данном случае всего лишь как театральную-карнавальную церемонию и нельзя из-за таких пустяков обижать моего отца.

Пострадал на этом неразумном действии Володя Львов (одновременно со мной вступивший в партию и во всем внимавший Николаю Васильевичу как оракулу). Володя в качестве шафера держал надо мной в церкви венец и как вполне совершеннолетний — 21 год — получил строгий выговор с предупреждением.

А я, восемнадцатилетняя, отделалась тем, что меня

устно распек дававший мне рекомендацию при вступлении в партию заведующий отделом наробраза, в котором я работала, товарищ Лазоверт.

* * *

Николай Васильевич уговорил меня уехать в село Красное, Орловской губернии, где открылся крестьянский университет, куда он был приглашен преподавателем.

В этом селе мы прожили неполный (приехали зимой 1918/19 года) учебный сезон и лето. Николай Васильевич преподавал в университете, а я опять учительствовала в начальной школе — одна на все четыре класса, обучая сразу, в одной неразгороженной избе, детей всех возрастов, от восьми до четырнадцати лет.

В селе были смутные настроения, к тому же школа плохо отапливалась, поэтому не все родители пускали в нее детей. Но и тех, что приходили, было предостаточно для того, чтобы в классе стоял дым коромыслом, а я едва успевала поворачиваться, чтобы как-то распределить и занять всех пришедших детей — хоть чему-то да научить их.

Осенью Деникин почти вплотную подошел к тем местам, и мы едва успели эвакуироваться.

* * *

Вернувшись в Москву, я снова стала работать в Бауманском отделе народного образования. И вот тут-то мне и было поручено руководить моими прежними, еще столь недавними, гимназическими наставниками.

Школы II ступени (прежние гимназии) были организованы в школьные объединения.

Прежний директор назывался теперь председателем школьного объединения. А на моей обязанности лежало собирать таких председателей со всего района и инструктировать их в духе новой школы.

Я лихо справлялась со своей задачей.

Кроме письменных инструкций, находившихся в моем распоряжении, я пользовалась устной консультацией Михаила Петровича Потемкина, высокообразованного человека, возглавлявшего наш школьный подотдел.

Немалую роль играла и моя страстная убежденность в необходимости все переделать по-новому.

Если на инструктивном собрании педагогические «зубры»

задавали мне какой-либо каверзный вопрос, на который я была не в состоянии вразумительно ответить, я отодвигала ответ на конец собрания, а тогда, складывая свои папочки, объявляла, что время сегодня истекло, а вот следующий раз мы начнем именно с этого вопроса или вопросов, если каверза оказывалась множественной.

Когда я уходила из органов просвещения обратно в театр, мне поднесли примечательный адрес, за всеми подписями председателей объединений, очень жалею теперь об утрате этого уникального в своем роде документа, в котором говорилось, что мне приносится благодарность за мою инструкторскую деятельность, занимаясь каковой я сумела, невзирая на свой юный возраст, не принеся, правда, существенной пользы, не причинить, однако, никакого вреда.

Документ был составлен сугубо иронически, но я тем не менее гордилась им.

«Зубры», приходя в отдел, никогда не садились ко мне анфас, а всегда поворачивались в профиль, подчеркивая этим свое «не полное уважение» ко мне, но, в общем, я жила с ними мирно, и никогда дело не доходило у нас до недоразумений, для разрешения которых потребовалось бы вмешательство третьего лица.

Михаил Петрович руководил мною незримо, не обнаруживаясь перед моими «подопечными».

Уже будучи женой Николая Васильевича и родив дочку, я узнала, что все время его жениховства со мной у него была любовница, некая Валентина Иннокентьевна, которая была на содержании у богатого купца. Ей-то и суждено было стать в моих глазах Настасьей Филипповной, которая была в то время моей любимой героиней. В последующие прочтения «Идиота» я ее все меньше любила. А став взрослой, впала в противоположную крайность, считая ее уже не жертвой, а самовлюбленной эгоисткой, не способной ни на любовь, ни на сочувствие.

Теперь же я думаю, что Достоевский прежде всего жалел Настасью Филипповну, а уж потом делал выводы, как общество, искалечившее ее жизнь, превратило нормальную здоровую девушку в эгоистку, мстящую за свою обездоленность всем и каждому, даже не вполне понимая мотивов своих поступков, продиктованных болезненной истерией и отчаянием.

Тетка мужа, дружившая с Валентиной Иннокентьевной, нас познакомила и рассказала мне ее печальную историю. Я не приревновала, нет. Я не простила Николаю Васильевичу того, что он мог пренебрегать такой красавицей (она мне показалась необыкновенно красивой), которая его явно любила: смотрел на нее сверху вниз за то, что она — содер-жанка.

— А ему, видите ли, нужна была ты — чистая девушка! — сказала мне Валентина Иннокентьевна. — Он тебя еще и в церковь повел венчаться — для полной чистоты.

Тут я возмущенно вспомнила, как Николай Васильевич уговаривал меня венчаться в церкви, якобы чтобы папу не обидеть. Он предал главное для меня — дружбу.

Вероятно, это было последним толчком в уже начинавшемся моем разочаровании в нем.

Я тогда была студенткой ГВЫРМа, и студийные занятия стояли в моей жизни на первом месте.

Я предложила Николаю Васильевичу разойтись. Он уговорил меня, апеллируя к моим материнским чувствам, не делать этого.

Дочку он, правда, очень любил, и я ценила его заботы о ребенке.

Он меня уговаривал:

— Ты по существу еще не совсем взрослая. Не разбираешься в жизни, в людях. Я тебе обещаю ни в чем не мешать, но давай жить вместе, как друзья. Ты же веришь в возможность чистой дружбы. Если я был в этом плане виноват перед тобой — каюсь, прости и поверь.

И я поверила.

Мы продолжали жить вместе, как друзья, которые растят дочь. Но только до поры до времени.

Не только поток сознания влечет в моей памяти за одним отступлением еще одно, потом другое. Тут сказывается смысловая последовательность, нарушающая хронологию.

Нижеследующее отступление — в сущности глава из совсем другой книги (которая в качестве комментариев к адресованным мне ста шестидесяти письмам Бабеля уже и написана мною, но если будет публиковаться, то после моей смерти).

Решаюсь рассказать в общих чертах о своих взаимоотношениях с Бабелем и процитировать кое-что из его писем ко мне.

Раздумывая над тем, что является в публикуемых воспоминаниях своевременным, а что нет, приходишь к выводу,

что самое понятие своевременности — весьма относительно.

Излишняя щепетильность тех, кто располагает реальным знанием, основанным на фактах, приводит иногда к двусмысленным домыслам людей, не знавших лично того, о ком пишут «по материалам» или сместив в памяти реальные события.

Прекрасно сказал Феллини в интервью (опубликовано в «Литературной газете», 1986, 14 мая, № 20) о том, что не от автора надо ждать суда над его произведением, а от тех, «кто посмотрел его работу в готовом виде, получив возможность судить о ней либо с критической отстраненностью, либо с пристрастностью союзника».

Приведенная цитата говорит об осмысливании художественного произведения.

Воспоминания особый жанр. Часто случается, что хронику жизни выдающегося человека начинают создавать через много лет после его смерти, опираясь в основном на разрозненные воспоминания, увы, как правило, изобилующие домыслами.

И вот тут-то и оказываются виновными не только те, кто отдался на волю своего сознания, смещающего факты, но и близкие того человека, которого они пережили, не указав вовремя на искажения и смещения фактов его биографии.

Чаще всего причиной умолчания для близких людей является щепетильность, сама по себе достойная уважения, но в то же время чреватая досадными последствиями.

Приведу конкретные примеры.

Вспоминая о своих современниках, такими, какими я лично их знала, я написала о Бабеле как о писателе, с которым была дружна, не уточняя, что он — отец моего сына Миши, усыновленного в младенческом возрасте Всеволодом Ивановым.

Рисуя портрет Бабеля в книге о своих современниках, я посчитала неуместным и несвоевременным привносить сугубо личные факты его биографии.

Однако реакция некоторых читателей убедила меня в том, что я должна внести недостающую ясность, которая будет когда-нибудь необходима при создании хроники жизни Исаака Эммануиловича Бабеля и Всеволода Вячеславовича Иванова.

Не менее значимы и другие мои просчеты подобного рода.

Являясь составителем книги «Всеволод Иванов — писатель и человек», я не исправила неточности, допущенной в воспоминаниях Льва Никулина. Он пишет: «...накануне

отъезда мы провели вечер у Тамары Владимировны Кашириной, которая немного позже стала женой Всеволода Иванова. Мне показалось тогда, что Всеволоду не очень хотелось уезжать из Москвы...» С точки зрения точной последовательности в хронике жизни Всеволода Иванова эта запись Никулина совершенно неправильна. Когда они уезжали (в 1927 году) за границу, Бабель еще находился в Москве. У Всеволода тогда не было никаких со мной взаимоотношений. Он любил Сарру Дмитриевну Лебедеву (создавшую великолепный скульптурный его портрет), любовь эта была для него драматична, и он мечтал поскорее уехать — расстаться. А я была с ним знакома только как с писателем и другом Бабеля.

Никулин допустил домысел — произвольное смещение событий, постфактум неправильно их осмысливающее.

Тогда я впервые была составителем и по неопытности решила: «Никулина уже нет в живых (он умер к моменту сдачи сборника в набор) — зачем я буду вторгаться в его текст? Ведь по существу — основное-то, что я стала женой Всеволода, правда, а хронология — так ли уж она важна?»

Теперь двадцать лет проработав составителем многих сборников, я понимаю, что точность — *необходима*. Иначе вместо хроник жизни выдающихся людей будут получаться сплошные досужие домыслы.

Итак, вне хронологии, вспоминаю 1925 год.

Мне — двадцать пять лет, и я ужасно скучаю, как не приводилось мне еще скучать. Если поглядеть со стороны, жизнь моя чрезвычайно заполнена. У меня муж, ребенок. Я — актриса Театра Мейерхольда и студентка ГВЫРМа. Играю в спектаклях «Земля дыбом» и «Трест ДЕ». Слушаю лекции. Обучаюсь биомеханике, боксу, фехтованию и прочему. Веду драматические кружки в рабочих и красноармейских клубах. Посещаю многочисленные диспуты.

В моем окружении многие искали моей дружбы. Будучи человеком общительным и на дружбу щедрым, я ни к кому не испытывала любви.

Пока не встретила Бабеля.

После знакомства, уже описанного мною в очерке о Бабеле, он каждый день стал приходить ко мне в театр или в один из кружков, которые я вела. Если вечер был свободным, мы гуляли вместе. Я очень гордилась этой дружбой, незаметно перешедшей в настоящую любовь.

Исаак Эммануилович сочетал страстность с иронией и как бы насмешкой даже над самим собой. Он был искрометно остроумен и обаятелен. Но во всем, включая чувства и их выявление, путаник, зависимый от сиюминутных настроений.

Борясь с чувством, возникавшим у меня, я пыталась проводить свободное время по-прежнему, посещать премьеры, вернисажи, диспуты с другими своими друзьями.

Диспутами я всегда очень интересовалась, иногда осмеливалась принимать в них участие даже как оратор. Каких только парадоксальных мнений тогда не высказывалось! Запомнилось, например, как Луначарский уговаривал на диспуте посмотреть «Ревизора» в постановке Мейерхольда не менее семи раз, прежде чем выносить о нем свое суждение.

Тут подоспел какой-то организованный в нашем театре очередной диспут. Темы его я не запомнила. Но помню, как была обескуражена, поняв, что теперь мне нужны только каждодневные то пылкие, то шуточные уверения в любви Исаака Эммануиловича.

Письма Бабеля ко мне состояли сперва из уверений в любви, потом в дружбе.

Но он жил как бы в другом измерении, чем я.

Вначале я верила в риторические излишества вроде: «Я думаю о Вас с отчаянием и любовью, от которых некуда бежать», или «Отдай мне Каширину, боже, и пусти меня с ней по свету...», или «Тамара, утешение мое на земле, пишите мне каждый день, я чувствую, что заслужил это», или «Больше не буду писать сегодня, т. к. не хочу говорить о посторонних вещах и не хочу прощаться с Вами. Если проститься и писать в письме конец — тогда надо жить без Вас, а так продолжаешь все ту же грустную, но любовную, милую жизнь. До свиданья, утешение мое. Я перечитал письмо и зачеркнул одно слово (солнышко). Так, я думаю, пишут солдаты. Что делать...», а то и так: «Милый, чудесный мой друг Каширочка. Теперь ночь, за стеной мелкий дождь ведет старушечий свой хлопотливый разговор, все спят, зеленый абажур на лампе призывает меня к труду, к терпению, к упорству, и кабы Вы были здесь, в пустынной моей комнате — я был бы счастлив».

Прямолинейная и доверчивая, верила я каждому его слову. Верила тому, что только невозможность найти в Москве комнаты, где мы могли бы поселиться, мешает нашему объединению. Совершила безумный поступок — уехала, все бросив, в Ленинград, куда он обещал за мной последовать.

Дальше были — воздушные замки в письмах и бесконечное мое ожидание его все откладывавшихся приездов.

И письма, письма...

Неистоцимо было мое терпение во имя любви и веры, что разлука необходима для его творчества.

Возвратилась я в Москву, когда, казалось бы, появилась наконец возможность жить нам вместе, так как он отправил за границу и жену, и мать. Но общей жизни у нас все равно не получалось.

Вновь разлуки и вновь мое ожидание.

Уезжая в 1927 году за границу, он говорил, будто бы едет в Бельгию к жившей там сестре, куда отправил свою мать.

И вот я получаю такое письмо:

(Из Парижа — в Москву, 20/VII—1927)

«Уезжая, я утаил, что старуху (мать его жены. — Т. И.) надо сдать в Париже. Последняя эта ложь была вызвана, как и всегда, жалостью, трусостью, невозможностью для меня наносить удары прямо в лицо. (...) Мучительное сознание. Жизнь моя нестерпимо грустна. (...) У тебя нет никаких обязательств по отношению ко мне. Ты вольна в своих действиях. У меня нет намерения вернуться к тебе. Я попытаюсь вести с Е. Б. безрадостную, несчастную нашу, но м. б. спокойную жизнь. Если не выйдет — я уйду.

Прошу тебя не писать мне. Твои письма, я знаю, добьют меня. (...) Прощай, Тамара, я хочу верить, что у тебя есть силы быть счастливой. Мне кажется, что у меня нет этих сил. Прости меня. Я буду писать тебе, если ты пообещаешь не отвечать на мои письма.

И. Б.»

Несмотря на отрезвившее меня возмущение, я тяжело перенесла этот удар, хотя, казалось бы, давно должна была быть к нему готовой.

Но зато я разом рассталась с тщетными надеждами и иллюзиями, длившимися два с лишним года.

Раз все кончено, — значит, кончено.

Однако через месяц с небольшим пришло другое письмо, в котором он, уже наоборот, задавал множество вопросов и сообщал свой адрес.

Затем опять:

(Из Парижа в Москву, 3/IX—1927)

«Мечта моя об одиночестве близится к осуществлению. С завтрашнего дня в течение трех месяцев я буду один. Скоро уеду, вероятно, в дальнюю деревню на берегу Средиземного моря. Может быть — я добьюсь там грустного моего спокойствия — единственного, что мне осталось. Один, больной, почему-то разрушивший все, что могло быть мне дорого, я брожу здесь по паркам, смотрю на играющих детей, и вид их раздирает мое сердце. Жаловаться мне не на кого и не на что, кроме как на себя. Очевидно, я этого хотел. (...) Больше всего на свете я боюсь услышать худые вести о тебе, хотя правда, я ничего не сделал для того, чтобы услышать хорошие.

Если хочешь — дай руку человеку, который мог бы быть счастлив с тобой, но не сумел этого сделать.

И. Б.».

* * *

Я не ответила Бабелю ни на его «прощальное» письмо, ни на последующие. Молодость брала свое (в 27 лет можно еще начать жить заново) — я уже не хотела беречь столь болезненное для меня прошлое.

Дала себе твердую установку: работа, дети и никаких любвей.

* * *

Пришло еще одно письмо от Бабеля:

(Из Парижа в Москву, 28/IX—1927)

«Давно — около месяца тому назад — я отправил тебе письмо. Ответа нет. Если не хочешь писать — сообщи, мне это надо знать.

И. Б.».

Я опять не ответила, мне не о чем было ему писать.

Но мне написал Всеволод, находившийся в Париже со Львом Никулиным, — написал, что Бабель просил его уговорить меня отвечать ему на письма, так как он не может жить, не зная, что со мной.

Всеволоду я ответила, хотя его письмо меня удивило (мне казалось, что при наших встречах в Москве он не обращал на меня внимания, а тут выражал горячее сочувствие). Я просила его сказать от моего имени Исааку Эммануи-

ловичу, что нам с ним переписываться не надо — иначе я никогда не избавлюсь от роковых для меня переживаний.

Ответное письмо Всеволода привожу:

(Из Парижа в Москву. Сентябрь 1927)

«Милая Тамара Владимировна, я только что приехал из поездки по Франции и только что прочел Ваше письмо. И меня ждали еще письма...

У меня почти такое же горе, Тамара Владимировна, как и у Вас, только разве что женщину, из-за которой мне приходится мучиться, я люблю меньше, чем Вы Бабеля. Оттого мне несколько легче — и меня необыкновенно обрадовало Ваше хорошее письмо. Милая Тамара Владимировна, утешать людей невозможно, я знаю, я чувствую, как Вам тяжело, и очень жаль, что меня нет в Москве. Если моя дружба хоть капельку маленькую может Вам помочь — я рад Вам быть другом.

Вообще хотелось бы вернуться в Россию, но надо пожить еще с месяц здесь, чтоб пережить ту муку, которая туманит мой мозг. А в Париже и во Франции мне абсолютно делать нечего, и скучно здесь до смерти. Хочу проехать в Италию к Горькому, что ли.

Простите, что пишу коротко, — у меня в голове совершенная ерунда. Через денек-другой напишу Вам подробнее. Перечел письмо, и мне подумалось, что не стоило бы посылать такого дикого письма. Впрочем...

Бабеля сегодня увижу. Передам Вашу просьбу.

Заходите почаще к Анне Павловне, она скучает.

Целую Вас. *Всеволод*».

* * *

«Бронепоезд» спешно (вопреки обычаю МХАТа не спешить) репетировался под верховным руководством К. С. Станиславского его помощниками Н. Н. Литовцевой и И. Я. Судаковым.

Но Репертком не посчитался с желанием театра непременно дать этот спектакль к десятилетию Октября.

Репетиции стояли под угрозой запрета.

Судаков, будучи очень энергичным, сумел уговорить кого надо: вот придет автор, он допишет то, что требуется.

На Всеволода обрушилась лавина требований, и он не

мог позволить себе, поддавшись упадочническому настроению, подвести целый коллектив.

Поэтому сразу после написания приведенного выше письма он выехал в Москву.

* * *

Второй раз «Бронепоезд», уже после его триумфального шествия по СССР и за границей, запретили как «кулацкую» пьесу, по настоянию РАППа. Однако, когда сам РАПП был ликвидирован, пьеса была восстановлена в правах и начала в одних театрах возобновляться, в других ставиться заново.

* * *

В первый же день по приезде Всеволод попросил меня встретиться с ним. Рассказал, что Бабель умолял его всячески повлиять на меня, чтобы я ему писала.

Надо думать, что разговор с Бабелем обо мне произвел на Всеволода сильное впечатление: Исаак Эммануилович обладал способностью так расписать человека, что — хочешь не хочешь — умел заинтересовать.

У меня создалось впечатление, что Всеволод заинтересован куда больше мной самой, чем данным ему ко мне поручением.

То, что не только я страдала, а и Бабель тоже, пробудило во мне сочувствие. Я уже смогла написать ему. И написала вполне спокойно, даже предложила заняться его делами, как я это делала до его отъезда и как он просил меня в том письме, на которое я не ответила.

Он тут же написал, что после моего письма ему «...полегче будет житься теперь».

(Письмо из Парижа в Москву, 4/X—1927)

«Тамара, получил, наконец, от тебя письмо. Я очень рад и благодарен тебе за то, что ты согласна заняться моими делами».

Дальше была длительная переписка: опять с заверениями — теперь уже в дружбе (то есть игра на моем «коньке»).

К Бабелю я зла никогда не питала. Всегда преклонялась перед его талантом, а его письма из Парижа вызывали желание помочь ему, как только смогу.

...В ноябре 1927 года я уже сообщила Бабелю, что Всеволод полюбил меня и я его ответно полюбила. Исаак Эммануилович написал: «Не знаю — радоваться или печалиться известию о Всеволоде. Я чувствую душевную к нему привязанность, он выдающийся человек, трудно найти лучшего. Мне хотелось бы, чтобы счастье твое и покой были долговечны и прочны. Если это случится, тогда в самом деле — все идет к лучшему в этом мире. (...) Помни, что за тридевять земель у тебя есть друг. Это я пишу не для красного словца».

Полюбив Всеволода, я не предала своих принципов и, как могла, старалась быть другом Исааку Эммануиловичу. Не моя вина, что дружба эта оказалась несостоятельной. Дружить без взаимопонимания еще труднее, чем безответно любить.

Завязалась сложная коллизия.

Я не утаивала от Всеволода, что переписываюсь с Бабелем, ни того, что занимаюсь его делами.

Наконец Бабель написал: «Ты нашла нужным сообщить, что Всеволод «запретил» тебе разговаривать обо мне. Удивительное это сообщение — совершенная для меня новость. Если бы шальная мысль о том, что ты посвящаешь Всеволода в плачевные мои дела, могла бы взбрести мне в голову, я, конечно, воздержался бы от дачи тебе каких бы то ни было поручений».

Этот упрек был несправедлив и непоследователен. Ведь в письме от 11/X—1927 года Бабель писал, прося о пересылке ему денег: «...Всеволод может дать тебе совет...» И вообще как же он представлял себе мои отношения со Всеволодом (о которых я не раз писала ему), если ему вдруг показалась «шальной» мысль о том, что я рассказываю Всеволоду о своей переписке?

Вероятно, людям вообще свойственно судить о других, исходя из своего собственного опыта.

* * *

Бабель был очень противоречив. Ему и жилось тяжело, и творчество для него было мучительным. Всегда неудовлетворенный, всегда ищущий. Выручал его лишь юмор, которого он не терял и в отношении себя самого.

Ведь даже тогда, когда я родила сына и испытала огромную радость, Бабель не приехал разделить ее со мной тотчас же (езды от Москвы до Ленинграда — одна ночь), а только все писал и писал.

14/VII. «Итак, будем ходить в папашах. Очень смешно привыкать к этому состоянию (...) Писем, писем, писем!»
16/VII. «Быть отцом на расстоянии — вещь удобная и гигиеническая, но до чего же хочется знать...» 16/VII. «Следует сказать, что этот новый человек интересуется меня живейшим образом (...) Я и приехать-то хочу, когда он примет «человечек» вид».

Когда-то я совершенно превратно читала письма ко мне Исаака Эммануиловича.

Теперь мы поменялись ролями.

Я силилась втолковать ему, что люблю Всеволода и Всеволод любит меня. Что я ценю дружбу Бабеля и хочу быть ему полезной, но не нуждаюсь ни в моральной, ни в материальной его помощи. И, наконец, что, если он не возражает, я хочу обменять комнаты (в которых и он был прописан).

Ответ его ни с чем не сообразен.

(Из Парижа в Москву. 1/IV—1928)

«...я не совсем понял, что ты мне написала о комнатах, как это ты собираешься выезжать, комнаты эти принадлежат тебе (...). Только мысль о том, что я смогу прийти к тебе и сказать, что у меня есть за душой. Если я молчал до сих пор и молчу — то только из уважения к тебе, из чувства горького нашего товарищества, я не хотел унижать тебя, морочить, путать, словами, чувствами, жалобами — в которых нету силы, действия, твердости, окончательности. Не осуждай меня за это, Тамара, и давай додержимся до лучших времен — почему не верить, что они настанут». Это письмо показывает, до какой степени Исаак Эммануилович был далек от понимания истинного положения вещей. Он не мог стать «человеком моей жизни», каким стал Всеволод. Со Всеволодом мы чувствовали одинаково, а с Исааком Эммануиловичем всегда вразнобой, кроме вопросов искусства. Чувства, вызванные Всеволодом, заполняли меня целиком, и даже дружбы у меня ни с кем не могло быть, если он ее не разделял.

Всеволод захотел стать единственным отцом для моих детей, Миша и не знал иного. С Таней же дело обстояло иначе, и хотя она на проявляемую Всеволодом любовь отвечала полной взаимностью, но Николая Васильевича любила

не меньше, и я не возражала против их встреч. У нас уже сложилась к тому времени дружная семья, в которой родители и дети составляли единое целое. Рождение Комы никак не убавило у Всеволода любви к моим, усыновленным им детям. Наоборот, Кома стал для Всеволода и старших детей крепким связующим звеном.

Бабелю я отказала в свиданиях с сыном, когда он, приехав в Москву, попросил меня об этом через третьих лиц. Исаак Эммануилович не смог жить вдали от родины. Он был советским человеком и особенно остро ощутил это за границей. Он был одинок, когда вернулся, и поэтому я ужасно обрадовалась, узнав, что в его жизни появилась А. Н. Пирожкова, родившая ему дочь; обрадовалась я и женьитьбе Николая Васильевича.

У меня прямо камень с души свалился, когда я перестала попрекать себя тем, что пусть и во имя любви ко Всеволоду и детям, но все же погрешила против нормальных человеческих отношений с людьми, в прошлом мне близкими и теперь искавшими дружбы со мной.

Но я никогда не могла замкнуться в семейном кругу, как бы ни были сложны мои семейные обстоятельства и взятые на себя обязанности. Меня всегда волновало, не менее домашних дел, все то, что происходило вокруг.

Я не могла не заниматься общественной работой и в коллективах, и в одиночку. Мне всегда казалось, что я чему-то или кому-то недостаточно посочувствовала, недостаточно помогла. Все время я старалась что-то организовать, чего-то добиваться. И почти неизменно слышала — именно тогда, когда, презрев личные интересы, заботилась об общем деле: почему это вам надо больше всех?

А мне, моей душе требовалось, чтобы хорошо было всем и в моем доме, и в моем поле зрения.

* * *

Отступления увели меня очень далеко от последовательного описания событий юности, формировавших мое сознание.

Прошу у читателей еще раз прощения и возвращаюсь обратно в 1919 год.

Может быть, после первого отказа от театра я и не вернулась бы обратно, хоть театр и манил неотступно, если бы меня не исключили из партии. Это событие произошло

в ноябрьскую перерегистрацию девятнадцатого года, как раз накануне моего разрешения от бремени первым моим ребенком, о чем никто не догадывался: я не взяла декретный отпуск, учреждения не отапливались, никто не снимал пальто, а при моей тогдашней худобе и при высоком росте пальто скрадывало естественное изменение фигуры.

Скрывать-то я свою беременность скрывала, но была из-за нее абсолютно не в форме, а среди комиссии в тот день, как нарочно, не было ни одного знавшего меня по работе человека. Под прицел было взято мое буржуазное происхождение, а я вломилась в амбицию. В моем-то (девятнадцатилетнем) сознании я уже невесть какие жертвы принесла революции (ушла из театра, порвала со своей средой). Множество заслуг я себе приписывала: «ну да — буржуазное происхождение, так тем более цените мои подвиги — да и какое же «буржуазное происхождение», когда мой папа выбран «красным директором», а дедушки были крепостными крестьянами», — так думала я. А комиссия решила иначе.

На другой день я не явилась на работу. И Михаил Петрович, и другие мои товарищи по отделу народного образования, с его главой Мартой Карловной Берзинь, которая и рекомендовала меня в партию (второй мой «крестный» — товарищ Лазоверт, бывший глава нашего отдела, увы, уже погиб к этому времени на одном из фронтов гражданской войны), обеспокоились как несправедливым, с их точки зрения, исключением меня из партии, так и последовавшим за ним моим исчезновением.

Ко мне домой была направлена от моих сослуживцев делегация, онемевшая от изумления при известии, что я только что родила дочку.

Когда в положенный срок я вернулась на работу, меня встретили необыкновенно ласково. Предоставили всяческие льготы. Мне даже было дано право пользоваться нашим наробразовским экипажем (автомобилей тогда не было, да и лошади были в редкость), чтобы ездить с Бауманской (тогда Немецкой) улицы в Токмаков переулок — кормить мою девочку.

Товарищи уговаривали меня подать заявление с просьбой пересмотреть мое исключение из партии. Но я наотрез отказалась. В партии я пробыла только год с небольшим. Сломить свою гордость и пересилить обиду, мне нанесенную, не сумела. На уговоры товарищей я твердила: «Что у меня в душе — это навечно. На какой путь стала, с того не сойду».

Марта Карловна, человек очень горячий, даже вспылила и выразила сожаление, что рекомендовала такого несмышлёныша в партию. Это ее высказывание подлило масла в огонь моих обид, и я тут же подала заявление с просьбой об увольнении, решив вернуться обратно в театр.

Однако меня не отпустили и не отпустили еще почти два года, пока осенью 1921 года я не выдержала экзаменов в Режиссерские мастерские имени Мейерхольда и Мейерхольд не похоронил за меня.

Позорно признаваться в собственной глупости, пусть отчасти и извиняемой молодостью. Но я смело могу утверждать, что в определенном смысле никогда не изменила «тому пути, на который стала». Всю свою сознательную жизнь я активно занималась общественной работой и как только могла помогала делу построения нового общества.

Дела моей родины не менее, а иногда даже и более мне близки, чем свои собственные. Самое существенное для меня — состояние души, утверждающее мою сопричастность, ответственность за все то, что произошло вокруг меня на моем веку.

Я не могу закрыть глаза на трагедии, остро пережитые моими современниками, не могу не понимать, что и сейчас мы переживаем большие трудности.

Печали, горести, достижения, успехи, радости, взлеты, победы моей родины — все это и мое тоже. Я испытываю гордость за все бесспорно позитивное и доблестное, чего достигло наше государство.

Я полна надежды на дальнейшие свершения и хочу быть посылно полезной.

Я — и в ответе.

Я — и в радости.

Содержание



Предупреждение летописца	3
ЧЕЛОВЕК МОЕЙ ЖИЗНИ — ВСЕВОЛОД .	9
ПОРТРЕТЫ ДРУЗЕЙ	
Всеволод Эмильевич Мейерхольд	248
Исаак Эммануилович Бабель	271
Ольга Дмитриевна Форш	302
Константин Александрович Федин	327
Екатерина Павловна Пешкова	354
Александр Александрович Фадеев	365
Валентина Михайловна Ходасевич	380
Борис Леонидович Пастернак	393
Микола Платонович Бажан	428
Александр Александрович Крон	453
Петр Леонидович Капица	467
О себе самой	477

Тамара Владимировна Иванова
**МОИ СОВРЕМЕННОИ,
КАКИМИ Я ИХ ЗНАЛА**

Редактор *И. Ю. Ковалева*
Худож. редактор *Ф. С. Меркуров*
Техн. редактор *Е. П. Румянцева*
Корректоры
Б. Ш. Котт, Л. А. Розыбакиева

ИБ № 5979

Сдано в набор 17.10.86. Подписано к печати 11.08.87.
А 06733. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Обыкновенная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 30,24+0,84 вкл. Уч.-изд. л. 32,94. Тираж 100 000 экз. Заказ № 677.

Цена 2 р. 40 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11

Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 300600, г. Тула, проспект Ленина,